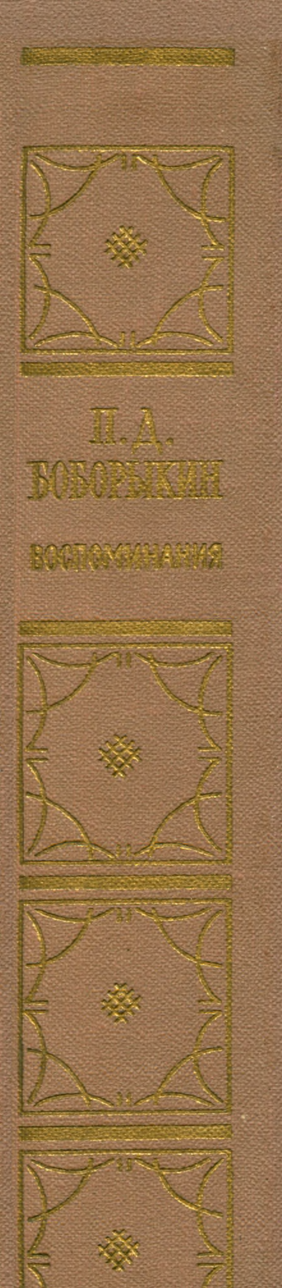


П. Д. БОБОРЫКИН

ВОСПОМИНАНИЯ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией
В. В. ГРИГОРЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1965

П. Д. БОБОРЫКИН



ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЗА ПОЛВЕКА

(главы I—VIII)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1965

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Э. ВИЛЕНСКОЙ и Л. РОЙТБЕРГ

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



П. Д. Боборыкин
1870-е гг.

П. Д. БОБОРЫКИН И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

I

Обширно и многообразно литературное наследие Петра Дмитриевича Боборыкина (1836—1921) — бытописателя и драматурга, публициста и литературного критика, театроведа и мемуариста, отдавшего литературной деятельности более шестидесяти лет своей жизни. Как отмечал А. Евгеньев, «по количеству написанного им, по обилию затронутых им тем и бытовых сторон нашей жизни, по разнообразию писательских амплуа своих Боборыкин побил все рекорды и не имеет себе равного в литературе»[1].

Боборыкин вошел в литературу в переломный период русской истории — в годы первой революционной ситуации, в эпоху ломки крепостнической России и формирования новых, буржуазных отношений в стране. Он ушел из жизни и литературы уже глубоким старцем вскоре после другого исторического перелома, положившего начало социалистической эре в истории человечества.

Писатель был очевидцем таких огромных исторических событий, как нарастание революционного взрыва во Франции, завершившегося Парижской коммуной, как героическая борьба русского пролетариата в первой русской буржуазно-демократической революции. На его глазах марксизм превратился в господствующее течение, и великие идеи Маркса, которые во второй половине 60-х годов лишь пробивали себе путь на Западе сквозь мелкобуржуазную стихию анархизма и тред-юнионизма, «проникли с тех пор всюду», как отмечал писатель, захватили и массу русской молодежи, недавно еще плутавшей в потемках народнических утопий.

---

[1] «Вестник литературы», 1919, № 6, стр. 10.

И замечательно, что Боборыкин сумел подняться до сочувственной оценки их значения в общественной борьбе и признать, что именно эти идеи придали настроениям русских революционеров «гораздо более решительный характер общественной борьбы».

Огромная полоса русской и международной жизни, прошедшая перед глазами писателя, питала его творчество, определяла тематику его произведений. Недаром Вл. Кранихфельд отмечал, что, находясь в политической ссылке, он и его товарищи черпали сведения «о сменах столичных настроений и течений» не из газет и журналов, а из последних романов и повестей Боборыкина [1].

Средоточием интересов писателя являлась умственная жизнь России и Западной Европы. В каждом событии и своего времени, и отдаленного прошлого Боборыкин искал прежде всего его духовную значимость. Это определялось его идеалистической концепцией исторического развития. Не понимая материалистической основы умственных движений, он считал, что «всякий прогресс, будь то в русском обществе, будь то во всяком ином, зависит от эмансипации умов под воздействием положительных взглядов» [2].

Однако «эмансипацию умов» он понимал чрезвычайно широко, имея в виду умственное и духовное развитие всего человеческого общества, включая и народные массы. Это преобладание интеллектуального начала характерно для всех художественных произведений писателя. Оно же сказалось и в его трудах мемуарного жанра.

Именно поэтому свой главный итоговый мемуарный труд — воспоминания «За полвека» — писатель задумал как документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками «истины» и малодушными изменами «своему призванию». Боборыкин хотел дать широкую картину умственной жизни своего времени. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека и занимающих около сорока печатных листов.

Для осуществления своего замысла Боборыкин располагал богатейшим материалом. На протяжении долгих лет он близко соприкасался со многим из того, что было самого значительного и выдающегося в литературе и искусстве, науке и публицистике, в общественной и политической жизни России и Западной Европы. Этому способствовала широта его интеллектуальных интересов,

---

[1] См. «Мир божий», 1906, № 3, стр. 84.
[2] «Revue Britannique», 1868, № 10, стр. 382.

необычайная живость ума и неуемная жажда все знать и все видеть. Боборыкин был энциклопедически образованным человеком.

Разнообразие умственных интересов писателя постоянно подчеркивалось его современниками. Герцен отмечал живость ума и начитанность Боборыкина. Н. К. Михайловский писал, что «г-н Боборыкин есть бесспорно один из самых образованных и самых мыслящих наших беллетристов»[1]. С. Мельгунов свидетельствовал, что «не было ни одного течения философской и общественной мысли Запада, с которыми так или иначе не познакомился Боборыкин, и не только по книгам, но и непосредственными отношениями с крупными представителями этих течений»[2]. Перечень подобных отзывов можно было бы значительно умножить.

Разносторонняя духовная жизнь писателя и его острая наблюдательность нашли свое отражение в мемуарах, насыщенных впечатлениями житейских встреч, интересными фактами и своеобразными характеристиками. Поскольку автор работал над своим главным мемуарным трудом в 900-х годах и систематическое изложение своих воспоминаний довел лишь до 1872 года, полвека его последующей жизни, деятельности и наблюдений остались в тени. Читателю мемуаров остается неизвестным, какова же была дальнейшая идейная эволюция Боборыкина и на каких позициях он находился в период написания мемуаров. Ответа на этот вопрос нет и в литературной критике, уделившей ничтожно малое внимание забытому писателю.

Не выявив идейный облик мемуариста, трудно определить, насколько достоверно то освещение событий, явлений и лиц, которое дается в его мемуарах.

II

П. Д. Боборыкин происходил из зажиточной дворянской семьи. И в свои гимназические и в университетские годы, несмотря на общение с дядей — участником кружка Петрашевского, — Боборыкин был чужд интересов, связанных с политической жизнью общества. Его философские увлечения носили отвлеченный академический характер. Как сообщалось позже в письме к Н. К. Михайловскому, он прошел через увлечение материалистической философией (в ее вульгарно-материалистической разновидности) еще в студенческие годы. Однако теоретический интерес к материалистической

[1] «Русская мысль», 1891, № 7; «Литература и жизнь», стр. 771.
[2] «Голос минувшего», 1923, № 1, стр. 216.

философии не повел Боборыкина к революционным выводам, сделанным Герценом, Чернышевским и др.

Из его воспоминаний известно, что, переехав в Петербург в 1861 году, как раз тогда, когда общественное недовольство реформой и политикой самодержавия достигло большого накала, Боборыкин не примкнул к общественной борьбе студенческой молодежи. Ни его участие в преподавании в воскресных школах, ни посещение студенческого кружка, в котором вожаком был брат Л. П. Шелгуновой и друг М. Л. Михайлова — студент Е. Михаэлис, не втянули его в сферу общественных интересов, он в это время, по собственному признанию, «был охвачен широкой волной личных «переживаний» писателя». Общение с передовым, революционно настроенным студенчеством вообще скоро прекратилось, и, всецело поглощенный постановкой своих пьес, новыми литературными и светскими знакомствами, Боборыкин оказался в кругу литераторов, весьма далеких от революционно-демократического лагеря. Как литератора его характеризовал прежде всего аполитизм. «Я не метил в революционеры, — признается он в воспоминаниях «За полвека», — и не уходил еще в вопросы социальные, не увлекался теориями западных искателей общественного Эльдорадо».

Этот общественный индифферентизм отрицательно сказался на его художественном творчестве и публицистике тех лет. Основным мотивом его пьес («Ребенок», «Старое зло» и др.) являются личные переживания обманутых женщин — главных персонажей этих произведений.

Фельетоны, которые с конца 1861 года стал помещать Боборыкин в «Библиотеке для чтения» (под псевдонимом «Петр Нескажусь»), представляли собой беспредметное зубоскальство по поводу важных событий общественной, литературной и театральной жизни. Даже его выпад против Чернышевского, о котором он упоминает в своих мемуарах, носил характер такого же зубоскальства и не относился к существу идей, защищавшихся великим мыслителем-революционером. Это было мелкое обывательское хихиканье по поводу внешности Чернышевского, его манеры держать себя и говорить перед публикой, которые, по мнению Боборыкина, не соответствовали правилам «хорошего тона». Достойную отповедь это зубоскальство получило в сатирической пьеске В. С. Курочкина «Цепочка и грязная шея» («Искра», 1862, № 11). Разумеется, доля участия Боборыкина в общем хоре насмешек либералов и реакционеров над «нигилистами» была ничтожной, но оно достаточно ясно характеризовало ту объективную политическую тенденцию, которой фактически придерживался писатель в общественной борьбе начала 60-х годов и внешним выражением которой была его апо-

личность. Этот общественный индифферентизм проявился и в первом романе Боборыкина «В путь-дорогу», печатавшемся в 1862—1864 годах в «Библиотеке для чтения».

В годы революционной ситуации, когда, по словам В. И. Ленина «всего яснее выступает деление всякого общества на политические партии»[1], Боборыкин по существу скорее был зрителем, чем участником общественной и литературной борьбы. В «Итогах писателя», вспоминая об этом времени, он писал: «Я не примкнул ни к одной из редакций крайнего направления, меня не волновали страстно чисто общественные вопросы, борьба противоположных лагерей, разные лозунги и клички той эпохи»[2].

Но с наступлением реакции у писателя наметился некоторый сдвиг в сторону пробуждения общественных интересов. И в то время, когда с усилением правительственных репрессий и польским восстанием либеральная общественность отхлынула от Герцена и составила «разношерстное стадо Каткова», когда «слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли» из движения[3], у Боборыкина начинают появляться нотки сочувствия радикальному лагерю. Это нашло свое отражение в его полемической статье «День» о молодом поколении» («Библиотека для чтения», 1863, № 11), где он, защищая молодежь 60-х годов от клеветы и нападок либералов и реакционеров, доказывал, что она стоит на гораздо более высоком уровне, чем поколение «отцов», которое «было либерально только на словах», что она радикальней по взглядам и решительней по поступкам. Но Боборыкин вместе с тем отвергал крайности в «отрицании», то есть по существу революционные методы борьбы, и «фанатизм» утверждения, иначе говоря — утопически-социалистические взгляды революционной молодежи. Этим автор в значительной степени ослабил свою защиту «молодого поколения» и показал тот предел, далее которого он не был способен с ним солидаризироваться.

Двойственность и непоследовательность молодого писателя проявились и в его дальнейшей деятельности в качестве издателя «Библиотеки для чтения». Он привлек к сотрудничеству таких радикально настроенных публицистов и писателей, как Гл. Успенский, А. И. Левитов, А. П. Щапов, А. Н. Энгельгардт, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров. И в то же время в журнале подвизались славянофил Е. Н. Эдельсон и такие сомнительные личности, как Н. Н. Воскобойников, вскоре перекочевавший к Каткову. Но особенно сказалась

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 29.

[2] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. IV, СПб. 1895, стр. 197.

[3] А. И. Герцен, Сочинения в 9-ти томах, т. 8, Гослитиздат, М. 1958, стр. 100.

непоследовательность Боборыкина в том, что он предоставил страницы журнала для такой низкой клеветы на освободительное движение, какой был роман Лескова «Некуда», — факт, который, по собственному признанию Боборыкина, сыграл роковую роль для журнала и создал самому издателю репутацию ретрограда.

Двойственная позиция «Библиотеки для чтения» в литературной и общественной борьбе 60-х годов, обусловленная стремлением сохранить «независимость» от борющихся лагерей, лишила журнал подписчиков и привела издателя к финансовому краху. Это политическое поражение было для молодого литератора жестоким уроком и усугубило наметившийся идейный кризис. Как он признался в своих воспоминаниях, его последующий отъезд за границу преследовал единственную цель — «найти самого себя». И действительно, жизнь в Париже и Лондоне, связь с кружками, оппозиционными режиму Наполеона III, способствовали той «переоценке ценностей», которая последовала за периодом кризиса. Писатель впервые ясно ощутил потребность «искреннее и серьезнее отзываться на политические и социальные вопросы», как сообщал он в своих «Итогах» [1].

Позднее, в 1871 году, Боборыкин так описывал те первые впечатления, которые по приезде в Париж помогли ему найти себя: «Всемирная столица давала вам разом понимание роковых стремлений человечества: не из книжек, а на улице, в мастерской, на сходке, в аудитории, на трибуне поднимались перед вами вопросы и нужды, мировые законы и упования передового меньшинства, взявшего на себя крест служения непросветленной массе. Перед вами вставали два стана, на которые разделилось человечество в самых рельефных формах, в самых ярких красках, в самых жизненных проявлениях своей сущности» [2]. Острота социальных противоречий, непримиримость интересов труда и капитала предстали перед Боборыкиным на Западе во всей их наготе.

Вторая половина 60 — начало 70-х годов были, кроме того, периодом окончательного оформления философских воззрений Боборыкина. Не удовлетворенный теорией вульгарно-материалистической школы, Боборыкин в поисках «широкого и, главное, научного, объективного, твердого обобщения» пришел к позитивизму Огюста Конта и отверг не только вульгарный материализм, но и материалистическую философию вообще. Правда, он вскоре почувствовал «неполноту и даже просто недостаточность» философской системы пози-

---

[1] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь..., т. IV, стр. 213.

[2] «Отечественные записки», 1871, № 8, стр. 288.

тивизма для решения «жгучих, безотлагательных» вопросов современности.

Считая себя самым левым «из всех левых позитивистов», он объяснял, что его философское мировоззрение «сложилось не в сухой и формальный компромисс с действительностью... а в учение, где на основе научно-философской лежит неустанное стремление отзываться на явления жизни активно, бороться со всем, что только стоит на пути ко благу, как должен его понимать живой человек, работающий на все культурное и некультурное человечество». Но его призывы к интеллигенции бороться за общее благо всегда были такими же абстрактными и расплывчатыми, как и самое понятие «блага». Это было отмечено еще народнической критикой [1]. В неопределенности общественного идеала сказалось отрицательное отношение писателя к революционным методам переустройства общества и несостоятельность позитивистской философии, отрицавшей возможность проникновения в сущность явлений и социальных процессов и относившей само понятие «сущности» к области метафизики и мистики.

Интерес к социальным вопросам, пробудившийся у писателя во второй половине 60-х годов, сказался в его многочисленных газетных корреспонденциях, публиковавшихся в «Голосе», «Русском инвалиде», «Санкт-Петербургских ведомостях» и освещавших самые разнообразные области западноевропейской жизни. Среди его корреспонденций важнейшее место принадлежит отчетам о Брюссельском конгрессе I Интернационала, на котором он присутствовал, печатавшимся в 1868 году в газете «Голос» (№ 239, 241—245). Они представляют большой интерес и для современного исследователя объективным и подробным освещением работы конгресса. Обращает на себя внимание открыто сочувственный тон корреспонденций и высокая оценка значения классовой борьбы рабочих. «...Международная ассоциация, — сообщает автор, — желает вызвать рабочих образованного мира из пассивной роли пешек, которых можно безнаказанно подвергать голоду и всем ужасам пролетариата, нимало не справляясь об их желаниях и нуждах». Солидарность, говорит Боборыкин, охватила «весь мир механического и материального труда». Рассказывая о программе конгресса, автор особо останавливается на ее 7-м пункте (вопрос о поведении рабочих в случаях столкновения между большими европейскими державами): «7-й пункт — нов по своему замыслу, — пишет он, — и является как нельзя более кстати. Если б трудящиеся массы подняли голову в

---

[1] «Русская мысль», 1892, № 11, стр. 136.

защиту кровных нужд и во имя куска хлеба, политиканы и честолюбцы позадумались бы играть в войну»[1].

Но, разумеется, истинного значения I Интернационала Боборыкин понять не мог. Справедливо осудив, например, английские тред-юнионы, увлекшиеся кооперативным движением, и охарактеризовав их как «коллективную буржуазию», Боборыкин усматривает отрицательную сторону такой деятельности не только в том, что она «не поможет немощам пролетариата», но и в том, что она, к его сожалению, «никак не приведет к гармонии между капиталом и трудом»[2]. Он порицает «вожаков» движения за то, что они «вносят в сознание рабочих масс задор и произвольные взгляды; объявляя, что рабочие — цари мира, они забывают совсем о законах исторического развития, о деятелях умственного освобождения», которые в глазах Боборыкина являются ведущей силой общественной эволюции. И, наконец, он недоумевает по поводу того, что «конгресс группирует только один сорт рабочего люда — заводских мастеровых», а не объединяет в одном движении и организациях вместе с ними и мелких собственников — крестьян[3].

Наиболее показательной для характеристики позиции Боборыкина в литературно-общественной борьбе в этот переломный для него период является статья «Нигилизм в России», опубликованная в английском журнале «Fortnightly review» (1868, № 8) и перепечатанная в переводе самого автора французским журналом «Revue Britannique» (1868, № 10). Эта статья преследовала цель ознакомить западноевропейского читателя с развитием освободительного движения и революционной мысли в России.

В освещении Боборыкина само понятие «нигилизм» не имело характера бранной клички, которым российская реакция пыталась заклеймить революционную молодежь. Наоборот, он употреблял его в смысле широкого обобщения, характеризующего освободительное движение в России во всех его радикальных оттенках, и приходил к выводу, что нигилисты своей сокрушительной критикой лишь прокладывали путь к созданию философской концепции, обосновывавшей справедливую политическую и социальную организацию общества и его новые моральные устои. Боборыкин оценил нигилизм как явление международное, имеющее «большое значение не только для самих русских, но также и для остального цивилизованного мира», так как у русской молодежи и молодежи наиболее передовых стран Европы наблюдаются «те же самые убеждения», которые «не требуют ничего, кроме позитивной их реорганизации,

---

[1] «Голос», 1868, № 239, 30 августа.
[2] Там же.
[3] Там же, № 245, 5 сентября.

чтобы стать здоровыми принципами», и выражает уверенность, что в этих принципах «Европа сможет найти постоянную отдушину против антицивилизаторских веяний русского колосса», то есть самодержавия.

Не приемля философию и социологическую концепцию нигилизма, Боборыкин, однако, видел в нем подъем «прогрессивного развития России» и особенно высоко ценил в нем «великий принцип объективного исследования» и «глубокое и значительное чувство социального долга, без которого никакое общество не может быть улучшено»[1].

В статье Боборыкина «Нигилизм в России», в его отчетах о Брюссельском конгрессе I Интернационала выразился известный поворот писателя к демократизму. Правда, этот демократизм не был революционным, но взгляд на освободительную борьбу как на важный фактор прогресса, искренние попытки разобраться в объективном значении движения радикальной интеллигенции, открытое сочувствие этому движению, а главное — движению масс, — все это дает право говорить о наличии ряда демократических черт в мировоззрении писателя, в целом стоявшего на позициях либерализма.

Немаловажную роль в идейном формировании Боборыкина сыграли встречи и личные связи с выдающимися представителями русской политической эмиграции и общественными деятелями Западной Европы, значение которых он отмечал в своих воспоминаниях.

Особенное влияние оказало на писателя его хотя и кратковременное, но насыщенное частыми встречами знакомство с Герценом и его семьей. О том, какой след оставило в его душе это общение, можно судить по воспоминаниям писателя о Герцене. Именно в этих воспоминаниях он пророчески говорит о том светлом будущем, когда перед Московским университетом «свободная Россия воздвигнет памятник Герцену» и депутаты из рабочих и крестьян оценят его великую роль в освободительной борьбе.

Инициатива этого знакомства принадлежала Герцену, заинтересовавшемуся корреспонденциями Боборыкина с Брюссельского конгресса I Интернационала и его статьей «Нигилизм в России», которую в числе «любопытных вещей» он отметил в письме к Н. А. Герцен. Писатель произвел хорошее впечатление на Герцена. «Боборыкин умен и много занимается», — делился он своими впечатлениями с Огаревым. «Боборыкин мне очень понравился... — повторил он в следующем письме. — Он вдвое больше живой человек, чем Вырубов»[2]. Если последнюю характеристику сопоставить

---

[1] «Revue Britannique», 1868, № 10, стр. 357, 384—385.
[2] «Литературное наследство», т. 64, М. 1958, стр. 662, 743.

с воспоминаниями самого писателя о спорах Герцена с Литтре, в частности с его выводом, что Герцен, как революционер, «не мог соглашаться на слишком спокойное и объективное признание законов социологии» (то есть позитивистской социологии), то можно с полным основанием полагать, что под большей «живостью» Герцен разумел активный интерес Боборыкина к социальным проблемам.

Существенные сдвиги в мировоззрении и творчестве писателя вызвали перемену в отношении к нему со стороны передовой русской печати. По инициативе Некрасова Боборыкин в 1870 году был приглашен сотрудничать в «Отечественных записках». С этого же времени он начал печататься в таких передовых журналах, как «Дело» Г. Е. Благосветлова, «Слово», в котором сотрудничали Г. И. Успенский, Н. С. Курочкин, М. А. Антонович и другие прогрессивные деятели литературы, «Искра» В. С. Курочкина, «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, а также в газетах либерального направления.

Первым произведением Боборыкина, опубликованным в «Отечественных записках», был роман «Солидные добродетели» (1870), который по своему замыслу и содержанию существенно отличается от прежних произведений писателя. В этом романе, как и в других произведениях Боборыкина 70-х годов, ведущей является тема становления личности интеллигента-демократа. В повестях «По-американски» (1870) и «Посестрие» (1871) он решает ее в связи с вопросами борьбы за равноправие женщины. В это время и начала складываться та особенность Боборыкина-беллетриста, которая определила весь дальнейший путь его литературной деятельности — способность откликаться на едва зародившиеся явления общественной жизни.

Наиболее ярким проявлением изменений, происшедших в мировоззрении Боборыкина, явились его очерки «На развалинах Парижа». В своих воспоминаниях автор очень скупо и с эпическим спокойствием рассказывает и о самих очерках, и о впечатлениях от «разоренной и униженной Франции» после трагической гибели Парижской коммуны. Между тем эти очерки написаны с такой эмоциональной силой и в духе такого беспощадного обличения душителей «революции 18 марта», что поднимаются до уровня острого политического памфлета. Поставив в заглавии слова «развалины Парижа», автор имел в виду не столько разрушение города, сколько окончательный крах европейского буржуазного демократизма. Писатель приходит к выводу, что слова «свобода, равенство, братство», подобно развалинам обветшалого королевского дворца Тюильри, «быть может, тоже отживают свой век» и что

«если Париж дела и мысли будет опять в услужении у Парижа безделья и бессмыслия, новое 18 марта — не за горами».

В последующие годы писатель редко выступал с публицистическими статьями, всецело отдавшись беллетристике, литературной и театральной критике. Тем не менее то политическое воспитание, которое он получил на рубеже 60—70-х годов, оставило глубокий след на всей его литературной деятельности.

С этой точки зрения нельзя считать случайным, что в 70-е годы имя Боборыкина не встречается ни в катковском «Русском вестнике», на страницах которого еще в 1866—1867 годах появлялись его статьи, ни во «Всемирном труде» М. А. Хана, где в 60-х годах печатались его романы «Жертва вечерняя», «На суд» и отдельные публицистические очерки.

Правда, Боборыкин не был для «Отечественных записок» вполне своим. Так, уже к середине 70-х годов в письмах Салтыкова к Некрасову и Михайловскому все чаще и чаще появляются иронические замечания о некоторых статьях Боборыкина, сетования по поводу того, что приходится его печатать, и опасения, как бы это не отразилось на репутации журнала. Но это определялось больше отношением сатирика к эстетической концепции Боборыкина, чем к его политической позиции. Показателен в этом отношении и рассказ в воспоминаниях Боборыкина о том, как Салтыков отговаривал его от участия в организации клуба под покровительством великой княгини Елены Павловны («Не ходите туда! Это — гадость, холопство!»). Заметим, что наряду с настойчивым стремлением «избавиться» от Боборыкина Салтыков рекомендовал его начинающему автору — А. А. Винницкой-Будзианик, как писателя, который может помочь ей своими советами[1]. Сам Боборыкин всегда с большим уважением говорил о Салтыкове и его сатире.

В 80-е годы Боборыкин в основном печатается в «Слове», «Вестнике Европы» и в некоторых других журналах и газетах либерально-народнического направления. Его внимание привлекают в основном вопросы литературной критики и теоретические проблемы литературного творчества, он пристально изучает историю зарождения и развития русского и европейского романа.

Одним из первых выступлений Боборыкина на историко-литературные темы была опубликованная им в флорентийском журнале «La Revista europea» (1876, № 4, 5) А. Губернатиса статья «Del criticismo russo» («О русском критицизме»). В этой статье инте-

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, М. 1937, стр. 220—221.

ресна оценка современной русской критики и ее исторического развития. «Несмотря на ошибки и крайности, — писал Боборыкин, — русская современная критика находится скорее на хорошем, чем на дурном пути», ибо «ретроградный лагерь русской печати не имеет решительно никакой будущности», так как «лишен самостоятельных идей и талантов, которые могли бы серьезно влиять на общественное мнение». Пытаясь предсказать путь дальнейшего развития русской прогрессивной критики, Боборыкин говорит, что произведения искусства она должна рассматривать как продукты известной эпохи, определенной расы и культуры, а не расплываться в чисто эстетических обобщениях, не стараться «установлять личные законы». Однако уже в этой статье Боборыкин охарактеризовал «доктрину» Добролюбова как метафизичную, сводящуюся якобы к вопросу: что выше — искусство или действительность? Здесь уже содержалась в зародыше та эстетическая концепция писателя, которая в дальнейшем заставила его признать (хотя и с различными оговорками) право на существование теории «искусства для искусства».

Последующие литературно-критические статьи Боборыкина отличаются все большей противоречивостью и хотя содержат порой глубокие и зрелые мысли о задачах литературной критики и тонкие оценки творчества отдельных писателей, центр тяжести в них все больше переносится с идейно-художественной оценки произведений на чисто эстетическую. При этом часто даже совершенно справедливые мысли он облекал в путаные формулы позитивистской фразеологии, то, что Салтыков справедливо назвал «пустословием» Боборыкина и что мешало современникам правильно оценить многие высказывания Боборыкина по эстетическим вопросам. В силу приверженности к позитивистской философии и стремления избежать крайности суждений, свойственной, по его мнению, всякому, кто привносит свои политические взгляды в область искусства, Боборыкин в своих последующих работах делает значительный сдвиг в сторону субъективно-идеалистической эстетической концепции, противоречащей пропагандируемому им самим методу объективного исследования.

Отдельные верные оценки и характеристики, встречающиеся в литературно-критических статьях Боборыкина, не укладываются в его теоретическую схему. К их числу принадлежит глубокая оценка творчества Бальзака, место которого в мировой литературе он сумел правильно понять.

Восставая против пренебрежительного отношения русской критики 70-х годов к этому выдающемуся художнику-реалисту, Бобо-

рыкин писал: «Бальзак был ретроград и защитник грубых и даже антисоциальных предрассудков, но в его произведениях вы находите живьем целую эпоху общественного развития. Можно, конечно, желать, чтобы такой огромный талант был в то же время бойцом за прогрессивные идеи. Но то, что он создал как романист, что реально и верно действительности, никогда не умрет ни в художественном, ни в общественном смысле. Критик творчества будет всегда указывать на целую галерею лиц Бальзака, как на блистательное проявление творческого процесса; мыслитель, публицист, проповедник общественной нравственности воспользуется тем же реальным миром, занесенным Бальзаком в свои романы, для беспощадной критики темных сторон пошло-буржуазного быта и средневековых тенденций». Верность художественному реализму, по мнению Боборыкина, помогает художнику стать выше собственных ошибочных взглядов на изображаемую действительность, делает его произведения бессмертным памятником эпохи. «Лучшие произведения Бальзака и каждого реального творца, — заключал Боборыкин, — не могут выдохнуться совершенно так, как не могут потерять интереса произведения природы: для них нет давности» [1].

Эта характеристика Бальзака во многом перекликается с оценкой, данной Энгельсом в 1888 году в письме к английской писательнице Маргарет Гаркнес. Говоря, что реализм художественных произведений «проявляется даже независимо от взглядов автора», Энгельс в подтверждение этой мысли привел творчество Бальзака, который «в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества» и из которой, по его словам, он «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов-историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» [2].

В статье «Наша литературная критика» (1883) содержалась справедливая оценка либерально-народнической критики, которую автор упрекал в утрате объективности, в односторонне этическом подходе к художественному творчеству, в отходе от традиций Добролюбова. Он справедливо характеризовал выразителей народнической тенденции в литературе, как людей, создавших себе «идеалы, отрешенные от действительности». Сквозь призму литературы Боборыкин увидел (вернее — ощутил) несостоятельность идеологии либерального народничества, обнаружившуюся в условиях капиталистического развития России и разложения деревни. А вскоре он

[1] «Слово», 1878, № 5, стр. 69.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVIII, М. 1940, стр. 28.

выступил в зарубежной печати со специальной статьей, в которой подверг критике мировоззрение народников. Эта статья — «Le Culte de peuple dans la litterature contemporaine» («Культ народа в современной русской литературе») была опубликована во французском журнале «Revue internationale» в 1885 году. Здесь Боборыкин охарактеризовал народничество («культ народа») как смешение «социалистических идей и дурно направленного национального чувства», выразившегося в «шовинистической самонадеянности» и «враждебности к общечеловеческой (читай: западноевропейской. — *Э. В.* и *Л. Р.*) науке». По существу за всем этим скрывалась правильная мысль о несостоятельности народнической теории самобытного развития России. Но неприятие социалистической теории даже в ее утопической форме, выражавшей демократические чаяния народа, ставило Боборыкина в идейном отношении ниже народников.

Художественная наблюдательность писателя помогла ему увидеть, что Россия уже твердо встала на капиталистические рельсы и идет по тому же пути, что и Западная Европа. Этот факт Боборыкин отобразил в романе «Китай-город».

Созданная в «Китай-городе» картина победного шествия российского капитала опровергала народническую утопию некапиталистического развития России. В книге воспоминаний «Столицы мира» (М. 1911), рассказав о лекциях французского ученого Фляка, который в 1895 году «выступил довольно смело против сложившегося у нас и на Западе мнения, будто бы в России нет до сих пор никаких задатков того, что во Франции зовут «tiers état» («третье сословие»), автор упоминает в этой связи «Китай-город», где русская буржуазия тоже изображалась «в новом освещении» [1].

Естественно, что критики из либерально-народнического лагеря, стремившегося «задержать», «приостановить» российский капитализм, объявили Боборыкина апологетом буржуазии, обвинив его в том, что он «даже *думать* начинает совершенно так, как это прилично какому-нибудь замоскворецкому тузу» [2].

Между тем автор «Китай-города» не только не стал на сторону русской буржуазии, но показал на примере героев романа, как самый дух буржуазного предпринимательства своим тлетворным влиянием поражает даже тех, кто вступил на этот торный путь с мыслью «облагородить» предпринимательскую деятельность, сохранив этическую чистоту в мире стяжательства и узаконенного грабежа.

Этот объективный смысл романа совпадает и с теми оценками

[1] «Столицы мира», М. 1911, стр. 108.
[2] «Отечественные записки», 1883, № 10, отд. II, стр. 180.

западноевропейского капитализма, которые содержатся в воспоминаниях писателя. Преклоняясь перед достижениями индустрии и техническими усовершенствованиями, которые служили для него доказательством мощи человеческой энергии и мысли, Боборыкин, однако, не желал примириться ни с контрастами богатства и нищеты, которые нес с собой капиталистический строй, ни с крушением «чистых идеалов», ставших предметом купли-продажи, как и все, к чему прикасался капитал.

Не менее остро ощущал писатель и духовное падение интеллигенции, происходившее в России в 80-х, а особенно в 90-х годах.

Произведения Боборыкина начала 90-х годов, такие, как роман «На ущербе» (1890), а особенно повесть «Поумнел» (1890), развивали тему идейного кризиса русской интеллигенции, подленького ренегатства, измены «святым идеалам» во имя чиновничьей карьеры, «общественного положения» и материальных благ. Эпическое спокойствие стороннего наблюдателя, характеризовавшее ранее художественную манеру писателя, покинуло его при изображении этих «нравственных дефицитов». Его произведения получили субъективную окраску и эмоциональную насыщенность.

Боборыкин не только изображал кризис интеллигенции и скорбел по поводу ее идейного падения, он не утратил веры в будущее возрождение «идеалов». «...Последнее десятилетие, — писал он в «Итогах», — всеми своими тяжелыми для нас проявлениями ставило передо мною более строгие задачи, углубляло преданность дорогим идеям, освобождало от предвзятости, от всего суетного и дилетантского, усиливало потребность воспользоваться остатком жизни для более крупных замыслов, искреннее и теплее сливаться душою со своей родиной» [1].

В 90—900-е годы разрыв между политическими настроениями писателя, отразившимися в его художественном творчестве, с одной стороны, и изысканиями Боборыкина в области эстетики — с другой, становится особенно резким. В 1893 году в статье «Красота, жизнь и творчество» он окончательно сформулировал мысль о «самостоятельности искусства» следующим образом: «область художественного творчества и наслаждения... нечто довлеющее самому себе» [2]. С этих реакционных позиций писатель оспаривал эстетическую теорию Чернышевского.

Литераторы-народники справедливо подвергли резкой критике эстетическую позицию Боборыкина. Н. К. Михайловский еще в ответ на его статью «Наша литературная критика» отметил тот

---

[1] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь..., т. IV, стр. 215.

[2] «Вопросы философии и психологии», 1893, № 16, стр. 75.

факт, что собственные произведения писателя являются лучшим опровержением его теоретических выводов[1]. Наиболее широкому критическому обсуждению подверглась эстетическая концепция Боборыкина с выходом в свет в 1900 году в Петербурге первого тома его обширного труда «Европейский роман в XIX столетии», в котором он пытался практически применить свою теорию. (Второй том — «Судьбы русского романа» — печатался в 1917 году в Петрограде, но из-за утраты в типографии нескольких корректурных листов так и не увидел света.) Представители разных литературных течений: П. Коган, В. Спасович, А. Горнфельд, Ф. Батюшков, акад. А. Н. Веселовский и др. — единодушно признали этот опыт неудачей автора, хотя и отметили в его труде ряд верных и интересных мыслей.

Между эстетической концепцией Боборыкина и его художественным творчеством главной связующей нитью являлся объективизм. Но как раз в то время, когда его эстетическая теория получила свое реакционное завершение, в художественных произведениях Боборыкина стали отчетливо проступать его авторская личность, его отношение к описываемым событиям и к героям.

«В политических сумерках царствования Александра III, — вспоминал один из современников, — романы Боборыкина были своего рода общественным событием и всегда откликались на какой-нибудь «последний крик» жизни»[2].

Выход пролетариата на арену общественной борьбы Боборыкин отметил уже в 1898 году романом «Тяга». Разумеется, автор не мог понять ни роли пролетариата, как единственного последовательно революционного класса, ни значения марксистско-ленинских идей в борьбе против самодержавия и капитализма. Тем не менее острый глаз наблюдательного художника сумел разглядеть тот факт, что в социальную жизнь России вступила новая сила, что эта сила растет количественно («тяга» из деревни в город), сплачивается и вооружается идейно.

Когда разразилась революция 1905 года и стачка стала одним из средств общероссийской политической борьбы, выливаясь в уличные демонстрации, в стычки с полицией и, наконец, в вооруженное восстание, — Боборыкин откликнулся на бурные революционные события рассказом «Грозные дни» (1906). Рассказ написан под свежим впечатлением революционных событий, все повествование пронизано глубокой взволнованностью автора. Его герои, потрясенные мощью революционного подъема, приходят к убеждению, что

---

[1] «Русская мысль», 1891, № 7, стр. 133.
[2] «Последние новости», Париж, 1921, № 99, 13 августа.

«нельзя быть ни в сих, ни в оных», находят в себе силы преодолеть обывательский страх перед движением масс.

И в революцию 1905 года и позже Боборыкин оставался близок к лагерю демократической реалистической литературы. Не случайно он был приглашен Горьким к участию в «Нижегородском сборнике», выпущенном в 1905 году.

Первая мировая война застала Боборыкина за границей, откуда он уже больше не возвращался в Россию, хотя время от времени сотрудничал в русской прессе и находился в постоянной переписке с друзьями и знакомыми.

Писатель, как и большинство русской интеллигенции, радостно приветствовал февральскую буржуазную революцию. «Что вам сказать о нашем великом перевороте? — писал он в мае 1917 года В. Е. Чешихину. — Начало прекрасное; но *теперь* что-то хмурится. Что-то будет?» Всем сердцем писатель стремился к России: «Никогда я еще во всю мою жизнь не *болел так родиной*», — замечал он в одном из последующих писем [1].

Особенно волновали в это время Боборыкина события первой мировой войны. Он был противником сепаратного мира с Германией из-за старинной, еще в годы франко-прусской войны сложившейся ненависти к германскому милитаризму. Он не понял империалистического характера войны. Оторванный от России, не представлявший себе всей глубины ненависти революционных рабочих и крестьянских масс к империалистической бойне, он продолжал ратовать за войну до победы над Германией.

Мы не знаем, как принял Боборыкин Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Вряд ли он мог понять ее грандиозный исторический смысл. После смерти писателя воинствующая белоэмигрантская печать смогла поставить ему в «заслугу» единственный факт — то, что он остался за рубежом, а не возвратился в Советскую Россию. Но был ли повинен в этой «заслуге» слепой старец, который, «болея родиной», не мог вернуться в Россию еще и до Октября? Известные нам опубликованные в русской зарубежной печати в послеоктябрьский период труды Боборыкина также не служат свидетельством его вражды к советской власти.

В 1919 году до редакции журнала «Вестник литературы», издававшегося группой петроградских писателей, дошли слухи о смерти Боборыкина в Ментоне, во Франции. Журнал откликнулся некрологами и воспоминаниями А. Измайлова, А. Ф. Кони, В. Чешихина. Тогда же было опубликовано несколько писем Боборыкина к Чешихину. Слухи о смерти Боборыкина оказались ошибочными. Он

---

[1] «Вестник литературы», 1919, № 6, стр. 15.

умер в Лугано 12 августа 1921 года за несколько дней до своего восьмидесятипятилетия.

Боборыкин не оставил глубокого следа в истории русской литературы. Из его огромного наследства лишь один роман — «Китай-город» пережил писателя и широко известен советским читателям. В этом отчасти повинна либерально-народническая критика, создавшая писателю славу апологета русской буржуазии, но еще больше причиной того явилась писательская манера Боборыкина. Он обуздал свой талант объективистским, натуралистическим методом, возведя объективизм в особый культ. И это, разумеется, отрицательно сказалось на героях его художественных произведений, лишило их нестрастности и сделало их не столько живыми людьми, сколько носителями тех или иных психологических черт и идей. Именно поэтому их имена не стали нарицательными, подобно Обломову или Базарову. Отсутствие эмоциональной насыщенности в романах и повестях Боборыкина 60—80-х годов делало читателя простым свидетелем различных событий, не пробуждало в нем гнева и радости, не побуждало его сопереживать чувства героев. «...Его писательский темперамент — олицетворение бесстрастия»[1], — писал о Боборыкине С. А. Венгеров. Писатель не вносил своего авторского «я» не только в ткань произведения, но и в подтекст.

Боборыкина называли фотографом, а не художником. Действительно, автор часто слишком спешил запечатлеть в еще не выношенных образах только что подсказанное ему жизнью. Он не всегда проникал в глубину внутреннего мира своих героев. И, наконец, перегружая свои произведения огромным количеством второстепенных бытовых деталей, писатель нередко утрачивал художественную перспективу, отступая от реализма к натуралистической школе.

Между тем художественная манера Боборыкина имела и свою положительную сторону. Писатель изображал события как совокупность бытовых, психологических и социальных противоречий и в этом проявил большую наблюдательность и мастерство. Именно поэтому, говоря словами А. Ф. Кони, «отсутствие ярких образов искупается у Боборыкина блестящим и дышащим правдой изображением не отдельных лиц, а целых организмов, коллективные стороны которых оставляют целостное впечатление»[2].

Но Боборыкин не делал выводов из обрисованных им противоречий, и критика становилась в тупик перед вопросом, каково же его credo. М. Протопопов, первым попытавшийся дать общую оценку

---

[1] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь..., т. IV, стр. 208.

[2] А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. V, Л. 1929, стр. 339.

художественного творчества Боборыкина за тридцать лет его писательской деятельности, признался, что не знает, к какому литературному направлению его отнести, приходя, однако, к выводу, что в романах и повестях Боборыкина «решительно нет демократического элемента»[1]. Напротив, С. А. Венгеров — второй после Протопопова исследователь творчества Боборыкина — считал, что писатель «бесспорно тоже должен быть причислен к искренним приверженцам демократических идей»[2].

Конечно, нельзя безоговорочно принять ни той, ни другой оценки. При общем либеральном облике Боборыкина в его художественном творчестве, так же как и в его мировоззрении, несомненно содержались демократические черты. Они отразились в самом выборе тем и в целом ряде конфликтов и образов его романов, повестей и рассказов, не говоря уже о публицистических выступлениях. И несмотря на серьезный налет натурализма, он все же оставался в основном на позициях реалистической школы.

Много лет спустя А. М. Горький в «Беседе о ремесле», отмечая и наблюдательность писателя, и его работу приемами «натуралиста», писал о повести «Поумнел»: «Но было принято не верить Боборыкину. Я — верил ему, находя в его книгах богатый бытовой материал»[3]. А. П. Чехов в начале 900-х годов в беседе с поэтом Ладыженским заметил: «Боборыкин добросовестный труженик, его романы дают большой материал для изучения эпохи. Этого не следует забывать»[4].

Каков бы ни был художественный талант Боборыкина-беллетриста, нельзя не признать, что он был искренне и самоотверженно предан литературе, в которой видел одну из форм служения «всему культурному и некультурному человечеству».

III

Обширное мемуарное наследие П. Д. Боборыкина выявлено далеко не полностью. Обнаружена только часть его многочисленных очерков, рассказывающих о личных встречах с писателями, учеными, общественными деятелями и деятелями искусства, разбросанных по

---

[1] «Русская мысль», 1892, № 11, отд. II, стр. 157, 137.

[2] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь..., т. IV, стр. 213.

[3] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, Гослитиздат, М., 1953, стр. 346.

[4] М. К. Куприна-Иорданская, Годы молодости, М., 1960, стр. 9.

периодическим изданиям, в которых в разное время сотрудничал писатель. Круг наблюдений и житейских встреч Боборыкина получил отражение и в особых мемуарных статьях, и в газетных и журнальных корреспонденциях, многие из которых до сих пор не разысканы.

В числе неразысканных произведений мемуарного жанра, принадлежащих перу Боборыкина, важнейшее место занимает его автобиография «Итоги писателя», о которой он упоминает в первой главе «За полвека». Эта рукопись в 90-х годах была передана писателем составителю «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С. А. Венгерову, который использовал ее для биографического очерка о Боборыкине и процитировал несколько весьма интересных отрывков, частично приведенных выше. В архиве С. А. Венгерова, хранящемся в Ленинграде в «Пушкинском доме», этой рукописи не оказалось. Судя по пометке в бумагах Венгерова, сделанной рукой самого Венгерова, она была возвращена автору.

Об этой автобиографии А. Измайлов сообщает следующее: «Он вел книгу «Итогов» своей жизни, род мемуаров, точнее — автобиографии, где стройно рассматривал всю свою огромную жизнь, деля ее на периоды. Кроме последней части, написанной в Лугано в последние годы, я читал эту «исповедь писателя», еще лучше: «обвинительный акт» обществу и критике, «последнее слово обвиняемого», которое должны были прослушать уже только после его смерти. Столько здесь таилось горькой и застарелой обиды! Даже самые выборы в русские «бессмертные» (в почетные академики) не обошлись без нее. Его обидел прием в. к. Константина Константиновича, который не нашелся сказать с ним ни единого слова об его писательстве, показать знание хоть одного названия его романа!» [1]

Неизвестна судьба и остального его рукописного наследия, в описи которого, опубликованной в 1924 году в парижской газете «Последние новости» П. Милюкова вдовой писателя С. А. Боборыкиной, значатся по разделу «автобиография» следующие названия: «Что я видел на своем веку», «Исповедь старца», «Зажился (Из дневника запоздавшего)», «В ожидании конца», «Последние итоги», «Последняя исповедь». Судя по заглавиям, эти очерки писались в последние годы жизни Боборыкина. В описи упоминаются и такие вещи явно мемуарного характера, как «Из переписки беженцев», «Тургенев среди нас (Греза наяву)», «Жизнерадостный Максим» (воспоминания о М. М. Ковалевском).

При жизни и вскоре после смерти писателя в зарубежной печати были опубликованы его воспоминания «Братья Рубинштейн» («Ев-

---

[1] «Вестник литературы», 1919, № 7, стр. 4.

рейская трибуна», 1920, № 33), «Доктор Владимир Бакст» (там же, 1920, № 26), «Нестор петербургского писательства. Памяти Вейнберга» (там же, 1920, № 47), «Москва моего времени. Последняя полоса жизни М. М. Ковалевского» («Последние новости», 1921, 18 августа), «Л. Толстой как вероучитель» («На чужой стороне», 1925, т. XIII) и печатаемый в настоящем издании очерк воспоминаний «От Герцена до Толстого» («Грядущая Россия», 1920, № 1).

Наиболее обширными мемуарными трудами Боборыкина являются его книги очерков «Вечный город» (1903) и «Столицы мира», а также воспоминания «За полвека», печатавшиеся при жизни автора в различных журналах. Первая из этих книг имеет своеобразный характер: она посвящена описанию Рима как обширнейшего хранилища памятников античности и эпохи Возрождения, которое перемежается с бытовыми зарисовками современной автору Италии. К «Вечному городу» приближается по своему жанру и описание «столиц мира» — Парижа и Лондона. Эта книга писалась в середине 90-х годов, но увидела свет лишь в 1911 году. В отличие от римских воспоминаний, повествование автора о пребывании в этих городах, где бился пульс международной жизни и мировой культуры, значительно более насыщено общественно значимыми наблюдениями. В «Столицах мира» отражены важные сдвиги, происшедшие в мироощущении самого автора, и это придало воспоминаниям о Париже и Лондоне более яркую социальную окраску.

Воспоминания «За полвека», по замыслу Боборыкина, должны были охватить все его наблюдения, впечатления, житейские встречи на протяжении долгих пятидесяти лет. Из этого труда только первые семь глав, написанные до 1906 года, печатались с большими перерывами в различных журналах при жизни автора. В 1929 году они были впервые объединены Б. П. Козьминым и выпущены отдельным изданием, куда вошел и очерк «От Герцена до Толстого». Две последующие главы, написанные в 1909—1910 годах, охватывающие период от 1865 и до 1872 года, обнаружены сравнительно недавно в Центральном Государственном архиве литературы и искусства, и отрывки из них опубликованы С. А. Макашиным и Н. Д. Эфрос в 1949 году в томе 51—52 «Литературного наследства». Полностью они печатаются впервые в настоящем издании.

Воспоминаниям «За полвека», как труду, наиболее насыщенному фактами и наблюдениями, отведено в настоящем издании главное место. Из «Столиц мира» печатаются только отдельные главы и отрывки. Опущены главы, которые либо совпадают по содержанию с VIII и IX главами воспоминаний «За полвека», либо же не затрагивают литературной и театральной жизни. По той же причине не включена в данное издание книга «Вечный город». Из очерков,

посвященных отдельным деятелям (М. М. Ковалевскому, Н. А. Некрасову, А. Н. Островскому, П. И. Якушкину, А. Д. Градовскому, А. И. Урусову, В. И. Живокини, Саре Бернар и др.), отобраны воспоминания, наиболее насыщенные впечатлениями личных встреч.

Главы из «Столиц мира» во многом дополняют и как бы продолжают книгу «За полвека» и расположены в настоящем издании после нее. Затем печатаются мемуарные очерки и статьи 1878—1917 годов в хронологической последовательности (лишь воспоминания разных лет об И. С. Тургеневе помещены рядом).

Книга «За полвека» не отличается той компактностью и сосредоточенностью, какая чаще всего характеризует воспоминания мемуаристов, концентрирующих внимание на описании отдельных крупных событий или выдающихся деятелей. Она скорее напоминает дневниковые записи, в которых автор остается центральной фигурой повествования. Он проводит читателя тем путем, по которому шел сам, показывает только то, что видел собственными глазами, сопровождая изложение своими оценками виденного и пережитого.

Иногда Боборыкин, забегая вперед, рассказывает о дальнейшей судьбе отдельных лиц. Но эти хронологические отступления не изменяют в целом летописного характера его мемуаров. Такая система изложения, вопреки желанию писателя достичь цельности в документальном изображении эпохи и выделить жизнь русской интеллигенции как ведущую тему воспоминаний, привела, напротив, к некоторой разбросанности, многотемности и неизбежным «оборотам на себя». Как и в беллетристических произведениях Боборыкина, здесь сказалось неумение автора ограничить себя отбором наиболее значимого материала.

Правда, можно выделить основные сферы культурной жизни, которые привлекают внимание писателя. Это — литературный мир, театральная жизнь и наука России и Западной Европы. И здесь — надо отдать должное мемуаристу — он пытается показать русскую жизнь в тесном переплетении интересов с западной, подчеркнув различия, обусловленные влиянием на развитие культуры политического режима самодержавия и буржуазных демократических свобод.

В мемуарах «За полвека» приводятся факты сотрудничества выдающихся писателей Западной Европы в русских журналах и газетах, их творчество находило отклик в русской читательской массе подчас раньше, чем в собственном отечестве. Автор рассказывает о широком интересе западноевропейского читателя к русской литературе, особенно к таким ее корифеям, как Тургенев, Толстой, Достоевский. Духовному родству виднейших представителей литературного мира России и Западной Европы, близости их творческого метода,

закрепленным и личными связями деятелей художественного слова, Боборыкин придавал большое значение. И это выгодно отличает его мемуары от множества воспоминаний его современников.

Писатель стремился показать и отличия, обусловленные национальными особенностями и разным уровнем социально-экономического развития стран Запада и России. Правда, в основном он останавливается на быте и нравах литературной среды на Западе. Из приводимых им фактов видно, как отразилось на западноевропейской литературе господство капиталистической системы с ее тенденцией превратить литературное дело в своеобразную разновидность буржуазного предпринимательства. Под влиянием духа наживы, господствующего в среде буржуазной интеллигенции, даже некоторые видные писатели-реалисты, вышедшие из низших слоев общества, привыкают смотреть на свой талант как на источник обогащения. Наряду с этим Боборыкин показывает и быт русских писателей, поставленных в иные условия из-за отсталости социально-экономического развития России; многие из них, выходцы из разночинной среды, влачат полунищенское существование. Почти всегда Боборыкин останавливается на психологической характеристике деятелей литературы и искусства, которую пытается связать, хотя часто и без достаточных оснований, с особенностями их творчества.

Театральную жизнь России и Западной Европы Боборыкин также пытается показать в их взаимосвязях и различии. Останавливаясь на некоторых национальных особенностях исполнительского творчества в каждой стране, Боборыкин прежде всего ищет в нем проявлений единой тенденции к реалистическому показу действительности. Удачно подмечены им некоторые важные черты в стремлении приблизить театральное творчество к народным массам на Западе, где отдается предпочтение дешевым зрелищам, создаваемым по инициативе предпринимателей с целью личного обогащения. Боборыкина возмущает репертуар французских зрелищ, рассчитанный на неразвитые вкусы и воспитывающий низменные инстинкты. Однако для него остается неясным, что такой репертуар подсказан классовым стремлением буржуазии не допустить народные массы к источнику духовного развития и отвлечь их внимание от социальных проблем.

Большое место в мемуарах занимает описание университетских порядков и студенческой жизни Парижа и Петербурга, Дерпта, Казани. Боборыкин противопоставляет замкнутости русских университетов широкий доступ к образованию, который дает Collège de France. Но в то же время он показывает различие в социальном составе сравнительно более обеспеченного французского студенчества и студенчества России, где выходцы из демократических слоев

с гораздо большим трудом могут добыть себе кусок хлеба. Этим различием, как видно из мемуаров, обусловлены и некоторые бытовые черты, отличающие жизнь Латинского квартала от корпоративного быта дерптских студентов и еще больше от землячеств казанских и петербургских учащихся. Но, несмотря на длительное пребывание в русских университетах, Боборыкин лучше знал политические настроения «Латинской республики», чем русского студенчества в годы первого демократического подъема. Студенческое движение достигло подлинного размаха как раз к началу 1861 года — последнего года обучения писателя в университете, и он, как уже отмечалось, стоял в стороне от движения. В силу этого писатель дал одностороннее и поверхностное освещение волнений в Петербургском университете, приняв один из поводов — введение матрикул — за главную причину движения студенческой молодежи. Пробуждение же интереса к социальным вопросам, к общественной борьбе совпало у Боборыкина с его пребыванием в Париже, с жизнью в Латинском квартале в атмосфере нараставшей всеобщей оппозиционности наполеоновскому режиму, наиболее ярко проявлявшейся в кругах молодежи. Поэтому воспоминания о жизни Латинского квартала более обстоятельны и окрашены социально, чем воспоминания о русских университетах и о студенческих волнениях в Петербурге.

Стремление показать русскую и западноевропейскую жизнь в их взаимных связях и отличиях было характерно как для мемуаров Боборыкина, так и для его публицистики и художественных произведений. Либерально-народническая критика усматривала в этом пренебрежение писателя к России и всему русскому. Его объявили западником, вложив в эту характеристику специфический смысл преклонения перед миром капиталистической наживы и упрекая Боборыкина в пренебрежении общественными традициями русской литературы.

Между тем не только по беллетристическим произведениям писателя, посвященным, как правило, вопросам русской жизни, но и по его мемуарам можно судить о несправедливости подобной оценки. В «Столицах мира», в VIII и IX главах воспоминаний «За полвека» Боборыкин с горечью констатировал проникновение буржуазных отношений в область духовной культуры. Он отмечал, что театральное дело в Лондоне поставлено на службу частной конкуренции, что парижская пресса и при Второй империи, и при Третьей республике является олицетворением подкупа и спекуляций. Но в то же время Боборыкин высоко ценил достижения западноевропейской науки и техники и понимал, что при всей условности буржуазно-демократических свобод формы политической жизни стран Западной Европы выше режима российского самодержавия.

В книге «За полвека» автор, несмотря на известный поворот к демократизму в конце 60-х годов, не смог в освещении начального периода своей литературной деятельности отрешиться от симпатий и антипатий, свойственных ему в конце 50 — начале 60-х годов, когда он в основном примыкал к антидемократическому лагерю. Если сравнить первые семь глав воспоминаний «За полвека», повествующих об этой эпохе, с двумя последующими, рассказывающими о второй половине 60 — начале 70-х годов, так же как и с печатаемыми главами из «Столиц мира», то нельзя не заметить значительной разницы в самом подходе писателя к оценке событий и лиц. Критические нотки по отношению к литературно-общественной борьбе первой половины 60-х годов, к русской революционно-демократической журналистике, которыми пронизаны первые семь глав воспоминаний, сменяются явно сочувственным тоном в освещении общественных движений Западной Европы и передовой публицистики России более позднего времени.

Рассказывая в главах V—VII о годах своего сотрудничества и руководства «Библиотекой для чтения», Боборыкин так излагает борьбу литературных течений, словно он в 900-х годах продолжает стоять на тех же позициях, как и во времена своего редакторства, как будто с тех пор в его воззрениях не произошло никаких перемен. Отмечая, например, что роман Лескова «Некуда» сыграл роковую роль для журнала, автор вместе с тем пытается оправдать себя тем, что печатание наиболее пасквильных глав происходило без его ведома. Он ссылается даже на то, что цензура не хотела пропускать первые главы романа Лескова, как слишком «вольные» по своему содержанию, и этим определялось его доверие к последующим главам романа. Однако появление романа «Некуда» на страницах «Библиотеки для чтения» не явилось досадной случайностью, как это пытается изобразить Боборыкин, оно было подготовлено общим курсом журнала, в котором брала перевес реакционная тенденция.

Один из прогрессивных деятелей в области педагогики, В. Острогорский, сотрудничавший поначалу в журнале, считал, что с переходом «Библиотеки» к Боборыкину журнал мог стать передовым органом печати. Однако очень скоро в журнал вошли «разные личности сомнительной литературной репутации и неопределенных убеждений. П. Д. имел неосторожность приблизить их к себе и если не слушаться их, то по крайней мере слушать». В редакции начались разговоры «об упадке эстетической критики», инициатива которых могла принадлежать Эдельсону, «о слишком якобы резком тоне «Современника» и «Русского слова» и даже о том, что «нужно было бы выступить походом против «очковтирателей», как называли Н. В. Успенского за его рассказы из народного быта. Все это, по

свидетельству В. Острогорского, наметилось еще в конце 1863 года. «Я спорил, возражал, горячился, — сообщает он, — ...и стал замечать, что ветер подул в другую сторону». Так, статья Острогорского о Добролюбове, отмечавшая выдающуюся роль его в развитии русской критики, была отвергнута. Когда через год после того на страницах «Библиотеки» появился роман Лескова, это «как нельзя более ясно показало новое направление, принятое редакцией» [1]. Свидетельство Острогорского говорит о том, что в этой части своих воспоминаний Боборыкин был не объективен.

Это можно подтвердить характеристиками, которые писатель дает передовой публицистике в воспоминаниях «За полвека». Он иронизирует по поводу «направленской журналистики», «разрывных идей» и т. д., как бы ставя себе в заслугу собственный индифферентизм. Не поняв глубокого смысла борьбы литературно-публицистических течений, выражавших противоположные интересы различных общественных сил, Боборыкин представил эту борьбу, как мелкую грызню, проявление «личного задора», как результат «отсутствия профессиональной солидарности и товарищеского чувства».

Между тем если в первой половине 60-х годов Боборыкин мог искренне заблуждаться и мечтать о внеклассовой писательской солидарности, то в период, когда он писал мемуары, он на опыте всей своей дальнейшей литературной деятельности имел возможность убедиться, откуда проистекала эта разобщенность в журналистике 60-х годов. Но, сумев отрешиться от общественного индифферентизма, свойственного ему в первой половине 60-х годов, писатель даже и в 900-х годах все же пытался найти ему оправдания. Умолчав об огромном влиянии «Современника», «Русского слова» и «Искры» на молодое поколение и формирование демократической идеологии, Боборыкин стремился в воспоминаниях «За полвека» заострить внимание читателя на резких формах полемики между «Современником» и «Русским словом» с 1863 года, как бы стараясь таким путем принизить значение революционно-демократической публицистики.

Таким образом, возвращаясь в 90—900-х годах в своих воспоминаниях к событиям первой половины 60-х годов, Боборыкин продолжает смотреть на них теми же глазами, какими он видел эпоху, будучи сотрудником и издателем «Библиотеки для чтения». Все это также усиливает летописный характер воспоминаний «За полвека».

Упоминая о Чернышевском и Добролюбове, писатель тоже как бы возвращался к своей позиции первой половины 60-х годов. Он

---

[1] Виктор Острогорский, Из истории моего учительства, СПб. 1914, стр. 156—158.

говорит о них как-то походя, неохотно, в лучшем случае в сдержанном тоне, сквозь который, однако, проскальзывает известная неприязнь Боборыкина к властителям дум молодого поколения. Говоря о Чернышевском, он касается преимущественно тех его внешних черт, на которых некогда сосредоточил внимание в своем фельетоне.

Между тем в статье «Нигилизм в России», написанной в тот период, когда Боборыкин в результате идейных исканий приблизился к демократическому лагерю, он, несмотря на неприятие революционной и социалистической системы взглядов Чернышевского и Добролюбова, дал высокую оценку их деятельности, отметив их ведущую роль во влиянии на молодое поколение. Роман Чернышевского «Что делать?» Боборыкин назвал «евангелием нигилистической социологии» и подчеркнул его выдающееся пропагандистское значение. «Я не знаю, — писал он, — существует ли в европейской литературе другое произведение, где под оболочкой романа, рисующего современную жизнь, была бы выражена коммунистическая пропаганда с такой убежденностью и с таким чистосердечным энтузиазмом» [1].

Боборыкин не разделял социалистических идей ни в их утопическом, ни в научном выражении. В этом сказывалась классовая позиция писателя не только в период развития в России марксизма, но еще и в 60-е годы, когда «демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое» [2]. В теории Чернышевского он усматривал противоречивое сочетание «реалистических принципов в философии и склонности к положительным знаниям с мистицизмом общественного переустройства». Поэтому в романе «Что делать?» он ценил лишь «негативную сторону», находя, что она «весьма замечательна и направлена против расовых предрассудков, неравенства и других искусственных различий», и поэтому в романе видна «глубокая любовь к человечеству», и «никто не может сомневаться в искренних чувствах автора к себе подобным» [3]. Отвергая эстетическую теорию Чернышевского и Добролюбова (что проскальзывает и в очерке воспоминаний Боборыкина о Писемском), он, однако, высоко ценил Добролюбова как литературного критика.

Демократическая тенденция, отличающая публицистику Боборыкина с конца 60-х годов, находит свое прямое отражение и в воспоминаниях об этом периоде. Писатель как будто резко меняет угол зрения, рассказывая о времени, когда вполне сформировался его идейный и писательский облик: он уже ощущает себя сотрудником демократических органов печати, писателем, примыкающим к пере-

---

[1] «Revue Britannique», 1868, № 10, стр. 375.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 1, М. 1941, стр. 253.
[3] «Revue Britannique», 1868, № 10, стр. 376.

довой литературе, каким он оставался до конца своей жизни. И в этом отношении мы не заметим существенной разницы между одним из ранних среди печатаемых воспоминаний — очерком, посвященным Тургеневу, и одним из позднейших трудов — «От Герцена до Толстого», который был написан в 1917 году и отличается только большей свободой выражения мысли, не связанной цензурой.

Основное, что характеризует все мемуары писателя, это стремление правдиво осветить события, свидетелем которых он был, и дать беспристрастную оценку людям, с которыми он встречался на жизненном пути. Можно с полным доверием отнестись к словам писателя, утверждавшего, что он ставил «выше всего полную правдивость» в передаче своих впечатлений о лицах, с которыми его сталкивала жизнь, «совершенно забывая о том», как они относились лично к нему. Действительно, доброе отношение к Боборыкину А. Дюма-сына не смягчило тех резких оценок, которые он еще при жизни французского писателя публично высказал в печати, в связи с выступлениями Дюма на стороне реакции во время падения Парижской коммуны и суда над коммунарами. Точно так же ни язвительная критика «Искры», ни резкая рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина на роман «Жертва вечерняя» не толкнули Боборыкина к односторонним или несправедливым оценкам деятельности В. С. Курочкина или Салтыкова. Писатель открыто сознавался в собственных ошибках. Например, он сам признал неправильной свою первоначальную оценку «Леса» Островского.

Однако Боборыкин, несмотря на искреннее стремление к предельной писательской честности в описании всего, что он видел и пережил, не смог все же избежать свойственного ему на протяжении большей части писательской и публицистической деятельности объективизма.

Стараясь избежать односторонности, тенденциозности, опасаясь сгущения тех или иных красок, Боборыкин впадал в другую крайность: он накладывал черные и розовые тона в равной пропорции, что зачастую мешало увидеть людей в истинном свете. Желая дать всестороннее освещение событий, автор по существу лишь искусственно уравновешивал отрицательное с положительным. В его мемуарах проявились основные черты натуралистического метода. И чем больше подчеркивал писатель двухкрасочность явлений, лишенную полутонов и перспективы, тем дальше отступала такая подача фактов от его замысла, принимая порою видимость примирения с реакцией, с социальным злом.

По существу объективизм Боборыкина был обобщенным выражением его политической позиции — стремления примирить социаль-

ные антагонизмы. И когда под таким углом зрения писатель обращался к характеристике прошлого, оно порой получало у него искаженное отображение.

Лучшим примером такого неумышленного искажения может служить двойственная оценка николаевской эпохи и крепостнических порядков, которым писатель посвятил немало строк в первых главах воспоминаний «За полвека». Боборыкин говорил здесь и о «гнете правительственных порядков» во времена николаевской реакции, и о «бесконтрольности помещичьей власти», и об отдельных фактах экзекуций, «забрития лбов» и т. п. Но тут же он бросал на другую чашу весов «вольное житье» и «богатство» крепостных крестьян (возможное лишь как единичный факт), «необременительность» барщины и оброков, демократический характер гимназического обучения (сравнительно с сословно-дворянскими учебными заведениями) и т. д. И хотя количественное соотношение тех и других характеристик было почти одинаковым, самый факт их уравнения перемещал центр тяжести с обличения крепостнических порядков на любование средневековой патриархальностью, прикрывавшей собой социальные антагонизмы.

Стремление Боборыкина «показать необходимость объективнее относиться к тогдашней жизни», которым он объяснял свои ремарки о крестьянском «благополучии» и др., по существу выглядело как попытка реабилитировать самую мрачную сторону русской истории, чего писатель, конечно, никак не имел в виду. Вл. Кранихфельд так и расценил первую главу воспоминаний «За полвека» после ее опубликования. Правда, он не без оснований полагал, что Боборыкин «старается извлечь из эпохи такие ее достоинства, которыми можно было бы, что называется, утереть нос современности»[1]. И действительно, в идеализации николаевских порядков, несомненно, проскальзывает желание автора подчеркнуть тот факт, что разница между крепостническим гнетом и гнетом капитала не так уж велика, что полицейский режим Николая II не многим легче режима его прадеда, что при крепостном праве крестьянам жилось не многим тяжелее, чем их потомкам в эпоху капиталистического разложения деревни. Однако самая мысль о такой параллели была подсказана объективистским отношением писателя к общественным явлениям.

Такой же подход проявил Боборыкин в своих воспоминаниях при оценке Второй империи во Франции, в частности — личности Наполеона III, приняв к тому же за чистую монету демагогические приемы его агрессивной внешней политики — заигрывание с поля-

---

[1] «Мир божий», 1906, № 3, стр. 81.

ками и «помощь» Италии в освобождении от австрийского владычества. Замечаниями о том, будто Наполеон был «защитником угнетенных национальностей» или что он «всегда имел склонность к социализму», Боборыкин уравновешивал отрицательную оценку Бонапартова режима в целом, подчеркивал «беспристрастность» своих суждений, хотя в то же время сообщал, что во Франции он прежде всего сблизился с антибонапартовскими кругами и в заграничных корреспонденциях поддерживал оппозицию наполеоновскому режиму.

Подобные объективистские оценки встречаются у писателя и при характеристике отдельных деятелей литературы, искусства, общественного движения. Так, в воспоминаниях о Писемском он, признавая клеветнический характер романа «Взбаламученное море», пытается объяснить этот «промах» писателя поспешностью его обобщений. Для оправдания Писемского он ссылается на его заграничные впечатления от русских эмигрантов, якобы давших пищу для образов романа, от «курьезных типов тогдашнего пропагандиста», говорит о том, что, задумав показать «картину взбаламученного русского общества», писатель «приступил к этому труду вполне искренне». Но в то же время Боборыкин замечает, что за либерализмом Писемского, открывавшего глаза обществу «на застарелые язвы и болячки», скрывался человек 40-х годов, «не пошедший дальше тех пределов, которые давным-давно переступили люди, поднявшие голову к 60-м годам», и справедливо ставит в упрек Писемскому, что тот «смешал неурядицу, грязь и пошлость, накопившиеся веками, с влиянием идей», о которых имел смутное представление.

Тот же объективизм наблюдается у писателя в оценке ряда сотрудников «Библиотеки для чтения» — славянофила Е. Н. Эдельсона, будущего сотрудника катковских изданий Н. Н. Воскобойникова и др. Характеризуя, например, Воскобойникова как «литератора-обывателя» полулиберального-полуконсервативного толка, автор между тем ставил ему в заслугу «сочувствие польскому вопросу», религиозное свободомыслие, «бескорыстность» и т. д. Выделение ведущих черт в облике того или иного деятеля представлялось писателю «тенденциозностью».

Однако оценки Боборыкина часто утрачивают свой объективистский характер, когда описываемое лицо по своей деятельности не нуждается в оправдании перед историей. С большой последовательностью, например, рисует автор образ Герцена, в котором видит прежде всего родоначальника русского социалистического движения, глашатая будущего общественного преобразования. Такая оценка поднимает Боборыкина над подавляющим большинством либеральных писателей, которые, по выражению В. И. Ленина, чествовали Герцена, «заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тща-

тельно скрывая, чем отличался *революционер* Герцен от либерала»[1]. Если на основе собственных воспоминаний Боборыкин немногое мог добавить к характеристике идейного облика Герцена (слишком кратковременным было их личное знакомство и неожиданным скорый конец Герцена), то все же он был одним из немногих, сумевших разглядеть в посмертно опубликованной переписке Герцена его идейную эволюцию последних лет и отметить, что Герцен под конец своей жизни признал Маркса «великим инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим строем» и увидел в объединении рабочих «первое семя и первый всход будущего экономического устройства».

Боборыкин видел идейную связь Герцена с последующим поколением революционеров. В статье «Нигилизм в России» он справедливо отмечал, что «Герцен дал главный толчок политическому и социальному радикализму»[2]. Однако под конец жизни в противоречие с этой правильной оценкой места Герцена в истории русского освободительного движения он, сравнивая в статье «От Герцена до Толстого» Герцена с Чернышевским, определил их как «продукт двух эпох, двух обществ, двух интеллигенций».

Боборыкин сумел по достоинству оценить ту роль, которую сыграло появление в русской литературе плеяды писателей-демократов 60—70-х годов: Слепцова, Решетникова, Левитова, Помяловского и др. О том свидетельствуют не только его воспоминания, но и критические статьи, в одной из которых он писал: «Разночинец проникнул в литературу и принес с собой знакомство с народом, более реальные приемы изображения, сердечное участие к горькой судьбе многомиллионной серой трудовой массы»[3].

В воспоминаниях Боборыкина обращает на себя внимание масса второстепенных подробностей в описании быта, обстановки, житейских привычек, внешнего облика и тому подобных, порой несущественных деталей, в которых, как ему казалось, должно исчерпывающе раскрыться внутреннее содержание явлений и характеров. Это также было характерной чертой натуралистического метода и наиболее наглядно проявилось в описании театральной жизни Петербурга, Москвы, Парижа, Лондона и Вены. Наряду с тонкими оценками и интересными наблюдениями, писатель во множестве перечислял имена актеров, названия пьес, ничего не сказав о них по существу.

Интересные бытовые зарисовки не всегда были у писателя органически связаны с внутренним содержанием конкретных собы-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 9.
[2] «Revue Britannique», 1868, № 10, стр. 374.
[3] «Слово», 1878, № 6, стр. 54.

тий. Но часто они приобретали самостоятельное значение для освещения эпохи в целом. Таковы, например, описания крупных европейских центров — Парижа, Лондона, Вены, Рима, Берлина, Бадена и других, где Боборыкин сумел соблюсти чувство меры и к тому же очень живо передать читателю свои впечатления. Блестящее описание Лондона как воплощения двух социальных полюсов, бичующие характеристики нравов продажной французской прессы и политической коррупции, изображение глубокого внутреннего застоя испанской жизни и политического индифферентизма венской — все это, как и многое другое, плоды тонкой наблюдательности писателя. То же самое можно сказать и о бытовых характеристиках большинства упоминаемых лиц.

Причудливое переплетение различных и часто противоречивых черт в мировоззрении Боборыкина наложило свою печать и на его художественные произведения, и на его публицистику, и на мемуары. Однако писательская честность, с которой он стремился описывать события, факты и людей, преобладает над объективистскими чертами отдельных его оценок и характеристик. Именно это стремление писателя правдиво показать действительность определяет общий тон его воспоминаний и делает их интересным источником изучения литературной, театральной и общественной жизни России и Западной Европы 50 — начала 70-х годов, а также важных фактов личной и творческой биографии ряда крупнейших деятелей русской культуры, с которыми он встречался позднее.

Э. Виленская
Л. Ройтберг

ЗА ПОЛВЕКА

Мои воспоминания

(главы I—VIII)

La vie apaise comme la mort, réconcilie avec ceux qui ne pensent pas ou qui ne sentent pas comme nous.

M. Guyau («L'irréligion de l'avenir»)[1].

Кто знает: сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти.

Ив. Тургенев («Фауст», 7-е письмо).

ВСТУПЛЕНИЕ

Итоги писателя. — Опасность всяких мемуаров. — Два примера: Руссо и Шатобриан. — Главные две темы этих воспоминаний: 1) Жизнь и творчество русских писателей; 2) судьбы нашей интеллигенции. — Тенденциозность и свобода оценок. — Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира»

Пришел час оглянуться на всю или почти всю прожитую жизнь.

Полвека и даже с придатком — срок достаточный. Он охватывает полосу уже вполне сознательной жизни, с того возраста, когда отрок готовится быть юношей.

Для меня — в годы моего первоначального ученья — это совпадало с переходом в пятый класс гимназии, то есть к 1851 году. Через два года я был студент.

Я высидел уже тогда четыре года на гимназической «парте», я прочел к тому времени немало книг, заглядывал даже в «Космос» Гумбольдта, знал в подлиннике драмы Шиллера; наши поэты и прозаики, иностранные романисты и рассказчики привлекали меня давно. Я был накануне первого своего литературного опыта, представленного по классу русской словесности.

Писатель уже был в зародыше.

Записки мои и будут *итогами писателя* по преимуществу.

---

[1] Жизнь успокаивает, как смерть, примиряет с теми, кто мыслит или чувствует иначе, чем мы. *М. Гюйо*. («Иррелигиозность будущего».)

Под этим заглавием «Итоги писателя» * я набросал уже в начале 90-х годов, в Ницце, и дополнил в прошлом году, как бы род моей авторской исповеди. Я не назначал ее для печати; но двум-трем моим собратам, писавшим обо мне, давал читать.

Эта чисто личная *писательская* исповедь появится в печати после меня.

Мемуары — предательское дело для самих авторов, да и для публики.

Для авторов потому, что слишком велик соблазн говорить обо всем, что для читателей вовсе не интересно, перетряхать сотни житейских случаев, анекдотов, встреч, знакомств и впадать в смертный грех старчества.

Для публики потому, что она так часто не находит того, чего законно ищет, и принуждена поглощать десятки и сотни страниц безвкусных воспоминаний, прежде чем выудить что-нибудь действительно ценное.

Мне кажется, так выходит всего чаще оттого, что составители записок не выбирают себе главной темы, то есть того *ядра,* вокруг которого должен кристаллизоваться их рассказ.

Без такого «ядра» всякие воспоминания будут непременно рисковать перейти в беспорядочную болтовню.

Мемуары и сами-то по себе — слишком личная вещь. Когда их автор не боится говорить о себе беспощадную, даже циническую правду, да вдобавок он очень даровит — может получиться такой «человеческий документ», как «Confessions» [1] Ж.-Ж. Руссо *. Но и в них сколько неизлечимой возни с своим «я», сколько усилий обелить себя, обвиняя других.

И такой талант, как Шатобриан в своих «Memoires d'outre tombe» * грешил, и как! той же постоянной возней с своим «я», придавая особенное значение множеству эпизодов своей жизни, в которых нет для читателей объективного интереса, после того как они уже достаточно ознакомились с личностью, складом ума, всей психикой автора этих «Замогильных записок».

На всемирную известность Руссо и Шатобриана ни-

---

[1] «Исповедь» *(франц.).*

кто из нас не будет претендовать. Я это говорю затем только, чтобы подтвердить верность того, что я сейчас написал о необходимости «ядра».

В этих воспоминаниях ядром будет по преимуществу *писательский мир* и все, что с ним соприкасается, и вообще *жизнь русской интеллигенции,* насколько я к ней приглядывался и сам разделял ее судьбы.

Это спасет меня, я надеюсь, от излишних «оборотов на себя», как пишется на векселях*. Гораздо больше речь пойдет о тех, с кем я встречался, чем о себе самом.

И всю-то русскую жизнь, через какую я проходил в течение полвека, я главным образом беру как материал, который просился бы на творческое воспроизведение. Она составит тот *фон,* на котором выступит все то, что наша литература, ее деятели, ее верные слуги и поборники черпали из нее.

Вопрос о том, насколько была тесна связь жизни с писательским делом, — для меня первенствующий. Была ли эта жизнь захвачена *своевременно* нашей беллетристикой и театром? В чем сказывались, на мой взгляд, те «опоздания», какие выходили между жизнью и писательским делом? И в чем можно видеть истинные заслуги русской интеллигенции, вместе с ее часто трагической судьбой и слабостями, недочетами, малодушием, изменами своему призванию?

Хуже всего — узкая *тенденциозность,* однотонный колорит мнений, чувств, оценок. Быть честным — не значит еще ходить вечно *в шорах,* рабски служа известному лозунгу без той смелости, которую я всегда считал высшей добродетелью писателя.

И какая, спрошу я, будет сладость для публики: находить в воспоминаниях старого писателя все один и тот же «камертон», одно и то же окрашивание нравов, событий, людей и их произведений?

Этим, думается мне, грешат почти все воспоминания, за исключением уже самых безобидных, сшитых из пестрых лоскутков, без плана, без ценного содержания.

То, что я предлагаю читателю здесь, почти исключительно *русские* воспоминания. Своих *заграничных* испытаний, впечатлений, встреч, отношений к тамошней интеллигенции, за целых тридцать с лишком лет, я в подробностях касаться не буду.

Тот отдел моей писательской жизни уже записан мною несколько лет назад, в зиму 1896—1897 года, в целой книге «Столицы мира» *, где я подводил итоги всему, что пережил, видел, слышал и зазнал в Париже и Лондоне с половины 60-х годов.

Там я сравнительно гораздо больше занимаюсь и характеристикой разных сторон французской и английской жизни, чем даже нашей в *этих русских воспоминаниях*. И самый план той книги — иной. Он имеет еще более объективный характер. Встречи мои и знакомства с выдающимися иностранцами (из которых все известности, а многие и всесветные знаменитости) я отметил почти целиком, и галерея получилась обширная — до полутораста лиц.

Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы» *, но по разным причинам до сих пор не напечатана.

Если читателю моих *русских воспоминаний* было бы интересно сопоставить оба отдела моей жизни, я, к сожалению, не могу еще удовлетворить его желание, но не по своей вине.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нижегородская гимназия. — Решение своей дороги в четвертом классе. — Задатки писателя. — Наш дом. — Гувернеры и дворовые, частные учителя. — Страсть к чтению. — Книжник-библиотекарь Меледин. — Как отражалась на нас николаевская эпоха? — Мои дяди. — Нижегородский театр. — Первая поездка в Москву на масленице 1853 года. — Тогдашние московские театры. — Щепкин в лучших своих созданиях. — Другие крупные силы в мужском и женском персонале. — Первая пьеса Островского на сцене. — Окончание курса. — Как мы относились к деревне и крестьянству? — Культурные элементы окружающей жизни. — Писатели, каких я знал по Нижнему. — Родной город и его природа. — Историческая старина Нижнего. — Первая поездка в Казань. — Холера. — Итоги воспитывающей среды и ученья перед поступлением в студенты

Не помню, чтобы я при переходе из отрочества в юношеский возраст определенно мечтал уже быть писателем или «сочинителем», как тогда говорили все: и большие, и мы, маленькие. И Пушкин употреблял это слово, и в прямом смысле, а не в одном том ироническом значении, какое придают ему теперь.

Но свою умственную дорогу нас заставили самих решить еще годом раньше, при переходе в четвертый класс гимназии, то есть по четырнадцатому году.

Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове *.

Когда мы к 1-му сентября собрались после молебна, перед тем как расходиться по классам, нам, *четвероклассникам,* объявил инспектор, чтобы мы, поговорив дома с кем нужно, решили, как мы желаем учиться дальше: хотим ли продолжать учиться латинскому языку (нас ему учили с первого класса) для поступления

в университет, или новому предмету, «законоведению», или же ни тому, ни другому. «Законоведы» будут получать чин четырнадцатого класса; * университетские — право поступить без экзамена, при высших баллах; а остальные — те останутся без латыни и знания русских законов и ничего не получат; зато будут гораздо меньше учиться.

Этого мало. От нас потребовали, даже от тех, кто пожелает продолжать латынь — обозначить еще, какой факультет мы выбираем.

Теперь это показалось бы невероятным; а так оно *было*, и было в самый разгар «николаевского» режима, до Крымской войны, когда на нее еще не было и намека.

И по всей гимназии наделал шуму ответ гимназиста 5-го класса С — на, который написал: «на первое отделение философского факультета», что по-тогдашнему значило: в историко-филологический факультет. Второе отделение было физико-математическое.

Я нарочно начинаю с гимназии.

Место учения, где вы просидели семь лет, дает если не всему, то многому основной тон.

В моем родном городе Нижнем (где я родился и жил безвыездно почти до окончания курса) и тогда уже было два средних заведения: гимназия (полуклассическая, как везде) и дворянский институт, по курсу такая же гимназия, но с прибавкой некоторых предметов, которых у нас не читали. Институт превратился позднее в полуоткрытое заведение, но тогда он был еще интернатом и в него принимали исключительно детей потомственных и личных дворян.

И форму «институтцы» носили не общую (красный воротник с серебряными пуговицами, по казанскому округу); а свою — с золотыми пуговицами. Сюртуков у них не было, а только мундиры с фалдочками (как у гимназистов) и куртки.

Выбор гимназии состоялся не сразу. Меня хотели было отдавать в кадеты. Была речь и об училище правоведения. В институт не отдали, вероятно для того, чтобы держать меня дома, а также и оттого, что гимназия дешевле.

Поверят ли мне, что во все семь лет учения годовая плата была пять рублей?!! Ее вносили в полугодия, да и то бывали недоимщики. Вся гимназическая выучка —

с правом поступить без экзамена в университет своего округа — обходилась *в 35 рублей!*

Нельзя придумать более доступного, демократического заведения! Оно было им и по составу учеников, как везде. За исключением крепостных, принимали из всех податных сословий. Но дворяне и крупные чиновники не пренебрегали гимназией для детей своих, и в нашем классе очутилось больше трети барских детей, некоторые из самых первых домов в городе. А рядом — дети купцов, мелких приказных, мещан и вольноотпущенных. Один из наших одноклассников оказался сыном бывшего дворового отца своего товарища. И они были, разумеется, на *ты*...

Наша гимназия была вроде той, какая описана у меня в первых двух книгах «В путь-дорогу»*. Но когда я писал этот роман, я еще близко стоял ко времени моей юности. Краски наложены, быть может, гуще, чем бы я это сделал теперь. В общем, верно; но полной объективности еще нет.

Если все сообразить и одно к другому прикинуть, то выйдет, что все было еще гораздо *лучше,* чем могло бы быть, и при этом не забывать, *какое* тогда стояло время.

Начать с того, что мы, мальчуганами по десятому году, уже готовили себя к долголетнему ученью и *добровольно.* Если б я упрашивал мать: «готовьте меня в гусары», очень возможно, что меня отдали бы в кадеты. Но меня еще за год до поступления в первый класс учил по-латыни бывший приемыш-воспитанник моей тетки, кончивший курс в нашей же гимназии.

И я без всякого отвращения склонял «mensa»[1] и спрягал «amo»[2], повторяя вслух «amaturus, amatura, amaturum, sim, sis, sit», и когда поступил, то знал уже наизусть езоповскую басню о двух раках: «Cancrum retrogradum monebat pater...»[3]

Некоторых из нас рано стали учить и новым языкам; но не это завлекало, не о светских успехах мечтали мы, а о том, что будем сначала гимназисты, а потом *студенты.* Да! Мечтали, и это великое дело! Студент рисовался нам, как высшая ступень для того, кто

---

[1] стол *(лат.).*
[2] люблю *(лат.).*
[3] Рак поучает сына, привыкшего пятиться задом *(лат.).*

учится. Он и учится и «большой». У него шпага и треугольная шляпа. Вот почему целая треть нашего класса решили *сами*, по четырнадцатому году, продолжать учиться по-латыни, без всякого давления от начальства и от родных.

Это факт характерный.

«Николаевщина» царила в русском государстве и обществе, а вот у нас, мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине. Из всех нас (а в классе было до тридцати человек) только двое собирались в юнкера: процент — ничтожный, если взять в соображение, какое это было время.

Но дело в том, что *общий* гнет совсем не чувствовался нами так, как принято признавать до сих пор в русской публицистике.

Меня дома держали строже, чем кого-либо из моих одноклассников; но эта строгость была больше внешняя, да и то по известным только пунктам. Самый главный, от которого приходилось всего обиднее, это — надзор, в виде гувернера, запрет ходить одному по улице, посещать своих товарищей без позволения. Но на таком «положении» был едва ли не я один во всем классе. Остальные — особенно дети мелких чиновников и разночинцев, — пользовались большой свободой. Да и в гимназии мы не знали настоящего гнета. Начальство, когда мы стали подрастать, то есть директор и инспектор, не внушало нам страха. Мы над ними, за глаза, подсмеивались. Секли в нашей гимназии только до четвертого класса. Да и большинство никогда не проходило через эти экзекуции. Учили нас плохо, духовное влияние учителей было малое. В этом картина классной жизни в романе «В путь-дорогу» достаточна верна. Но нас не задергивали, не муштровали, у нас было много досуга и во время самых классов читать и заниматься чем угодно. Много не учебных книжек, журналов и романов, прочитывалось на уроках. И первые по счету (мы сидели по успехам) ученики всего больше уклонялись от классной дисциплины. Уроки они знали хорошо. Сидеть и слушать, как отвечают другие, — скука. Они читали или писали переводы и упражнения для приятелей.

Мой товарищ по гимназии, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета В. А. Лебедев, поступил к нам в четвертый класс и прямо стал

слушать законоведение. Но он был дома превосходно приготовлен отцом, доктором, по латинскому языку и мог даже говорить на нем. Он всегда делал нам переводы с русского в классы словесности или математики, иногда нескольким плохим латинистам зараз. И кончил он с золотой медалью.

Да и дома приготовление уроков брало каких-нибудь два часа. Тяжелых письменных работ мы не знали.

В результате плохая школьная *выучка;* но охота к чтению и гораздо большая развитость, чем можно бы было предположить по тем временам.

Разносословный состав товарищей делал то, что мальчики не замыкались в кастовом чувстве, узнавали всякую жизнь, сходились с товарищами «простого звания».

Дурного я от этого не видал. Тех, кто был держан строго, в смысле барских запретов, жизнь в других слоях общества скорее привлекала, была чем-то вроде запретного плода. И когда, к шестому классу гимназии, меня стали держать с меньшей строгостью по части выходов из дому (хотя еще при мне и состоял гувернер), я сближался с «простецами» и любил ходить к ним, вместе готовиться, гулять, говорить о прочитанных романах, которые мы поглощали в больших количествах, беря их на наши крошечные карманные деньги из платной библиотеки.

Беллетристика — переводная и своя — и сказалась в выборе сюжета того юмористического рассказа «Фрак», который я написал по переходе в шестой класс. Он был послан в округ (как тогда делалось с лучшими ученическими сочинениями), и профессор Булич написал рецензию *, где мне сильно досталось, а два очерка из деревенской жизни «Дурачок» и «Дурочка», ученика В. Е[шев]ского (брата покойного профессора Московского университета *, которого я уже не застал в гимназии), сильно похвалил, находя в них достоинства во вкусе тогдашних повестей Григоровича *.

Мы все изумлялись тому, как он мог написать такие два очерка, и даже заподозрили подлинность этого сочинительства. Беллетриста из него не вышло, а только чиновник, кажется провиантского ведомства.

Рецензия профессора Булича привела меня в некоторое смущение и посбавила моей школьной славы.

Хотя я и не мечтал еще тогда пойти, со временем, по чисто писательской дороге, однако, сколько помню, я собирался уже тайно послать мой рассказ в редакцию какого-то журнала, а может, и послал.

Учитель словесности уже не так верил в мои таланты. В следующем учебном году я, не смущаясь, однако, приговором казанского профессора, написал нечто вроде продолжения похождений моего героя, и в довольно обширных размерах. Место действия был опять Петербург, куда я не попадал до 1855 года. Все это было *сочинено* по разным повестям и очеркам, читанным в журналах, гораздо больше, чем по каким-нибудь устным рассказам о столичной жизни.

Читал я эту эпопею вслух в классе, по мере того как писал. Все слушали с интересом, в том числе и учитель.

Репутация «бойкого пера» утвердилась за мною. Но в округ наших сочинений уже не посылали. Не было, когда мы кончали, и тех «литературных бесед», какие происходили прежде. Одну из таких бесед я описал в моем романе с известной долей вымысла по лицам и подробностям.

На этих «беседах» происходили настоящие прения, и оппонентами являлись ученики. В моей памяти удержалась в особенности одна такая беседа, где сочинение ученика седьмого класса читал сам учитель, а автор стоял около кафедры.

На меня же, в двух последних классах, возлагалась почти исключительно обязанность читать вслух отрывки из поэтических произведений и даже прозу, например из «Мертвых душ». Всего чаще читались стихотворения и главы из поэм Лермонтова.

Выходит, стало быть, что две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение — предмет интереса всей моей писательской жизни *, уже были намечены *до* наступления юношеского возраста, то есть до поступления в университет.

Всего более отзывалось николаевским временем тогдашнее начальство: директор и инспектор. Они оставались все те же за все время учения. Не то чтобы они были бездарны и неумелы. Директор был из учителей словесности, и Ф. И. Буслаев с сочувствием говорит о нем в своих воспоминаниях о пензенской гимназии *,

где учился. Тогда этот самый «Янсон Петрович» выдавался как способный преподаватель, сумевший возбуждать в учениках любовь к словесности. А у нас он превратился в алкоголика и пугалу, никогда не бывал в классах и только на экзаменах желал выказывать свои познания в латинском языке и риторике. То, что приведено в моем романе о его способе экзаменовать по стихосложению, не выдумано.

Инспектор был из наших же учителей, духовного звания, как и директор; учил нас в первых двух классах латыни очень умело, хоть и по-семинарски; но, попав в инспекторы, сделался для нас «притчей во языцех», смешной фигурой полицейского, с наслаждением ловившего мальчуганов, возглашая при этом: «стань столбом!» или «дик видом».

Не то что уже обаяния, высшего руководительства, но даже простого признания их формального авторитета они в наших глазах не имели. Но, как я говорю выше, в общем весь этот школьный режим не развращал нас и не задергивал настолько, чтобы мы делались, как недавно, забитыми гимназической «муштрой».

Доказательство того, что у нас было много времени, — это запойное поглощение беллетристики и журнальных статей в тогдашней библиотеке для чтения, куда мы несли все наши деньжонки. Абонироваться было высшим пределом мечтаний, и я мог достичь этого благополучия только в шестом классе; а раньше содержатель библиотеки, старик Меледин, из балахнинских мещан, давал нам кое-какие книжки даром.

Это была типичнейшая фигура. Из малограмотных мещан уездного города он сделался настоящим *просветителем* Нижнего; имел на родине лавчонку, потом завел библиотеку и кончил свою жизнь заведующим городской публичной библиотекой, которая разрослась из его книгохранилища.

Он говорил на «он» и делал такие ударения: «Двадцать лет спу́стя», а не «спустя̀», называя заглавие романа Дюма-отца: «Vingt ans aprês». Всякую книгу он знал и прочел, конечно, две трети томов своей библиотеки, тогда исключительно русской. С нами, подростками, он держал себя строговато и добродушно вместе, и втянуть его в разговор было нетрудно. Мы его выспрашивали насчет сюжета книжки или содержания

статьи, и он умел возбуждать наш интерес, как никто. И впоследствии, в бесплатной городской библиотеке, он сам давал читателю то, что ему «нужно», видя каждого посетителя насквозь.

В такой библиотеке для чтения стоял воздух того, что теперь зовется «интеллигенцией», воздух если не научной, то словесной любознательности, склонности к произведениям изящного слова и критической мысли. Разумеется, мы бросались больше на романы. Но и в этой области рядом с Сю и Дюма читали Вальтера Скотта, Купера, Диккенса, Теккерея, Бульвера и, поменьше, Бальзака. Не по-французски, а по-русски прочел я подростком «Отец Горио» («Le Père Goriot»), а когда мы кончали, герои Диккенса и Теккерея сделались нам близки и по разговорам старших, какие слышал я всегда и дома, где тетка моя и ее муж зачитывались английскими романистами, Жорж Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах *.

Наших беллетристов мы успели поглотить если не всех, то многих, включая и старых повествователей, и самых тогда новых, от Нарежного и Полевого до Соллогуба, Гребенки, Буткова, Зинаиды Р — вой *, Юрьевой (мать А. Ф. Кони), Вонлярлярского, Вельтмана, графини Ростопчиной, Авдеева — тогда «путейского» офицера на службе в Нижнем.

«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Арабески» Гоголя, «Мертвые души» и «Герой нашего времени» стояли над этим. Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше *. Все это было до 1853 года включительно.

Самое ценное, что было в гимназии, это идея *открытого* и *всесословного* заведения. Она была для каждого неглупого мальчика символом знания, умственной культуры, преддверием в университет.

Вместе со многими моими товарищами-дворянами, детьми местных помещиков и крупных чиновников, я был, в полном смысле, *питомец* министерства «народного просвещения», за ученье которого заплатили те же тридцать пять рублей за семилетний курс, как и за сына какой-нибудь торговки на Нижнем базаре или мелкого портного.

Бытовая сторона жизни гимназиста для будущего писателя была бы еще богаче содержанием, если б меня не так строго держали дома, если б до шестнадцатилетнего возраста при мне не состояли гувернеры.

Об этих гувернерах я уже рассказывал в отдельных очерках. Они печатались когда-то в газете «Новости», лет около двадцати назад.

Как учителя они были плохи. Не очень хороши и как воспитатели; но они нас *не портили*. А многое общекультурное пришло прямо через них. Немец, сын пастора в приволжской колонии, был ограниченный малый, но добродушный и умел привязать к себе, влиял всем своим бытовым складом, развивал рассказами, возбуждая любознательность, давал чувствовать, что такое сохранять достоинство и в некрасной доле «немца». Француз, живший у нас около четырех лет, лицо скорее комическое, с разными слабостями и чудачествами, был обломок великой эпохи, бывший военный врач в армии Наполеона, взятый в плен в 1812 году казаками около города Орши, потом «штаб-лекарь» русской службы, к старости опустившийся до заработка домашнего преподавателя.

От него чего я только не наслушался! Он видал «le petit caporal»[1] * целыми годами, служил в Италии еще при консульстве, любил итальянский язык, читал довольно много и всегда делился прочитанным, писал стихи и играл на флейточке. Знал порядочно и по-латыни и не без гордости показывал свою диссертацию на звание русского «штаб-лекаря» о холере: «De cholera morbus».

Это была старая Европа, Франция героической эпохи, не умиравший до смерти интерес к умственным и художественным впечатлениям! А то, чего он не мог мне дать как преподаватель, — то доделал другой француз — А.-И. де Венси (de Vincy), тоже обломок великой эпохи, но с прекрасным образованием, бывший артиллерийский офицер времен Реставрации, воспитанник политехнической школы, застрявший в русской провинции, где сделался учителем и умер, нажив три дома. Ему я обязан *очень большой словесной муштрой,* вплоть до выхода из гимназии, на тех уроках, которые ходил

---

[1] маленького капрала *(франц.)*.

брать у него на дому. *Так,* насколько я потом наблюдал, уже *не* учили и самые патентованные педагоги. О простых гимназических учителях и говорить нечего.

Уроки дома языков, музыки, учителя и репетиторы, вплоть до семинаристов, делали ученье разнообразным и позволяли завязывать приятельские отношения со всем этим народом, не исключая и семинаристов, являвшихся ко мне зимой в тулупах, покрытых нанкой.

И все это шло как-то само собой в доме, где я рос один, без особенного вмешательства родных и даже гувернеров. Факт тот, что если физическая сторона организма мало развивалась — но далеко не у всех моих товарищей, — то голова работала. В сущности, целый день она была в работе. До двух с половиной часов — гимназия, потом частные учителя, потом готовиться к завтрашнему дню, а вечером — чтение, рисование или музыка, кроме послеобеденных уроков.

Такой режим совсем не говорил о временах запрета, лежавшего на умственной жизни. Напротив! Да и разговоры, к которым я прислушивался у больших, вовсе не запугивали и не отталкивали своим тоном и содержанием. Много я из них узнал положительно интересного. И у всех, кто был поумнее, и в мужчинах и в женщинах, я видел большой интерес к чтению. Формальный запрет, лежавший, например, на журналах «Отечественные записки» и «Современник» у нас в гимназии, не мешал нам читать на стороне и тот и другой журналы.

И, кроме старших из своего сословия и круга, учителей и гувернеров, развивали нас и *дворовые*.

Это вовсе не парадокс и не выдумка.

В тех газетных очерках, о которых я сейчас упомянул, я говорю о дворовых, моих друзьях, от которых я многому научился, и вовсе не в дурном смысле.

Типичнейшая личность старой девицы Лизаветы (вольноотпущенной моей прабабки с материнской стороны) вошла и в мой первый роман. И эта «Лизавета Андреевна» стоила целой энциклопедии. Она жила на покое и запойно читала. Нет ни малейшего преувеличения в том, что я сообщал в тех очерках о ее изумительной памяти и любознательности во всем, что — история, политика, наполеоновская эпоха, война 1812 года. Она знала наизусть имена маршалов Наполеона, даже таких, о которых у нас выпускные гимна-

зисты никогда не слыхали, имена и возраст членов *всех* царствующих домов. Она читала решительно все, что могла достать: газеты, журналы, романы, многотомные сочинения, *всю* историю Карамзина и описания таких обширных путешествий, как кругосветное плавание Дюмон-Дюрвиля *. Любимые ее темы были: исторические личности — Наполеон, Иван Грозный, Карл XII, Петр Великий, Екатерина Вторая, король Густав-Адольф.

Спрашивается: каким образом могло бы сложиться бытовое лицо такой Лизаветы Андреевны, если б в том доме, где она родилась дворовой девчонкой, не было известного умственного воздуха?

Дворовые для меня, да и не для одного меня, были связующим звеном с деревней, с народом. Половину их, молодых, брали из деревни; остальные — родились уже в дворне. И девичья, и прихожая, и, главное, столярная и другие службы и в городе и в деревне были для меня предметом живого интереса. У меня заводилось приятельство и со старыми и с молодыми. От женского пола не видал я никакого порочного влияния даже и в те годы, когда из отрока вырастал в юношу. Рассказы няньки, горничных, буфетчика, столяров, старого повара и подростков-поварят, псарей, музыкантов — все это обогащало знание *быта,* делало ближе к народу, забавляло, или заставляло его жалеть, или бояться за других.

«Музыкантская» потянула к скрипке, и первый мой учитель был выездной «Сашка», ездивший и «стремянным» у деда моего. К некоторым дворовым я привязывался. Садовник Павел и столяр Тимофей были моими первыми приятелями, когда мы, летом, переезжали в подгородную деревню Анкудиновку, описанную мною в романе под именем «Липки».

Это ежегодное житье в усадьбе с мая до августа дополняло то, что давали город и гимназия.

И тут я еще раз хочу подтвердить то, что уже высказывал в печати, вспоминая свое детство. «Мужик» совсем не представлялся нам как забитое, жалкое существо, ниже и несчастнее которого нет ничего. Напротив! Все рассказы дворовых — и прямо деревенских, и родившихся в дворне — вертелись всегда на том, как *привольно* живется крестьянам, какие они бывают

богатые и сколько разных приятностей и забав доставляет деревенская жизнь.

Мужицкой нищеты мы не видали. В нашей подгородней усадьбе крестьяне жили исправно, избы были новые и выстроенные по одному образцу, в каждом дворе по три лошади, бабы даже франтили, имея доход с продажи в город молока, ягод, грибов. Нищенство или голытьбу в деревне *мы даже с трудом могли себе представить.* Из дальних округ приходили круглый год обозы с хлебом, с холстом, с яблоками, свиными тушами, живностью, грибами.

Все это были барские *поборы*; но сами крестьяне от этого не падали в наших глазах. Мы на них смотрели *как на очень почтенное сословие.* Их говор, вся повадка, одежа, особенно женская, — все это нам нравилось. А некоторые личности из крестьянства внушали даже большое *почтение.* Это были те богатые мужики, которые ходили по оброку и занимались торговлей. Одного из них, старика тряпичника, господа принимали почти как «особу» и говорили о нем, как об умнейшем человеке, с капиталом чуть не в сто тысяч на ассигнации. Он на волю не желал выходить; но сыновей «выкупил».

Подрастая, каждый из нас останавливался на праве помещика владеть душой и телом крепостных. Протестов против такого порядка вещей мы не слыхали от взрослых, а недовольство и мечты о «вольной» замечали всего больше среди дворовых. Но, повторяю, отношение к крестьянству как к *особому сословию* и к деревенской жизни вынесли мы отнюдь не презирающее или унизительно-жалостливое, а *почтительное* и заинтересованное в самом *лучшем* смысле.

Деревня была для нас символом приволья, свободы от срочных занятий, простора, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских работ, охоты, игр с ребятишками, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт выступал перед вами, до самых его глубоких устоев, до легенд и поверий древнеязыческого склада.

Рассказы дворовых были драгоценны по своему бытовому разнообразию. В такой губернии, как Нижегородская, живут всякие инородцы, а коренные великороссы принадлежат к различным полосам на севере и на юге по Волге, вплоть до дремучих тогда лесов За-

волжья и черноземных местностей юго-восточных уездов и «медвежьих углов», где водились в мое детство знаменитые «медвежатники», ходившие один на один на зверя, с рогатиной или плохим кременным ружьишком.

Вотчинные права барина выступали и передо мною во всей их суровости. И в нашем доме на протяжении десяти лет, от раннего детства до выхода из гимназии, происходили случаи помещичьей карательной расправы. Троим дворовым «забрили лбы», один ходил с полгода в арестантской форме; помню и экзекуцию псаря на конюшне. Все эти наказания были, с господской точки зрения, «за дело»; но бесправие наказуемых и бесконтрольность карающей власти вставали перед нами достаточно ясно и заставляли нас тайно страдать.

Наш дом во всем городе был едва ли не самый строгий. Но о возмутительных превышениях власти у нас или у других, еще менее об истязаниях или мучительствах, не было, однако, и слухов за все время моего житья в Нижнем. Барского цинического разврата в городе тоже не водилось; а у нас не было и подобия какой-либо барской грязи. Между дворовыми некоторые тайно попивали, были любовные связи без законного штемпеля; но все это в гораздо меньшей степени, чем это было бы теперь. И за ними смотрели строго, и сами не подавали никакого соблазнительного примера.

По губернии водились очень крутые помещики, вроде С. В. Шереметева; но «извергов» не было, а опороченный всем дворянством кн. Гр[узин]ский неоднократно уличался в том, что принимал к себе *беглых*, которые у него в приволжском селе Л[ыско]ве в скором времени и богатели.

Все это я говорю затем, чтобы показать необходимость *объективнее* относиться к тогдашней жизни. С 60-х годов выработался один, как бы обязательный *тон*, когда говорят о николаевском времени, об эпохе крепостного права. Но ведь если так прямолинейно освещать минувшие периоды культурного развития, то всю греко-римскую цивилизацию надо *похерить* потому только, что она держалась за рабство.

Здесь, в этих воспоминаниях, я подвожу итоги всему тому, что могло развивать отрока и юношу, родившегося и воспитанного в среде тогдашнего привилеги-

рованного сословия и в условиях тогдашнего государственного строя.

Крепостников из нас не вышло, по крайней мере очень многих из нас; прямо развращающих влияний не вынесли мы ни из гимназии, ни из домашней обстановки, даже не приобрели замашек тщеславия и суетности более, чем бы это случилось в настоящее время. Все, что тогда было поживей умом и попорядочнее, мужчины и женщины, по-своему шло вперед, читало, интересовалось и событиями на Западе, и всякими выдающимися фактами внутренней жизни, подчинялось, правда, общему гнету сверху, но не всегда мирилось с ним, сочувствовало тем, кто «пострадал», значительно было подготовлено к тому движению, которое началось после Крымской войны, то есть всего три года после того, как мы вышли из гимназии и превратились в студентов.

На что уж наш дом был старинный и строгий: дед-генерал из «гатчинцев» *, бабушка — старого закала барыня, воспитанная еще в конце XVIII века! И в таком-то семействе вырос младший мой дядя, Н. П. Григорьев, отданный в Пажеский корпус по лично выраженному желанию Николая и очутившийся в 1849 году замешанным в деле Петрашевского, сосланный на каторгу, где нажил медленную душевную болезнь *.

Вот вам барчонок, прошедший обычную выучку сословно-военную, а гвардейским офицером он сближается с кружком тогдашних социальных мечтателей (вероятно, через знакомство с А. Н. Плещеевым) *, пишет какую-то «Солдатскую беседу» и приговаривается сначала к смертной казни.

Этот дядя, когда наезжал к нам в отпуск, был всегда очень ласков со мною, давал мне читать книжки, рассказывал про Петербург, про театры, про разные местности России, где стоял, когда служил еще в армейской кавалерии. Разумеется, своих протестующих идей он не развивал перед гимназистиком по двенадцатому году; но в нем, питомце светско-придворного корпуса, не было никакой военщины ни в тоне, ни в манерах, ни в нравах.

Да и старший мой дядя — его брат, живший всегда при родителях, хоть и опустился впоследствии в провинциальной жизни, но для меня был источником не-

истощимых рассказов о Московском университетском пансионе, где он кончил курс, о писателях и профессорах того времени, об актерах казенных театров, о всем, что он прочел. Он был юморист и хороший актер-любитель, и в нем никогда не замирала связь со всем, что в тогдашнем обществе, начиная с 20-х годов, было самого развитого, даровитого и культурного.

И тут уместен вопрос: воспользовалась ли наша беллетристика *всем*, чем могла бы в русской жизни 40-х и половины 50-х годов?

Смело говорю: *нет, не воспользовалась*. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни, людей, их психия, характерные стороны быта, можно было изображать и не в одном обличительном духе. Разве «Евгений Онегин» не драгоценный документ, помимо своей художественной прелести? Он полон бытовых черт среднедворянской жизни с 20-х по 30-е годы. Даже и такая беспощадная комедия, как «Горе от ума», могла быть написана тогда и даже напечатана (хотя и с пропусками) в николаевское время *.

«Семейная хроника» Аксакова — доказательный пример того, как беллетристика могла бы воспроизводить и тогдашнюю жизнь. Можно было расширить рамки и занести в летопись русского общества огромный материал и вне тех сюжетов, которые подлежали запрету.

Каким образом, спрошу я, могли народиться те носители новых идей и стремлений, какие изображались Герценом, Тургеневым * и их сверстниками в 40-х годах, если бы во всем тогдашнем культурном слое уже не имелось налицо *элементов* такого движения? Русская передовая беллетристика торопилась выбирать таких носителей идей; но она упускала из виду *многое*, что уже давно сложилось в характерные стороны тогдашней жизни, весьма и весьма достойные творческого воспроизведения.

То, что Тургенев и Григорович сделали для знакомства с миром мужика, с его душой и бытом, то весьма и весьма возможно было и для среднего барско-чиновничьего мира, где вырабатывалась *вся дальнейшая русская культура*.

Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и

каждой усадьбы еще многое и многое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы.

Каюсь, и в романе «В путь-дорогу» губернский город начала 50-х годов все-таки трактован с некоторым обличительным оттенком, но разве то, что я связал с отрочеством и юностью героя, не говорит уже о множестве задатков, без которых взрыв нашей «Sturm und Drang Periode»[1]* был бы немыслим в такой короткий срок?

Перед поступлением в студенты те из нас, кто был поразвитее и поспособнее, уже вобрали в себя много всяких поощрений к дальнейшему развитию.

Это несомненно! Мы подросли в уважении *к идее университетской науки,* приобрели склонность к чтению, уходили внутренним чувством и воображением в разные сферы и чужой и своей жизни, исторической и современной. В нас поощряли интерес к искусству, хотя бы и в форме talents d'agrément[2]*, к рисованию, к музыке. Мы рано полюбили и театр.

Сценическое искусство в провинции, как известно, прямой продукт помещичьего дилетантства на крепостной почве. Происхождение театра в Нижнем-Новгороде уже прямо барски-крепостное.

Князь Шаховской, местный помещик, завел первый публичный театр с платою, и после его смерти все актеры и актрисы очутились «вольными», но очень долго, до моих отроческих лет, ядро труппы состояло еще из бывших дворовых кн. Шаховского. Одним из первых сюжетов труппы была Х. И. Таланова (по себе Стрелкова), которая умерла на казенной службе, артисткой московского Малого театра. Ее сестра, Ал. Ив. Стрелкова, стала провинциальной знаменитостью, играла и в столицах. Первый любовник Трусов был уже актером в платном театре из крепостных господ Ульяниных; из крепостных вышел и первый комик Соколов, позднее «полезность» московского Малого театра.

Старые господа еще продолжали называть актрис и актеров только по именам: «Минай», «Ханея» (Таланова), «Аннушка» (талантливая Вышеславцева), но в поколении наших родителей уже не было к ним ника-

---

[1] Эпохи бури и натиска *(нем.).*

[2] Здесь: дилетантских склонностей *(франц.).*

кого унижающего отношения. Всегда они говорили о них в добродушном тоне, рассказывая нам про свои первые сценические впечатления, про те времена, когда главная актриса (при мне уже старуха) Пиунова (бабушка впоследствии известной актрисы) играла все трагические роли в белом канифасовом платье и в красном шерстяном платке, в виде мантии.

Нас рано стали возить в театр. Тогда все почти дома в городе были абонированы. В театре зимой сидели в шубах и салопах, дамы в капорах. Впечатления сцены в том, кому суждено быть писателем, — самые трепетные и сложные. Они влекут к тому, что впоследствии развернется перед тобою как бесконечная область творчества; они обогащают душу мальчика все новыми и новыми эмоциями. Для болезненно-нервных детей это вредно; но для более нормальных это — великое бродило развития.

Большой литературности мы там не приобретали, потому что репертуар конца 40-х и начала 50-х годов ею не отличался, но все-таки нам давали и «Отелло» в Дюсисовой переделке*, и мольеровские комедии, и драмы Шиллера, и «Ревизора», и «Горе от ума», с преобладанием, конечно, французских мелодрам и пьес Полевого и Кукольника*.

Но мелодрама для детей и народной массы безусловно *развивающее* и *бодрящее* зрелище. Она вызывает *всегда* благородные порывы сердца, заставляет плакать хорошими слезами, страдать и бояться за то, что достойно сострадания и симпатии. И тогдашний водевиль, добродушно-веселый, часто с недурными куплетами, поддерживал живое, жизнерадостное настроение гораздо больше, чем теперешнее скабрезное шутовство или пессимистические измышления, на которые также возят детей.

Беря в общем, тогдашний губернский город был далеко не лишен культурных элементов. Кроме театра, был интерес и к музыке, и местный барин Улыбышев, автор известной французской книги о Моцарте*, много сделал для поднятия уровня музыкальности, и в его доме нашел оценку и всякого рода поддержку и талант моего товарища по гимназии, Балакирева.

Как бы я, задним числом, ни придирался к тогдашней жизни, в период моего гимназического ученья

(1846—1853 годы), я бы никак не мог поставить ее в такой мрачный свет, как сделал, например, М. Е. Салтыков в своем «Пошехонье»*. Он описывает эпоху, близкую по годам к моему времени. Разница в десяток лет, не более. Нравы дворянско-чиновничьего круга в тогдашнем Нижнем не были так жестоки. Крепостное право и весь строй казенной службы держались, правда, на узурпации и подкупе; но опять-таки не с таким повальным бездушием, тиранством и хищением для того города и даже губернии, где я вырос.

Нравы семей, составлявших тогдашнее «общество», были, «an und für sich»[1], вовсе не грязнее нынешних. Распады брачных уз случались редко, в виде «разъезда»; о разводах я не помню, но, наверное, они были все наперечет; зверств и истязаний не водилось, по крайней мере в городе. Наш дом считался старозаветным, и дворовых одевали и кормили в нем скупее, чем у других; но и в нем я не помню никакого возмутительного «сквалыжничества», а еще менее каких-нибудь жестокостей, особенно в поколении моих дядей, моей матери и тетки. Никогда я не видал, чтобы они кого-нибудь ударили из своей прислуги.

Общество не было и исключительно сословным. В него проникали все: чиновники, учителя гимназии, архитекторы, образованные или только полированные купцы. Дворян с видным положением в городе, женатых на купчихах, почти что не было, что показывало также, что за одним приданым не гонялись, хотя в городе и тогда было не мало богатых купцов, водились и миллионеры.

Нравственность надо различать. Есть известные виды *социального зла,* которые вошли в учреждения страны или сделались закоренелыми привычками и традициями. Такая безнравственность все равно что рабство древних, которое такой возвышенный мыслитель, как Платон, возводил, однако, в краеугольный камень общественного здания*.

Тогдашний режим поддерживал, конечно, низкую социальную нравственность; но в том, что составляло семейную мораль и мораль общежития, я, если не кривить душою, не помню ничего глубоко испорченного,

---

[1] сами по себе *(нем.).*

цинического или бездушного. Надо даже удивляться, что при тогдашних законных жестокостях, «торговой казни» *, плетях и кнутах, шпицрутенах и так далее, сохранялось много доброго и прямо честного. А эти жестокости суда и расправы возмущали лучших людей и среди старших и нас, юнцов, не менее, чем бы это было и теперь. Все мои сверстники подтвердят то, что тогда «николаевщина» если и страшила, то настолько же вызывала и глухое недовольство. Тогда каждый политический ссыльный, всякий «штрафной», попавший на подневольное житье в провинцию, был предметом *безусловного сочувствия всех порядочных людей.*

Спрашиваю еще раз: как бы это могло быть, если бы в тогдашнем обществе уже не назревали высшие душевные запросы? И назревали они с 20-х годов.

О «декабристах» я мальчиком слыхал рассказы старших, всегда в одном и том же сочувственном тоне. Любое рукописное стихотворение, любой запретный листок, статья или письмо переписывались и заучивались наизусть.

Заметьте, что я лично лишен был, сравнительно с товарищами, свободы знакомств и выходов из дому до седьмого класса; но все-таки был «в курсе» всего, чем тогда жило общество.

Благодарны должны мы быть и за то, что из нас не сделали ханжей, лицемеров или искренних мистиков, это все равно. Время было строгое, но больше формально. Ни дома, ни в гимназии нас не подавляли требованиями обязательного благочестия. «Батюшка» учил нас закону божию, а дома соблюдались предания: ездили к обедне, говели, разговлялись — все это истово, *но без всякого излишества,* и религиозное чувство поддерживалось простое, здоровое и, в юных летах, не лишенное отрадных настроений в известные праздники, в говенье, на пасху, в троицу.

Мы опять-таки сливались в этом с народом, с дворовыми и крестьянами. Разница была только в том, что нас учили, что мы знали молитвы и катехизис и освобождались от многих суеверных страхов.

Никакой нетерпимости нам не прививали. Никогда не было кругом разговоров в злобном или пренебрежительном духе о других религиях. Свобода совести в гимназии уважалась *больше, чем теперь,* потому что «ино-

славные» ученики не бывали обязаны участвовать в православных молитвах и уходили от класса закона божия. Травли «жидов» и поляков — никакой. Евреи для нас были забитые кантонисты, *насильно крещенные,* или будочники, а поляки — «несчастный народ», и генерала Костюшку мы прямо считали героем. Очень рано я полюбил рассказы моего старшего дяди о расколе в Нижегородской губернии и переписывал его докладную записку, которую он составлял, как чиновник особых поручений.

Мы не сочувствовали тогдашним строгостям, и раскол с его скитами имел для нас что-то таинственное и, скорее, привлекательное.

Словом, в тех из нас, из кого мог выйти какой-нибудь прок, не было к выходу из гимназии никакой «николаевской» закваски.

Рано и звание писателя было окружено для меня особым обаянием.

Разумеется, в тогдашней провинции не могло быть много местных литераторов, да еще в простом, не в университетском городе. Но целых три известности были по рождению или службе нижегородцы.

Во-первых, П. И. Мельников-Печерский.

О нем я знал с самого раннего детства. Он был долго учителем нашей гимназии; но раньше моего поступления в нее перешел в чиновники по особым поручениям к губернатору и тогда начал свои «изучения» раскола, в виде следствий и дознаний. Еще ребенком я слыхал о нем, как о редакторе «Губернских ведомостей» и составителе книжки о Нижегородской ярмарке.

Помню его, уже позднее, в один из приемных дней, кажется в именины моей бабушки, когда весь город приезжал ее поздравлять. Но у нас он не был постоянным гостем. И бабушка моя его недолюбливала, называла чуть не «кутейником» (хотя он не был из семинаристов), особенно после его женитьбы, во второй раз, на очень молоденькой своей ученице, местного дворянского рода. Еще позднее, когда он наезжал в Нижний по статистике уже как столичный чиновник, мы читали его первые талантливые рассказы в «Москвитянине», под псевдонимом Печерского *. В них, конечно, все искали живых лиц из знакомых, так же как и в первом

произведении другого нижегородца, по службе, М. В. Авдеева *.

Этот езжал к нам всего чаще на половину моего старшего дяди, только что женившегося.

Авдеев служил «путейским» офицером. Тогда инженеры путей сообщения и «публичных зданий» получали военную выправку и носили довольно красивый мундир с аксельбантом и каску с черным волосяным султаном. В Нижнем читали нарасхват его повесть «Варенька», первую треть его трилогии «Тамарин». Все лица были «расписаны», начиная с самой героини. За это его не чурались в нижегородском «монде» [1], везде принимали, считали очень умным и колким; но подсмеивались над его некрасивой наружностью, претензиями на сердцеедство и сочиняли на него стишки. Когда путейцам дали усы, это послужило поводом к стихотворному памфлету, который все распевали под фортепьяно. И меня выучили этим стихам. И я пел:

Штабс-капитан у нас Авдеев:
Он счастие нашел в усах,
Огонь похитил Прометеев
И разразился в остротах.

Когда усы путейцам дали,
То Нижний весь затрепетал.
Усы чем больше подрастали,
Авдеев больше всех пленял.

И так еще в нескольких строфах.

Но все это было добродушно, без злости. Того оттенка недоброжелательства, какой теперь зачастую чувствуется в обществе к писателю, тогда еще не появлялось. Напротив, всем было как будто лестно, что вот есть в обществе молодой человек, которого «печатают» в лучшем журнале *.

«Варенька», а позднее весь «Тамарин» и тогда уже понимались, как вещи в «жорж-зандовском» направлении *. Тогда уже появились и в дворянском кругу и девушки и замужние женщины с налетом любовно-романтического настроения, поглощавшие и в подлиннике и в переводах «Индиану», «Лелию», «Консуэло», «Жака», «Мопра», «Лукрецию Флориани».

---

[1] обществе (от *франц.* monde).

С этим путейцем-романистом мне тогда не случилось ни разу вступить в разговор. Я был для этого недостаточно боек; да он и не езжал к нам запросто, так, чтобы набраться смелости и заговорить с ним о его повести или вообще о литературе. В двух-трех более светских и бойких домах, чем наш, он, как я помню, считался приятелем, а на балах в собрании держал себя как светский кавалер, танцевал и славился остротами и хорошим французским языком.

Третья и большая тогда известность, В. И. Даль, служил управляющим удельной конторой, уже после того, как составил себе имя под псевдонимом Казака Луганского.

Он почти нигде не бывал. Меня к нему повезли уже студентом. Но он и в нас, гимназистах, возбуждал сильное любопытство. Его считали гордецом, большим «чудодеем», много сплетничали про него, как про начальника своего ведомства, про его семейную жизнь, воспитание детей и привычки. Он образовал кружок врачей и собирал их у себя на вечеринки, где, как тогда было слышно, говорили по-латыни. Много было толков и про шахматные партии вчетвером, которые у него разыгрывались по известным дням. То, что было поразвитее, и помимо его коллег врачей искало его знакомства; но светский круг побаивался его чудачеств и угрюмости.

Дядя (со стороны отца), который повез меня к нему уже казанским студентом на втором курсе, В. В. Боборыкин, был также писатель, по агрономии, автор книжки «Письма о земледелии к новичку-хозяину».

По тому времени он представлял собою довольно редкое явление в дворянско-помещичьей среде. После бурной молодости гвардейского офицера, сосланного на Кавказ, он прошел через прожигание жизни за границей, где стал учиться и рациональному хозяйству, вперемежку с нервными заболеваниями. Женившись, он поселился в деревне, недалеко от Нижнего, и стал чем-то вроде Л. Н. Толстого, по проповеди опрощения и по опытам разных усовершенствований в домоводстве, по идеям сближения с народом и работе над его просвещением, по более гуманному отношению к своим крепостным.

Его долго считали «с винтиком» все, начиная с родных и приятелей. Правда, в нем была заметная доля

странностей; но я и мальчиком понимал, что он стоит выше очень многих по своим умственным запросам, благородству стремлений, начитанности и природному красноречию. Меня обижал такой взгляд на него. В том, что он лично мне говорил или как разговаривал в гостиной, при посторонних, я решительно не видал и не слыхал ничего нелепого и дикого.

Такой Василий Васильевич был как бы предшественником помещика «Ясной Поляны», без его дарования; но с таким же неугомонным исканием правды.

Он кончил очень некрасной долей, растратив весь свой наследственный достаток. На его примере я тогда еще отроком, по пятнадцатому году, понимал, что у нас трудненько жилось всем, кто шел по своему собственному пути, позволял себе ходить в полушубке вместо барской шубы и открывать у себя в деревне школу, когда никто еще детей не учил грамоте, и хлопотать о лишних заработках своих крестьян, выдумывая для них новые виды кустарного промысла.

То, что Ломброзо установил в душевной жизни масс под видом *мизонеизма,* то есть страха новизны *, держалось еще в тогдашнем сословном обществе, да и теперь еще держит в своих когтях массу, которая сторонится от смелых идей, требующих настоящей общественной ломки.

И вот судьбе угодно было, чтобы такой местный писатель, с идеями, не совсем удобными для привилегированного сословия, оказался моим родным дядей.

Проезжали Нижним и другие более крупные величины и по тому времени, и для всех эпох развития русской литературы.

Пушкин, отправляясь в Болдино (в моем, Лукояновском уезде), живал в Нижнем *, но это было еще до моего рождения. Дядя П. П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней губернаторшей, Бутурлиной, мужем которой, Михаилом Петровичем, меня всегда дразнили и пугали, когда он приезжал к нам с визитом. А дразнили тем, что я был ребенком такой же «курносый», как и он.

Не могу подтвердить точность пересказа одной из шуточных тирад Пушкина; но разговор его с губернаторшей, *в редакции дяди,* остался у меня в памяти очень отчетливо.

Это было в холерный год.

— Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? — спрашивала Бутурлина. — Скучали?

— Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди.

— Проповеди?

— Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. «И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

К Пушкину старшее поколение относилось так, как вся грамотная Россия стала смотреть на него после московского торжества открытия памятника и к столетию *. Конечно, менее литературно, но с высоким почтением и нежностью. Мы, когда подрастали, зачитывались Лермонтовым, и Пушкин, особенно антологический, уже мало на нас действовал. Спор между товарищами в моем романе более или менее «создан» мною; но в верных мотивах. И в нем тетка Телепнева пушкинистка, а музыкант Горшков — лермонтист.

На поколении наших отцов можно бы было видеть (только мы тогда в это не вникали), как Пушкин воспитал во всех, кто его читал, поэтическое чувство и возбуждал потребность в утехах изящного творчества. Русская жизнь в «Онегине», в «Капитанской дочке», в «Борисе» впервые воспринималась как предмет эстетического любования, затрогивая самые коренные расовые и бытовые черты.

Другая *тогдашняя* знаменитость бывала не раз в Нижнем, уже в мое время. Я его тогда сам не видал, но опять, по рассказам дяди, знал про него много. Это был граф В. А. Соллогуб, с которым в Дерпте я так много водился, и с ним, и с его женой, графиней С. М., о чем речь будет позднее.

До 50-х годов имя Соллогуба было самым блестящим именем тогдашней беллетристики. Его знали и читали больше Тургенева. «Тарантас» был несомненным «событием» и получил широкую популярность. И повести (особенно «Аптекарша») привлекали всех: и модных барынь, и деревенских барышень, и нас, подростков.

Соллогуб гостил, попадая в Нижний, у тогдашнего губернского предводителя, Н. В. Шереметева, брата

того сурового вотчинника, который послужил мне моделью одной из старобытовых фигур в моем романе «Земские силы» *, оставшемся недоконченным.

Дядя передавал все анекдоты, стишки, экспромты, остроты Соллогуба, в том числе такую с довольно-таки циническим намеком.

Тогда в моде была «Семирамида» Россини, где часто действуют трубы и тромбоны. Соллогуб, прощаясь с своим хозяином, большим обжорой (тот и умер, объевшись мороженого), пожелал, чтобы ему *«семирамидилось легко»*. И весь Нижний стал распевать его куплеты, где описывается такой «казус»: как он внезапно влюбился в невесту, зайдя случайно в церковь на светскую свадьбу. Дядя выучил меня этим куплетам, и мы распевали юмористические вирши автора «Тарантаса», где была такая строфа:

В церкви дамы, как печи,
Растопырили плечи,
А жених — ma parole! [1]
Как бубновый король!

Но в итоге тогдашняя литература и писатели, как *писатели*, а не как господа с известным положением в обществе, стояли очень высоко во мнении всех, кто не был уже совсем *малограмотным* обывателем.

Самым сильным зарядом художественных настроений перед поступлением в студенты была моя поездка в Москву к масленице зимой 1852—1853 года.

Сестра моя — мы с ней были в разлуке больше восьми лет — выходила из Екатерининского института в Петербурге. Брать ее из института поехала туда тетка, старшая сестра моей матери.

Этого свидания я поджидал с радостным волнением. Но ни о какой поездке я не мечтал. До зимы 1852—1853 года я жил безвыездно в Нижнем; только лето до августа проводил в подгородной усадьбе. Первая моя поездка была в начале той же зимы в уездный город, в гости, с теткой и ее воспитанницей, на два дня.

Мы были в детстве так не избалованы по этой части, что и эта поездка стала маленьким событием. О посещении столицы я и не мечтал.

---

[1] честное слово! *(франц.)*

И вдруг нежданно-негаданно перед масленицей дядя надумал ехать в Москву и брал меня с собою.

Я уже выезжал на балы в Дворянское собрание и носил фрак, стыдился гимназического мундира, играл в большого. И вот предстояла поездка в Москву на всю масленицу как молодому человеку, без ненавистной «красной говядины», как тогда называли алый воротник гимназистов.

Меня быстро снарядили. Даже расчетливый дедушка дал на поездку что-то вроде «беленькой»; * позволение было добыто у гимназического начальства, и в пятницу на предмасленой неделе кибитка уносила нас по Московскому шоссе.

Самый путь — около четырехсот верст на перекладных — был большой радостью! Станции, тройки, уханье ямщика, еда в почтовых гостиницах в Вязниках и Владимире, дорожные встречи и все возраставшее волнение, по мере того как мы близились к Москве.

Это не мешало спать в кибитке — мы ехали без ночевок, — и во вторую ночь с меня спала шапка, и я станции две пролежал с непокрытой головой, что и сказалось под конец моей московской одиссеи.

Помню, как ранним утром в полусвете серенького, сиверкого денька въехала наша кибитка в Рогожскую. Дядя еще спал, когда я уже поглядывал по сторонам. Он всю дорогу поддерживал во мне взвинченное настроение. Лучшего спутника и желать было нельзя. Москву он прекрасно знал, там учился, и весь тогдашний дорожный быт был ему особенно хорошо знаком, так как он долго служил чиновником по особым поручениям у почт-инспектора и часто езжал ревизовать по разным трактам.

Москва — на окраинах — мало отличалась тогда от нашего Нижнего базара, то есть приречной части нашего города. Тут все еще пахло купцом, обывателем. Обозы, калачные, множество питейных домов и трактиров с вывесками «Ресторация». Это название трактира теперь совсем вывелось в наших столицах, а в «Герое нашего времени» Печорин так называет еще тогдашнюю гостиницу с рестораном на Минеральных водах.

Но вот мы на Солянке.

— Тут много заложено имений у нашего брата! — указал мне дядя на здание Воспитательного дома, тогдашний общегосударственно-земельный банк *.

На Солянке же воздымались и хоромы богача Шепелева, нижегородского помещика — одного из последних фанатиков дилетантства, который сам пел в операх с труппой своего крепостного театра. Мой учитель, первая скрипка нашего театра, А — в, был также из вольноотпущенных этого самого Шепелева.

Ниже, на Мясницкой, дядя указал мне на барские же хоромы на дворе, за решеткой (где позднее были меблированные комнаты, а теперь весь он занят иностранными конторами) — гостеприимный дом братьев Н[илу]сов, игроков, которые были «под конец» высланы за подозрительную игру с своими гостями. К ним ездили, как в клуб, и сотни тысяч помещичьих денег переходили из Опекунского совета прямо по соседству — в дом Н[илу]сов.

Мы спускались и поднимались, ныряя по ухабам. Тут я почувствовал впервые, что Москва действительно расположена на холмах, как Рим. Но до Красной площади златоверхая первопрестольная столица не отзывалась еще, даже на мой провинциальный взгляд юноши нигде не бывавшего, чем-нибудь особенно столичным. Весь ее пошиб продолжал быть обывательско-купецким.

На Красной площади стены Кремля, Василий Блаженный, Спасские и Никольские ворота, главы соборов, памятник Минину — все это сейчас же иначе настраивало.

— А тут вот Яма! — указал дядя на старинный дом у Воскресенских ворот.

Я уж знал, что «Ямой» по-московски называли долговую тюрьму.

Перед нами открылась площадь с выездом на Театральную площадь. Справа тянулось двухэтажное приземистое здание тогдашнего Московского трактира, или «Гурина заведения», как называли москвичи.

От дяди я уже слыхал рассказы о том, как там кормят, а также и про Печкинскую кофейню, куда я, в тот приезд, не попал и не знаю, существовала ли она в своем первоначальном виде * в ту зиму 1852—1853 года.

Все на том же месте и с тем же фасадом на Тверскую и проезд стояла гостиница «Париж». Ее выбрал дядя, не любивший франтить ни в чем и по-провинциальному экономный, но не скупой.

Гостиница эта была средней руки и тогда, и мы очутились в высоком нумере, с перегородкой, где я сейчас

же свалился на диван, чувствуя, что меня начинает уже «ломать» от двухчасовой езды без шапки по морозу, хотя и не трескучему.

Но мне не полагалось хворать. Я стремился в театр, и в первый же вечер я с верхней галереи Большого театра смотрел тогдашнюю «фурорную» (по теперешнему жаргону) пьесу Сухонина «Русская свадьба».

Тогда драматические спектакли шли постоянно — вперемежку — на обоих театрах. Балеты давались чаще опер, и никто из певцов меня не привлекал, кроме Бантышева в его прославленной роли Торопки-гудочника в «Аскольдовой могиле» Верстовского, бывшего тогда директором.

«Русская свадьба» и тогда не восхитила меня. Мои литературные вкусы требовали уже иных художественных впечатлений. «Горе от ума», «Ревизор» и «Женитьба» готовили мне другие наслаждения.

Тогдашняя дирекция держалась очень хорошей традиции: давать на масленице в пятнадцать спектаклей лучшие наши пьесы старого репертуара и то, что шло самого ценного за зиму из новых вещей — драматических и балетных.

Для приезжих это было чистым кладом.

И вышло так, что заезжий гимназист — попав на масленицу в Москву, — мог видеть Щепкина в трех его «коронных» ролях — городничего, Кочкарева и Фамусова; Садовского в Подколесине, Осипе и Большове («Не в свои сани не садись») *, Сергея Васильева, Шумского, Степанова, Немчинова, Живокини, Васильеву, Косицкую, Сабурову, Акимову, Львову-Синецкую, Орлову.

Такого заряда хватило бы на несколько лет. И, конечно, в этом первоначальном захвате сценического творчества и по репертуару и по игре заложено было ядро той скрытой писательской *тяги,* которая вдруг в конце 50-х годов сказалась в замысле комедии и толкнула меня на путь писателя.

И мог ли этот нижегородский гимназист мечтать, что в этом самом «Малом театре», куда он попал на масленице 1853 года, через восемь всего лет, в декабре 1861 года, он будет раскланиваться из министерской ложи публике на первом представлении «Однодворца» *, в бенефис Садовского, игравшего главную роль.

И с Островским как писателем я как следует познакомился только тогда в Большом театре *, где видел в первый раз «Не в свои сани не садись». В Нижнем мы добывали те книжки «Москвитянина», где появлялся «Банкрут»; кажется, и читали эту комедию, но она в нас хорошенько *не вошла;* мы знали только, что ею зачитывалась вся Москва (а потом и Петербург) и что ее не позволили давать на сцене *.

Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий *лад* игры, где перед вами сама жизнь. И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизоре» и в «Горе от ума», где, например, Чацкий — Полтавцев казался мне совсем непохожим на того героя, которого мы представляли себе. Да и те танцы, которые тогда очень нравились публике, отзывались чем-то слишком водевильным, скорее в угоду райку, чем более развитому зрителю.

Такого трио, как три купца в первом акте комедии Островского (*первой,* по счету, попавшей на сцену) *, как Садовский (Большов), С. Васильев (Бородкин) и Степанов (Маломальский), больше уже не бывало. По крайней мере мне за все сорок с лишком лет не приводилось видеть. Старуха Сабурова (жена трактирщика) и Косицкая (Авдотья Максимовна) дышали бытовой правдой: первая с прибавкой тонкого комизма, вторая — с чисто народным лиризмом.

Косицкая была моя землячка. Про нее я много слыхал дома. Дядя знавал ее еще крепостной помещиков Б — ных, в услужении у купчихи Д[олго]новой, где ее заставляли петь при гостях. Потом она, как известно, попала статисткой в театр, где ее заметил Живокини и перетащил в Москву, и в два-три года она стала любимицей публики, полуграмотная, силой таланта и необычайной искренности. Ее заставляли много играть в трагедиях и в романтических драмах, где она оставалась все же «Любашей», нижегородской горничной с порывами чувства и прекрасным голосом. Видал я ее потом в таких вещах, как «Отец и дочь» Ободовского и «Гризельда и Персиваль» *, и глубоко сожалел о том, что она навек не осталась русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня Бородкин спасает от срама *.

Трогательно было то, что Косицкая, уже знаменито-

стью, когда приезжала в Нижний на гастроли, сохраняла с нами тот же жаргон бывшей «девушки». Так, она не говорила: «публика» или «зрители», а «господа дворяне», разумея публику кресел и бельэтажа. У ней срывались фразы вроде:

— Много довольна приемом господ дворян!

И это было на склоне ее карьеры, в 60-х годах, когда я, приехав раз в Нижний зимой, уже писателем, видел ее, кажется, в этой самой «Гризельде» и пошел говорить с нею в уборную.

Конец ее был довольно печальный*. В последний раз я с ней встретился в «Кружке»*, в зиму 1866 года.

С Малым театром я не разрываю связи с той самой поры, но здесь я остановлюсь на артистах и артистках, из которых иные уже не участвуют в моих дальнейших воспоминаниях, с тех пор как я сделался драматическим писателем.

Прежде всего, конечно, Михаил Семенович Щепкин. Я видал его позднее всего только в двух пьесах: в «Свадьбе Кречинского» (роль Муромцева) и в пьесе, переделанной из комедии Ожье «Le gendre de monsieur Poirier»[1] под русским ее заглавием: «Тесть любит честь — зять любит взять».

Но в истории русского сценического искусства Михаил Семенович — творец двух лиц: Фамусова и городничего, и, в меньшей степени, Кочкарева в «Женитьбе». Во всех трех этих «созданиях» я его видел тогда юношей уже значительно подготовленным к высшим запросам от театра и игры актера.

Это была последняя полоса его игры, когда он, уже пожилым человеком, еще сохранял большую артистическую энергию. Случилось так, что я его в Нижнем не видал (и точно не знаю, езжал ли он к нам, когда меня уже возили в театр) и вряд ли даже видал его портреты. Тогда это было во сто раз труднее, чем теперь.

Вся его короткая, полная (но не очень толстая) фигура, круглое лицо с сильной гримировкой, особого рода подвижность, жесты рук, головы, мимика рта и глаз — все это отзывалось чем-то необычным. Голос был непохожий и на интонации тогдашних актеров из коренных москвичей. Полная простота тона и *вкусная* — если

---

[1] «Зять господина Пуарье» *(франц.)*.

можно так определить — дикция, с легким стариковским оттенком артикуляции, говорили о чем-то особенном. М. С. был и оставался «хохлом» более, чем великороссом. Мне рассказывал покойный Павел Васильев (уже в начале 60-х годов, в Петербурге), что когда он, учеником театральной школы, стоял за кулисой, близко к сцене, то ему явственно было слышно, что у Щепкина в знаменитом возгласе: «Дочь! Софья Павловна!» слышалось хохлацкое «хв», и он, хотя и не очень явственно, произносил:

«Дочь! Сохвья Павловна!»

Поэтому-то он так хорош бывал в одной из своих характерных ролей в «Москале-чаривныке» *, а великорусских простонародных типов не создавал.

Фамусовым он был в меру и барин, и чиновник, и истый человек времени Реставрации, когда он у *своего барина* достаточно насмотрелся и наслушался господ. *Никто* впоследствии не заменил его, не исключая и Самарина, которого я так и не видал в тот приезд ни в одной его роли.

Сквозник-Дмухановский точно нарочно создан был для Щепкина. Его произношение только помогало правде и типичности создания этой фигуры. Он его играл сангвиником, без всякого умничания, не уступая другу своему Гоголю в толковании этого лица, не придавая ему символического смысла, как желал того автор «Ревизора». И все в нем дышало комизмом. Он был глубоко забавен, но не мелко смешон. И выходило так от полнейшей художнической искренности исполнения. Комизм пробивался во всем: в дикции, в минах, в походке, в жестикуляции.

До сих пор я могу еще *представить* себе: как он сидит и читает письмо в первом акте, как дрожит перед пьяным Хлестаковым, как указывает квартальным на бумажку посредине гостиной, как наскакивает на квартального с подавленным криком: «Не по чину берешь!»

Друг и единомышленник Гоголя сказывался и в том, как он произносил имя квартального Держиморды.

Щепкин выговаривал «Держи́морда», а не «Держимо́рда», как произносят везде вне московского Малого театра, где щепкинская традиция, вероятно, до сих пор еще сохраняется.

Сангвинический пошиб во всем преобладал. Тогда

«первый комический актер» (по номенклатуре Гоголя) действительно играл как высокий *комик,* а не как резонер, который по-своему мудрит и подгоняет лицо, выхваченное из жизни, под свои личные теории, соображения, вкусы и приемы игры.

В Кочкареве я, помню, не сразу признал его, когда на сцену ввалился кругленький господин в темно-русом парике, вицмундире и в белых брюках.

Сказать ли правду? Он показался мне мало похожим на петербургского «чинуша», шумного торопыгу, балагура и свата. Для этого он уже не был достаточно молод; его тон и повадка мало отзывались тем, что можно было представлять себе, читая «Женитьбу».

Люди генерации моего дяди видали его несколько раньше в этой роли и любили распространяться о том, как он заразительно и долго хохочет перед Жевакиным.

На меня этот смех не подействовал тогда так заразительно, и мне даже как бы неприятно было, что я не нашел в Кочкареве того самого Михаила Семеновича, который выступал в городничем и Фамусове.

Года брали свое. К этому времени те ценители игры, которые восторгались тогдашними исполнителями *нового* поколения, Садовским и Васильевым, — начинали уже «прохаживаться» над слезливостью Щепкина в серьезных ролях и вообще к его личности относились уже с разными оговорками, любили рассказывать анекдоты, невыгодные для него, напирая всего больше на его старческую чувствительность и хохлацкую двойственность. От одного из писателей Кружка и приятелей Островского — Е. Н. Эдельсона (уже в 60-х годах) я слышал рассказ о том, как у Щепкина (позднее моей первой поездки в Москву) на сцене выпала искусственная челюсть, а также и про то, как он бывал несносен в своей старческой болтовне и слезливости.

У него с молодых лет была склонность, как у многих комиков, к чувствительным ролям, и одной из любимых его ролей в таком роде была роль в пьесе «Матрос» *, где он пел куплеты в патетическом роде и сам плакал. Эту роль он играл всегда в провинции и в позднейший период своей сценической карьеры.

Такого именно податливого на слезы старика я нашел в нем в ту зиму, когда с ним лично познакомился на репетиции моей драмы «Ребенок», когда мы сидели

в креслах рядом и смотрели на игру воспитанницы Позняковой, которую выпустил Самарин в моей пьесе, взятой им на свой бенефис.

Но и тогда (то есть за каких-нибудь три года до смерти) его беседа была чрезвычайно приятная, с большой живостью и тонкостью наблюдательности. Говорил он складным, литературным языком и приятным тоном старика, сознающего, *кто* он; но без замашек знаменитости, постоянно думающей о своем гениальном даровании и значении в истории русской сцены.

Подробности этой встречи я описал в очерке, помещенном в одном сборнике, и повторять здесь не буду.

Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородных из сколько-нибудь образованных сфер, Щепкин был национальной славой. Несмотря на сословно-чиновный уклад тогдашнего общества, на даровитых артистов, так же как и на известных писателей, смотрели вовсе не сверху вниз, а, напротив, снизу вверх.

Типическим ценителем того времени был мой дядя, тот, кто привез меня в Москву. По времени воспитания он восходил к 20-м годам (родился в 1810 году), и от него-то я с раннего детства слышал о знаменитых актерах и актрисах, без малейшего оттенка барского пренебрежения; не только о «Михаиле Семеновиче» (он так его всегда и звал), но о Мочалове, о Репиной, о молодом Самарине, Садовском, даже Немчинове, и о петербургских корифеях: Каратыгине, Брянском, Мартынове, А. Максимове, Сосницком, чете Дюр, Асенковой, Гусевой, семействе Самойловых.

Мы уже гимназистами знали про то, что Щепкин водил дружбу с писателями: с Гоголем, с кружком Грановского и Белинского и с Герценом, которого мы много читали, разумеется кроме того, что он начал уже печатать за границей, как эмигрант.

Для тогдашнего николаевского общества такое положение Щепкина было важным фактом, и фактом, вовсе не выходящим из ряду вон. Я на это напираю. Талант, личное достоинство ценились *чрезвычайно* всеми, кто сколько-нибудь выделялся над глухим и закорузлым обывательским миром.

В моем лице, — в лице гимназиста из провинции, выросшего в старопомещичьем мире, — это сказывалось

безусловно. Я уже был подготовлен всей *жизнью* к тому, чтобы ценить таких людей, как Щепкин, и всякого писателя и артиста, из какого бы звания они ни вышли.

Сергея Васильева я только тогда и увидел в такой бытовой роли, как Бородкин. Позднее, когда приезжал студентом домой, на ярмарочном театре привелось видеть его только в водевилях; а потом он ослеп к тому времени, когда я начал ставить пьесы.

Бородкин врезался мне в память на долгие годы и так восхищал меня обликом, тоном, мимикой и всей повадкой Васильева, что я в Дерпте, когда начал играть как любитель, создавал это лицо прямо по Васильеву. Это был единственный в своем роде бытовой актер, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоев общества: и комик и почти трагик, если верить тем, кто его видал в ямщике Михайле из драмы А. Потехина «Чужое добро впрок не идет».

К нему привлекала также и блестящая, игривая веселость, какая бывает только у прекрасных французских комиков. Самая некрасивость его лица, голос немного в нос — все это превращалось в привлекательные особенности. По богатству мимики и комических интонаций он не уступал ни Садовскому, ни Живокини.

Кроме роли Бородкина, Сергей Васильев выступал в ту, памятную мне, масленицу еще в одном типичнейшем своем создании — почтмейстер Шпекин.

Роль — очень небольшая; но он действительно «создавал» нечто тонко-юмористическое, без шаржа в гримировке, тоне, жестах. Это был немножко чопорный, но благодушно настроенный гоголевский чиновник, делающий себе из привычки вскрывать письма постоянное умственное развлечение.

Надо было видеть выражение его лица, усмешку рта и глаз и слышать его интонации, когда он рассказывает городничему о том, как описывается торжество, где стоит знаменитая фраза — «штандарт скачет».

Только истинно артистическая натура способна была на подобное разнообразие в сценическом воспроизведении фигур, до такой степени непохожих одна на другую, как Шпекин и Ваня Бородкин.

Впоследствии (как я заметил выше), приезжая из Казани и Дерпта на вакацию, я видал Васильева на ярмарке в Нижнем и в Москве, но в водевилях.

Ранняя слепота свела его со сцены, и этот блистательно-веселый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо погребенного, для сцены, слепца.

Садовский и тогда уже считался «первой силой» труппы, *после* Щепкина, а для его почитателей не только *рядом* с Щепкиным, но даже *над* ним. Если за Щепкиным значилась неувядаемая слава быть создателем Фамусова и городничего, то Садовский, уже и в зиму 1852—1853 года, появлялся в разнообразных созданиях — в Осипе, Подколесине, купце Большове. Гоголя он сочетал — и в таком разнообразном воспроизведении — с Островским, а типы Островского Щепкину не удавались позднее в такой же степени. И если взять два крупнейших лица из театра Гоголя — городничего и Подколесина, — то трудно было тогда и знатокам театра решить, кто стоял *выше,* как художник-исполнитель: Щепкин или Садовский?

Для нас, провинциалов, Садовский был еще что-то совсем новое, хотя он уже и состоял к тому времени в труппе Малого театра более десяти лет.

Но газеты занимались тогда театром совсем не так, как теперь. У нас в доме, правда, получали «Московские ведомости»; но читал их дед; а нам в руки газеты почти что не попадали. Только один дядя, Павел Петрович, много сообщал о столичных актерах, говаривал мне и о Садовском еще до нашей поездки в Москву. Он его видел раньше в роли офицера Анучкина в «Женитьбе». Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин» *.

От игры Садовского впервые испытал я впечатление чего-то *могучего.* Чувствовался *кряж* натуры, прирожденного богатейшего таланта. Все тут было *свое,* ниоткуда не заимствованное. Каждая интонация, всякий жест, взгляд, усмешка, поворот головы говорили о бытовой почве.

И все это дышало необычайной простотой и легкостью выполнения. *Ни малейшего усилия!* Один взгляд, один звук — и зала смеется. Это у Садовского было в блистательном развитии и тогда уже в ролях Осипа и Подколесина. Такого героя «Женитьбы» никто позднее не создавал, за исключением, быть может, Мартынова. Я говорю: «быть может», потому что в Подколесине сам никогда его не видал.

Сохранилось все это у Садовского и даже достигло полной виртуозности и позднее, как, например, в роли Расплюева... Одно его появление и первый вздох уже настраивали всю залу на особый комический лад.

И тем разительнее выходил контраст между Подколесиным и Большовым. Такая бытовая фигура, уже без всякой комической примеси, появилась решительно в первый раз, и создание ее было делом совершенно нового понимания русского быта, новой полосы интереса к тому, что раньше не считалось достойным художественной наблюдательности.

А в области чистого комизма Садовский представлял собою полнейший контраст с комизмом такого, например, прирожденного «буффа», каков был давно уже тогда знаменитый любимец публики, В. И. Живокини. В нем текла итальянская кровь. Он заразительно смешил; но на создание *строго бытовых лиц* не был способен, хотя впоследствии и сыграл не мало всяких купеческих ролей в репертуаре Островского.

Случилось так, что я видел его тогда два раза и... в том числе в *опере!* Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» — Репетилова.

О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике * после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однодворце».

Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П. Г. Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.

В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоил многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.

Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом» и вообще схватывателя типичных черт, в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в которой я его и увидал впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине 60-х годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург. Другой его такой же типичной ролью из

той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в какой-то переводной пьесе) *, и он вспоминал, что один престарелый московский барин, видавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство, и всю повадку великого «Фрица».

Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения выказывал он в гоголевском Яичнице. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.

В таких старых актерах было что-то особенно прочное, *веское,* значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях.

И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики» *.

С. В. Шумский к зиме 1852—1853 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самариным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.

Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная; но без той особой ноты в создании *наивно*-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М. П. Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.

Загорецкий являлся у Шумского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П. А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, *по прошествии с лишком полвека,* движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича 20-х годов, вплоть до малейших деталей, обдуманных артистом, например того, что у Загорецкого нет собственного лакея, и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.

Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю

этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.

Шумского 60-х годов я лично зазнал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.

Трех женщин Малого театра, кроме Е. Васильевой[1], помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П. И. Орлову.

С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразность, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша была она и в московской старой барыне (из «Горя от ума»), и в жене трактирщика Маломальского.

Кавалерова и тогда уже считалась *старухой* не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. *Так* теперь уже разучаются играть комические лица. Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.

П. И. Орлова держала тогда — уже на склоне карьеры — амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.

Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника великого поста и утром и вечером.

Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут

---

[1] Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье, в «Горе от ума». *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Н[ессельро]де, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.

Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь и слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Jean le cocher» [1], которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик» *.

И не для меня одного театральная масленица сезона 1852—1853 года была прощальной. На первой же неделе поста сгорел Большой театр *, когда мы были на обратном пути в Нижний.

В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.

Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.

Чего-нибудь особенно *столичного* я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.

Я это привожу опять-таки затем, чтобы показать: как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы

---

[1] «Кучер Жан» *(франц.)*.

тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.

В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то есть о графине Евдокии Ростопчиной.

Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»; езды было много, больше карет, чем в губернском городе; но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома — все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новинским * напомнило, en grand[1], такое же катанье на масленице в Нижнем, по Покровке — улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.

Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мельканье парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией *. Но, в общем, масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся масленая прошла для меня, как в чаду.

Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал *комплект* *, и каждый из нас смотрел на здешнего студента, как на счастливца.

Одним из таких счастливцев оказался мой земляк Б—вин, сын председателя палаты. Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.

---

[1] на широкую ногу *(франц.)*.

Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах. Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строго соблюдение формы.

Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата — все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.

С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долгому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.

И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет. Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.

С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка», — той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов — немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать.

Читали французскую и немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.

«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений» даже и у нас, гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сидением взаперти.

Напротив! Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружиться без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.

Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит, как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, — даже и не мечтали.

Не надо забывать, что тургеневские Лиза и Елена принадлежали как раз к *этой генерации*, то есть стали взрослыми девицами к половине 50-х годов.

Крепостным правом они особенно не возмущались, но и не выходили крепостницами и в обращении с прислугой привозили с собой очень гуманный и порядочный тон. Этого, конечно, не было бы, если б там, в стенах казенного заведения, поощрялись разные «вотчинные» замашки. Они не стремились к тому, что и тогда уже называлось «эмансипацией», и, читая романы Жорж Занд, не надевали на себя никаких заграничных личин во вкусе той или другой героини.

Думаю, что главное русло русской *культурной* жизни, когда время подошло к 60-м годам, было полно

молодыми женщинами или зрелыми девушками этого именно этическо-социального типа. История показала, что они, как сестры, жены и потом матери двух поколений, не помешали русскому обществу идти вперед.

И тут будет уместно помянуть добрым словом всех тех женщин — замужних и девиц, которые участвовали и в *нашем* умственном и нравственном *росте.* Я лично отроком и юношей до университета много им обязан. В моей тетке (со стороны матери) я находил всегда чуткую душу, необычайно добрую, развитую, начитанную, с трогательной любовью к своей больной сестре, моей матери, и к брату Николаю, особенно с той минуты, как он был сослан в Сибирь по делу Петрашевского. Она одна могла бы служить ярким доказательством того, какие та эпоха доставляла личности. И она и мать моя хоть и выросли на рабовладельческих порядках, но никогда их не оправдывали. Гнет родительской власти не помешал им быть проникнутыми теплой сердечностью и в родственных связях, и ко всем, кто сближался с ними.

Мальчиком я долго был неразвязен и дик, в особенности при женщинах. Но во мне рано подметили влюбчивость и склонность к дружбе с взрослыми девицами. И те, кто умели приручить меня, охотно со мной беседовали и, может и не желая того, участвовали в моем воспитании.

У меня еще до университета, когда я уже подрос, было несколько приятельниц, старше меня на много лет. Они не довольствовались ролью конфиденток, которым я поверял свои сердечные тайны. Они давали мне книги, много рассказывали о себе и о своих впечатлениях, переписывались со мною подолгу; даже и позднее, когда я поступил в студенты.

Одна из них в особенности интересовала меня. Тут не обошлось и без некоторой влюбленности, но уже впоследствии; а сначала она меня привлекала своим умственным изяществом, даровитостью и блестящим разговором. Мы продолжали с ней дружбу и в Казани. И она была из институток, даже провинциальных; но из ряду вон.

Такая культурная гимнастика — как тогда говорили — «полировала» юношу и с таких ранних лет накопляла тот психический материал, который пригодился потом писателю.

Те месяцы, которые протекли между выпускным экзаменом и отъездом в Казань с правом поступить *без экзамена,* были полным расцветом молодой души. Все возраставшая любовь к сестре, свобода, права взрослого, мечты о студенчестве, приволье деревенского житья, все в той же Анкудиновке, дружба с умными милыми девушками, с оттенком тайной влюбленности, ночи в саду, музыка, бесконечные разговоры, где молодость души трепетно изливается и жаждет таких же излияний. Больше это уже не повторилось.

Деревня была заключительным аккордом всех этих «откровений бытия». Она не вызывала тогда в нас того, что она теперь может давать юноше горького и тяжелого.

Слова мои покажутся парадоксом... Тогда царило крепостничество, а теперь мужик вольный. Конечно! Но власть чувствовалась тогда всеми: и нами не меньше, чем мужиками. Это была цепь из разных степеней государственной, общественной и домашней иерархии.

Но то, что мы тогда видели на деревенском «порядке» и в полях, не гнело и не сокрушало так, как может гнесть и сокрушать теперь. Народ жил исправно, о голоде и нищенстве кругом не было слышно. Его не учили, не было ни школы, ни фельдшера, но одичалости, распутства, пропойства — ни малейшего. Барщина, конечно, но барщина — как и мы понимали — не «чересчурная». У всех хорошо обстроенные дворы, о «безлошадниках» и подумать было нельзя. Кабака ни одного верст на десять кругом.

«Крепость» только поднимала в нас чувство жалости и к крестьянам и к дворовым. Но повторяю: хищно-сословного и даже просто насмешливо-пренебрежительного взгляда на деревню, на мужиков, баб, ребятишек мы не имели никакого.

И во мне, и в сестре моей, и в наших приятельницах жило, напротив, всегдашнее ласковое чувство к девчатам, к мальчикам, к молодухам и старухам. Мы ходили в лес и поле с ребятами сбирать грибы, ягоды, цветы, не испытывая никакого брезгливо-дворянского чувства.

И сестра и я сохраняли интимную связь с нашими кормилицами и знали своих молочных братьев и сестер. И прямо от деревенских, и через дворовых мы узнавали множество вещей про деревенскую жизнь, помнили в

лицо мужиков из дальних деревень, их прозвища, их родство с дворовыми.

Все это также послужило писателю. Он не сделался тенденциозным народником, но сохранил до старости неизменную связь с народом и убежден в том, что его быт, душа, общежительные формы достойны художнического изображения.

Только ни мы, ни вокруг нас никто, даже из самых развитых людей, никогда бы не подумал искать какого-то откровения в каких-нибудь «босяках», пропойцах и бродягах, якобы изображающих собою новый мир идей и упований.

Бродяги были и тогда, только мы их не видали. *Босяков,* в теперешнем смысле, кругом не было, да и не могло скопиться в таком количестве, как теперь. За все мое детство и юношеские годы в гимназии я никогда не слыхал, чтобы водились в городе с тридцатью тысячами жителей отщепенцы в нынешнем вкусе, герои трущоб из «интеллигентного» класса, вперемежку с простонародьем. Пили и даже спивались, но ни класса, ни даже групп такого сорта положительно не водилось. Были чудаки, полоумные или юродивые, вроде Миши Бидарева, который ходил по морозу босиком в длинной рубашке. Было, конечно, профессиональное нищенство, но «босяка» не было в нынешнем смысле, и диким представилось бы нам, искавшим также идеалов, возводить алкоголиков, контрабандистов, простых воришек или бездомных бродяг в особый класс носителей социальной правды!

Бурлаков мы знали и жалели их за тяжелую службу, когда все на Волге еще двигалось «лямкой» и пароходы *бегали* по ней всего каких-нибудь три-четыре года, но и бурлак был «крестьянин», наш мужичок из приволжских оброчных деревень. На нем не лежало никакого босяческого клейма. «Бурлаки» Репина еще не сложились тогда *. Они были еще не сбродом, а более или менее исправными крестьянами с дешевым и тяжелым заработком.

Без всякого сословного высокомерия мы не могли бы тогда признать за «босяками» какой-то особой прерогативы, потому что мы уже воспитывали в себе высокое почтение к знанию, таланту, личным достоинствам. Любой товарищ по гимназии— сын мещанина из вольноот-

пущенных — становился в наших глазах не только равным, но и выше нас потому, что он отлично учится, умен, ловок, хороший товарищ. А превратись он в «босяка», мы бы от этого одного не преисполнились к нему никогда особенным сочувствием или почтением.

Перед тем как меня снаряжали в студенты, я прощался с моим родным городом, когда мы вернулись из деревни к августу, к ярмарочному времени. И весной, когда я гулял с сестрой по набережной и нашему «Откосу», и теперь на прощанье я подолгу стаивал на вышке, откуда видно все заволжье, и часть ярмарки, и Печерский монастырь, и слева Егорьевская башня кремля.

Волга и нижегородская историческая старина, сохранившаяся в тамошнем кремле, заложили в душу будущего писателя чувство связи с родиной, ее живописными сторонами, ее тихой и истовой величавостью. Это сделалось само собою, без всяких особых «развиваний». Ни домашние, ни в гимназии учителя, ни гувернеры никогда не водили нас по древним урочищам Нижнего, его церквам и башням с целью разъяснять нам, укреплять патриотическое или художественное чувство к родной стороне. Это сложилось само собою.

Попадая в наш собор, особенно в его крипту, где лежат останки удельных князей нижегородских, я еще мальчиком читал их имена на могильных плитах, и воображение рисовало какие-то образы. Спрашивалось, бывало, у самого себя: а каков он был видом, вот этот князь, по прозвищу «Брюхатый», или вон тот, прозванный «Тугой лук»?

Имена Минина и Пожарского всегда шевелили в душе что-то особенное. Но на них, к сожалению, был оттенок чего-то официального, «казенного», как мы и тогда уже говорили. Наш учитель рисования и чистописания, по прозванию «Трошка», написал их портреты, висевшие в библиотеке. И Минин у него вышел почти на одно лицо с князем Пожарским.

И староцерковное и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, «Строгановская» церковь на Нижнебазарской улице, единственный каменный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр Великий, все башни и самые стены кремля, его великолепное положение на

холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий по имени *Марк Фрязин.* И эта связь с Италией Возрождения, еще не сознаваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микеланджело, Браманте и других великих «фряжских» зодчих, мог задумать и выполнить такое сооружение.

Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекли старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто получше рисует, снимать с натуры кремль и церкви в городе и Печерском монастыре.

Все, что у меня есть в «Василии Теркине» * в этом направлении, вынесено еще из детства. Я его делаю уроженцем приволжского села, бывшего княжеского «стола» вроде села Городец, куда я попал уже больше сорока лет спустя, когда задумывал этот роман.

Многие особенности своего и общепсихического и писательского склада я объясняю тем, что родился в *нагорной* местности. Нижний по положению — исключительный город. Он не только стоит так высоко, как ни один *приречный* город в Европе из мне известных, не исключая Парижа, Пешта, Белграда и Гейдельберга; но и весь изрыт балками, ущельями, крутыми подъемами и спусками.

С детства «Гребешок» был для нас, мальчиков, любимейшим пунктом прогулок. Туда сладко было «закатиться», особенно тайком, без гувернерского надзора. Это — вышка над самым ярмарочным мостом, известная всем, кто побывал «у Макария» *. Теперь все это опошлилось увеселительным заведением и подъем совершается по траму; а тогда это было настоящее восхождение, вроде как на Альпы для детской фантазии. Путь лежал от нас с Покровки по Лыковой дамбе мимо церкви Жен-мироносиц, потом опять кверху мимо церквей Вознесения и Похвалы богородицы, и, оставляя вправо спуск по Похвалинскому съезду, а слева балки, где стояли деревянные жандармские казармы, вы по переулочкам попадали к тому «взлобью», которое и был «Гребешок», где потом при губернаторе Муравьеве (бывшем декабристе) * водрузили довольно-таки безобразную башню.

В нашу кровь и западало что-то горное: любовь к крутизнам и высоким подъемам, к оврагам, густо заросшим лопухом и крапивой, которые наше воображение превращало в целые леса, к отвесным почти «откосам», где карабкались козы — белые и темношерстные: истое нижегородское животное, кормилица мелкого люда. Коз мы любили особенной какой-то любовью, и когда я в Неаполе в 1870 году увидал их в таком количестве, таких умных и прирученных, я испытывал точно встречу с чем-то родным.

Надо было все это бросить и ехать в Казань. И грустно и сладко было. Меня проводили на пароход, первый пароход, на какой я вступал и пускался в путь, не по одной только Волге, а в долгую дорогу ученья — в аудитории и в жизни, у себя и в чужих землях.

В Казань я поторопился. Явившись к ректору — астроному Симонову, я получил от него разрешение вернуться на весь август месяц. Я был принят и мог дома «достраивать» себе студенческую форму и кутнуть на ярмарке.

Но кутнуть не пришлось: хозяйничала холера. И я заболел, хотя и легкой формой: «холериной», как тогда называли.

И тут окончательно я выбрал себе не просто факультет, а «разряд», о котором в гимназии не имел понятия. Моя мать, узнав, что я подал прошение о поступлении в «камералисты» *, почему-то не была довольна, видя в этом неодобрительную изменчивость. Хотел быть юристом, а попал на какие-то «камералы», о которых у нас дома никто, кажется, не имел вполне ясного представления.

А этот скорый выбор сослужил мне службу, и не малую. Благодаря энциклопедической программе камерального разряда, где преподавали, кроме чисто юридических наук, химию, ботанику, технологию, сельское хозяйство, я получил вкус к естествознанию и незаметно прошел в течение восьми лет, в двух и даже трех университетах, полный цикл университетского знания по целым трем факультетам с их разрядами.

Весьма вероятно, что поступи я в «юристы» — это повело бы меня на службу, о чем мечтали и мои домашние, и не позволило бы так долго и по такой обширной программе умственно развивать себя.

Какие же выводы можно сделать из того преддверия в жизнь, через какое прошел будущий «бытописатель» русского общества?

Может, кому и не особенно понравятся эти выводы, но я не могу их не привести здесь.

Без той общей культурности, в воздухе которой я рос и воспитывался, нельзя было получить известных предрасположений, помимо вопроса о личной даровитости.

Тогдашний *николаевский* Нижний, домашний быт, гимназия, товарищи, гувернеры, общество, его вкусы и общежительность, театр, музыка, общий тон дали *более положительных, чем отрицательных результатов.*

Гнет правительственных порядков, крепостного права и домашних строгостей скорее помогал нарождению в нас *освободительных* чувств и настроений.

Закорузло-сословных, хищнических и развращающих навыков и замашек мы не вынесли, по крайней мере лучшие из нас.

Идея науки, обаяние университета, мечта о высшем образовании наполняли многих из нас. Теперешнего карьеризма и жуирства, в самых юных экземплярах, мы не знали.

Разночинский быт, деревня, дворня, поля, лес, мужики, даже барские забавы, вроде, например, псовой охоты (см. рассказ мой «Псарня» *), воспитали во мне лично то сочувственное отношение к родной почве, без которого не сложился бы писатель-художник.

Наконец, прошлое родного края, исторические памятники, Волга, ее берега, живительный воздух ее высот и урочищ поддерживали особые настроения, опять-таки в высокой степени *благоприятные* для нарождения будущего писателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Казань в 50-х годах. — Университет. — Начальство. — Инспектор Ланге. — Полицейский надзор. — Камеральный «разряд». — Профессор Иванов. — Любимые профессора: Аристов, Мейер, Бутлеров, Киттары. — Словесники. — Григорович. — Медицинский факультет. — Жизнь вне университета. — Материальные условия. — Светский мир Казани. — Губернаторша. — Литературность общества. — Музыкальное любительство. — Мой товарищ М. Балакирев. — Театр. — Милославский, Ал. Стрелкова, Шмидгоф. — Начало Крымской войны. — Настроение общества. — Дух студенчества. — Казенные студенты. — Начитанность в первые годы студенчества. — Поворот к точной науке на втором курсе. — Химия. — Нравы студентов. — Мечта о Дерпте. — Переход туда на 3-м курсе. — Проф. Бабст. — Бутлеров в лаборатории. — Без любовных увлечений. — Смерть Николая I. — На вакациях. — Поездка на долгих. — Тамбовская усадьба. — Липецкие воды. — Дворовые и крестьяне. — Дедовская библиотека. — Дальнейшее знакомство с бытовой жизнью. — Вторая летняя вакация. — Ополчение 1855 года. — В Нижнем. — Зимой и летом. — Писатель Даль. — Переезд в Дерпт

Два с лишком года моего казанского студенчества для будущего писателя не прошли даром; но больше в виде *школы жизни,* чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы литературно-художественные интересы.

Вся вторая треть романа «В путь-дорогу» (книга третья и четвертая) полна моих личных испытаний и очерков студенческого быта; но *автобиографический* характер и в первой трети, и в этой (так же, как и в последней трети) значительно изменен. Герой его, гимназист, а потом студент Телепнев — иначе провел свое детство и отрочество; его первая любовь, в гимназии, и его светская интрига в Казани созданы автором. Но почти

все остальное, что есть в этой казанской трети романа, извлечено было из личных воспоминаний, и, в общем, ход *развития* героя сходен с тем, через что и я проходил.

Казань, как город, как пункт тогдашней культурной жизни приволжского края, уже не мог быть для меня чем-нибудь внушительным, невиданным. Поездка в Москву дала мне запас впечатлений, после которых большой губернский город показался мне таким же Нижним, побойчее, пообширнее, но все-таки провинцией.

Положение города на реке менее красиво; крепость по живописности хуже нашего кремля; историческая татарская старина сводилась едва ли не к одной Сумбекиной башне*. Только татарская часть города за рекой Булаком была своеобразнее. Но тогда и я, и большинство моих товарищей не приобрели еще вкуса к этнографии. Это не пошло дальше двух-трех прогулок по тем улицам, где скучилось татарское население, где были их школы и мечети, лавки, бани.

Привлекал *университет,* и прежде всего потому, что он для нас являлся символом нашего освобождения от запретов и зависимости жизни «малолетков», от унизительного положения школьников, от домашнего надзора, хотя в последнее полугодие я и дома состоял уже почти что на правах взрослого.

Университет — главный корпус и здания на дворе с памятником Державину в тогдашнем античном стиле — все-таки имел в себе что-то, непохожее на нашу гимназию. От него «пахло» наукой, а от аудиторий мы ждали еще неиспытанных умственных услад.

Но сразу после поступления, когда мы облеклись в желанную форму, с треугольной *шляпой* и *шпагой,* встал перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя судеб студенчества не только казенного, но и своекоштного — две довольно резкие категории, на какие оно тогда разделялось.

Нас уже пугали старые студенты из земляков этим «всесильным Василием Иванычем», прозванным давно хлестаковской кличкой Земляники и даже «кувшинным рылом». До представления инспектору мы уже ходили заводить знакомство с его унтером и посыльным «Демкой» — вестником радостей и бед. Он приносил повестки на денежные пакеты, и он же требовал к «ишпектору»,

что весьма часто грозило крупной неприятностью. Карцер тогда постоянно действовал, и плохая отметка в поведении могла вам испортить всю вашу студенческую карьеру.

Ректора никто не боялся. Он никогда не показывался в аудиториях, ничего сам не читал, являлся только в церковь и на экзамены. Как известный астроном, Симонов считался как бы украшением города Казани рядом с чудаком, уже выживавшим из ума, помощником попечителя Лобачевским, большой математической величиной.

Попечитель произнес нам речь вроде той, какую Телепнев выслушал со всеми новичками в актовой зале. Генерал Молоствов был, кажется, добрейший старичок, любитель музыки, приятный собеседник и пользовался репутацией усердного служителя Вакха. Тогда, в гостиных, где французили, обыкновенно выражались о таких вивёрах: «il lève souvent le coude» [1].

От всего этого начальства не исходило на нас никакого обаяния. Это было нечто вроде наших гимназических властей, только повыше рангом. Отношение в студенчестве ко всем этим лицам было насмешливое, вовсе не почтительное, разумеется, про себя; к инспектору так и прямо враждебное.

Но я не знаю, был ли этот обер-полициант так уже антипатичен, если посмотреть на него с «исторической» точки зрения, взяв в расчет тогдашний «дух» в начале 50-х годов, то есть в период все той же реакции, тянувшейся с 1848 года.

Грозный «Василий Иваныч» (по фамилии Ланге) смахивал на чиновника, какими тогдашние губернские города были полны: вицмундирная пара, при узких брюках, орден на шее, туго накрахмаленная манишка, прическа с височками рыжеватого парика, бритое, начальническое лицо и внушительный тон в нос без явного немецкого акцента, но с какой-то особой «оттяжкой». Он был из военных, перешедших в гражданскую службу, кажется, из какого-то специального рода оружия, сапер или военных инженеров. Оставаясь в лютеранской вере, стоял неизменно впереди студентов в церкви на всех службах; и когда успевал посещать кирку — мы не

[1] он часто закладывает за галстук *(франц.)*.

знали. Нельзя сказать, чтобы он возмущал грубостью; больше вызывал он неприязнь своей чиновничьей выправкой и нежеланием снизойти до более мягких и доступных приемов. Строгости касались ношения формы, хождения к обедне, надзора в театрах, посещения трактиров.

Но известно было, что он с *казенными* обходился мягче, заглядывал запросто в столовую, выслушивал их просьбы, доставлял им и удовольствия, вроде даровых посещений концертов.

В сущности, инспекторский надзор с его «субами» *, которых в грош не ставили, не проникал в глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы, пьянство, буйство, половая распущенность. И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции, никаких записываний субами не водилось, ни перекличек, ни отметок, какие производили так недавно «педеля». О педелях никто не имел и понятия, разве по рассказам о дерптских порядках, откуда их, в другие времена, и заимствовали.

Поступив на «камеральный» разряд, я стал ходить на одни и те же лекции с юристами первого курса в общие аудитории; а на специально камеральные лекции, по естественным наукам, — в аудитории, где помещались музеи, и в лабораторию, которая до сих пор еще в том же надворном здании, весьма запущенном, как и весь университет, судя по тому, как я нашел его здания летом 1882 года, почти тридцать лет спустя.

Одна из профессорских фигур, которая сразу заинтересовала меня своей внешностью, была фигура худощавого брюнета, в черном пальто и высокой шляпе с трауром. Он поднимался с площадки наверх, где помещалось правление.

— Это Мейер! — назвал мне кто-то с особым выражением.

Знаменитого *цивилиста* мне не привелось слушать ни на первом, ни на втором курсе: гражданского права нам, камералистам, не читали. Позднее он перешел в Петербургский университет, где и сделался его украшением.

Он худощавым лицом нервного брюнета и всем своим душевным складом и тоном выделялся, как оригинальная и тонкая личность. Мы, «камералы», знали, что он нас не очень жалует, считая какими-то незаконными чадами юридического факультета. Юристы его побаивались и далеко не все хорошо усваивали себе его лекции. Он был требователен и всячески подтягивал своих слушателей, заставлял их читать специальные сочинения, звал к себе на беседы.

Для нас, новичков, первым номером был профессор русской истории Иванов, родом мой земляк, нижегородец, сын сельского попа из окрестностей Нижнего. В его аудитории, самой обширной, собирались слушатели целых трех разрядов и двух факультетов.

Как и герой романа «В путь-дорогу», я впервые услыхал его зычный возглас «Милостивые государи!», который так ласкал наш слух сознанием, что мы не мальчишки, а взрослые слушатели, которым надо говорить «милостивые государи!».

Чисто камеральных профессоров на первом курсе значилось всего двое: ботаник и химик. Ботаник Пель, по специальности агроном, всего только с кандидатским дипломом, оказался жалким лектором, и мы стали ходить к нему по очереди, чтобы аудитория совсем не пустовала. Химик А. М. Бутлеров, тогда еще очень молодой, речистый, живой, сразу делал свой предмет интересным, и на второй год я стал у него работать в лаборатории.

Кроме Мейера у юристов, Аристова, читавшего анатомию медикам, и Киттары, профессора технологии, самого популярного у камералистов, никто не заставлял говорить о себе как о чем-то из ряду вон. Не о таком подъеме духа мечтали даже и мы, «камералы», когда попали в Казань.

Того обновления, о каком любили вспоминать люди 40-х годов, слушавшие в Москве Грановского и его сверстников, мы не испытывали. Разумеется, это было ново после гимназии; мы слушали лекции, а не заучивали только параграфы учебников; но университет не захватывал, да и свободного времени у нас на первом курсе было слишком много. Вряд ли среди нас и на других факультетах водились юноши с совершенно определенными, высшими запросами. Лучшие тогдашние сту-

денты все-таки были не больше, как старательные ученики, редко шедшие дальше записывания лекций и чтения тех скудных пособий, какие тогда существовали на русском языке.

По некоторым наукам, например хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек; да и то вряд ли. Того, что теперь называют «семинариями», писания рефератов и прений, и в заводе не было.

Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не привились. Во мне, считавшемся в гимназии «сочинителем», эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не явилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.

Вообще, словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам *обязательный* предмет, и целых два года. Ему многие, и *не* словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс «пропедевтики» с критическим разбором неписьменных и письменных источников.

О профессоре словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления. Филологи-классики, профессора восточных языков — все это входило в область каких-то более или менее «ископаемых». Исключение делали для известного в то время слависта Д. И. Григоровича, и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все «Мишенька», приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.

Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных рассказ-

ней, которые мы получили в наследство от старых студентов.

Нисколько не анекдот то, что Камбек, профессор римского права, коверкал русские слова, попадая на скандальные созвучия, а Фогель лекцию о неумышленных убийствах с смехотворным акцентом неизменно начинал такой тирадой:

«Ешели кдо-то фистрэляет *на* бупличном месте з пулею и упьет трухаго».

У медиков я бывал на разных лекциях, посещал и товарищей в клинике. Там все было построже — по учению, экзаменам и практическим работам. Очень любимый и требовательный преподаватель анатомии Аристов действительно владел мастерским описательным языком, и считалось как-то унизительным пропустить хоть одну его лекцию. В клинике местной славой окружен был хирург Елачич, читавший еще по-латыни. Но физиология была в жалком положении, без кабинета, опытов и вивисекций. Иностранец Берви, как рассказывали тогда сами медики, кровообращение объяснял на собственном носовом платке, а профессор терапии Линдгрэн был заведомый гомеопат.

Не хочу здесь повторяться. «В путь-дорогу» во второй трети содержит достаточно штрихов, портретов и картин, взятых живьем, может быть в несколько обличительном тоне, но без умышленных преувеличений.

Моя жизнь вне университета проходила по материальной обстановке совсем не так, как у Телепнева. Мне пришлось сесть на содержание в тысячу рублей *ассигнациями,* как тогда еще считали наши старики, что составляло неполных триста рублей, — весьма скудная студенческая стипендия в настоящее время; да и тогда это было очень в обрез, хотя слушание лекций и стоило всего сорок рублей.

Со мной отпустили «человека», чего я совсем не добивался, и он стоил целую треть моего содержания. Жили мы втроем в маленькой квартирке из двух комнат в знаменитой «Акчуринской казарме», двор которой был очень похож по своей обстановке на тот, где проживали у М. Горького его супруги Орловы.

Переход был довольно-таки резкий из барского дома, где нас, правда, не приучали ни к какой роскоши, но

где все-таки значилось до сорока человек дворни и до двадцати лошадей на конюшнях.

Но я не помню, чтобы такое житье на двадцать рублей в месяц вызывало во мне чувство недовольства, болезненно подавляло или питало нездоровый, тщеславный стыд.

Да и вообще в то время нигде, ни в каком университете, где я побывал — ни в Казани, ни в Дерпте, ни в Петербурге, — не водилось почти того, что теперь стало неизбежной принадлежностью студенческого быта, *жизни на благотворительные сборы*. Нам и в голову не приходило, что мы потому только, что мы учимся, имеем как бы какое-то *право* требовать от общества материальной поддержки.

И в наше время было много бедняков. Казенных держали недурно, им жилось куда лучше доброй половины своекоштных, которые и тогда освобождались от платы, пользовались некоторыми стипендиями (например, сибиряки), получали от казны даровой обед и даже даровую баню. Но, повторяю, ни в обществе, ни в среде студентов не сложился еще взгляд, по которому одно только звание студента дает как бы привилегию на государственную или общественную поддержку. Мы должны были довольствоваться очень скудной едой. В Дерпте, два года спустя, она стала еще скуднее, и целую зиму мы с товарищем не могли тратить на обед больше четырех рублей на двоих в месяц, а мой «раб» ел гораздо лучше нас.

И с таким-то скудным содержанием я в первую же зиму стал бывать в казанских гостиных. Мундир позволял играть роль молодого человека; на извозчика не из чего было много тратить, а танцевать в чистых замшевых перчатках стоило недорого, потому что они мылись. В лучшие дома тогдашнего чисто дворянского общества меня вводило семейство Г — н, где с умной девушкой, старшей дочерью, у меня установился довольно невинный флёрт. Были и другие рекомендации из Нижнего.

Тогда Казань славилась тем, что в «общество» не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали «de son bord»[1]. Самые родовитые и богатые дома перероднились между собою, много принимали, давали

---

[1] из того же круга *(франц.)*.

балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами.

Такой светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества. Юноша «полировался», а это совсем не плохо. И тут женщины — замужние дамы и девицы — продолжали свое воспитательное влияние. Нетребовательность и сравнительная дешевизна позволяли бывать всюду, в самых богатых и блестящих домах, не делая долгов, не выходя из своего бюджета в тысячу рублей ассигнациями.

Жили в Казани и шумно и привольно, но по части высшей «интеллигенции» было скудно. Даже в Нижнем нашлось несколько писателей за мои гимназические годы; а в тогдашнем казанском обществе я не помню ни одного *интересного* мужчины с литературным именем или с репутацией особенного ума, начитанности. Профессора в тамошнем свете появлялись очень редко, и едва ли не одного только И. К. Бабста встречал я в светских домах до перехода его в Москву.

Не помню, чтобы водился тогда в Казани хоть один профессиональный писатель, даже из маленьких. В Нижнем как-никак все-таки служил Авдеев; Мельников уже начинал свою карьеру беллетриста в «Москвитянине». В Казани не было даже и местного поэтика. По крайней мере в тогдашнем *монде* мне не приводилось встретить ни единого.

Этот *монд,* как я сказал выше, был почти исключительно дворянский. И чиновники, бывавшие в «обществе», принадлежали к местному дворянству. Даже вице-губернатор был «не из общества» и разные советники правления и палат. Зато одного из частных приставов, в тогдашней форме гоголевского городничего, *принимали,* и его, и жену, и дочь, потому что он был из дворян и помещик.

Губернатором все время при мне оставался И. А. Баратынский, брат поэта, женатый на Абамелек, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: «Когда-то помню»* и т. д.

Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но все еще считалась красавицей, держала себя на своих приемах с большими «тонами» и

принимала «в перчатках», о чем говорили в городе; даже ее кресло стояло в гостиной на некотором возвышении. Старушкой, лет через тридцать, она жила в Бадене, и я увидал в ней какую-то Наину из «Руслана и Людмилы». Тогда она сделалась литературной дамой и переводила русские стихи по-английски; но губернаторшей никаких у себя вечеров с литературными чтениями и даже с музыкой в те годы не устраивала.

Литературу в казанском монде представляла собою одна только М. Ф. Ростовская (по казанскому произношению Ра́стовская), сестра Львова, автора «Боже царя храни», и другого генерала, бывшего тогда в Казани начальником жандармского округа. Вся ее известность основывалась на каких-то повестушках, которыми никто из нас не интересовался. По положению она была только жена директора первой гимназии (где когда-то учился Державин); ее муж принадлежал к «обществу», да и по братьям она была из петербургского света.

Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими causeuses[1]. Начальница принимала у себя всю светскую Казань, и ее гостиная по *тону* стояла почти на одном ранге с губернаторской.

У ней, у Ростовских, у Львовых и у Молоствовых любили музыку, и мой товарищ по нижегородской гимназии Милий Балакирев (на вторую зиму мы жили с ним в одной квартире) сразу пошел очень ходко в казанском обществе, получил уроки, много играл в гостиных и сделался до переезда своего в Петербург местным виртуозом и композитором.

Наши товарищеские отношения с Балакиревым закрепились именно здесь, в Казани. Не помню, почему он не поступил в студенты (на что имел право, так как кончил курс в нижегородском Александровском институте), а зачислился в вольные слушатели по математическому разряду. Он сначала довольно усердно посещал лекции, но дальше второго курса не пошел, отдавшись своему музыкальному призванию.

Балакирев остался истым нижегородцем, больше многих из нас, и Нижнему он обязан своей первоначальной музыкальной выучкой. Тот барин — биограф Моцарта, А. В. Улыбышев, о котором я говорил в первой

---

[1] собеседницами *(франц.).*

главе, — оценил его дарование, и в его доме он, еще в Нижнем, попал в воздух настоящей музыкальности, слышал его воспоминания, оценки, участвовал годами во всем, что в этом доме исполнялось по камерной и симфонической музыке. Улыбышев как раз перед нашим поступлением в Казань писал свой критический этюд о Бетховене* (где оценивал его, как безусловный поклонник Моцарта, то есть по-старинному), а для этого он прослушивал у себя на дому симфонии Бетховена, которые исполняли ему театральные музыканты.

Балакирев в Нижнем покончил уже свою выучку пианиста. Кроме москвича Дюбюка, его учителем был некий Эйзерих, застрявший в провинциальных пианистах. В Казани ему не у кого было учиться, и в Петербург он уехал готовым музыкантом и как виртуоз, и как начинающий композитор. Пианисты, какие наезжали в Казань — Сеймур Шифф и Антон Контский, — обходились с ним уже как с молодым коллегой. Контский заезжал и к нам, в нашу студенческую квартирку; но в ученики, как к виртуозу, Балакирев к нему не поступил. В своих первых композиторских попытках мой земляк был предоставлен самому себе. Систематически учиться теории музыки или истории ее было не у кого. Ни о каких высших курсах или консерваториях тогда и в столицах никто еще не думал, а тем менее в провинции.

Музицировали в казанском свете больше, чем в Нижнем; но все-таки там не нашлось ни одного такого музыкального дома, как дом Улыбышева. За Балакиревым всего больше ухаживали у начальницы института, у Молоствова (попечителя), Ростовских, Львовых. Меня он туда не возил. Общая наша светская гостиная была только у Загоскиной. Серьезного кружка любителей музыки с постоянными вечерами я тоже что-то не помню. Не думаю, чтобы значился там и такой хороший педагог, как нижегородский Эйзерих — учитель Балакирева. В университете состоял на службе немец Мунк. Под руководством его шли квартетные вечера, в которых и я участвовал — в первую зиму. Но к скрипке я стал охладевать, а к переезду в Дерпт и совсем ее оставил, видя, что виртуоза из меня не выйдет.

Но все-таки меня с Балакиревым связывал мой — хоть и чисто любительский — интерес к музыке. Он постоянно делился со мною своими вкусами, оценками и

замыслами, какие начинали уже приходить ему. Помню и те две композиции, какие он написал в Казани: фантазию на мотивы из какой-то оперы (в тогдашнем модном стиле таких транскрипций) и опыт квартета, который он начал писать без всякого руководительства. Не помню, чтобы у него были какие-нибудь учебники по теории музыки, оркестровке или гармонии. Русских учебников не существовало; а немецкий язык он знал недостаточно. Кажется, в Казани стал он выступать и в концертах. Но вообще хорошей музыки симфонического характера тогда и совсем нельзя было слышать в концертах. Наезжали знаменитости-виртуозы. Особую сенсацию, кроме Антона Контского, произвел его брат-скрипач, Аполлинарий. Мне потому особенно памятен его концерт, данный в городском театре, что я был оклеветан субом (по фамилии Ивановым) — якобы я производил шум; а дело сводилось к какому-то объяснению с казенными студентами, которых этот суб привел гурьбой в верхнюю галерею. Из-за этого обвинения инспектор посадил меня в карцер на целые сутки. Оправданий он не принимал против суба; а из казенных никто в пользу мою показаний не дал. Это случилось в первую зиму моего житья в Казани.

Театр играл довольно видную роль в жизни города: и студенчество, и средний класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество интересовались театром.

После нижегородской деревянной хоромины только что отстроенный казанский театр мог казаться даже роскошным. По фасаду он был красивее московского Малого и стоял на просторной площадке, невдалеке от нового же тогда дома Дворянского собрания. Если не ошибаюсь, он и теперь после пожара на том же месте.

Управлялся он городской дирекцией. Это отзывалось уже новыми порядками. Общий строй игры и постановки пьес для губернского города — совсем не плохие, никак не хуже (по тогдашнему времени), чем, например, частные театры Петербурга и Москвы и в конце XIX века, прикидывая их к уровню образцовых сцен, за исключением, конечно, «Художественного театра».

Но я уже побывал в Москве, и то, что мне дал Малый театр, залегло в мои оценки, подняло мои требования. В труппе были такие силы, как Милославский,

игравший в Нижнем не один сезон в те годы, когда я еще учился в гимназии, Виноградов (впоследствии петербургский актер), Владимиров, Дудкин (превратившийся в Петербурге в Озерова), Никитин; а в женском персонале: Таланова (наша Ханея), ее сестра Стрелкова (также из нашей нижегородской труппы), хорошенькая тогда Прокофьева, перешедшая потом в Александринский театр вместе с Дудкиным.

Читатели романа «В путь-дорогу» знают, что публика разделялась тогда на «стрелкистов» и «прокофьистов», особенно студенчество.

Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А «прокофьистами» считались франтики, которые и тогда водились; но в ограниченном числе. То же и в обществе, в зрителях партера и лож.

Мне, как нижегородцу, курьезно было найти в первой драматической актрисе — нашу «Сашеньку Стрелкову», меньшую сестру «Ханеи». Она росла за кулисами, вряд ли где-нибудь и чему-нибудь училась, кроме русской грамоты, и когда стала подрастать, то ее выпускали в дивертисменте танцевать качучу, а мы, гимназистами, всегда подтрунивали над ее толстыми ногами, бесцеремонно называя их (за глаза) «бревнами».

И она в два-три года так выровнялась, что держала первое амплуа, при наружности скорее некрасивой, плотной фигуре и не эффектном росте.

А Прокофьева брала лицом, голоском, бойкостью; но настоящего таланта не имела и кончила в Петербурге на водевильном амплуа.

Милославский считался тогда провинциальной знаменитостью. Я его видал и у моего дяди — театра́ла. Его принимали в нижегородском обществе, что тогда считалось редкостью, принимали больше потому, что он был отставной гусар, из дворянской балтийской фамилии. В Казани, как и в Нижнем, Милославский играл все, и в комедии, и в мелодраме, и в трагедии, от роли городничего до Гамлета и Ляпунова *. Он состоял и главным распорядителем казанской сцены; репертуар давал раз-

нообразный, разумеется с преобладанием переводных драм, выступая в таких пьесах, как «Эсмеральда» *, «Графиня Клара д'Обервиль» *, «Она помешана» * и т. д. Тогда, как и теперь, провинция шла следом за столицами; что давалось в них, то повторяли и в губернских городах. Островский только что входил во вкусы публики, да всего одна его комедия и давалась к 1853 году: «Не в свои сани не садись». За новинками гнались и тогда. И в Казани я уже видел пьесу, состряпанную на подвиге того плотника, который спас танцовщицу в пожаре Большого театра, взобравшись на крышу. И этого плотника, прикрашенного по-театральному, играл все тот же первый сюжет Милославский.

Он дебютировал и в Москве и оставался там некоторое время на первом драматическом амплуа.

С тех пор, то есть с зим 1853—1855 годов, я его больше не видал, и он кончил свою жизнь провинциальным антрепренером на юге.

«Николай Карлович» (как его всегда звали в публике) был типичный продукт своего времени, талантливый дилетант, из тогдашних прожигателей жизни, с барским тоном и замашками; но cabotin [1] в полном смысле, самоуверенный, берущийся за все, прекрасный исполнитель светских ролей (его в «Кречинском» ставили выше Самойлова и Шумского), каратыгинской школы в трагедиях и мелодрамах, прибегавший к разным «штучкам» в мимических эффектах, рассказчик и бонмотист [2], не пренебрегавший и куплетами в дивертисментах, вроде:

Одйн мушик, одна жонушка был...
Хорошенький, миленький — да!

Я бы его сравнил с В. В. Самойловым. И по судьбе, по тону, по разносторонней талантливости, и, кажется, по чисто актерским свойствам и характеру жизни, они — одного поля; только у Самойлова даровитость была выше сортом.

Сохранилась у меня в памяти и его дикция, с каким-то не совсем русским, но, несомненно, барским акцентом. В обществе он бойко говорил по-французски. В Нижнем его принимали; но в Казани — в тамошнем

---

[1] комедиант *(франц.)*.
[2] острослов (от *франц.* bon mot).

монде, на вечерах или дневных приемах, — я его ни в одном доме не встречал.

Жил он с своей подругой Э. К. Шмидгоф, с которой когда-то приехал и в Нижний. Эта красивая полунемка-полуполька пела в московской опере и полегоньку превращалась и в актрису, сохранив навсегда польско-немецкий акцент. При ней состояла целая большая семья: отец-музыкант, сестра-танцовщица (в которую масса студентов были влюблены) и братья — с малолетства музыканты и актеры; жена одного из них, наша нижегородская театральная «воспитанница» Пиунова, сделалась провинциальной знаменитостью под именем «Пиуновой-Шмидгоф».

Это музыкальное семейство поддерживало в казанском театре и некоторый вокальный элемент. Давали «Аскольдову могилу» и одноактные комические оперы. Это началось еще с Нижнего, где для Эвелины поставили даже «Норму».

Театральное любительство водилось и в казанском свете; но не больше, чем в Нижнем. Были талантливые дилетанты, например тогдашний университетский «синдик» (член правления) Алферьев, хороший комик. Но я лично, выезжая в первую зиму, не находил ни в каких домах никакого особенного интереса к театру, к декламации, к чтению вслух, вообще к литературе. Увлекались только входившим тогда в моду столоверчением *. Приезжие из Петербурга и Москвы рассказывали про Рашель, которую мне так и не привелось видеть ни в России, ни во Франции. Я попал за границу много лет спустя после ее смерти.

Но чего-нибудь литературного, лекций или сборищ в домах с чтением стихов или прозы, я положительно не припомню. Были публичные лекции в университете по механике (проф. Котельникова) и по другим предметам — и только. Да и вообще, в казанском светском, то есть дворянско-помещичьем, монде связь с университетом чувствовалась весьма мало. Этому нечего удивляться и теперь, судя по тому, что я находил в конце 90-х годов в таких университетских городах, как Харьков, Одесса и Киев. Барский, военный и чиновничий круг, населяющий в Киеве квартал Липки, весьма далек от университета и вообще интеллигенции, и в нем держится особый, сословно-бюрократический дух, скорее

враждебный просветительным и передовым идеям, чем наоборот.

Наперечет были в тогдашней Казани помещики, которые водились с профессорами и сохранили некоторое дилетантство по части науки, почитывали книжки или заводили порядочные библиотеки.

Зато можно сказать про тогдашнюю Казань, что она оставалась свободной от военщины. Не стояло даже ни одного полка, ни пехотного, ни кавалерийского, тогда как теперь чуть не целая дивизия. Весь военный элемент сводился к гарнизону, к крепостному управлению, жандармерии, к персоналу адъютантов, из которых двое — один молодой, другой уже в майорском чине — сделались «притчей во языцех» своей франтоватостью. Студенты постоянно издевались над ними, разумеется за глаза, и про одного, майора, рассказывали, что он ходит с *муфтой*. Я его встречал в домах, видал и на улицах, но муфты не заметил.

К второй зиме разразилась уже Крымская война*. *Никакого* патриотического одушевления я положительно не замечал в обществе. Получались «Северная пчела» и «Московские ведомости»; сообщались слухи; дамы рвали корпию — и только. Ни сестер милосердия, ни подписок. Там где-то дрались; но город продолжал жить все так же: пили, ели, играли в карты, ездили в театр, давали балы, амурились, сплетничали.

По амурной части казанский монд имел тогда особую репутацию, может быть и преувеличенную; весьма возможно, что та барыня, которая посвящала моего Телепнева в тайны галантной хроники, и не далека была от истины. Но я лично оставался далек от такого совсем не платонического флёрта, выражаясь по-нынешнему. И *тайные* любовные интриги были у всех «на знати». Вы про них узнавали в первые же месяцы житья в Казани. Несколько «адюльтеров» сделались уже как бы освященными общественным мнением. Ходили слухи и о нравах, напоминающих библейские сказания, как, например, об одном отце-*кровосмесителе*. Разумеется, все это могло считаться и сплетнями; но странно, что такая репутация упорно держалась, и никто никогда против нее не протестовал. С дочерью этого патриарха мы, выезжавшие в свет, танцевали. Она долго не выходила замуж и отличалась манерами дамы, а не барышни.

Равнодушие к судьбам своего отечества, к тому, что делалось в Крыму, да и во время севастопольской осады, держалось и в студенчестве. Не помню никаких не то что уж массовых, а даже и кружковых проявлений патриотического чувства. Никто не шел добровольно на войну (а воинской повинности мы тогда не знали), кроме студентов-медиков, которым предлагали разные места и льготы. Четверокурсников усиленно готовили к выпуску и отправляли в армию и флот. Таких военных врачей, обновивших еще в Казани свою форму, я помню... Но и только.

В студенчестве совсем не было тогда *духа,* какой стал давать о себе знать позднее, к 60-м годам *, в той же Казани, когда я уже переехал в Дерпт.

Причину нельзя искать только в том, что с новым царствованием пришли и новые порядки. И при самом суровом гнете могут крыться в массе вольнолюбивые стремления, которые только ждут случая, чтобы прорваться наружу.

Для этого нужно сначала почувствовать *потребность* в общем ладе, сознать свою солидарность с товарищами. Идея *скопа,* теперь преобладающая, тогда не западала еще в общее сознание. Никаких кружков, землячеств, собраний, сходок, и не потому только, что это было неосуществимо. Я уже говорил, что полицейский режим инспекции ограничивался внешним порядком и чиноначалием. Как мы жили у себя — ни инспектор, ни субы не знали. Шпионства что-то не водилось; стало быть, в известных пределах можно было сплачиваться, обсуждать свои интересы и готовиться к протестам. Все это позднее и явилось. В аудиториях мы свободно обо всем говорили. Суб обыкновенно сидел в профессорской комнате или ходил по коридору. Медики в клинике и анатомическом театре оставались и совсем без надзора суба.

Не назрел «дух» ни в общественном смысле, ни в чисто университетском. Общий полицейский режим мы терпели, как терпели его все: помещики, чиновники, военные, разночинцы. Принести из дому протестующие настроения мы не могли, там их не было. Профессора стояли от нас далеко, за исключением очень немногих. По-нынешнему, иные были бы сейчас же «бойкотированы», так они плохо читали; мы просто не ходили на их лекции; но шикать, или посылать депутации, или тре-

бовать, чтобы они перестали читать, это никому и в голову не приходило!

Случаев действительно возмущающего поведения, даже со стороны инспектора, я не помню. Профессора обращались с нами вежливо, а некоторые даже особенно ласково, как, например, тогдашний любимец Киттары, профессор-технолог, у которого все почти камералисты работали в лаборатории, выбирая темы для своих кандидатских диссертаций.

За все время моего казанского житья (полных два года) не вышло ни одного резкого столкновения студента с профессором, из-за которого по нынешнему времени было бы непременно волнение с обструкцией и прочими «оказательствами».

На экзаменах строгих профессоров боялись, но уважали. Самым строгим считался анатом Аристов, и никто бы не осмелился сделать ему «историю» за тройку вместо четверки.

Сколько я помню по рассказам студентов того времени, и в Москве и в Петербурге до конца 50-х годов было то же отсутствие общего духа. В Москве еще в 60-е годы студенты выносили то, что им профессор Н. И. Крылов говорил «ты» и язвил их на экзаменах своими семинарскими прибаутками до тех пор, пока нашелся один «восточный человек» из армян, который крикнул ему:

— Нэ смээшь говорить мне *ты!..*

Я еще застал нескольких студентов-поляков, которые были как бы на положении ссыльных *. Те были куда развитее нас в этом смысле, но им следовало «держать ухо востро» более, чем кому-либо.

Казенные составляли «общежитие», по нынешнему выражению. У них возможнее был дух товарищества. Но я не помню, чтобы из «занимательных» (так тогда назывались их комнаты в верхнем этаже) исходил какой-нибудь почин в теперешнем смысле: протест или действие скопом, направленное против начальства, профессоров или кого-нибудь вне университета. Бывали заявления недовольства субом и, главное, экономом, отказ от плохой еды или что-нибудь в таком роде. Начальство допускало контроль самого студенчества над тем, как его кормили, и даже установило дежурство казенных по кухне.

В столовых, в бане, в танцевальной зале (тогда классами танцев могли пользоваться и своекоштные), в дортуарах удобно было бы толковать, уговариваться, собирать сходки. Наверх, в занимательные, начальство заглядывало редко. Комнаты, хоть и низкие, были просторные, длинный, довольно широкий коридор, дортуары также поместительные (в одном коридоре с музеями и аудиториями по естественным наукам), и там же уборная, где мы, камералы, обыкновенно собирались перед лекциями ботаники и сельского хозяйства.

Такая же малая инициатива была в студенчестве и по части устройства каких-нибудь вечеров, праздников, концертов. И не думаю, чтобы это происходило от боязни начальства, от уверенности, что не позволят. Более невинные удовольствия или устройство вечеров в пользу бедного товарища было бы возможно.

Единственный бал, данный студентами, был задуман во вторую зиму моего житья в Казани нами, то есть мною и двумя моими товарищами, занимавшимися химией в лаборатории у А. М. Бутлерова. Мысль эта пришла нам без выискиванья какого-нибудь особого предлога. Мы ее сообщили профессору Киттары, зная, какой он энергичный хлопотун и как готов всегда на всякий добрый совет и содействие. Мы даже и струхнули немного, когда пустили в ход эту «затею», боялись «провалиться». Но идея наша очень понравилась; весь город заинтересовался студенческим балом, и в несколько дней Киттары, взявший на себя главное распорядительство, все наладил, и бал вышел на славу.

На этом балу я справлял как бы поминки по моей прошлогодней «светской» жизни. С перехода во второй курс я быстро охладел к выездам и городским знакомствам, и практические занятия химией направили мой интерес в более серьезную сторону. Программа второго курса стала гораздо интереснее. Лекции, лаборатория брали больше времени. И тогда же я задумал переводить немецкий учебник химии Лемана.

Это и был, собственно, первый мой опыт переводного писательства, попавший в печать через три года, в 1857 году; но на первом курсе, насколько память не изменяет мне, я написал рассказ и отправил его не то в «Современник», не то в «Отечественные записки», и ответа никакого не получил.

Такая попытка показывает, что я после гимназической моей беллетристики все-таки мечтал о писательстве; но это не отражалось на моей тогдашней литературности. В первую зиму я читал мало, не следил даже за журналами так, как делал это в последних двух классах гимназии, не искал между товарищами людей более начитанных, не вел разговоров на чисто литературные темы. Правда, никто вокруг меня и не поощрял меня к этому.

Читал больше французские романы, и одно время довольно усердно Жорж Занда, и доставлял их девицам, моим приятельницам, прибегая к такому невинному приему: входя в гостиную, клал томик в тулью своей треуголки и как только удалялся с барышней в залу *ходить* (по тогдашней манере), то сейчас же и вручал запретную книжку.

Как я сказал выше, в казанском обществе я не встречал ни одного известного писателя и был весьма огорчен, когда кто-то из товарищей, вернувшись из театра, рассказывал, что видел И. А. Гончарова в креслах. Тогда автор «Обломова» (еще не появившегося в свет) возвращался из своего кругосветного путешествия через Сибирь, побывал на своей родине в Симбирске и останавливался на несколько дней в Казани *.

«Обыкновенную историю» мы прочли еще гимназистами, и в начале 50-х годов, то есть в проезд Гончарова Казанью, его считали уже «знаменитостью». Она и тогда могла приобретаться одной повестью.

«Неофитом[1] науки» я почувствовал себя к переходу на второй курс самобытно, без всякого влияния кого-нибудь из старших товарищей или однокурсников. Самым дельным из них был мой школьный товарищ Лебедев, тот заслуженный профессор Петербургского университета, который обратился ко мне с очень милым и теплым письмом в день празднования моего юбилея в «Союзе писателей», 29 октября 1900 года. Он там остроумно говорит, как я, начав свое писательство еще в гимназии, изменил беллетристике, увлекшись ретортами и колбами.

Но с Лебедевым мы, хотя и земляки, видались только в аудиториях, а особенного приятельства не

---

[1] новообращенным (от *греч.* neophytos).

водили. Потребность более серьезного образования, на подкладке некоторой даже экзальтированной преданности идее точного знания, запала в мою если не душу, то голову *спонтанно,* говоря философским жаргоном. И я резко переменил весь свой habitus[1], сделался почти домоседом и стал вести дневник с записями всего, что входило в мою умственную жизнь.

Это была первая по времени попытка самопроверки и выяснения того, куда шли мои, уже более серьезные, душевные потребности.

О казанском «свете», о флёрте с барышнями и пикантных разговорах с замужними женщинами я не скучал. Время летело; днем — лекции и работа в лаборатории, после обеда чтение, перевод химии Лемана, разговоры и часто споры с ближайшими товарищами, изредка театр, — никаких кутежей.

От попоек и посещения разных притонов и меня, и кое-кого из моих приятелей воздерживало инстинктивное чувство порядочности. Мы не строили фраз, не играли роль моралистов; а просто нас, на второй же год учения, совсем не тянуло в эту сторону.

А студенческая братия держалась в массе тех же нравов. Тут было гораздо больше грубости, чем испорченности; скука, лень, молодечество, доходившее часто до самых возмутительных выходок. Были такие обычаи, по части разврата, когда какая-нибудь пьяная компания дойдет до «зеленого змия», что я и теперь затрудняюсь рассказать in extenso[2], что разумели, например, под циническими терминами — «хлюст» и «хлюстованье».

И это *было.* Я раз убежал от гнусной экзекуции, которой подвергались проститутки, попавшие в руки совсем озверевшей компании. И не помню, чтобы потом участники в такой экзекуции после похмелья каялись в том, а те, кто об этом слышал, особенно возмущались.

Но, к счастью, не вся же масса студенчества наполняла таким содержанием свои досуги. Пили много, и больше водку; буянили почти все, кто пил. Водились игрочишки и даже с «подмоченной» репутацией по части обыгрыванья своих партнеров. И общий «дух» в деле

---

[1] Здесь: образ жизни *(лат.).*
[2] дословно *(лат.).*

вопросов чести был так слаб, что я не помню за два года ни одного случая, чтобы кто-либо из таких студентов, считавшихся подозрительными по части карт или пользования женщинами в звании альфонсов, был потребован к товарищескому суду.

Самая идея такого «суда» еще не зарождалась.

Но, как я говорю в заключительной главке одной из частей романа «В путь-дорогу», море водки далеко не всех поглотило, и из кутил, даже пьяниц, вышло не мало дельных и хороших людей. Нашлись между ними и профессора, и адвокаты, и честные чиновники, прокуроры, члены судов. Иные достигли и высших званий. Недавно еще умер один судебный сановник, которого я помню форменным пьяницей и драчуном. Он даже из-за постоянного кутежа не кончил курса, но потом подтянул себя и пошел очень успешно по службе после введения новых судебных уставов*.

Вернувшись с вакаций на третий курс, я стал уже думать о кандидатской диссертации. Перевод химии Лемана сильно двинулся вперед за летние месяцы. И не больше как через два месяца я решил свой переход в Дерптский университет.

Случилось это очень быстро, в каких-нибудь три-четыре недели.

О Дерпте, тамошних профессорах и студентской жизни мы знали не много. Кое-какие случайные рассказы и то, что осталось в памяти из повести гр. Соллогуба «Аптекарша». Смутно мы знали, что там совсем другие порядки, что существуют корпорации, что ученье идет не так, как в Казани и других русских университетских городах. Но и только.

И вдруг в нашей квартирке, где я опять жил с нижегородцем-медиком З — чем и юристом С. (Балакирева уже не было с нами), начались толки о Дерпте.

Вышло это так. Мой земляк, юрист С., стал ходить к новому *адъюнкту* (по-нынешнему приват-доценту) Соколову, читавшему римское право. Он был послан для подготовки к магистерству в Дерпт, где пробыл два года и защитил там диссертацию. Вот он и рассказывал моему земляку о Дерпте в таком сочувственном тоне, что идея перейти туда запала, как искра, и, кажется, всего сильнее в меня. Сам С. от перехода в Дерпт воздержался; но медик З—ч (хотя и не знал по-немецки)

был увлечен и привлек нашего четвертого сожителя, пензенца З[а]рина, камералиста, моложе меня курсом.

Не без борьбы обошелся для меня этот «coup de tête»[1]. Но в ноябре мы втроем, на перекладной телеге, с моим «Личардой», Михаилом Мемноновым, на облучке, уже уехали по пути в Нижний.

В Казани мне было жаль расставаться с двумя профессорами, с Киттары и с моим наставником по химии А. М. Бутлеровым. Он нашел мой план хорошим и не выказал никакой обидчивости за то, что я менял его на дерптскую знаменитость Карла Шмидта, которого он, по репутации, конечно, знал. В Дерпте еще здравствовал его учитель профессор Клаус, долго читавший химию в Казани, а тогда профессор фармации. К нему Бутлеров дал мне рекомендательное письмо, едва ли не единственное, какое я повез в Ливонский край. Клаусом казанцы гордились. В их городе он нашел и отпрепарировал металл *рутений* * из платиновых отбросков.

Киттары читал нам практическую механику, а с третьего курса — технологию, и читал занимательно, живо, разнообразно. Но мною овладело влечение к *чистой* науке. Технология уже казалась мне чем-то низменным, годным для управителей и фабричных нарядчиков. Я уже знал по рассказам адъюнкта Соколова, что в Дерпте можно изучать каждый предмет *специально*. Вы вступали на физико-математический факультет и выбирали себе главную науку. Я буду называться chemiae cultor, и этот титул казался очень привлекательным. Одно нас смущало: заставят, пожалуй, держать по-гречески, потому что там, у немцев, гимназии строго классические; а у нас в гимназическом аттестате значился только один латинский.

Из остальных профессоров по кафедрам политико-юридических наук пожалеть, в известной степени, можно было разве о И. К. Бабсте, которого вскоре после того перевели в Москву. Он знал меня лично, но после того, как еще на втором курсе задал мне перевод нескольких глав из политической экономии Ж. Батиста Сэя *, не вызывал меня к себе, не давал книг и не спрашивал меня, что я читаю по его предмету. На экзамене поста-

---

[1] Здесь: смелый поступок *(франц.)*.

вил мне пять и всегда ласково здоровался со мною. Позднее я бывал у него и в Москве.

Читал он интересно, тихим голосом, без ораторских приемов, свободно, с изящной дикцией, по-московски, хотя и был москвич только по образованию, а родился в Риге. Как я заметил выше, Бабст едва ли не один посещал казанские светские гостиные.

С Бутлеровым у нас с двумя моими товарищами по работе, В[енс]ким и Х—ковым (он теперь губернский предводитель дворянства, единственный в своем роде, потому что вышел из купцов), сложились прекрасные отношения. Он любил поболтать с нами, говорил о замыслах своих работ, шутил, делился даже впечатлениями от прочитанных беллетристических произведений. В ту зиму он ездил в Москву сдавать экзамен на доктора химии (и *физики,* как тогда было обязательно) и часто повторял мне:

— Боборыкин, хотите поскорее быть магистром, не торопитесь жениться. Вот я женился слишком рано, и сколько лет не могу выдержать на доктора.

Он был среди тогдашних профессоров едва ли не единственный из местных помещиков с хорошими средствами и сам по себе, и по жене, урожденной Глумилиной, с братом которой он учился.

У него были повадки хозяина, любителя деревни, он давно стал страстным охотником, и сколько раз старик Фогель, смешной профессор уголовного права, заходил к нему в лабораторию условиться насчет дня и часа отправления на охоту. И с собаками Александра Михайловича мы были знакомы.

С лаборантом он всегда говорил по-немецки, также и с Фогелем, и говорил бойко, с хорошим акцентом.

Из нас троих, работавших у Бутлерова, меня он, сколько мне думается, считал самым верным идее науки, желанию идти дальше, не довольствоваться степенью кандидата камеральных наук, и он неспроста повторял мне, чтобы я не торопился жениться, если хочу вовремя быть магистром.

Но мысль о женитьбе буквально не приходила мне ни тогда, ни позднее, когда я уже стал весьма великовозрастным студентом. В наше время дико было представить себе *женатого студента;* и в Казани, и еще более в Дерпте; кутилы или зубрилы, все одинаково

далеко стояли от брачных мыслей, смотрели на себя как на учащихся, а не как на обывателей в треуголках с голубым околышем.

И разговоров таких у нас никогда не заходило. Не скажу, чтобы и любовные увлечения играли большую роль в тогдашнем студенчестве, во время моего житья в Казани. Интриги имел кое-кто; а остальная братия держалась дешевых и довольно нечистоплотных сношений с женщинами. Вообще, сентиментального оттенка в чувствах к другому полу замечалось очень мало. О какой-нибудь роковой истории, вроде самоубийства одного или обоих возлюбленных, никогда и ни от кого я не слыхал.

В этом смысле мне решительно не с кем было прощаться, покидая Казань в ноябре 1855 года. Мы уезжали — трезвые, возбужденные не вином, а мечтами о новой жизни в «Ливонских Афинах», без всякого молодечества, с хорошим мозговым задором.

Покидали мы Казань уже на девятом месяце нового царствования. В порядках еще не чувствовалось тогда перемены. Новых освободительных веяний еще не носилось в воздухе. Когда я выправлял из правления свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо.

А четверка считалась плохим баллом в поведении. И ее получил студент, который по своему образу жизни, особенно на втором курсе, мог считаться примерно благонравным. Но, вероятно, инспектор (как бывало и в гимназии) усмотрел в выражении моего лица и тоне недостаточно благонамеренный дух.

Мы принимали присягу после 19 февраля. Смерть Николая никого из нас не огорчила, но и никакого ликования я что-то не припомню *. Надежд на новые порядки тоже не являлось и тогда, когда мы вернулись с вакаций. И в наших мечтах о Дерпте нас манили не более свободная в политическом смысле жизнь, даже не буршикозные вольности, а возможность учиться не как школьникам, а как настоящим питомцам науки.

Политическое чувство настолько еще дремало, что и такой оборот судьбы, как смерть Николая, не вызвал на первых порах никакого особенного душевного подъема.

Мои жизненные *итоги* увеличились не одним только студенчеством в Казани. Для будущего художника-бытописателя не прошли даром и впечатления житья на вакациях, в три приема, зимой и в два лета.

На первую зимнюю вакацию я в Нижний не ездил. Зато ко мне приехал отец.

С отцом у меня только к университетским годам установилась родственная связь. Я рос вдали от него, видел его всего три раза до поступления в студенты: два раза в Нижнем и последний — в Москве. Но в доме деда, где я жил при матери, меня не воспитывали во враждебных к нему чувствах. Привязаться, однако, было трудно с такими многолетними паузами. В Казани мы и сблизились. Его желание съездить для свидания со мною зимой (восемьсот почти верст взад и вперед) тронуло меня, и когда я, вернувшись домой, летом, собрался к отцу в его тамбовскую деревню, меня эта поездка очень привлекала. В Нижнем я не нашел того, что оставил. Сестра ушла из-под моего влияния. Прежней нежной дружбы я уже не нашел. А остальное кругом оставалось по-старому. В Анкудиновке опять праздновали день наших именин с дедом, 12 июня, большим съездом гостей из города; после обеда танцы, встреча с девушкой, с которой я флёртировал зимой. Одно было уже по-новому: на меня смотрели, как на молодого человека. Мать моя всего строже относилась ко мне и, кажется, подозревала в склонности к кутежу. Тем привольнее рисовалась передо мною поездка в усадьбу отца.

Это первое путешествие *на своих* (отец выслал за мною тарантас с тройкой), остановки, дорожные встречи, леса и поля, житье-бытье крестьян разных местностей по целым трем губерниям; а потом старинная усадьба, наши мужики с особым тамбовским говором, соседи, их нравы, долгие рассказы отца, его наблюдательность и юмор — все это залегало в память и впоследствии сказалось в том, с чем я выступил уже, как писатель, решивший вопрос своего «призвания».

Тамбовские урочища, тамошняя помещичья и крестьянская жизнь навеяли комедию «Однодворец» и большую часть деревенских картин и подробностей в повествовательных вещах, в особенности в повести «В усадьбе и на порядке» *.

В первую же вакацию отец послал меня на Липецкие воды (в тридцати с небольшим верстах от нашего села Павловское) на тройке бурых повеселиться, ко дню ежегодного бала, 22 июля. Там я нашел большой дворянский съезд, сделал множество знакомств среди девиц и дам, которые и после Казани показались мне весьма бойкими и склонными к флёрту. Приехал вновь тогда назначенный губернатор Данзас и на бале заговорил со мною, приняв меня за харьковского студента (у нас с харьковцами была одинаковая форма). Красовалась и крупная, породистая фигура красавца губернского предводителя князя Юрия Голицына, впоследствии очутившегося в Лондоне вроде полуэмигранта и кончившего карьеру начальником хора, предшественником Славянского. Тогда он носил камергерский ключ и держал себя как типичный барин-вивёр николаевского времени, мот и женолюб, способный на пылкие юношеские увлечения, будучи уже отцом семейства. Вся губерния гудела толками о его последнем увлечении девицей К[олемин]ой, с которой он позднее и убежал за границу от жены и детей и прошел в Лондоне через всякие мытарства, вплоть до сидения в долговой тюрьме, откуда импресарио возил его в концертную залу и ссужал фраком с капельмейстерской палочкой, после чего его опять отвозили в «яму».

Тамбовский свет и в губернском городе и по усадьбам славился еще большей легкостью нравов, чем казанский. Но тон был такой же, та же жуирная жизнь, карты, добывание доходов per fas et nefas[1], кутежи, франтовство, французская болтовня, у многих с грехом пополам, никаких общественных интересов. Среди липецких помещиков особо стоял некто К—н, учившийся в Париже медицине, богатый человек, женившийся позднее на француженке с неизвестным прошедшим, как все тогда говорили. Он лечил даром и соседей и крестьян, вел хозяйство с заграничными приемами; кроме хлебопашества, имел и свеклосахарный завод.

К быту крепостных крестьян я в оба приезда на вакации и впоследствии, в наезды из Дерпта, достаточно присматривался, ходил по избам, ездил на работы, много расспрашивал и старых дворовых, и старост, и баб. Ко-

[1] правдами и неправдами *(лат.)*.

гда дошел в Дерпте до пятого курса медицинского факультета, то лечил и мужиков и дворовых.

В усадьбе дворовых было не безобразно много: двa-три лакея, повар, кучера и конюхи при конском заводе, столяр, стряпуха, ключница, псарь, коровница. Жилось им более чем сносно, гораздо привольнее, чем в доме деда в Нижнем, их одевали и кормили хорошо; а работа, разумеется, была весьма «с прохладцей». Два лакея ездили с отцом и на охоту.

Забот о школе для крестьян я не находил ни у нас, ни в соседних имениях. И лечили их как придется, крестьян — знахарки, а дворовых кое-когда доктор. Больниц — никаких. Словом, тогдашний крепостной быт. У государственных крестьян (их зовут там и до сих пор «однодворцами») водились школы и даже сберегательные кассы; но быт их не отличался от быта крепостных, и, в общем, они не считались зажиточнее.

Нельзя сказать, чтобы тогдашняя барщина (по крайней мере у отца) подъедала хозяйство самих крестьян. Она усиливалась в рабочую пору, но если выгоняли на работу лишний раз против положения (то есть против трех-четырех дней в неделю), то давались потом льготные дни или устраивали угощение, род «помочи».

Мягкость характера моего отца не могла вызывать никаких крепостнических эксцессов. И тогда, в николаевское время, и позднее, до 1861 года, я не помню у отца случаев отдачи в солдаты в виде наказания или в арестантские роты, не помню и никаких экзекуций на конюшне.

После сурового дома в Нижнем, где моего деда боялись все, не исключая и бабушки, житье в усадьбе отца, особенно для меня, привлекало своим привольем и мирным складом. Отец, не впадая ни в какое излишнее баловство, поставил себя со мною как друг или старший брат. Никаких стеснений: делай что хочешь, ходи, катайся, спи, ешь и пей, читай книжки.

Я нашел в наших старинных *дубовых* хоромах два огромных шкафа с дедовской библиотекой, с французскими классиками и со всеми энциклопедистами. Тогда же я ушел в Вольтера, а для легкого чтения у отца нашлась такая же обширная библиотека новейших романов. Он потреблял их в огромном количестве, выписывал из Москвы. Тогда еще процветали дешевые брюссель-

ские перепечатки парижских изданий. С этой летней вакации идет мое знакомство с Бальзаком в подлиннике. Гимназистом я брал из библиотеки старика Меледина только русские переводы.

Целыми днями в томительный жар мы сидели в прохладном кабинете отца, один против другого, и читали.

Но ни в первый, ни во второй мой приезд из Казани при большом потреблении беллетристики во мне не начинал шевелиться литературный червяк. Это явилось гораздо позднее, в самый разгар моих научных занятий, уже дерптским студентом.

Бытовая жизнь — помещичья, крестьянская и разночинская — делалась все знакомее и ближе. Под боком был и когда-то очень характерный уездный город Лебедянь, уже описанный Тургеневым *. Но его рассказ, вошедший в «Записки охотника», я прочел несколько лет спустя. Ярмарка к моему времени уже упала. Также и бега, но кое-что еще оставалось: конная, с ремонтерами и барышниками, трактиры с цыганами из Тулы и Тамбова, гостиница с курьезной вывеской «Pour les nobles» [1], которую не заметил Тургенев, если она существовала уже в его приезд.

Эти ярмарочные впечатления отлились у меня более десяти лет позднее в первом, по счету, рассказе «Фараончики», написанном в 1866 году в Москве и появившемся в журнале «Развлечение», у старика Ф. Б. Миллера *, отца известного московского ученого Всеволода Федоровича.

Трагическая смерть цыганки, жены начальника хора, — действительный случай. И майор, родственник лица, от которого ведется рассказ, являлся каждый год на ярмарку, как жандармский штаб-офицер, из губернского города.

Во второй приезд я нашел приготовления к выходу в поход ополченских рот. Одной из них командовал мой отец. Подробности моей первой (оставшейся в рукописи) комедии «Фразеры» * навеяны были четыре года спустя этой эпохой. Я езжал на ученья ополченцев в соседнее село Куймань.

И грустно и смешно было смотреть на эти упражнения мужиков в лаптях с палками вместо ружей. Ружья

[1] «Для благородных» *(франц.)*.

им выдали уже на походе, да и то чуть не суворовские, кремневые.

Дворяне из бывших военных очень многие попали в ополчение. Но я не замечал и подобия какого-нибудь патриотического порыва. Нельзя было нейти, неловко. Но кроме тягости похода и того, что их «раскатают» союзники, ничего больше не чувствовалось. Крестьяне-ополченцы справляли род рекрутчины, и в два-три месяца их выучка была довольно-таки жалкая. Типичным образцом этих подневольных защитников родины, носивших на сером картузе крест с словами «за веру и царя», был для меня денщик отца из государственных крестьян (*однодворцев,* по тамошнему прозвищу) Чесноков. Я им тоже воспользовался для комедии «Фразёры».

С отцом мы простились в Липецке, опять в разгар водяного сезона. На бал 22 июля съезд был еще больше прошлогоднего, и ополченские офицеры в серых и черных кафтанах очутились, разумеется, героями. Но, повторяю, в обществе среди дам и девиц никакого подъема патриотического или даже гуманного чувства! Не помню, чтобы они занимались усиленно и дерганьем корпии, а о снаряжении отрядов и речи не было. Так же все танцевали, амурились, сплетничали, играли в карты, ловили женихов из тех же ополченцев.

Возвращения из тамбовской усадьбы отца в Нижний, где жили мать моя и сестра, и в этот приезд и в другие, брали несколько дней, даже и на почтовых; а раз мне наняли длиннейшую фуру ломового, ехавшего на Нижегородскую ярмарку за работой. Этот «исход» тянулся целых *десять* дней, и путь наш лежал по глухим дорогам и лесам Тамбовской, Рязанской и Нижегородской губерний. Со мною отпустили разных варений и сушений и пуда три романов, которые я все и прочел. По картинам русской природы и крестьянской жизни такая езда «на долгих» стоила дорогого для будущего беллетриста-бытописателя. Мы попадали в такие деревни (в филипповский пост), где, кроме черного хлеба, белого степного квасу и луку, нельзя было ничего достать, и я приналегал на лепешки, пирожки, варенье и сушеные караси — очень вкусную еду, но вызывающую сильную жажду.

В мои нижегородские поездки казанским студентом — одна зимой и две летом — я дома пользовался

уже полной свободой без возвратов к прежнему строгому надзору, но не злоупотреблял ею. В доме деда все шло по-старому. Матушка моя, прежде бессменно проводившая свои дни в кровати, стала чувствовать себя бодрее. Сестра моя выезжала зимой и обзавелась целым ассортиментом подруг, из которых две-три умели бойко болтать. Но никто не заронил ничего в сердце студента, даже и в зимние вакации, когда я ездил с сестрой на балы и танцевальные вечера.

В ту зиму уже началась Крымская война. И в Нижнем к весне собрано было ополчение. Летом я нашел больше толков о войне; общество несколько живее относилось и к местным ополченцам. Дед мой командовал ополчением 1812 года и теперь ездил за город смотреть на ученье и оживлялся в разговорах. Но раньше, зимой, Нижний продолжал играть в карты, давать обеды, плясать, закармливать и запаивать тех офицеров, которые попадали проездом, отправляясь «под Севастополь» и «из-под Севастополя».

События надвигались грозные, но в тогдашнем высшем классе общества было больше любопытства, чем искренней тревоги за свою родину. Самое маленькое меньшинство (как мне случалось слышать скорее в Казани, чем в Нижнем) видело в Крымской кампании приближение краха всей николаевской системы.

Но кругом — в дворянском обществе — еще не раздавалось громко осуждение всего режима. Это явилось позднее, когда после смерти Николая началось освободительное движение, не раньше, однако, 1857—1858 годов.

На зимней вакации, в Нижнем, я бывал на балах и вечерах уже без всякого увлечения ими, больше потому, что выезжал вместе с сестрой. Дядя Василий Васильевич (о нем я говорю выше) повез меня к В. И. Далю, служившему еще управляющим удельной конторой. О нем много говорили в городе, еще в мои школьные годы, как о чудаке, ушедшем в составление своего толкового словаря русского языка.

Мы его застали за партией шахматов. И он сам — худой старик, странно одетый — и семья его (он уже был женат на второй жене), их манеры, разговоры, весь тон дома не располагали к тому, чтобы чувствовать себя свободно и приятно.

Мне даже странно казалось, что этот угрюмый, сухой старик, наклонившийся над шахматами, был тот самый «Казак Луганский», автор рассказов, которыми мы зачитывались когда-то.

Несомненно, однако ж, что этот дом был самый «интеллигентный» во всем Нижнем. Собиралось к Далю все, что было посерьезнее и пообразованнее; у него происходили и сеансы медиумического кружка, заведенного им; ходили к нему учителя гимназии. Через одного из них, Л—на, учителя грамматики, он добывал от гимназистов всевозможные поговорки и прибаутки из разночинских сфер. Кто доставлял Л—ну известное число новых прислових и поговорок, тому он ставил *пять* из грамматики. Так по крайней мере говорили и в городе и в гимназии.

К казанскому периоду моего студенчества относится и первый мой проезд Петербургом в конце ноября 1855 года. Но о нем я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Переход из Казани в Дерпт. — Мой служитель Михаил Бущуев. — Переправа через Волгу. — Победа студента-камералиста. — Что лежало в «идее» Дерпта? — На сдаточных в Москву и Петербург зимой 1855 года. — После севастопольского погрома. — Петербургское искусство. — «Ливонские Афины». — Я и герой «В путь-дорогу» в Дерпте. — Главная программа этой главы. — Мы и немцы. — Корпорация «Рутения». — Нравы студентов. — «Дикие». — История с «ферруфом». — Дуэли. — Что представлял собою университет сравнительно с русскими? — Физиономия города Дерпта. — Уличная жизнь. — Наша студенческая бедность. — Развлечения Дерпта. — «Академическая Мусса». — Мои два факультета. — Мой учитель Карл Шмидт. — Порядки экзаменов. — Учебная свобода. — Местное равнодушие к тогдашнему русскому «движению». — Знакомство с С. Ф. Уваровым. — Русские барские дома. — Граф В. А. Соллогуб и жена его С. М. — Перевод «Химии» Лемана. — Академик Зинин. — Петербург в мои поездки туда. — Составление учебника. — Проф. Лясковский. — Н. Х. Кетчер. — Вакации в Нижнем и в деревне. — Поворот к писательству. — Любительские спектакли. — Комедии «Фразеры» и «Однодворец». — Наш кружок. — Драма «Ребенок»

Эта глава посвящена целиком моему студенчеству в Дерпте.

Оно длилось с лишком пять лет: с конца ноября 1855 года по конец декабря 1860 года и захватило собою как раз первое пятилетие «эпохи реформ».

Николаевское время было позади. Но для нас — для учащейся молодежи, особенно в тогдашней Казани — все еще пока обстояло по-прежнему.

Я должен отойти несколько назад и напомнить читателю о некоторых фактах из предыдущей главы.

В идею моего перехода в Дерпт потребность свободы входила несомненно, но свободы главным образом «академической» (по немецкому термину). Я хотел серьезно

учиться, не школьнически, не на моем двойственном, как бы дилетантском, камеральном разряде. *Это* привлекало меня больше всего. А затем и желание вкусить другой, чисто студенческой жизни с ее традиционными дозволенными вольностями, в тех «Ливонских Афинах», где порядки напоминали уже Германию.

Во всем этом воображение играло немалую роль. Новизна манила чрезвычайно, и опять-таки новизна научная. Не думаю, чтобы в среде большинства моих ближайших товарищей «камералов» по третьему курсу научный интерес мог привлекательно действовать. Из них было много два-три человека, способных хорошо заниматься. Но для того чтобы сразу без какого-нибудь чисто житейского повода — семейных обстоятельств или временного исключения — в начале третьего курса задумать такое переселение в дальний университетский город с чужим языком для поступления на другой совсем факультет с потерей всего, что было достигнуто здесь, для этого надобен был особый заряд. Может быть, и у меня недостало бы настойчивости, если б мы не собрались втроем и не возбуждали друг друга разговорами все на ту же тему, предаваясь радужным мечтам.

И все было сделано в каких-нибудь шесть недель. Кроме начальства университетского, было и свое, домашнее. Я предвидел, что этот внезапный переход в Дерпт смутит мою матушку более, чем отца. Но согласие все-таки было получено. Мы сложили наши скудные финансы. Свое содержание я получил вперед на семестр; но больше половины его должно будет уйти на дорогу. И для меня все это осложнялось еще постоянным расходом на моего служителя, навязанного мне с самого поступления в студенты. Да и жаль было расстаться с ним.

Михаил Мемнонов, по прозвищу Бушуев, сделался и для меня и для моих товарищей как бы членом нашей студенческой семьи. Ему самому было бы горько покидать нас. Отцу моему он никогда не служил, в деревне ему было делать нечего. В житейском обиходе мы его считали «мужем совета»; а в дороге он тем паче окажется опытнее и практичнее всех нас.

Зима близилась, но санного пути еще не было. Стояли бесснежные морозные дни. Приходилось ехать до Нижнего в перекладной телеге, всем четверым: три

студиоза и один дворовый человек, тогда даже еще не «временнообязанный» *.

Покидали мы Казань весело. У нас не было к ней никаких особенных привязок. Меня лично давно уже не удовлетворяли ни университетские порядки, ни нравы студенческой братии. Чего-нибудь общего, сплоченного в студенчестве не было. От светской жизни сословного губернского города я добровольно ушел еще год назад, как я уже говорил во второй главе. Из профессоров жаль было только двоих — Бутлерова и Киттары, но Бутлеров сам одобрил мою идею перехода в Дерпт для специального изучения химии, дал мне и рекомендательное письмо к своему когда-то наставнику, старику Клаусу, открывшему в Казани металл *рутений*. Клаус давно уже занимал в Дерпте место директора фармацевтического института, профессора фармакологии и фармации.

Припомню и то, что начальство, то есть инспекция, и тут заявило себя в должном виде.

Читатель уже знает, что на «увольнительном» свидетельстве моем инспектор поставил мне в поведении *четверку*, что считалось плохой отметкой и могло затруднить мое принятие в Дерпте.

Почему? Должно быть, потому, что в моем «кондуитном списке» значился карцер за инцидент, о котором я упоминал выше. Больше у меня не бывало никаких столкновений с инспекцией. Еще на первом курсе случалось покучивать с товарищами, но весь второй я провел почти что затворником. В смысле неблагонадежности другого рода — инспекция не могла также меня заподозрить. И вообще-то тогда не было никаких «движений» в студенчестве. Лично я не имел историй или даже резких разговоров с каким-нибудь субом, еще менее с инспектором. Ни одного замечания по ношению формы не доставалось.

Мы все трое значились студентами разных курсов и факультетов. Но проводы наши были самые скромные: несколько ближайших приятелей пришли проститься, немножко, вероятно, выпили, и только. Сплоченного товарищества по курсам, если не по факультетам, не существовало. Не помню, чтобы мои однокурсники особенно заинтересовались моим добровольным переходом, расспрашивали бы меня о мотивах такого coup de tête, приводили бы доводы за и против.

Мне впервые приходилось ехать на перекладных. Мои переезды на вакациях происходили и летом и зимой — в кибитке. Телега катила по мерзлой земле старого казанского «тракта» с колеями и выбоинами. На облучке высилась фигура нашего «фамулюса» (говоря по-дерптски) Михаила Мемнонова, а мы в ряд заседали на сене, упираясь спинами в чемоданы.

Волгу уже начало затягивать «сало». На перевозе мы все чуть было не перекинулись через борт парома, так его накренило от разыгравшейся «погоды».

Впервые испытал я чувство настоящей опасности. Это было всего несколько секунд, но памятных. До сих пор мечется передо мною картина хмурого дня с темно-серыми волнами реки и очертаниями берегов и весь переполох на пароме.

Свидание со своими в Нижнем обошлось более мирно, чем я ожидал. Я не особенно огорчался тем, что к моему переходу в Дерпт относились с некоторым недоумением, если и не с сильным беспокойством. Довольно было и того, что помирились с моим решением. Это равнялось признанию права руководить самому своими идеями и стремлениями, искать лучшего не затем, чтобы беспорядочно «прожигать» жизнь, а чтобы работать, расширять свой умственный горизонт, увлекаясь наукой, а не гусарским ментиком.

Это была несомненная *победа,* а для меня самого — приобретение, даже если бы я и не выполнил свою главную цель: сделаться специалистом по химии, что и случилось.

Но, начиная с самого этого переселения «из земли Халдейской в землю Ханаанскую», сейчас же расширялся кругозор студента-камералиста, инстинктивно искавшего пути к высшему знанию *или* к художественному воспроизведению жизни.

Останься я оканчивать курс в Казани, вышло бы одно из двух:

Или я, получив кандидатский диплом по камеральному разряду (я его непременно бы получил), вернулся бы в Нижний и поступил бы на службу, то есть осуществил бы всегдашнее желание моих родных. Матушка желала всегда видеть меня чиновником особых поручений при губернаторе. А дальше, стало быть, советником губернского правления и, если бы удалось перевестись

в министерство, петербургским чиновником известного ранга.

Или же я пошел бы по ученой части с ресурсами казанской выучки. Бутлеров обнадеживал меня насчет магистерства. Камералисту без более серьезной подготовки «естественника», без специальных знаний по физике нельзя было приобрести прав на занятие кафедры, разве в области прикладной химии, то есть технологии. Но и в лучшем случае, если б я даже и выдержал на магистра и занял место *адъюнкта* (как тогда называли приват-доцента), я бы впряг себя в такое дело, к которому у меня не было *настоящего* призвания, в чем я и убедился, проделав в Дерпте в течение пяти лет целую, так сказать, *эволюцию* интеллектуального и нравственного развития, которую вряд ли бы проделал в Казани.

И что же бы случилось? Весьма вероятно, я добился бы кафедры, стал бы составлять недурные учебники, читал бы, пожалуй, живо и занимательно благодаря моему словесному темпераменту; но истинного ученого из меня (даже и на одну треть такого, как мой первоначальный наставник Бутлеров) не вышло бы. Заложенные в мою природу литературные стремления и склонности пришли бы в конфликт с требованиями, какие наука предъявляет своим истинным сынам.

Профессорскую *карьеру* я мог бы сделать; но, заморив в себе писателя, оставался бы только более или менее искусным лектором, а не двигателем науки.

Идея Дерпта, как научного «эльдорадо» [1], так быстро охватившая меня в сентябре 1855 года, была только дальнейшей фазой моих порываний в области свободного труда, далекого от всяких соображений карьеры, служебных успехов, прибыльных мест, чинов и орденов.

Довольно даже странно выходило, что в отпрыске дворянского рода в самый разгар николаевских порядков и нравов на студенческой скамье и даже на гимназической оказалось так мало склонности к «государственному пирогу», так же мало, как и к военной карьере, то есть ровно никакой. Как гимназистиком четвертого класса, когда я выбрал латинский язык для того, чтобы попасть со временем в студенты, так и дальше, в Казани и Дерпте, я оставался безусловно верен царству

[1] страны золота (от *испанск.* el dorado).

высшего образования, университету в самом обширном смысле — universitas, как понимали ее люди эпохи Возрождения, в совокупности всех знаний, философских систем, красноречия, поэзии, диалектики, прикладных наук, самых важных для человека, как астрономия, механика, медицина и другие прикладные доктрины.

Через все это я и прошел, благодаря, главным образом, моему на иной взгляд порывистому и необдуманному шагу — переходу в Дерптский университет на *другой* факультет.

Я так был этим воодушевлен, что не мог, конечно, отговаривать моих двух товарищей. Старший из них, мой земляк, нижегородец З—ч был сильно увлечен идеей Дерпта и сначала всего больше подговаривал меня. Другой, камералист З[ари]н, пристал к нам позднее. Для обоих переход этот и тогда казался мне рискованным. Ни тот, ни другой не знали по-немецки; а я говорил на этом языке с детства. З—ч перешел уже на четвертый курс. З[ари]н никакой специальности еще не избирал, а был просто бойкий, франтоватый, кое-что читавший студент, склонный к романтическим похождениям юноша.

Его, кажется, всего больше привлекала «буршикозная» жизнь корпораций, желание играть роль, иметь похождения, чего он впоследствии и достиг, и даже в такой степени, что после побоищ с немцами был исключен и кончил курс в Москве, где стал серьезно работать и даже готовился, кажется, к ученой дороге.

Но тогда, то есть на тряской телеге, трое казанских студентов были одинаково заражены «Ливонскими Афинами».

Зимнего пути все еще не было, и от Нижнего до Москвы мы наняли тарантас на «сдаточных» *, и ехать пришлось несколько поудобнее, с защитой от погоды и по менее тряскому грунту тогдашнего очень хорошего Московского шоссе.

Для меня бытовая жизнь рано стала привлекательна. Поездкам в студенческие годы, то есть за целых *семь* лет, я многим был обязан. Этим путем я знакомился с разными местностями России, попадал в захолустные углы и бойкие места Нижегородской, Тамбовской, Рязанской губерний, а на восток от Нижнего до Казани по Волге зимой и на пароходах. Из Нижнего в Москву

дорога была мне уже хорошо известна после первой моей поездки в Москву на масленице 1853 года, а не дальше как за четыре месяца перед тем я пролетел, на перекладных отправляясь к отцу, в Тамбовскую губернию на Москву и Рязань.

Езда на «сдаточных» была много раз описана в былое время. Она представляла собою род азартной игры. Все дело сводилось к тому: удастся ли вам доехать без истории, то есть без отказа ямщика, до последнего конца, доставят ли вас до места назначения без прибавки.

Вы условливаетесь: столько-то за всю дорогу. Но сразу у вас забирали вперед больше, чем следует по расчету верст. То же происходило и на каждом новом привале. И последнему ямщику приходилось так мало, что он вас прижимал и вымогал прибавку.

Нашим министром финансов был Михаил Мемнонов, довольно-таки опытный по этой части. Благодаря его умелости мы доехали до Москвы без истории. Привалы на постоялых дворах и в квартирах были гораздо занимательнее, чем остановки на казенных почтовых станциях. Один комический инцидент остался до сих пор в памяти. В ночь перед въездом в Москву баба, которую ямщик посадил на «задок» тарантаса, разрешилась от бремени, только что мы сделали привал в трактире, уже на рассвете. И мы же давали ей на «пеленки».

Москва промелькнула, не оставив никаких новых впечатлений. Мы спешили захватить конец учебного семестра и на Петербург отсчитывали не больше недели.

Наши финансы были настолько не роскошны, что мы взяли товаро-пассажирский поезд, совершавший переезд в шестьсот четыре версты в *двое суток*. Второй товарищ З[ари]н заболел и доехал до Петербурга уже совсем больной. Мы должны были поместить его в Обуховской больнице. У него открылся тиф, и он приехал в Дерпт уже в начале следующего полугодия.

Петербург встретил нас санной ездой. В какой-то меблировке около вокзала мы переоделись и в тот же вечер устремились «на авось» в итальянскую оперу, ничего и никого не зная.

Невский в зимнем уборе с тогдашним освещением, казавшимся нам блестящим, давал гораздо более сто-

личную ноту, чем Москва с своим Кузнецким мостом и бесконечными бульварами.

У кассы Большого театра какой-то пожилой господин, чиновничьего типа, предложил нам три места в галерее пятого яруса. Это был абонент, промышляющий своими билетами. Он поднялся с нами наверх и сдал нас капельдинеру. Взял он с нас не больше восьмидесяти копеек за место.

Попадали мы на исторический спектакль. Это было *первое* представление «Трубадура», в бенефис баритона Дебассини, во вновь отделанной зале Большого театра с ее позолотой, скульптурной отделкой и фресками.

Даже и после московского Большого театра эффект был еще неиспытанный. Итальянцев ни один из нас не слыхал как следует.

Тогда была еще блистательная пора оперы: Тамберлик, Кальцоляри, Лаблаш, Демерик, Бозио, Дебассини. В этот спектакль зала показалась нам особенно парадной. И на верхах нас окружала публика, какую мы не привыкли видеть в парадизе. Все смотрело так чопорно и корректно. Учащейся молодежи очень мало, потому и гораздо меньше крика и неистовых вызываний, чем в настоящее время.

Пылкий и сообщительный З[ари]н стал было в антрактах заводить разговоры с соседями; но на него только косились. К тому же он был странно одет: в каком-то сак-пальто с капюшоном.

Мое впечатление от петербуржцев средней руки, от той массы, где преобладал чиновник холостой и семейный, сразу дало верную ноту на десятки лет вперед. И теперь приличная петербургская толпа в общих чертах — та же. Но она сделалась понервнее от огромного наплыва в последние годы молодежи — студентов, студенток, профессиональных женщин и «интеллигентного разночинца».

В ложах и креслах чиновно-светский монд, с преобладанием военных, по манере держать себя мало отличался от теперешнего. Бросилось мне в глаза с верхов, что тогдашние фешенебли, не все, но очень многие, одевались так: черный фрак, *светло-серые* панталоны, при черном галстуке и белом жилете.

Тамберлик брал свои «ut'ы» [1], Бозио пленяла голосом и игрой, бенефициант пел вовсю, красиво носил костюм и брал своей видной фигурой и энергическим лицом.

Охваченный всеми этими ощущениями от сцены, оркестра, залы, я нет-нет да и вспоминаю, что ведь злосчастная война не кончена *, прошло каких-нибудь два-три месяца со взятия Севастополя, что там десятки тысяч мертвецов гниют в общих ямах и тысячи раненых томятся в госпиталях. А кругом ни малейшего признака национального горя и траура! Все разряжено, все ликует, упивается сладкозвучным пением, болтает, охорашивается, глазеет и грызет конфеты.

В Казани, как я говорил выше, замечалось такое же равнодушие и в среде студенчества. Не больше было одушевления и в дворянском обществе. Петербург, как столица, как центр национального самосознания, поражал меня и тут, в зале Большого театра, и во всю неделю, проведенную нами перед отъездом в Дерпт, невозмутимостью своей обычной сутолоки, без малейшего признака в чем бы то ни было того трагического момента, какой переживало отечество.

Ведь это был как раз поворотный пункт нашего внутреннего развития. Жестокий урок только что был дан Западом северо-восточному колоссу. Сторонников николаевского режима, конечно, было не мало в тогдашнем Петербурге. В военно-чиновничьей сфере они преобладали. И ни одного сокрушенного лица, никаких патриотических настроений, разговоров в театрах, на улице, в магазинах, в церквах.

И молодежь — те студенты, с какими мы виделись, — не выказывала никаких признаков особого подъема духа, даже и в сторону каких-либо новых течений и упований.

А мы нашли здесь довольно большую семью казанцев — студентов восточного факультета, только что переведенного в Петербург. Многие из них были «казенные», и в Казани мы над ними подтрунивали, как над более или менее «восточными человеками», хотя настоящих восточников между ними было очень мало.

Здесь в каких-нибудь два полугодия они сильно отшлифовались, носили франтоватые мундиры и тре-

---

[1] до *(франц.)*.

уголки, сделались меломанами и даже любителями балета. «Казэнными», с особым произношением этого слова, их уже нельзя было называть, так как в Петербурге они жили не в казенном здании, а на квартирах и пользовались только стипендиями.

Из моих товарищей по нижегородской гимназии я нашел здесь Г — ва, моего одноклассника. В гимназии он шел далеко не из первых, а в Петербурге из него вышел дельный студент-юрист, работавший уже по истории русского права, погруженный в разбирание актов XVI и XVII веков.

И в этом серьезном малом (он умер тотчас по выходе из университета) я не нашел какого-нибудь особого подъема в смысле общественном.

У него и у бывших казанцев мы успели познакомиться с дюжиной других петербургских студентов. Общий уровень был выше, разговор бойчее и культурнее и гораздо более светскости, даже и у тех, кто пробивался на стипендию. Я не помню, чтобы мы зачуяли какие-нибудь особенные *настроения,* чтобы вольный дух сказывался в направлении идей и в тоне разговоров. Но прежний режим уже значительно поослаб, да в огромном городе и немыслим был надзор, который и в Казани-то ограничивался почти что только контролем по части соблюдения формы и хождения в церковь.

Когда через два года мне привелось провести зимние вакации в студенческом обществе, «дух» уже веял совсем другой. Но об этом ниже.

Зима 1855—1856 года похожа была на тот момент, когда замерзлое тело вот-вот начнет оттаивать и к нему, быть может, вернется жизнь.

Но бо̀льшая жизненность уже сказывалась в отсутствии гнета, трусливых разговоров, в какой-то новой бойкости и пестроте.

В сущности, так и должно было случиться. Севастопольский погром стоял уже позади. Чувствовалось наступление другой эры, и всем хотелось стряхнуть с себя национальный траур.

Был ли он и в разгар крымской трагедии очень силен в тогдашнем обществе, позволяю себе сомневаться на основании всего, что видел во время войны.

Как заезжие провинциалы, мы днем обозревали разные достопримечательности, начиная с Эрмитажа, а ве-

чером я побывал во всех театрах. Один из моих спутников уже слег и помещен был в больницу — у него открылся тиф, а другой менее интересовался театрами.

По состоянию своих финансов я попадал на верхи. Но тогда, не так как нынче, всюду можно было попасть гораздо легче, чем в настоящее время, начиная с итальянской оперы, самой дорогой и посещаемой. Попал я и в балет, чуть ли не на бенефис, и в галерее пятого яруса нашел и наших восточников-казанцев в мундирчиках, очень франтоватых, и подстриженных, совсем не отзывавших казанскими «занимательными».

Давали балет «Армида» *, где впоследствии знаменитая Муравьева исполняла, еще воспитанницей, роль Амура, а балериной была Фанни Черрито. Я успел побывать еще два раза у итальянцев, слушал «Ломбардов» * и «Дон-Паскуале» * с Лаблашем в главной роли. Во всю мою жизнь я видел всего одну оперу в современных костюмах, во фраках и, по-тогдашнему, в пышных юбках и прическах с большими зачесами на ушах.

Воскресный спектакль в Александринском театре огорчил меня. Давали ужасную драму «Сальватор Роза» * с пожаром и разрушением за̀мка. Леонидова, за его болезнью, заменял еще более ужасный актер Славин, отличавшийся всегда способностью перевирать слова. Героиню играла Жулева, бывшая еще на молодом амплуа. Лейтенанта при атамане разбойников исполнял первый любовник труппы Алексей Максимов. Я просто верить не хотел, что эта сухопарая фигура с глухим, смешным, гнусавым голосом — первый сюжет и в светских пьесах. Все это зрелище было и на оценку казанского студента совершенно недостойно императорской сцены, даже и в воскресный вечер.

После жестокой драмы давали какой-то трехактный переводной водевиль, где троих мужей-рогоносцев играли Мартынов, Самойлов и П. Григорьев. Мартынова я помнил по моим детским воспоминаниям, когда он приезжал в Нижний на ярмарку; но я привык и заочно считать его великим комиком, а тут роль его была так ничтожна и в игре его сквозила такая малая охота исполнять ее, что я с трудом верил в подлинность Мартынова. Самойлов пускал разные штучки, изображая чудаковатого старика-ревнивца, и его комизм казался мне деланным.

Кругом меня в галерее пятого яруса сидела разночинская публика сортом гораздо ниже той, какая бывает теперь. Но и в воскресный спектакль было гораздо меньше нынешнего «галденья», надоедливых вызовов и криков.

Из глубины «курятника» в райке Михайловского театра смотрел я пьесу, переделанную из романа Бальзака «Le Lys dans la vallée»[1]. После прощального вечера на масленой в московском Малом театре это был мой первый французский спектакль. И в этой слащавой, светской пьесе, и в каком-то трехактном фарсе (тогда были щедры на количество актов) я ознакомился с лучшими силами труппы — в женском персонале: Луиза Майер, Вольнис, Миля, Мальвина; в мужском — Бертон, П. Бондуа, Лемениль, Верне, Дешан, Пешна и другие.

Немцы играли в Мариинском театре, переделанном из цирка, и немецкий спектакль оставил во мне смутную память. Тогда в Мариинском театре давали и русские оперы; но театр этот был еще в загоне у публики, и никто бы не мог предвидеть, что русские оперные представления заменят итальянцев и Мариинский театр сделается тем, чем был Большой в дни итальянцев, что он будет всегда полон, что абонемент на русскую оперу так войдет в нравы высшего петербургского общества.

Уже вдвоем с медиком З — чем, оставив больного товарища, мы выехали по шоссе в ливонские пределы. Путь наш шел на Нарву по Эстландии с «раздельной» тогда станцией «Вайвара», откуда уже начинались настоящие чухонские страны.

Русских ямщиков сменили тяжелые, закутанные фигуры эстов, которым надо было кричать: *«Кууле! Рутту!»*[2] Вместо тройки — пара в дышло и сани в виде лодки.

Мороз крепчал, и первый ночной привал на станцию — чистую, светлую, с чаем и дешевым немецким ужином — произвел на нас впечатление некоторой «заграницы».

Тут я останавливаюсь и должен опять (как делал для Нижнего и Казани) оговориться перед читателями романа «В путь-дорогу», а в то же время и перед самим собою.

---

[1] «Лилия в долине» *(франц.)*.

[2] Слушай! Живей! (от *эстонск.* Kuule! Ruttu!)

Все самое характерное, через что прошел герой романа Телепнев в «Ливонских Афинах» — испытал в общих чертах и я, и мне пришлось бы неминуемо повторяться здесь, если б я захотел давать заново подробности о тогдашнем Дерпте, университете, буршах, физиономии города.

Город в своей центральной части, где площадь «Маркта», университет и Ritterstrasse — чрезвычайно сохранился и до сих пор. Меня это тронуло, когда я по прошествии тридцати с лишком лет, в 90-х годах заехал в Дерпт (теперь Юрьев) летом.

Вы могли бы проверить физиономию этого старого города с теми страницами пятой книги романа, где описывается первое знакомство с ним Телепнева. Маркт списан точно вчера.

Но я должен сделать опять весьма существенную оговорку — о предполагаемом тождестве Телепнева с автором романа.

Тут пути обоих расходятся: романист провел своего героя через целый ряд итогов — и житейских и чисто умственных, закончив его личные испытания любовью. Но главная нить осталась та же: искание высшего интеллектуального развития, а под конец неудовлетворенность такой мозговой эволюцией, потребность в более тесном слиянии с жизнью родного края, с идеалами общественного деятеля.

В самом же авторе романа на протяжении его пятилетней выучки в Дерпте происходила сначала скрытая, а потом и явная борьба будущего писателя-беллетриста с «питомцем точной науки», явившемся сюда готовиться к ученой дороге.

Сначала, в первые два года, я еще считал себя возделывателем химии («chemiae cultor») в качестве главного предмета.

И уже в этот с лишком двухлетний период литературные стремления начали проявлять себя. Я стал читать немецких поэтов, впервые вошел в Гейне, интересовался Шекспиром, сначала в немецких переводах, его критиками, биографиями Шиллера и Гете.

Но мысли о том, чтобы «переседлать» (слово дерптских русских), изменить науке, предаться литературе, — только еще дремали во мне.

Когда программа отдела химии была преобразована (что случилось ко времени моего половинного экзамена) * и в нее введены были астрономия и высшая математика и расширена физико-математическая часть химии, я почувствовал впервые, что меня эта более строгая специальность несколько пугает. Работы в лаборатории за целые четыре семестра показали довольно убедительно, что во мне нет той выдержки, какая отличает исследователей природы; слаб и особый интерес к деталям химической кухни.

Первый поворот от строгой специальности сложился в виде измены моей университетской «учебе». Физиологическая химия повела к большему знакомству с физиологией, которая стояла, как обязательный предмет, в обеих программах. Я был подготовлен (за исключением практических занятий по анатомии) к тому, что тогда называлось у медиков «philosophicum», то есть к поступлению на третий курс медицинского факультета, что я и решил сделать на третьем году моего житья в Дерпте. Но и тогда о карьере практикующего врача я не думал. Студентом медицины оставался я до самого конца, прослушав весь курс медицинских наук вплоть до клинической практики включительно.

Но в последние три года, к 1858 году, меня, дерптского студента, стало все сильнее забирать стремление не к научной, а к литературной работе. Пробуждение нашего общества, новые журналы, приподнятый интерес к художественному изображению русской жизни, наплыв освобождающих идей во всех смыслах пробудили нечто более трепетное и теплое, чем чистая или прикладная наука.

И к моменту прощания с Дерптом химика и медика во мне уже не было. Я уже выступил как писатель, отдавший на суд критики и публики целую пятиактную комедию, которая явилась в печати в октябре 1860 года *, когда я еще носил голубой воротник, но уже твердо решил избрать писательскую дорогу, на доктора медицины не держать, а переехать в Петербург, где и приобрести кандидатскую степень по другому факультету.

Я забежал вперед, чтобы сразу выяснить процесс того внутреннего брожения, какое происходило во мне, и оттенить существенную разницу между дерптской эпо-

пеей героя романа «В путь-дорогу» и тем, что сталось с самим автором.

И в этой главе я буду останавливаться на тех сторонах жизни, которые могли доставлять будущему писателю всего больше жизненных черт того времени, поддерживать его наблюдательность; воспитывали в нем интерес к воспроизведению жизни, давали толчок к более широкому умственному развитию не по одним только специальным познаниям, а в смысле той universitas, какую я в семь лет моих студенческих исканий, в сущности, и прошел, побывав на трех факультетах; а четвертый, словесный, также не остался мне чуждым, и он-то и пересилил все остальное, так как я становился все более и более *словесником,* хотя и не прошел строго классической выучки.

Перед принятием меня в студенты Дерптского университета возник было вопрос: не понадобится ли сдавать дополнительный экзамен из греческого? Тогда его требовали от окончивших курс в остзейских гимназиях. Перед нашим поступлением будущий товарищ мой Л — ский (впоследствии профессор в Киеве), перейдя из Киевского университета на медицинский факультет, должен был сдать экзамен по-гречески. То же требовалось и с натуралистов, но мы с З — чем почему-то избегли этого.

Тогда это считалось крайне отяготительным и чем-то глубоко ненужным и схоластическим. А впоследствии я не раз жалел о том, что меня не заставили засесть за греческий. И уже больше тридцати лет спустя я — motu proprio [1], в Москве надумал дополнить свое «словесное» образование и принялся за греческую грамоту под руководством одной девицы — «фишерки» *, что было характерным штрихом в последнее пятнадцатилетие XIX века для тогдашней Москвы.

Дерптские мои «откровения бытия» я обозрю здесь *синтетически,* в виде крупных выводов, и начну с студенческого быта, который так резко отличался от того, что̀ я оставил в Казани.

Подробности значатся всего больше в пятой книге романа «В путь-дорогу». Не знаю, какой окончательный вывод получает читатель: в пользу дерптских порядков

[1] по собственному побуждению *(лат.).*

или нет; но думаю, что полной объективности у автора романа быть еще не могло.

Ведь и я, и все почти русские, учившиеся в мое время (если они приехали из России, а не воспитывались в остзейском крае), знали немцев, их корпоративный быт, семейные нравы и рельефные черты тогдашней балтийской культуры, и дворянско-сословной, и общебюргерской — больше *из вторых рук,* понаслышке, со стороны, издали, во всяком случае недостаточно, чтобы это приводило к полной и беспристрастной оценке.

Как автор романа, я не погрешил против *субъективной* правды. Через все это проходил его герой. Через все это проходил и я. В романе — это монография, интимная история одного лица, род «Ученических годов Вильгельма Мейстера», разумеется mutatis mutandis![1] Ведь и у олимпийца Гете в этой первой половине романа нет полной объективной картины, даже и многих уголков немецкой жизни, которая захватывала Мейстера только с известных своих сторон.

Так и тут. Как испытания Телепнева — все это и теперь правдиво, но как *итоги* — тут многого недостает. И большинство моих сверстников оставляло Дерпт с оценками и взглядами, на которых лежал значительный налет *субъективных* чувств.

Иначе и не могло быть. С немцами все мы только сталкивались, а не жили с ними. Сначала, в первые два-три года моего студенчества, русские имели свою корпорацию; потом все мы, после того как ее «прикончили», превратились в бесправных. Немецкие бурши посадили нас на «Verruf» * (по-студенчески есть слово более беспощадное и циническое), и в таком положении мы все дожили до выхода из университета. С нами немцы не сносились, не разговаривали с нами и в аудиториях, и при занятиях в кабинетах и клинике, через что прошел и я с другими медиками. Это было крайне тягостно. Дело кончилось генеральной схваткой, зачинщиком которой и был наш казанец З[ари]н. Она описана в романе довольно беспристрастно.

В подобных условиях полного знакомства с немецким бытом — и студенческим, и бюргерским, и сословно-дворянским — не могло быть и не было. В немецких кор-

[1] с соответствующими изменениями *(лат.).*

порациях значилось несколько русских, уроженцев остзейского края; но мы их не знали. Члены русской корпорации жили только «своей компанией», с буршами-немцами имели лишь официальные сношения по *Комману,* в разных заседаниях, вообще относились к ним не особенно дружелюбно, хотя и были со всеми на «ты», что продолжалось до того момента, когда русских подвергли остракизму.

Стало быть, и *мои* итоги не могли выйти вполне объективными, когда я оставлял Дерпт. Но я был поставлен в условия бо̀льшей умственной и, так сказать, *бытовой* свободы. Я приехал уже студентом третьего курса, с серьезной, определенной целью, без всякого национального или сословного задора, чтобы воспользоваться как можно лучше тем «академическим» (то есть учебно-ученым) режимом, который выгодно отличал тогда Дерпт от всех университетов в России.

В этом я не ошибся. Учиться можно было *вовсю,* работать в лаборатории, посещать всевозможные курсы; быть у источника немецкой науки, жить дешево и тихо.

Корпорация «Рутения» *, куда я попал с моими казанцами, в каких-нибудь полгода не только выдохлась для меня, но стала прямо невыносимой.

На нее немецкий «буршикозный» быт подействовал всего сильнее своими отрицательными сторонами. Я нашел кружок из разных элементов, на одну треть не русских (немцы из России и один еврей), с привычкой к молодечеству на немецкий лад, в виде постоянных попоек, без всяких серьезных запросов, даже с принципиальным нежеланием на попойках и сходках говорить о политике, религии, общественных вопросах, с очень малой начитанностью (особенно по-русски), с варварским жаргоном и таким складом веселости и остроумия, который сразу я нашел довольно-таки низменным.

По-своему я (как и герой романа Телепнев) был прав. Я ожидал совсем не того и, без всякого сомнения, видел, что казанский третьекурсник представлял собою нечто другое, хотя и явился из варварских, полутатарских стран.

Но так ли оно было на самом деле, если поглядеть «ретроспективным» взглядом? Русским «бурсакам» (как они себя называли в песнях) вредил всего больше подражательный ритуал товарищеской жизни по образцу

немецких корпораций. Когда они сделались «vogelfrei» *, были посажены немцами на «Verruf» — те же самые бурши, к которым присоединились несколько «диких» (Wilde), в том числе и я, зажили гораздо осмысленнее, и в их же среде я мог найти весьма сочувственный отклик на мои опыты писательства.

Наукой, как желал работать я, никто из них не занимался, но все почти кончили курс, были дельными медиками, водились и любители музыки, в последние 50-е годы стали читать русские журналы, а немецкую литературу знали все-таки больше, чем рядовые студенты в Казани, Москве или Киеве.

Корпоративный быт привил, кроме того, привычку к более сомкнутому товариществу, при котором нельзя сторониться друг друга. Суть этого единения была слишком уже пуста, сводилась к кутежу и «шалдашничанью» (то есть ничегонеделанью), но идея солидарности все-таки держалась.

Меня лично такая совместная жизнь не могла удовлетворять. Превратись я в настоящего «бурша», я бы смотрел на это как на сильный шаг назад, на падение своего «я». Для меня в тот момент предмет пылкого культа были *точное* знание вообще и «наука наук» — *химия*. А у них на попойках слово «Gelehrter» [1] было шутливо-оскорбительным прозвищем, за которое вызывали на пивную дуэль. Это называлось на ужасном немецко-русском жаргоне «закатить гелертера». Если вдуматься, то такое отношение к учености, к культу науки, совсем не так глупо и пошло.

Под этим сидит такой ряд афоризмов: «в юности не напускай на себя излишней серьезности; лови момент, пой и смейся; учись, если желаешь; но на товарищеской пирушке не кичись своей ученостью, а то получишь нахлобучку».

Никто из буршей не возмущался тем, что явившийся из Казани студент хочет изучать химию у Карла Шмидта; но если он желал быть сразу persona grata [2], он, поступив «фуксом» в корпорацию, должен был проделывать *их* род жизни, то есть пить и поить других, петь вакхические песни и предаваться болтовне, которая

---

[1] ученый *(нем.)*.
[2] Здесь: своим человеком *(лат.)*.

вся вертелась около такого буршикозного прожигания жизни.

За целое полугодие моей выучки в звании фукса я не слыхал на какой-нибудь вечеринке или попойке (что было одно и то же) разговора, который хоть немного напомнил бы мне: зачем, собственно, переехал я с берегов речки Казанки на берега чухонского Эмбаха? *

Можно и теперь без преувеличения сказать, что в самом преддверии эпохи реформ бурши «Рутении» совершенно еще спали, в смысле общественного обновления; они были — по всему складу их кружковой жизни — дореформенные молодые люди, как бы ничем не связанные с теми упованиями и запросами, которые повсюду внутри страны уже пробивались наружу.

Один пример из сотни — и самый веский.

И в Казани и в Дерпте состоял при мне все тот же крепостной служитель, Михаил Мемнонов, который в Дерпте находил свою материальную жизнь лучше, чем мы, его господа, ходил кормиться к русскому портному по фамилии Петух и ел куда вкуснее и свежее, чем мы. В Казани мы с своими товарищами по квартире то и дело говорили о крепостном праве и *все искренно желали его уничтожения*. Этот служитель мне не был нужен, и я не отсылал его потому, что привязался к нему и у меня ему было очень хорошо: мы обращались с ним, как с приятелем, и делились всем, что сами получали. И всем нам делалось весело, когда Михаил Мемнонов пророчески восклицал:

— Не умру крепостным. Будет воля — не сегодня, так завтра!

И что же? За всю мою выучку в корпорации и позднее, когда я видался с буршами, я никогда не слыхал ни единого слова на эту тему, — такова была их отчужденность от всего того, что уже назрело «в России».

И все-таки в общем корпорации были культурнее того, как жили иные товарищеские компании Казани, с очень грубыми и циническими нравами. Самая выпивка была вставлена в рамки с известным обрядом, хотя я и нашел в «Рутении» двух-трех матерых студентов-«филистров» (отслушавших лекции) — настоящих алкоголиков. Не было и цинизма, ни на деле, ни даже на словах, и это обнаруживало несомненный культурный признак. В Казани в разговорах и прибаутках у многих все усна-

щалось народной «родительской» бранью. Некоторые доходили до прямой виртуозности. У буршей, несмотря на то что половина приехала сюда из русских городов, — ничего подобного! Это считалось непростительным, даже и в пьяном виде.

Эротические нравы стояли совсем на другом уровне. И в этом давали тон немцы. Одна корпорация (Fraternitas Rigensis) [1] славилась особенным, как бы обязательным, целомудрием. Про нее русские бурши любили рассказывать смешные анекдоты, — о том, как «рижане» будто бы шпионили по этой части друг друга, ловили товарищей у мамзелей зазорного поведения.

Но и «мамзелей» в тогдашнем Дерпте водилось очень мало. Открытая проституция почти что не допускалась, не так, как в Казани, где любимой формой молодечества пьяных студенческих ватаг считалось: разбивать публичные дома за Булаком!

Все это в Дерпте было немыслимо. Если мои товарищи по «Рутении», а позднее по нашему вольному товарищескому кружку, грешили против целомудрия, то это считалось «приватным» делом, наружу не всплывало, так что я за все пять лет не знал, например, ни у одного товарища ни единой нелегальной связи, даже в самых приличных формах; а о женитьбе тогда никто и не помышлял, ни у немцев, ни у русских. Это просто показалось бы дико и смешно.

Ни одной попойки не помню я с женским полом. Он водился на окраинах города, но в самом ограниченном количестве, из немок и онемеченных чухонок. Все они были наперечет, и разговоры о них происходили крайне редко.

Не отвечаю за всех моих товарищей, но в мою пятилетнюю дерптскую жизнь этот элемент не входил ни в какой форме. И такая строгость вовсе не исходила от одного внешнего гнета. Она была скорее в воздухе и отвечала тому настроению, какое владело мною, особенно в первые четыре семестра, когда я предавался культу чистой науки и еще мечтал сделать из себя ученого.

Какова бы ни была скудость корпоративного быта среди русских по умственной части, все-таки же этот

---

[1] Рижское братство *(лат.)*.

быт сделал то, что после погрома «Рутении» мы все могли собраться и образовать свободный кружок, без всякого письменного устава, и прожили больше двух лет очень дружно.

«Диких» оказалось несколько человек (в том числе и я), и они внесли с собою другой дух, другие повадки. Пало обязательное выпиванье, начались сходки с литературным оттенком, и в моей писательской судьбе они сыграли роль весьма значительную. К тому времени меня уже гораздо сильнее потянуло в сторону беллетристики. На наших сборищах читалась уже в зиму 1858—1859 года комедия «Фразеры», первоначально озаглавленная «Шила в мешке не утаишь», которую я решился везти в Петербург печатать и ставить, если она пройдет в Театрально-литературном комитете.

Наш кружок сплотился еще сильнее в бурные дни массового столкновения с немцами, подробно описанного в моем романе. Тогда все почувствовали себя русскими, даже и те обрусселые немцы, какие были в «Рутении». Главного зачинщика, нашего казанца З[ари]на, ударившего немца ремнем по лицу за нежелание давать ему «сатисфакцию» (так как мы все были на *ферруфе*), начальство немедленно удалило, продержав взаперти в полицейской тюрьме. Но наш свободный кружок не проникался никаким особенным шовинизмом. На немцев мы смотрели с бо̀льшей терпимостью, чем они на нас. Страдали от остракизма мы, а не они. Нам казалось все более и более диким, что русским студентам в России, в императорском университете, нельзя жить без подчинения немецкому «Комману», который не имел никакой правительственной санкции. Но и попечитель ничего не мог или не хотел сделать, чтобы прекратить такое status quo[1]. Его разговор с нашими депутатами (роль Телепнева играл я) описан мною без всяких прикрас и всего каких-нибудь четыре года спустя, когда все еще свежо сохранялось в памяти.

Больше уже до выхода моего никаких, ни кровавых, ни рукопашных, столкновений не происходило. Нашим медикам приходилось (как я заметил и выше) всего тяжелее в клиниках, где никто из немцев с нами не говорил.

---

[1] существующее положение *(лат.)*.

Теперь в Юрьевском университете такие претензии остзейцев показались бы комическими.

Но и тогда существовали давно два польских союза «Щегул» и «Огул», которые не признавали немецкого общего устава. Они добились этого не без борьбы, и их немцы побаивались уже потому, что в случае дуэлей (по-дерптски «шкандалов») они выходили только на пистолетах, а не на немецких эспадронах, которые мы звали неправильно «рапирами».

Дуэлирование (сохранившееся, как я слышу, и поднесь, по крайней мере у немцев) описано в моем романе. Оно выродилось в смешноватый ритуал, изредка с более серьезными последствиями и поддерживало в корпоративном быту постоянный задор, амбициозность, невысокого сорта удальство — совершенно так, как до сих пор в Германии, где шрамы на лице считаются патентом на геройство. В Дерпте ударов по лицу не получали, потому что дуэли официально преследовались, и дрались в огромных кожаных шлемах. Поводы к дуэлям отличались вздорностью и внутри корпорации, и между буршами разных корпораций. Известное количество «шкандалов» надо было иметь с чужими: без этого репутация падала в глазах остальных.

Но и эта полукомическая игра в средневековые *ордалии* * давала известный тон, вырабатывала бо̀льшее сознание своего, хотя бы и внешнего, достоинства. Всякий должен был отвечать не только за свои поступки, *но и за слова.* Оправдания состоянием опьянения (так частого у буршей) не принимались.

С таким пережитком варварства я никогда не мирился и всегда это высказывал. И тогда уже среди немцев водились студенты (особенно теологи), которые не дрались, объявляя это «против их убеждения». Но в «Рутении» таких не было. Как всегда русские, когда обезьянят с чужого, теряют всякую самобытность. Но все это было напускное. Доказательство налицо. Те же бурши, после того как сбросили с себя иго «Коммана» и стали вместе с нами, «дикими», жить свободным товарищеским кружком, утратили всякий задор. В течение двух лет не случилось у нас ни одной дуэли, ни одной даже неприятной истории между своими, не оказалось надобности учреждать и «суд чести», какой завели у себя немцы. Это учреждение (вероятно, оно и до сих пор

существует) поддерживало известную нравственную дисциплину; идею его похулить нельзя, но разбирательства всего больше вертелись около «шкандалов», вопросов «сатисфакции» и подчинения «Комману»; я помню, однако, что несколько имен стояло на так называемом «Verruf-zettel»[1] за неблаговидные поступки, хотя это и не вело к ходатайствам перед начальством об исключении, даже и в случаях подозрения в воровстве или мошеннических проделках.

Наш вольный кружок уже через каких-нибудь полгода потерял прежнюю буршикозную физиономию. Нас, «диких», принесших с собою другие умственные запросы и другие нравы, прозвали *эллинами* в противоположность старым, *пелазгам* *. Полного слияния, конечно, не могло произойти, но жили в ладу с преобладанием эллинской культуры.

В подведении этих дерптских *итогов* я уже забежал вперед. Держаться хронологического порядка повело бы к лишним подробностям, было бы очень пестро, пришлось бы и разбрасываться. Лучше будет разделить то, о чем стоит вспомнить, на несколько крупных пунктов.

Сначала, что представлял собою Дерпт в его общей жизни, как «академический» городок и как уездный городок остзейского края, который все-таки входил в состав Русской империи и, в известной степени, испытывал неизбежное воздействие нашего государственного и национального строя?

Затем, университет в его лучших представителях, склад занятий, отличие от тогдашних университетских городов, сравнительно, например, с Казанью, все то, чем действительно можно было попользоваться для своего общего умственного и научно-специального развития; как поставлены были студенты в городе; что они имели в смысле общеразвивающих условий; какие художественные удовольствия; какие формы общительности вне корпоративной, то есть почти исключительно трактирной (по «кнейпам») жизни, какую вело большинство буршей?

Русское общество в тогдашнем Дерпте, все знакомства, какие имел я в течение пяти лет, и их влияние на мое развитие. Наши *светские* знакомства, театральное

[1] списке лишенных чести *(нем.)*.

любительство, характер светскости, отношение к нам — студентам — русских семейств и все развивавшаяся связь с тем, что происходило внутри страны, в наших столицах.

Мои экскурсии в вакационное время. Петербург, Москва, Нижний, деревня. Расширение кругозора наблюдений и всякого рода жизненных опытов.

В связи со всем этим во мне шла и внутренняя работа, та борьба, в которой писательство окончательно победило, под прямым влиянием обновления нашей литературы, журналов, театра, прессы. Жизнь все сильнее тянула к работе бытописателя. Опыты были проделаны в Дерпте в те последние два года, когда я еще продолжал слушать лекции по медицинскому факультету. Найдена была и та форма, в какой сложилось первое произведение, с которым я дерзнул выступить уже как *настоящий* драматург, еще нося голубой воротник.

«Ливонские Афины» представлялись издали, как и нам из Казани, чем-то гораздо более *заграничным;* вообще чем-то красивее и привлекательнее того, что имелось в действительности.

Дерпт, теперешний Юрьев, был в то время, то есть полвека назад, городком лучше обстроенным и более культурным, чем все уездные города, в каких я тогда бывал, даже самые многолюдные и бойкие. Его можно было сравнивать только с губернскими городами, не такими, как, например, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Нижний, но — весьма и весьма в его пользу — с такими, как Владимир, Витебск, Кострома. Выше я уже говорил, как он до сих пор мало изменился в своем центре, самом характерном квартале, на Маркте и смежных улицах.

Здание университета его не красит, потому что стоит в стороне, на узкой площадке. Но холмы, разбитые под парк (так называемый *Dom*), где руины католической церкви рыцарского ордена и здание клиник, анатомического театра и кабинетов, придают Дерпту особый живописный и совсем не провинциальный отпечаток. Эти верхи в последние годы обстроились в направлении железной дороги и разрослись в новый квартал, который был для меня неожиданностью, когда я навестил Юрьев

после с лишком тридцатилетнего отсутствия, в 90-х годах.

И тогда в Дерпте можно было и людям, привыкшим к комфорту более, чем студенческая братия, устроиться лучше, чем в любом великорусском городке. Были недурные гостиницы, не мало сносных и недорогих квартир, даже и с мебелью, очень дешевые парные извозчики, магазины и лавки всякого рода (в том числе прекрасные книжные магазины), кондитерские, клубы, разные ферейны[1], целый ассортимент студенческих ресторанов и кнейп.

Немецкая печать лежала на всей городской культуре с сильной примесью народного, то есть эстонского, элемента. Языки слышались на улицах и во всех публичных местах, лавках, на рынке почти исключительно — немецкий и эстонский. В базарные дни наезжали эстонцы, распространяя запах своей махорки и особенной чухонской вони, которая бросилась мне в нос и когда я попал в первый раз на базарную площадь Ревеля, в 90-х годах.

Но и тогда уже, то есть во второй половине 50-х годов, чувствовалось то, что «Ливонские Афины» принадлежат *русскому* государству и представляют собою уездный город Лифляндской губернии.

Во-первых, я нашел там в зиму 1855—1856 года целый гвардейский уланский полк, тот самый, где тогда еще служил Фет-Шеншин * в обер-офицерских чинах. Он и воспитывался в немецком пансионе в одном из городков Лифляндской губернии. Долго оставался в Дерпте и целый отряд корпуса топографов, с училищем; была русская пробирная палатка, русская почта, разные другие присутственные места; много колониальных лавок, содержимых нашими ярославцами; а на базар приезжали постоянно русские староверы, беспоповцы из деревни Черной.

Город жил так, как описано в моем романе. Там ничего не прибавлено и не убавлено. Внешняя жизнь вообще была тихая; но не тише, чем в средних русских губернских городах, даже бойчее по езде студентов на парных пролетках и санях, особенно когда происходили периодические попойки и загородные экскурсии.

---

[1] Здесь: студенческие союзы *(нем.)*.

Мы, русские студенты, мало проникали в домашнюю и светскую жизнь немцев разных слоев общества. Сословные деления были такие же, как и в России, если еще не сильнее. Преобладал бюргерский класс немецкого и онемеченного происхождения. Жили домами и не мало *каксов*, то есть дворян-балтов. Они имели свое сословное собрание «Ressource», давали балы и вечеринки. Купечество собиралось в своем «Casino»; а мастеровые и мелкие лавочники в Шустер-клубе [1] — «Bürgermusse» [2].

Всякий остзеец из Риги, Митавы, Ревеля, а тем более из мелких городов Прибалтийского края, находил в Дерпте все, к чему он привык, и ему жизнь в Дерпте должна была нравиться еще и по тому оттенку, какой придавала ей университетская молодежь.

При всей «буршикозности» корпоративного быта уличных оказательств молодечества почти что не водилось: шумной, бешеной езды, задиранья женщин, ночных скандалов. В одиннадцать часов педеля производили ночной обход всех ресторанов и пивных, заходили во все квартиры, где «анмельдованы» были попойки *, и просили студентов разойтись.

В самые глухие часы уличная тишина нарушалась только студенческим кортежем в санях или шарабанах за город, в те корчмы, где происходили обыкновенно дуэли на рапирах.

Немец-гимназист из других городов края, попадая в дерптские студенты, устраивался по своим средствам и привычкам сразу без всяких хлопот и если в корпорации делал долги и тратил сравнительно много, то «диким» мог проживать меньше, чем проживали мы и в русских провинциальных университетских городах.

Слышно, что и теперь бедняки едут в Юрьев, зная, что там можно просуществовать чуть не на пятнадцать рублей в месяц!

То же возможно было и тогда.

Обыкновенно *полугодовую* квартиру, одну комнату с передней или без нее, нанимали с отоплением и мебелью — за двадцать — тридцать рублей. Обед на двоих стоил тогда от четырех до шести рублей. Какой это был

[1] в Клубе сапожников (от *нем.* Schusterklub).

[2] «Досуг горожанина» *(нем.)*.

обед — не спрашивайте! Но *такой* едой довольствовались две трети студенчества, остальная треть ела в кнейпах и в «ресторациях» (Restauration) с ценами порций от пятнадцати до тридцати копеек.

Ничтожное меньшинство ходило в ресторан тогдашнего Hôtel London с выписанными из Пруссии кельнерами, где можно было есть на марки — по двадцати копеек каждая.

Сто̀ит все-таки напомнить, что такое был тот обед, который мы имели помесячно. Его приносили в судках (по-тамошнему «менажки»). Он состоял из двух блюд, причем каждое блюдо составляло, по больничному выражению, только *полпорции*. Суп вы редко получали; его заменяла каша-размазня или род лапши с прогорклым маслом. Второе блюдо — якобы мясное; но те «кровяные котлеты с патокой и коринкой», о которых упоминается в моем романе — не принадлежат вовсе к поэтическим мифам; а могли быть отнесены и к реальным возможностям.

И на такую-то пищу мы с моим казанским товарищем З — чем сразу сели. Состояние наших финансов вскоре так ослабло, что пришлось, поджидая присылки денег, питаться не одну неделю сухарями из ржаного хлеба (мы их сами сушили в печке) с дешевым местным сыром, по двенадцати копеек фунт.

Тут я открою скобку и повторю еще раз (чтобы к этому уже более не возвращаться), что мы — в наше студенческое время и в Казани, и в Дерпте, да и в столицах — не смотрели такими глазами на свою нужду, как нынешняя молодежь.

Ведь и в наше время везде было немало бедняков среди своекоштных студентов. Согласитесь, если вы кормитесь месяцами *на два рубля,* питаетесь *неделями* черными сухарями с скверным сыром и платите за квартиру четыре—шесть рублей в месяц, вы — настоящий *бедняк.*

Но тогда не было в обычае, как я уже заметил, вызывать в обществе особый вид благотворительности, обращенной на учащихся. Не знали мы — студенты — того взгляда, что общество как будто *обязано* нас поддерживать. Это показалось бы нам прямо *унизительным,* а теперь это норма, нечто освященное традицией.

Не хочу впадать здесь в резко обличительный тон. При нынешних прерогативах университетской молодежи это — скользкая почва. Но я утверждаю положительно, что мы мирились с бедностью, дурной пищей, плохой квартирой — гораздо охотнее и выносливее; не позволяли себе делать из этой бедности какого-то мундира. А помощь тогда являлась крайне редко и скудно. Были казенные студенты, живущие в университете или нет (как в Петербурге), были кое-какие субсидии, но такого всеобщего искания денежной поддержки от государства и общества положительно не водилось в нравах студентов ни в Казани, ни в Дерпте. Благотворительных обществ для поддержки студентов нигде и не было.

Я до сих пор не знаю — сколько тогда значилось в Дерпте «казенных» студентов среди немцев, поляков, эстонцев и латышей; но среди русских — ни буршей, ни «диких» — не помню *ни одного*.

А какие мы были богачи — видно из того, что я сейчас привел насчет нашего питания с З — чем в первый семестр нашего дерптского житья.

Правда, при мне состоял крепостной служитель. Но это была для меня только лишняя обуза! Приходилось брать квартиру побольше, а кормился наш Михаил Мемнонов у портного Петуха гораздо лучше нас — его *господ!*

Возвращаюсь к городу Дерпту и его ресурсам — в те месяцы, когда университет жил полною жизнью.

По развлечениям Дерпт, за все время моего житья там, не отличался большим разнообразием.

Театр не допускался — именно *не допускался,* а не то что не мог бы существовать.

Этот запрет шел прямо от университетского начальства. Опасались, должно быть, лишних расходов и отвлечения от занятий или влияния на нравственность студентов закулисных сфер.

Но расчет отзывался филистерски-учительским недомыслием.

Нынче и для народа строят у нас великолепные театры и хлопочут об этом Общества народной трезвости *, желая оттягивать народ — от чего?.. От пьянства.

А в Дерпте кутежей, то есть попросту пьянства — и у немцев, и у русских — было слишком достаточно. Кроме попоек и «шкандалов», не имелось почти никаких диверсий для молодых сил. Театр мог бы сослужить и общепросветительную и эстетическую службу.

Но начальство рассуждало по-своему, и эта традиция сохраняется, если не ошибаюсь, и до сегодня.

Только с половины мая приезжала в Дерпт плохая труппа из Ревеля и давала представления в балагане — в вакационное время, и то за чертой города, что делало места вдвое дороже, потому что туда приходилось брать извозчика [1].

К чему же сводились художественные развлечения? Исключительно к музыке, к концертам в университетской актовой зале. Давались концерты, где действовал местный оркестр любителей и пелись квартеты — членами немецких кружков — почти всегда студентами. Стоячие места стоили довольно дорого, всегда около рубля. Наезжали и знаменитости, но редко.

Больше студенту некуда было деться вечером. В Шустер-клуб вход им был затруднен из-за боязни скандалов, а остальные два клуба были мужские, картежные.

Так тянулось до учреждения университетского клуба — Academische Musse, в казенном здании около университета, где внизу спокон века помещался один из книжных магазинов.

Идею этого клуба поддержал тогдашний попечитель сенатор Брадке, герренгутер-пиетист * и когда-то адъютант Аракчеева, умный и тонкий старичок, который давал мне рекомендательное письмо в Петербург к одному академику, когда я поехал туда продавать перевод «Химии» Лемана.

«Академическая Мусса» объединяла профессоров со студентами, и студенты были в ней главные хозяева и распорядители. Представительство было по корпорациям. Я тогда уже ушел из бурсацкой жизни, но и как «дикий» имел право сделаться членом Муссы. Но что-то она меня не привлекла. А вскоре все «рутенисты» долж-

---

[1] Такой остракизм театра поддерживался и пиетизмом местного лютеранства. (*Прим. П. Д. Боборыкина.*)

ны были выйти из нее «in corpore»[1] после того, как немцы посадили и их и нас на «ферруф».

В этом профессорско-студенческом клубе шла такая жизнь, как в наших смешанных клубах, куда вхожи и дамы: давались танцевальные и музыкальные вечера, допускались, кажется, и карты, имелись столовая и буфет, читались общедоступные лекции для городской публики.

Русские в Дерпте — вне студенческой сферы — держались, как всегда и везде — скорее разрозненно. И только в последние два года моего житья несколько семейств из светско-дворянского общества делали у себя приемы и сближались с немецкими «каксами». Об этом я поговорю особо, когда перейду к итогам тех знакомств и впечатлений, через какие я прошел, как молодой человек, вне университета.

Никакого общества или организованного кружка среди русских чиновников, купцов, учителей я не помню в те времена.

В церкви сходились все, и в доме старшего священника, который в то же время читал для православных обязательный курс не только богословия и церковной истории, но психологии и логики.

Только под самый конец этого пятилетнего периода образовался род общества, которое открыло школу для девочек местных православных из простого люда, и я там целый год преподавал грамматику и арифметику.

Вот как жил город Дерпт, в крупных чертах, и вот что казанский третьекурсник, вкусивший довольно бойкой жизни большого губернского города с дворянским обществом, мог найти в «Ливонских Афинах».

Теперь остановлюсь на том, что̀ Дерпт мог дать студенту вообще — и немцу или онемеченному чухонцу, и русскому: и такому, кто поступил прямо в этот университет, и такому, как я, который приехал уже «матерым» русским студентом, хотя и из провинции, но с определенными и притом высшими запросами.

Тогда Дерпт еще сохранял свою областную самостоятельность. Он был немецкий, предназначен для остзейцев, а не для русских, которые составляли в нем ничтожный процент.

---

[1] в полном составе (*лат.*).

Но не нужно думать, что государственная власть не делала и тогда попыток к некоторому обрусению. Каждого студента на всех факультетах, в том числе и русского (что было совершенно лишнее), обязывали слушать лекции русской литературы. Их экзаменовали и из русского языка при поступлении в студенты. Но и то и другое сводилось к формальности. Масса остзейцев из своих гимназий (где уже читали русский язык), оканчивая курс с порядочными теоретическими познаниями, совершенно забывали русский язык к окончанию курса в университете. А те остзейцы из русских, которые там родились в онемеченных семействах, ходя на лекции православного богословия, не понимали того, что читает протоиерей. Помню два таких продукта остзейского быта: фон Атропова и сына русского дьячка в Ревеле, по фамилии Цветков (или что-то вроде этого), который состоял все время буршем в корпорации «Эстония».

Нечего и говорить, что язык везде — в аудиториях, кабинетах, клиниках — был *обязательно* немецкий. Большинство профессоров не знали по-русски. Между ними довольно значительный процент составляли заграничные, выписные немцы; да и остзейцы редко могли свободно объясняться по-русски, хотя один из них, профессор Ширрен, заядлый русофоб, одно время читал даже русскую историю.

Но мы разбираем здесь не вопрос национальной политики. На Дерптский университет следовало такому русскому студенту, как я, смотреть, как на *немецкий* университет и дорожить именно этим, ожидая найти в нем повышенный строй всей учебной и ученой жизни.

И в общем и в подробностях ожидания эти могли сбываться.

Уровень — не на всех факультетах одинаково — был действительно повышен, особенно в сравнении с Казанским университетом.

На моих двух факультетах, сначала физико-математическом, потом медицинском, можно было учиться гораздо серьезнее и успешнее. Я уже говорил, что натуралисты и математики выбирали себе специальности, о каких даже и слыхом не слыхали студенты русских университетов, то, что теперь называется: «предметная система».

И в то же время всякий химик, физик или натуралист, в тесном смысле, слушал все факультетские предметы. В профессорском составе значились такие ученые, как Карл Шмидт (химия), Кемц (физика), Медлер (астрономия). В Казани, кроме как в анатомическом театре да в лаборатории, — нигде не работали студенты. О физиологическом кабинете, о вивисекциях и демонстрациях на аппаратах на лекциях физиологии там не имели понятия! Профессор Берви показывал казанцам процесс деятельности сердца на своем носовом платке. Там терапию читал *гомеопат,* а фармакологию запоздалый эскулап, который рекомендовал марену против бледной немочи!

А в Дерпте на медицинском факультете я нашел таких ученых, как Биддер, сотрудник моего Шмидта, один из создателей животной физиологии питания, как прекрасный акушер Вальтер, терапевт Эрдман, хирурги Адельман и Эттинген и другие. В клиниках пахло новыми течениями в медицине, читали privatissima[1] по разным отделам теории и практики. А в то же время в Казани не умели еще порядочно обходиться с *плессиметром** и никто не читал лекций о «выстукивании» и «выслушивании» грудной полости.

Блестящих и даже просто приятных лекторов было немного на этих двух факультетах. Лучшими считались физик Кемц и физиолог Биддер (впоследствии ректор) — чрезвычайно изящный лектор в особом, приподнятом, но мягком тоне. Остроумием и широтой взглядов отличался талантливый неудачник, специалист по палеонтологии, Асмус. Эту симпатичную личность и его похороны читатель найдет в моем романе вместе с портретами многих профессоров, начиная с моего ближайшего наставника Карла Шмидта, недавно умершего.

Он читал так связно и стремительно, что я долго не понимал его. Но особенно плохой дикцией и диалектикой отличался профессор Бухгейм — создатель новейшей фармакологии, и Рейсснер, анатом, обессмертивший себя отпрепарированием маленькой неровности в ушной кости, которое носит его имя: «Recessus Reissnerii»[2]. Этот читал *ужасно* по монотонности и «дубиноватости»,

---

[1] Здесь: специальные курсы *(лат.)*.
[2] Удаление по Рейсснеру *(лат.)*.

как говорили мы, русские; но работать у него по описательной и микроскопической анатомии все-таки можно было не так, как в Казани. При мне кафедры «микроскопической анатомии» там и совсем еще не имелось.

Чтобы наглядно убедиться в громадной разнице «академических» (выражаясь и по-дерптски) порядков в Казани и Дерпте — стоит перечесть в моем романе описание экзаменов там и тут.

В Казани экзаменовались, как школьники, иногда даже с *своими* билетами, выдергивая их из-под обшлага мундира, в актовой зале, навытяжку перед столом экзаменатора.

В Дерпте не было и тогда курсовых экзаменов ни на одном факультете. Главные предметы сдавали в два срока: первая половина у медиков «philosophicum»; а у остальных «rigorosum». Побочные предметы дозволялось сдавать когда угодно. Вы приходили к профессору, и у него на квартире или в кабинете, в лаборатории — *садились* перед ним и давали ему вашу матрикульную книжечку, где он и производил отметки.

По химии мой двухлетний rigorosum продолжался целый день, в два приема, с глазу на глаз с профессором и без всяких других формальностей. Но из одного такого испытания можно бы выкроить дюжину казанских студенческих экзаменов. Почти так экзаменуют у нас разве магистрантов.

Для того, кто бы пожелал расширять свои познания и в аудиториях других факультетов (что нисколько не возбранялось), тогдашний Дерпт был, в общем, опять-таки выше. Особенно даровитых и блестящих лекторов водилось немного. На историко-филологическом факультете преобладала классическая филология; кафедры всеобщей литературы не имелось (да, кажется, и до сих пор ее нет). Но историю философии и разные части ее читали тогда только в Дерпте, и профессор Штрюмпель, последователь Гербарта, заграничный немец, — выделялся своей диалектикой. Психологию он читал по Бенеке. Филология и лингвистика обогащались и восточными языками — на богословском факультете: арабским, сирийским и еврейским языками. Теология стояла на высоте германской экзегетики *, и некоторые лекции могли весьма и весьма развивать и стороннего слушателя. Но направление на этом факультете отзывалось

ортодоксальным лютеранством, хотя в городе водились и герренгутеры. Ортодоксальность большинства профессоров-теологов не мешала им преподавать, кроме лютеран, и тем полякам-кальвинистам, которые в Дерпте получали свое богословское образование, будущим кальвинистским пасторам.

По русской истории, праву и литературе приходилось довольствоваться более скудным составом профессоров и программ. Сколько помню, единственный русский юрист Жиряев по уходе его не был никем заменен. Русскую историю читал одно время приехавший после нас из Казани профессор Иванов, который в Дерпте окончательно спился, и его аудитория, сначала многолюдная, совсем опустела. Русскую литературу читал интересный москвич, человек времени Надеждина и Станкевича, зять Н. Полевого, Михаил Розберг; но этот курс сводился к трем-четырем лекциям в семестр. Лектором русского языка состоял Павловский, известный составитель лексикона, который в мое время и стал появляться в печати у рижского книгопродавца Киммеля.

Если б прикинуть Дерптский университет к германским, он, конечно, оказался бы ниже таких, как Берлинский, Гейдельбергский или Боннский. Но в пределах России он давал все существенное из того, что немецкая нация вырабатывала на Западе. Самый немецкий язык вел к расширению умственных горизонтов, позволял знакомиться со множеством научных сочинений, неизвестных тогдашним студентам в России и по заглавиям.

И все это — на почве большой умственной и учебной *свободы.* Студенчество подчинялось надзору только в уличной, трактирной и бурсацкой жизни. Этот надзор производили *педеля* — род сторожей. Но в университетское здание, в аудитории, кабинеты и даже коридоры они не заглядывали. Инспектора и субов и вовсе не существовало. И даже «обер-педель», знаменитый старик Шмит, допускался только в правление, докладывая ректору (впоследствии проректору) о провинившихся студентах, которых вызывали для объяснения или выслушивания выговоров и вердиктов университетского суда.

Как «возделыватель» науки (cultor), студент не знал никаких стеснений; а если не попадался в кутежных и дуэльных историях, то мог совершенно игнорировать

всякую инспекцию. Его не заставляли ходить к обедне, носить треуголку, не переписывали на лекциях или в шинельных, как делали еще у нас в недавнее время.

По факультетам — словесному и юридическому — устроивали уже и тогда семинарии; а теологи eo ipso[1] упражнялись в красноречии и представляли на просмотр свои произведения.

И та, даже крайняя специализация, какую я нашел на физико-математическом факультете, существовала и у словесников и у юристов. Значилось несколько разрядов; кончали курс и «экономистами», и «дипломатами», и даже специально по статистике и географии.

При том же стремлении к строгому знанию, по самому складу жизни в Казани, Москве или Петербурге, нельзя было так устроить свою студенческую жизнь — в интересах чисто научных, как в тихих «Ливонских Афинах», где некутящего молодого человека, ушедшего из корпорации, ничто не отвлекало от обихода, ограниченного университетом с его клиниками, кабинетами, библиотекой — и не веселого, но бодрящего и целомудренного одиночества в дешевой, студенческой мансарде.

Словом, для *общеевропейского* умственного роста — находил это и я, и все, кто приезжал сюда учиться, а не «шалдашничать» — Дерпт, как университет немецко-остзейского склада, мог дать очень многое. Но для *русского* молодого человека, с того момента, как наше отечество в 1856 году встрепенулось и пошло другим ходом, в стенах alma mater[2] воздух оставался совершенно чужим. Если бы за все пять лет забыть о том, что там, к востоку, есть обширная родина и что в ее центрах и даже в провинции началась работа общественного роста, что оживились литература и пресса, что множество новых идей, упований, протестов подталкивало поступательное движение России в ожидании великих реформ, забыть и не знать ничего, кроме своих немецких книг, лекций, кабинетов, клиник, то вы не услыхали бы с кафедры ни единого звука, говорившего о связи «Ливонских Афин» с общим отечеством. Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на *не-*

---

[1] Здесь: следуя тому же *(лат.)*.
[2] матери-кормилицы *(лат.)*.

мецком Западе и в Прибалтийском крае, вот какая нота слышалась всегда и везде.

Это равнодушие к *русскому движению* оттолкнуло меня и от русских буршей, и только когда рухнула корпорация и образовался новый вольный русский кружок, наши закорузлые «бурсаки» стали сбрасывать с себя эту чисто дерптскую обособленность и безличный индифферентизм.

В борьбе двух направлений, какая началась во мне в последние годы дерптской выучки, будущий писатель и пробудился и наметил свой путь в воздухе русских интересов, знакомств и интимных испытаний.

Начало этого внутреннего процесса совпало с образованием (после разрыва русской корпорации с немцами) нашего нового товарищеского кружка. К тому времени и меня начало забирать то, что шло из России. Я стал зачитываться русскими журналами. Горный чиновник, заведовавший местной пробирной палатой, организовал дешевый абонемент на русские журналы, и мой служитель, Михаил Мемнонов, очутился в рассыльных. Горный инженер был еще молодой малый, холостяк, ходил на лекции и в кабинеты при кафедре минералогии (ее занимал довольно обруселый остзеец профессор Гревингк) и переводил учебник минералогии. На просмотре этого перевода (по части языка) мы и сошлись.

Квартира при пробирной палате была обширная, с просторной залой, и в ней я впервые участвовал в спектаклях, которые устраивались учениками школы топографов, помещавшейся в том же казенном доме. Как во времена Шекспира, и женские роли у нас исполняли подростки-ученики. Мы сладили «Женитьбу» и даже второй акт из «Свадьбы Кречинского», причем я играл в гоголевской комедии Кочкарева, а тут — Расплюева. Пьеса Сухово-Кобылина была еще внове, и я успел видеть ее в Москве в одну из вакационных поездок домой.

Но и раньше, еще в «Рутении», я в самый разгар увлечения химией после казанского повествовательного опыта (вещица, посланная в «Современник») написал юмористический рассказ «Званые блины», который читал на одной из литературных сходок корпорации. И в ней они уже существовали, но литература была самая

первобытная, больше немудрые стишки и переводцы. Мой рассказ произвел сенсацию и был целиком переписан в альбом, который служил летописью этих литературных упражнений.

Через «рутенистов» познакомился я и сошелся (уже позднее, когда вышел из корпорации) с типичным человеком 40-х годов; но совсем не в том значении, какое этот термин приобрел в нашем писательском жаргоне.

Это был русский барин с большим учено-литературным багажом, с своеобразной и чудаковатой умственной и нравственной физиономией — С. Ф. Уваров.

Таких я еще до того не встречал; не встречал никогда и нигде, ни в каких сферах и наслоениях русской интеллигенции.

По времени своей студенческой юности, он принадлежал поколению Тургенева, Каткова, Леонтьева, Кудрявцева — и одновременно с ними попал в Берлин, где страстно предавался изучению филологии и истории литературы, в особенности Шекспира и итальянских поэтов. Но он вышел не из русской школы, кажется не был никогда гимназистом, не готовил себя ни к какой профессии. Сергей Федорович родился и воспитывался в богатой и родовитой семье, от отца — генерала эпохи Отечественной войны, и матери — Луниной, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны и родной сестры известного декабриста Лунина. Отца он рано лишился и с тех пор состоял «при маменьке» до весьма почтенных годов, все холостяком и вечным буршем, но буршем чисто платоническим; а в сущности архикабинетным человеком.

Германия, ее университетская наука и «академические» сферы укрепили в нем его ненасытную, но неупорядоченную любознательность и слабость ко всему традиционному складу немецкой студенческой жизни, хотя он по своей болезненности (настоящей или мнимой) не мог, вероятно, и в юности быть кутилой.

Из-за границы он уже во второй период своей юности попал в Дерпт, здесь держал на кандидата и потом на магистра не по филологии, а по истории.

При мне он приехал «с маменькой» на новое житье уже магистром, человеком под сорок (если не за сорок)

лет, с лысой, характерной головой, странного вида и еще более странных приемов, и в особенности жаргона. Его «маменька» открыла у себя приемы, держала его почти как малолетка, не позволяла даже ему ходить одному по улицам, а непременно с лакеем, из опасения, что с ним сделается припадок.

Когда я стал бывать у него и был приглашаем на обеды и вечера «генеральши», я нашел в их квартире обстановку чисто тамбовскую (их деревня и была в той губернии) с своей крепостной прислугой, ключницей, поваром, горничными.

С «рутенистами» Уваров держался как бывший бурш, ходил на их вечеринки, со всеми, даже с юными «фуксами», был на «ты» и смотрел на их жизнь с особой точки зрения, так сказать, символической. Он находил такую жизнь «лихой» и, участвуя в их литературных сходках, читал там свои стихи и очерки, написанные чрезвычайно странным, смешанным языком, который в него глубоко въелся.

Он же после падения «Рутении», когда сложился наш новый кружок, пустил прозвище: *пелазгов* и *эллинов*.

Даже по своей европейской выучке и культурности он был дореформенный барин-гуманист, словесник, с культом всего, что германская наука внесла в то время в изучение и классической древности, и Возрождения, и средневековья. Уварова можно было назвать «исповедником» немецкого гуманизма и романтизма. И Шекспира, и итальянских великих поэтов он облюбовал через немцев, под их руководительством.

И в то же время он продолжал проходить по иерархии высших ученых степеней, как историк; но, в сущности, никогда им не был. Не знаю, имел ли он когда-либо определенное намерение занять в России кафедру истории, древней или новой; по крайней мере он ничего не делал, чтобы этого добиться. Его магистерская диссертация, защищенная до моего приезда в Дерпт, называлась: «De sedibus Bulgarorum» [1], а докторская, которую он защищал при мне, уже в конце 50-х годов, написанная также по-латыни (тогда это еще требовалось от словесника), носила такое трудно переваримое загла-

[1] «О расселении болгар» *(лат.)*.

вие: «De provinciarum imperii orientis administrandarum forma mutata»[1].

Эта старина — древняя Болгария (когда болгары еще сидели на Волге*) и Византия — не находилась нимало в связи с его постоянно взвинченным, чисто литературным настроением, но литературным не в смысле художественной писательской работы, а по предметам своих чтений, бесед, записей.

Повторяю: такого русского барина-интеллигента, с таким словесным дилетантством *высшего пошиба,* с таким обширным запасом чтений, воспоминаний, подготовки, при постоянном подъеме пестрой и своеобразной диалектики — я не знавал ни в людях его поколения, ни в дальнейших генерациях.

Как питомец тогдашних немецких аудиторий, он сохранил гораздо больший германский налет, чем, например, Тургенев. Не сухая эрудиция, не аппарат специальной учености отличали его; а неизменно юношеская любовь к прекрасному творчеству, к эллинской и римской мифологии и поэзии, к великому движению итальянских гуманистов, к староанглийской литературе, Шекспиру и его предшественникам и сверстникам, ко всем крупнейшим моментам немецкой поэзии и литературы, к людям «Sturm und Drang» периода до романтиков первой и второй генерации — к Тикам, Шлегелям, Гофманам, Новалисам.

Из такого высшего дилетантства не могло вытечь строгой научной работы. Мешала этому вся психическая организация этого русского барина-гуманиста. Натура слишком нервная, склонная к постоянным скачкам, к переходу от одной умственной области к другой. В своих записных книжках, которые составляли уже тогда целую библиотеку — записи он постоянно делал на всех ему известных языках: по-гречески, по-латыни, по-немецки, французски, английски, итальянски, и не цитаты только, а свои мысли, вопросы, отметки, соображения, мечты.

Судьба — точно нарочно — свела меня с таким человеком в ту полосу моей дерптской жизни, когда будущий писатель стал забивать естественника и студента медицины.

---

[1] «Об изменении формы управления в провинциях восточной империи» *(лат.).*

Сближение пошло быстро. От него пахну́ли на меня разом несколько изящных литератур и несколько эпох. В беседах с ним я бывал обвеян неувядаемыми красотами древнего и нового творчества, и во мне все разгоралась потребность расширить, насколько возможно, мое *словесное* образование, прочесть многое если не в подлинниках, то в переводах. Тогда же зародилось во мне желание изучать английский язык — Эсхил, Софокл, Эврипид, Шекспир, Данте, Ариосто, Боккачио, Сервантес, испанские драматурги, немецкие классики и романтики — специально «Фауст» — и вплоть до лириков и драматургов 30-х и 40-х годов, с особым интересом к Гейне, — вот что вносил с собою Уваров в наши продолжительные беседы у него в кабинете. И все это было скрашено и согрето его тоном, юмором, возгласами и полетами фантазии. Трудно было не привязаться к такому чудаку и не быть ему благодарным за те «заряды», какие давали моему назревающему писательству подобная подготовка и беззаветная любовь к области прекрасного слова.

К современным «злобам дня» он был равнодушен так же, как и его приятели, бурсаки «Рутении». Но случилось так, что именно наше литературное возрождение во второй половине 50-х годов подало повод к тому, что у нас явилась новая потребность еще чаще видеться и работать вместе.

В это время он ушел в предшественников Шекспира, в изучение этюдов Тэна о староанглийском театре *. И я стал упрашивать его разработать эту тему, остановившись на самом крупном из предтеч Шекспира — Кристофере Ма̀рло. Язык автора мы и очищали целую почти зиму от чересчур нерусских особенностей. Эту статью я повез в Петербург уже как автор первой моей комедии и был особенно рад, что мне удалось поместить ее в «Русском слове» *.

Я тут по необходимости забегаю вперед. Перед этим прошло два дерптских сезона. Уваров продолжал жить домом, и мы — русские студенты — сделались в нем постоянными «филистерьянами», следуя жаргону буршей. Там я ставил впервые в Дерпте комедию Островского «Не в свои сани не садись», где играл Бородкина, и этот памятный тамошним старожилам спектакль начался комическими сценами из шекспировского «Сна в летнюю

ночь» в немецком переводе Тика; а мендельсоновскую музыку исполнял за сценой в четыре руки сам С. Ф. с одним из бывших «рутенистов», впоследствии известным в Петербурге врачом, Тицнером.

Дом Уварова и был за этот период тем местом, где на русской почве (несмотря на международный гуманизм Сергея Федоровича) мои писательские стремления усилились и проявляли себя и в усиленном интересе к всемирной литературе и все возраставшей любовью к театру, в виде сценических опытов.

От Уварова пошли и другие русские знакомства в той дворянской светской полосе, какая сложилась в Дерпте в последние мои зимы.

На окраинах Дерпта стояла знаменитая «Мыза Карлово» — когда-то постоянная летняя резиденция Фаддея Булгарина — обширные хоромы с картинной галереей (с весьма грубоватыми новыми картинами), концертной залой и садом.

В ней две зимы жило семейство князя М. А. Дондукова-Корсакова. Через Уваровых и старшую дочь князя, Марью Михайловну, я сделался вхож в их дом и сошелся со всем женским персоналом этой фамилии, начиная с самой княгини и двух старших дочерей. Здесь, в гостеприимном Карлове, происходила моя дальнейшая писательская «эволюция». Все свои досуги и в денные и в вечерние часы я проводил в Карлове целых два года. Здесь я брал уроки английского языка у одной из княжон, читал с ней Шекспира и Гейне, музицировал с другими сестрами, ставил пьесы, играл в них, как главный режиссер и актер, читал свои критические этюды, отдельные акты моих пьес и очерки казанской жизни, вошедшие потом в роман «В путь-дорогу».

Там же завязывались и мои остальные знакомства. Довольно часто на обедах и вечерах бывал у них профессор М. П. Розберг, слушал мои вещи и охотно рассказывал о литературно-университетской Москве 30-х и 40-х годов. Как профессор, он был лентяй, и я ничем не мог у него попользоваться; но как у собеседника и человека своей эпохи — очень многим. Он же, когда я — уже автором, напечатавшим целую пятиактную комедию, — отправился окончательно в Петербург, дал мне письмо к своему сверстнику П. А. Плетневу, бывшему тогда ректором университета.

В Карлове после Дондуковых поселилась семья автора «Тарантаса», гр. В. А. Соллогуба, которого я впервые увидал у Дондуковых, когда он приехал подсмотреть для своего семейства квартиру еще за год до найма булгаринских хором.

Признаюсь, он мне в тот визит к обывателям Карлова не особенно приглянулся. Наружностью он походил еще на тогдашние портреты автора «Тарантаса», без седины, с бакенбардами, с чувственным ртом, очень рослый, если не тучный, то плотный; держался он сутуловато и как бы умышленно небрежно, говорил, мешая французский жаргон с русским — скорее деланным тоном, часто острил и пускал в ход комические интонации.

Таким оставался он и позднее, когда я стал часто бывать у Соллогубов, но больше у жены его, графини Софьи Михайловны (урожденной гр. Въельгорской), чем у него, потому что он то и дело уезжал в Петербург, где состоял на какой-то службе, кажется по тюремному ведомству *.

Но мы с ним все-таки ладили. Я был к тому времени довольно уже обстрелянный «студиозус», любящий поспорить и отстоять свое мнение.

Как писатель, тогдашний гр. Соллогуб уже мало «импонировал» мне, как говорят в таких случаях. Не один я находил уже, что он разменялся на мелкие деньги. Его либеральная комедия «Чиновник» совсем меня не обманула ни в «цивическом» [1], ни в художественном смысле. И в первый же вечер, когда граф (еще в первую зиму) пригласил к себе слушать действие какой-то новой двухактной пьесы (которую Вера Самойлова попросила его написать для нее), студиозус, уже мечтавший тогда о дороге писателя, позволил себе довольно-таки сильную атаку и на замысел пьесы, и на отдельные лица, и, главное, на диалог.

И со мною согласилась прежде всех остальных слушателей сама графиня. Автор не обиделся, по крайней мере не выказал никакого «генеральства», почти не возражал и вскоре потом говорил нашим общим знакомым, что он пьесу доканчивать не будет, ссылаясь и на мои замечания.

От такого критического успеха я не возгордился.

---

[1] гражданском (от *лат.* civilis).

И граф не стал вовсе избегать разговоров со мною. Напротив, от него я услыхал — за два сезона, особенно в Карлове — целую серию рассказов из его воспоминаний о Пушкине, которого он хорошо знал, Одоевском, Тургеневе, Григоровиче, Островском.

Он действительно был первый петербургский литератор, у которого Островский прочел комедию «Свои люди — сочтемся!». И он искренно ценил его талант и значение, как создателя бытового русского театра.

В таких людях, как гр. Соллогуб, надо различать две половины: личность известного *нравственного* склада, продукт барски-дилетантской среды с разными «провинностями и шалу́шками», и человека, преданного идее искусства и вообще, и в области литературного творчества. В нем сидел нелицемерный культ Пушкина и Гоголя; он в свое время, да и в эти годы, способен был поддержать своим сочувствием всякое новое дарование. Но связи с тогдашними передовыми идеями у него уже не было настолько, чтобы самому обновиться. Он уже растратил все то, что имел, когда писал лучшие свои повести, вроде «Истории двух калош», и свой «Тарантас». Он действительно разменялся, кидаясь от театра (вплоть до водевиля) к этнографии, к разным видам полуписательской службы, состоя чиновником по специальным поручениям.

Но и в этой сфере он был для меня интересен. Только что перед тем он брал командировку в Париж по поручению министра двора для изучения парижского театрального дела. Он охотно читал мне отрывки из своей обширной докладной записки, из которой я сразу ознакомился со многим, что мне было полезно и тогда, когда я в Париже в 1867—1870 годах изучал и общее театральное дело, и преподавание сценического искусства.

В Соллогубе остался и *бурш*, когда-то учившийся в Дерпте, член русской корпорации. Сквозь его светскость чувствовался все-таки особого пошиба барин, который и в петербургском монде в года молодости выделялся своим тоном и манерами, водился постоянно с писателями и, когда женился и зажил домом, собирал к себе пишущую братию.

И тут — в предпоследнюю мою дерптскую зиму — он вошел в наше сценическое любительство, когда мы с благотворительной целью (в пользу русской школы, где

я преподавал) ставили спектакли в клубе «Casino», давали и «Ревизора», и «Свадьбу Кречинского», и обе комедии Островского. Он приходил в наши уборные, гримировал нас и одевал и угощал при этом шампанским.

Его жена, графиня Софья Михайловна, была для всего нашего кружка гораздо привлекательнее графа. Но первое время она казалась чопорной и даже странной, с особым тоном, жестами и говором немного на иностранный лад. Но она была — в ее поколении — одна из самых милых женщин, каких я встречал среди наших барынь света и придворных сфер; а ее мать вышла из семьи герцогов Биронов, и воспитывали ее вместе с ее сестрой Веневитиновой чрезвычайно строго.

Тогда графиня уже была матерью целой вереницы детей, и старшая дочь (теперь Е. В. Сабурова) еще ходила в коротких платьях и носила прозвище «Булки», каким окрестил ее когда-то Гоголь.

Воспоминания о Гоголе были темой моих первых разговоров с графиней. Она задолго до его смерти была близка с ним, состояла с ним в переписке * и много нам рассказывала из разных полос жизни автора «Мертвых душ».

В маленьком кабинете графини (в Карлове) я читал ей в последнюю мою зиму и статьи, и беллетристику, в том числе и свои вещи. Тогда же я посвятил ей пьесу «Мать», которая явилась в печати под псевдонимом *.

В семье Соллогуба в той же зале Карлова продолжалась, но уже менее широко и гостеприимно, жизнь дерптских русских.

Не знаю, выдавались ли такие же эпохи в дальнейших судьбах русской колонии с таким оживлением, и светским, и литературно-художественным. Вряд ли. Что-то я не слыхал этого потом от дерптских русских — бывших студентов и не студентов, — с какими встречался до последнего времени.

В прямой связи с тем, что исходило от русских и шло из России, находились и мои поездки на вакации, сначала на все летние, а раза два-три и на зимние.

Первая поездка — исключительно в Петербург — пришлась на ближайшую летнюю вакацию. Перевод учебника химии Лемана я уже приготовил к печати. Переписал мне его мой сожитель по квартире З — ч,

у которого случилась пистолетная дуэль с другим моим спутником З[ари]ным, уже превратившимся в бурша. З — ч стал сильно хандрить в Дерпте, и я его уговаривал перейти обратно в какой-нибудь русский университет, что он и сделал, перебравшись в Москву, где и кончил по медицинскому факультету.

Впервые познал я в Петербурге хлопоты о помещении своего труда. Старик Клаус прослушал всю огромную рукопись с весны 1856 года и дал от себя удостоверение о достоинстве перевода. У меня были рекомендации к двум русским химикам — Воскресенскому и гораздо более известному, даже знаменитому, Н. Н. Зинину. Оба — бывшие ученики Юстуса Либиха, оба — академики, жившие в академических зданиях. Воскресенский ничего для меня не сделал. Зинин сейчас же познакомил меня с доктором Ханом, впоследствии редактором «Всемирного труда», где я печатал в конце 60-х годов свой роман «Жертва вечерняя» *. Доктор Хан свел меня к книгопродавцу Маврикию Вольфу, тогда еще только начинавшему свое книгоиздательство на том же месте, в Гостином дворе. Вольф купил у меня рукопись в *сорок* с лишком печатных листов за триста рублей. Из них он сто рублей мне не уплатил под тем предлогом, что перевод был не точен и он должен был отдать его кому-то на исправление. Это не помешало ему пропечатать то удостоверение, какое я получил от профессора Клауса.

Из двухсот рублей заплатил я шестьдесят З — чу за переписку, сто сорок рублей были моим *первым* гонораром. Это приходилось по три рубля пятьдесят копеек за перевод печатного листа in 8°[1], который я продолжал около двух лет. Не знаю, в какой степени перевод вышел удачен, но я, переводя и неорганическую и *органическую* части этого учебника, должен был создавать русские термины. Тогда химическая литература по-русски почти что не существовала. Вся она сводилась к двум учебникам: Гессе, русского немца, и к переводу *неорганической* химии француза Реньо. Органическую химию я слушал целый год у А. М. Бутлерова, но совсем не в таких размерах, какие значились в учебнике Лемана. Множество терминов я пустил *впервые* в русской печати,

[1] в восьмую долю (*лат.*).

и мне некоторым подспорьем служили только учебники фармакологии: в том числе и перевод Эстерлена — того же доктора Хана — перевод местами очень плохой, с варварскими германизмами и с уродливыми переделками терминов.

Академик Зинин заинтересовал меня в те визиты, какие я ему делал. Я нашел в нем отъявленного противника самостоятельного развития физиологической химии, как раз специальности моего дерптского учителя Карла Шмидта.

Я еще не встречал тогда такого оригинального чудака на подкладке большого ученого. Видом он напоминал скорее отставного военного, чем академика, коренастый, уже очень пожилой, дома в архалуке, с сильным голосом и особенной речистостью. Он охотно «разносил», в том числе и своего первоначального учителя Либиха. Все его симпатии были за основателей новейшей органической химии — француза Жерара и его учителя Лорана, которого он также зазнал в Париже.

Зинин изображал его жертвой тупоумия и ученого генеральства таких тузов химического мира, как Дюма и знаменитый швед Берцелиус.

Я затруднился бы передать стенографически те выражения, какие соскакивали с губ Зинина. Некоторые были совершенно нецензурные.

В этом сказывался настоящий казанец начала 40-х годов, умный, хлесткий в своей диалектике и рассказах русак, хотя он был, если не ошибаюсь, сын француженки.

Мало знавал я на своем веку таких оригинальных русских самородков, как Зинин, который и в долгие годы заграничной выучки не утратил своего казанского «букета» во всем, что он знал, о чем думал и говорил. Тогда с молодыми учеными начальство не церемонилось. Зинина послали изучать химию; а потом ему приказали превратиться в технолога и еще во что-то по воле тогдашнего казанского самодура, попечителя Мусина-Пушкина. Он не без юмора рассказывал мне про все опыты, какие с ним проделывало начальство. И под конец, когда он перешел в медико-хирургическую академию, он должен был по тогдашнему уставу сдавать экзамены из всех естественных и медицинских наук.

Я еще застал Зинина в живых, когда я поселился

в Петербурге, и незадолго до его смерти встречал его. Его лаборатория в академии перешла к Бутлерову, и в его академической квартире я бывал вплоть до смерти Александра Михайловича уже в 80-х годах.

Оба знаменитых химика оказались казанцами. Бутлеров создал русскую «школу» химии, чего нельзя сказать про Зинина. Он оставался *сам по себе,* крупный ученый и прекрасный преподаватель, но не сыграл такой роли, как Бутлеров, в истории русской химической науки в смысле создания целой «школы».

Личность Зинина сделала мою летнюю экскурсию в Петербург особенно ценной. В остальном время прошло без таких ярких и занимательных эпизодов, о которых стоило бы вспоминать. Муж кузины моего отца, тогда обер-прокурор одного из департаментов сената, предложил мне жить в его пустой городской квартире. Его чиновничья фигура и суховатый педантский тон порядочно коробили меня; к счастию, он только раз в неделю ночевал у себя, наезжая с дачи.

Стояли петербургские белые ночи, для меня еще до того не виданные. Я много ходил по городу, пристроивая своего Лемана. И замечательно, как и провинциальному студенту Невская «перспектива» быстро приедалась! Петербург внутри города был таким же, как и теперь, в начале XX века. Что-то такое фатально-петербургское чувствовалось и тогда в этих безлюдных широких улицах, в летних запахах, в белесоватой мгле, в дребезжании извозчичьих дрожек.

И позднее, когда я попадал на острова и в разные загородные заведения, вроде Излера *, я туго поддавался тогдашним приманкам Петербурга. И Нева, ее ширь, красивость прогулок по островам — не давали мне того столичного «настроения», какое нападало на других приезжих из провинции, которые годами вспоминали про острова, Царское, Петергоф.

Зимнего Петербурга вкусил я еще студентом в вакационное время в начале и в конце моего дерптского студенчества. Я гащивал у знакомых студентов; ездил и в Москву зимой, несколько раз осенью, проводил по неделям и в Петербурге, возвращаясь в свои «Ливонские Афины». С каждым заездом в обе столицы я все сильнее втягивался в жизнь тогдашней интеллигенции, сначала как натуралист и медик, по поводу своих научно-

литературных трудов; а потом уже как писатель, решившийся попробовать удачи на театре.

Москва конца 50-х годов (где З — ч знакомил меня с студенческой братией) памятна мне всего больше знакомствами в ученом и литературном мире.

Через год после продажи перевода «Химии» Лемана я задумал обширное руководство по животно-физиологической химии — в трех частях, и первую часть вполне обработал и хотел найти издателя в Москве. Поручил я первые «ходы» З — чу, который отнес рукопись к знаменитому доктору Кетчеру, экс-другу Герцена и переводчику Шекспира. Он в то время заведовал только что народившимся книгоиздательством фирмы «Солдатенков и Щепкин».

Мой учебник (первую его часть) весьма одобрил тогдашний профессор химии, Лясковский, к которому я привез письмо от Карла Шмидта. Мне и теперь кажется курьезным, что студент задумал целый учебник «собственного сочинения», и самая существенная часть его — первая, удостоилась лестной рекомендации от авторитетного профессора.

Из-за издания моего учебника попал я к Кетчеру, и сношения с ним затянулись на несколько сезонов. Не один год на задней странице обертки сочинений Белинского стояло неизменно:

Печатается: «Руководство к животно-физиологической химии. *Петра Боборыкина*».

Но на деле рукопись «и не думала» печататься, и уже конечно не автор ее был виновник такого обмана публики. Зачем так поступал Кетчер — не знаю; но что я прекрасно знаю и помню — это то, что он затягивал печатание сначала потому, что потребовались рисунки по химико-микроскопическому анализу крови и других животных жидкостей, образцы которых (с одного немецкого издания) я и доставил; а потом он требовал, кажется, окончание моей работы. Вскоре, однако, выяснилось, что рукопись моя *затерялась,* и я после того не мог ее получить ни лично (в проезды Москвой), ни через З — ча.

Жаловаться, затевать историю я не стал, и труд мой, доведенный мною почти до конца второй части — так и погиб «во цвете лет», в таком же возрасте, в каком находился и сам автор. Мне тогда было не больше двадцати двух лет.

У Кетчера я бывал не раз в его домике-особняке с садом, в одной из Мещанских, за Сухаревой башней. Этот дом ему подарили на какую-то годовщину его друзья, главным образом, конечно, Кузьма Терентьевич Солдатенков, которого мне в те годы еще не удалось видеть.

В посмертных очерках и портретах, вошедших в том, изданный тотчас после кончины А. И. Герцена, есть превосходная характеристика Кетчера-друга *, с которым Герцен впоследствии разошелся *, и заочно. Охлаждение произошло со стороны Кетчера, вероятно испугавшегося дальнейшей фазы революционной эволюции своего московского закадыки. Кетчер у Герцена как вылитый, со всеми беспощадными подробностями его интимной жизни, вплоть до связи с простой женщиной, — связи (кажется, впоследствии узаконенной), которая медленно, но радикально изменила весь его душевный облик.

И вот в такой период «перерождения» и зазнал я этого курьезного москвича, званием «штадт-физика» города Москвы, считавшегося еще в публике другом Герцена и Бакунина, Грановского, Огарева и всех радикалов 40-х и 50-х годов.

Такого же точно литературного Собакевича я не знавал, не исключая и М. Е. Салтыкова! Кетчеровский «смех» сделался легендарным. Слово «смех» слишком слабо... Надо было сказать «хохочущее ржание», которое раскатисто гремело после каждой фразы. Он был виртуозный ругатель. Про кого бы вы ни упоминали, особенно из петербургских писателей, он сейчас разражался каким-нибудь эпитетом во вкусе Собакевича. Помню, в один из наших разговоров от него особенно круто досталось Полонскому и Некрасову — одному по части умственных способностей, другому по части личной нравственности, и то и другое по поводу изданий их стихотворений, которые он должен был корректировать, так как их издала фирма «Солдатенков и Щепкин». Вся Москва — десятки лет — знала кетчеровскую огромную голову, и его рот с почернелыми большими зубами, и его топорно сбитую фигуру в вицмундире медицинского чиновника.

Дома он по утрам принимал в кабинете, окнами в сад, заваленном книгами, рукописями и корректурами, с обширной коллекцией трубок на длинных чубуках. Он

курил «жуков» *, беспрестанно зажигал бумажку и закуривал, ходил в затрапезном халате, с раскрытым воротом ночной рубашки не особенной чистоты. Его старая подруга никогда не показывалась, и всякий бы счел его закоренелым холостяком.

Из его приятелей я встретил у него в разные приезды двоих: Сатина, друга Герцена и Огарева и переводчика шекспировских комедий, и Галахова, тогда уже знакомого всем гимназистам составителя хрестоматии *. Сатин смотрел барином 40-х годов, с прической à la moujik, а Галахов — учителем гимназии с сухим петербургским тоном, очень похожим на его педагогические труды.

Трудно мне было и тогда представить себе, что этот московский обыватель с натурой и пошибом Собакевича состоял когда-то душою общества в том кружке, где Герцен провел годы «Былого и дум». И его шекспиромания казалась мне совершенно неподходящей ко всему его бытовому habitus. И то сказать: по тогдашней же прибаутке, он более «перепер», чем «перевел» великого «Вилли» *.

Театр он любил и считал себя самым авторитетным носителем традиций Малого театра; но Малого театра мочаловско-щепкинской эпохи, а не той, которая началась с нарождением новой генерации исполнителей, нашедших в Островском своего автора, то есть Садовских, Васильевых, Косицких, Полтавцевых.

К Островскому Кетчер относился прямо ругательно, как бы не признавал его таланта и того, чем он обновил наш театр. Любимым его прозвищем было: *«Островитяне, папуасы!..»* Этой кличкой он окрестил всех ценителей Островского.

— Папуасы! Ха-ха! Островитяне! Ха-ха! Иерихонцы! Трактирные ярыги!

Вот что звенело в ушах дерптского студиоза — автора злосчастного руководства, когда он шел от Сухаревой башни к тому домику мещанки *Поносовой* (эта фамилия оставалась у меня в памяти десятки лет), где гостил у своего товарища.

Вероятно, Кетчер не мог не сознавать таланта и значения Островского, но ему, кроме *разносной* его натуры и вкоренившейся в него ругательной манеры, мешало

запоздалое уже и тогда крайнее западничество, счеты с славянофилами, обида за европеизм, протест против купеческой «чуйки» и мужицкой «сермяги», которые начали водворяться на сцене и в беллетристике.

Об Аполлоне Григорьеве он выражался так же резко, и термин «трактирные ярыги» относился всего больше к нему.

Случилось мне за эти пять лет провести и зимние праздники в Москве, куда приехал пожить и полечиться и отец мой. Мы жили в тех архимосковских номерах челышевского дома*, которые прошли через столько «аватàров»[1] и кончили в виде миллионного «Метрополя» после грандиозного пожара. Тогда Малый театр снова захватил меня, после впечатлений гимназиста в зиму 1852—1853 года. Щепкин еще играл, и я его видел в «Свадьбе Кречинского» и в переделанной на русские нравы комедии Ожье «Le Gendre de m-r Poirier». Он уже сильно постарел и говорил невнятно от вставной челюсти, которая у него раз и выпала, но это случилось не при мне. Инцидент этот, как я говорю выше, передавал мне позднее в 60-х годах мой сотрудник по «Библиотеке для чтения» Ев. Н. Эдельсон.

Таланты Шумского, Самарина и всех «папуасов» (по номенклатуре Кетчера) — Садовского, Серг. Васильева, его жены Екатерины, Степанова, Косицкой, Колосовой, Бороздиных, Акимовой — были в полном расцвете; а две замечательные старухи — Сабурова и Кавалерова — уже доживали свой сценический век.

Как я расскажу ниже, толчок к написанию моей первой пьесы дала мне не Москва, не спектакль в Малом, а в Александринском театре. Но это был только толчок: Малый театр, конечно, всего более помог тому внутреннему процессу, который в данный момент сказался в позыве к писательству в *драматической* форме.

Поездки в Нижний и в деревню почти в каждую летнюю вакацию вели дальше эту скрытую работу над русской действительностью. И в Нижнем, и в усадьбе отца я входил в жизнь дворянского общества и в крестьянский быт с прибавкой того разнообразного купеческого и мещанского разночинства, которое имел возможность наблюдать на Макарьевской ярмарке.

---

[1] превратностей, перемен (от *франц.* avatar).

Сестра моя вышла замуж в Нижнем за местного дворянина, учившегося в Дерпте как раз в те годы, когда С. Ф. Уваров, приехав из-за границы, поступил в «Рутению» и готовился потом к магистерскому экзамену. Отношение ко мне всех моих нижегородских родных, начиная с матушки, вступило в новую фазу. Время и та самостоятельность, которая развилась во мне в Дерпте, сделали то, что на меня все смотрели уже, как на *личность.* И прежняя разница между тем, как мне жилось в доме деда (где оставалась мать моя), и в тамбовской усадьбе у отца — уже не чувствовалась. Но с отцом все-таки жилось гораздо привольнее, как бы в воздухе товарищества. Мы проводили дни в откровенных беседах, я очень много читал, немного присматривался к хозяйству, лечил крестьян, ездил к соседям, с возрастающим интересом приглядывался и прислушивался ко всему, что давали тогдашняя деревня, помещики и крестьяне.

Запахло освобождением крестьян. Дед мой в Нижнем, еще бодрый старик за восемьдесят лет, ревниво и зорко следил за всем, что делалось по крестьянскому вопросу, разумеется не мирился с такими крутыми, на его аршин, мерами, но не позволял себе вслух никаких резких выходок. Отец не стоял на стороне реформы, как то меньшинство, которое поддерживало ее впоследствии, но особого раздражения не выказывал, не предавался преувеличенным страхам. Впоследствии он довольно долго состоял кандидатом в мировые посредники и не без гордости носил крест в память 19 февраля.

Ежегодные мои поездки «в Россию» в целом и в деталях доставляли обширный материал будущему беллетристу. И жизнь нашего дерптского товарищеского кружка в последние два года питалась уже почти исключительно чисто русскими интересами. Журналы продолжали свое развивающее дело. Они поддерживали во мне сильнее, чем в остальных, уже не одну книжную отвлеченную любознательность, а все возраставшее желание самому испробовать свои силы.

В семействе Дондуковых я нашел за этот последний дерптский период много ласки и поощрения всему, что во мне назревало, как в будущем писателе. Два лета я отчасти или целиком провел в их живописной усадьбе в Опочском уезде Псковской губернии. Там писалась и

вторая моя по счету пьеса «Ребенок»; первая — «Фразеры» — в Дерпте; а «Однодворец» — у отца в усадьбе, в селе Павловском Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

Петербургу принадлежит знаменательная доля впечатлений за последние дерптские годы и до того момента, когда я приступил к первой серьезной литературной вещи.

Довольно свежо сохранился у меня в памяти тот проезд Петербургом, когда выставлялась картина Иванова * «Явление Христа народу». Я попал в воздух горячих споров и толков на Васильевском острову и помню, что молодежь (в том числе мои приятели и новые знакомцы из студентов) стояли за картину Иванова; а в академических кружках на нее сильно нападали. На Васильевском острову зазнал я не мало студентов, принимавших потом участие в волнении 1861 года. Я гостил в квартире братьев того Вл. Бакста, с которым мы в Дерпте перевели первый том физиологии Дондерса. Оба они известны публике: старший — как один из первых передовых издателей, переводчик немецких и английских книг; второй — как профессор физиологии. Позднее, к 60-м годам, к тем же кружкам принадлежал студент Н. Неклюдов, вожак студенческой братии, который начал свою известность с Петропавловской крепости, а кончил должностью товарища министра внутренних дел * и умер в здании «у Цепного моста», превратившись из архикрасного в белоснежного государственника и обличителя крамолы.

Автором пьес я, еще студентом, попал и в тогдашний театрально-писательский мир, и в журнальную среду.

Из тогдашних крупных литераторов зазнал я Дружинина, к которому явился, как к члену Театрально-литературного комитета, куда я представил уже свою комедию «Шила в мешке не утаишь», переименованную потом в «Фразеры». Из-за пьесы вышло знакомство с Я. П. Полонским, жившим в доме Штакеншнейдера. Он заставил меня прочесть мою вещь на вечере у хозяев дома, где я впервые видел П. Л. Лаврова в форме артиллерийского полковника, Шевченко, Бенедиктова, М. Семевского — офицером, а потом, уже летом, Полонский познакомил меня с М. Л. Михайловым, которого

я видал издали еще в Нижнем, где он когда-то служил у своего дяди — заведующего соляным правлением.

Помню и маленький эпизод, о котором рассказывал С. В. Максимову в год его смерти *, когда мы очутились с ним коллегами по академии. Это было в конце лета, когда я возвращался в Дерпт. У Доминика, в ресторане, меня сильно заинтересовал громкий разговор двух господ, в которых я сейчас же заподозрил литераторов. Это были Вас. Курочкин и Максимов.

В последнюю мою поездку в Петербург дерптским студентом я был принят и начальником репертуара П. С. Федоровым, после того как мою комедию «Фразеры» окончательно одобрили в комитете и она находилась в цензуре, где ее и запретили. В судьбе ее повторилась история с моим руководством. Редакция «Русского слова» затеряла рукопись, и молодой автор оказался так безобиден, что не потребовал никакого вознаграждения.

Теперь, в заключение этой главы, я отмечу особенно главнейшие моменты того, как будущий писатель складывался во мне в студенческие годы, проведенные в «Ливонских Афинах», и что поддержало во мне все возраставшее внутреннее влечение к миру художественно воспроизведенной русской жизни, удаляя меня от мира теоретической и прикладной науки.

В корпорации, как я уже говорил, в тот семестр, который я пробыл в ней «фуксом», я в самый горячий период моего увлечения химией для оживления якобы «литературных» очередных вечеров сочинил и прочел с большим успехом юмористический рассказ «Званые блины», написанный в тоне тогдашней сатирической беллетристики.

После того прошло добрых два года, и в этот период я ни разу не приступал к какой-нибудь серьезной «пробе пера». Мысль изменить научной дороге еще не дозрела. Но в эти же годы чтение поэтов, романистов, критиков, особенно тогдашних русских журналов, продолжительные беседы и совместная работа с С. Ф. Уваровым, поездки в Россию в обе столицы, Нижний и деревню — все это поддерживало работу «под порогом сознания», по знаменитой фразе психофизика Фехнера *.

Если б кто продолжал упорно отрицать бессознательную «церебрацию» — на моем примере должен бы

был убедиться в возможности такого именно психического явления.

Я продолжал заниматься наукой, сочинял целый учебник, ходил в лабораторию, последовательно перешел от специальности химика в область биологических наук, перевел с товарищем целый том физиологии Дондерса, усердно посещал лекции медицинского факультета, даже практиковал как «студент-куратор», ходил на роды и дежурил в акушерской клинике.

И в то же время писательская *церебрация* шла своим чередом, и к четвертому курсу я был уже на один вершок от того, чтобы взять десть бумаги, обмакнуть перо и начать писать, охваченный назревшим желанием что-нибудь создать.

В какой форме? Почему первая серьезная вещь, написанная мною, четверокурсником, была пьеса, а не рассказ, не повесть, не поэма, не ряд лирических стихотворений?

Поэтом, и даже просто стихотворцем — я не мечтал быть. В Дерпте я кое-что переводил и написал даже несколько стихотворений, которые моим товарищам очень нравились. Но это не развилось. Серьезно я никогда в это не уходил.

Драматическая форма явилась сразу в виде замысла большой комедии из современных нравов опять-таки как результат бессознательной психической работы.

Наши спектакли в Дерпте, открывшие у меня актерские способности, и все мои русские впечатления делали для меня театр все ближе и ближе.

И вот раз (это было осенью), возвратившись из Петербурга, я стал думать о комедии, где героиней была бы эмансипированная девица, каких я уже видал, хотя больше издали.

Я попал в Александринский театр на бенефис А. И. Шуберт, уже и тогда почти сорокалетней ingénue, поражавшей своей моложавостью. Давали комедию «Капризница» * с главной ролью для бенефициантки. Но не она заставила меня мечтать о моей героине, а тогдашняя актриса на первое амплуа в драме и комедии, Владимирова. Ее эффектная красота, тон, туалеты в роли Далилы в переводной драме Октава Фёлье, взволновали приезжего студента. И между этим спектаклем и замыслом первой моей пьесы — несомненная связь.

Обстановку действия и диалогов доставила мне помещичья жизнь, а характерные моменты я взял из впечатлений того лета, когда тамбовские ополченцы отправлялись на войну. Сдается мне также, что замысел выяснился после прочтения повести Н. Д. Хвощинской «Фразы» *. В первоначальной редакции комедия называлась «Шила в мешке не утаишь»; а заглавие «Фразеры» я поставил уже на рукописи, которую переделал по предложению Театрально-литературного комитета.

Этот прием имел решающее значение. Стало быть, целый комитет считал меня уже молодым писателем, достойным поощрения.

Чем ближе подходил срок окончания курса, тем ближе был я к решению врачом не делаться, а заняться литературой, как профессиональному писателю.

Замысел «Однодворца», написанного в усадьбе отца, был уже совсем *свой,* нисколько не навеянный ни впечатлениями сцены, ни мотивами тогдашней беллетристики, по крайней мере никаким определенным произведением. Комитет принял «Однодворца» сразу; журнал «Библиотека для чтения» поместил его в октябрьской книжке 1860 года. Мое писательское крещение совершилось. Измена химии и медицине уже совсем назрела. Когда «Однодворец» лежал в комитете, а потом в редакции толстого журнала, я в следующее лето уже написал драму «Ребенок». В ней идеализм с оттенком прекраснодушия был навеян тем воздухом, каким я уже более года дышал в семье Д[ондуко]вых. Это было и для меня пробуждение моего лиризма, потребности в любви и нежности, которые слишком долго лежали под спудом в душе студента, ушедшего в мозговую жизнь и в *научную* философию.

Когда я с вакации из усадьбы Д[ондуко]вых вернулся в Дерпт, писатель уже вполне победил химика и медика. Я решил засесть на четыре месяца, написать несколько вещей, с медицинской карьерой проститься, если нужно — держать на кандидата экзамен в Петербурге и начать там жизнь литератора.

И действительно, я написал целых четыре пьесы, из которых три были драмы и одна веселая, сатирическая комедия. Из них драма «Старое зло» * была принята Писемским; а драму «Мать» я напечатал четыре года спустя уже в *своем* журнале «Библиотека для чтения»,

под псевдонимом; а из комедии появилось только первое действие, в виде «сцен», в журнале «Век» * с сохранением первоначального заглавия «Наши знакомцы».

Этот заряд «творчества» (выражаясь высоким термином), хотя самые продукты и не могли быть особенно ценны, показывал несомненно, что бессознательная церебрация находилась в сильнейшем возбуждении. И ее прорвало в виде такой чрезмерной производительности перед оставлением «Ливонских Афин».

После напечатания «Однодворца» я стал считать драматическую литературу моей коренной областью.

О *повествовательной* беллетристике я не думал в двухлетний, уже прямо писательский, период моего студенчества. Будь это иначе — я бы написал повесть или хотя бы два-три рассказа.

После «Званых блинов» я набросал только несколько картинок из жизни казанских студентов (которые вошли впоследствии в казанскую треть романа «В путь-дорогу») и даже читал их у Д[ондуко]вых в первый их приезд в присутствии профессора Розберга, который был очень огорчен низменным уровнем нравов моих бывших казанских товарищей и вспоминал свое время в Москве, когда все они более или менее настраивали себя на идеи, чувства, вкусы и замашки идеалистов. Но Писемский в своих «Людях сороковых годов» изображает тогдашние нравы далеко не в розовом свете; а его эпоха отстояла от студенческих годов профессора всего на какой-нибудь десяток лет.

Эти казанские очерки были набросаны до написания комедий. Потом вплоть до конца 1861 года, когда я приступил прямо к работе над огромным романом — я не написал *ни одной строки* в повествовательном роде.

А беллетристика второй половины 50-х годов очень сильно увлекала меня. Тогда именно я знакомился с новыми вещами Толстого *, накидываясь в журналах и на все, что печатал Тургенев. Тогда даже в корпорации «Рутения» я делал реферат о «Рудине». Такие повести, как «Ася», «Первая любовь», а главное, «Дворянское гнездо» и «Накануне», следовали одна за другой и питали во мне все возраставшее чисто литературное *направление*.

О «Дворянском гнезде» я даже написал небольшую статью для прочтения и в нашем кружке, и в гостиной

Карлова, у Д[ондуко]вых. Настроение этой вещи, мистика Лизы, многое, что отзывалось якобы недостаточным свободомыслием автора, вызывали во мне недовольство. Художественная прелесть повести не так на меня действовала тогда, как замысел и тон и отдельные сцены «Накануне».

Помню, я первый схватил книжку «Русского вестника» *, прибежал домой и читал до трех часов ночи в постели, и потом не мог заснуть до рассвета.

С тех пор я не помню, чтобы какая-нибудь русская или иностранная вещь так захватила меня, даже и в молодые годы.

Почти так же зачитывался я и «Обломовым»; и в нашем кружке, и в знакомых русских домах о нем целую зиму шли оживленные толки.

И все, что тогда печаталось по беллетристике получше и похуже, Григоровича, Писемского, Авдеева, Печерского, Хвощинской, М. Михайлова, а затем Щедрина (о первых его «Губернских очерках» я делал, кажется, доклад в нашем кружке) и начинающих: Ник. Успенского, разных обличительных беллетристов — все это буквально поглощалось мною сейчас же, в первые же дни по получении книжек всех тогдашних больших журналов.

Островский, Потехин, Писемский (как драматург), Сухово-Кобылин, так же питали мой писательский голод, как и беллетристы-повествователи.

И я стал сильно мечтать именно о театре и выливать все, что во мне назревало в этот студенческий период писательства с 1858 по 1860 год включительно, в драматическую форму.

Но в этот же трехлетний период я сделался и публицистом студенческой жизни, летописцем конфликта «Рутении» с немецким *«Комманом»* *. Мои очерки и воззвания разосланы были в другие университеты; составил я и сообщение для архилиберального тогда «Русского вестника». Катков и Леонтьев сочувственно отнеслись к нашей «истории»; но затруднились напечатать мою статью.

Когда в Казани в конце 50-х годов подуло другим ветром и началось что-то вроде волнения *, я, как бывший казанец, написал целое послание, которое отправил моему товарищу по нижегородской гимназии В[ен]скому.

Оно начиналось возгласом: «Товарищи, други и недруги!» с эпиграфом из Вольтера: «La Vérité a des droits imprescriptibles»[1]. И этот эпиграф я взял в «разрывной» по тому времени книжке Бюхнера «Kraft und Stoff»[2*]. В послании к казанцам я проводил параллель между тем, что такое была Казань в мое время, и как можно учиться в Дерпте, причем некоторым кафедрам и профессорам досталось особенно сильно. Это «послание» имело сенсационный успех, разошлось во множестве списков, и я встречал казанцев — двадцать, тридцать лет спустя, — которые его помнили чуть не наизусть.

Мне самому было бы занимательно прочесть его в эту минуту; но я никогда не имел ни одного экземпляра. Я писал прямо набело, как отчетливо помню, на листах почтовой бумаги большого формата, и они составили порядочную тетрадку.

Стало, были опыты и по публицистике; но опять-таки ни одного цельного рассказа, ни плана повести и еще менее — романа!

---

[1] Права истины неоспоримы *(франц.)*.
[2] «Сила и материя» *(нем.)*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ*

Перед переселением в столицу. — Неожиданное наследство. — Мой план зимнего сезона в Петербурге. — Первые впечатления писателя. — Журнал «Библиотека для чтения». — П. А. Плетнев. — П. И. Вейнберг. — М. Л. Михайлов. — А. В. Дружинин. — А. Ф. Писемский. — Театральный мир. — Судьба «Однодворца» и «Ребенка». — Цензура Третьего отделения. — Цензор И. А. Нордштрем. — Первый сюжет русской труппы Ф. А. Снеткова. — И. И. Сосницкий. — Самойлов. — Максимов. — П. Каратыгин и Григорьев. — Леонидов. — Павел Васильев. — Ф. Бурдин. — Дебюты Нильского. — Старые театральные порядки. — Мои сверстники: Н. Потехин и актер-писатель Чернышев. — Русская опера. — Французский театр. — Балет. — Светские знакомства. — На острову. — Студенческий кружок. — Университет. — Н. Неклюдов. — Жизнь писателей. — Манифест 19-го февраля. — В аудиториях. — Прерванный экзамен. — Отъезд

Писательское настроение возобладало во мне окончательно в последние месяцы житья в Дерпте, особенно после появления в печати «Однодворца», и мой план с осени 1860 года был быстро составлен: на лекаря или прямо на доктора не держать, дожить до конца 1860 года в Дерпте и написать несколько беллетристических вещей.

Тогда драматическая форма владела всецело мною. Я задумал и выполнил в каких-нибудь три месяца целых четыре пьесы: одну юмористическую комедию, одну бытовую пьесу с драматическим оттенком и две драмы.

Из легкой комедии «Наши знакомцы» только один первый акт был напечатан в журнале «Век»; другая вещь — «Старое зло» — целиком в «Библиотеке для чтения», дана потом в Москве в Малом театре, в несколько измененном виде и под другим заглавием: «Большие хоромы»; одна драма так и осталась в рукописи —

«Доезжачий», а другую под псевдонимом я напечатал, уже будучи редактором «Библиотеки для чтения», под заглавием «Мать».

Такая производительность кажется мне теперь просто фантастической. Молодость творит чудеса. Разумеется, эти пьесы, написанные в каких-нибудь три месяца, не были «перлами создания». Но для всех этих пьес у меня оказался все-таки *реальный* матерьял, накопившийся незаметно еще в студенческие годы.

Помню и более житейский мотив такой усиленной писательской работы. Я решил бесповоротно быть профессиональным литератором. О службе я не думал, а хотел приобрести в Петербурге кандидатскую степень и устроить свою жизнь — на первых же порах не надеясь ни на что, кроме своих сил. Это было довольно-таки самонадеянно; но я *верил* в то, что напечатаю и поставлю на сцену все пьесы, какие напишу в Дерпте, до переезда в Петербург.

Собственных обеспеченных средств у меня тогда не было. То, что я получал от отца, не превышало сносной студенческой субсидии. Первый гонорар из «Библиотеки для чтения» за «Однодворца» по пятидесяти рублей за лист составлял весьма скромную цифру.

Но надежда окрыляла. «Однодворец» был уже сразу одобрен к представлению на императорских сценах и находился в театральной цензуре. Также *могли* быть одобрены и те четыре вещи, которые я так стремительно написал.

Подо всем этим были еще и другие соображения и мечты.

Мое юношеское любовное увлечение оставалось в неопределенном status quo. Ему сочувствовала мать той еще очень молодой девушки; но от отца все скрывали. Семейство это уехало за границу. Мы нередко переписывались с согласия матери; но ничто еще не было выяснено. Два-три года мне нужно было иметь перед собою, чтобы стать на ноги, найти заработок и какое-нибудь «положение». Даже и тогда дело не обошлось бы без борьбы с отцом этой девушки, которой тогда шел всего еще шестнадцатый год.

Словом, я сжег свои корабли «бывшего» химика и студента медицины, не чувствуя призвания быть практическим врачом или готовиться к научной медицинской

карьере. И перед самым новым 1861 годом я переехал в Петербург, изготовив себе в Дерпте и гардероб «штатского» молодого человека. На все это у меня хватило средств. Жить я уже сладился с одним приятелем и выехал к нему на квартиру, где мы и прожили весь зимний сезон.

И только что я водворился там, как получил депешу из Нижнего: дед мой по матери, П. Б. Григорьев, престарелый генерал павловских времен, умер, оставив мне по завещанию *прямо* (помимо того, что получала моя мать) два имения в черноземной полосе Нижегородской губернии.

Я сразу делался довольно состоятельным землевладельцем Лукояновского уезда Нижегородской губернии, где значилось, по тогдашнему выражению, сто с чем-то «душ» вскоре уже «временнообязанных» крестьян.

Для меня это была совершенная неожиданность. Дед, когда я приезжал в Нижний на вакации, был ко мне благосклонен; но ласков он не бывал ни с кем, и не только в разговорах со мною, но и с взрослыми своими детьми никогда не намекал даже на то, как он распорядится своим состоянием, сплошь благоприобретенным.

И вот я еще при жизни отца и матери — состоятельный человек. Выходило нечто прямо благоприятное не только в том смысле, что можно будет остаться навсегда свободным писателем, но и для осуществления мечты о браке по любви.

Но эта спавшая сверху благодать не изменила ни на йоту моих ближайших планов. Я не кинулся сейчас же в Нижний получать наследство, а оставил это до летних месяцев, когда сдам экзамен на кандидата.

И это ободрило меня больше всего, *как писателя* — прямое доказательство того, что для меня и тогда уже дороже всего была свободная профессия. Ни о какой другой карьере я не мечтал, уезжая из Дерпта, не стал мечтать о ней и теперь, после депеши о наследстве. А мог бы по получении его, приобретя университетский диплом, поступить на службу по какому угодно ведомству и, по всей вероятности, сделать более или менее блестящую карьеру.

Но я этим ни на минуту не прельстился и тотчас же попросил у матушки и тетки (как сонаследниц моих)

освободить меня от хозяйственных дел до июня, когда я предполагал уже сдать экзамен.

Мне предстояли в Петербурге два ближайших дела: 1) Сдать экзамен. 2) Сделаться профессиональным писателем.

Насчет экзамена я приехал уже с готовым планом.

Конечно, я мог бы остаться и без всякого диплома. Но мне делалось как-то жутко и как бы совестно перед самим собою, — как же это я, после семилетнего пребывания в двух университетах (Казани и Дерпте), после того как сравнительно с своими сверстниками отличался интересом к серьезным занятиям (для чего и перешел в Дерпт), после того как изучал специально химию, переводил научные сочинения и даже составлял *сам* учебник, а на медицинский факультет перешел из чистой любознательности, и вдруг останусь «не кончившим курса», без всякого звания и всяких «прав»?

Сюда входил также и мотив моих брачных планов. Слишком уже я представлял бы из себя незначительную величину в глазах отца девушки, о которой продолжал мечтать.

Да и для *литератора* было бы в собственных же глазах неловко: не иметь диплома высшего учебного заведения, хотя я и не рассчитывал ни на какие права и преимущества по службе.

И тут мне пригодилось то, что я был в Казани *камералистом*. Я знал, что в тогдашнем Петербургском университете на юридическом факультете существует так называемый «разряд административных наук», то есть такое же камеральное отделение, только без естественных наук и технологии, которые я слушал в Казани. Это был как бы *подфакультет политических наук*, где слушались все юридические предметы, кроме церковного и римского права, судебной медицины, уголовного и гражданского *судопроизводства*.

Наезжая в Петербург еще дерптским студентом, я завязал знакомство и с тамошним студенчеством, главным образом через братьев Бакст, у которых один раз зимой и гостил на Васильевском острову. И я был au courant[1] многого, что делалось в университете, где тогда веяло уже новым духом, допущены были женщины, шло

[1] в курсе (*франц.*).

сильное *движение,* которое и разыгралось «событием» в сентябре 1861 года, когда университет был закрыт на целый год *. Как раз в эту полосу я и попал; но на сдачу экзамена я посмотрел только как на завершение моих студенческих экскурсий в течение многих лет и приобретение диплома. Я решил поступить в вольнослушатели на второе полугодие 1860—1861 года. И надеялся употребить эти месяцы до мая включительно на усиленное чтение лекций и учебников; а экзамен сдать вместе с четверокурсниками отделения «административных наук». Из Дерпта я привез — кажется, единственное — рекомендательное письмо к тогдашнему ректору, П. А. Плетневу, от профессора русской словесности Розберга. О Плетневе я, конечно, имел понятие, как о друге Пушкина и когда-то издателе «Современника». Я явился к нему, однако, не как будущий «вольный слушатель» — это для меня не составляло никакой важной статьи, — а как начинающий *литератор.*

Случилось так, что вторая жена Петра Александровича была в ближайшем родстве с одной из моих теток, свояченицей отца, А. Д. Боборыкиной. Тетка мне часто говорила о ней, называя уменьшительным именем «Сашенька».

И когда я сидел у Плетнева в его кабинете — она вошла туда и, узнав, кто я, стала вспоминать о нашей общей родственнице и потом сейчас же начала говорить мне очень любезные вещи по поводу моей драмы «Ребенок», только что напечатанной в январской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 год. Они с мужем прочли накануне «Ребенка», а после жены и муж стал в унисон с женою хвалить мою драму. Выходило так, что рекомендательное письмо дерптского профессора пришлось как нельзя более кстати. В нем говорилось о молодом *писателе.*

Плетнев тогда был уже пожилой человек, еще бодрый на вид, хорошего роста, с проседью, с выбритым лицом, держался довольно прямо, с ласковым выражением глаз; смотрел больше добрым приятелем, чем университетским сановником — в своем синем вицмундире со звездою. Он только что пришел с какого-то заседания и попросил позволения снять вицмундир и надеть домашний сюртучок. Все в нем отзывалось другой эпохой, вплоть до покроя коротких — только по щиколку —

панталон и обуви на тонких подошвах, какую носил и мой дед. В литературные кружки он меня не обращал и не расспрашивал, с кем из петербургских литераторов я уже знаком. Как и оказалось потом, он стоял тогда уже совсем в стороне от литературного движения. К ректору у меня не было никакого дела, требующего особой рекомендации. Я по тогдашним правилам мог свободно поступить в вольные слушатели на второй семестр, внеся плату — что-то вроде двадцати пяти рублей. Эта цифра почему-то осталась у меня в памяти.

Самый университет не настолько меня интересовал, чтобы я вошел сразу же в его жизнь. Мне было не до слушания лекций! Я смотрел уже на себя, как на литератора, которому надо — между прочим — выдержать на кандидата «административных наук».

Тянули меня к себе два мира: журналы и театр.

Первое ощущение того, что я уже писатель, что меня печатают и читают в Петербурге, — испытал я в конторе «Библиотеки для чтения», помещавшейся в книжном магазине ее же издателя, В. П. Печаткина, на Невском в доме Армянской церкви, где теперь тоже какой-то, но не книжный магазин.

Я пришел получить гонорар за «Ребенка». Уже то, что пьесу эту поместили на первом месте и в первой книжке, показывало, что журнал дорожит мною. И гонорар мне также прибавили за эту, по счету вторую вещь, которую я печатал, стало быть, всего в каких-нибудь три месяца, с октября 1860 года.

В магазине я нашел и хозяина, самого Печаткина — личность, которая — увы! — сыграла довольно-таки печальную роль в моих испытаниях литературного деятеля — о чем расскажу дальше.

Это был один из членов обширной семьи местных купцов. Отец его — кажется, еще державшийся старообрядчества — был в делах с известным когда-то книгопродавцем и издателем Ольхиным, как бумажный фабрикант, а к Ольхину — если не ошибаюсь — перешли дела Смирдина * и собственность «Библиотеки для чтения», основанной когда-то домом Смирдина, под редакцией Сенковского — «барона Брамбеуса».

И вот одному из сыновей — Вячеславу — старик отдал книжное дело вместе с журналом, а до того держал его по горной промышленности. Мне об этом рассказы-

вал сам издатель «Библиотеки для чтения», когда мы вступили в переговоры по покупке у него журнала в начале 1863 года. Тогда такие издатели журналов были еще в редкость. Теперь их сколько хотите, то есть промышленники купеческого звания, не имеющие ничего общего с литературой. К чести Печаткина надо сказать, он сам сознавал, что совсем не в своей роли, которая была ему навязана волей его родителя. Он считал себя «горным инженером», хотя специальной подготовки не имел; но был грамотный человек, вероятно учившийся в какой-нибудь коммерческой школе. По типу он не отзывался купеческим бытом, смотрел петербургским деловым человеком, очень старательно одевался, брил бороду, имел тон культурного человека, в разговоре чуть-чуть заикался, держал себя солидно, чопорно, никакого запанибратства с сотрудниками и с клиентами магазина не позволял себе.

Зато его главный приказчик в магазине, с наружностью щедринского поручика Живновского*, как я его прозвал, был известен в литературном мире как самый неутомимый рассказчик и краснобай, одержимый страстью сообщения всяких новостей, слухов и анекдотов.

Я знавал его не один год; и никогда не был уверен — какая у него фамилия. Даже и в имени и отчестве его не был тверд, но, кажется, его звали Николай Павлович. Известно было, что он подвержен «запою», но в магазине я не видал его в скандальном образе; зато почти всегда очень возбужденным и неистощимым на болтовню. Он ходил обыкновенно за прилавком — от конторки до двери в узкую комнатку магазина (где потом была, кажется, меняльная лавочка) — и, размахивая руками, все говорил, представляя многое в лицах. Знал он всю пишущую братию, начиная с самых крупных писателей того времени. И по своему роду занятий имел постоянно дело с персоналом нескольких редакций.

У магазина не было особенно бойкой розничной торговли; но, кроме «Библиотеки для чтения», тут была контора «Искры» и нового еженедельника «Век», только что пошедшего в ход с января 1861 года, и сразу очень бойко, под главным редакторством П. И. Вейнберга, перед тем постоянного сотрудника «Библиотеки» при Дружинине и Писемском. О Вейнберге я узнал тогда

же от этого приказчика, что называется, «всю подноготную». Он же мне сообщил и его адрес. А я уже слышал от своей родственницы, его знакомой по Тамбову, что П. И. справлялся обо мне у ней и очень желал бы пригласить меня в сотрудники.

С этого литературного знакомства я и начну здесь мои воспоминания о писательском мире Петербурга в 60-х годах до моего редакторства и во время его, то есть до 1865 года.

П. И. шел именно тогда, что называется, «полным ходом». Затеянный им еженедельник пошел также с небывалым успехом; подписка в начале года поднялась, кажется, до шести тысяч, что по тем временам была цифра необычайная.

Я явился к нему, предупрежденный, как сейчас сказал, о его желании иметь меня в числе своих сотрудников. Жил он и принимал, как редактор, в одном из переулков Стремянной, чуть ли не в том же доме, где и Дружинин, к которому я являлся еще студентом. Помню, что квартира П. И. была в верхнем этаже.

Встретил он меня особенно любезно и повторил то, что я уже слышал от моей тетки — барыни, получившей тогда как раз очень большое наследство и переехавшей из Тамбова, где ее муж служил.

Кто знаком с теперешней наружностью моего собрата — с его обликом «Нестора» петербургского писательского мира, — вряд ли мог бы составить себе понятие о тогдашнем его внешнем виде.

Он был резкий брюнет, с бородкой, уже с редеющей шевелюрой на лбу и более закругленными чертами лица, но с тем же тоном и манерами. Дома он носил длинный рабочий сюртук — род шлафрока, принимал в первой, довольно просторной комнате, служившей редакторским кабинетом. В «Веке» появился разбор моего «Ребенка», написанный самим редактором, — очень для меня лестный. Оценка эта исходила от такого серьезного любителя и знатока сценического дела. Он раньше, в Петербурге же, играл Хлестакова в том знаменитом спектакле, когда был поставлен «Ревизор» в пользу «Фонда» и где Писемский (также хороший актер) исполнял городничего, а все литературные «имена» выступали в немых лицах купцов, в том числе и Тургенев.

Вейнберга я в эту зиму 1860—1861 года (или в следующую) видел актером всего один раз, в пьесе «Слово и дело» на любительском спектакле, в какой-то частной театральной зале.

Автор этой комедии «с направлением», имевшей большой успех и в Петербурге и в Москве на казенных театрах (других тогда и не было), приводился потом Вейнбергу свояком, женатым на сестре его жены. Это был сын историка Устрялова, впоследствии издатель газеты, кончивший совершенным разорением и нищетой. П. И. играл в его комедии роль резонера пьесы. У него были на казенных сценах такие конкуренты, как Самойлов и Шумский. Мне тогда показалось, что роль была не совсем в темпераменте исполнителя. Он держался на сцене свободно, «читал» умно и значительно; но типа не создал. С Вейнбергом у меня сразу установились хорошие отношения. Я ему написал какие-то сцены; а раньше у него появился и первый акт моих «Знакомцев». На следующую зиму положение «Века» значительно покачнулось после истории с громовой газетной статьей М. Л. Михайлова «Безобразный поступок «Века» *.

Сам П. И. как-то в «Союзе писателей» *, уже в начале XX века, счел не лишним сделать — хоть и задним числом — сообщение *pro domo sua*[1], где он старался показать, до какой степени была преувеличена его *вина* перед тогдашним освободительным настроением литературных сфер. Некоторые из наших общих приятелей находили, что П. И. напрасно потревожил эту старину. Не следовало — на их оценку — оправдываться.

Я не хочу решать — кто прав, кто не прав в этом вопросе; я постараюсь только восстановить здесь «из запаса памяти» то, как разыгралась, в общих чертах, вся эта история *тогда*.

Она свелась, в сущности, к обличению со стороны Михайлова и не вызвала никакой громкой *коллективной* манифестации. Я не помню, чтобы *вся* тогдашняя либеральная пресса (в журналах и газетах) встала «как один человек» против фельетониста журнала «Век» с его псевдонимом *Камень Виногоров* (русский перевод имени и фамилии автора) и чтобы его личное положение сделалось тогда невыносимым. Даже «Искра», игравшая

---

[1] в свою защиту *(лат.)*.

в Петербурге как бы роль «Колокола», ограничилась юмористическим стихотворением редактора В. Курочкина, написанным в размере пушкинских «Египетских ночей», которые г-жа Толмачева и читала где-то в Вятке или в Перми.

Помню до сих пор начало этих куплетов:

Чертог сиял, стихи звучали,
И проза мерная лилась,
Все восхищались, все зевали...

И в той же «Искре» явился карикатурный рисунок, где Вейнберга в одежде кающегося грешника ведет на веревке Михайлов.

О М. Л. Михайлове я должен забежать вперед, еще к годам моего отрочества в Нижнем. Он жил там одно время у своего дяди, начальника соляного правления, и уже печатался; но я, гимназистом, видел его только издали, привлеченный его необычайно некрасивой наружностью. Кажется, я еще и не смотрел на него тогда как на настоящего писателя, и его беллетристические вещи (начиная с рассказа «Кружевница» и продолжая романом «Перелетные птицы») читал уже в студенческие годы.

В первый раз я с ним говорил у Я. П. Полонского, когда являлся к тому, еще дерптским студентом, автором первой моей комедии «Фразеры». Когда я сказал ему у Полонского, что видал его когда-то в Нижнем, то Я. П. спросил с юмором:

— Вероятно, в каком-нибудь неприличном месте?

И я вспомнил тогда, что Михайлова считали автором скабрезных куплетов на Нижегородскую ярмарку, где есть слобода Кунавино.

Ах, где та слобода,
Где живут без труда?
и т. д.

Про него же в Нижнем и Казани распевали куплеты:

Михайлов-пиита
Тянет все клико,
Не терпит лафита —
Ибо не крепко.

После знакомства с Вейнбергом я столкнулся с Михайловым у Писемского вскоре после приезда моего

в Петербург. Он, уходя, жаловался Писемскому на то, что у него совсем нет охоты писать беллетристику.

— А ведь я был романист! — вскричал он.

— Заучились, батюшка, заучились... вот и растеряли талант! — пожурил его Писемский.

В эти годы Михайлов уже отдавался публицистике в целом ряде статей на разные «гражданские» темы в «Современнике» и из-за границы, где долго жил, вернулся очень «красным» (как говорили тогда), что и сказалось в его дальнейшей судьбе.

Сколько я мог тогда заметить, как новичок писатель в Петербурге, из-за «безобразного поступка «Века» не вышло, повторяю, никакого поднятия мыслей; «Век» продолжал выходить, и ни один из соредакторов Вейнберга — ни Дружинин, ни Безобразов, ни Кавелин — не покинули журнала, продолжали в нем участвовать.

Это сказалось только на подписке следующего года, которая вдруг сильнейшим образом упала. Но я не думаю, чтобы это вызвано было *только* историей с госпожой Толмачевой. Вообще журнал издавался неисправно, и сам П. И. впоследствии горько жаловался мне на то, *как* вели дело его пайщики-соредакторы.

Вся зима и лето прошли для издателя «Века» пестро и шумно; он был уже женихом, когда я с ним познакомился, и праздновал свою свадьбу летом на даче. Мне пришлось даже танцевать там и с его женой, и с свояченицей.

Судьбе угодно было столкнуть меня и с той провинциальной львицей, над которой посмеялся Вейнберг в своем фельетоне и прозой, и припевом:

Как ваше слово
Живо, ново,
Мадам Толмачева!

Я ехал с ней на пароходе по Волге и был заинтересован ее видом, туалетом и манерой держать себя. Эта дама как нельзя больше подходила к той фигуре эмансипированной чтицы, какая явилась в злополучном фельетоне *Камня Виногорова,* хотя, кажется, П. И. никогда и нигде не видал ее в лицо.

С П. И. мы одинаково — он раньше несколькими годами — попали сразу по приезде в Петербург в сотрудники «Библиотеки для чтения». Там он при Дружинине

и Писемском* действовал по разным отделам, был переводчиком романов и составителем всяких статей, писал до десяти и больше печатных листов в месяц.

С дружининского кружка начались и его литературные знакомства и связи. Он до глубокой старости любил возвращаться к тому времени и рассказывать про «журфиксы» у Дружинина, где он познакомился со всем цветом тогдашнего писательского мира: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Некрасовым, Боткиным и др.

Он — также провинциал, как и я — испытывал вполне «благоговейное» чувство к этому синклиту. И беседы за ужином (где подавались неизменно котлеты с горошком) были для него в высшей степени интересными и развивающими.

Сколько раз он повторял до последних годов, что на *такие* писательские ужины он уже потом не попадал, потому что их и не бывало. Это были действительно *сливки* тогдашней литературы.

Но дружининский кружок — за исключением Некрасова — уже и в конце 50-х годов оказался не в том лагере, к которому принадлежали сотрудники «Современника» и позднее «Русского слова». Мой старший собрат и по этой части очутился почти в таком же положении, как и я. Место, где начинаешь писать, имеет не малое значение, в чем я горьким опытом и убедился впоследствии.

В зиму 1860—1861 года дружининские «журфиксы», сколько помню, уже прекратились. Когда я к нему явился — кажется, за письмом в редакцию «Русского вестника», куда повез одну из своих пьес, — он вел уже очень тихую и уединенную жизнь холостяка, жившего с матерью, кажется, все в той же квартире, где происходили и ужины.

Он умер еще совсем не старым человеком (сорока лет с чем-то), но смотрел старше, с утомленным лицом. Он и дома прикрывал ноги пледом, «полулежа» в своем обширном кабинете, где читал почти исключительно английские книжки, о которых писал этюды для Каткова, *тогдашнего* Каткова, либерала и англомана.

Но больным Дружинина нельзя еще было назвать. Хорошего роста, не худой в корпусе, он и дома одевался очень старательно. Его портреты из той эпохи доста-

точно известны. Несмотря на усики и эспаньолку (по тогдашней моде), он не смахивал на отставного военного, каким был в действительности, как отставной гвардейский офицер.

Говорил он довольно слабым голосом, шепеляво, медленно, с характерными барскими интонациями. Вообще же, всем своим habitus[1], похож был скорее на светского, образованного петербургского чиновника из бар, чем на профессионального литератора.

Таких литераторов уже нет теперь — по тону и внешнему виду, как и вся та компания, какая собиралась у автора «Поленьки Сакс», «Записок Ивана Чернокнижникова» и «Писем иногороднего подписчика».

К 1861 году Дружинин, как и Тургенев, перестал быть сотрудником «Современника» *. Не знаю, разошелся ли он лично с Некрасовым к тому времени (как вышло это у Тургенева), но по *направлению* он, сделавшись редактором «Библиотеки для чтения» (которую он оживил, но материально не особенно поднял), стал одним из главарей *эстетической* школы, противником того утилитаризма и тенденциозности, какие он усматривал в новом руководящем персонале «Современника» — в Чернышевском и его школе, в Добролюбове с его «Свистком» и в том обличительном тоне, которым эта школа приобрела огромную популярность в молодой публике.

Если Тургеневу принадлежит фраза о Чернышевском и Добролюбове: * «Один — простая змея, а другой — змея очковая», то Дружинин по своему тогдашнему настроению мог быть также ее автором. Он и в всемирной литературе не признавал, например, Гейне, потому что поэт, по его убеждению, не должен так уходить в «злобы дня» и пускать в ход сарказм и издевательство. Как критик, он уже сказал тогда свое слово и до смерти почти что не писал статей по текущей русской литературе. В «Веке» он продолжал тогда свои юмористические фельетоны, утратившие и ту соль, какая значилась когда-то в его «Записках Чернокнижникова».

Студентом в Дерпте, усердно читая все журналы, я знаком был со всем, что Дружинин написал выдающегося по литературной критике. Он до сих пор, по-моему, не оценен еще как следует. В эти годы перед самой

[1] внешним видом *(лат.)*.

эпохой реформ Дружинин был самый выдающийся критик *художественной* беллетристики, с определенным эстетическим *credo.* И все его ближайшие собраты — Тургенев, Григорович, Боткин, Анненков — держались почти такого же credo. Этого отрицать нельзя.

Позднее, когда я ближе познакомился с Григоровичем (в 1861 году я только изредка видал его, но близко знаком не был), я от него слыхал бесконечные рассказы о тех «афинских вечерах», которые «заказывал» Дружинин.

Затрудняюсь передать здесь — со слов этого свидетеля и участника тех эротических оргий — подробности, например, *елки,* устроенной Дружининым под Новый год... в «семейных банях».

Григорович известен был за краснобая, и кое-что из его свидетельских показаний надо было подвергать «очистительной» критике; но не мог же он все выдумывать?! И от П. И. В. (оставшегося до поздней старости целомудренным в разговоре) я знал, что Дружинин был *эротоман* и проделывал даже у себя в кабинете разные «опыты» — такие, что я затрудняюсь объяснить здесь, в чем они состояли.

Я узнал обо всем этом позднее; но, когда являлся к нему и студентом, и уже профессиональным писателем,— никак бы не мог подумать, что этот высокоприличный русский джентльмен с такой чопорной манерой держать себя и холодноватым тоном мог быть героем даже и не похождений только, а разных эротических затей.

Вообще, надо сказать правду (и ничего обсахаривать и прикрашивать я не намерен): та компания, что собиралась у Дружинина, то есть самые выдающиеся литераторы 50-х и 60-х годов, имели старинную барскую наклонность к скабрезным анекдотам, стихам, рассказам.

Этим страдал прежде всего и сам откровенный рассказчик всяких интимностей о своих собратах — Григорович. Не чужд был этого, особенно в те годы, и Некрасов, автор целой поэмы (написанной, кажется, в сотрудничестве с М. Лонгиновым *) из нравов монастырской братии. Отличался этим и Боткин. И Тургенев до старости не прочь был рассказать скабрезную историю, и я прекрасно помню, как уже в 1878 году во время Международного конгресса литераторов в Париже он нас, более молодых русских (в том числе и М. М. Ковалевского, бывшего тут), удивил за завтраком в ресторане и по

этой части. Я его перед тем знал лично уже около пятнадцати лет (с 1864 года) и не предполагал, чтобы он был в состоянии услаждать себя *такими* вещами.

В этом сказывается эпоха, известная генерация, пережиток нравов.

Все они могли иметь честные идеи, изящные вкусы, здравые понятия, симпатичные стремления; но они все были продукты старого *быта,* с привычкой мужчин их эпохи — и помещиков, и военных, и сановников, и чиновников, и артистов, и даже профессоров к «скоромным» речам. У французских писателей до сих пор — как только дойдут до десерта и ликеров — сейчас начнутся разговоры о женщинах и пойдут эротические и прямо «похабные» словца и анекдоты.

Все это мог бы подтвердить прежде всего сам П. И. Вейнберг. Он был уже человек другого поколения и другого бытового склада, по летам как бы мой старший брат (между нами всего шесть лет разницы), и он сам служит резким контрастом с таким барским эротизмом и наклонностью к скоромным разговорам. А ему судьба как раз и приготовила работу в журнале, где сначала редактором был такой эротоман, как Дружинин, а потом такой «Иона Циник», как его преемник Писемский.

К нему я теперь и перейду. Он был ведь главным объектом моих писательских планов и соображений. До переезда в Петербург я лично с ним не сносился. «Однодворца» снес к нему мой товарищ, музыкант М. Балакирев. Пьесу напечатали, мне прислали гонорар еще в Дерпт, и я не помню, чтобы между мной и Писемским установилась переписка. Я послал в редакцию «Ребенка», который тотчас же был принят. До того я, попадая в Петербург, вряд ли где видел Алексея Феофилактовича (или *Филатовича,* как его иные звали, особенно москвичи); но как писательская личность он был мне уже хорошо известен. Я с гимназических годов читал все, что он печатал, начиная с «Москвитянина». Особенно живо сохранились у меня в памяти эпизоды его сатирической повести из московской жизни 40-х годов «Брак по страсти». И потом, вплоть до «Тысячи душ», я читал его очень усердно. Его пьеса «Горькая судьбина», напечатанная уже в «Библиотеке для чтения» (и получившая Уваровскую премию вместе с «Грозой» Островского),

захватила меня в своем роде так же сильно, как когда-то «Банкрут» Островского. И все, что он раньше печатал в «Современнике» и «Библиотеке», вызывало не в одном мне из молодых читателей живейший интерес. Тогда, до начала 60-х годов, Писемский считался, несомненно, *либеральным* беллетристом, с заветами Гоголя, изобразителем всех темных сторон «николаевщины». И по своим журнальным связям он принадлежал к либеральному кружку «Современника». Некрасов дорожил его сотрудничеством, и работа в его журнале, дававшая хороший гонорар, побудила всего сильнее Писемского оставить службу в провинции и переселиться в Петербург, как профессиональному литератору, *до* редакторства в «Библиотеке». Та же самая тетушка, которая послужила trait d'union[1] между мною и Вейнбергом, оказалась в родстве с женой Алексея Феофилактовича, урожденной Свиньиной, дочерью того литератора 20-х годов, который впервые стал издавать «Отечественные записки» *. И тут у меня вышло дальнее «свойство» с женой, как и у П. А. Плетнева. Писемский квартировал в те годы до самого своего переселения в Москву в том длинном трехэтажном доме (тогда Куканова), что стоит на Садовой против Юсупова сада, не доходя до Екатерингофского проспекта. Дом этот по внешнему виду совсем не изменился за целых с лишком сорок лет, и я его видел в один из последних моих приездов, в октябре 1906 года, таким же; только лавки и магазины нижнего жилья стали пофрантоватее.

Тогда, в начале 60-х годов, по соседству с ним на углу Екатерингофского проспекта помещалась *управа благочиния,* одно имя которой пахло еще николаевскими порядками. При ней значился и адресный стол.

Квартиру Писемский нанимал во втором этаже, по парадной лестнице, без швейцара, довольно обширную. Через просторную залу вы проходили налево, в его светлый кабинет с двумя окнами на улицу. Отделка этой комнаты стоит передо мной, как живая, точно я смотрю на ее изображение в стереоскоп. Прямо против двери у стены кресло перед письменным столом, где всегда принимал хозяин. Направо и налево висят литографии в натуральную величину, Беранже и Жорж Занд, в рам-

---

[1] Здесь: связующей нитью *(франц.)*.

ках. Они висели у него и в Москве, когда он жил в одном из своих домов, где я у него бывал. Слева — книжный шкаф, и в углу между шкафом и большим турецким диваном висела шуба, а под шубой — ночной сосуд. Эта житейская подробность как нельзя больше характерна для личности Писемского. «Жизнебоязненность» и помещичьи привычки! Шубу он держал, боясь, что у него ее украдут из передней, а «фиал гнева» (как называл один мой приятель в Дерпте) потому, что лень было удаляться из кабинета за естественной надобностью. Левую от двери стену занимал клеенчатый диван.

Позднее я часто заставал Писемского совершенно по-домашнему, то есть в халате, в ночной рубашке и непременно с обнаженной чуть не до пояса жирной и мохнатой грудью. В таком виде он писал по целым дням и вообще не имел привычки с утра одеваться. Но тут я его застал — это было уже не рано — одетым в светло-серый костюм из мохнатой материи, хорошо сшитый. Наружность его была мне уже знакома по литографированному портрету из коллекции Мюнстера *, появившемуся в продаже незадолго до того. Позднейшие портреты (например, знаменитый портрет работы Перова в Третьяковской галерее) дают уже слишком растрепанного и дикого Писемского. В Москве он стал бриться, когда поступил опять на службу в губернское правление. Превосходный портрет Репина — из последних годов его московской жизни — изображает уже человека обрюзгшего, с видом почти клинического субъекта и в том «развращенном» виде, в каком он сидел дома и даже по вечерам принимал гостей в Москве.

Тогда же, в январе 1861 года, он был мужчина еще молодой, с интересной некрасивостью, плотный, но не ожирелый. Темные глаза с блеском, несколько курчавые волосы, бородка. Пальцы толстые и тогда уже были выпачканы в чернилах. Профессиональным писателем он не смотрел, а скорее помещиком; но и чиновничьего не было в нем ничего, сразу бросавшегося в глаза, ни в наружности, ни в манерах, ни в тоне, хотя он до переезда в Петербург все время состоял на службе в провинции, в Костроме. Костромского можно было в нем распознать сразу — по говору. По этой части он был человек чисто «бытовой», хотя и дворянского рода, помещик и сын помещиков. Но местный говор удержался в нем сильнее,

чем в других костромских из образованного класса, например в его младшем сверстнике, покойном Максимове, в его ближайшем земляке Алексее Потехине и его братьях.

Как уроженец Нижнего, я с детства наслушался тамошнего народного говора на «он» и в городе, от дворовых, мещан, купцов, и в деревне от мужиков. Но нижегородский говор отличается от костромского. Когда к нам в дом летом приходили работники костромские (плотники из Галичского уезда, почему народ, в том числе и наши дворовые, всегда звали их «галки»), я прислушивался к их говору и любил болтать с ними.

Писемский был родом из Кинешемского уезда, но у него сохранился говор «галок». Это звучит не особенно резко на «он», а сказывается больше в известного рода певучести и в растяжении и усечении гласных. Окончания глаголов: «глотает», «начинает» и т. д. он произносит, как *аат,* а фамилию Плещеева — *Плещээв* с открытым «э». Словом, никто уже в писательском мире — и тогда, и позднее, за целых сорок лет — не имел такого «акцента», как Писемский, и только в последние годы Максим Горький не освободился от своего говора на «он», совершенно в таком роде, как говорят у нас в Нижнем мастеровые, мещане, мелкие лавочники, семинаристы.

Сопоставление этих писателей двух эпох, сохранивших народный говор, будет тут совершенно кстати, для характеристики Писемского. В авторе «На дне» чувствуется нижегородский обыватель простого звания, прямо из мира босяков и скитальцев попавший в всесветные знаменитости, без той выправки, какую дает принадлежность к высшему сословию, средняя школа, университет. И в Писемском вы видели нечто в таком же роде на почве личных и отчасти бытовых особенностей. Но он был провинциальное, помещичье чадо, хватившее потом и жизни *Москвы,* где он учился в университете, типичный представитель дворянско-чиновничьего класса 50-х годов. *Разночинцем* в особенном смысле от него не пахло. Это был, при всех своих слабостях и чувственном характере, человек «умственный», природно *чрезвычайно умный* и острый, иногда с циническим оттенком. Но тут надо различать две половины Писемского или, лучше, два его состояния: трезвое и возбу-

жденное. Он был склонен к возлияниям, хотя тогда еще вовсе не форменный алкоголик; по рассказам тех, кто знал его кутежи, бывал способен на самые беспардонные проявления своего кутильно-эротического темперамента — и в России (в особенности в Петербурге, по водворении туда), и за границей, в Париже. П. И. Вейнберг сохранил в своей памяти гомерические эпизоды, когда ему приходилось ездить за Писемским в такие места, где он предавался вакханалиям не одни сутки, и увозить его оттуда. Но я его видел пьяным всего один раз — у него дома и по совершенно особому *случаю,* о чем расскажу дальше.

Обыкновенно, и днем в редакционные часы, и за обедом, и вечером, когда я бывал у него, он не производил даже впечатления человека выпивающего, а скорее слабого насчет *желудочных* страстей, как он сам выражался. Поесть он был великий любитель и беспрестанно платился за это гастрическими схватками. Помню, кажется на вторую зиму нашего знакомства, я нашел его лежащим на диване в халате. Ему подавал лакей какую-то минеральную воду, он охал, отдувался, пил.

— Что с вами? — спрашиваю я его.

— Ох, батюшка!.. Уходил себя дикой козой! Увидал я ее в лавке у Каменного моста... Три дня приставал к моей Катерине Павловне (имя жены его): «Сделай ты мне из нее окорочек буженины и вели подать под сливочным соусом». Вот и отдуваюсь теперь!

И вообще он был самый яркий ипохондрик (недаром он написал комедию под таким заглавием) из всего своего литературного поколения, присоединяя сюда и писателей постарше: Анненкова, Боткина, а в особенности Тургенева, который тоже был мнителен, а холеры боялся до полного малодушия. Чуть что — Писемский валялся на диване, охал, ставил горчичники, принимал лекарство и с своим костромским акцентом взвывал:

— Понимаашь? Подпираат, братец, подпираат мне всю нутренную!..

Но при всех этих курьезных повадках и слабостях, он вообще вел себя с тактом, был скорее сдержан, я бы сказал даже — с большим сознанием того, *кто он,* но без напыщенности. Вы сейчас чувствовали, что это *крупный* писатель, и с первых слов видели, как бойко и своеобразно играл в нем наблюдательный, часто насмешли-

вый, ум. Он мог подаваться, особенно после событий 1861—1862 годов, в сторону охранительных идей, судить неверно, пристрастно обо многом в тогдашнем общественном и чисто литературном движении; наконец, у него не было широкого всестороннего образования, начитанность, кажется, только по-русски (с прибавкой, быть может, кое-каких французских книг), но в пределах тогдашнего русского «просвещения» он был совсем не игнорант, в нем всегда чувствовался московский студент 40-х годов: он был искренно предан всем лучшим *заветам* нашей литературы, сердечно чтил Пушкина, напечатал когда-то критический этюд о Гоголе*, увлекался с юных лет театром, считался хорошим актером и был прекраснейший чтец «в лицах». В нем, если взять его *лучшее* время, до начала 60-х годов, сказывалось очень большое *соответствие* между человеком и писателем. Он был чрезвычайно *похож* на свои произведения — во всех смыслах: и в положительную и в отрицательную сторону. Сила, ум, цепкая наблюдательность, своеобразная форма, беспощадный реализм всего миропонимания; а рядом с этим: склонность к *обличению* того, что ему было не по душе в новом строе общества и литературы, грубоватость приемов, чувственность, чисто русские слабости и пороки — малодушие, себе на уме, приобретательская жилка. Когда я с ним познакомился, он был уже на перепутье: между общим либерализмом людей его эпохи и отчуждением от того, что тогда представлял собою кружок Чернышевского, «Искры» и других центров петербургского радикализма. Но реакционера в нем еще тогда *не было,* ни в политическом, ни в религиозном, ни в чисто литературном смысле. Он, я помню, стал мне говорить в одно из первых моих посещений о Токвиле, книга которого переводилась тогда в «Библиотеке для чтения»*, высказывался о всех наших порядках очень свободно, заинтересован был вопросом освобождения крестьян вовсе не как крепостник.

Не нужно забывать, что Писемский по переезде своем в Петербург (значит, во второй половине 50-х годов) стал близок к Тургеневу, который одно время сделал из него своего любимца*, чрезвычайно высоко ставил его, как талант, водил с ним *приятельское* знакомство, кротко выносил его разносы и участвовал даже

volens-nolens[1] в его кутежах. Тургенева, как художника, Писемский понимал очень тонко и определял образно и даже поэтично обаяние его произведений.

— Это — благоухающий сад... и в нем беседка. Вы сидите в ней, и над вами витают светлые тени... его женщин.

Но он, хоть и добродушно, не прощал Тургеневу слабость его характера и *неустойчивость* его в отношениях к людям и даже в идеях, симпатиях и убеждениях.

— Человек в жизни своей не имел ни семьи, ни жены, ни открытой любовницы, ни закадычного друга.

Он и на многолетний роман с Виардо смотрел, как на доказательство «тряпичности» натуры своего приятеля.

Не прощал он ему тогда и его петербургских великосветских связей, того, что тот водился с разными высокопоставленными господами из высшего «монда». Могу довольно точно привести текст рассказа Писемского за обедом у него, чрезвычайно характерный для них обоих. Обедал я у Писемского запросто. Сидели только, кроме хозяина, жена его и два мальчика-гимназиста.

Тургенев приглашал его к себе провести вечер.

Пришел и Огарев (тогда только что отпущенный за границу), а хозяин вскоре скрылся. Он извинился перед нами, что ему надо непременно куда-то ехать в «монд», и обещал пробыть не больше как с час, много полтора. Остались мы вдвоем с Огаревым. Я его тогда в первый раз видел. Парень душевный... Человек подал нам водки и закуски. Мы с ним опорожнили графинчик и спросили второй. И оба мы распалились на Ивана Сергеевича за такое его малодушие: пригласил приятелей, а сам полетел к какой-нибудь кислой фрейлине читать рассказ. Сидим час, другой, спросили и третий графинчик. Звонок. Но вместо самого Тургенева является какой-то великосветский барин в звании камер-юнкера (кажется, это был Маркевич — тогда еще приятель Тургенева) в белом галстуке и во фраке. Мы его спрашиваем: *пьете водку?* Он отказался и стушевался минут через пять, увидев, на каких ребят он наскочил. И только в час ночи возвращается Тургенев и начинает извиняться. Вот мы его тогда с Огаревым и принялись

[1] волей-неволей (*лат.*).

валять в два жгута. А он только просит прощения... И меня сильно хмельного привез домой и довел до передней.

— Да, папа, — остановил Писемского его старший сын Паша (впоследствии профессор Московского университета), — ты был сильно выпивши, *и Тургенев внес сам в руках твои калоши.* Ты их растерял на лестнице.

Тургеневу он не прощал и приятельства с таким «лодырем» (так он называл его), как Болеслав М[арке]вич — тогда еще не романист, а камер-юнкер, светский декламатор и актер-любитель, стяжавший себе громкую известность за роль Чацкого в великосветском спектакле в доме Белосельских, где он играл с Верой Самойловой, в роли Софьи.

— Не водитесь вы с ним! — упрашивал он и меня. — Наверно вытянет у вас сто рублей без отдачи... а то хоть и беленькую. Я его не принимаю, а ежели он нахально станет клянчить — я ему говорю: «Для вас нет у меня денег».

И каждый раз Писемский прибавлял:

— А Иван Сергеевич водит приятельство с такой дрянью!

Мое знакомство с великолепным «Болеславом» вышло вот каким образом в первую же зиму. Он жил на одной квартире с неким Казначеевым, бывшим чиновником при гр. Закревском, в Москве, как и Маркевич. А Казначеева я знал через семейство кн. Д[ондуко]вых. М[арке]вич пожелал меня «шармировать» [1], стал рассказывать про свои светские связи и приятельство с «Иваном Сергеевичем», прохаживаясь насчет его бесхарактерности и беспринципности. Между прочим, он мне изобразил в лицах (он был большой краснобай), как Тургенев во дворце у Елены Павловны на рауте сначала ругательски ругал весь этот высший монд; а когда одна великая княгиня сказала ему несколько любезностей, то «весь растаял». Этим рассказом я воспользовался впоследствии в романе «Жертва вечерняя», где у меня является некий Балдевич, очень смахивающий на М[арке]вича. Тогда Тургенев его уже отстранил от своей особы, и реакционный романист мстил ему за это всю жизнь.

---

[1] очаровать (от *франц.* charmer).

Водил он близкое приятельство с гр. В. Соллогубом, которого я застал в Петербурге одного в меблированной квартире в доме Воронина, в Фонарном переулке за чтением вслух моей драмы «Ребенок». Сидел тут М[арке]вич, и Соллогуб заставил его докончить чтение. А когда мы шли от Соллогуба вдвоем, то М[арке]вич всю дорогу сплетничал на него, возмущался: какую тот ведет безобразную жизнь, как он на днях проиграл ему у себя большую сумму в палки и не мог заплатить, и навязывал ему же какую-то немку, актрису Михайловского театра. Я сам не мог и тогда понять — как И. С. Тургенев водит приятельство с таким индивидом и позволяет ему играть в великосветском обществе роль присяжного чтеца его произведений? Писемский был сто раз прав в своих грубых, но справедливых разносах.

Своеобычный Алексей Феофилактович жил в Петербурге так, как жил бы в Костроме помещик или видный чиновник: просторная квартира с приличной обстановкой, но без всякой оригинальности, как говорится, «общеармейского» типа. Была прислуга, как в каждом барском доме средней руки: лакей, повар, горничная. Вопреки своим кутильным эксцессам не только по части Бахуса, но и по части Афродиты, — он был *очень* семейный человек. И судьба послала ему превосходную жену. Екатерина Павловна и тогда еще была красивая женщина, с ясным и добрым выражением лица, всегда спокойная, с прекрасным тоном, с полным отсутствием какой-нибудь рисовки или жеманства. Такие женщины были не редкость в дворянском кругу, особенно в провинции, в 40-х и 50-х годах. Водились они и раньше. К мужу своему Е. П. относилась с неизменной кротостью, хотя совсем не принадлежала к натурам пассивным и сладковатым. Она была к нему искренно и честно привязана и прощала ему все уклонения от супружеского credo. Привыкла она смотреть сквозь пальцы и на его кутильные наклонности. И он ее весьма уважал, ценил ее по достоинству, по-своему любил, в молодости, наверно, был сильно влюблен в нее. В Писемском семейный инстинкт сказывался очень ярко. Он нежно любил своих детей, любовался ими, дрожал за их здоровье, обходился мягко, с юмором, баловал в меру, следил за их успехами в гимназии.

У него было всего два сына. Тогда оба уже учились в гимназии и шли по успехам прекрасно. И оба кончили так трагически*. Меньший еще при жизни отца самоубийством — в Петербурге, блестящим учителем в разных заведениях. Он мальчиком был очень красивый, с тонкими чертами лица. Старший, Паша — наружностью больше в отца — веселый, добродушный, здоровый мальчик. Кто бы подумал тогда, глядя на этого бойкого и крепкого гимназиста, что он кончит душевной болезнью после смерти отца, и в такой длительной форме полного распадения личности? И мать долгие годы была его пестуном. Кажется, он еще до сих пор не умер. При мне не раз, когда мальчики прибегали к нему в кабинет, вернувшись из гимназии, Алексей Феофилактович целовал их, гладил по голове, весело шутил с ними. Я редко видел впоследствии в писательском кругу такую нежную любовь отца к детям, уже довольно большим мальчикам, и такое любование ими, не лишенное, однако, разных юмористических замечаний и забавных прозвищ, которые он им давал.

Для меня, как начинающего писателя, который должен был совершенно заново знакомиться с литературной сферой, дом Писемских оказался не малым ресурсом. Они жили не открыто, но довольно гостеприимно. С А. Ф. у меня установились очень скоро простые хорошие отношения и как с редактором. Я бывал у него и не в редакционные дни и часы, а когда мне понадобится.

Когда у него собирались, особенно во вторую зиму, он всегда приглашал меня. У него я впервые увидал многих писателей с именами. Прежде других — А. Майкова, родственника его жены, жившего с ним на одной лестнице. Его более частыми гостями были: из сотрудников «Библиотеки» — Ка́рнович, из тогдашних «Отечественных записок» — Дудышкин, из тургеневских приятелей — Анненков, с которым я познакомился еще раньше в одной из тогдашних воскресных школ, где я преподавал. Она помещалась в казарме гальванической роты.

Про Анненкова и Дудышкина Писемский всегда говорил:

— Это мои присяжные критики. Я читаю им все, что напишу.

Тургенев в те две зимы не наезжал в Петербург, и я не мог его видать у Писемского. Дружинин что-то не бывал у него. Во вторую зиму, когда Писемский стал приглашать на слушание первых двух частей своего «Взбаламученного моря», бывало больше народу. Там я впервые видал и слышал Серова, только что сделавшегося музыкальным критиком «Библиотеки». Помню, он сильно *разносил* Антона Рубинштейна и называл его «тапер», с очень злобной интонацией. Главного критика журнала Еф. Зарина у Писемского я не встречал и познакомился с ним уже гораздо позднее.

Был ли Писемский вполне на своем месте в качестве редактора? Сравнительно с тем, кто и теперь попадает в издатели-редакторы журналов и газет — скорее *да.* Он носил громкое тогда имя, любимое и публикой либерального направления. Не нужно забывать, как сам Писарев даже и позднее высоко ценил его*. Он кончил курс в Московском университете, любил литературу, как умный и наблюдательный человек, выработал себе довольно верный вкус, предан был заветам художественного реализма, способен был оценить все, что тогда выделялось в молодом поколении. Я не стану напирать на то, что он оценил автора «Однодворца» и «Ребенка». Но он из тогдашних молодых талантов «Современника» всегда хвалебно отзывался о Помяловском и отчасти о Николае Успенском. Глеб явился позднее, и *в Петербурге* я в 1863 году пустил его в ход *впервые* рассказом «Старьевщик». Я уже сказал выше, что до второй половины 50-х годов Писемский состоял постоянным сотрудником некрасовского «Современника», перед тем как направлению этого журнала начали давать более резкую окраску Чернышевский и, позднее, Добролюбов. Даже осенью 1861 года, когда я вернулся из деревни и приехал раз днем к Писемскому, он мне сказал:

— Сейчас засылал ко мне Некрасов Салтыкова приторговать мою новую вещь*. Я ему и говорю: «С кого и взять, как не с вас? К вам деньжища валят».

А какая это была «новая вещь»? Роман «Взбаламученное море» *, которого он писал тогда, кажется, вторую часть.

Конечно, если б Некрасов познакомился *предварительно со всем* содержанием романа, вряд ли бы он попросил Салтыкова поехать к Писемскому позондировать

почву; но это прямо показывает, что тогда и для «Современника» автор «Тысячи душ», «Горькой судьбины», рассказов из крестьянского быта не был еще реакционером, которого нельзя держать в сотрудниках. К нему *заслали,* и заслали кого? Самого Михаила Евграфовича, тогда уже временно — *между двумя вице-губернаторствами* — состоявшего в редакции «Современника» *.

Салтыкова я после не видал никогда у Писемского и вообще не видал его нигде в те две зимы и даже после, во время моего редакторства. Как руководитель толстого журнала, Писемский *запоздал,* совершенно так, как я сам два года спустя *слишком рано* сделался издателем-редактором «Библиотеки».

В те годы ветер стал дуть, как и теперь, в сторону «переоценки всех ценностей»: и государственно-общественных устоев, и экономических, и нравственных идеалов, и мышления, и литературно-художественных идей, запросов и вкусов.

Десять лет раньше Писемский был бы совершенно на месте и даже представлял бы собой прогрессивную силу в журнализме, хотя бы и без особенной научной или литературной подготовки. Ведь и Краевский в свое время далеко не представлял собою кладезя учености, а Пушкин считал его выдающейся личностью, и его знаменитый промах в энциклопедическом лексиконе * Плюшара (Доен д'Аге) [1] не помешал ему сделать из «Отечественных записок» передовой орган 40-х годов * и привлечь даровитейших и свободомыслящих людей от Герцена и Белинского до Тургенева и того же Писемского.

«Библиотека для чтения» ко второй половине 50-х годов под редакцией Дружинина оживилась, она стала органом тургеневско-боткинского кружка, в котором защищались пушкинские традиции и заветы Белинского; но не того только, что действовал в «Современнике», а прежнего эстета, гегельянца, восторженного ценителя Пушкина *. С этой окраской перешел журнал и к Писемскому. Сам он не мог действовать как критик, что делал Дружинин; но он стал, как юморист (в фельетонах «Статского советника Салатушки»), подсмеиваться —

[1] Так он перевел термин «doyen d'âge». *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*



М. Л. Михайлов
1861 г.

к наступлению 60-х годов — над крайностями тогдашнего «нигилистического духа». При всей грубоватости его натуры, он высоко ставил искусство и художественную литературу, и ему не могло быть по душе направление критики, шедшее от Чернышевского. Он не любил резкой тенденциозности в беллетристике, пропитанной известными, хотя бы и очень модными, темами, и боялся (быть может, не так сильно, как Дружинин), что «свистопляска» в «Современнике» и «Искре» понизит уровень литературных идеалов. Помню разговор в его кабинете, когда я познакомился с его московским приятелем Эдельсоном (впоследствии рекомендованным мне Писемским же, как критик), о тогдашнем фурорном романе Авдеева «Подводный камень», который печатался в «Современнике». Оба они — Эдельсон так же, как и Писемский — отзывались об этой вещи, как о тенденциозной «композиции», где нет настоящей художественной *правды,* где все подведено к мотиву во вкусе жорж-зандовских романов, значит, в сущности, к чему-то новому только в России; а во Франции эта «жорж-зандовщина» процветала еще в 30-х годах.

Могу привести довольно отчетливо слова Писемского:

— Я Тургенева не мало дразню: «Авдеев-то, мол, ваш выученик; только он подражает вам в искании интересных тем, а не в настоящей творческой работе».

И ведь это была, безусловно, верная оценка.

Тогдашние статьи Чернышевского своей разрушительной подкладкой прямо смущали его и даже *возмущали* тоном, манерой на все смотреть «с кондачка», все валить.

Раз при мне Писемский все повторял, обращаясь к Карновичу, который писал и в «Современнике»:

— Вы мне скажите, хороший ли он человек? Коли человек он хороший, то ему многое можно простить.

А вся эта разрастающаяся рознь между двумя лагерями — тем, где стояли Дружинин, Писемский, Боткин и Тургенев, и кружком Чернышевского — поддерживалась тем, что они нигде уже не сходились. Не существовало никакого общего дела, ни клуба, ни союза писателей, а «Фонд» был только благотворительным учреждением, да и то чернышевцы и добролюбовцы вряд ли смотрели на него дружественно. Ведь его основали «генералы» — все тот же Дружинин и Тургенев с своими ближайшими

сверстниками. Вот все это и начало всплывать в грубоватых шутках и сарказмах моего предшественника (как фельетониста «Библиотеки») *Статского советника Салатушки,* который уже действовал «вовсю», когда я сделался постоянным сотрудником «Библиотеки», то есть в сезон 1860—1861 года. К началу 60-х годов и разрослось в Писемском то недоумевающее, а потом и отрицательное отношение к тогдашним «нигилистам» русского журнализма. Точно такой же внутренний процесс произошел не только в Фете, Боткине или Дружинине, но и в Тургеневе еще до напечатания «Отцов и детей», после того, как он «разорвал» с Некрасовым. То же чувство находили вы и в Москве, в кружке бывших приятелей Герцена, особенно в Кетчере. Я помню еще в конце 50-х годов (когда с ним познакомился) раскаты его смеха и беспощадные возгласы, направленные против «Современника», причем и Некрасову досталось очень сильно, больше, впрочем, как человеку.

Журналом в зиму 1860—1861 года Писемский занимался, как говорится, «с прохладцей», что не мешало ему кряхтеть и жаловаться, находить, что редакционная работа ужасно мешает писательству. Он и в ту зиму писал, но не так, как в следующий сезон, когда он приступил к «Взбаламученному морю», задуманному в шести частях. Тогда вообще в журналах не боялись больших романов, и мелкими рассказами трудно было составить себе имя [1]. Как истинный русак, Писемский, отдавшись работе над вещью крупных размеров, писал запоем, просиживал целые дни в халате за письменным столом, и тогда уже не жаловался на то, что редакторство заедает его, как романиста. Процесс его работы был очень похож на всю его личность. Он писал сперва черновой текст, жена сейчас же переписывала, и я был свидетелем того, как Екатерина Павловна приходила в кабинет с листком в руке и просила прочесть какое-нибудь слово. Почерк у него был крупный и чрезвычайно беспорядочный — другого такого я ни у кого из писателей не видал. Это было больше мазанье, чем писание. Жена вставляла ему и французские фразы в светских сценах. Писемский не владел ни одним иностран-

---

[1] Исключение следует сделать разве для Тургенева, как автора «Записок охотника». *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

ным языком. По-французски, может быть, читал, но ни по-немецки, ни по-английски. Черновой текст, переписанный женою, Писемский исправлял и перемарывал, и делал это так необузданно, что пальцы правой руки были у него по целым неделям измазаны ниже вторых суставов. Об этом многие знали и приводили всегда, когда разговор о Писемском принимал анекдотический характер.

Для меня, как беллетриста, работа в «Библиотеке» и частые свидания с ее редактором были выгодны во многих смыслах. Тогда, за отсутствием Тургенева, кроме Достоевского, в Петербурге не было более крупного романиста и драматурга. И талант, и своеобразный ум, и юмор сказывались всегда в его разговорах. Передо мною в его лице стояла целая эпоха, и он был одним из ее типичнейших представителей: настоящий самородок из провинциально-помещичьего быта, без всяких заграничных влияний, полный всяких чисто российских черт антикультурного свойства, но все-таки талантом, умом и преданностью литературе, как высшему, что создала русская жизнь, поднявшийся до значительного уровня. И он же был жертвой своих чувственных инстинктов, в нем же засели разные виды бытовой жизнебоязненности, грубоватый и чересчур развитой пессимизм, недостаток высших гражданских идеалов, огромный недочет по части более тонких свойств души.

Но, повторяю, в ту первую зиму в Петербурге Писемский оставался самым ценным для меня литературным знакомством.

Некрасова и Салтыкова я не встречал лично до возвращения из-за границы в 1871 году. Федора Достоевского зазнал я уже позднее. К его брату Михаилу, уже издававшему журал «Время», обращался всего раз, предлагал ему одну из пьес, написанных мною в Дерпте, перед переездом в Петербург. С Тургеневым я познакомился в 1864 году, когда был уже издателем «Библиотеки».

Из других выдающихся журналистов был у Краевского, возил ему другую пьесу, но он предложил мне слишком скудный гонорар; я уже получал тогда в «Библиотеке» по семьдесят пять рублей за лист.

Никто меня так и не свел в редакцию «Современника». Я не имел ничего против направления этого

журнала *в общем* и статьями Добролюбова зачитывался еще в Дерпте. Читал с интересом и «Очерки гоголевского периода» там же, кажется, еще не зная, что автор их Чернышевский, уже первая сила «Современника» к половине 50-х годов.

Прошла вся первая зима, и я не имел повода пойти в редакцию «Современника». Из постоянных сотрудников «Библиотеки» Карнович работал и там; но мы с ним в ту зиму были очень мало знакомы. В студенческих кружках, с какими я начал водиться, еще наезжая из Дерпта, были пылкие сторонники идей, которым до появления «Отцов и детей» еще никто не давал прозвища «нигилистических». Я был уже знаком с студентом Михаэлисом, братом г-жи Шелгуновой, тогдашним вожаком петербургского студенчества, приятелем М. Л. Михайлова, которого я видал в этом же кружке.

Но личного знакомства с «Современником» так и не вышло вплоть до отъезда моего за границу в 1865 году.

Добролюбов уже умирал. Его нигде нельзя было встретить*. И вышло так, что едва ли не с одним из корифеев литературного движения той эпохи я лично не познакомился и даже не видал его, хотя бы издали, как это случилось у меня с Чернышевским.

А ведь Добролюбов — мой земляк, нижегородец и мой ровесник — 1836 года. Дом его отца, протоиерея Никольской церкви, приходился против нашего флигеля на Лыковой дамбе. Отца его я видал очень часто, хотя он был настоятелем не нашего прихода.

Помню его несколько суровую наружность, с черной бородой и в очках — как он едет в санях в консисторию, где состоял членом. В его доме долго жило семейство кн. В. Трубецкого, куда «Николаша» Добролюбов ходил еще семинаристом, а позднее студентом Педагогического института, переписывался с свояченицей князя, очень образованной дамой (моей знакомой) Пальчиковой, урожденной Пещуровой. И при мне в Дерпте у Д[ондуко]вых (они были в родстве с Пещуровыми) кто-то прочел вслух письмо Добролюбова — тогда уже известного критика, где он горько сожалеет о том, что вовремя не занялся иностранными языками, с грехом пополам читает французские книги, а по-немецки начинает заново учиться.

Не встретился я ни в эту, ни в следующую зиму и с преемником Добролюбова по литературной критике, Антоновичем.

Меня притягивал особенно сильно театр.

Дела мои стояли так. Литературно-театральный комитет (где большую роль играл и Краевский) одобрил после «Фразеров», принятых условно, и «Однодворца» и «Ребенка» без всякого требования переделок.

Обе пьесы лежали в цензуре: драма «Ребенок» только что туда поступила, а «Однодворец» уже несколько месяцев раньше.

Тогда театральная цензура находилась в Третьем отделении, у Цепного моста, и с обыкновенной цензурой не имела ничего общего; а «Главное управление по делам печати» еще не существовало.

Справиться обо всем этом надо было у тогдашнего начальника репертуара императорских театров, знаменитого П. С. Федорова, бывшего водевилиста и почтового чиновника.

Я уже являлся к нему студентом, и он меня любезно принял.

Он посоветовал мне самому поехать к цензору И. А. Нордштрему и похлопотать.

Обе мои пьесы очень нравились комитету. «Однодворца» еще не предполагалось ставить в тот же сезон, из-за цензурной задержки, а о «Ребенке» Федоров сейчас же сообщил мне, что ролью чрезвычайно заинтересована Ф. А. Снеткова.

— Наш первый драматический сюжет, — прибавил он в пояснение.

— Вы поезжайте к ней теперь же. Она очень желает с вами познакомиться.

Это было для меня особенно приятно.

Снеткову я уже видал и восхитился ею с первого же раза. Это было проездом (в Дерпт или оттуда) в пьесе тогдашнего модного «злобиста» Львова «Предубеждение, или Не место красит человека».

Такой милой, поэтичной ingénue я еще не видал на русской сцене.

А к 1861 году Фанни Александровна сделалась уже «первым сюжетом», особенно после создания роли Катерины в «Грозе» Островского.

Она жила с своей старшей сестрой, танцовщицей Марьей Александровной, у Владимирской церкви, в доме барона Фредерикса. Я нашел ее такой обаятельной, как и на сцене, и мое авторское чувство не мог не ласкать тот искренний интерес, с каким она отнеслась к моей пьесе. Ей сильно хотелось сыграть роль Верочки еще в тот же сезон, но с цензурой разговоры были долгие.

Цензор Нордштрем принимал в своем кабинете, узкой комнатке рядом с его канцелярией, где в числе служащих оказался и один из сыновей Фаддея Булгарина, тогда уже покойного.

Проникать в помещение цензуры надо было через лабиринт коридоров со сводами, пройдя предварительно через весь двор, где помещался двухэтажный флигель с камерами арестантов. Денно и нощно ходил внизу часовой — жандарм, и я в первый раз в жизни видел жандарма *с ружьем при штыке*.

Мои хождения в это «логово» жандармерии продолжались очень долго. Убийственно было то, что тогда вам сразу не запрещали пьесу, а водили вас месяцами, иногда и годами.

Ни «Однодворца», ни «Ребенка» Нордштрем не запрещал безусловно; но придерживал и кончил тем, что в конце лета 1861 года я должен был переделать «Однодворца», так что комедия (против печатного экземпляра) явилась в значительно измененном виде.

«Ребенка» мне удалось спасти от переделки; но за разрешением я походил-таки вплоть до начала следующего сезона.

Раз эта волокита так меня раздражила, что я без всякой опаски в таком месте, как Третье отделение, стал энергично протестовать.

Нордштрем остановил меня жестом:

— Вы студент. И я был студент Казанского университета. Вы думаете, что я ничего не понимаю?

И, указывая рукой на стену, в глубь здания, он вполголоса воскликнул:

— Но что же вы прикажете делать с тем *кадетом?*

А тот «кадет» был тогдашний начальник Третьего отделения, генерал Тимашев, впоследствии министр внутренних дел.

И он действительно был экс-кадет, учился где-то, не то в Пажеском корпусе, не то в тогдашней «Школе гвардейских подпрапорщиков».

Но что вышло особенно курьезно, это то, что тотчас за либеральной фразой цензора в дверь просунулась голова ражего жандармского «вахтера», и он пробасил:

— Ваше превосходительство, генерал уехал!

Значит, вам всем — чинушам — можно идти по домам!

Через Фанни Снеткову и позднее П. Васильева и актера-писателя Чернышева я вошел и в закулисный мир Александринского театра.

Печальное воспоминание оставила во мне «Александринка» после воскресного спектакля, куда я попал в первый раз, переезжая в Дерпт в ноябре 1855 года, — особенно во мне, получившем от московского Малого театра еще в 1853 году такой сильный заряд художественных впечатлений.

С тех пор я имел случай лучше ознакомиться с русской драматической труппой Петербурга. Первая героиня и кокетка в те года, г-жа Владимирова, даже увлекла меня своей внешностью в переводной драме О. Фёлье «Далила», и этот спектакль заронил в меня нечто, что еще больше стало влечь к театру.

В той же «Далиле» я видел и Снеткову, и Самойлова, и тогда только что выступившего в роли любовника Малышева, товарища Снетковой по Театральному училищу.

Но все-таки я не видал до зимы 1860—1861 года ни одного замечательного спектакля, который можно бы было поставить рядом с тем, что я видел в московском Малом театре еще семь-восемь лет перед тем.

Нравы закулисного мира я специально не изучал. В лице тогдашней первой актрисы Ф. А. Снетковой я нашел питомицу Театрального училища, вроде институтки. Она вела самую тихую жизнь и довольствовалась кружком знакомых ее сестры, кроме тех молодых людей (в особенности гвардейцев, братьев X—х), которые высиживали в ее гостиной по нескольку часов, молчали, курили и «созерцали» ее.

Она почти нигде не бывала в городе. Раз я стал ей говорить на эту тему.

— Артистке надо знать жизнь всяких слоев общества. Вот вы, Фанни Александровна, играете Катерину в «Грозе» и создаете поэтичный образ, но, согласитесь, вы ведь не видели, наверно, ни одной такой купчихи? Почему вы летом не поездите по Волге, на пароходе?

— Как же это? Сестрица не так здорова, а одна... я не могу...

И вся программа ее жизни состояла в репетициях, спектаклях, приеме гостей, работе над ролями, изредка прогулке. По субботам и воскресеньям — Владимирская церковь, куда она ходила ко всенощной и к обедне.

Писемский любил распространяться на ту же тему, но в своем, циническом вкусе. Он презирал «Александринку», но особенно сильно доставалось от него петербургским актрисам.

— Хоть бы они *пили,* что ли? Ничего-то они не умеют играть как надо. Разве одних только д......, да и то не веселых, а скучных, немецких!

Разумеется, эти «разносы» надо оставить на его ответственности.

Кроме Снетковой, в труппе был такой талант, как Линская, не уступавшая актрисам на бытовые роли и в московской труппе, и несколько хороших полезностей.

А мужской персонал стоял в общем довольно высоко. Еще действовал такой прекрасный актер, как старик И. И. Сосницкий, создавший два лица из нашего образцового театра: городничего и Репетилова.

Он был актер «старой» школы, но *какой*? Не ходульной, а тонкой, правдивой, какая нужна для высокой комедии. Когда-то jeune premier[1] в светских ролях, Сосницкий служил даже моделью для петербургских фешенеблей, а потом перешел на крупные роли в комедии и мог с полным правом считаться конкурентом М. С. Щепкина, своего старшего соратника по сцене.

Только что сошел в преждевременную могилу А. Е. Мартынов, и заменить его было слишком трудно: такие дарования родятся один-два на целое столетие. Смерть его была тем прискорбнее, что он только что со второй половины 50-х годов стал *во весь рост* и создал несколько сильных, уже *драматических* лиц в пьесах

[1] первый любовник *(франц.)*.

Чернышева, в драме Потехина «Чужое добро впрок не идет» и, наконец, явился Тихоном Кабановым в «Грозе».

Обед, данный ему петербургскими литераторами незадолго до его смерти, было, кажется, *первое* чествование в таком роде. На нем впервые сказалась живая связь писательского творчества с творчеством сценического художника.

Его ближайший сверстник и соперник по месту, занимаемому в труппе и в симпатиях публики, В. В. Самойлов, как раз ко времени смерти Мартынова и к 60-м годам окончательно перешел на серьезный репертуар и стал «посягать» даже на создание таких лиц, как Шейлок и король Лир. А еще за четыре года до того я, проезжая Петербургом (из Дерпта), видел его в водевиле «Анютины глазки и барская спесь» *, где он играл роль русского «пейзана» в тогдашнем вкусе и пел куплеты.

Замечательно, что он ни тогда, ни позднее не связал своего имени ни с Грибоедовым, ни с Гоголем и только гораздо позднее стал появляться в «Ревизоре» — в маленькой роли Растаковского. Островский ему сразу не удался. Его Любим Торцов был найден деланной фигурой. Самойлова упрекали — особенно поклонники Садовского — в том, что он играл это лицо слишком посвоему, без всякого знания купеческого быта, и даже позволял себе к возгласу Торцова: «Изверги естества» — прибавлять слово «анафема» и при этом щелкать пальцами.

Самойлов не был коренным русаком. Это семейство, как известно теперь доподлинно, еврейской крови. Он был по своему происхождению и воспитанию слишком петербургский человек, пошедший в певцы из горных инженеров после какого-то публичного оскорбления. Дилетантский характер лег с самого начала на его артистическую карьеру. Но так как он был *очень* талантлив и способен на чрезвычайно разнообразную игру, то с годами он и выработал из себя не только ловкого, но и замечательного исполнителя, особенно в несильной драме и комедии. Славолюбие у него было громадное, и он, подчиняясь тогдашним новым литературным вкусам, стал «посягать» на Шекспира. Эти опыты подняли его престиж. В труппе он занимал исключительное место, как бы «вне конкурса» и выше всяких правил и обязанностей, был на «ты» с Федоровым, называл его «Паша»,

сделался — отчасти от отца, а больше от удачной игры — домовладельцем, членом дорогих клубов, где вел крупную игру, умел обставлять себя эффектно, не бросал своего любительства, как рисовальщик и даже живописец, почему и отличался всегда *своей* гримировкой, для которой готовил рисунки.

Самые строгие его судьи были москвичи, особенно Аполлон Григорьев, тогда уже действовавший в Петербурге, как театральный критик, а также и актеры, начиная с Садовского.

Они все считали его более «ловким» и «штукарем», чем искренним и вдохновенным артистом. Но про него нельзя было сказать, что он лишен внутреннего чувства. Он мог растрогать даже в такой роли, как муж-чиновник, от которого уходит жена, в комедии Чернышева «Историческая жизнь», и в сцене пробуждения Лира на руках своей дочери Корделии; да и сцену бури он вел художественно, тонко, правдиво, не впадая никогда в декламацию. Он был несомненный *реалист,* не сбившийся с пути в каратыгинское время, сознательно стоявший за правду и естественность, но слишком иногда виртуозный, недостаточно развитый литературно, а главное, ставивший свое актерское «я» выше всего на свете.

Таких типов теперь я уже не знаю и среди самых известных «первых сюжетов» столиц и провинции.

Обе сестры его Вера и Надежда уже покинули сцену до зимы 1860—1861 года. И это была огромная потеря; особенно уход Веры Васильевны.

Более прямым конкурентом и соперником Самойлова считался А. Максимов — тоже сначала водевильный актер, а тогда уже на разных амплуа: и светских и трагических; так и он выступал в «Короле Лире», в роли Эдмонда. Он верил в то, что он сильный драматический актер, а в сущности был очень тонкий комик на фатовское амплуа, чему помогали его сухая, длинная фигура и испитое чахоточное лицо, и глухой голос в нос, и странная дикция.

Он вскоре умер жертвой, как и Мартынов, общерусского артистического недуга — закоренелого алкоголизма.

В труппе почетное место занимали и два сверстника Василия Каратыгина, его брат Петр Андреевич и П. И. Григорьев, оба плодовитые драматурги, авторы

бесчисленных оригинальных и переводных пьес, очень популярные в Петербурге личности, не без литературного образования, один остряк и каламбурист, другой большой говорун.

С Каратыгиным я познакомился уже в следующую зиму, когда ставил «Ребенка», а Григорьева стал встречать в книжном магазине Печаткина. Тогда он уже оселся на благородных отцах, играл всегда Фамусова — довольно казенно, изображал всяких генералов, штатских чиновников, отставных военных. Он отличался «запойным» незнанием ролей, а если ему приходилось начинать пьесу по поднятии занавеса, он сначала вынимал табакерку, нюхал и устремлял взгляд на суфлерскую будку, дожидаясь, чтобы ему «подали реплику».

Еще не стариком застал я в труппе и Леонидова, каратыгинского «выученика», которого видел в Москве в 1853 году в «Русской свадьбе». Он оставался все таким же «трагиком» и перед тем, что называется, «осрамился» в роли Отелло. П. И. Вейнберг, переводчик, ставил его сам и часто представлял мне в лицах — *как* играл Леонидов и что он выделывал в последнем акте.

То, в чем он тогда выступал, уже не давало ему повода пускать такие неистовые возгласы и жесты. Он состоял на амплуа немолодых мужей (например, в драме Дьяченко «Жертва за жертву») и мог быть даже весьма недурен в роли атамана «Свата Фаддеича» в пьесе Чаева.

Лично я познакомился с ним впервые на каком-то масленичном пикнике по подписке в заведении Излера. Он оказался добродушным малым, не без начитанности, с высокими идеалами по части театра и литературы. Как товарища — его любили. Для меня он был типичным представителем николаевской эпохи, когда известные ученики Театрального училища выходили оттуда с искренней любовью к «просвещению» и сами себя развивали впоследствии.

Самой интересной для меня силой труппы явился в тот сезон только что приглашенный из провинции на бытовое амплуа в комедии и драме Павел Васильев, меньшой брат Сергея — московского.

Для меня он не был совсем новым лицом. В Нижнем на ярмарке я, дерптским студентом, уже видал его; но в памяти моей остались больше его коротенькая фигура

и пухлое лицо с маленьким носом, чем то, в чем я его видел.

В Петербурге появление П. Васильева совпало с постановкой после долгого запрета первой большой комедии Островского «Свои люди — сочтемся!».

Я тогда еще не видал Садовского в Подхалюзине (мне привелось видеть его в этой роли в Петербурге же, уже позднее), и мне не с кем было сравнивать Васильева.

Сейчас же чуялось в нем сильное и своеобразное дарование при невыгодных внешних средствах: малый рост, короткая фигура, некрасивость пухлого облика и голос хриповатый и, как и у брата его Сергея, в нос.

Подхалюзина он задумал без всяких уступок внешнему комизму серьезного и тихого плута, в гримировке и в жестах очень типичного брюнета.

Когда мы с ним лично познакомились, он мне рассказывал, кто послужил ему моделью — содержатель одного притона в Харькове, где Васильев долго играл.

Публика оценила его талант в первый же сезон, и он сделался соперником если не прямо Самойлова, то тогдашнего «бытовика», приятеля Островского, взявшего его репертуар точно на откуп.

Это был в то время очень популярный во всем Петербурге Бурдин, про которого уже была сложена песенка:

Он у нас один —
Théodore Бурдин!..

Кажется, еще до переезда в Петербург я уже знал, что этот актер сделался богатым человеком, получив в дар от одного откупщика каменный многоэтажный дом на Владимирской.

Часто передавал мне П. И. Вейнберг, как Писемский на какой-то пирушке, уже значительно «урезав», приставал к Бурдину:

— Нет, ты скажи нам, Федька, как ты себе дом приобретал: коли честно — научи, а коли ёрнически — покайся всенародно.

Откупщик Голенищев, подаривший ему дом, был в тогдашнем вкусе меценат, скучающий вивёр, муж известной красавицы. Бурдин состоял при его особе, ездил с ним в Париж, читал ему, рассказывал анекдоты.

«Теодор», москвич, товарищ по одной из тамошних гимназий Островского, считал себя в Петербурге как бы насадителем и нового бытового реализма, и некоторым образом его alter ego[1]. Выдвинулся он ролью Бородкина (рядом с Читау-матерью) к началу второй половины 50-х годов и одно время прогремел. Это вскружило ему голову, и без того ужасно славолюбивую: он всю жизнь считал себя первоклассным артистом.

Если бы не эта съедавшая его претензия, он для *того времени* был, во всяком случае, выдающийся актер с образованием, очень бывалый, много видевший и за границей, с наклонностью к литературе (как переводчик), очень влюбленный в свое дело, приятный, воспитанный человек, не без юмора, довольно любимый товарищами. Подъедала его страсть к картежной игре, и он из богатого человека постарался превратиться в бедняка.

Про его тщеславие ходило не мало анекдотов. В Париже он посетил могилу Тальмы и сделал надпись: «A Talma Théodore Bourdine»[2]. Там же он один из первых «заполучил самое Ригольбош» — канканёрку Второй империи, которую каждый русский прожигатель считал долгом приобрести.

Для Бурдина присутствие Васильева в труппе было — «нож острый». Сравнение было слишком не в его пользу. Как и Васильев, он считал себя и комиком и трагиком и в сильных местах всегда слишком усердствовал, не имея настоящего драматического дарования.

Писемский говаривал про него в таких случаях:

— Федька-то Бурдин... понима́ашь, братец, лампы глотаат от усердия...

Московские традиции и преданность Островскому представлял собою и Горбунов, которого я стал вне сцены видать у начальника репертуара Федорова, где он считался как бы своим человеком. Как рассказчик и с подмостков и в домах он был уже первый увеселитель Петербурга. По обычаю того времени, свои народные рассказы он исполнял всегда в русской одежде и непременно в красной рубахе.

Как актер, он выделялся пока только Кудряшом в «Грозе», но и всю жизнь в нем рассказчик стоял гораздо

---

[1] вторым «я» *(лат.)*.

[2] Тальма от Федора Бурдина *(франц.)*.

выше актера, что и доказывает, что огромная подражательная способность еще не создает крупного актера[1].

Федоров (в его кабинет я стал проникать по моим авторским делам) поддерживал и молодого jeune premier, заменявшего в ту зиму А. Максимова (уже совсем больного), — Нильского. За год перед тем, еще дерптским студентом, я случайно познакомился на вечере в «интеллигенции» с его отцом Нилусом, одним из двух московских игроков, которые держали в Москве на Мясницкой игорный дом. Оба были одно время высланы при Николае I.

Этот Нилус, узнав, что я написал пьесу, стал мне говорить про своего «незаконного» сына, который должен скоро выйти из Театрального училища. В школе его звали Нилус, а в труппе он взял псевдоним Нильского.

Я его в первый раз увидал в переводной пьесе «Любовь и предрассудок» *, где он играл актера Сюлливана, еще при жизни Максимова, уже больного.

Его выпустили в целом ряде ролей, начиная с Чацкого. Он был в них не плох, но и не хорош и превратился в того «мастера на все руки», который успевал получать свою поспектаклньую плату в трех театрах в один вечер, когда считался уже первым сюжетом и получал тридцать пять рублей за роль.

Более требовательные ценители никогда не ставили его высоко. Останься он «полезностью» — он был бы всегда желанный исполнитель; он брался за все, и в нем можно было видеть олицетворение тогдашнего чиновничьего режима петербургских сцен.

Тогда ведь царила безусловно система привилегии. Частных театров не было ни одного. Императорская дирекция ревниво ограждала свои привилегии и даже с маскарадов и концертов взимала плату.

Порядки на Александринском театре держались за два рычага — *разовая плата* и *система бенефисов.*

Когда я сам сделался рецензентом, я стал громить и то и другое. И действительно, при разовой плате актеры и актрисы бились только из-за того, чтобы как можно больше играть, а при бенефисном режиме надо было да-

---

[1] О таланте и заслугах Линской я буду говорить в следующей главе. *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

вать каждую неделю новый спектакль и ставить его поспешно, с каких-нибудь пяти-шести репетиций.

Эти порядки — не без участия наших протестов — рухнули в 1882 году; а ведь для нашего брата, начинающего драматурга, и то и другое было выгодно. Разовая плата поощряла актеров в вашей пьесе, и первые сюжеты не отказывались участвовать, а что еще выгоднее, в сезоне надо было поставить до двадцати (и больше) пьес в четырех и пяти действиях; стало быть, каждый бенефициант и каждая бенефициантка сами усердно искали пьес, и вряд ли одна мало-мальски сносная пьеса (хотя бы и совершенно неизвестного автора) могла проваляться под сукном.

Я это лично испытал на себе. Приехал я в Петербург к январю 1861 года; и обе мои вещи (правда, после долгих цензурных мытарств) были расхватаны у меня: «Однодворец» — для бенефиса П. Васильева в октябре того же года, а «Ребенок» — для бенефиса Бурдина в январе следующего года. То же вышло и в Москве.

Поощрения было тогда довольно и со стороны начальства, но для этого надо было воздерживаться писать о театре. Тогда декорация сразу менялась.

Из моих конкурентов трое владели интересом публики: Дьяченко (которого я ни тогда, ни позднее не встречал); актер Чернышев и Николай Потехин, который пошел сразу так же ходко, как и старший брат его Алексей, писавший для сцены уже с первой половины 50-х годов.

Чернышев, автор «Испорченной жизни», был автор-самоучка из воспитанников Театральной школы, сам плоховатый актер, без определенного амплуа; до того посредственный, что казалось странным, как он, знавший хорошо сцену, по-своему наблюдательный и с некоторым литературным вкусом, мог заявлять себя на подмостках таким бесцветным? Он немало играл в провинции и считался там хорошим актером, но в Петербурге все это с него слиняло.

С ним мы познакомились по «Библиотеке для чтения», куда он что-то приносил и, сколько помню, печатался там. Он мне понравился, как очень приятный собеседник, с юмором, с любовью к литературе, с искренними протестами против тогдашних «порядков». Добродушно говорил он мне о своей неудачной влюбленности в

Ф. А. Снеткову, которой в труппе два соперника делали предложение, и она ни за одного из них не пошла: Самойлов и Бурдин.

Таким драматургам, как Чернышев, было еще удобнее ставить, чем нам. Они были у себя дома, писали для таких-то первых сюжетов, имели всегда самый легкий сбыт при тогдашней системе бенефисов. Первая большая пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье» выдвинула его как писателя благодаря игре Мартынова. А «Испорченная жизнь» разыграна была ансамблем из Самойлова, П. Васильева, Снетковой и Владимировой.

Этот тип актера-писателя также уже не повторится. Тогда литература приобретала особое обаяние, и всех-то драматургов (и хороших и дурных) не насчитывалось больше двух-трех дюжин, а теперь их значится чуть не тысяча.

В кабинете Федорова увидал я Николая Потехина (уже автора комедии «Дока на доку нашел») чуть ли не на другой день после дебюта П. Васильева в Подхалюзине. Мой молодой собрат (мы с ним были, вероятно, ровесники) горячо восхищался Васильевым, и в тоне его чувствовалось то, что и он «повит» московскими традициями.

У него была уже наготове новая пьеса: «Быль — молодцу не укор», с Снетковой в главной роли. Вероятно, и он увлекался ею. Что-то такое я и слыхал... впоследствии. Он еще не мечтал о поступлении на сцену *. И тогда он был такой же «картавый», с оттенком северного волжского выговора.

Театром тогда стали запойно увлекаться и в обществе.

Еще раньше спектакль литераторов заинтересовал Петербург, но больше именами исполнителей. Зала Пассажа стала играть роль в жизни Петербурга, там читались лекции, там же была и порядочных размеров сцена.

И я в следующий сезон не избег того же поветрия, участвовал в нескольких спектаклях с персоналом, в котором были такие силы, как старуха Кони и красавица Спорова (впоследствии вторая жена Самойлова). Ею увлекались оба моих старших собрата: Островский и Алексей Потехин. Потехин много играл и в своих пьесах, и Гоголя, и Островского, и сам Островский пожелал исполнить роль Подхалюзина уже после того, как она

была создана такими силами, как Садовский и П. Васильев.

За три самых бойких месяца сезона вплоть до поста театральный Петербург показал мне себя со всех сторон.

«Александринка» тогда еще была в загоне у светского общества. Когда состоялся тот спектакль в Мариинском театре (там играла и драматическая труппа), где в «Грозе» Снеткова привлекла и петербургский «монд», это было своего рода событием.

Русская опера только что начала подниматься. Для нее немало сделал все тот же Федоров, прозванный «Губошлепом». В этом чиновнике-дилетанте действительно жила любовь к русской музыке. Глинка не пренебрегал водить с ним приятельство и даже аранжировал один из его романсов: «Прости меня, прости, небесное созданье».

Тогда в русской опере бывали провинциалы, чиновники (больше все провиантского ведомства, по соседству), офицеры и учащаяся молодежь. Любили «Жизнь за царя», стали ценить и «Руслана» с новой обстановкой; довольствовались такими певцами, как Сетов (тогдашний первый сюжет, с смешноватым тембром, но хороший актер) или Булахов, такими примадоннами, как Булахова и Латышева. Довольствовались и кое-какими переводными новинками, вроде «Марты» *, делавшей тогда большие сборы.

Но в опере были такие таланты, как О. А. Петров и его сверстница по репертуару Глинки Д. М. Леонова, тогда уже не очень молодая, но еще с прекрасным голосом и выразительной игрой.

Оригинальное композиторство только еще намечалось. Ставилась «Русалка»; Серов уже написал свою «Юдифь». Образовался уже кружок «кучкистов» *.

Через Балакирева я ознакомился на первых же порах с этим русским музыкальным движением; но больше присматривался к нему во второй сезон и в отдельности поговорю об этом дальше.

Остальные три труппы императорских театров стояли очень высоко, были каждая в своем роде образцовыми: итальянская опера, балет и французский театр. Немецкий театр не имел и тогда особой привлекательности ни для светской, ни для «большой» публики; но все-таки стоял гораздо выше, чем десять и больше лет спустя.

Лично я не стал фанатиком итальянской оперы, посещал ее сравнительно редко и только на третью зиму (уже редактором) обзавелся абонементом. Тогда самым блестящим днем считался понедельник, когда можно было видеть весь придворный, дипломатический, военный и сановный Петербург.

Но и в эти дни не бросалось в глаза то усиленное франтовство, отчаянная погоня за модами, такой спорт ношения бриллиантов и декольте, как теперь в Мариинском на воскресных спектаклях балета. Все было гораздо поскромнее, и не царило такое стихийное увлечение певцами, как в последние годы. Не было таких «властителей», которые могли брать безумные гонорары и вызывать истерические вопли теперешних психопаток.

А вспомните, что только что умерла (при мне) Бозио, пели такие тенора, как Тамберлик и Кальцолари.

В известные дни можно было всегда достать билеты даже и у барышников не за разбойнические цены. Словом, тогда «улица», толпа так не царила: все держалось в известных пределах, да и требования были иные.

На балет не так тратили, как это повелось со второй половины 80-х годов, при И. А. Всеволожском; постановки не поражали такой роскошью; но хореография была не ниже, а по обилию своих, русских, талантов и выше.

Я застал самый роскошный расцвет грации и танцев Петипа («по себе» — Суровщиковой), таких балерин, как Прихунова, Е. Соколова, Муравьева и целый персонал первоклассных солисток. То же и в мужском персонале с такими исполнителями, как старик Гольц, сам Петипа, Иогансон, Л. Иванов, Кшесинский, Стуколкин, Пишо и т. д. и т. д.

И в балетомана я не превратился: слишком разнообразны были для меня после дерптской скудости зрелища, хотя, кроме императорской дирекции, никому тогда не дозволялось давать ни опер, ни драм, ни комедий — ничего!

Французская труппа (уже знакомая мне и раньше, в мои приезды студентом) считалась тогда после парижской «Comedie Francaise» едва ли не лучше таких театров Парижа, как «Gymnase» и «Vaudeville».

Сравнивать я не мог до поездки в Париж, уже в 1865 году; но и безотносительно труппа была полная и

довольно блестящая, а репертуар, как и всегда, возобновлялся каждую субботу; но тогда гораздо чаще давали водевили, фарсы и бульварные мелодрамы.

Амплуа героинь занимала роскошная блондинка, г-жа Напталь-Арно, вышедшая вторым браком за петербургского игрока, г. Э. Она брала больше красотой и пластикой и в драме казалась нам рутиннее и тяжелее, чем в светской комедии.

Но в труппе были таких две превосходных актрисы на пожилые роли, как Вольнис и жена первого комика Лемениль. С прошлым парижской знаменитости, когда-то блестящей и увлекательной jeune première, Вольнис держала теперь амплуа матерей и характерных персонажей, как никто позднее, вплоть до настоящей минуты. Комический персонал вообще выделялся тогда: в труппе еще состояли такие артисты, как Лемениль, Верне, Дешан, Пешна, Тетар и целый ассортимент молодых хорошеньких актрис, в том числе и знаменитая когда-то наездница (и даже директорша бывшего «императорского» цирка) Лора Бассен.

Дирекция держала в своих руках, как я уже заметил, все артистические удовольствия Петербурга, и даже концерты давались только с ее разрешения. До поста их давали мало. Любимыми «утрами» были университетские симфонические концерты под управлением виолончелиста Шуберта. Постом начинался в театрах ряд бенефисных «живых картин» — тогдашняя господствующая и единственная форма драматических зрелищ, так как ни оперы, ни балета, ни драмы давать постом не разрешали. К посту и для меня пришло время подумать о подготовке к экзамену на кандидата административного права.

Весь этот развал сезона дал мне вкусить тогдашнюю столичную жизнь в разных направлениях. В писательский мир я уже был вхож, хотя еще с большими пробелами, в театральный также, публичные сборища посещал достаточно.

Через двоих моих сожителей по квартире, В. Д[онду]кова и П. Г[ейде]на, я ознакомился отчасти и с сферой молодых гвардейцев. Они оба вышли из Пажеского корпуса, и один из них, Г[ейден], кончил курс в Артиллерийской академии, а Д[ондуков] состоял вольным

слушателем в университете. В военную службу никто из них не поступил.

Для меня, как для будущего бытописателя, не лишенными интереса оказались и их воспоминания, рассказы, анекдоты кадет о лагерной службе и все их ближайшие приятели, служившие в разных частях гвардии.

Светский круг знакомств сложился у меня с первой же зимы довольно большой, главным образом через Д[ондуко]ва, с семейством которого я в Дерпте так сошелся, и через мою двоюродную сестру С. Л. Боборыкину, тогда круглую сироту, жившую у своей кузины, кн. Шаховской, жены известного тогда крупного деятеля по финансово-экономической части А. И. Бутовского, директора департамента мануфактур и торговли.

Сонечка Боборыкина считалась красавицей. Когда она была еще в Екатерининском институте и я навещал ее студентом, моя мать сильно побаивалась, чтобы я со временем не женился на ней. До этого не дошло, и когда я нашел ее в доме Бутовских роскошной девицей, собирающейся замуж, у нас установились с ней чисто приятельские отношения. Я не был уже влюблен в нее, а она имела со мной всегда шутливый тон и давала мне всякие юмористические прозвища.

В доме ее кузины, в огромном казенном помещении около Технологического института, давали танцевальные вечера, и с многими дамами и девицами я познакомился, как писатель. Но это не было там особенно привлекательным званием.

В ту же зиму Сонечка вышла за офицера некрасивой наружности, без всякого блеска, даже без большого состояния, одного из сыновей поэта Баратынского, к немалому удивлению всех ее поклонников. Они поселились в Петербурге, и у меня стало зимним домом больше.

В том, что теперь зовут «интеллигенцией», у меня не было еще больших связей за недостатком времени, да и вообще тогдашние профессиональные литераторы, учителя, профессора, художники — все это жило очень скромно. Центра, вроде Союза писателей, не существовало. Кажется, открылся уже «Шахматный клуб»; * но я в него почему-то не попадал; да он и кончил фиаско. Вместо объединения кружков и партий он, кажется, способствовал только тому, что все это гораздо сильнее обострилось *.

В обществе чувствовалось все сильнее либеральное течение, и одним из его симптомов сделались воскресные школы *. Вскоре их ограничили, но в мою первую петербургскую зиму это превратилось даже в некоторых местностях Петербурга в светскую моду. Учили чумазых сапожных и кузнечных мальчиков фрейлины, барышни, дамы, чиновники, военные, пажи, лицеисты, правоведы, разумеется, и студенты.

И меня в первый раз повезла в школу Гальванической роты (около Садовой) большая барыня (но с совершенно бытовым тоном), сестра графини Соллогуб, А. М. Веневитинова, на которой когда-то Гоголь мечтал, кажется, жениться. Она ездила туда с своей девочкой, и мы втроем обучали всякий народ обоего пола.

Там-то я и познакомился сначала с П. В. Анненковым. Преподавал ли он сам — не знаю, больше наезжал и состоял, вероятно, в одном из комитетов.

Поддерживал я знакомство и с Васильевским островом. В университет я редко заглядывал, потому что никто меня из профессоров особенно не привлекал: а время у меня было и без того нарасхват. Явился я к декану, Горлову, попросить указаний для моего экзамена, и его маленькая, курьезная фигурка в халате оставила во мне скорее комическое впечатление.

А «властителя дум» у тогдашнего студенчества почти что не было. Популярнее были Кавелин, Утин, Стасюлевич, Спасович. О лекциях, профессорах в том кружке, куда я был вхож, говорили гораздо меньше, чем о всяких злобах дня, в том числе и об ожидавшейся к 19-му февраля крестьянской «воле».

В кружке, куда я попадал, главную роль играли Михаэлис и один из братьев Неклюдовых, бывших казанских студентов. Иван, старший, весь ушел в книжки и лекции и сделался потом образцовым сенатским чиновником.

Младший — Николай, перешедший также из Казани, увлекался разными веяниями, а также и разными предметами научных занятий. Он из математика превратился в юриста и скоро сделался вожаком, оратором на вечеринках и сборищах. Та зима как раз и шла перед взрывом беспорядков к сентябрю 1861 года *.

Но пока еще ничего особенного не происходило. Оба эти вожака, Михаэлис и Неклюдов, выделялись больше

других. Они должны были сыграть роль в массовом движении через несколько месяцев.

Двух других студентов — «деятелей» с влиянием, бывавших везде, я хорошо помню из той же эпохи. Одного из них я зазнал годом раньше. Это были Чубинский и Покровский. Оба очутились потом в ссылке.

Чубинский водил приятельство с Аполлоном Григорьевым, еще когда тот состоял одним из редакторов «Русского слова» гр. Кушелева-Безбородко. Покровского я помню уже перед самым уличным движением в сентябре.

У братьев Бакст собирались часто. Там еще раньше я встречался с покойным В. Ковалевским, когда он носил еще форму правоведа. Он поражал, сравнительно с студентами, своей любознательностью, легкостью усвоения всех наук, изумительной памятью, бойкостью диалектики (при детском голосе) и необычайной склонностью участвовать во всяком движении. Он и тогда уже начал какое-то издательское дело, переводил целые учебники.

Роль «старосты» в смысле движения играл Михаэлис — натурой и умом посильнее многих, типичный выученик тогдашней эпохи, чистокровный «нигилист», каким он явился у Тургенева, пошедший в студенты из лицеистов, совершенно «опростивший» себя — вплоть до своего внешнего вида — при значительной, почти красивой наружности.

В этом кружке, кажется, он один был запросто вхож к Чернышевскому, вероятно через М. Л. Михайлова, так как он был родной брат г-жи Шелгуновой.

Николай Неклюдов и тогда уже смотрел кандидатом в пансионеры Петропавловской крепости, куда и попал позднее. В нем температура его «разрывных» взглядов и стремлений сказывалась всегда и в приподнятом тоне его высокого певучего голоса, и в выражении красивых, темных глаз. Юноша этот легко увлекал толпу товарищей и отличался смелостью вожака и даже трибуна.

И кто бы подумал, что настанет такой момент, когда его тело (в звании товарища министра внутренних дел) вынесут из какого здания? Из бывшего Третьего отделения, куда я ходил когда-то в театральную цензуру к И. А. Нордштрему.

Несколько раньше (Неклюдов был уже не то обер-прокурор, не то товарищ государственного секретаря*) судьба столкнула нас на прогулке в Киссингене.

Мы не видались более двадцати лет. Я его помнил еще молодым мировым судьею (после его студенческих передряг в крепости) и видел перед собою очень утомленного, болезненного мужчину неопределенных лет, сохранившего все тот же теноровый студенческий голос.

— Видите, Неклюдов,— сказал я ему, — какие жизнь шутки шутит.

Идя рядом по аллее, он вбок посмотрел на меня вопросительно.

— Вот хоть бы взять и нас обоих? Вы с тех пор, как мы встречались на острову, — из красного сделались розовым, а потом и совсем побелели. А я все краснел по сие время. Может быть, дойду и до густо-красного колера?

Он ничего на это не заметил.

Но и я еще *тогда* не ожидал, что той же судьбе угодно будет устроить вынос его тела из дома государственной полиции.

И то сказать, еще Герцен острил, что в Петропавловской крепости меняются не только «образы *мыслей*», но и «образы *мыслителей*».

Вот в таких кружках, какой я посещал, и по городу у педагогов, чиновников, неслужащих дворян (которых было больше, чем теперь) и шло движение, кроме редакции журналов, вроде «Современника». Но столичная жизнь в более осязательных своих проявлениях не давала достаточно чувствовать, что мы накануне великого дня 19-го февраля. Журнальный мир не был объединен общностью своих интересов. Крепостное право, кроме «Вести», никто не поддерживал. Каждый почти журнал стоял за освобождение крестьян с землею: *но это не носилось в воздухе*. Да и средств не имелось еще налицо для более ярких проявлений общественного чувства.

Пишущая братия сидела по редакциям. Не устраивалось ни обедов, ни банкетов, ни чтений в известном духе. Все это было бы гораздо труднее и устраивать. Правительство, как всегда, делало из мухи слона. Неизвестно, по каким донесениям своих агентов оно вообразило себе, что ко дню объявления воли произойдут уличные беспорядки.

И оно не решилось объявить о ней в самый день подписания манифеста, а позднее, в прощальное воскресенье на масленице, что пришлось уже в марте.

Да никто среди молодежи и не говорил о том, что готовятся какие-нибудь манифестации. Столица жила своим веселым сезоном. То, что составляет «tout Petersbourg» [1], оставалось таким же жуирным, как и сорок четыре года спустя, в день падения Порт-Артура или адских боен Ляояна и под Мукденом;* такая же разряженная толпа в театрах, ресторанах, загородных увеселительных кабаках.

Кто радовался освобождению, — а таких было немало, — делали это тихо, келейно.

В ту «историческую» зиму едва ли не в одном движении по воскресным школам сказался пульс либерального Петербурга... да и оно должно было стихнуть после разных полицейских репрессий.

Всего прямее следовало бы ему сказываться в общей товарищеской жизни тогдашнего писательства; но этого, повторяю, не было. Иначе в эти три месяца до 19 февраля, наверно, были бы сборища, обеды, вечера, заседания, на которые я, конечно бы, попал.

Если взять хотя бы такого писателя, как П. И. Вейнберг с его общительными и организационными наклонностями, и сравнить его жизнь теперь, когда ему минуло 76 лет, и тогда, как он был молодой человек 31 года и вдобавок стоял во главе нового, пошедшего очень бойко журнала.

Этот журнал, свои дела, женитьба поглощали его совершенно. Я видал его в конторе, на Невском, в театрах (и то редко); но не помню, чтобы он устраивал что-нибудь общелитераторское, в чем сказывалась бы близость великой исторической годовщины, расколовшей историю России на две эпохи: рабовладельчества и падения его.

Был дом литературного мецената гр. Кушелева-Безбородко, затеявшего незадолго перед тем журнал «Русское слово».

Он кормил и поил пишущую братию, особенно в первые два года. Журнал (к зиме 1860—1861 года) взял уже в свои руки Благосветлов. Прежняя редакция рас-

---

[1] весь Петербург *(франц.)*.

палась. А. Григорьев ушел к братьям Достоевским в журнал «Время».

Но разливанное море, может быть, и в ту зиму еще продолжалось. Я туда не стремился, после того как редакция «Русского слова» затеряла у меня рукопись моей первой комедии «Фразеры».

От того же П. И. Вейнберга (больше впоследствии) я наслышался рассказов о меценатских палатах графа, где скучающий барин собирал литературную «компанию», в которой действовали такие и тогда уже знаменитые «потаторы»[1], как Л. Мей, А. Григорьев, поэт Кроль (родственник жены графа) и другие «кутилы-мученики». Не отставал от них и В. Курочкин.

Вообще, я уже и тогда должен был помириться с тем фактом, что нравы пишущей братии по этой части весьма и весьма небезупречны. Таких алкоголиков — и запойных, и простых, — как в ту «эпоху реформ», уже не бывало позднее среди литераторов, по крайней мере такого «букета», если его составить из Мея, Кроля, Григорьева и Якушкина, знаменитого «ходебщика», позднее моего сотрудника.

Даже такой на вид приличный и даже чопорный человек, как Эдельсон, приятель Григорьева и Островского (впоследствии мой же сотрудник), страдал припадками жестокого запоя. Но он это усиленно скрывал, а завсегдатаи кушелевских попоек делали все это открыто и, по свидетельству очевидцев, позволяли себе в графских чертогах всякие виды пьяного безобразия.

Я счастлив тем, что инстинктивно воздерживался от прямого знакомства с такими «эксцессами» представителей литературы, которой я приехал служить верой и правдой. Сколько помню, я не попал ни на один такой безобразный кутеж.

Но распущенность писательских нравов не вела вовсе к закреплению товарищеского духа. Нетрудно было мне на первых же порах увидать, что редакции журналов (газеты тогда еще не играли роли) все более и более обособляются и уже готовы к тем ужасным схваткам, которые омрачили в скором времени петербургский журнализм небывалым и впоследствии цинизмом ругани.

---

[1] пьяницы (от *лат.* potator).

Нечего, стало быть, и удивляться тому, что день, когда появился манифест 19 февраля, прошел в петербургском писательском мире без всякого торжества *, как самый заурядный последний день масленицы.

Опасения правительства до поздних часов ночи оказались пуфом.

А с утра по Невскому, по Морским, по другим улицам и в центре, и на окраинах разъезжали патрули жандармов. Этим только и отличалось масленичное воскресенье от последних дней той же кутильной недели. Те же балаганы, катанье на них, вейки-чухонцы, снованье праздного подвыпившего люда. Ничего похожего на особые группы молодежи, на какую-нибудь процессию.

Этого даже и в воздухе не было. Не помню, чтобы и на Васильевском острову собирались какие-нибудь студенческие группы.

Дообеденные часы я, как страстный любитель сцены, провел в Михайловском театре на какой-то французской пьесе, мною еще не виданной. Помню, сбор был плохой. В буфетах тогда можно было иметь блины, и я спросил себе порцию в один из антрактов.

И до театра и после него (еще засветло) я проехал по Невскому и Морским, и в памяти моей остался патруль жандармов, который я повстречал на Морской около пешеходного мостика, где дом, принадлежащий министерству внутренних дел.

И тогда же до обеда я попал в мой студенческий кружок, в квартиру, где жил Михаэлис с товарищем. Там же нашел я и М. Л. Михайлова за чаем. Они только что читали вслух текст манифеста и потом все начали его разбирать по косточкам. Никого он не удовлетворял. Все находили его фразеологию напыщенной и уродливой — весь его семинарский «штиль» митрополита Филарета *. Ждали совсем не того, не только по форме, но и по существу.

Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения.

Тут в первый раз тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли»; но и раньше я догадывался, что его считают прикосно-

венным к революционной организации после его поездки за границу, в Лондон.

Так оно и случилось, и вскоре по Петербургу были уже разбросаны прокламации, автором которых и оказался Михайлов *.

Кажется, больше я его уже не встречал, и только после приговора мне дали взглянуть на карточку, где он снят в шинели и фуражке арестанта в ту минуту, когда его заковывали в кандалы.

Надо было окончательно с первым великопостным колоколом засесть за чтение лекций и учебников.

Раздобыться лекциями по всем *главным* предметам было нелегко. А из *побочных* два предмета «кусались» больше главных: это курсы Спасовича и Кавелина.

Николай Неклюдов свел меня в аудитории с одним вольнослушателем, Неофитом К[алини]ным. От него я и пользовался многими записками. Мне предстояло сдавать с четверокурсниками. Экзамены начинались с мая. Времени, по моему расчету, хватало. Как бывший камералист, я уже сдавал экзамены из политической экономии, слушал части статистики, финансового права, уголовных законов Российской империи. Я смотрел на себя, уже как на писателя с большим университетским прошедшим, с привычкой к более серьезной работе. То, как я делал когда-то по химии и медицинским наукам, — все это стояло гораздо выше чтения лекций по предметам, не требовавшим никакой особенной остроты памяти или специальных дарований. Словом, готовился я с полной уверенностью в успехе и даже «с прохладой», в первые недели великого поста продолжал выезжать по вечерам; бывал в концертах и на живых картинах.

Политической экономией начинались экзамены. Прочитал я учебник Горлова и еще две-три книги. Когда-то И. К. Бабст поставил мне в Казани *пять* с *плюсом,* и его преподавание было новее и талантливее, чем у Горлова.

Настало и то «майское утро», когда надо было отправляться на Васильевский остров и начинать мытарства экзамена. Предметов одних главных оказалось чуть не десяток: политическая экономия, статистика, русское государственное право, государственное право

иностранных держав, международное право, финансовое право, торговое право и еще что-то.

Некоторых профессоров, например Ивановского, Андреевского, Михайлова, я и в глаза не видал и слышал очень мало о том, *как* они экзаменуют, к чему надо больше и к чему меньше готовиться.

Политическая экономия, худо ли — хорошо ли, вошла в чемодан памяти. Через день надо было отправляться.

И вдруг опять вести из Нижнего: отчаянные письма моей матушки и тетки. Умоляют приехать и помочь им в устройстве дел. Необходимо съездить в деревню, в тот уезд, где и мне достались «маетности», и поладить с крестьянами другого большого имения, которых дед отпустил на волю еще по духовному завещанию. На все это надо было употребить месяца два: то есть май и июнь.

Я сам видел необходимость ехать в Нижний, но *после* экзамена. А тут приходилось поставить все вверх дном.

Как быть?

Еду в университет, ищу ректора, добрейшего П. А. Плетнева, наталкиваюсь на него в коридоре, излагаю ему мое затруднительное положение, прошу разрешить мне сдать все экзамены в сентябре, когда будут «переэкзаменовки».

Он затруднился дать мне такой отпуск собственной властью, что меня несколько удивило, и тут же послал меня к попечителю.

— Иван Давыдович (Делянов) примет вас и сделает все, что можно.

Отправляюсь в дом Армянской церкви, где жил Делянов, и меня сейчас же принимают.

— Так и так — необходим отпуск и позволение держать в сентябре.

Иван Давыдович, ходивший со мною по кабинету мелкими шажками, остановился, положил руку на мое плечо и, подмигнув, сказал так сладко:

— Мой друг... у вас найдется знакомый доктор... добудьте свидетельство.

Я понял — *какое.*

И вот — в первый и в последний раз в моей жизни — я пошел на такую процедуру: добывание *лжесвидетель-*

ства — по благосклонному наущению попечителя округа. Больше мне никогда не приводилось выправлять никаких свидетельств такого же рода.

Кто-то расписался в том, что у меня злокачественный «катар» чего-то, я представил этот *законный* документ при прошении и прервал экзамены, не успев даже предстать перед задорную фигурку профессора Горлова, которого так больше и не видал, даже и на сентябрьских экзаменах, когда он сам отсутствовал.

С моим благодетелем по части лекций Неофитом я условился (если он также будет почему-либо держать в сентябре) усиленно готовиться вместе денно и нощно начиная с июля, для чего и просил его подыскать мне квартирку на острову.

Приходилось поступать на амплуа хозяина и ходатая по владельческим интересам моих сонаследниц.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Деревня. — Мое владельчество. — Возвращение в Петербург. — Экзамены. — Волнения в университете. — История моего диплома. — Постановка «Однодворца» в бенефис Павла Васильева. — Столкновение с Самойловым. — Линская. — Поездка в Москву. — «Однодворец» в бенефис П. М. Садовского. — Воспитанница Позднякова. — «Ребенок» в Москве и Петербурге. — Ф. А. Снеткова в роли Верочки. — Петербургские сезоны 1861—1862 и 1862—1863 годов. — Мой дебют как фельетониста «Библиотеки для чтения». — Нигилизм. — Чернышевский на эстраде дома Руадзе. — Общий уровень тогдашней молодежи. — Инцидент с «Искрой». — Дальнейшие знакомства с писателями

Деревню я знал до того только как наблюдатель, и в отрочестве, и студентом проводя почти каждое лето или в подгородней усадьбе деда около Нижнего (деревня Анкудиновка), или — студентом — у отца в селе Павловском Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

Крестьянство всегда интересовало меня. Студентом я стал входить с ним в большее общение и присматриваясь к хозяйству отца и как студент медицины, когда начал полегоньку полечивать его крестьян.

Крепостное право было в полном разгаре на всем протяжении моих детских и юношеских лет — вплоть до акта эмансипации в начале 1861 года. Но я не могу сказать, чтобы я делался очевидцем самых тяжелых сторон рабовладельчества. Ни у деда — довольно-таки строгого помещика, — ни еще менее у отца моего, я не был свидетелем таких фактов крепостничества, которые залегают в душу на всю жизнь. Еще в городе в доме деда (со стороны матери) припоминаются сцены, где права «вотчинника» заявляли себя, вроде отдачи лакеев в солдаты и арестантские роты, обыкновенно за

кражу со взломом; но дикостей крепостного произвола над крестьянами — за целых десять и более лет, особенно у отца моего — я положительно не видал и не хочу ничего прикрашивать в угоду известной тенденции.

Тогда всех нас — юношей — в николаевское время гораздо сильнее возмущали уголовные жестокости: торговые казни кнутом, прохождение «сквозь строй», бесправие тогдашней солдатчины, участь евреев-кантонистов. На все это можно было достаточно насмотреться в таком губернском городе, как мой родной город, Нижний. К счастью для меня, целых пять лет, проведенных мною в Дерпте, избавили меня почти совершенно от таких удручающих впечатлений.

Но летом 1861 года *я сам* должен был выступить в звании «вотчинника», наследника двух деревень, и, кроме того, принужден был взять на себя и роль посредника и примирителя между моими сонаследницами, матушкой моей и тетушкой, и крестьянским обществом деревни Обуховка (в той же местности), — крестьянами, которых дед мой отпустил на волю с землей — по духовному завещанию, стало быть, еще до 19-го февраля 1861 года.

Поехал я из Нижнего в тарантасе — из дедушкина добра. На второе лето взял я старого толстого повара Михайлу. И тогда же вызвался пожить со мною в деревне мой товарищ З — ч, тот, с которым мы перешли из Казани в Дерпт. Он тогда уже практиковал как врач в Нижнем, но неудачно; вообще хандрил и не умел себе добыть более прочное положение. Сопровождал меня, разумеется, мой верный famulus Михаил Мемнонов, проделавший со мною все годы моей университетской выучки.

Впервые мог я, уже в качестве владельца, ознакомиться с крестьянским бытом, и как раз в имениях, где помещики никогда не жили.

Имение Обуховка (более трехсот душ), отошедшее на волю по завещанию моего деда, было ему пожаловано (тогда еще только в количестве ста с чем-то душ) при воцарении императора Павла, как «гатчинскому» офицеру, сейчас же переведенному в Преображенский полк.

Мы с детства всегда считали эту Обуховку благословенным краем. Оттуда привозили всякие поборы —

хлебом, баранами, живностью, маслом, медом; там были «дремучие» (как мы думали) леса, там мужики все считались отважными «медвежатниками»; оттуда взяты были в двор несколько человек прислуги. И няня моей матери была также из Обуховки, и я был с младенческих лет полон ее рассказов про ее родную деревню, ее приволье, ее урочища, ее обычаи и нравы.

Первое мое впечатление было такое: из леса, которым мы ехали довольно долго, мы попали прямо против длинного деревенского «порядка» — больше все из новых изб. Незадолго перед тем Обуховка наполовину выгорела.

Этой постройкой из леса, который ни формально, ни фактически мужикам не принадлежал, начались первые же разбирательства, в которые я был — против моего желания — втянут, как защитник интересов моих сонаследниц.

Крестьяне жили неплохо, хотя и на постоянной барщине. При мне справлялись свадьбы, стоившие всегда не меньше ста и полутораста рублей на угощенье. По завещанию деда они получили, кроме усадебной земли, по три десятины на душу, что в том крае считалось высшим наделом *.

Управлял Обуховкой приказчик из бывших камердинеров моего деда, потихоня, плутоватый и тайно испивающий. Он жил в барском «флигере» на людской половине. А комнатки на улицу пошли под меня.

Сейчас же я очутился в совершенно чуждой и жуткой для меня сфере застарелых счетов между конторой и миром, с пререканиями, наветами, обличениями и оправданиями.

Совсем вновь встал я лицом к лицу и к деревенскому парламенту, то есть к «сходу», и впервые распознал ту истину, что добиваться чего-нибудь от крестьянской сходки надо, как говорится, «каши поевши». Как бы ясно и очевидно ни было то, что вы ей предлагаете или на что хотите получить ее согласие — мужицкая логика оказывается всегда со своими особенными предпосылками, а стало быть, и со своими умозаключениями.

Обуховские дела брали у меня всего больше времени, и, несмотря на мое непременное желание уладить все мирно, я добился только того, что какой-то грамо-



А. Ф. Писемский
1860-е гг.

тей настрочил в губернский город жалобу, где я был назван «малолеток Боборыкин» (а мне шел уже 25-й год) и выставлен, как самый «дошлый» их «супротивник».

То же испытал я позднее и с крестьянами тех двух деревень, которые отошли мне по завещанию моего деда.

При одной из них я нашел хутор с инвентарем, довольно плохим, скотиной и запашкой, кроме леса-«заказника». Имения эти дед мой (без всякой надобности) заложил незадолго до своей смерти, и мне из выкупной ссуды досталась впоследствии очень некрупная сумма.

Тут я увидал, тоже впервые, что во мне нет никакой хозяйственной «жилки», что я *не рожден собственником*, что приобретательское скопидомство совсем не в моей натуре.

Как бывший студент-«камералист», я мог бы заинтересоваться агрономией. Поля, лес, быт мужиков, сельскохозяйственные порядки — все это и писателя могло в известной степени привлекать; но всему помехой было положение владельца, барина, «вотчинника». А отсутствие более сильных хозяйственных наклонностей не давало того себялюбивого, но естественного довольства от сознания, что вот у меня лично будет тысяча десятин незаложенной земли, что у меня есть лес-«заказник», что я могу хорошо обставить хутор, завести образцовый скотный двор. Словом, отсутствовало то помещичье-приобретательское чувство, которому Л. Толстой — он это говорит в своей «Исповеди» — предавался не один десяток лет.

Я был прирожденный «citadin», городской житель, то, что потом я сам в русской печати окрестил термином «интеллигент».

И меня с первых же недель потянуло назад, в Петербург, где я принужден был бросить экзамены.

Соседи мои так и посмотрели на меня. Я попал в целое «дворянское гнездо». Поблизости к Обуховке стояло большое село Ш — во, и там я нашел три помещичьих усадьбы. Один из братьев Р[агозиных] был и моим мировым посредником, сам хороший, рациональный агроном, мягкий, более гуманный, с оттенком либерализма, который сказывался и в том, что он ходил и у себя и

в гостях в русском костюме (ополченской формы), но без славянофильского жаргона. К нему надо было обращаться по всем моим делам с крестьянами, и обуховскими, и моими временнообязанными.

Николай Иванович помогал мне своими советами и, как посредник, считался скорее сторонником крестьян; но ему хотелось бы видеть во мне молодого владельца, который «сел бы» на землю и превратился в рационального хозяина, а потом послужил бы *земству*, о чем уже начали поговаривать, как о ближайшей реформе.

Дамы и девицы в трех усадьбах смотрели на меня только как на петербургского молодого человека, выбравшего себе писательскую дорогу. Это считалось не особенно привлекательным и почетным; но не было и никакой враждебности. Общий культурный уровень был не особенно выше среднего. Кое-что почитывали, занимались музыкой, говорили по-немецки и по-французски. Но даже и у самого развитого и либерального Николая Ивановича — моего посредника — не было заметно особенного желания делать что-нибудь для народа вне хозяйственной сферы. Школ и больниц я что-то во всей округе не помню в помещичьих имениях.

Мои собственные владельческие дела шли очень медленно. Хозяйничать я не сбирался; но — «пока что» — надо было как-нибудь да вести так называемое «барское» хозяйство. Барщины уже не было. Главный и неотлагательный вопрос был написание уставной грамоты. И тут я и вошел в долгие переговоры с миром. Сходка — не знаю уже на что рассчитывая — упиралась безусловно, на выкуп не шла, даже и на самых льготных условиях, и дело это тянулось до тех пор, пока я принужден был дать крестьянам обеих деревень даровой надел (так называемый «сиротский»), что, конечно, невыгодно отозвалось в ближайшем будущем на их хозяйственном положении.

Забегая вперед на целый год, я покончу здесь с моей судьбой как землевладельца. Я должен был взять приказчика; а со второго лета хозяйством моим стал заниматься тот медик З — ч — мой товарищ по Казани и Дерпту, который оставался там еще несколько лет, распоряжаясь как умел запашкой и отдачей земли в аренду. Но дефицит по изданию «Библиотеки для чтения» заставил меня к 1864 году заложить мою землю с лесом

в Нижегородском дворянском банке за ничтожную сумму в 15000 рублей (теперь она стоила бы гораздо более *ста* тысяч), и она пошла с аукциона менее чем за двадцать тысяч. Тогда цены на земли не были еще высоки, и один из моих соседей, брат посредника, воспользовался таким выгодным случаем и купил землю (вероятно, с переводом долга) за несколько тысяч рублей.

И вышло так, что все мое помещичье достояние пошло, в сущности, на литературу. За два года с небольшим я, как редактор и сотрудник своего журнала, почти ничем из деревни не пользовался и жил на свой труд. И только по отъезде моего товарища З — ча из имения я всего один раз имел какой-то доход, пошедший также на покрытие того многотысячного долга, который я нажил издательством журнала к 1865 году.

Не считаю лишним сказать здесь с полной искренностью, что в те годы, когда я неожиданно стал землевладельцем и должен был сводить свои счеты с крестьянами, я не был подготовлен в своих идеях и принципах к тому, например, чтобы *подарить* крестьянам полный надел, какой полагался тогда по уставным грамотам. Не знаю, сделал ли я бы это, если б имение не было заложено. Как раз три четверти выкупной ссуды, освободившей меня от долга, и представляли бы собою дополнительный надел — до полной нормы, если б я им отдал их землю даром.

Не в виде оправдания, а как фактическую справку — приведу то, что из людей 40-х, 50-х и 60-х годов, сделавших себе имя в либеральном и даже радикально-революционном мире, один только Огарев еще в николаевское время отпустил своих крепостных на волю *, хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славянофилы, по-тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Самарин, ни Аксаковы, ни Киреевские, ни Кошелевы), ни И. С. Тургенев, ни М. Е. Салтыков, жестокий обличитель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так много ратовавший за общину и поднятие крестьянского люда во всех смыслах. *Не сделал этого и Лев Толстой!*

И Герцен хотя фактически и не стал по смерти отца помещиком (имение его было конфисковано), но как домовладелец (в Париже) и капиталист-рантье не сделал ничего такого, что бы похоже было на дар крестьянам, даже и вроде того, на какой пошел его друг Огарев,

Рабовладельчеством мы все возмущались, и от меня — по счастию! — отошла эта чаша. *Крепостными* я не владел; но для того, чтобы произвести даровое полное отчуждение, надо и теперь быть настроенным в самом «крайнем» духе. Да и то обязательное отчуждение земли, о которое первая Дума так трагически споткнулась *, в сущности есть только выкуп (за него крестьяне платили бы государству), а не *дар,* в размере хорошего надела, как желали народнические партии трудовиков, социал-демократов и революционеров.

Мои временнообязанные получили даровую землю, только в недостаточном количестве — разница количественная, а не по существу *. Прибавлю (опять-таки не в оправдание, а как факт), что они могли тут же арендовать у землевладельца землю по цене, меньшей той, что с них потребовали бы «хорошие» хозяева, а не молодой писатель, который так скоро стал тяготиться своей ролью владельца.

Первая моя экскурсия в деревню летом 1861 года длилась всего около двух месяцев; но для будущего бытописателя-беллетриста она не прошла даром. Все это время я каждый день должен был предаваться наблюдениям и природы, и хозяйственных порядков, и крестьянского «мира», и народного быта вообще, и приказчиков, и соседей, и местных властей вроде тех, кто вводил меня во владение.

В Петербург я возвращался уже с некоторыми *плюсами* в моем знакомстве с тогдашней дворянско-мужицкой жизнью. Но надо было торопиться. На подготовку к кандидатскому экзамену оставалось не полных два месяца.

И вот я опять студент, да еще житель Васильевского острова.

Вольнослушатель Неофит К[алини]н, с которым меня познакомил Николай Неклюдов, приготовил мне квартирку у какой-то немки в нескольких шагах от того дома, где он жил, — кажется, в 10-й линии.

И началось «зубренье». Странно выходило то, что всего сильнее мы должны были готовиться из двух *побочных* предметов — из уголовного права (с его теорией) и гражданского — оттого, что обоих профессоров

всего больше боялись, как экзаменаторов — В. Д. Спасовича и К. Д. Кавелина.

Ни того, ни другого я еще лично не знавал: Спасовича видел на «пробном» суде присяжных (когда судили студента за растрату); а Кавелина видал в аудиториях.

Курс Спасовича был двойной: право с его теорией и история судебных учреждений, начиная с древности.

Тогда уже вышел его учебник, составленный очень подробно и набитый изложением разных теорий вменения; * моему коллеге К[алини]ну все это довольно-таки туго давалось. И многое приходилось перечитывать по два и по три раза.

Читали мы целый день — до поздних часов белых ночей, часов иногда до двух; никуда не ездили за город, и единственное наше удовольствие было ходить на Неву купаться. На улицах стояло такое безлюдье, что мы отправлялись в домашних костюмах и с собственным купальным бельем под мышкой.

Иногда — к концу нашего сидения — приходили приятели К[алини]на из студентов или бывших студентов. У него я познакомился с В. В. Чуйко (критиком), только что вернувшимся из-за границы.

Но я все-таки не мог уйти совершенно от интересов и забот драматического писателя, у которого уже больше года его первая пьеса «Однодворец» томилась в Третьем отделении вместе с драмой «Ребенок».

Цензор потребовал от меня переделки двух актов — второго и третьего. Его смущала сцена супружеской неверности. *Адюльтер* считался тогда вообще запретным плодом, и тень моего Ивана Андреевича Нордштрема содрогнулась бы, если б она попала на представления некоторых нынешних пьес на казенных сценах.

Пришлось урвать у заучиванья лекций добрую неделю, чтобы вовремя представить опять «Однодворца» и добиться его разрешения к началу сезона.

Нам, «администраторам», желавшим сдавать на кандидата, дали для сдачи *всех* главных предметов (а их было около десятка) всего *один день!*

Через такой эксперимент я еще не проходил во всю мою долгую студенческую жизнь в двух университетах.

В Дерпте, когда я сдавал первую половину экзаменов («rigorosum»), как специально изучающий химию — я должен был выбрать четыре главных предмета и

сдать их в один день. Но все-таки это было в два присеста, по два часа на каждый, и наук значилось всего четыре, а не восемь, если не десять.

И тот дерптский экзамен был неизмеримо серьезнее, почти как магистерский, и в другой форме, не школьнически перед столом экзаменатора, стоя — студенты в мундире, — а сидя, в виде как бы продолжительной беседы.

Отправились мы в университет первого сентября. Мой коллега К[алинин] слушал всех профессоров, у кого ему предстояло экзаменоваться; а я почти что никого, и большинство их даже не знал в лицо, и как раз тех, кто должен был экзаменовать нас из главных предметов.

Большая аудитория (какая по счету — уже не помню), светлая, обставленная во все стороны столами. К правой стороне целых три экзаменатора. Горлов (политическая экономия и статистика) не явился, и за него экзаменовал один из тех, кто сидел на этой стороне аудитории. Я никого не знал в лицо. Спрашиваю, кто сидит посреди — говорят мне: профессор финансового права; а вот тот рядом — Иван Ефимович Андреевский, профессор полицейского права и государственных законов; а вон тот бодрый старичок с военным видом — Ивановский, у которого тоже приходилось сдавать целых две науки разом: международное право и конституционное, которое тогда уже называлось «государственное право европейских держав».

Так и я стал обходить их по порядку.

Сейчас же мне бросилось в глаза то, что уровень подготовки экзаменующихся был *крайне невысок*. А сообразно с этим — и требования экзаменаторов. У И. Е. Андреевского, помню, мне выпал билет (по тогдашнему времени самый ходовой) «крестьянское сословие», и я буквально не говорил больше *пяти* минут, как он уже остановил меня с улыбкой и сказал: «Очень хорошо. Довольно-с». И поставил мне пять, чуть не с плюсом.

То же было и у финансиста; а Ивановский, прослушав меня так минут по пяти на темы «морских конвенций» и «германского союза», поставил мне две пятерки и, в паузу, выходя в одно время со мною из аудитории в коридор, взял меня под руку и спросил:

— А как вы, молодой человек, думаете поступить по сдаче кандидатского экзамена? Какую дорогу избираете?

Я понял это, как намек на то: «Не хотите ли быть оставленным при университете по одной из моих кафедр?»

Я ответил, что выбрал себе дорогу писателя и уже выступил на это поприще около года назад.

Ивановского любили, считали хорошим лектором, но курсы его были составлены несколько по-старинному, и авторитетного имени в науке он не имел. Говорил он с польским акцентом и смотрел характерным паном, с открытой физиономией и живыми глазами.

Так же быстро был мною сдан и экзамен из политической экономии и статистики, и, таким образом, все главное было уже помечено вожделенной цифрой 5. Оставалось только торговое право у бесцветного профессора Михайлова; и оно «проехало благополучно».

Такой экзамен напомнил мне николаевское время в Казани, а после дерптской «предметной системы» и гораздо большей серьезности испытаний — казался чем-то довольно-таки школьным, гимназическим.

И не мог я не видеть резкого контраста между такой плохой подготовленностью студентов (державших не иначе как на кандидата) и тем «новым» духом, какой к 60-м годам начал веять в аудиториях Петербургского университета.

Но одно дело — увлечение освободительными протестами, другое — усидчивый труд или по крайней мере общая развитость и начитанность. Некоторые студенты из петербургских франтиков прямо поражали меня своей неразвитостью. Они буквально не могли грамотно построить ни одной фразы, и нет ничего удивительного, что меня остановил Андреевский после пятиминутного ответа.

И забавнее всего было то, что такие «бакенбардисты» (термин из «Гамлета Щигровского уезда») начинали сейчас же торговаться.

— Я не могу вам поставить больше трех, — деликатнейшим тоном говорил такому индивиду все тот же Андреевский.

— Нет-с, господин профессор! Я на этом помириться не могу! Мне необходима по меньшей мере четверка,

И такие спорщики преобладали.

На побочные науки были даны другие дни. Обязательным предметом стояла и русская история. Из нее экзаменовал Павлов (Платон), только что поступивший в Петербургский университет. Более мягкого, деликатного, до слабости снисходительного экзаменатора я не видал во всю мою академическую жизнь. «Бакенбардисты» совсем одолели его. И он, указывая им на меня, повторял:

— Как же мне быть, господа? Вот *они* (это я) *как* отвечали — и я ставлю *им* пять. Могу ли я, по совести, ставить вам столько же?

По русской истории я не готовился *ни одного дня* на Васильевском острову. В Казани у профессора Иванова я прослушал целый курс, и не только *прагматической* истории, но и так называемой «пропедевтики», то есть науки об источниках вещных и письменных, и, должно быть, этого достаточно было, чтобы и через пять с лишком лет кое-что да осталось в памяти.

Из всеобщей истории отвечал я М. М. Стасюлевичу на билет об «Аугсбургском исповедании».

Оставалось два самых «страшных», хотя и побочных, предмета: гражданское и уголовное право.

Кавелин считался еще более строгим экзаменатором, чем Спасович, хотя почему-то боялись его меньше.

Экзамен происходил в аудитории, днем, и только с одним Кавелиным, без ассистента. Экзаменовались и юристы, и мы — «администраторы». Тем надо было — для кандидата — добиваться пятерок; мы же могли довольствоваться тройками; но и тройку заполучить было гораздо потруднее, чем у всех наших профессоров главных факультетских наук.

С К. Д. Кавелиным впоследствии — со второй половины 70-х годов — я сошелся, посещал его не раз, принимал и у себя (я жил тогда домом на Песках, на углу 5-й и Слоновой); а раньше из-за границы у нас завязалась переписка на философскую тему по поводу диссертации Соловьева, где тот защищал «кризис» против *позитивизма* *.

Молодой драматург, подходивший к столу брать билет из гражданского права у профессора, считавшегося, несмотря на свою популярность, очень строгим, не мог

предвидеть, что более чем через десять лет сойдется с ним, как равный с равным.

Кавелин видел меня тогда, кажется, в первый раз, но фамилию мою знал и читал если не «Однодворца», то комические сцены *, которые я напечатал перед тем в журнале «Век», где он был одним из пайщиков и членов редакции.

Передо мной сдавал (на пятерку) студент-юрист Скалон, впоследствии известный кавалерийский генерал. Не знаю, для чего ему понадобился кандидатский диплом, так как он тогда уже говорил товарищам, что сейчас же поступит в лейб-уланский полк.

Кавелин порядочно-таки «пронимал» его, заставил брать второй билет; прохаживался и по всему предмету. Все мы, чаявшие своей очереди, сейчас почуяли, что ответом в несколько минут тут не отвертишься.

Кавелин был тогда очень крепкий, средних лет и небольшого роста мужчина, с красными щеками, еще не седой, живой в движениях. Он носил — после какой-то болезни — на голове шелковую скуфью. Глаза его, живые и блестящие, зорко и экзаменаторски взглядывали на вас. Он не сидел, а двигался около стола, заложив руки в карманы панталон. Был он в вицмундире.

Впоследствии, когда я после смерти А. И. Герцена и знакомства с ним в Париже (в зиму 1868—1870 года) стал сходиться с Кавелиным, я находил между ними обоими сходство — не по чертам лица, а по всему облику, фигуре, манерам, а главное, голосу и языку истых москвичей и одной и той же почти эпохи. Кавелин рано сблизился с Герценом, и тот стал его большой симпатией до их разрыва, случившегося на почве политических взглядов и уже в шестидесятых годах: * после того момента, когда я попал в аудиторию к строгому экзаменатору.

После бойкого претендента на кандидатскую отметку, собиравшегося в уланские юнкера, подошел я к столу и взял билет: «О личных отношениях супругов между собою» по X тому.

Я сказал то, что вспомнил из записок, которые мы подзубривали с Неофитом К[алини]ным.

Кавелин заметил мне — строгонько в тоне, — что есть и другие виды супружеских отношений. Я ответил

ему, что в записках, составленных по его лекциям, стоят только эти.

Ему такой ответ не понравился, и он заставил меня взять еще билет. Это было: «О поколенном и поголовном наследстве».

Тут он стал уже *донимать* меня, ловя на неточности формулировки разных определений, и кончил такой фразой:

— Господин Боборыкин, вы пишете очень милые вещи, но я больше тройки поставить вам не могу.

— Я и не требую, господин профессор, — сказал я, несколько взволнованный таким оборотом фразы. — Но позвольте вам заметить, что мое писательство не имеет никакого отношения к этому экзамену.

Он изменился в лице; но больше ничего не сказал.

Я вышел в коридор, а через несколько минут выкатил из аудитории студент — из дерптских буршей, высланный оттуда за дуэль, подбежал ко мне и бледный кинул мне:

— Kul! Was hast du getan?! [1]

Он обвинил кругом меня в своем жестоком провале у Кавелина, которого я рассердил своим ответом, и он поставил ему единицу.

Предстояло идти ко второму «пугалу» тогдашних юристов и администраторов, к В. Д. Спасовичу.

Кто бы сказал мне тогда, что с этим профессором, которого на экзаменах боялись как огня, мы будем так долго водить приятельство, как члены шекспировского кружка, и что он в 1900 году будет произносить на моем 40-летнем юбилее одну из приветственных речей?

Спасович тогда заболел к началу наших испытаний и явился позднее. Дело было вечером. С подвязанной щекой от сильнейшего флюса, хмурый и взъерошенный, он сидел один, без ассистента, за столом, кажется, в той самой аудитории, где он зимой был председателем студенческого суда присяжных.

Большая аудитория — в полутьме, с двумя свечами на столе. У дверей в коридоре — студенты, «идущие на пропятие», скучились и, совершенно как чиновники в «Ревизоре», смертельно боятся проникнуть в то логовище, где их пожрет жестокий экзаменатор.

---

[1] Задница! Что ты наделал?! *(нем.)*

Я был одним из первых смельчаков.

Спасович действительно своим тогдашним видом мог смущать даже и тех, кто оказался похрабрее. Но этот устрашающий вид не помешал ему оказаться экзаменатором если и не во вкусе И. Е. Андреевского, то весьма справедливым и нисколько не придирчивым.

Мне надо было брать два билета — по двум курсам, и их содержание до сих пор чрезвычайно отчетливо сохранилось в моей памяти: «О давности в уголовных делах», и о той форме суда присяжных в древнем Риме, которая известна была под именем «Questiones perpetuae».

Хмурый экзаменатор, раздраженный зубной болью, по своей привычке все подталкивал меня своим «ну-с, ну-с», но ни к чему не придирался и по обоим ответам поставил мне по четыре, что было более чем достаточно для «администратора».

Так как по главным наукам у меня в среднем была пятерка, то я мог быть спокоен насчет приобретения кандидатского диплома.

А в самом университете как раз с первых чисел сентября началось усиленное брожение.

Я помню сцену, когда один из студенческих вожаков, Н. Неклюдов (будущий шеф государственной полиции) догонял попечителя, генерала Филипсона, во главе группы студентов, вступал с ним в переговоры и ставил свой ультиматум.

Всю эту смуту заварил новый министр Путятин с своими «матрикулами» *, которых русские университеты до того не знали, и студенты посмотрели на это как на что-то унизительное и архиполицейское.

Но такие самые *матрикулы* издавна существовали в Дерпте, и я пять лет имел у себя книжку, с которой там, у немцев, все мирились и даже считали ее совершенно необходимой в учебном быту.

Она называлась «Anmeldungsbogen» или — как студенты чаще называли — «Belegbogen». В ней прописывалась специальность студента (я, например, назывался «возделывателем химии» — chimiae cultor) и стоял перечень предметов его разряда. И так как мы там сдавали побочные предметы, когда нам вздумается, то тут

же профессор и ставил отметку, а по окончании семестра делал другую отметку — о посещении студентом его предмета. Но на практике установилось так, что вы всегда получали отметку: «изредка посещал» (zuweilen besucht), хотя вы и глаз никогда к нему не казали.

И вот такие-то (или вроде того) *матрикулы* и подняли всю академическую бурю. Мы на радостях с Неофитом К[алини]ным вкушали сладкий отдых от зубренья и несколько дней не заглядывали в университет. Мне захотелось узнать — получил ли я действительно средний балл, дающий кандидатскую степень, и пошел, еще ничего не зная, что в это утро творилось в университете, и попал на двор, привлеченный чем-то необычайным.

Прежде всего я узнал в калитке стоявшего для наблюдения — кого же? Моего цензора Нордштрема, в шляпе и шинели, с лицом официального соглядатая. Но ведь он был чиновник Третьего отделения и получил это «особое» поручение, с драматической цензурой имевшее мало общего.

И судьба подшутила над ним: в эту минуту над тысячной толпой студентов, на лестнице, прислоненной к дровам, говорил студент Михаэлис, тот приятель М. Л. Михайлова (и брат г-жи Шелгуновой), с которым я видался в студенческих кружках еще раньше. А он приходился... чуть не племянником этому самому действительному статскому советнику и театральному цензору.

Я попал как раз в тот момент, когда с высоты этой импровизованной трибуны был поставлен на *referendum* вопрос: идти ли всем *скопом* к попечителю и привести или привезти его из квартиры его (на Колокольной) в университет, чтобы добиться от него категорических ответов на требования студентов.

Толпа решила — *идти,* и вся она прямо со двора двинулась в порядке через Дворцовый мост по Невскому.

Пошел и я туда же.

День был ясный, теплый, точно праздничный. Ни около университета, ни на мосту, ни на площади Зимнего дворца — никто эту процессию не останавливал. Были тут и вольнослушательницы, и немало сочувствующих в штатском платье.

По Невскому студенты шли по солнечной стороне, тихо, без пения, не вызывая никакого замешательства в движении пешеходов и экипажей.

Публика оглядывалась, больше улыбалась и расспрашивала участников процессии. Ни одна лавка не закрывалась, и на всем протяжении Невского до Владимирской и дальше до Колокольной никто не разгонял студентов.

Попечитель жил в одном из небольших домов, видных от решетки церкви. Тут я остановился, и все, что потом происходило у дома и по всей улице, с Владимирской было мне хорошо видно.

Первый приехал в карете тогдашний начальник Третьего отделения граф П. Шувалов; вышел из кареты в одном мундире и вскоре поспешно уехал *. Он-то, встретив поблизости взвод (или полроты) гвардейского стрелкового батальона, приказал ему идти на Колокольную. Я это сам слышал от офицера, командовавшего стрелками, некоего П — ра, который бывал у нас в квартире у моих сожителей, кн. Дондукова и гр. П. А. Гейдена — его товарищей по Пажескому корпусу.

Стрелки выстроились. На балконе того дома, где жил попечитель, показалась рослая и плотная фигура генерала. Начались переговоры. Толпа все прибывала; но полиция еще бездействовала и солдаты стояли все в той же позиции. Вожаки студентов волновались, что-то кричали толпе товарищей, перебегали с места на место. Они добились того, что генерал Филипсон согласился отправиться в университет, и процессия двинулась опять тем же путем по Владимирской и Невскому.

Во всем этом на взгляд стороннего зрителя не было ничего похожего на «бунт», на «разгром» и даже на воинственную «манифестацию». Для простой публики было даже невдомек, что, собственно, тут происходит?

И когда студенческая толпа двинулась в обратный путь, вожаки — из тех, кого и я знавал в лицо, — пришли в радостное возбуждение. Из них самый сильный по характеру был Михаэлис, потом Николай Неклюдов, Николай Утин, Чубинский, Покровский и др.

Подневольное следование попечителя со всей студенческой братией по Невскому было, конечно,

небывалым фактом. Но победа, увы, оказалась чем-то вроде поражения, потому что дальше пошло гораздо хуже. Демонстрация из-за матрикул перед главным входом окончилась побоищем *. Действовали Преображенский и Финляндский полки. Здание было занято военным постом, что я сам видел, когда пришел узнать — как стоят дела. Сени — со стороны Невы — похожи были на кордегардию. Обер-полицмейстер Паткуль хвалился, однако, что он действовал, как настоящий джентльмен и делал «все возможное».

Началось следствие с арестами и разбирательствами, которое затянулось до половины зимы *. Главная роль пришлась на долю проф. Андреевского. По его предмету: полицейскому, или (как в Москве проф. Лешков уже величал его тогда) «общественному», праву — я подал и диссертацию. Материал для нее доставил мне один еще дерптский мой знакомый, служивший в министерстве государственных имуществ.

Диссертация называлась так: «О мирских капиталах, вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».

Тема, как видите, весьма далекая от всех моих тогдашних первенствующих интересов, как писателя. Но материал достался мне стоящий, да вдобавок еще отвечавший общему настроению — в сторону мира, деревни, крестьянства.

Но прежде всего надо было бы еще раз повернее узнать: получим ли мы с моим Неофитом К[алини]ным кандидатские баллы. Разброд в университете был полнейший. *Фактически* он не существовал. Отметки были у нас, несомненно, кандидатские. Диссертацию я быстро изготовил, уже переселившись с Васильевского острова в квартиру, где опять поместился с моими прошлогодними сожителями, в том самом квартале, где произошла студенческая манифестация, на Колокольной, также близ Владимирской церкви, в одном из переулков Стремянной.

С университетом прямая связь прервалась. Здание «Двенадцати коллегий» стояло пустое. Студенчество рассеялось. Много было «сосланных» и «высланных», разбирательство затянулось очень надолго. Кроме всяких «кар», надо было позаботиться и о материальном положении студенческой массы.

Всем этим заведовал популярный тогда «Иван Ефимыч», то есть все тот же профессор *полицейского* права — тоже пикантное совпадение.

Чтобы добыть кандидатский диплом, надо было получить удостоверение о том, что диссертация моя просмотрена и одобрена профессором по этому предмету, то есть опять-таки все тем же вездесущим «Иваном Ефимычем».

Помнится мне мое посещение его квартиры. Это было вечером. Я нашел его в самом пекле его «административных» хлопот... Что-то вроде справочной конторы, с постоянным приходом и уходом студенческой братии. И маленькая юркая фигурка Андреевского, в беспрестанном движении, справках, ответах, распоряжениях, выслушивании всевозможных жалоб, требований, просьб.

Дошла очередь и до меня. Конечно, он не помнит, что я ему отвечал на экзамене по двум предметам.

— У вас лежит и моя диссертация, Иван Ефимович.

Он вопросительно усмехнулся.

Я постарался напомнить ему содержание ее. Он засуетился, стал искать в картонах и в полках этажерок.

Видно было, что если она и попадала ему в руки, то не оставила в его памяти никакого заметного следа.

— А как заглавие вашей диссертации? — спросил он, убедившись, что у него ее нет.

— «О мирских капиталах и вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».

— Хорошо-с! Я так и напишу.

Хранится это злополучное рассуждение в архивах Петербургского университета или нет? — я не знаю.

Но я получил кандидатский диплом уже в январе 1862 года на пергаменте, что стоило шесть рублей, с пропиской всех наук, из которых получил такие-то отметки, и за подписью исправляющего должность ректора, профессора Воскресенского. Когда-то, дерптским студентом, я являлся к нему с рекомендательным письмом от моего наставника Карла Шмидта по поводу сделанного мною перевода учебника Лемана.

Если б какой-нибудь казуист пожелал доказывать, что у меня диплом был от фактически не существовав-

шего университета, ему не трудно было бы доказать это, так как действительно тогда университет, в смысле академической деятельности, не существовал.

Я по необходимости забежал вперед. За это время университет успел перебраться отчасти в залы Думы *, где открылись публичные лекции самых популярных профессоров.

Это поддерживало связь его с обществом, со всем тем Петербургом, который сочувствовал молодежи даже и в ее увлечениях и протестах. Возмездие, постигшее студентов, было слишком сильно, даже и за то, что произошло перед университетом, когда действовали войска. Надо еще удивляться тому, что лекции в Думе могли состояться так скоро.

И во мне они поддерживали связь с миром академической молодежи, и я (хоть и в самый разгар моих тогдашних писательских дебютов и всяких столичных впечатлений и испытаний) посещал эти лекции довольно усердно, и при мне разыгралась знаменитая сцена на лекции Костомарова. Но о ней я расскажу позднее в связи с другими фактами тогдашнего брожения.

Сразу к октябрю 1861 года я был охвачен широкой волной личных «переживаний» писателя.

«Однодворец» после переделки, вырванной у меня цензурой Третьего отделения, нашел себе сейчас же такое помещение, о каком я и не мечтал! Самая крупная молодая сила Александринского театра — Павел Васильев — обратился ко мне. Ему понравилась и вся комедия, и роль гарнизонного офицера, которую он должен был создать в ней. Старика отца, то есть самого «Однодворца», он предложил Самойлову, роль старухи, жены его, — Линской, с которой я (как и с Самойловым) лично еще не был до того знаком.

Для Ф. А. Снетковой в пьесе не было роли, вполне подходившей к ее амплуа. Она вернулась из-за границы как раз к репетициям «Однодворца». Об этой ее заграничной поездке, длившейся довольно долго, ходило немало слухов и толков по городу. Но я мало интересовался всем этим сплетничаньем, тем более что сама Ф. А. была мне так симпатична, и не потому только, что она готовилась уже к роли в «Ребенке», прошедшем через цензурное пекло без всяких переделок.

Кроме Самойлова, из участников в моей вещи — рядом с бенефициантом — самый яркий талант был у Линской.

Я уже видал ее в такой «коронной» ее роли, как Кабаниха в «Грозе», и этот бытовой образ, тон ее, вся повадка и говор убеждали вас сейчас же, какой творческой силой обладала она, как она умела «перевоплощаться», потому что *сама по себе* была чисто петербургское дитя кулис — добродушное, веселое, наивное существо, не имеющее ничего общего со складом Кабанихи, ни с тем бытом, где родилось и распустилось роскошным букетом такое дореформенное существо.

Как начинающий автор, ставящий свою первую вещь, я нашел в Линской особенную приветливость без всяких претензий и замашек любимицы публики. Она только что перед тем вышла, уже пожилой женщиной, по любви за Аврамова, любителя из офицеров, который и добился места в труппе, и вскоре так жестоко поплатилась за свою запоздалую страсть, разорилась и кончила нищетой: четыре пятых ее жалованья отбирали на покрытие долгов, наделанных ее супругом, который, бросив ее, скрылся в провинцию, где долго играл, женился и сделался даже провинциальной известностью.

Вообще тогда начинающему автору было гораздо легче... Система бенефисов делала то, что актеры всегда нуждались в новых пьесах. А бенефисы имели почти все, кроме самых третьестепенных.

Поэтому никто с нами и не «важничал». Никто и не отказывался от ролей, потому что они получали тогда сверх жалованья «разовую плату» от трех до тридцати пяти рублей за роль. Это их заставляло браться за какую угодно роль.

А мы — когда стали писать о театре — из принципа восставали против той и другой системы — и бенефисов, и разовой платы.

Я сказал: «никто с нами не важничал» — за исключением *премьера* труппы, Самойлова. Он занимал совершенно особое, «генеральское» положение в труппе, и все ему сходило с рук.

И первое мое серьезное столкновение на сцене случилось именно с ним; а больше я никогда, ни в Петербурге, ни в Москве, не имел за сорок лет *таких* коллизий.

Роль «Однодворца» он благосклонно принял, но на считку не явился и, встретив меня на лестнице, небрежно кинул мне:

— *Они* там собрались для считки.

А для меня, дескать, никакой закон не писан.

Я был уже предупрежден, что такое «Василий Васильевич», и уклонился от каких-либо замечаний. Но на второй или третьей репетиции он вдруг в одном месте, не обращаясь ко мне, как к автору, крикнул суфлеру:

— Я это место выкидываю. Вычеркни эти строки!

И прочитал по тетради.

Оставить без протеста такую выходку я, хоть и начинающий автор, не счел себя вправе во имя достоинства писателя, тем больше что накануне, зная самойловские замашки по части купюр, говорил бенефицианту, что я готов сделать всякие сокращения в главной роли, но прошу только показать мне эти места, чтобы сделать такие выкидки более литературно.

Мой протест, который я сначала выразил Васильеву, прося его быть посредником, вызвал сцену тут же на подмостках. Самойлов — в вызывающей позе, с дрожью в голосе — стал кричать, что он «служит» столько лет и не намерен повторять то, что он десятки раз говорил со сцены. И, разумеется, тут же пригрозил бенефицианту отказаться от роли; Васильев испугался и стал его упрашивать. Режиссер и высшее начальство стушевались, точно это совсем не их дело.

Режиссером был тогда очень плохой актер, неглупый человек, с некоторым образованием, Воронов, но без всякого значения и веса, совершеннейший театральный «чинуш». А начальник репертуара, знаменитый «Губошлеп», даже и не спросил меня «конфиденциально», что у меня вышло с Самойловым.

На дальнейших репетициях я не произносил ни одного слова, и «премьер» вел себя так, точно будто никакого автора тут и не сидит. Репетировал он кое-как, без игры; и сыграл по-своему хорошо; но не «Однодворца», а просто бывшего управителя, по трафарету *.

И свое поведение он завершил поступком, который дал настоящую ноту того, на что он был способен: сыграв роль, он тут же, *в ночь бенефиса,* отказался от нее, и начальство опять стушевалось, не сделав ни малейшей попытки отстоять права автора.

«Губошлеп» стал просить П. И. Григорьева, резонера труппы на амплуа «благородных отцов», взять на себя роль. Это прервало представление более чем на целую неделю и лишило пьесу главного исполнителя, с репутацией Самойлова.

Григорьев справился с ролью как мог, но, разумеется, никакого бытового лица он не создал.

Самым ярким пятном исполнения вышла игра Васильева. Он был «вылитый» гарнизонный офицер из кантонистов. Его фигура, тон, говор, движения, подергиванье плечами, короткое отплевыванье вбок при курении — все это была сама жизнь. Играл он свою роль с большой охотой, и ничего лучшего никакой автор, даже и избалованный, не мог бы желать и требовать.

Васильев и Линская были украшением всего персонала петербургского «Однодворца». Остальное все оказалось весьма и весьма посредственным. От исполнения тех же ролей в Москве это отстояло, как небо от земли.

В роли помещика, который выдал свою любовницу, гувернантку дочери, за офицера, Леонидов вышел каким-то ярмарочным игроком из бывших ремонтеров. Гувернантку — по-актерски выражаясь, «выигрышную» роль — я должен был по совету режиссера поручить Федоровой, сухой актрисе с высокой, сухой фигурой, низким голосом и отсутствием темперамента. Она состояла на «светском» амплуа, а карьеру свою начала в императорском *цирке,* куда при Николае I выпустили в наездницы «высшей школы» двух учениц Театрального училища — вот эту Федорову и еще Натарову, долго служившую в Александринском театре на амплуа горничных и кухарок.

Умный и далеко не бездарный актер Зубров оказался карикатурным в комическом лице помещика Жабина. Г-жа Подобедова, тогда еще очень молодая и красивая, сделала из дочери самую обыкновенную «инженю».

О теперешних требованиях, какие заявляют авторы и режиссеры, руководители театров, особенно в Москве, в Художественном театре, тогда смешно было бы и заикаться.

На большую пьесу в пяти действиях полагалась одна неделя и порядочных репетиций шло три-четыре,

Обстановка самая заурядная, в старых декорациях, с старой бутафорией. Из-за всякого костюма выходила переписка с конторой, что и до сих пор еще не вывелось на казенных сценах. Чиновничьи порядки царили безусловно. На прессу по отделу театра надет был специальный намордник в виде особой цензуры при ведомстве императорского двора.

Но если б не инцидент с Самойловым, я, как начинающий автор, не имел бы повода особенно жаловаться. Публика приняла мою комедию благосклонно, поставлена она была в бенефис даровитого актера, сделавшегося к началу своего второго сезона в Петербурге уже любимцем публики.

Впервые испытал я приятное щекотанье авторского «я», когда меня стали вызывать. Тогда авторы показывались из директорской ложи. Мне был поднесен даже лавровый венок, что сконфузило меня самого. Такое подношение явилось чересчур поспешным и отзывалось слишком дешевыми лаврами. Поусердствовала, кажется, одна моя тетушка и была виновницей карикатуры в «Искре», где прошлись насчет моих ранних трофеев.

Критика тогда сводилась к двум-трем газетам. Сколько помню — рецензенты не особенно напали на «Однодворца», но и не помогли его успеху, который свелся к приличной цифре представлений. Тогда и огромный успех не мог дать — при системе бенефисов — в один сезон более двадцати спектаклей, и то не подряд. Каждую неделю появлялась новая большая пьеса.

Но моя «история» с Самойловым, совершенно неожиданно для меня, попала в заграничные газеты, сначала в «Nord», а потом в «Independance Belge», где она была рассказана в очень сочувственном мне тоне. Тогда это было совсем вновь. Я и до сих пор не знаю, кто автор этой корреспонденции. Может быть, Загуляев, который тогда уже перевел Гамлета и стал уже писать по-французски. Тогда я с ним нигде не встречался, и личное наше знакомство завязалось уже после 1875 года, то есть после моего вторичного возвращения из продолжительного пребывания за границей.

Вскоре после бенефиса Васильева, бывшего в октябре, я получил письмо от П. М. Садовского, который просил у меня мою комедию на свой бенефис, назначен-

ный на декабрь. Это было очень лестно. Перед тем я не делал еще никаких шагов насчет постановки «Однодворца» на московском Малом театре.

Прошло всего, стало быть, восемь лет с масленицы 1853 года, когда меня привез дядя из Нижнего гимназистом и дал мне возможность пересмотреть в Малом театре весь тогдашний лучший репертуар с такими исполнителями, как Щепкин и Пров Михайлович Садовский в ролях Осипа и Подколесина.

Нижегородский гимназист и не мечтал тогда, что когда-нибудь будет «ставить» большую комедию на этой первой драматической сцене и сам Пров Михайлович обратится к нему с просьбою уступить ему ее на его бенефис.

Москва всегда мне нравилась. И я, хотя и много жил в Петербурге (где провел всю свою первую писательскую молодость), петербуржцем никогда не считал себя. Мне было особенно приятно поехать в Москву и за таким делом, как постановка на Малом театре пьесы, которая в Петербурге *могла бы* пройти гораздо успешнее во всех смыслах.

Меня привлекал и самый город, и те знакомства, которые я неминуемо должен был сделать в театральных и писательских кружках.

До того, кроме Кетчера (когда я бывал у него по делу издания моего учебника, еще дерптским студентом), я не имел еще связей ни в том, ни в другом мире.

Но я уже был знаком с издателями «Русского вестника» Катковым и Леонтьевым. Не могу теперь безошибочно сказать — в эту ли поездку я являлся в редакцию с рекомендательным письмом к Каткову от Дружинина или раньше; но я знаю, что это было зимой и рукопись, привезенная мною, — одно из писем, написанных пред отъездом из Дерпта; стало, я мог ее возить только в 1861 году.

Катков и Леонтьев жили тогда еще не в доме университетской типографии, а на частной квартире в Армянском переулке. Меня пригласили запросто отобедать, и за столом я мог на свободе рассматривать этих «сиамских близнецов русского журнализма».

Леонтьеву я привез поклон из Дерпта от С. Ф. Уварова, его товарища по Берлину в 40-х годах.

Я уже знал по рассказам Уварова, что Леонтьев — горбун с характерцем, не совсем приятным; настоящий «гелертер», с которым не очень-то легко было ладить.

В кабинете редакции и за столом Леонтьев больше молчал или пускал короткие фразы, тяжело дыша, как горбоносец. Он при Каткове как бы умышленно стушевался и смахивал на родственника, живущего в доме, как это водилось так еще часто в московских домах.

Катков тогда смотрел еще совсем не старым мужчиной с лицом благообразного типа, красивыми глазами, тихими манерами и спокойной речью глуховатого голоса. Он похож был на профессора гораздо больше, чем на профессионального журналиста. Разговорчивостью и он не отличался. За столом что-то говорили об Англии, и сразу чувствовалось, что это — главный конек у этих англоманов и тогда самой чистой воды *либералов* русской журналистики.

Пьесу мою они обещали прочесть, но не напечатали. Я не хотел их торопить и вряд ли был у них еще раз в тот приезд, когда ставил «Однодворца».

Театр слишком меня притягивал к себе. Я попал как раз к приезду нового директора, Л. Ф. Львова, брата композитора, сочинившего музыку на «Боже царя храни». Начальник репертуара был некто Пельт, из обруселой московской семьи французского рода, бывший учитель и гувернер, без всякого литературного прошлого, смесь светского человека с экс-воспитателем в хороших домах.

Тогда Москва имела отдельную, самостоятельную дирекцию, на одинаковом положении с Петербургом. Но общие порядки были все такие же, только в Москве драматическая труппа сложилась гораздо удачнее; был еще жив М. С. Щепкин, а с репертуаром Островского явилась целая группа талантливых бытовых исполнителей. И чиновнический гнет чувствовался гораздо меньше.

Начальник репертуара повез меня к директору, который не выехал еще в казенную квартиру и остановился в отеле Мореля, теперь уже не существующем, на углу Петровки и Кузнецкого переулка.

Начальство приняло меня любезно и тотчас же сообщило, что в выпускном классе Самарина в Театральном училище объявился большой талант — воспитанница

Познякова, и Самарин разучивал с ней как раз роль героини моей драмы «Ребенок».

Это была вторая радость для молодого драматурга: появиться перед московской публикой в бенефис Садовского в главной роли комедии и найти так неожиданно «новоявленный» женский талант для лица Верочки, которое я создавал, с большим внутренним настроением, всего полтора года назад.

И. В. Самарин, с которым я только что познакомился, повез меня вечером в Театральное училище, помещавшееся тогда не в здании на Неглинной, где оно теперь, а на задах театральной конторы, с входом со двора, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка.

В танцевальной зале с плохим освещением собралась молодая труппа, уже хорошо налаженная на предыдущих репетициях «Ребенка». Она состояла из учениц школы и двух-трех только что выпущенных актеров. Из них один, Лавров, недавно умер.

Надзирательница, встретившая нас, была чрезвычайно красивая молодая особа, и ее фигура среди воспитанниц в голубых платьях и белых пелеринах придавала этому «классу» что-то интимное, чрезвычайно женственное, точно какой репетиции домашнего спектакля.

Принесли диван, несколько стульев, стол — и расставили их посреди залы. Публика поместилась вокруг надзирательницы около тех мест, где посадили нас с Самариным. Некоторые воспитанницы уселись прямо на пол.

Самарин подвел ко мне героиню, восходящую звезду Малого театра. Ей надо было еще доучиться до выпускного экзамена весной.

Гликерии Николаевне Позняковой шел тогда шестнадцатый год. Она была ровно на десять лет моложе автора «Ребенка». Красотой она не брала. Простое милое лицо с мелким овалом и небольшим немного вздернутым носом, с ясным выражением тоже неэффектных глаз. Но во всем что-то мягкое, свое, бытовое, чрезвычайно русское и в фигуре, и в движениях, и в прическе — во всем. С первых ее слов, когда она начала репетировать (а играла она в полную игру), ее задушевный голос и какая-то прозрачная искренность тона показали

мне, как она подходит к лицу героини драмы и какая вообще эта *натура* для исполнения не условной театральной «ingénue», а настоящей девической «наивности», то есть чистоты и правды той юной души, которая окажется способной проявить и всю гамму тяжелых переживаний, всю трепетность тех нравственных запросов, какие трагически доводят ее до ухода из жизни.

Ничего *такого* я еще ни на русских, ни на иностранных сценах не видал и не слыхал. Это было идеальное и простое, правдивое, совершенно реальное и свое, родное, олицетворение того, что тогда литературная критика любила выражать словом «непосредственность».

Голос этой девушки — мягкий, вибрирующий, с довольно большим регистром — звучал вплоть до низких нот медиума, прямо хватал за сердце даже и не в сильных сценах; а когда началась драма и душа «ребенка» омрачилась налетевшей на нее бурей — я забыл совсем, что я автор и что мне надо «следить» за игрой моей будущей исполнительницы. Я жил с Верочкой и в последнем акте был растроган, как никогда перед тем не приводилось в театральной зале.

Это было нечто совсем из ряду вон, действительно открытие прирожденного таланта и такой «женственности», о какой можно было только мечтать. Точно судьбе угодно было создать для автора «Ребенка» такую актрису. Но, повторяю, я забывал о себе, как авторе, я не услаждался тем, что вот, после дебюта в Москве с «Однодворцем», где будут играть лучшие силы труппы, предстоит еще несомненный успех, и не потому, что моя драма так хороша, а потому, что *такая* Верочка, наверно, подымет всю залу, и пьеса благодаря ее игре будет восторженно принята, что и случилось не дальше как в январе следующего, 1862 года, в бенефис учителя Позняковой — Самарина. Он тогда же попросил у меня «Ребенка», и я, конечно, был вдвойне порадован таким предложением.

Вечер в Театральном училище — во всей моей долгой драматической карьере — останется единственным. Больше — даже и в слабой степени — он нигде не повторялся.

Как все это вместе было мило, просто, молодо, трепетно! И обстановка залы, и публика, и угощение чаем нас с Самариным, и полная безыскусственность самого

зрелища. Ни декораций, ни костюмов, голые стены, диван, два стула, столы. Точно в шекспировское время, когда на сцену ставили шест с надписью: «это — море» или «это — сад».

И обаяние искренности и правды было таково, что все это решительно забывалось и царила душа молодого существа, ее поэзия, ее страдания — то, что так трогательно и местами сильно прорывалось в звуках девического голоса, в слезах и возгласах.

Как бы «зачарованный» этим нежданным впечатлением, я нашел и в Малом театре то, чего в Петербурге (за исключением игры Васильева и Линской) ни минуты не испытывал: совсем другое отношение и к автору, и к его пьесе, прекрасный бытовой тон, гораздо больше ладу и товарищеского настроения в самой труппе. Только роль жены помещика, чрезвычайно удавшегося Самарину, в исполнении Рыкаловой осталась бесцветной; да она и в пьесе не особенно рельефна; все остальное «разошлось» (как говорят на сцене) прекрасно: Самарин, Садовский, молодой тогда актер Рассказов (офицер), Живокини (комическое лицо Жабина) и Ек. Васильева, которая из гувернантки сделала чудесное лицо. Оно стало ее коронной ролью в тот сезон и позднее.

Тогда она была в полном расцвете своего разнообразного таланта. Для характерных женских лиц у нас не было ни на одной столичной сцене более крупной артистки. Старожилы Москвы, любящие прошлое Малого театра, до сих пор с восхищением говорят о том, как покойница Е. И. Васильева играла гувернантку в «Однодворце».

В драме у ней с годами являлась некоторая искусственность тона, но в комедии она держалась вполне реального тона и в диалоге умела высказать большую тонкость интонации, привлекала умом и гибкостью дарования.

«Наивность» пьесы, дочь помещика, сумела выдвинуть А. И. Колосова (жена бездарного актера) — любимица публики, с милой, игривой наружностью и заразительной веселостью в более комических ролях.

Старуха — жена однодворца — в игре Талановой вышла посуше, чем у Линской; но зато — по бытовому тону и говору — настоящий тип из тогдашней деревенской

жизни. Эта «Ханея Ивановна», как ее звали в труппе, напомнила мне мое детство. Она была из крепостной труппы князя Шаховского, открывшего в Нижнем первый публичный театр. Девицей она носила фамилию Стрелковой, и ее меньшая сестра сделалась известной актрисой в провинции. «Ханея» и на столичной сцене сохранила все повадки бывшей «вольноотпущенной», нрава была не особенно покладливого, но со мною, как с племянником моего дяди, обращалась в особенно почтительном тоне, вроде как, бывало, у нас в доме старухи, жившие на покое, из разряда так называемых «барских барынь».

Словом, труппа сделала для меня все, что только было в ее средствах. Но постановка, то есть все, зависевшее от начальства, от конторы, — было настолько скудно (особенно на теперешний аршин), что, например, актеру Рассказову для полной офицерской формы с каской, темляком и эполетами выдали из конторы одиннадцать рублей. Самарин ездил к своему приятелю, хозяину магазина офицерских вещей Живаго, просил его сделать скидку побольше с цены каски; мундира нового не дали, а приказано было перешить из старого.

Декораций ни одной новой, если не считать то, что, по ремарке автора, комнату в домике однодворца следовало обклеить старыми газетами.

Вряд ли все расходы конторы, считая декорации и костюмы, обошлись более чем в двадцать пять рублей. Но мы тогда не были так чувствительны, как теперь авторы, критика, публика. Все сводилось к игре, к тону и к кое-какой бытовой постановке, где это было безусловно нужно.

Режиссером Малого театра был тогда Богданов, старик, из отставных танцовщиков, приятель некоторых московских писателей, служивший перед тем в провинции, толковый по-старинному, но не имевший авторитета. Он совсем и не смахивал на закулисного человека, а смотрел скорее помещиком из отставных военных.

Как и в Петербурге, надо было сладить большую пятиактную вещь в одну неделю. Садовский только на предпоследней репетиции пустил в последней сцене горячие интонации, а на самой последней воздержался и, обратясь ко мне, сказал при всех:

— Сегодня я полным ходом не пущу, а то, пожалуй, завтра на спектакле и пороху не хватит.

Ничего подобного самойловским замашкам по бесцеремонному обращению с текстом Пров Михайлович не позволял себе, держался, как всегда, тихо, говорил мало, не вмешивался в mise en scène[1], хотя и был, как бенефициант, хозяином спектакля. Совсем вблизи я его видел впервые. Таким я и должен был его найти в жизни. Никто больше его не был таким бытовым типом, как он. И при этом ничего специфически актерского ни в манерах, ни в тоне, ни в обращении с людьми. Точно какой серьезный, но с юмором, московский обитатель Замоскворечья или Козихи (где он и жил в собственном домике), вряд ли имеющий что-нибудь общее с миром искусства и в то же время такой прирожденный художник сцены.

Самарина он, как и Шумского, и тогда уже недолюбливал. Те были «ковровые» актеры на оценку таких бытовиков, как он. Репертуар Островского провел грань между «рубашечными» и «ковровыми» актерами. Самарин рядом с Провом Михайловичем представлял из себя Европу, сохранил представительность, манеры и, главное, тон и дикцию бывшего первого любовника с блестящим успехом долгие годы.

И он был типичный москвич, но из другого мира — барски-интеллигентного, одевался франтовато, жил холостяком в квартире с изящной обстановкой, любил поговорить о литературе (и сам к этому времени стал пробовать себя как сценический автор), покучивал, но не так, как бытовики, имел когда-то большой успех у женщин.

Со мною он держал себя не только без всякой претензии и рисовки, но как артист и преподаватель театрального искусства, готовый выказать мне всякого рода поддержку и внимание.

За бенефисный вечер Садовского я нисколько не боялся, предвидел успех бенефицианта, но не мог предвидеть того, что и на мою долю выпадет прием, лучше которого я не имел в Малом театре в течение целых сорока лет, хотя некоторые мои вещи («Старые счеты», «Доктор Мошков», «С бою», «Клеймо») прошли с большим успехом *.

---

[1] мизансцены *(франц.)*.

Когда прекратились вызовы актеров и дошла очередь до меня, я должен был восемь раз сряду появляться в ложе, и на этот раз не в директорской, а в министерской, в той, что слева от зрителей.

А впереди меня ждало еще первое представление «Ребенка» с такой Верочкой, как Познякова — Луша, как ее звали тогда за кулисами.

Только что я вернулся в Петербург, как надо было приступить к разучиванию «Ребенка». Но тут опять Петербург сулил мне совсем не то, что дала Москва.

Правда, Ф. А. Снеткова была даровитая артистка и прелестная женщина, но по фигуре, характеру красоты, тону, манерам — она мало подходила к той Верочке, которая рисовалась воображению автора и охарактеризована во всей пьесе. Остальной персонал был также не к выгоде пьесы. Вместо Шумского, взявшего роль отца Верочки, — П. А. Каратыгин, совсем уже не подходивший к этому лицу ни в каком смысле. Роль учителя в Москве взял на себя Самарин, потому что он был бенефициант. Он уже отяжелел тогда для «любовников», но все-таки мог справиться с своей ролью лучше, чем совсем молодой петербургский актер Малышев.

Фанни Александровна почему-то ужасно боялась за роль Верочки. Это было первое новое лицо, в котором она выступала по возвращении из-за границы осенью. Мы с ней проходили роль у нее дома, в ее кабинетике, задолго до начала репетиций. Она очень старалась, читала с чувством, поправляла себя, выслушивала кротко каждое замечание. Но у ней не было той смеси простой натуры с порывами лиризма и захватывающей правды душевных переживаний Верочки.

В день спектакля перед поднятием занавеса, когда мы с нею ходили в глубине сцены, весьма примитивно изображавшей помещичий сад, она, поглядев на меня вбок своими чудесными глазами, сказала серьезно, почти строго:

— Не понимаю, Петр Дмитриевич, — как вы, в *такую* минуту, можете быть так веселы!..

Я уверил ее, что совсем не рисуюсь; но у меня совсем не было той авторской лихорадки, которая так по-

хожа на ту, что мы в гимназии и университете называли «febris examinalis»[1].

Снетковой роль очень нравилась; но она, вероятно, сама почуяла, что у нее *не та* натура и *не тот* вид женственного обаяния; да и внешность была уже не девушки, только что вышедшей из подростков, а молодой женщины, создавшей с таким успехом Катерину в «Грозе».

Ее и в Верочке хорошо «принимала» публика; но она все-таки не могла поддержать так пьесу, как это случилось на дебюте Позняковой; в бенефис Самарина моя драма прошла, как говорится, «по-середнему» и репертуарной не сделалась. Рецензии, кроме той, которую написал П. И. Вейнберг в «Веке» еще до появления «Ребенка» на сцене, — были строгоньки к автору. Снисходительно-барственный И. И. Панаев (я с ним не был никогда лично знаком) в фельетоне «Современника» (под псевдонимом «Новый поэт») пожалел «юного» автора за его усилия создать драму из сюжета, лишенного драматического содержания.

В этом он вряд ли был прав. Сюжет был гамлетовский, с мотивом, который вел к сильному душевному переполоху. Но «юный» автор слишком много впустил лиризма и недостаточно сгустил ход драмы, растянув ее на целых пять актов.

Когда я явился к Писемскому, то он с юмором спросил меня (уже по напечатании пьесы в «Библиотеке для чтения»):

— Да от чего, собственно, умирает ваша героиня? От какой болезни? Неужто только с горя?

Тогда я еще не настолько изучил «Гамбургскую драматургию» Лессинга, чтобы ответить ему его словами:

— Героиня умирает от пятого акта *.

Да я и сам хорошенько не представлял себе, от какой собственно болезни моя Верочка ушла из жизни на сцене — от аневризма или от какого острого воспалительного недуга. Мне дороги были те слова, с какими она уходила из жизни, и Познякова произносила их так, что вряд ли хоть один зритель в зале Малого театра не был глубоко растроган.

---

[1] экзаменационной дрожью *(лат.)*.

В эволюции моего писательства, я думаю, что драма эта была единственной вещью с налетом идеалистического лиризма. Но я не с нее начал, а, напротив, с реального изображения жизни — в более сатирическом тоне — в первой моей комедии «Фразеры» и с большей бытовой объективностью — в «Однодворце».

«Ребенок» как раз написан был в ту полосу моей интимной жизни, когда я *временно* отдавался некоторому «духовному» настроению. Влюбленность и жизнь в семействе той очень молодой девушки, которая вызвала во мне более головное, чем страстное чувство, настраивали меня в духе резко противоположном тому научному взгляду на человека, его природу и все мироздание, который вырабатывался у меня в Дерпте за пять лет изучения естественных наук и медицины.

И на первых двух частях романа «В путь-дорогу» этот временный идеализм еще отлинял; но потом я от него совсем освободился.

Тогдашний Петербург, публика Александринского театра, настроение журналов и газетной прессы не были благоприятны такой интенсивной драме с гамлетовским мотивом, без яркого внешнего действия и занимательных бытовых картин.

К амплуа того актера, который попросил у меня «Ребенка» на свой бенефис, пьеса также не подходила.

Это был Теодор Бурдин, желавший показать этим, что он ценит дарование автора и желает поставить «вполне литературную» вещь.

Для себя он возобновил старинную пьесу Лукина «Рекрутский набор», в постановке «Ребенка» прямого участия не принимал, но, случаясь на сцене и во время репетиций, со мною бывал чрезвычайно любезен и занимал меня анекдотами и воспоминаниями из своей московской жизни и парижских похождений.

Вообще, в личных сношениях он был очень приятный человек; а с актером я никогда не имел дела, потому что с 1862 до 80-х годов лично ничего не ставил в Петербурге; а к этому времени Бурдин уже вышел в отставку и вскоре умер.

И случилось так, что я из-за репетиций «Ребенка» в Петербурге не попал на первое представление пьесы в Москве. Бенефисы Самарина и Бурдина совпали. Но я наверно бы урвался в Москву, если б не слетал туда на

одну из последних репетиций — всего на двадцать четыре часа, провожая даму, у которой был роман с одним моим товарищем. Тогда на репетиции никого посторонних не пускали, так что я должен был просить директора, чтобы этой даме позволили сесть в глубине одной из лож бенуара. Репетиция была уже со всеми исполнителями бенефисного спектакля, а Познякова еще носила свое школьное голубое платье с пелериной — как нельзя более шедшее к лицу Верочки.

Но это был не единственный спектакль с Верочкой — Позняковой, на котором я присутствовал в Малом театре. В мой приезд для постановки «Однодворца» начальство так было заинтересовано талантом, открытым в школе И. В. Самариным, что устроило пробный спектакль в таком же составе, какой играл передо мной в танцевальной зале Театрального училища.

В кресла было приглашено целое общество — больше мужчины — из стародворянского круга, из писателей, профессоров, посетителей Малого театра. Там столкнулся я опять с Кетчером, и он своим зычным голосом крикнул мне:

— Это вы? После химии?

— Да, с вашего позволения, — ответил я ему в тон. А давно ли было, что я являлся к нему с рукописью учебника по «животно-физиологической химии»? Всего каких-нибудь три-четыре года.

Представили меня и старику Сушкову, дяде гр. Ростопчиной, написавшему когда-то какую-то пьесу с заглавием вроде «Волшебный какаду» *. От него пахнуло на меня миром «Горя от ума». Но я отвел душу в беседе с М. С. Щепкиным, который мне, как автору, никаких замечаний не делал, а больше говорил о таланте Позняковой и, узнав, что ту же роль в Петербурге будет играть Снеткова, рассказал мне, как он ей давал советы насчет одной ее роли, кажется, в переводной польской комедийке «Прежде маменька» *.

Михаила Семеновича я тогда впервые видел *вне* сцены и разговаривал с ним. Он еще не был дряхлым стариком, говорил бойко, с очень приятным тоном и уменьем рассказывать; на этот раз без той слезливости, над которой подсмеивались среди актеров-бытовиков с Садовским во главе. Щепкин по своему культурному складу принадлежал к той эпохе в художественно-ли-

тературной жизни Москвы, когда связь актера с интеллигенцией — какая была у него — являлась редким фактом. И все его чисто сценические заявления отличались меткостью и любовью к правде прежде всего.

Так я и не видал тогда ни в ту зиму, ни впоследствии — «Ребенка» на Малом театре. О триумфе дебютантки мне писали приятели после бенефиса Самарина, как о чем-то совершенно небывалом. Ее вызывали без числа. И автора горячо вызывали, так что и на его долю выпала бы крупная доля таких восторженных приемов.

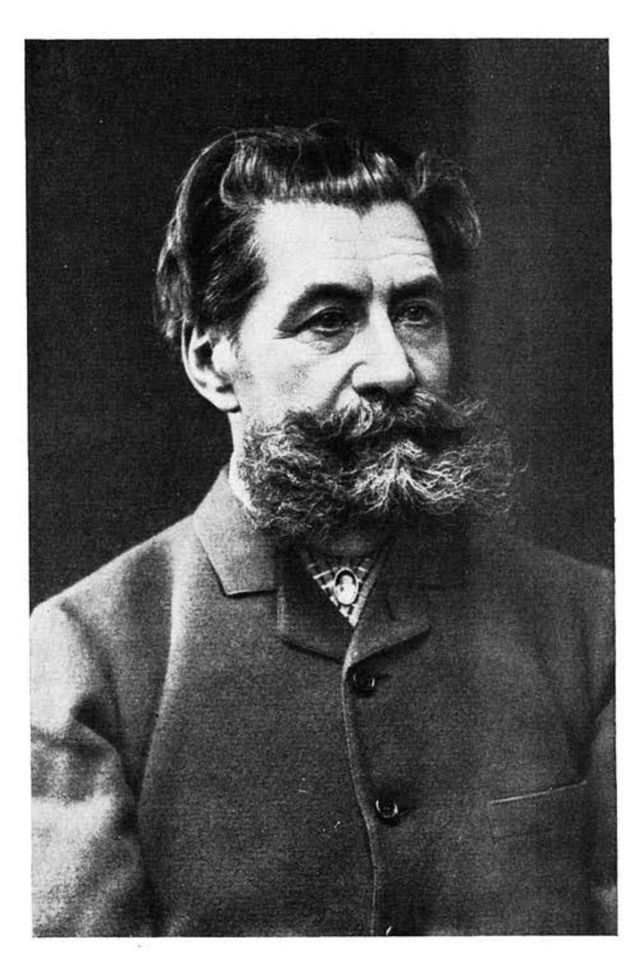
Шумский хоть и участвовал в пьесе в маловыигрышной и весьма несимпатичной роли отца Верочки, но, видя, какое событие вышло с дебютом Позняковой — взял «Ребенка» и в свой бенефис не дальше, как через неделю.

Молодой автор не догадался условиться с этим вторым бенефициантом насчет гонорара и ничего не получил с Шумского; а дирекция платила тогда *только* за казенные спектакли; да и та благостыня была весьма скудная сравнительно с тем, что получают авторы теперь. Тогда нам отчисляли пятнадцатую часть двух третей сбора, что не составляло и при полном сборе более пятидесяти — шестидесяти рублей в вечер.

Передо мною прошел целый петербургский сезон 1861—1862 года — очень интересный и пестрый. Переживая настроения, заботы и радости моих первых постановок в обеих столицах, я отдавался и всему, что Петербург давал мне в тогдашней его общественной жизни.

Закрытие университета подняло сочувствие к нему всего города. На Невском в залах Думы открылись целые курсы с самыми популярными профессорами. Начались, тогда еще совсем внове, и литературные вечера в публичных залах. В зале Пассажа — где и раньше уже состоялся знаменитый диспут Погодина с Костомаровым *, — читались лекции; а потом пошло увлечение любительскими спектаклями, в которых и я принимал участие.

Писемский предложил мне сделаться фельетонистом «Библиотеки для чтения». Сам он уже ленился писать свои сатирические заметки «Статского советника Салатушки», которые молодой публике не нравились.



А. В. Сухово-Кобылин
1890-е гг.

Писать фельетонные заметки я согласился охотно. Тона моего предшественника я не хотел держаться; но не боялся быть самостоятельным в своих оценках и симпатиях. А выражать их пришлось сейчас же по поводу всяких новых течений и веяний, литературных и художественных новостей и выдающихся личностей.

Задача сложная. Можно было очень легко не угодить тем кружкам, где народившийся тогда «нигилизм» являлся уже вроде мундира.

В настоящую минуту, по прошествии почти пятидесяти лет, можно спокойно и объективно отнестись к тому, что делалось у нас тогда и к своей тогдашней «платформе».

Из Дерпта я приехал уже писателем и питомцем точной науки. Мои семь с лишком лет ученья не прошли даром. Без всякого самомнения я мог считать себя, как питомца университетской науки, никак не ниже того уровня, какой был тогда у моих сверстников в журнализме, за исключением, разумеется, двух-трех, стоящих во главе движения.

В философском смысле я приехал с выводами тогдашнего немецкого свободомыслия. Лиловый томик Бюхнера «Kraft und Stoff» и «Kreislauf des Lebens»[1] были давно мною прочитаны; а в Петербурге это направление только что еще входило в моду. Да и философией я, занимаясь химией и медициной, интересовался постоянно, ходил на лекции психологии, логики, истории философских систем.

И по всеобщей литературе начитанность у меня была достаточная, особенно по немецкой литературе и критике, по Шекспиру и новейшей английской литературе, не говоря уже о французской.

Все, чем наша журналистика стала жить с 1856 года, я и дерптским студентом поглощал, всему этому *сочувствовал,* читал жадно статьи Добролюбова и Чернышевского, сочувствовал отчасти и тому «антропологическому» принципу, который Чернышевский проводил в своих статьях по философии истории. Но во мне не было той именно *нигилистической закваски,* которая сказывалась в разных «оказательствах» — тона, вкусов, замашек, костюма, игры в разные опыты нового общежития.

---

[1] «Круговорот жизни» *(нем.).*

В аудиториях университета допуск женщин был мне симпатичен; но «нигилистическим» мундиром я не восхищался: ни стрижеными волосами, ни умышленно небрежным туалетом, ни резкостью манер и жаргона.

Для того времени я имел право считать себя вполне свободомыслящим, особенно в вопросах религии, мистики, основных и всяких других предрассудков.

Но я не метил в революционеры и не уходил еще в вопросы социальные, не увлекался теориями западных искателей общественного Эльдорадо: Фурье, Кабе, Пьера Леру, Анфантена; не останавливался еще с более серьезным интересом на критике Прудона.

«Колокол» был в те годы уже на верху своего влияния. Я его читал, когда можно было достать; но не держался того обязательно восторженного тона, с каким молодежь относилась к нему, и не верил, даже и тогда, напускному радикализму петербургских чиновников, которые зачитывались лондонским изданием и — на словах — либеральничали всласть.

Я был — прежде всего и сильнее всего — молодой *писатель,* которому особенно дороги: *художественная* литература, критика, научное движение, искусство во всех его формах и, впереди всего, театр и свой русский, и общеевропейский.

С такой платформой и с таким багажом я и стал писать фельетоны, сочинив себе псевдоним: «Петр Нескажусь».

И в одном из первых я выразил свое недоумение насчет двух девиц *, которых встретил на лекции в Думе, куда молодежь стала ходить очень усердно. Это были две типичных нигилистки. Можно было, конечно, оставить их в покое. Но не было преступлением и отнестись к ним с некоторой критикой.

Ведь и тогда М. Е. Салтыков занял уже положение самого радикального сатирика; а он и позднее гораздо язвительнее стал прохаживаться насчет крайностей тогдашних нигилистических нравов и повадок *.

Дух независимости с юных лет сидел во мне. Я и тут не хотел поддаваться модному поветрию и, не сочувствуя нимало ничему реакционному, я считал себя вправе, как молодой наблюдатель общества, относиться ко всему с полнейшей свободой.

Представился как раз случай говорить и о Черны-

шевском* не как о главе нового направления журналистики и политических исканий, а просто как об участнике литературного вечера в зале Кононова (где теперь Новый театр), на том самом вечере, где бедный профессор Павлов сказал несколько либеральных фраз* и возбужденно, при рукоплесканиях, крикнул на всю залу: «Имеяй уши слышать — да слышит!»

Его сейчас же лишили места и сослали в уездный городишко Костромской губернии.

А раньше выступил Чернышевский с пространной беседой о Добролюбове, только что тогда умершем.

Добролюбов был мой земляк и однолеток. Но я его никогда не видал и в Петербурге уже не застал.

И мне было в высшей степени интересно послушать о нем, как личности и литературной величине, от его ближайшего коллеги по журналу, сначала его руководителя, а потом уступившего ему первое место, как литературному критику «Современника».

Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне *не* понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы «à la moujik» (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет; одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и в цветном галстуке.

И *как* он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким *тоном* стал говорить с публикой, и даже то, *что* он говорил, — все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто, напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что делать?»*.

Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперед Добролюбова и показать, что он — Чернышевский — нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова, что тот сразу сделался в журнале величиной первого ранга.

В сущности, это было симпатично; но тон все портил.

Может быть, на меня его манера держать себя и бесцеремонность этой импровизованной беседы подействовали слишком сильно; а я по своим тогдашним знаком-

ствам и связям не был достаточно революционно настроен, чтобы все это сразу простить и смотреть на Чернышевского только как на учителя, на бойца за самые крайние идеи в радикальном социализме, на человека, который подготовляет нечто революционное.

В ту зиму я уже мало водился с студенческой молодежью и еще не был достаточно знаком с персоналом молодых писателей.

Сколько помню, публика на том вечере не сделала Чернышевскому особенно громкой овации, и профессор Павлов имел гораздо более горячий прием, что его и загубило.

Когда впоследствии я читал о знакомстве Герцена с Чернышевским, который приехал в Лондон уже как представитель *новой,* революционной России, я сразу понял, почему Александру Ивановичу так не понравился Николай Гаврилович*. Его оттолкнули, помимо разницы в их «платформах», *тон* Чернышевского, особого рода самоуверенность и нежелание ничего признавать, что он сам не считал умным, верным и необходимым для тогдашнего освободительного движения.

Ведь и Чернышевский отплачивал ему тем же. И для него Герцен был только запоздалый либерал, барин-москвич.

Как фельетонисту, мне пришлось в ту же зиму говорить и о полемике, объектом которой сделался как раз тогда Чернышевский. Я держался шутливого тона и хотел выставить только его полемический темперамент; но в «Библиотеке для чтения» тотчас после «Статского советника Салатушки» мой тон мог показаться исходящим от принципиального противника всего, чем тогда «Современник» и его вдохновитель увлекали революционно настроенную молодежь.

Но этого, в сущности, не было: утверждаю это положительно.

Если я «прошелся» раз над нигилистками и их внешностью, то я совсем еще не касался тех признаков игры в социализм, какие стали вырастать в Петербурге в виде общежитий на коммунистических началах. В те кружки я не попадал и не хотел писать о том, чего сам не видал и не наблюдал.

Все же, что было в тогдашней молодежи обоего пола

по части увлечения естествознанием, точной наукой, протестов против метафизики, всяких предрассудков и традиционных верований, что вскоре так талантливо и бурно прорвалось у Писарева, — все это не могло не вызывать моего сочувствия.

Я весьма своим студенческим ученьем доказал самому себе, до какой степени я высоко ставил *точную науку,* и к окончанию моего курса в Дерпте держался уже сам мировоззрения, за которое «Современник» и потом «Русское слово» ратовали.

Но я был уже *старше* той «зеленой» молодежи, которая увлекалась Бюхнером, Фохтом и Молешоттом и восторженно приняла книгу Дарвина «О происхождении видов».

Тогда и студенты и студентки повторяли в каком-то экстазе:

— Человек — червяк!

В этой формуле для них сидело все учение, которое получило у нас смысл не один только научный, а и революционный!

Тогда я еще недостаточно познал ту истину, что в России все получает такой смысл и значение, всякая книга, пьеса, роман, статья, открытие!

Так ведь идет и до сих пор, и будет так идти, пока между обществом и правящими сферами будет лежать или глубокая пропасть, или резкая демаркационная линия.

Мне, как писателю, начавшему с ответственных произведений, каковы были мои пьесы, не было особенной надобности в роли фельетониста. Это сделалось от живости моего темперамента, от желания иметь прямой *повод* усиленно наблюдать жизнь тогдашнего Петербурга. Это и беллетристу могло быть полезным. Материального импульса тут не было... Заработок фельетониста давал очень немного. Да и вся-то моя кампания общественного обозревателя не пошла дальше сезона и к лету была прервана возвращением в деревню.

Именно оттого, что я в фельетоне «Библиотеки для чтения» был как бы преемником Писемского — я и воздерживался от всякой резкой выходки, от всего, что могло бы поставить меня в неверный и невыгодный для меня свет перед читателем, хотя бы и не радикально настроенным, но уважающим лучшие литературные традиции.

И вот случился инцидент, где я как раз рисковал повредить себе в глазах той публики, какую я всегда имел в виду, и перед персоналом своих собратов.

Писемский сильно недолюбливал «Искры» и, читая корректуру моего фельетона, вставил *от себя* резкую фразу по адресу ее издателей, Курочкина и Степанова, не сказав мне об этом ни слова.

Вышла книжка. Не помню, заметил ли я сразу эту редакторскую вставку в мой текст, но когда заметил — было уже поздно.

Я бросился сначала в контору, и там издатель журнала, узнав, что в «Искре» возмущены и собираются начать историю, добыл тотчас же последнюю корректуру из типографии и отдал мне ее, указав место, где рукою Писемского была вставлена та обидная для «Искры» фраза *.

С этим документом я и поехал к Алексею Феофилактовичу. Нельзя же было не объясниться и не позволить мне по меньшей мере сделать оговорку, что та резкая фраза не принадлежит автору, который подписывает свои фельетоны псевдонимом «Петр Нескажусь».

У Писемского в зале за столом я нашел такую сцену:

На диване он в халате и — единственный раз, когда я его видел — в состоянии достаточного хмеля. Рядом, справа и слева, жена и его земляк и сотрудник «Библиотеки» Алексей Антипович Потехин, с которым я уже до того встречался.

Писемский был в совершенном расстройстве и сейчас же жалобным тоном стал сообщать мне, что редакция «Искры» прислала ему вызов за фразу из моего фельетона.

Я вынул из кармана корректурный сверстанный лист и указал ему на то место, где вставлена была фраза его почерком. Он, конечно, не отрицал этого. Если б я сам написал это, я, а не он — должен был бы принять вызов. Он признавал вполне свою ответственность. Но дуэль ему не улыбалась. И мне было обидно за него, за то, что его передернуло, и за то, как он сейчас же прибегнул к вину и очутился в некрасивом виде. Выходило так, что эта дуэль непременно должна состояться. Но она не состоялась. В каких выражениях он извинился перед «Искрой» — я не видал; но если б он наотрез отказался от поединка и не захотел извиниться, редакция, наверное, потребовала бы тогда имя автора фельетона.

Ко мне никто оттуда не обращался. Но у «Искры» остался против меня зуб, что и сказалось позднее в нападках на меня, особенно в сатирических стихах Д. Минаева *. Личных столкновений с Курочкиным я не имел и не был с ним знаком до возвращения моего из-за границы, уже в 1871 году. Тогда «Искра» уже еле дотягивала свои дни. Раньше из Парижа я сделался ее сотрудником под псевдонимом «Экс-король Вейдавут» *.

Мои оценки тогдашних литераторских нравов, полемики, проявление «нигилистического» духа — все это было бы, конечно, гораздо уравновешеннее, если б можно было сходиться с своими собратами, если б такой молодой писатель, каким был я тогда, попадал чаще в писательскую среду. А ведь тогда были только журнальные кружки. Никакого общества, клуба не имелось. Были только редакции с своими ближайшими сотрудниками.

К «Современнику» я ни за чем не обращался и никого из редакции лично не знал. «Отечественные записки» совсем не собирали у себя молодые силы. С Краевским я познакомился сначала как с членом Литературно-театрального комитета, а потом всего раз был у него в редакции, возил ему одну из моих пьес. Он предложил мне такую плохую плату, что я не нашел нужным согласиться, что-то вроде сорока рублей за лист; а я уже получал на 50% больше, даже в «Библиотеке», финансы которой были уже не блистательны.

От Краевского только что перешли к В. Ф. Коршу «Петербургские ведомости». С Коршем я познакомился у Писемского на чтении одной части «Взбаламученного моря», но в редакцию не был вхож. Мое сотрудничество в «Петербургских ведомостях» началось уже в Париже, в сезоне 1867—1868 года.

Но я бывал везде, где только столичная жизнь хоть сколько-нибудь вызывала интерес: на лекциях в Думе, на литературных вечерах — тогда еще довольно редких, во всех театрах, в домах, где знакомился с тем, что называется «обществом» в условном светском смысле.

Настоящих литературных «салонов» тогда что-то не водилось в свете, кроме двух-трех высокопоставленных домов, куда допускались такие писатели, как Тургенев, Тютчев, Майков и некоторые другие. Приглашали и Писемского.

Граф Кушелев-Безбородко держал тогда открытый дом, где пировала постоянно пишущая братия. Там, сначала в качестве одного из соредакторов «Русского слова», заседал и Ап. Григорьев (это было еще до моего переселения в Петербург), а возлияниями Бахусу отличались всего больше поэты Мей и Кроль, родственник графа по жене.

Туда легко было бы попасть, но меня почему-то не влекло в этот барски-писательский «кабак», как его и тогда звали многие.

Теперь я объясняю это чувством той брезгливости, которая рано во мне развилась. Мне было бы неприятно попасть в такой барский дом, где хозяин, примостившийся к литературе, кормил и поил литераторскую братию, как, бывало, баре в крепостное время держали прихлебателей и напаивали их. И то, что я тогда слыхал про пьянство в доме графа, прямо пугало меня, не потому, чтобы я был тогда такая «красная девица», а потому, что я слишком высоко ставил звание писателя. Мне было бы слишком прискорбно и обидно видать своих старших собратов — и в том числе такого даровитого поэта, как Мей, — безобразно пьяными.

Я мог бы попасть и на тот литературный вечер, где Мей должен был произнести одно стихотворение наизусть. В нем стоял стих вроде такого:

И смокла его рубашка.

Поэт был уже на таком взводе, что споткнулся на этом самом стихе, дальше не пошел, а все повторял его и должен был наконец сойти постыдно с эстрады.

Из остальных именитых «питухов» кушелевских чертогов с Григорьевым я познакомился позднее, о чем расскажу ниже, а Кроля видел раз в трактире «Новый Палкин» и, разумеется, «не в своем виде».

Была еще редакция, где первым критиком состоял уже Григорьев, — журнала «Время» братьев Достоевских. С самим издателем — Михаилом Достоевским я всего один раз говорил у него в редакции, когда был у него по делу. Он смотрел отставным военным, а на литератора совсем не смахивал, в таком же типе, как и Краевский, только тот был уже совсем седой, а этот еще с темными волосами.

До возвращения его брата Федора * и издания жур-

нала «Время» Михаила мало знали в писательских кругах. И в публике у него не было имени. Кто интересовался театром, знал, что он переводчик «Дон-Карлоса» и написал одноактную комедию «Старшая и меньшая» или что-то в этом роде. И был ли он славянофил или западник — этим тоже не интересовались. Неославянофильскую «почву» его журнал стал проповедовать, когда его брат Федор нашел себе единомышленников и вдохновителей в Ап. Григорьеве и Страхове, с тем псевдонимом «Косица», который сделался мишенью нападок радикальных журналов *.

Страхова я тогда нигде не встречал и долго не знал даже — кто этот *Косица.* К Федору Достоевскому никакого дела не имел и редакционных сборищ не посещал. В первый раз я увидал его на литературном чтении. Он читал главу из «Мертвого дома», и публика принимала его так же горячо, как и Некрасова.

Позднее, уже в мое редакторство, я с ним познакомился, и у нас были даже деловые свидания.

Тогда публика, особенно молодежь, еще смотрела на него только как на бывшего каторжника, на экс-политического преступника. В его романе «Униженные и оскорбленные» все видели только борца за общественную правду и обличителя всего того, что давило в России всякую свободу и тушило каждый лишний луч света.

«Мертвый дом» явился небывалым документом русской каторги. А то, что в нем уже находилось мистически-благонамеренного, — еще не было всеми понято, как должно, и тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером. Издание журнала, когда *почвенное* неославянофильство достаточно высказалось, — изменило взгляд на *credo* автора «Мертвого дома», но все-таки его ставили особо. В той жестокой полемике, какая завязалась между «Временем», а впоследствии «Эпохой» и радикальными журналами, Федор Достоевский весьма сильно участвовал, но не подписывал своих статей.

И позднее, когда оба журнала — и «Время» и «Эпоха» — прекратились и началось печатание «Преступления и наказания», он продолжал быть любимым романистом, сильно волновал ту самую молодежь, идеям которой он нимало не сочувствовал.

И еще позднее автор «Бесов» не только заставил себе все простить, а под конец жизни стал как бы своего рода

вероучителем, и его похороны показали, как он был популярен во всяких сферах и классах русского общества *.

Полемика тогдашних журналов, если на нее посмотреть «ретроспективно», явилась симптомом того, что после акта 19 февраля на очереди не стояло что-нибудь такое же крупное, как падение рабовладельчества. Правительство держалось еще умеренно-либерального фарватера; на очереди стояли реформы земская и судебная. Но это еще не волновало публику и не отвлекало достаточно публицистику и критику от своих счетов, препирательств и взаимных обличений *.

«Библиотека» почти не участвовала в этом ругательном хоре. Критиком ее был Еф. Зарин, который, правда, вступал в полемику с самим Чернышевским *. Но все-таки отличились «передовые» журналы. И то, что в «Свистке» Добролюбова было остроумно, молодо, игриво, то теперь стало тяжело, грубо и бранно. Автора «Темного царства» заменил в «Современнике» тот критик, который в начале 1862 года отличился своей знаменитой рецензией на «Отцов и детей» *.

Если «Петр Нескажусь» позволил себе юмористически касаться нигилисток и рассказывать о полемических подвигах Чернышевского, то он не позволил себе ничего похожего на то, чему предавались тогда корифеи *передовой* журналистики.

Все это не могло меня привлекать к тогдашней журнальной «левой». У меня не было никакой охоты «идти на поклон» в те редакции, где процветала такая ругань. В подобной полемике я не видел борьбы за высшие идеи, за то, что всем нам было бы дорого, а просто личный задор и отсутствие профессиональной солидарности товарищеского чувства.

Ведь все это происходило между «собратами». А я так высоко ставил звание и дело писателя. И если б не моя тогдашняя любовь к литературе, я бы, конечно, позадумался делаться профессиональным литератором, а поехал бы себе хозяйничать в Нижегородскую губернию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лекции в Думе. — История с Костомаровым. — Театр. — Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского». — «Островский и его сверстники». — Заезжие знаменитости. — Музыка. — Балакирев и начало «кучкизма». — Два поколения. — «Отцы и дети». — Замысел романа «В путь-дорогу». — Издательство

Петербург жил (в сезон 1861—1862 года) на тогдашнюю меру очень бойко.

То, что еще не называлось тогда «интеллигенцией» (слово это пущено было в печать только с 1866 года), то есть и люди 40-х и 50-х годов, испытанные либералы, чаявшие так долго падения крепостного права, и молодежь, мои сверстники и моложе меня, придавали столичному сезону очень заметный подъем. Это сказывалось, кроме издательской деятельности, в публичных литературных вечерах и в посещении временных университетских курсов в залах Думы.

Газетное дело было еще мало развито. На весь Петербург была, в сущности, одна либеральная газета, «Санкт-Петербургские ведомости». «Очерки» не пошли. «Голос» Краевского явился уже позднее и стал чем-то средним между либеральным и охранительным органом *.

Розничная продажа на улицах еще не показывалась. И вообще газетная пресса еще не волновала публику, как это было десять и более лет спустя.

Тогда первым тенором в газете был воскресный фельетонист. Это считалось самым привлекательным отделом газеты. Вся «злободневность» входила в содержание фельетона, а передовицы читались только теми, кто

интересовался серьезными внутренними вопросами. Цензура только что немного «оттаяла», но по внутренней политике поневоле нужно было держаться формулы, сделавшейся прибауткой: «Нельзя не признаться, но нужно сознаться».

«Свисток» и «Искра» привили уже вкус к высмеиванию, зубоскальству, памфлету, карикатуре, вообще к нападкам на всем известные личности. И Корш в своих корректных «Петербургских ведомостях» завел себе также воскресного забавника, который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был — «ужасный либерал» *. Его обличительные очерки были тогда исключительно направлены на дореформенную Россию, и никто не проявлял большей бойкости и литературного таланта среди его газетных конкурентов. Все, кто жадно читал втихомолку «Колокол», — довольствовались въявь и тем, что удавалось фельетонисту «Петербургских ведомостей» разменивать на ходячую, подцензурную монету.

Корш же дал ход (но уже позднее) и другому забавнику и памфлетисту в стихах и прозе, которым не пренебрегали и «Отечественные записки», даже к 70-м годам. Попал он и ко мне, когда я начал издавать «Библиотеку», и, разумеется, в качестве очень либерального юмориста *.

Что из этих «сиамских братьев» русского острословия сделала впоследствии жизнь — всем известно; но тогда честный и корректный Корш искренне считал их за самых завзятых радикалов.

Молодая публика, принимавшая участие в судьбе петербургского студенчества — до и после «сентябрьской» истории, — была обрадована открытием курсов самых известных профессоров в залах Думы.

Главный контингент аудиторий Думы были, конечно, студенты и курсистки, хотя тогда такого звания для женщин еще не существовало.

Хозяевами являлись исключительно студенты. Они составляли особый комитет, сносились с лекторами, назначали часы лекций, устанавливали плату. Их распорядители постоянно находились тут, при кассе и в разных залах.

Одним из самых деятельных распорядителей был студент Печаткин, брат издателя «Библиотеки», женатый на одной из самых энергичных тогда девиц *. Впо-

следствии он занимался издательством, держал, если не ошибаюсь, и свою типографию.

Все шло хорошо. Курсы имели и не мало сторонних слушателей. Из лекций, кроме юридических, много ходило к Костомарову.

Николай Иванович никогда не был блестящим лектором, и злоупотреблял даже цитатами из летописей, и вообще более читал, чем говорил. Но его очень любили. С его именем соединен был некоторый ореол его прошлого, тех мытарств, чрез какие он прошел со студенческих своих годов *.

И недавняя его «пря» (диспут) с Погодиным в зале Пассажа поднимала его популярность.

Я ходил аккуратно на несколько курсов, в том числе и к Костомарову. И мне привелось как раз присутствовать при его столкновении со студенчеством.

Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии * между любимым и уважаемым наставником и представительством курсов. Но Костомаров, как своеобычный «хохол», не считал нужным сделать что-то, как они требовали, и когда раздалось шиканье по его адресу, он, очень взволнованный, бросил им фразу, смысл которой был такой: что если молодежь будет так вести себя, то она превратится, пожалуй, в «Расплюевых».

Слова эти были подхвачены. Имя «Расплюевы» я слышал; но всю фразу я тогда не успел отчетливо схватить.

Это имя «Расплюевы», употребленное Костомаровым, показывало, что комическое лицо, созданное Сухово-Кобылиным, сделалось к тому времени уже нарицательным.

А «Свадьбе Кречинского» было всего каких-нибудь пять лет от роду: она появилась в «Современнике» во второй половине 50-х годов *. Но комедия эта сразу выдвинула автора в первый ряд тогдашних писателей и, специально, драматургов.

Она сделалась репертуарной и в Петербурге и в Москве, где Садовский создал великолепный образ Расплюева.

На Александринском театре Самойлов играл Кречинского блестяще, но почему-то с польским акцентом; а после Мартынова Расплюева стал играть П. Васильев и делал из него другой тип, чем Садовский, но очень живой, забавный, а в сцене второго акта — и жалкий.

Автор «Свадьбы Кречинского» только с начала 60-х годов стал показываться в петербургском свете.

Я впервые увидал его в итальянской опере, когда он в антрактах входил в ложи тогдашних «львиц». Он смотрел тогда еще молодым мужчиной: сильный брюнет, с большими бакенбардами по тогдашней моде, очень барственный и эффектный.

На нем остался налет подозрения не больше, не меньше, как в совершении убийства *.

Это крупное дело сильно волновало барскую и чиновную публику обеих столиц. Оно по своему содержанию носило на себе яркий отпечаток крепостной эпохи.

О нем мне много рассказывали еще до водворения моего в Петербурге; а в те зимы, когда Сухово-Кобылин стал появляться в петербургском свете, А. И. Бутовский (тогда директор департамента мануфактур и торговли) рассказал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу.

Он служил тогда председателем Коммерческого совета в Москве и попал как раз на тот вечер у г-жи Н[арышкиной], когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка *, его любовница.

От Бутовского обвиненный хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой.

Такого показания Бутовский не мог дать, потому что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое alibi.

Француженку якобы убили повар и лакей, оба крепостные Сухово-Кобылина, и ночью свезли ее на кладбище, причем она, кажется, не была ими даже достаточно ограблена.

Вся Москва, а за ней и Петербург повторяли рассказ, которому все легко верили, а именно, что оба крепостные взяли убийство на себя и пошли на каторгу. Но и барин был, кажется, «оставлен в подозрении» по суду.

Рассказывали в подробностях сцену, как Сухово-Кобылин приехал к себе вместе с г-жой Н[арышкиной]. Француженка ворвалась к нему (или уже ждала его) и сделала скандальную сцену. Он схватил канделябр и ударил ее в висок, отчего она тут же и умерла.

Мне лично всегда так ярко представлялась эта, быть может, и выдуманная сцена, что я воспользовался ею

впоследствии в моем романе «На суд»*, где фабула и психический анализ мужа и жены не имеют, однако, ничего общего с этой московской историей.

С автором «Кречинского» я тогда нигде не встречался в литературных кружках, а познакомился с ним уже спустя с лишком тридцать лет, когда он был еще бодрым старцем и приехал в Петербург хлопотать в дирекции императорских театров по делу, которое прямо касалось «Свадьбы Кречинского» и его материальной судьбы в Александринском театре. Дирекция, по оплошности ли автора, когда комедия его шла на столичных сценах, или по чему другому — ничего не платила ему за пьесу, которая в течение тридцати с лишком лет дала ей не один десяток тысяч рублей сбору.

Состоялось запоздалое соглашение, и сумма, полученная автором «Свадьбы Кречинского», далеко не представляла собою гонорара, какой он имел бы право получить, особенно по новым правилам 80-х годов.

Сухово-Кобылин оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени, и позднейших десятилетий, — как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил виллу в Больё — на Ривьере, по соседству с М. М. Ковалевским, после того как он в своей русской усадьбе совсем погорел.

Петербургской встречей и ограничилось наше знакомство. Меня пригласил «на него» один чиновник Кабинета, которому он и был обязан успехом сделки с дирекцией. Я у этого чиновника обедал с ним, а потом навестил его в Hôtel de France.

Хотя он, кажется, немного красил себе волосы, но все-таки поражал своим бодрым видом, тоном, движениями. А ему тогда было уже чуть не под восемьдесят лет.

Для меня было интересно поближе приглядеться к такому типу московского барина-писателя, когда-то светского льва, да еще повитого трагической легендой.

Фешенебля в нем уже не осталось ничего. Одевался он прилично — и только. И никаких старомодных претензий и замашек также не выказывал. Может быть, долгая жизнь во Франции стряхнула с него прежние повадки. Говорил он хорошим русским языком с некото-

рыми старинными ударениями и звуками, например, произносил: не «фило̀соф», а «филозо̀ф».

И вот, когда мы с ним разговорились в его номере Hôtel de France, то это и был всего больше «философический разговор». Впервые узнал я, что Александр Васильевич уже до 30-х годов прошлого века кончил курс по математическому факультету (тогда учились не четыре, а три года), поехал в Берлин и сделался там правоверным гегельянцем. И что замечательно: его светская жизнь, быстрая слава, как автора «Кречинского», все его дальнейшие житейские передряги и долгая полоса хозяйничанья во Франции и у себя, в русском имении, не остудили в нем страсти к «философии». Он перевел всего подлинного Гегеля (кроме его лекций, изданных учениками, а не им самим написанных), и часть этого многолетнего труда сгорела у него в усадьбе. Но он восстановил ее и все еще надеялся, что кто-нибудь издаст ему «всего подлинного Гегеля». Он написал и философский трактат в гегельянском духе и стал мне читать из него отрывки.

Тогдашним нашим литературным и общественным движением он мало интересовался, хотя говорил обо всем без старческого брюзжанья. И театр уже ушел от него; но чувствовалось, что он себя ставил в ряду первых корифеев русского театра: Грибоедов, Гоголь, он, а потом уже Островский.

Суд над ним по делу об убитой француженке дал ему материал для его пьесы «Дело», которая так долго лежала под спудом в цензуре*. Не мог он и до конца дней своих отрешиться от желания обелять себя при всяком удобном случае. Сколько помню, и тогда в номере Hôtel de France он сделал на это легкий намек. Но у себя, в Больё (где он умер), М. М. Ковалевский, его ближайший сосед, слыхал от него не раз протесты против такой «клеветы».

Это черта — во всяком случае — характерная для тех, кто имел дело с обвиненными, которые в глазах общественного мнения (а тут, кажется, и по суду) оставлены «в подозрении».

В Больё я попал в ту зиму, когда он уже был очень болен. Он жил одиноко с своей дочерью и оставил по себе у местного населения репутацию «l'un russe, très

parcimonieux»[1]. Случилось и то, что я клал за него шар, когда его баллотировали в почетные академики *.

Возвращаясь к театральным сезонам, которые я проводил в Петербурге до моего редакторства, нельзя было не остановиться на авторе «Свадьбы Кречинского» и не напомнить, что он после такого крупного успеха должен был — не по своей вине — отойти от театра. Его «Дело» могло быть тогда и напечатано только за границей в полном виде.

Цензура так же сурово обходилась и с Островским.

«Свои люди — сочтемся!» попала на столичные сцены только к 61-му году. И в те зимы, когда театр был мне так близок, я не могу сказать, чтобы какая-нибудь пьеса Островского, кроме «Грозы» и отчасти «Грех да беда», сделалась в Петербурге репертуарной, чтобы о ней кричали, чтобы она увлекала массу публики или даже избранных зрителей.

Культом Островского отличался только Ап. Григорьев — в театральной критике. На сцене о пьесах Островского хлопотал всегда актер Бурдин, но дирекция их скорее недолюбливала.

У меня в памяти осталась фраза начальника репертуара Федорова. Выпячивая свои большие губы, он говорил с брезгливой миной:

— Вот нас упрекают все, что мы мало играем Островского (он произносил: Островскòго), но он не дает сборов *.

И правда: даже лучшая его вещь — «Свои люди — сочтемся!» не удержалась с полными сборами *.

Мало того, позднее Литературно-театральный комитет возвратил ему даже «Женитьбу Бальзаминова», найдя, что это — фарс, недостойный его.

Но это случилось уже позднее; а пока Островский для Петербурга был еще новинкой, и очень немногие и в литературном кругу лично знали его.

А тогда он уже сошелся с Некрасовым и сделался одним из исключительных сотрудников «Современника». Этот резкий переход из русофильских и славянофильских журналов, как «Москвитянин» и «Русская беседа», в орган Чернышевского облегчен был тем, что Добролюбов так высоко поставил общественное значение театра

---

[1] весьма скупого русского *(франц.)*.

Островского в своих двух знаменитых статьях. Островский сделался в глазах молодой публики писателем — обличителем всех темных сторон русской жизни.

В какой степени он действительно разделял, например, тогдашнее credo Чернышевского в политическом и философском смысле — это большой вопрос. Но ему приятно было видеть, что после статей Добролюбова к нему уже не относятся с вечным вопросом, славянофил он или западник.

Ап. Григорьев по-прежнему восторгался народной «почвенностью» его произведений и ставил творца Любима Торцова чуть не выше Шекспира. Но все-таки в Петербурге Островский был для молодой публики сотрудник «Современника». Это одно не вызывало, однако, никаких особенных восторгов театральной публики. Пьесы его всего чаще имели средний успех. Не помню, чтобы за две зимы — от 1861 по 1863 год — я видел, как Островский появлялся в директорской ложе на вызовы публики.

Но раньше всего я увидал его все-таки в театре, но не в ложе, а на самых подмостках, в качестве любителя.

Тогда театральное «аматерство»[1] было уже в большом ходу и приютилось в Пассаже, в его зале со сценой, не там, где теперь театр, а на противоположном конце, ближе к Невскому.

К этому любительству и я был привлечен. Тогда среди любительниц блистала г-жа Спорова, младшая дочь генеральши Бибиковой — курьезного типа тогдашней madame Sans-Gène *. Спорова особой талантливостью не выдавалась, но брала красотой. Ее сестра, г-жа Квадри, была талантливее. Она и ее муж, офицер Квадри (недавно умерший), страстно любили театр и готовы были играть всегда, везде и какие угодно роли. К этому кружку принадлежала и даровитая Сандунова, когда-то артистка императорских театров и писательница — в те годы, когда ее муж издавал «Репертуар и пантеон». Она была прекрасной исполнительницей бытового репертуара.

И меня втянули в эти спектакли Пассажа. Поклонником красоты Споровой был и Алексей Антипович Потехин, с которым я уже водил знакомство по дому Писем-

---

[1] любительство (от *франц.* amateur).

ских. Он много играл в те зимы — и Дикого и городничего. Мне предложили роль Кудряша в «Грозе», а когда мы ставили «Скупого рыцаря» для такого же страстного чтеца и любителя А. А. Стаховича (отца теперешних общественных деятелей) *, то я изображал и герцога.

В память моих успехов в Дерпте, когда я был «первым сюжетом» и режиссером наших студенческих спектаклей (играл Расплюева, Бородкина, городничего, Фамусова), я мог бы претендовать и в Пассаже на более крупные роли. Но я уже не имел достаточно времени и молодого задора, чтобы уходить с головой в театральное любительство. В этом воздухе интереса к сцене мне все-таки дышалось легко и приятно. Это только удваивало мою связь с театром.

Квадри в труппе Пассажа выделялся большой опытностью и способностью браться за всякие роли. Он мог бы быть очень недурным легким комиком, но ему хотелось всегда играть сильные роли. Из репертуара Потехина он выступил в роли ямщика «Михайлы» (в «Чужое добро впрок не идет»), прославленной в Петербурге и Москве игрой Мартынова и Сергея Васильева, а в те годы и Павла Васильева, — на Александринском театре.

Пассаж оставался верен бытовому театру. И участие не только Потехина, но и самого Островского было неожиданной приманкой для той публики, которая состояла из самых испытанных театралов.

Островского я еще не слыхал как чтеца сцен из его комедий. Читал он не так, как Писемский, то есть не по-актерски в лицах, а писательски, без постоянной перемены тона и акцента, но очень своеобразно и умело.

Появление его в роли Подхалюзина — это и был «гвоздь» и для тогдашних любителей театра. Ему сделали прием с подношением венка, но в городе это прошло почти что не замеченным большой публикой.

Как актер, Островский не брал ни комизмом, ни созданием типичного лица. Он был слишком крупен и тяжеловат фигурой. Сравнение с Павлом Васильевым было для него невыгодно. Но всю роль провел он умно и с верностью московскому бытовому тону.

И тогда уже и за кулисами, и в зале поговаривали, что ему не следовало бы с его именем рисковать

такой любительской забавой. Красота госпожи Споровой и на него подействовала, после того как он ее видел на той же сцене в Катерине.

Мое личное знакомство с Александром Николаевичем продолжалось много лет; но больше к нему я присматривался в первое время и в Петербурге, где он обыкновенно жил у брата своего (тогда еще контрольного чиновника, а впоследствии министра) *, и в Москве, куда я попал к нему зимой в маленький домик у «Серебряных» бань, где-то на Яузе, и нашел его в обстановке, которая как нельзя больше подходила к лицу и жизни автора «Банкрута» и «Бедность — не порок».

Он работал тогда над своим «Мининым», отделывал его начисто; но первая половина пьесы была уже совсем готова.

Домик его в пять окон — самой обывательской внешности — окунул и меня в дореформенный московский мир купеческого и приказного люда.

В передней меня встретила еще не старая, полная женщина, которую я бы затруднился признать сразу тогдашней подругой писателя. Это была та «Федосья Ивановна», про которую я столько слыхал * от москвичей, приятелей Островского, — особенно в года его молодости, его первых успехов.

Ей он — по уверению этих приятелей — был многим обязан по части знания быта и, главное, языка, разговоров, бесчисленных оттенков юмора и краснобайства обитателей тех московских урочищ.

Федосья Ивановна сейчас же стушевалась, и больше я ее никогда не видал.

В первой же комнате, служившей кабинетом автору «Минина», у дальней стены стоял письменный стол и за ним сидел — лицом ко входу — Александр Николаевич в халате на беличьем меху. Такие его портреты многим памятны.

Он сейчас же начал мне говорить о своем герое, как он его понимает, что он хотел в нем воспроизвести.

Замысел его нельзя было не найти верным и глубоко реальным. Минин — по его толкованию — простой человек без всякого героического налета, без всякой рисовки, тогдашний городской обыватель с душой и практической сметкой.

В его хронике нижегородский «говядарь» сбивается с этой бытовой почвы, и автор заставляет его произносить монологи в духе народнического либерализма *.

Но, судя по тем сценам, какие Островский мне прочел — а читал он, особенно свои вещи, превосходно, — я был уверен, что лицо Минина будет выдержано в простом, реальном тоне.

И тогда уже, и позднее, на протяжении более двадцати лет, я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что бы он ни написал, какого я решительно не видал ни в ком из наших корифеев: ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова, ни у Толстого и всего менее — у Некрасова.

По этой части он с молодых годов — по свидетельству своих ближайших приятелей — «побил рекорд», как говорят нынче. Его приятель — будущий критик моего журнала «Библиотека для чтения» Е. Н. Эдельсон, человек деликатный и сдержанный, когда заходила речь об этом свойстве Островского, любил повторять два эпизода из времен их совместного «прожигания» жизни, очень типичных в этом смысле.

Когда мне лично привелось раз заметить А. Н-чу, как хорошо такое-то лицо в его пьесе, он, с добродушной улыбкой поглаживая бороду и поводя головой на особый лад (жест, памятный всем, особенно тем, кто умел его копировать), выговорил невозмутимо:

— Ведь у меня всегда все роли — превосходные!

Поэтому, когда он ставил пьесу — и на Александринском театре, — он всегда был отменно доволен всеми исполнителями, даже и актера Нильского похваливал. Раз они играют в его пьесе — они должны быть безукоризненно хороши.

Может быть, это повышенное самосознание и давало ему нравственную поддержку в те годы (а они продолжались не один десяток лет), когда он постоянно бился из-за постановки своих вещей и дирекция держала его, в сущности, в черном теле.

Переписка А. Н., появившаяся после смерти актера Бурдина, бывшего его постоянным ходатаем, показала достаточно, как создатель нашего бытового репертуара нуждался в заработке; а ставил он обыкновенно по одной пьесе в сезон на обоих императорских театрах.

И позднее, в 70-х и 80-х годах, его новые вещи в Петербурге не давали больших сборов, и критика делалась к нему все строже и строже.

Но все это не могло поколебать той самооценки, какой он неизменно держался, и в самые тяжелые для него годы. Реванш свой он получил только перед смертью, когда реформа императорских театров при директоре И. А. Всеволожском выдвинула на первый план самых заслуженных драматургов — его и Потехина, а при восстановлении самостоятельной дирекции в Москве Островский взял на себя художественное заведование московским Малым театром *.

Ему предложили и директорство, но он отказался от главного административного поста.

И поразительно скоро — как все говорили тогда за кулисами — он приобрел тон и обхождение скорее чиновника, облекся в вицмундир и усилил еще свой обычный важный вид, которым он отличался и как председатель «Общества драматических писателей», где мы встречались с ним на заседаниях многие годы.

Такая писательская психика объясняется его очень быстрыми успехами в конце 40-х годов и восторгами того приятельского кружка из литераторов и актеров, где главным запевалой был Аполлон Григорьев, произведший его в русского Шекспира. В Москве около него тогда состояла группа преданных хвалителей, больше из мелких актеров. И привычка к такому антуражу развила в нем его самооценку.

Но вся его жизнь прошла в служении идее реального театра, и, кроме сценической литературы, которую он так слил с собственной судьбой, у него ничего не было такого же дорогого. От интересов общественного характера он стоял в стороне, если они не касались театра или корпорации сценических писателей. Остальное брала большая семья, а также и заботы о покачнувшемся здоровье.

Вряд ли он когда-либо пробовал себя в других родах литературы, несмотря на свой несомненный поэтический дар, что он доказал достаточно «Снегурочкой».

Художественность его писательской работы являлась естественным продуктом его объективного реализма, знания русского быта, души русского бытового человека

и любви к характерным чертам русского ума, юмора, комизма и трагизма.

Едва ли не в одной комедии «Доходное место» он поддался тогдашней либеральной тенденции. Моралистом он был несомненно, но широким, иногда очень широким. Но главной его заботой оставалось жизненное творчество — язык, нравы, типичность и своеобразность лиц.

Родился ли он драматургом — по преимуществу? Такой вопрос может показаться странным, но я его ставил еще в 70-х годах, в моем цикле лекций «Островский и его сверстники» *, где и указывал впервые на то, что создатель нашего бытового театра обладает скорее эпическим талантом. К сильному (как немцы говорят, «драстическому») действию он был мало склонен. Поэтому большинство его пьес так полны разговоров, где много таланта в смысле яркой психики действующих лиц, но мало движения.

Островский под влиянием критических статей Добролюбова стал смотреть на себя, как на изобличителя купеческого «темного царства». В первых своих вещах он был более объективным художником, склоняясь и к народническим симпатиям («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и в особенности драма «Не так живи, как хочется»). А позднее — в целом ряде комедий — он только смеялся над своими купцами и купчихами и редко забирал глубже. Вот почему он совсем не захватил новейшего развития нашего буржуазного мира *, когда именно в Москве купеческий класс стал играть и более видную общественную роль.

Если б он к 80-м годам захотел давать нам картины этой самой буржуазии, он мог бы это делать.

То, что явилось в моем романе «Китай-город» * (к 80-м годам), было как раз результатом наблюдений над новым купеческим миром. Центральный тип смехотворного «Кита Китыча» уже сошел со сцены. Надо было совсем иначе относиться к московской буржуазии. А автор «Свои люди — сочтемся!» не желал изменять своему основному типу обличительного комика, трактовавшего все еще по-старому своих купцов.

Такое добровольное пребывание в старых комических тенетах объясняется отчасти жизнью, которую Островский вел в последние двадцать лет. Наблюда-

тельность должна питаться все новыми «разведками» и «съемками». А он стоял в стороне не только от того, что тогда всего сильнее волновало передовую долю общества, но и от писательского мира. Ни в Петербурге, ни в Москве он не был центром какого-нибудь кружка, кроме своих коллег по обществу драматургов.

Кажется, всего один раз в моей жизни я видел его на банкете *, который мы устроили Тургеневу в зиму 1878—1879 года в зале ресторана Эрмитаж. А перед всей литературной Россией он едва ли не один всего раз явился на празднике Пушкина *.

И я не знавал писателей ни крупных, ни мелких, кто бы был к нему лично привязан или говорил о нем иначе, как в юмористическом тоне, на тему его самооценки. Из сверстников ближе всех по годам и театру стоял к нему Писемский. Но он не любил его, хотя они и считались приятелями. С Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым, Майковым, Григоровичем, Полонским — не случилось мне лично говорить о нем, не только как о писателе, но и как о человеке.

Критик Анненков ставил его очень высоко, даже «Минина» его находил замечательным. Но они были люди совсем разного склада, образования и литературного прошлого.

Быть может, из наших первоклассных писателей Островский оставался самым ярким, исключительным бытовиком по своему душевному складу, хотя он и был университетского образования, начитан по русской истории и выучился даже на старости лет настолько по-испански, что переводил пьески Сервантеса.

Сезон петербургской зимы 1862—1863 года (когда началась моя редакторская жизнь) был, как читатель видит, очень наполнен. Вряд ли до наступления событий 1905—1906 годов Петербург жил так полно и разнообразно.

Не надо, однако же, вдаваться в преувеличенные восторги. Выражением «шестидесятые годы» у нас ужасно стали злоупотреблять. Если прикинуть теперешний аршин к тогдашнему общественному «самосознанию», то окажется, что тогда не нашлось бы и одной десятой того количества людей и старых и молодых, участвующих в движении, какое бросилось на борьбу к осени 1905 года. Не нужно забывать, что огромный класс дво-

рянства на две трети был против падения крепостничества; чиновничество в массе держалось еще прежнего духа и тех же нравов. Только незначительное меньшинство в столицах — и всего больше в Петербурге — жило идеями, упованиями, протестами и запросами 60-х годов.

Но в пределах тогдашних «возможностей» все: и художественная литература, и публицистика, и критика, и театр, и другие области искусства — все это шло усиленным ходом.

Мы видели сейчас, что даже такая подробность, как театральное любительство — и то привлекала тогдашних корифеев сценической литературы.

Театр по творческой производительности переживал свой героический период. Никогда позднее не действовало одновременно столько крупных писателей, из которых два — Островский и Писемский — создавали наш новый реальный, бытовой репертуар.

Пьесы Алексея Потехина отвечали тогда прямо на потребность в «гражданских» мотивах. И он выбирал все более сильные мотивы до тех пор, пока цензура не заставила его надолго отказаться от сцены после его комедии «Отрезанный ломоть» *.

Публика привыкла тогда к тому, чтобы ей каждую неделю давали новую пьесу. И несколько молодых писателей, вроде Дьяченко, Николая Потехина, Владыкина и других, отвечали — как могли и умели — этим бенефисным аппетитам.

Дьяченко сделался очень быстро самым популярным поставщиком Александринского театра, и его пьесы имели больше внешнего успеха, чем новые вещи Островского, потому что их находили более сценичными.

Уровень игры стоял, если не по ансамблю и постановке, то по отдельным талантам, — очень высоко. Никогда еще в одну эпоху не значились рядом такие имена, как Сосницкий, Самойлов, Павел Васильев, Ф. Снеткова, Линская.

Если привилегия императорских театров не дозволяла в столицах никакой частной антрепризы, то это же сосредоточивало художественный интерес на одной сцене; а система бенефисов хотя и не позволяла ставить пьесы так, как бы желали друзья театра и драматурги, но этим самым драматургам бенефисная система давала

гораздо более легкий ход на сцену, что испытал и я — на первых же моих дебютах.

Итальянская опера, стоявшая тогда во всем блеске, балет, французский и немецкий театр — отвечали всем вкусам любителей драмы, музыки и хореографии. И мы, молодые писатели, посещали французов и немцев вовсе не из одной моды, а потому, что тогда и труппы, особенно французская, были прекрасные, и парижские новинки делались все интереснее. Тогда в самом расцвете своих талантов стояли Дюма-сын, В. Сарду, Т. Баррьер. А немцы своим классическим репертуаром поддерживали вкус к Шиллеру, Гете и Шекспиру.

Тогда и Шекспир стал проникать в Александринский театр в новых переводах и в новом, более правдивом исполнении. Самойлов выступал в Шейлоке и Лире, и постановка «Лира» в талантливом переводе Дружинина была настоящим сценическим событием.

Тогда и западное сценическое искусство явилось к нам в лице нескольких знаменитостей, чтобы поднять интерес нашей публики к классическому репертуару, и Шекспиру отведено было первое место, хотя называть его театр классическим (как это до сих пор у нас водится) вряд ли правильно.

Американский негр — из бывших невольников — Айра Ольдридж приехал в Петербург с громкой рекламой * — после tournée в Америке и Англии.

Он был как бы прирожденный «мавр», и Отелло сделался его коронною ролью. Играл он с немцами, которые тогда действовали еще на Мариинском вперемежку с русской оперой, иногда с русской драмой.

Кажется, до того петербургская публика не бывала еще на таких разноязычных спектаклях, даже и в операх. Айра Ольдридж мог говорить только по-английски. Остальная труппа играла по-немецки. Выходило странно, но менее странно, чем с русскими актерами, что началось уже в Москве, где юная Познякова-Федотова играла с ним Дездемону. Потом негритянская знаменитость долго ездила по провинции, играла на Нижегородской ярмарке и в других городах. Айра сделался популярным и даже немного приелся. В провинции на него сбегались смотреть, как на диковинку... Спектакли производили полукомическое впечатление. Обыкновенно после «реплики» актер или актриса щелкали пальцами

или делали другой условный знак. То же проделывал и сам Айра. Уже было несколько историй. Сначала он ужасно пугал актрис, и одна из немок, игравших с ним в Петербурге, чуть не выскочила из кровати, когда он начал душить ее. Он и в жизни проявлял темперамент Отелло; но был, кажется, довольно добродушное дитя природы.

Для более развитой доли столичной публики Айра явился самым страстным и реально-страшным Отелло, какого она когда-либо видала. В двух других его ролях — в Шейлоке и в Лире — он брал тоже почти исключительно темпераментом. В этих ролях он принужден был усиленно мазать себе лицо. Шейлок выходил у него более злобным евреем, чем художественно созданным шекспировским лицом. Лиру также недоставало глубокого трагизма. Все это стояло гораздо ниже того, что много лет спустя Петербург и Москва видели у Росси и Сальвини, особенно в сальвиниевском Отелло.

Но все-таки это была не только курьезная, но и просветительная новинка. Прививая вкус к шекспировскому театру, она давала повод к сравнительному изучению ролей. Самойлов как раз выступал в Шейлоке и Лире. У Айры Ольдриджа было, конечно, вчетверо больше темперамента, чем у русского «премьера», но в общем он не стоял на высоте талантливости Самойлова.

Другой толкователь Шекспира и немецких героических лиц, приезжавший в Россию в те же сезоны, тогда уже немецкая знаменитость, актер Дависон считался одной из первых сил в Германии наряду с Девриеном.

Я его встретил раз в кабинете начальника репертуара тотчас по его приезде. Он был уже не молодой, с резко еврейским профилем и даже легким акцентом, или, во всяком случае, с особенным каким-то немецким выговором.

На этой героической знаменитости мы, тогдашние «люди театра», могли изучать все достоинства и дефекты немецкой игры: необыкновенную старательность, выработку дикции, гримировку, уменье носить костюм и даже создавать тип, характер, и при этом — все-таки неприятную для нас, русских, искусственность, декламаторский тон, неспособность глубоко захватить нас: все это доказательства головного, а не эмоционального темперамента.

По выработке внешних приемов Дависон стоял очень высоко. Его принимали как знаменитость. Немцы бегали смотреть на него; охотно ходили и русские, но никто в тогдашнем писательском кругу и среди страстных любителей сцены не восторгался им, особенно в таких ролях, как Гамлет, или Маркиз Поза, или Макбет. Типичнее и блестящее он был все в том же Шейлоке, где ему очень помогало и его еврейское происхождение.

Гораздо больше волновала Петербург — во всех классах общества, начиная с светски-чиновного, — Ристори, особенно в первый ее приезд.

После Рашели (бывшей в России перед самой Крымской кампанией и оставившей глубокую память у всех, кому удалось ее видеть) Ристори являлась первой актрисой с такой же всемирной репутацией.

Те, кто видал Рашель, находили, что она была по таланту выше итальянской трагической актрисы. Но Рашель играла почти исключительно в классической трагедии, а Ристори по репертуару принадлежала уже к романтической литературе и едва ли не в одной Медее изображала древнюю героиню, но и эта «Медея», как пьеса, была новейшего итальянского производства.

И я до ее появления у нас не видал такой живописной и внушительной наружности, такого телесного склада и поступи, таких пластических движений, всего, что требуется для создания сильно драматических и трагических ролей.

Прибавьте к этому музыкальный орган с низковатым бархатным звуком, чудесную дикцию, самую красоту итальянского языка. Ристори пленяла, а в сильных местах проявляла натиск, какого ни в ком из русских, немецких и французских актрис мы не видали.

И все-таки она больше поражала, восхищала, действовала на нервы, чем захватывала вас порывом чувства, или задушевностью, или слезами, то есть теми сторонами женственности, в каких проявляется очарование женской души. Все это, например, она могла бы показать в одной из своих любимых ролей — в шиллеровской Марии Стюарт. Но она не трогала вас глубоко; и в предсмертной сцене не одного меня неприятно кольнуло то, что она, отправляясь на эшафот, посылала поцелуи распятию.

В других своих коронных ролях — Медее и Юдифи — она могла пускать в ход интонации ревности и ярости, силу характера, притворство. Все это проделывалось превосходно; но и тут пластика игры, декламация и условность жестикуляции были романтическими только по тону пьесы, а отзывались еще своего рода классической традицией.

О ее игре я имел разговор тогда с Писемским. Он ходил смотреть Ристори и очень метко оценивал ее игру. Он был еще строже и находил, что у нее нет настоящего темперамента там, где нужно проявлять страсть, хотя бы и бурную.

Ристори приехала и в другой раз в Петербург, привлеченная сборами первого приезда. Но к ней как-то быстро стали охладевать. Чтобы сделать свою игру доступнее, она выступала даже с французской труппой в пьесе, специально написанной для нее в Париже Легуве, из современной жизни, но это не подняло ее обаяния, а, напротив, повредило. Пьеса была слащавая, ординарная, а она говорила по-французски все-таки с итальянским акцентом.

Как первая трагическая итальянская актриса, она оставила очень определенный, выработанный образец игры, помимо своих эффектных внешних средств.

Всего сильнее действовала она на нашу публику в пьесе, изображающей жизнь английской королевы Елизаветы *. Она и умирает на сцене. По созданию лица, по реализму отдельных положений это было самое оригинальное из того, что она тогда исполняла.

Пьеса эта, как и трагедия «Юдифь», была написана тогдашним поставщиком итальянских сцен (кажется, по фамилии Джакометти) в грубовато-романтическом тоне, но с обилием разных более реальных подробностей. В Елизавете он дал ей еще больше выгодного материала, чем в Юдифи. И она показала большое мастерство в постепенных изменениях посадки тела, голоса, лица, движений, вплоть до момента смерти.

С тех пор я более уже не видал Ристори ни в России, ни за границей вплоть до зимы 1870 года, когда я впервые попал во Флоренцию, во время франко-прусской войны. Туда приехала депутация из Испании звать на престол принца Амедея. В честь испанцев шел спектакль в театре «Николини», и Ристори, уже покинувшая театр,

проиграла сцену из «Орлеанской девы» по-испански, чтобы почтить гостей.

Жутко было смотреть на эту почти шестидесятилетнюю женщину в костюме театральной пастушки.

Выйдя замуж за титулованного итальянского барина, она долго еще жила, как говорится, «окруженная всеобщим уважением». Ее палаццо на Арно известно многим русским, кто живал во Флоренции.

Музыка в те зимы входила уже значительно в сезонный обиход столицы. Но Петербург (как и Москва) не имел еще средств высшего музыкального образования. Даже о какой-нибудь известной частной школе или курсах что-то совсем не было слышно. Общая музыкальная грамотность находилась еще в зачатке. Музыке учили в барских домах и закрытых заведениях, и вкус к ней был довольно распространен, но только «в свете», между «господ», а гораздо меньше в среднем кругу и среди того, что называют «разночинцами».

Мальчиков, воспитывавшихся в достаточных и богатых домах, часто приохочивали к фортепьяно, а девочек учили уже непременно, и в институтах они проходили довольно строгую «муштру».

Я лично, после не совсем приятных мне уроков фортепьяно, пожелал сам учиться на скрипке, и первым моим учителем был крепостной «Сашка», выездной лакей и псовый охотник. В провинции симфонической и отчасти оперной музыкой и занимались только при богатых барских домах и в усадьбах. И у нас в городе долго держали свой бальный оркестр, который в некоторые дни играл, хоть и с грехом пополам, «концерты», то есть симфонии и квартеты.

Скрипку я оставил, когда к переходу в Дерпт мною овладела точная наука, но вкус к музыке остался, и я в Дерпте, в доме князей Д[ондуко]вых, постоянно слушал хорошую фортепьянную игру и пение, в котором и сам участвовал.

В Петербурге я не оставался равнодушным ко всему тому, что там исполнялось в течение сезона. Но, повторяю, тогдашние любители не шли дальше виртуозности игры и пения арий и романсов. Число тех, кто изучал теорию музыки, должно было сводиться к ничтожной кучке. Да я и не помню имени ни одного известного про-

фессора «генерал-баса», как тогда называли теорию музыки.

Учреждений, кроме Певческой капеллы, тоже не было. Процветала только виртуозность, и не было недостатка в хороших учителях. Из них Гензельт (фортепьяно), Шуберт (виолончель) и несколько других были самыми популярными. Концертную симфоническую музыку давали на университетских утрах под управлением Шуберта и на вечерах Филармонического общества. И вся виртуозная часть держалась почти исключительно немцами. Что-нибудь свое, русское, создавалось по частной инициативе, только что нарождавшейся.

Но и тот музыкант, которому Россия обязана созданием музыкальной высшей грамотности — Антон Григорьевич Рубинштейн, — в те годы для большой публики был прежде всего удивительный пианист. Композиторский его талант мало признавался; а он уже к тому времени, кроме множества фортепьянных и концертных вещей, выступал и как оперный композитор.

Никто из заезжих иностранных виртуозов не мог помрачить его славы, как пианиста; а в Петербург и тогда уже приезжали на сезон все западные виртуозы. Великопостный сезон держался тогда исключительно концертами (с живыми картинами) и никаких спектаклей не полагалось.

Рубинштейна я в первый раз увидал на эстраде, но издали, и вскоре в один светлый зимний день столкнулся с ним на Невском, когда он выходил из музыкального магазина, запахиваясь в шубу, в меховой шапке, какие тогда только что входили в великую моду.

Он уже не смотрел очень молодым; но так же брил все лицо и отличался уже сходством своих черт и всей головы с маской Бетховена.

У меня не было случая с ним познакомиться в те зимы, хотя я посещал один музыкальный салон, который держала учительница пения, сожигаемая также страстью к сцене, и как актриса и как писательница. Она состояла в большой дружбе с семейством Рубинштейна (по происхождению она была еврейка); у нее часто бывал его брат *, в форме военного врача; но Антон не заезжал.

Наше знакомство завязалось гораздо позднее, уже за границей, в половине 70-х годов, и продолжалось до

его смерти — о чем я еще буду иметь повод и место поговорить.

А тогда я попал в кружок, где Рубинштейна ценили только как виртуоза, но на композитора смотрели свысока и вообще сильно недолюбливали как музыканта старой немецкой школы.

Тогда мой товарищ Милий Балакирев уже устроился в Петербурге, переехав туда из Казани во второй половине 50-х годов. Его покровитель Улыбышев привез его туда, представил Глинке и ввел в тогдашний музыкальный кружок.

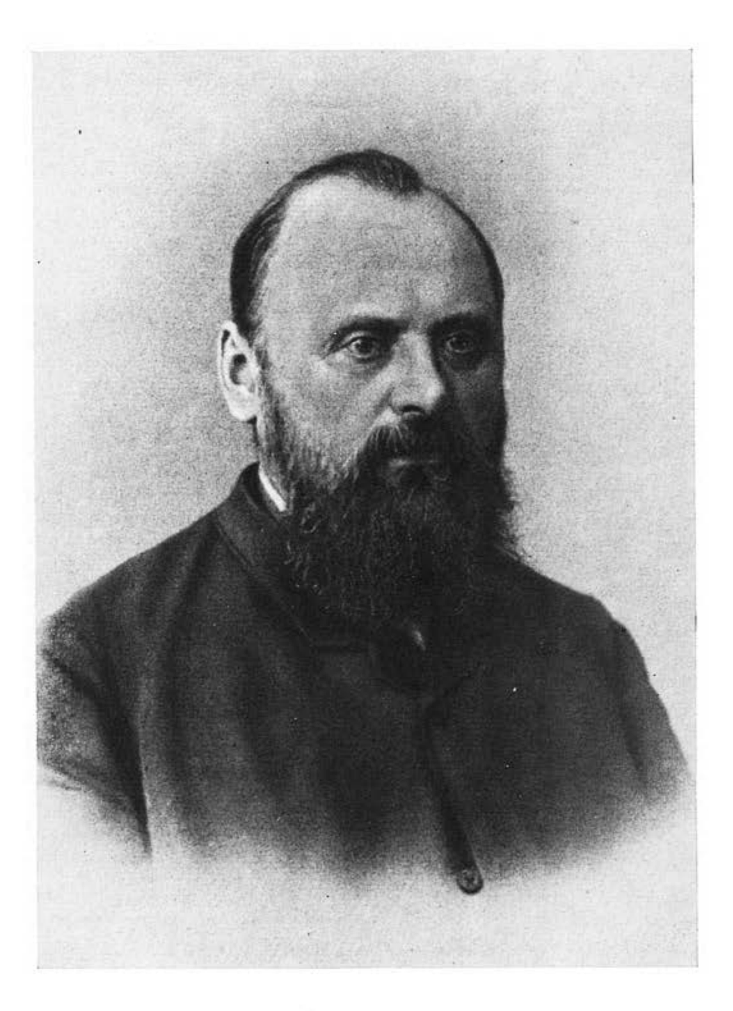
Его сейчас же оценили и как пианиста, и как будущего композитора. Он сошелся через братьев Стасовых с нарождавшейся тогда «Кучкой» музыкантов, которые ратовали за русскую музыку, преклонялись перед Глинкой, высоко ставили Даргомыжского; а в иностранной музыке их «отцами церкви» были Шуман, Лист и Берлиоз.

По направлению это были первые, после Глинки и отчасти Даргомыжского, наши народники-реалисты, стоявшие за освобождение от традиций классических музыкантов немецкой школы, застывших на Моцарте, Бетховене, Мендельсоне и Шуберте.

Шопен был им ближе, и Балакирев всегда любил его играть. Но в Казани, где мы с ним расстались, он еще не выяснил себе своей музыкальной «платформы». Это сделалось в кружке его друзей и — на первых порах — руководителей, в кружке Стасовых.

Теории музыки ему не у кого было учиться в провинции, и он стал композитором без строгой теоретической выучки. Он мне сам говорил, что многим обязан был Владимиру Стасову. Тот знакомил его со всем, что появлялось тогда замечательного в музыкальных сферах у немцев и французов. Через этот кружок он сделался и таким почитателем Листа и в особенности Берлиоза.

Мы видались с Балакиревым в мое дерптское время каждый год. Проезжая Петербургом туда и обратно, я всегда бывал у него, кажется, раз даже останавливался в его квартире. Жил он холостяком (им и остался до большой старости и смерти), скромно, аккуратно, без всякого артистического кутежа, все с теми же своими маленькими привычками. Он уже имел много уроков, и этого заработка ему хватало. Виртуозным тщеславием



М. А. Балакирев
1880-е гг.

он не страдал и не бился из-за великосветских успехов.

В эти четыре года (до моего водворения в Петербурге) он очень развился не только как музыкант, но и вообще стал гораздо литературнее, много читал, интересовался театром и стал знакомиться с писателями; мечтал о том, кто бы ему написал либретто.

О своих замыслах он много беседовал со мною и охотно играл свои новые вещи. Он уже заявил себя как серьезный композитор и двумя-тремя оркестровыми сочинениями и целым циклом романсов.

Без систематической школы по части теории музыки он быстро овладел этой премудростью; а своими вкусами, оценками, идеями в духе народнического реализма — также быстро поднялся до роли центрального руководителя нашей новой музыкальной школы. Тогда прозвище «Могучая кучка» не было еще пущено в ход. Оно взято было из фельетона Кюи *, но уже позднее.

Как преподаватель, Балакирев привык с особым интересом обращаться ко всякому дарованию. И уже с первых его годов жизни в Петербурге под его крыло стали собираться его молодые сверстники, еще никому почти неизвестные в других, более замкнутых кружках любителей музыки.

У Балакирева я в первый раз увидал и Мусоргского. Их тогда было два брата: один носил еще форму гвардейского офицера; а другой, автор «Бориса Годунова», только что надел штатское платье, не оставшись долее в полку, куда вышел, если не ошибаюсь, из училища гвардейских подпрапорщиков.

Тогда это был еще светский jeune homme'чик [1], франтоватый, приятного вида, очень воспитанный, без военных ухваток. Он держался с Балакиревым, как ученик с наставником, но без всякой лести или подслуживанья. Они при мне часто играли в четыре руки и вели разговоры на те темы, которыми весь их кружок так горячо жил. Мусоргский пробовал себя уже как композитор, но к крупным своим вещам он приступил позднее. Его новаторские идеи уже владели им, и Балакирев очень им сочувствовал. Даргомыжский задумал тогда своего «Каменного гостя». Идея полного слияния поэтического слова с музыкальным звуком была всем им дорога. Но,

---

[1] молодой человечек *(франц.)*.

ратуя за нее, кружок будущих «кучкистов» совсем не увлекался Вагнером, написавшим тогда все, чем он прославился, — от «Тангейзера» вплоть до его цикла Нибелунгов и «Тристана и Изольды». Я никогда не слыхал у Балакирева разговоров о создателе «музыки будущего».

И когда сам Вагнер к зиме 1862—1863 года явился в Петербург, где дал несколько концертов под своим дирижерством, причем имел очень шумный успех, наши народники-реалисты, найдя его прекрасным капельмейстером, вовсе не преклонялись перед ним, как перед композитором, не искали его знакомства, не приглашали его к себе.

В тогдашнем Петербурге вагнеризм еще не входил в моду; но его приезд все-таки был событием. И Рубинштейн относился к нему с большой критикой; но идеи Вагнера, как создателя новой оперы, слишком далеко стояли от его вкусов и традиций. А «Кучка», в сущности, ведь боролась также за два главных принципа вагнеровской оперы: народный элемент и, главное, полное слияние поэтического слова с музыкальной передачей его.

И все-таки соглашения не состоялось. Вагнерьянцем явился из тогдашних даровитых музыкантов один только Серов. С Серовым у кружка Стасовых (с которыми он вначале считался приятелем) завелись какие-то интимные счеты, где замешался и женский пол (о чем мне Балакирев что-то рассказывал); а потом явились и профессиональные счеты, и Серов разорвал совершенно со стасовским кружком.

Для него приезд Вагнера и личное сближение явились решающим моментом в его композиторстве. Но и такого восторженного своего поклонника Вагнер считал чем-то настолько незначительным, что в своей переписке из этой эпохи не упоминает ни о нем, ни о каком другом композиторе, — ни о Даргомыжском, ни о Балакиреве; а о Рубинштейне — в его новейшей биографии — говорится только по поводу интриги *, которую якобы Рубинштейн собирался повести против него в Петербурге (?).

Будущие «кучкисты», конечно, были на его концертах; но встречи там с Балакиревым или с Вл. Стасовым (которого я уже лично знал) я что-то не помню.

Вагнер, тогда человек лет около шестидесяти, смотрел совсем не гениальным немцем, довольно филистерского типа. Но его женская нервность и крутой нрав сказывались в том, как он вел оркестр. Музыканты хотя и сделали ему овацию, но у них доходило с ним до весьма крупного столкновения.

Тогда он уже достиг высшего предела своей мании величия и считал себя не только великим музыкантом, но и величайшим трагическим поэтом. Его творчество дошло до своего зенита — за исключением «Парсиваля» — именно в начале 60-х годов, хотя он тогда еще нуждался и даже должен был бежать от долгов с своей виллы близ Вены; но его ждала волшебная перемена судьбы: влюбленность баварского короля и все то, чего он достиг в последнее десятилетие своей жизни.

Какой разительный контраст, если сравнить судьбу автора «Тристана» и «Парсиваля» с жалким концом музыкального создателя «Бориса Годунова» и «Хованщины». Умереть на солдатской койке военного госпиталя, да и то благодаря доброте доктора, который положил его, выдав за денщика.

И только в 1908 году Париж услыхал его «Бориса» в русском исполнении, с Шаляпиным *, и французская критика восхищалась его оперой, признала его создателем небывалого рода реально-народной музыки.

Мусоргского я и позднее встречал, когда он входил в известность, но я не видал той полосы, когда он так нуждался и, предаваясь русской роковой страсти и разрушая свою личность, дошел до того Мусоргского, которого так высокодаровито воспроизвел Репин в знаменитом портрете.

А тем временем мой земляк и товарищ Балакирев, приобретая все больше весу как музыкальный деятель, продолжал вести скромную жизнь преподавателя музыки, создал бесплатную воскресную школу, сделался дирижером самых передовых тогдашних концертов.

Оперы он не написал, а долго мечтал об этом, искал либреттистов, совсем было сладился с поэтом Меем; но тот только забирал с него «авансы», а так ничего ему и не написал.

В психической жизни создателя русской школы произошла (это было в те годы, когда я жил за границей) резкая перемена, совпадающая с его поездкой к славя-

11*

нам *. В юности он был далек от всякой мистики, отличался даже, бывало, в Казани охотой к вышучиванию всего церковного, но тут всплыло в нем мистическое настроение и на почве личной огорченности (как объясняли некоторые его приятели), он совсем скрылся, разорвал надолго сношения с своим кружком, бросил музыку и очутился мелким служащим на станции железной дороги.

Это продолжалось довольно долго, и такого Балакирева я не встречал. Я жил в те годы или за границей, или подолгу в Москве. Потом он пришел в норму, принял заведование Певческой капеллой *, стал опять давать уроки, но прежнего положения занимать не желал.

Таким я его видел в последний раз в доме Дм. Вас. Стасова, куда он приехал играть Шопена в день посмертного юбилея его любимого славянского композитора.

Славянофильство и национализм наложили на него свою окраску; а по музыкальному своему credo он не мог уже относиться с теми же симпатиями и к «кучкистам». Некоторые ушли далеко: и Бородин, и Римский-Корсаков, и Кюи, и все новые в той генерации, где так выделился Глазунов.

О Чайковском мне не привелось с ним беседовать. На композитора «Евгения Онегина» «кучкисты» долго смотрели как на «выученика» консерватории, созданной братьями Рубинштейн. Но позднее они к нему относились без предвзятости, оставаясь все-таки с другими музыкальными идеалами.

Серов — их антагонист и неприятная им личность — в сущности, делал их же дело. И он вдохновлялся народными сюжетами, как «Рогнеда» и «Вражья сила», и стремился к слиянию слова с мелодией, да и вагнерьянство не мешало ему идти своим путем.

В те зимы, о которых я заговорил здесь, его «Юдифь» явилась после «Русалки» Даргомыжского — первой большой оперой, написанной музыкантом новой формации.

Тогдашний Петербург работал над созданием, с одной стороны, музыкальной школы и добился учреждения консерватории, а с другой — дал ход творческой работе и по симфонической музыке и по оперной. Кружок реалистов-народников, образовавший «Могучую кучку», от-

стаивая русскую своеобразность, считал своими западными руководителями таких музыкантов, как Шуман, Лист и Берлиоз. Стало быть, и «кучкисты» были западники; но в высшем смысле. Они недостаточно ценили то, что принес с собою Вагнер, но это помогло им остаться более самими собою, а это — немаловажная заслуга.

Они привлекали публику к серьезным музыкальным наслаждениям и в критике дружно ратовали за свое credo.

Когда я в 1871 году вернулся в Петербург после почти пятилетнего житья за границей, музыкальность нашей столицы шагнула вперед чрезвычайно. По общей подготовке, по грамотности и высшему обучению сделал это Антон Рубинштейн; а по развитию своего оригинального стиля в музыкальной драме те, кто вышел из «Кучки», и те, кто был воспитан на их идеалах, что не помешало, однако, таланту, как Чайковский, занять рядом с ними такое видное и симпатичное место. И он ведь не остался узким западником, а, вызывая в иностранной публике до смерти своей всего больше сочувствия и понимания, выработал свой стиль, свое настроение и как оперный композитор и как симфонист.

В эти же зимы и наши пластические искусства получили другое направление.

«Академия» царила еще в половине 50-х годов. Приезд Ал. Иванова с его картиной «Явление Христа народу» вызвал, быть может впервые, горячий спор двух поколений *. Молодежь стояла за картину, особенно студенчество. Я тогда проезжал Петербургом и присутствовал при таких схватках. Но тогдашние академические эстеты не восхищались картиной, в том числе и такие знатоки, каким уже считался тогда Григорович.

Как «кучкисты», так и новые народники реалистического направления в живописи и скульптуре нашли себе рьяного защитника и пропагандиста в Вл. Стасове.

С ним — как я уже рассказывал раньше — Балакирев познакомил меня еще в конце 50-х годов, когда я, студентом, привез в Петербург свою первую комедию «Фразеры». На квартире Стасова я ее и читал. Там же, помню, были и какие-то художники.

В 60-х годах я у Стасовых не бывал и с Владимиром в литературных кружках не встречался, но видался часто в концертах и на оперных представлениях.

И тогда он уже был такой же, только не седой: высокий, бородатый, с зычным голосом, с обрывистой и грубоватой речью, великий спорщик и «разноситель», для многих трудновыносимый, не только в личных сношениях, но и в статьях своих.

Всего резче отзывался о нем Серов, с которым я стал чаще видаться уже позднее, к 1862 году.

Раз он при мне — у Писемского — с особенным «смаком» повторял такую прибаутку, вероятно им же самим и сочиненную.

Один знакомый спрашивает другого:

— Знаете вы Стасова?

— Которого?.

— Вот такой долговязый!

— Да они все — с коломенскую версту!..

— Такой глупый?

— Да они все такие!..

Не мудрено, что такой тонкий и убежденный западник, как Тургенев, не мог также выносить Стасова. Он видел в его проповеди русского искусства замаскированное славянофильство, а славянофильское credo было всегда ему противно, что он и выразил так блестяще и зло в рассуждениях своего Потугина в «Дыме».

Но Стасов был поклонник не уваровской формулы* — он и вовсе не дружил с тогдашними «почвенниками», вроде Ап. Григорьева, а преклонялся скорее перед Добролюбовым и — главное — перед Чернышевским, воспитал свое художественное понимание на его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и держался весьма либеральных взглядов. Его русофильство было скорее средством проповеди своего, самобытного искусства, протест против подражания иностранной «казенщине» — во всем: в музыке и в изобразительных искусствах.

Как он ругал «итальянщину» в опере, так точно он разносил и академию, и посылку ее пенсионеров в Италию, и увлечение старыми итальянскими мастерами.

Это был своего рода нигилизм на национальной подкладке. Нечто в том же роде происходило в литературной критике, где несколько позднее раздались чисто иконоборческие протесты против изящных искусств и поэзии, лишенной гражданских мотивов.

Стасов не проповедовал отрицания искусства, но его эстетика была узкореалистическая. Он признавал безусловную верность одного из положений диссертации Чернышевского, что настоящее яблоко выше нарисованного *. Поэтому, ратуя за русское искусство, он ставил высоко идейную живопись и скульптуру, восхвалял литературные сюжеты на «злобы дня» и презирал чистое искусство не менее самых заядлых тогдашних нигилистов.

Но никто до него так не распинался за молодые русские таланты. Никто так не радовался появлению чего-либо своеобразного, не казенного, не «академического». Только бы все это отзывалось правдой и было свое, а не заморское.

И как проповедь театрального нутра в половине 50-х годов нашла уже целую плеяду московских актеров, так и суть «стасовщины» упала на благодарную почву. Петербургская академия и Московское училище стали выпускать художников-реалистов в разных родах. Русская жизнь впервые нашла себе таких талантливых изобразителей, как братья Маковские, Прянишников, Мясоедов, потом Репин и все его сверстники. И русская природа под кистью Шишкина, Волкова, Куинджи стала привлекать правдой и простотой настроений и приемов.

Столичная публика только к началу 60-х годов стала так посещать выставки, а любители с денежными средствами так охотно покупать картины и заказывать портреты.

Общество «передвижников» * — прямое создание этого народно-реалистического направления.

Это был вызов, брошенный впервые казенной академии, не в виде только разговоров, споров или задорных статеек, а в виде дела, общей работы, проникнутой хотя и односторонним, но искренним и в основе своей здоровым направлением.

Стало быть, и мир искусства в разных его областях обновился на русской почве именно в эти годы. Тогда и заложено было все дальнейшее развитие русского художественного творчества, менее отрешенного от жизни, более смелого по своим мотивам, более преданного заветам правды и простоты.

То же случилось и со скульптурой. У Антокольского были уже предшественники к 60-м годам, хотя и без его

таланта. И опять все тот же «долговязый» и «глупый» Стасов (по формуле Серова), все тот же несносный крикун и болтун (каким считал его Тургенев) открыл безвестного виленского еврейчика, влюбился в его талант и ломал потом столько копий за его «эпоху делающее» произведение «Иоанн Грозный».

Все это было очень искренно, горячо, жизненно — и в то же время, однако, слишком прямолинейно и преисполнено узкоидейного реализма. Таким неистовым поборником русского искусства оставался Стасов до самой своей смерти. И мы с ним — в последние годы его жизни — имели нескончаемые споры по поводу книги Толстого об искусстве.

Стасов оказывался толстовцем если не в отрицании искусства, то в отстаивании морального его значения и в нападках на все, что ему было не по душе в западном искусстве, в том числе и на оперы Вагнера.

Таким полутолстовцем он и должен был кончить... и старцем восьмидесяти лет от роду, таким же неистовым, как и сорок лет перед тем.

Тогда только и проявился во всех сферах мысли, творчества и общественного движения антагонизм двух поколений, какого русская жизнь до того еще не видывала. В литературной критике и публицистике самую яркую ноту взял Писарев, тотчас после Добролюбова, но он и сравнительно с автором статьи «Темное царство» был уже разрушитель и упразднитель более нового типа. Он попал в крепость за политические идеи. Но его «нигилизм» заявлял себя гораздо сильнее в вопросах общественной и частной морали, в освобождении ума от всяких пут мистики и метафизики, в проповеди самого беспощадного реализма, вплоть до отрицания Пушкина и Шекспира.

Все возрастающая распря между «отцами» и «детьми» ждала момента, когда художник такого таланта как Тургенев, скажет свое слово на эту первенствующую тему.

Создателя «Отцов и детей» я в ту зиму не видал, да, кажется, он и не был в Петербурге при появлении романа в январе 1862 года*.

И даже в том, как оценен был Базаров двумя тогдашними критиками радикальных журналов, сказались опять две ступени развития в молодом поколении.

«Нигилисты» постарше зачитывались статьей Антоновича, где произведение Тургенева сравнивалось с «Асмодеем» тогдашнего обскуранта-ханжи Аскоченского; а более молодые упразднители в лице Писарева посмотрели на тургеневского героя совсем другими глазами и признали в нем своего человека.

«Современник» и его главный штаб с особенной резкостью отнеслись к роману Тургенева, и Герцен (на первых порах) отрицательно отзывался о Базарове, увидав в своем тогдашнем приятеле Тургеневе «зуб» против молодежи.

Все крепостническое, чиновничье, дворянско-сословное и благонамеренное так и взглянуло на роман, и сам Иван Сергеевич писал, как ему противны были похвалы и объятия разных господ, когда он приехал в Россию.

Он не мог заранее предвидеть, что его роман подольет масла к тому, что разгорелось по поводу петербургских пожаров. До сих пор легенда о том, что подожгли Апраксин двор студенты вместе с поляками*, еще жива. Тогда революционное брожение уже начиналось. Михайлов за прокламации пошел на каторгу. Чернышевский пошел туда же через полтора года. Рассылались в тот сезон 1861—1862 года и подпольные листки; но все-таки о «комплотах» и революционных приготовлениях не ходило еще никаких слухов.

Пожары дали материал, предлог — и этого было достаточно. И молодежь — та, которая не додумалась до писаревской оценки Базарова, и та часть «отцов», которая ждала от Тургенева чего-нибудь менее сильного по адресу «нигилизма», не могла оценить того, что представляют собою «Отцы и дети».

Уже одно то, что роман печатался у Каткова, журнал которого уже вступал в полемику с «Современником» и вообще поворачивал вправо, вредило автору.

В настоящий момент мне трудно ответить и самому себе на вопрос: отнесся ли я тогда к «Отцам и детям» вполне объективно, распознал ли сразу огромное место, какое эта вещь заняла в истории русского романа в XIX веке?

За одно могу ответить и теперь, по прошествии целых сорока шести лет, — что мне рецензия Антоновича не только не понравилась, но я находил ее мелочной, придирчивой, очень дурного тона и без всякого понима-

ния самых даровитых мест романа, без признания того, что я сам чувствовал и тогда: до какой степени в Базарове уловлены были коренные черты русского протестанта против всякой фразы, мистики и романтики. Этот склад ума и это направление мысли и анализа уже назревали в студенческом мире и в те годы, когда я учился, то есть как раз во вторую половину 50-х годов.

Много было разговоров и споров о романе; но я не помню, чтобы о нем читались рефераты и происходили прения на публичных вечерах или в частных домах. Бедность газетной прессы делала также то, что вокруг такого произведения раздавалось гораздо меньше шуму, чем это было бы в начале XX века.

Но вот что тогда наполняло молодежь всякую — и ту, из которой вышли первые революционеры, и ту, кто не предавался подпольной пропаганде, а только учился, устраивал себе жизнь, воевал со старыми порядками и дореформенными нравами, — это страстная потребность вырабатывать себе свою мораль, жить по своим новым нравственным и общественным правилам и запросам.

Этим было решительно все проникнуто среди тех, кого звали и «нигилистами». Движение стало настолько же разрушительно, как и созидательно. Созидательного, в смысле нового этического credo, оказывалось больше. То, что потом Чернышевский в своем романе «Что делать?» ввел как самые характерные черты своих героев, не выдуманное, а только разве слишком тенденциозное изображение, с разными, большею частию не нужными разводами.

Контраст с нынешними протестами наших крайних индивидуалистов — разительный. Эти чуть не обоготворяют свое «я», отрицают всякую мораль, жаждут только «оргиастических» ощущений и наитий. А те свое «я» приносили в жертву идее даже и тогда, когда ратовали за полную свободу своей личности и не хотели ничего признавать, что считали неподходящим для себя. В их нигилизме сидел даже аскетический элемент, и все их «эксцессы», в смысле чувственных наслаждений, сводились к таким вольностям, которые теперешним оргиастам мистического толка и всяких других толков показались бы детскими забавами.

Затевались, правда, разные коммунистические общежития*, на брак и сожительство стали смотреть

по-своему, стояли за все виды свободы, но и в этой сфере чувств, понятий и правил тогда и слыхом не слыхать было об умышленном цинизме, о порнографии, о желании вводить в литературу разнузданность воинствующего эротизма.

Правда, в печать тогдашняя цензура ничего такого и не пустила бы, но ведь цензура в 40-х годах и в начале 50-х годов была еще строже; а это не мешало «отцам» любить скоромное в непечатной литературе стишков, анекдотов, целых поэм.

Такая целомудренность — и при нигилистических протестах против закрепощения мужчин и женщин в прежнем браке — прямое доказательство того, что все тогда было проникнуто серьезным служением «делу» и высшими задачами прогресса, и шабаш теперешнего эротизма был бы немыслим.

Какую же вся эта интенсивная жизнь тогдашнего центра русского движения вызвала во мне, посвятившем себя бесповоротно писательскому поприщу, дальнейшую «эволюцию»?

Драматическим писателем я уже приехал в Петербург и в первый же год сделался фельетонистом. Но я не приступал до конца 1861 года ни к какой серьезной работе в повествовательном роде.

В Казани и Дерпте я пробовал себя, как автор рассказов. В Дерпте, в нашей русской корпорации, мой юмористический рассказ «Званые блины» произвел даже сенсацию; но доказательством, что я себя не возомнил тогда же беллетристом, является то, что я целых три года не написал ни одной строки, и первый мой более серьезный опыт была комедия в 1858 году. Тогда драматическая форма привлекала меня настолько сильно, что я с того времени стал мечтать о литературном «призвании», и литература одолела чистую науку, которой я считал себя до того преданным.

Какой контраст с тем, что мы видим (в последние 20 лет в особенности) в карьере наших беллетристов. Все они начинают с рассказов, и одними рассказами создают себе громкое имя. Так было с Глебом Успенским, а в особенности с Чеховым, с Горьким и с авторами следующих поколений: Андреевым, Куприным, Арцыбашевым.

А тут вот что вышло с молодым писателем после одного столичного сезона.

В нем «спонтанно» (выражаясь научно-философским термином) зародилась мысль написать большой роман, где бы была рассказана история этического и умственного развития русского юноши, — с годов гимназии, и проведя его через два университета — один чисто русский, другой — с немецким языком и культурой.

И вот он берет десть бумаги и на первом листе пишет:

«В ПУТЬ-ДОРОГУ»

Роман в шести книгах

Почему в шести? Потому, что на каждый период: гимназия — Казань — Дерпт — надо было дать по крайней мере около двадцати печатных листов.

Такой замысел смутил бы теперь даже и не начинающего. Роман в шестьдесят печатных листов! И с надеждой, почти с уверенностью, что я его доведу до конца, что его непременно напечатают.

Тогда это не было так фантастично. Журналы любили печатать большие романы, и публика их всегда ждала.

Но все-таки замысел был смелый до дерзости. И в те месяцы (с января 1861 года до осени) я не попробовал себя ни в одном, хотя бы маленьком, рассказе — даже в фельетонном жанре, ни в «Библиотеке», ни у П. И. Вейнберга в «Веке».

И такая большущая «махинища» была действительно «пробой пера» начинающего романиста.

В рассказчики я попал уже гораздо позднее (первые мои рассказы были «Фараончики» и «Посестрие» — 1866 и 1871 годы) и написал за тридцать лет до ста и более рассказов. Но это уже было после продолжительных работ, после больших и даже очень больших вещей.

В тогдашней литературе романов не было ни одной вещи в таком точно роде. Ее замысел я мог считать совершенно самобытным. Никому я не подражал. Теперь я бы не затруднился сознаться в этом. Не помню, чтобы прототип такой «истории развития» молодого человека, ищущего высшей культуры, то есть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гете, носился предо мною.

В Дерпте я больше любил Шиллера и романистом Гете заинтересовался уже десятки лет спустя, особенно когда готовил свою книгу «Европейский роман в XIX столетии» *.

Конечно, я и тогда имел понятие о Вильгельме Мейстере, но, повторяю, этот прототип не носился предо мною.

Здесь будет кстати задать вопрос первой важности: чье влияние всего больше отлиняло на мне, как писателе, по содержанию, тону, настроению, языку?

В нашей критике вопрос этот вообще до сих пор недостаточно обработан, и только в самое последнее время в этюдах по истории нашей словесности начали появляться более точные исследования на эту тему.

Меня самого — на протяжении целых сорока с лишком лет моей работы романиста — интересовал вопрос: кто из иностранных и русских писателей всего больше повлиял на меня, как на писателя в повествовательной форме; а романист с годами отставил во мне драматурга на второй план. Для сцены я переставал писать подолгу, начиная с конца 60-х годов вплоть до 80-х.

В моих «Итогах писателя», где находится моя авторская исповедь (они появятся после меня), я останавливаюсь на этом подробнее, но и здесь не могу не подвести таких же итогов по этому вопросу, важнейшему в истории развития всякого самобытного писателя: чистый ли он художник или романист с общественными тенденциями.

Всего лишь один раз во все мое писательство (уже к началу XX века) обратился ко мне с вопросными пунктами из Парижа известный переводчик с русского, Гальперин-Каминский. Он тогда задумывал большой этюд (по поводу пятидесятилетней годовщины по смерти Гоголя), где хотел критически обозреть все главные этапы русской художественной прозы, языка, мастерства формы — от Гоголя и до Чехова включительно.

На вопрос: кого из молодых считаю я беллетристом, у которого чувствуется в манере письма мое влияние, — я ответил, что мне самому трудно это решить. На вопрос же: чрез какие влияния я сам прошел, — ответить легче; но и тут субъективная оценка не может быть безусловно верна, даже если писатель и совершенно спокойно и строго относится к своему авторскому «я».

О моей писательской манере, о том, что французы стали называть l'écriture artiste[1], начали говорить в рецензиях только в 80-е годы, находя, что я стал будто бы подражать французским натуралистам, особенно Золя.

Испытание самому себе я произвел тогда же, и для этого взял как раз «В путь-дорогу» (это было к 1884 году, когда я просматривал роман для «Собрания» Вольфа*) и мог уже вполне объективно судить, что̀ за манера была у меня в моем самом первом повествовательном произведении.

Роману тогда минуло уже ровно двадцать лет, так как он писался и печатался в 1861—1864 годах.

И что же?

С первых строк первой главы я имел перед собою свой язык с своим ритмом, выбором слов и манерой описаний, диалогов, характеристик.

Ни Золя, ни его сверстниками тут и не «пахло». Я их, по появлению в литературе, был старше на много лет, и когда Золя и Доде (и даже братья Гонкур) стали известны у нас, «В путь-дорогу» давно уже печатался.

Но все это относится к тем годам, когда я был уже двадцать лет романистом. А речь идет у нас в настоящую минуту о том, под каким влиянием начал я писать, если не как драматург, то как романист в 1861 году?

Гимназистом и студентом я не мало читал беллетристики; но никогда не пристращался к какому-нибудь одному писателю, а так как я до 22-х лет не мечтал сам пойти по писательской дороге, то никогда и не изучал ни одного романиста, как свой образец. Студентом (особенно в Дерпте, до 1857 года) я вообще мало читал беллетристики — я был слишком увлечен точной наукой. Моя тогдашняя начитанность по изящной литературе была по другим отделам ее: Шиллер, Гете («Фауст»), Гейне и Шекспир. Романы, главным образом французские, читал я всегда у отца в усадьбе на летних вакациях. Но никто из французских романистов, даже и Бальзак и Жорж Занд, не делался «властителем моих дум», никто из них не доставлял мне такого духовного удовлетворения и так не волновал меня, как с половины 50-х годов наши беллетристы, а раньше, в годы от-

[1] художественным почерком *(франц.)*.

рочества и первой юности — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Кольцов и позднее Островский.

Конечно, в том кризисе, который произошел во мне в Дерпте, наша беллетристика дала самый сильный импульс. Но это все-таки не то, что прямое влияние одного какого-нибудь писателя, своего или иностранного.

Даже английские романисты, как Диккенс и Теккерей, которыми у нас зачитывались (начиная с 40-х годов), не оставили на мне налета, когда я сделался романистом, ни по замыслам, ни по тону, ни по манере. Это легко проследить и фактически доказать.

Думаю, что Тургенев за целое десятилетие 1852—1862 годов был моим писателем более Гончарова, Григоровича (он мне одно время нравился), Достоевского и Писемского, который всегда меня сильно интересовал. Но опять-таки тургеневский склад повествования, его тон и приемы не изучались мною «нарочито», с определенным намерением достичь того же, более или менее.

Я еще не мечтал о повествовательной беллетристике даже и тогда, когда очутился опять в Петербурге по возвращении из деревни. Это случилось как бы неожиданно для меня самого.

Но влияние может быть и скрытое. Тургенев незадолго до смерти писал (кажется, П. И. Вейнбергу), что он никогда не любил Бальзака и почти совсем не читал его. А ведь это не помешало ему быть реальным писателем, действовать в области того романа, которому Бальзак еще с 30-х годов дал такое развитие.

Может быть, в романе «В путь-дорогу» найдутся некоторые ноты в тургеневском духе, и некоторые «тирады» я в 1884 году уничтожил, но вся эта вещь имеет свой пошиб.

Еще менее отлиняли на меня и тогда и позднее — манера, тон и язык Гончарова или Достоевского. Автора «Мертвого дома» я стал читать как следует только в Петербурге и могу откровенно сказать, что весь пошиб его писательства меня не только не захватывал, но и не давал мне никакого чисто эстетического удовлетворения.

Моя писательская дорога сложилась так, что я, с первых же шагов и впоследствии, непрерывно и неиз-

менно стоял один, без всяких руководителей, без какого-либо литературного патрона, без дружеских или кружковых влияний, ни в идейном, ни в чисто художественном смысле.

Когда я приехал в Петербург, мои обе пьесы были уже приняты и напечатаны. Писемский никогда не руководил мною, не давал мне никаких советов и указаний. Я не попал ни в какой тесный кружок сверстников, где бы кто-нибудь сделался моим не то что уже советником, а даже слушателем и читателем моих рукописей.

Не могу сказать, чтобы меня не замечали и не давали мне ходу. Но заниматься мною особенно было некому, и у меня в характере нашлось слишком много если не гордости или чрезмерного самолюбия, то просто чувства меры и такта, чтобы являться как бы «клиентом» какой-нибудь знаменитости, добиваться ее покровительства или читать ей свои вещи, чтобы получать от нее выгодные для себя советы и замечания.

Да если бы я и хотел этого (а такого желания у меня решительно не было), то мне и некогда было бы в такой короткий срок (от января до октября 1861 года) при тогдашней моей бойкой и разнообразной жизни устроить себе такой патронат.

Может показаться даже маловероятным, что я, написав несколько глав первой части, повез их к редактору «Библиотеки», предлагая ему роман к январской книжке 1862 года и не скрывая того, что в первый год могут быть готовы только две части. Тогда редакторы были куда покладливее и принимали большие вещи по одной части. Так я печатал в 1871—1873 годах и «Дельцы» у Некрасова *. Но с конца 1873 года я в «Вестнике Европы» прошел в течение 30-ти лет другую школу, и ни одна моя вещь не попадала в редакцию иначе, как целиком, просмотренная и приготовленная к печати, хотя бы в ней было до 35-ти листов, как, например, в романе «Василий Теркин».

Замысел романа «В путь-дорогу» явился как бы непроизвольным желанием молодого писателя произвести себе «самоиспытание», перед тем как всецело отдать себя своему «призванию».

За два с лишком года, как я писал роман, он давал мне повод и возможность оценить всю свою житейскую

и учебную выучку, видеть, куда я сам шел и непроизвольно и вполне сознательно. И вместе с этим передо мною самим развертывалась картина русской культурной жизни с эпохи «николаевщины» до новой эры.

То, что я взял героем молодого человека, рожденного и воспитанного в дворянской семье, но прошедшего все ступени ученья в общедоступных заведениях, в гимназии и в двух университетах, было, по-моему, чрезвычайно выгодно. Для культурной России того десятилетия — это было центральное течение.

В нашей беллетристике до конца XIX века роман «В путь-дорогу», по своей программе, бытописательному и интеллигентному содержанию, оставался единственным. Появились в разное время вещи из жизни нашей молодежи, но все это отрывочно, эпизодично.

Но таких «Lehrjahren»[1] не появлялось. Только Гарин (Михайловский) напечатал роман «Студенты»; но в нем действуют воспитанники инженерного института, а не университетские студенты. Истории же гимназиста и картины двух университетов — не имеется и до сих пор.

В какой степени «В путь-дорогу» автобиографический роман? Когда я вспоминал свое отрочество и юность, вплоть до вступления на писательское поприще, — я уже оговаривался на этот счет.

Весь быт в губернском городе, где родился, воспитывался и учился Телепнев, а потом в Казани и Дерпте, — все это взято из действительности. Лица — на две трети — также; начальство и учителя гимназии, профессора и товарищи — почти целиком.

Но Телепнева нельзя отождествлять с автором. У меня не было его романической истории в гимназии, ни романа с казанской барыней, и только дерптская влюбленность в молодую девушку дана жизнью. Все остальное создано моим воображением, не говоря уже о том, что я, студентом, не был богатым человеком, а жил на весьма скромное содержание и с 1856 года стал уже зарабатывать научными переводами.

Умственная и этическая эволюция Телепнева похожа и на мою, но не совпадает с нею. В нем последний кризис, по окончании курса в Дерпте, потянул его к зем-

---

[1] «Годов ученья» *(нем.)*.

ской работе, а во мне началась борьба между научной дорогой и писательством уже за два года до отъезда из Дерпта.

Как я сказал выше, редактор «Библиотеки» взял роман по нескольким главам, и он начал печататься с января 1862 года. Первые две части тянулись весь этот год. Я писал его по кускам в несколько глав, всю зиму и весну, до отъезда в Нижний и в деревню; продолжал работу и у себя на хуторе, продолжал ее опять и в Петербурге и довел до конца вторую часть. Но в январе 1863 года у меня еще не было почти ничего готово из третьей книги — как я называл тогда части моего романа.

Конечно, такая работа позднее меня самого бы не удовлетворяла. Так делалось по молодости и уверенности в своих силах. Не было достаточного спокойствия и постоянного досуга при той бойкой жизни, какую я вел в городе. В деревне я писал с бо̀льшим «проникновением», что, вероятно, и отражалось на некоторых местах, где нужно было творческое настроение.

Об «успехе» первых двух частей романа я как-то мало заботился. Если и появлялись заметки в газетах, то вряд ли особенно благоприятные. «Однодворец» нашел в печати лучший прием, а также и «Ребенок». Писемский, по-видимому, оставался доволен романом, а из писателей постарше меня помню разговор с Алексеем Потехиным, когда мы возвращались с ним откуда-то вместе. Он искренно поздравлял меня, но сделал несколько дельных замечаний.

В «Отечественных записках», уже к следующему, 1863 году, появилась очень талантливо написанная рецензия *, где самого Телепнева охарактеризовали как «чувствительного эгоиста», но к автору отнеслись с большим сочувствием и полным признанием.

Эта рецензия появилась под каким-то псевдонимом. Я узнал от одного приятеля сыновей Краевского (тогда еще издателя «Отечественных записок»), что за псевдонимом этим скрывается Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский — псевдоним). Я написал ей письмо, и у нас завязалась переписка, еще до личного знакомства в Петербурге, когда я уже сделался редактором-издателем «Библиотеки» и она стала моей сотрудницей.

Я не принадлежал тогда к какому-нибудь большому кружку, и мне не легко было бы видеть, как молодежь принимает мой роман. Только впоследствии, на протяжении всей моей писательской дороги вплоть до вчерашнего дня, я много раз убеждался в том, что «В путь-дорогу» делалась любимой книгой учащейся молодежи. Знакомясь с кем-нибудь из интеллигенции лет пятнадцать — двадцать назад, я знал вперед, что они прошли через «В путь-дорогу», и, кажется, до сих пор есть читатели, считающие даже этот роман моей лучшей вещью.

Я был удивлен (не дальше как в 1907 году, в Москве), когда один из нынешних беллетристов, самой новой формации, приехавший ставить свою пьесу из еврейского быта, пришел ко мне в номер «Лоскутной» гостиницы и стал мне изливаться — как он любил мой роман, когда учился в гимназии.

Теперь «В путь-дорогу» в продаже не найдешь. Экземпляры вольфовского издания или проданы, или сгорели в складах. Первое отдельное издание из «Библиотеки» в 1864 году давно разошлось. Многие мои приятели и знакомые упрекали меня за то, что я не забочусь о новом издании... Меня смущает то, что роман так велик: из всех моих вещей — самый обширный; в нем до 64-х печатных листов.

Он был еще до 70-х годов издан по-немецки в Германии, в извлечении, но я никогда не держал в руках этого перевода; знаю только, что он был сделан петербуржцем, который должен был удалиться за границу.

Четыре остальные книги писались в 1863 и 1864 годах — уже среди редакционных и издательских хлопот и мытарств, о чем я расскажу в следующей главе.

Могло, однако, случиться так, что я не только не завяз бы в самую гущу журнального дела, но, быть может, надолго бы променял жизнь петербургского литератора на жизнь в провинции.

Часть лета 1862 года я провел в имении. Крестьяне мои уперлись насчет большого надела, и возня с ними взяла много времени. Мой товарищ З — ч оставался у меня на хуторе с приказчиком. Мне за вычетом крестьянского надела приходилась с лишком тысяча десятин земли, в том числе лес-заказник; все это чистое от банковского долга. Хозяйничать было бы можно, если б

во мне билась «хозяйственная жилка». А пока имение приносило кое-какой доход, который шел «между пальцев», и жил я почти исключительно на свой писательский заработок.

В деревне я отдохнул от Петербурга, там хорошо писалось, но не тянуло устроиваться там самому, делаться «земским» человеком, как захотел мой Телепнев, когда уезжал из Дерпта.

Я испытал на себе ту особенную «тягу», которую писательство производит на некоторые интеллектуально-эмоциональные натуры, к которым и я себя причисляю.

«Народника», в тогдашнем смысле, во мне не сидело; а служба посредником или кем-нибудь по выборам также меня не прельщала. Моих соседей я нашел все такими же. Их жизнь я не прочь был наблюдать, но слиться с ними в общих интересах, вкусах и настроениях не мог.

Наследство мое становилось мне скорее в тягость. И тогда, то есть во всю вторую половину 1862 года, я еще не рассчитывал на доход с имения или от продажи земли с лесом для какого-нибудь литературного дела. Мысль о том, чтобы купить «Библиотеку», не приходила мне серьезно, хотя Писемский, задумавший уже переходить в Москву в «Русский вестник», приговаривал не раз:

— Что бы вам, Боборыкин, не взять журнала?! Вы в нем — видный сотрудник, у вас есть и состояние, вы молоды, холосты... Право!..

Но тогда я еще на это не поддавался.

Зимой в 1863 году поехал я на свидание с моей матерью и пожил при ней некоторое время. В Нижнем жила и моя сестра с мужем. Я вошел в тогдашнее нижегородское общество. И там театральное любительство уже процветало. Меня стали просить ставить «Однодворца» и играть в нем. Я согласился и не только сыграл роль помещика, но и выступил в роли графа в одноактной комедии Тургенева «Провинциалка».

Жизнь с матушкой вызвала во мне желание поселиться около нее, и я стал тогда же мечтать устроиться в Нижнем, где было бы так хорошо писать, где я был бы ближе к земле, если не навсегда, то на продолжительный срок.

Мое желание я высказывал матушке несколько раз, но она, хоть и была им тронута, — боялась за меня, за то, как бы провинция не «затянула меня» и не отвлекла от того, что я имел уже право считать своим «призванием».

Я уехал в Москву и в Петербург по журнальным и театральным делам, но с определенным намерением вернуться еще той же зимой.

Было это, сколько помню, в конце января 1863 года, а через месяц я сделался уже собственником «Библиотеки для чтения».

Как могло это случиться?

Меня стали уговаривать Писемский и некоторые сотрудники, а издатель усиленно предлагал мне журнал на самых необременительных, как он уверял, условиях.

Литературная жилка задрожала. Мне и раньше хотелось какого-нибудь более прочного положения. Службу я — принципиально — устранял из своей карьеры. Журнал представился мне самым подходящим делом. По выкупу я должен был получить вскоре некоторую сумму и в случае надобности мог, хоть и за плохую цену, освободиться от своей земли.

Был и еще — тоже не новый уже для меня — мотив: моя влюбленность и мечта о женитьбе на девушке, отец которой, вероятно, желал бы видеть своего будущего зятя чем-нибудь более солидным, чем простым журнальным сотрудником.

Так я сделался довольно-таки экспромптом, двадцати шести лет от роду, издателем-редактором толстого и старого журнала.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Издательство и редакторство «Библиотеки для чтения» (1863—1865 годы). — Ядро материальной неудачи. — Разорение. — Мои цензора. — Старые и новые сотрудники. — Эдельсон. — Щ[егл]ов и Воскобойников. — Генслер, граф Салиас, князь А. И. Урусов, Лесков, Левитов, Глеб Успенский, Помяловский, П. Ткачев. — Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, П. Л. Лавров, А. Энгельгардт, графиня Е. В. Салиас (Евгения Тур), Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский — псевдоним), сестра ее — «Весеньев», Марко Вовчок, Я. П. Полонский, Н. И. Костомаров, проф. Щапов. — Встречи с Тургеневым, Григоровичем, Островским, Писемским, Плещеевым. — Светские знакомства. — Петербургские сезоны 1863—1865 годов. — Работа беллетриста. — Издательские тиски. — Ликвидация журнала. — Первая поездка за границу осенью 1865 года

«Библиотека для чтения» сыграла в моей жизни во всех смыслах роль того сосуда, в котором производится химическая сухая перегонка.

Если взять еще образ: мое редакционное издательство явилось пробным камнем для всего того, что во мне, как человеке, писателе, сыне своей земли, значилось более ценного и устойчивого.

Скажу без ложной скромности: не всякому из моих собратов и сверстников, и людей позднейших генераций выпал на долю такой *искус*, такой «шок», как нынче выражаются, и вряд ли многие выдержали бы его и — к концу своего писательского пятидесятилетия[1] * — стояли бы по-прежнему «на бреши» все такими же работниками пера.

---

[1] Писано незадолго до моего 50-летнего юбилея. *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

Помню, на одном чествовании, за обедом, который мне давали мои собраты, приятели и близкие знакомые, покойный князь А. И. Урусов сказал блестящий и остроумный спич:

«Петра Дмитриевича его материальное разорение закалило, как никого другого. Из барского «дитяти», увлекшегося литературой, он сделался настоящим писателем и вот уже не один десяток лет служит литературе».

Такова была его тема, которую он развил не только как прекрасный оратор, но и как человек, который с 1863 года сошелся со мною, сделавшись, еще студентом, сотрудником «Библиотеки для чтения».

В начале 1863 года, приехав к матушке моей в Нижний, я вовсе еще не собирался приобретать журнал, хотя Писемский и сам издатель Печаткин склоняли меня к этому.

Сделаться собственником и главным редактором большого литературного органа — в этом было все-таки и для меня много привлекательного.

Что я был еще молод — не могло меня удерживать. Я уже более двух лет как печатался, был автором пьес и романа, фельетонистом и наблюдателем столичной жизни. Издание журнала давало более солидное положение, а о возможности неудачи я недостаточно думал. Меня не смущало и то, что я — по тогдашнему моему общественно-политическому *настроению* — не имел еще в себе задатков руководителя органа с направлением, которое *тогда* гарантировало бы успех.

Одно могу утверждать: денежные расчеты ни малейшим образом не входили в это. У меня было состояние, на которое я прожил бы безбедно, особенно с прибавкой того, что я начал уже зарабатывать. Но я, конечно, не думал, что журнал поведет к потере всего, что у меня было, как у землевладельца.

Живя у матушки моей, еще в январе 1863 года, я предлагал ей поселиться в Нижнем. Тогда сестра моя оставалась подолгу в деревне с своим мужем, и мне искренно хотелось остаться на неопределенное время при моей старушке.

Ей это предложение не могло не прийтись по душе; но она увидала в нем слишком большую жертву для меня, как писателя, который вместо столичной жизни

обрек бы себя на житье в провинции. Если б она предвидела, что̀ принесет мне издательство «Библиотеки для чтения», она, разумеется, не стала бы меня отговаривать.

И я вернулся в Петербург, а к половине февраля уже подписал контракт с издателем «Библиотеки» и вступил фактически в заведование и хозяйством и редакцией журнала.

У меня не сохранилось никаких записей, где бы я отмечал ход переговоров, где я мог бы найти теперь тот решающий факт, который *подтолкул* меня слишком скоро к такому шагу.

Кажется, я получил в Нижнем письмо (но от кого — тоже не помню), где мне представляли это дело, как самое подходящее для меня — во всех смыслах. Верно и то, что я рассчитывал получить выкупную ссуду раньше того, как она была мне выдана, соображая, что такую сумму я, во всяком случае, должен буду употребить целиком на журнал.

Ничто меня не заставляло решиться на такой шаг. И никто решительно не отсоветовал. Напротив, Писемский и те, кто ближе стояли к журналу, не говоря уже о самом издателе, выставляли мне дело весьма для меня если не соблазнительным, то выполнимым и отвечающим моему положению, как молодого писателя, так преданного интересам литературы и журнализма.

Не хочу никого ни обвинять без основания, ни в чем-либо умышленном подозревать. Вряд ли кто из моих собратов, начиная с тогдашнего редактора «Библиотеки», знал подлинную правду о состоянии подписки журнала к февралю 1863 года, не исключая и самого Писемского. А издатель представил мне дело так, что журнал имел с лишком тысячу подписчиков (что-то около 1300 экземпляров), что по тогдашнему времени было еще не плохо, давал мне смотреть подписную книгу, в которой все было в порядке, предлагал необременительные условия.

Разумеется, будь другой на моем месте — он бы произвел настоящую *анкету* и прежде всего навел бы справку в газетной экспедиции о числе экземпляров и подверг бы самую эту подписную книгу более тщательному осмотру.

И ничего этого я не знал, потому что был слишком «барское дитя», хотя и прошедшее долгую выучку сту-

денческого учения. Доверчивость и вообще-то в моей натуре, а тут все-таки было многое заманчивое в перспективе сделаться хозяином «толстого журнала», как тогда выражались. Входила сюда, конечно, и известная доля тщеславия — довольно, впрочем, понятного и извинительного.

Издатель предложил: до осени платить мне ежемесячно определенную сумму. Стало быть, я не обязан был сейчас же выкладывать капитал. И по типографии я мог сразу пользоваться кредитом. А со второго года издания я обязан был выплачивать род аренды на известный срок. В случае нарушения с моей стороны контракта, я должен был заплатить *неустойку в десять тысяч рублей.*

Контракт этот я составлял сам. Хотя и носил звание «кандидата» и приобрел его на юридическом факультете, но впоследствии оказалось, что вся петля была на мне, и я ничего не мог бы добиться, если бы и доказал, что число подписчиков было *гораздо меньше,* чем то, в котором меня уверили.

Через год, когда подписка 1864 года, в сущности, увеличилась на несколько сот (на что я и рассчитывал), цифра была все такая же, какую я номинально принял годом раньше.

Тогда только я через посредство одного помощника присяжного поверенного обратился к знаменитому адвокату С — му, возил ему corpus dilicti [1], то есть подписную книгу (после того как с великим трудом добыл ее) и контракт, и он мне категорически заявил, что я процесса бы не выиграл, если б начал дело, и с меня всетаки присудили бы неустойку в десять тысяч рублей.

А проект контракта я никакому юристу не показывал, да у меня тогда и не было никаких связей с деловым миром.

Кажется, я не был еще знаком лично ни с одним известным адвокатом.

Эта роковая неустойка и была главной причиной того, что я был затянут в издательство «Библиотеки» и не имел настолько практического навыка и расчета, чтобы пойти на ее уплату, прекратив издание раньше,

[1] вещественное доказательство *(лат.).*

например, к концу 1864 года. Но и тогда было бы уже поздно.

Выходило, однако ж, так, что, будь цифра, *якобы* переданная мне при заключении контракта, и в действительности такая, я бы мог, по всей вероятности, повести дела не блестяще, но сводя концы с концами, особенно если б, выждав время, продал выгодно свою землю.

Каждый, читающий это, вправе сказать: «Да как же было не знать подлинной цифры подписчиков (даже и с даровыми экземплярами) с первого же месяца своего издательства?»

Очень просто: контора журнала была *при магазине,* принадлежавшем бывшему хозяину, и вся подписка шла в его карман до конца года; следовательно, у меня не было фактической возможности ничего проверить.

И фантастическая основа моего расчета выведена была на чистую воду уже слишком поздно, когда надо мной висела петля неустойки.

Я нарочно забегу здесь вперед, чтобы покончить с историей моего злополучного издательства и всего того, что оно за собою повело для меня по своим материальным последствиям.

Даже и в денежном смысле пустился я слишком налегке. Надо было, во всяком случае, приготовить свой, хотя бы небольшой, капитал. На тысячерублевую выдачу, которую производил мне бывший издатель, трудно было вести дело так, чтобы сразу поднять его. Приходилось ограничивать расходы средними гонорарами и не отягчать бюджета излишними окладами постоянным сотрудникам.

Но как бы ни велось хозяйство, в основе его лежал *фиктивный* расчет, и невыгодность контракта с крупной неустойкой заранее парализовала дело.

Оно шло еще без особых тисков и денежных треволнений до начала 1864 года и дальше, до половины его. Но тогда уже выкупная ссуда была вся истрачена и пришлось прибегать к частным займам, а в августе 1864 года я должен был заложить в Нижегородском Александровском дворянском банке всю землю *за ничтожную сумму в пятнадцать тысяч рублей,* и все имение с торгов пошло за что-то вроде девятнадцати тысяч уже позднее.

Долги росли — и процентщикам, и тем, кто давал мне взаймы, желая поддержать меня, и за типографскую работу, и за бумагу.

История, слишком хорошо знакомая всем, кто надевал на себя ярмо издателя журнала или газеты.

Теперь, в начале XX века, каждая газета поглощает суммы в несколько раз большие и в такие же короткие сроки. Мое издательство продолжалось всего два года и три месяца, до весны 1865 года, когда пришлось остановить печатание «Библиотеки».

Познал я тогда, в последние полгода, через какое пекло финансовых затруднений, хлопот, страхов должен проходить каждый, когда дело обречено на погибель и нет ни крупного кредита, ни умения найти вовремя денежного компаньона, когда контракт затягивает вас вроде как в азартной игре.

Как бы я строго теперь ни относился сам к тому, как велось дело при моем издательстве, но я все-таки должен сказать, что никаких не только безумных, но и вообще слишком широких трат за все эти двадцать восемь месяцев не производилось. Я взял очень скромную квартиру (в Малой Итальянской — теперь улица Жуковского, дом гр. Салтыкова), в четыре комнаты с кухней, так же скромно отделал ее и для себя и для редакции, дома стола не держал, прислуга состояла из того же верного слуги Михаила Мемнонова и его племянника Миши, выписанного из деревни. Единственный экстренный расход состоял в найме помесячного извозчика — да и то в первый только год. Вряд ли я проживал много больше того, что получал бы как постоянный сотрудник и редактор. Думаю, что мои личные расходы (вызванные на одну треть жизнью хозяина толстого журнала) едва ли превышали четыре, много пять тысяч в год.

Когда денежные тиски сделались все несноснее и не давали мне времени писать, я сдал всю хозяйственную часть на руки моего постоянного сотрудника Воскобойникова, о роли которого в журнале буду говорить дальше. А теперь кратко набросаю дальнейшие перипетии моей материальной незадачи.

Когда сделалось ясно, в первой же трети 1865 года, что нельзя дойти и до второй половины года, я решился ликвидировать. Были сделаны попытки удовлетворить

подписчиков каким-нибудь другим журналом. Но тогда не к кому было и обратиться в Петербурге, кроме «Отечественных записок» Краевского. Перед тем мы в 1864 году вошли в такое именно соглашение с Ф. Достоевским, когда его журнал должен был прекратить свое существование*. Но нам это не удалось. Обращался я, уже позднее, к издателю «Русского вестника» в Москве, но и это почему-то не состоялось.

Пришлось расплачиваться за все и со всеми — и с денежными заимодавцами, и с моим контрагентом, и по типографии, и по бумаге, и с сотрудниками, и с подписчиками — моими личными ресурсами.

Тогда именье мое еще не было продано, и на нем лежал незначительный долг, и только по тогдашнему отсутствию цен оно пошло окончательно за бесценок.

Мне оставалось предложить всем моим кредиторам — взять это имение. Но и эта комбинация не осуществилась, несмотря на то что я печатно обратился к ним и к публике с особенным заявлением, которое появилось в «Московских ведомостях», как органе всего более подходящем для такой публикации.

Измученный всеми этими мытарствами, я дал доверенность на заведование моими делами и на самые небольшие деньги, взятые в долг у одной родственницы, уехал за границу в сентябре 1865 года, где и пробыл до мая 1866 года.

Тогда я и предложил заимодавцам воспользоваться моим имением, которое продано еще не было. И вот, со второй половины 1865 вплоть до 1886, стало быть свыше двадцати лет, я должен был нести обузу долгов, которые составили сумму больше чем *тридцать тысяч* рублей. По всем взысканиям, какие на меня поступили в разное время, я платил, вплоть до тех гонораров, на которые были выдаваемы долговые документы. Со стороны подписчиков были также представляемы отдельные претензии, но какого-либо общего протеста в печати я не помню.

С 1867 года, когда я опять наладил мою работу, как беллетриста и заграничного корреспондента, часть моего заработка уходила постоянно на уплату долгов. Так шло и по возвращении моем в Россию в 1871 году и во время нового житья за границей, где я был очень болен, и больной все-таки усиленно работал.

Бывали минуты, когда я терял надежду сбросить с себя когда-либо бремя долговых обязательств. Списывался я с юристами, и один из них, В. Д. Спасович, изучив мое положение, склонялся к тому выводу, что лучше было бы мне объявить себя несостоятельным должником, причем я, конечно, не мог быть объявлен иначе как «неосторожным». Но я не согласился, и как мне ни было тяжело — больному и уже тогда женатому, я продолжал тянуть свою лямку.

В 1873 году скончался мой отец. От него я получил в наследство имение, которое — опять по вине «Библиотеки» — продал. По крайней мере две трети этого наследства пошли на уплату долгов, а остальное я по годам выплачивал вплоть до 1886 года, когда наконец у меня не осталось *ни единой копейки долгу,* и с тех пор я не делал его ни на *полушку.*

Расплата с главным виновником моего злосчастного предприятия произошла в мое отсутствие через одного доброго знакомого, покойного Е. Р[аго]зина. Уступки сделал мой главный заимодавец весьма малые. Давность контракту еще не вышла. Даже, сколько я помню (и хотел бы ошибиться), *по одному и тому же* документу пришлось мне, уже лично, по приезде в Петербург в 1875 году заплатить два раза. И мой кредитор не захотел и тут сделать уступку, хотя и знал, что этот долг был уже уплачен, и я тут сделался жертвой одной только оплошности.

Вот какое искупление пережил я за издательство, продолжавшееся всего два года с четвертью.

Если я легкомысленно пустился на этой «галере» в широкое море, то и был примерно наказан. И отец мой был вправе попенять мне за то, что он еще в 1862 году предлагал мне на выкупную ссуду поднять его хозяйство и вести его сообща. Мать моя не отговаривала меня, не желая обрезывать мне крылья, и даже не хотела, чтобы я оставался при ней в провинции.

Кроме денежных средств, важно было и то, с какими силами собрался я *поднимать* старый журнал, который и под редакцией таких известных писателей, как Дружинин и Писемский, не привлекал к себе большой публики. Дружинин был известный критик, а Писемский — крупный беллетрист. За время их редакторства в журнале были напечатаны, кроме их статей, повестей и

рассказов, и такие вещи, как «Три смерти» Толстого, «Первая любовь» Тургенева, сцены Щедрина и «Горькая судьбина» Писемского.

Но направление журнала — недостаточно радикальное, его старая фирма, напоминавшая барона Брамбеуса, — не привлекало молодежи.

На большой карикатуре, где изображен был весь тогдашний петербургский журнализм, меня нарисовали юным рыцарем, который поднимает упавшего коня: * «Библиотеку для чтения».

Вот эта старость журнала и должна бы была воздержать меня. А к тому же решился я слишком быстро, и тогда, когда Новый год уже прошел и подписка выяснилась.

Не мог я, разумеется, и подготовить новый персонал сотрудников. По необходимости я должен был ограничиться тем, что состояло уже при редакции и в «портфелях» редакции.

В портфелях я не нашел ничего сколько-нибудь выдающегося, а один рассказ навлек на меня вскоре (по выходе апрельского номера) обличение: оказалось, что автор переделал какой-то французский рассказ на русские нравы и выдал свою вещицу за оригинальную *.

Писемский перешел в Москву к Каткову в «Русский вестник» и вскоре уехал из Петербурга. В качестве литературного критика он отрекомендовал мне москвича, своего приятеля Е. Н. Эдельсона, считавшегося знатоком художественной литературы. Он перевел «Лаокоона» Лессинга и долго писал в московских журналах и газетах о беллетристике и театре.

Я и раньше встречал его у Писемского.

Он мне нравился своим тоном, верностью своих оценок, большой порядочностью. Тогда я еще не знал, что он подвержен периодическому алкоголизму. Но я никогда не видал его в нетрезвом виде. И никто бы не подумал, что он страдает запоем, — до такой степени он выделялся своим джентльменством и даже некоторой щепетильностью манер.

Мы условились, что он будет получать сверх полистной платы ежемесячное содержание и поведет отдел критики.

Отношения у нас установились деловые, а не товарищеские. Он был гораздо старше меня летами, да и

вообще не склонен был к скорому товарищескому сближению и только со своими москвичами — «кутилами-мучениками», как Якушкин и Ап. Григорьев, водил дружбу и был с ними на «ты».

Влиять я на него не мог: он слишком держался своих взглядов и оценок. «Заказывать» ему статьи было нельзя по той же причине. Работал он медленно, никогда вперед ничего не сообщал о выборе того, о чем будет писать, и о программе своей статьи. Вот почему он не к каждой книжке приготовлял статьи на чисто литературные темы.

В числе его первых этюдов была рецензия «Казаков» Толстого. И в ней он выказал свое чутье, вкус, понимание того, что это была за вещь, как художественное произведение.

А не нужно забывать, что «Казаки» не вызвали в петербургской радикальной критике энтузиазма * и даже просто таких оценок, каких они заслуживали. На них посматривали, как на что-то почти реакционное, так как автор восторгался дикими нравами своих казаков и этим самым как бы восставал против интеллигенции и культуры.

Эдельсон был очень серьезный, начитанный и чуткий литературный критик, и явись он в настоящее время, никто бы ему не поставил в вину его направления. Но он вовсе не замыкался в область одной эстетики. По университетскому образованию он имел сведения и по естественным наукам, и по вопросам политическим, и некоторые его статьи, написанные, как всегда, по собственной инициативе, касались разных вопросов, далеких от чисто эстетической сферы.

Он переехал на житье в Петербург, давно обзаведясь семьей, и оставался членом редакции журнала вплоть до самого конца.

Когда к 1864 году он узнал, в каких денежных тисках находилось уже издание, он пришел ко мне и предложил мне сделать у него заем в виде акций какой-то железной дороги. И все это он сделал очень просто, как хороший человек, с соблюдением все того же неизменного джентльменства.

Долг этот был рассрочен на много лет, и я его выплачивал его семейству, когда его уже не было на свете. Со второй половины 1865 года я его уже не

видал. Смерть его ускорил, вероятно, тот русский недуг, которым он страдал.

Когда-нибудь и эта скромная литературная личность будет оценена. По своей подготовке, уму и вкусу он был уже никак не ниже тогдашних своих собратов по критике (не исключая и критиков «Современника», «Эпохи» и «Русского слова»). Но в нем не оказалось ничего боевого, блестящего, задорного, ничего такого, что можно бы было противопоставить такому идолу тогдашней молодежи, как Писарев.

И журналу он придавал слишком серьезный, спокойный, резонерский тон.

В «Библиотеке для чтения» при Писемском присяжным критиком считался Еф. Зарин. И его я получил вместе с журналом. Но я ему не предложил литературно-критического отдела. Он писал по публицистике, по тогдашним злобам дня. У него завязалась перед тем полемика с Чернышевским. Это тоже не могло поднимать престиж журнала у молодой публики. И его «направление» не носило на себе достаточно яркой окраски. Да и сама личность отзывалась, когда я к нему стал присматриваться, чем-то не тогдашним, не Петербургом и Москвой 60-х годов, а смесью некоторого либерализма с недостаточным пониманием того, к чему льнуло тогда передовое русское общество.

Кажется, он происходил из духовного звания, воспитался и учился в провинции, в Пензе, вряд ли прошел через университет, держался особняком, совсем не был вхож в тогдашние бойкие журнальные кружки.

Через него я не мог бы расширить круг талантливых и смелых сотрудников.

Но он был хотя и кропотливый, но дельный работник. И если б не его, быть может, слишком высокое мнение о себе, он мог бы выработаться в хорошего публициста.

Его статья о проекте земских учреждений считалась замечательной, и он при мне в конторе «Библиотеки для чтения» сообщал с гордостью, что этой статьи потребовали пятнадцать оттисков в Государственный совет.

У нас с ним, сколько помню, не вышло никаких столкновений; но когда именно и куда он ушел из журнала — не могу точно определить. Знаю только то, что не встречался с ним ни до 70-х годов, ни



Г. И. Успенский
1870-е гг.

позднее. И смерть его прошла для меня незамеченной. Если не ошибаюсь, молодой писатель с этой фамилией — его сын *.

Во всяком случае, Еф. Зарин не участвовал в дальнейшей судьбе журнала. Но если б он стал в нем играть первенствующую роль, то вряд ли бы от этого дело пошло в гору.

С журналом получил я еще двух сотрудников, постоянно печатавшихся в «Библиотеке», — Щ[ег]лова и Воскобойникова.

Щ[ег]лов писал по разным вопросам и стал известным своими статьями о системах социалистов и коммунистов, — разумеется, в духе буржуазной критики.

До того я с ним не встречался. Он мне не нравился всем своим видом и тоном. От него «отшибало» семинаристом, и его литературная бойкость была на подкладке гораздо больше личного задора и злобности, чем каких-либо прочных и двигательных принципов.

Я сразу почувствовал, что это — «не мой человек» и что его бойкость и некоторая начитанность идут в сторону, которая может вредить журналу, какой я хотел вести, то есть орган широко либеральный, хотя и без революционно-социалистического оттенка.

Щ[ег]лов служил преподавателем (кажется, истории) в одной из петербургских гимназий, и в нем была какая-то смесь «семинара» с учителем, каких я помнил еще из моих школьных годов.

Пока не было еще повода устранять его; но к концу года он уже не состоял ни в членах редакции, ни в постоянных сотрудниках.

И с ним, как и с Еф. Зариным, никакого резкого столкновения у меня не вышло. Мое внутреннее чутье подсказывало мне, что скорее рано, чем поздно, придется вступить с ним в борьбу и пререкания.

Самый тип такого господина говорил о том, что он должен в скором времени очутиться в чиновничьем стане, что и случилось. И по министерству народного просвещения он стал служить с отличием и, начав критикой С. Симона, Оуэна, Кабе и П. Леру, кончил благонамеренным и злобным консерватизмом ученого «чинуша́» * в каком-то комитете.

Его дальнейшая судьба меня ни малейше не интересовала.

По своему обличию, тону, манерам, жаргону, он мог служить крайней противоположностью с Эдельсоном. Насколько первый был «хамоват», настолько второй — джентльмен, с неизменной корректностью тона, языка и манеры одеваться.

С Воскобойниковым у меня вышли, напротив, продолжительные сношения, и он, быть может и против воли, сделался участником той борьбы, которую «Библиотека» должна была вести с «равнодушием публики», употребляя знаменитую фразу, которую пустила редакция московского журнала «Атеней», когда прекращала свое существование*.

В «Библиотеке» он выступал как полемист и в полемике с Чернышевским оказался не в авантаже*. Как фельетонист, до моего редакторства, я говорил в шутливом тоне об этих полемических победах Чернышевского.

Воскобойников как будто водил приятельство с Щ[егло]вым, но заглазно любил пройтись насчет его язвительно. Как тип тогдашнего интеллигента, попавшего в журнализм, он представлял из себя довольно своеобразную фигуру.

По внешности имел он совершенно штатский вид, а незадолго перед тем он носил еще военную форму инженера путей сообщения, то есть каску, аксельбанты и шпоры. Тогда «путейцы» считались офицерами и воспитание получали кадетское.

Воображаю, каким комическим рыцарем смотрел он в полной форме и в каске с черным султаном из конского волоса! Он был малого роста, неловкий в движениях, чрезвычайно нервный, всегда небрежно одетый, с беспорядочной бородкой и длинной шевелюрой.

Насчет длинных волос он сам рассказывал, бывало, в редакции, как тогдашний начальник путей сообщения раз, когда он дежурил у него в приемной, подвел его к зеркалу и сказал поучительно:

— Господин поручик! Полюбуйтесь вашими волосами. Рекомендую вам обстричь их!..

Тон у него был отрывистый, выговор с сильной картавостью на звуке «р». С бойким умом и находчивостью, он и в разговоре склонен был к полемике; но никаких грубых резкостей никогда себе не позволял. В нем все-таки чувствовалась известного рода воспитанность. И со мной он всегда держался корректно, не

позволял себе никакой фамильярности, даже и тогда — год спустя и больше, — когда фактическое заведование журналом, особенно по хозяйственной части, перешло в его руки.

В нем сидела, в сущности, как поляки говорят, «шляхетная» натура. Он искренно возмущался всем, что делалось тогда в высших сферах, и в бюрократии, и среди пишущей братии, антипатичного, дикого, неблаговидного и произвольного. Его тогдашний либерализм был искреннее и прямолинейнее, чем у Зарина и, тем более, у Щ[ег]лова. Идеями социализма он не увлекался, но в деле свободомыслия любил называть себя «достаточным безбожником» и сочувствовал в особенности польскому вопросу в духе *освободительном*.

Журнал попал в мои руки как раз к тому моменту, когда польское восстание разгорелось и перешло в настоящую партизанскую войну.

Польской литературой и судьбой польской эмиграции он интересовался уже раньше и стал писать статьи в «Библиотеке», где впервые у нас знакомил с фактами из истории польского движения, которые повели к восстанию. Он читал по-польски. Его интересовала личность Мерославского и других лидеров эмиграции. Он дельно и в хорошем тоне составлял ежемесячное обозрение с такими подробностями и цитатами с польского, каких *нигде* в других журналах не появлялось, даже и в тех, которые считались радикальнее во всех смыслах, чем наш журнал.

Когда я много лет спустя просматривал эти статьи в «Библиотеке», я изумлялся тому, как мне удавалось проводить их сквозь *тогдашнюю* цензуру. И дух их принадлежал ему. Я ему в этом очень сочувствовал. С студенческих лет я имел симпатии к судьбам польской нации; а в конце 60-х годов в Париже стал учиться по-польски и занимался и языком и литературой поляков в несколько приемов, пока не начал свободно читать Мицкевича.

Такая черта в духовной физиономии моего постоянного сотрудника способствовала нашему сближению, но *только до известного предела.* Мне не нравилось в нем то, что он не свободен был от разных *личных* счетов и, если б я его больше слушал, способен был втянуть меня полегоньку в тот двойственный вид полулиберализма,

полуконсерватизма, который в нем поддерживался его натурой, раздражительной и саркастической, больше, чем твердо намеченным credo.

У него не было литературного таланта, но некоторый темперамент и способность задевать злободневные темы. Писал он неровно, без породистой литературности и был вообще скорее «литератор-обыватель», чем писатель, который нашел свое настоящее призвание.

И к 1863 году, и позднее у него водилось не мало знакомств в Петербурге в разных журналах, разумеется, не в кружке «Современника», а больше в том, что собирался у братьев Достоевских.

Не знаю, хитрил он или нет, но московского славянофильства я в нем тогда не замечал, или увлечения той разновидностью славянофильства, которую проповедовал журнал Достоевских, Аполлон Григорьев и «Косица» — псевдоним, под которым долго скрывался Н. Н. Страхов.

Но он со всеми ними водился и довольно-таки язвительно рассказывал о жизни братьев Достоевских.

Тогда автор «Карамазовых» хоть и стоял высоко, как писатель, особенно после «Записок из мертвого дома», но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни.

Будь я, как издатель, состоятельнее и, как редактор, постарше и поавторитетнее, такой сотрудник, как Воскобойников, вставленный в известные рамки, мог бы быть очень и очень полезным делу.

Несомненно, он с первого же года входил все больше и больше в интересы журнала. И когда я, к концу 1864 года попав в тиски, поручил ему главное ведение дела со всеми его дрязгами, хлопотами и неприятностями, чтобы иметь свободу для моей литературной работы, он сделался моим «alter ego», и в общих чертах его чисто редакционная деятельность не вредила журналу, но и не могла его особенно поднимать, а в деловом смысле он умел только держаться кое-как на поверхности, не имея сам ни денежных средств, ни личного кредита, ни связей в деловых сферах.

Он же нес на себе и обузу ликвидации в 1865 году и позднее, вплоть до конца 1886 года. Я выдал ему полную доверенность, и много векселей, счетов, расписок были им подписаны *без моего ведома*. Но я никогда

не сомневался в его честности. И было бы с моей стороны невеликодушно и непорядочно теперь, задним числом, в чем-либо пенять ему.

Из всех сотрудников он только и втянут был по доброй воле в эту «галеру», и другой бы на его месте давным-давно ушел, тем более что у нас с ним лично не было никаких затянувшихся счетов. Он не был мне ничего должен, и я ему также. Вся возня с журналом в течение более полутора года не принесла ему никаких выгод, а, напротив, отняла много времени почти что даром.

То, что в его натуре было консервативного и несколько озлобленного, сказалось в его дальнейшей карьере. Он попал к Каткову в «Московские ведомости», где вскоре занял влиятельное положение в редакции. Он оказался публицистом и администратором, которым хозяин газеты очень дорожил, и после смерти Каткова был в «Московских ведомостях» одним из первых номеров.

Бремя заведования и хозяйственного ведения журнала я в первый год, то есть до начала 1864-го, нес еще «с легким сердцем».

Я очень скоро осмотрелся и вошел в свою роль, не предаваясь никаким преждевременным тревогам.

Устроился я недорого; излишнего штата в редакции не заводил, взял себе только личного секретаря из мелких чиновников, П — ского, рекомендованного мне моим приятелем Д[ондуковым], с которым я два года прожил вместе на трех квартирах: сначала на Литейной, потом в Поварском переулке, а в зиму 1862—1863 года — у Красного моста.

Открыл я приемные дни по средам; но на первых порах редакционных собраний еще не устраивал.

Сейчас же начались мытарства с цензурой.

И чтобы быть утвержденным в редакторстве, я должен был доставить особую рекомендацию двух известных и высокопоставленных лиц. Одним из них подписался сенатор Буцковский — самое тогда влиятельное лицо в Комиссии, которая вырабатывала новые судебные уставы.

Цензура только что преобразовывалась *, и в мое редакторство народилось уже Главное управление по делам печати. Первым заведующим назначен был чиновник из Третьего отделения Турунов; но я помню, что он некоторое время носил вицмундир народного просвещения, а не внутренних дел.

Вместе с журналом получил я и цензора, знаменитого своим обскурантизмом, — Касторского, бывшего профессора русской истории.

С ним не было никакого сладу! Он придирался ко всему и везде видел тлетворные идеи, особенно по части социализма и революции.

По поводу одной какой-то невинной статьи он мне сказал, нахмурив брови:

— Не мог-с! Эта статья полна *мизерабельности* и *социабельности*.

На его жаргоне это значило, что автор сочувствует пролетариату и вообще социальному движению.

Это был какой-то «шут гороховый», должно быть, из «семинаров», с дурашливо-циническим тоном. Правда, его самого можно было отделывать «под воск» и говорить ему какие угодно резкости. Но от этого легче не было, и все-таки целые статьи или главы зачеркивались красными чернилами; а жаловаться значило идти на огромную проволочку с самыми сомнительными шансами на успех.

Но не думайте, что дело сводилось только к *этой* цензуре. Цензур совершенно самостоятельных было несколько. Театральная цензура находилась в Третьем отделении. Кроме того, значились еще три отдельные цензуры, с которыми надо было постоянно возиться.

Во-первых, духовная. *Ни одна* статья философского (а тем паче религиозного) содержания к простому цензору не шла, а была отсылаема в лавру, к иеромонаху (или архимандриту), и, разумеется, попадала в Даниилов львиный ров *.

Наш цензор считался самым суровым, да вдобавок невежественным и испивающим. Чтобы дать образчик изуверства и тупости этой *духовной* цензуры, выбираю один случай из дюжины. Когда вышла брошюра Дж.-Ст. Милля «Утилитаризм» и получена была в Петербурге, я тотчас же распорядился, чтобы она как можно скорее была переведена, и поручил перевод молодому

студенту (это был не кто иной, как *Ткачев*, впоследствии известный эмигрант), и он перевел ее чуть ли не в одни сутки.

И она — погибла! Ту же участь имело и все сколько-нибудь свободомыслящее все время, пока существовала эта духовная цензура — не для богословских только, а для всяких сочинений философского содержания.

Во-вторых, цензура императорского двора для всего, что писалось о театрах; а тогда они все были императорские.

И всякий отчет о бенефисах, о пьесе, об игре актеров надо было отсылать в эту специальную цензуру.

Если вы позволили себе сказать, что у актера Яблочкина были слишком резкие «комические» панталоны, а комик Марковецкий плохо знал свою роль — все это вычеркивалось.

У меня нашлись ходы к тогдашнему директору канцелярии министра двора (кажется, по фамилии Тарновский), и я должен был сам ездить к нему — хлопотать о пропуске одной из моих статей. По этому поводу я попал внутрь Зимнего дворца. За все свое пребывание в Петербурге с 1861 года, да и впоследствии, я никогда не обозревал его зал и не попадал ни на какие торжества.

В-третьих, была еще специальная *военная* цензура.

Вы, быть может, полагаете, что эта цензура требовала к себе статьи по военному делу, все, что говорилось о нашей армии, распоряжениях начальства, каких-нибудь проектах и узаконениях? Все это, конечно, шло прямо туда, но, кроме того, малейший намек на военный быт и всякая повесть, рассказ или глава романа, где есть офицеры, шло туда же.

И на первых же порах в мое редакторство попалась повесть какого-то начинающего автора из провинции из быта кавалерийского полка, где рассказана была история двух закадычных приятелей. Их прозвали в полку «Сиамские близнецы». Разумеется, она попала к военному цензору, генералу из немцев, очень серьезному и щекотливому насчет военного престижа.

Он уперся и ни за что не хотел пропустить *заглавия*, находя его унизительным для офицерской чести. Как молодой редактор ни убеждал его, как ни успокоивал — пришлось все-таки изменить заглавие. Вместо «Сиамские

близнецы» поставил я «Инсепарабли»*. Это строгий генерал из немцев допустил, хотя так называется порода попугаев.

Возня с цензурой входила тогда в самый главный обиход редакционного дела, и я с первых же дней проходил всегда через эти мытарства сам, никому не поручая, до той полосы моего редакторства, когда я сдал ведение дела Воскобойникову.

После «третьеотделенческого» Турунова заведующим Главным управлением был назначен сенатор Цеэ, с которым я встречался в одном знакомом доме.

Этот бюрократ по воспитанию из лицеистов, щеголявший латинскими цитатами из Горация и из новых европейских поэтов, держал себя с редакторами — и в том числе со мною — весьма доступно и постоянно старался уверить вас, что он, сам по себе, стоит за свободу печатного слова, но что высшее начальство требует строгого надзора.

— Я вам назначу цензором милейшего господина... Вы им будете довольны.

И действительно, после допотопного Касторского я получил только что поступившего на цензурную службу де Роберти. Они с Цеэ были, кажется, женаты на двух родных сестрах.

В нем я нашел очень мягкого, воспитанного человека, попавшего в цензоры совсем с другой службы где-то в Западном крае, человека светски воспитанного, с хорошими средствами по жене, псковской помещице.

Мы с ними ладили все время, пока я лично занимался возней с цензурой. Он многое пропускал, что у другого бы погибло. Но даже когда и отказывался что-либо подписать, то обращал вас к своему свояку, и я помню, что раз корректуру, отмеченную во многих местах красным карандашом, сенатор подмахнул с таким жестом, как будто он рисковал своей головой.

Над ним стоял тогдашний quasi-либеральный[1] министр внутренних дел П. А. Валуев.

Его либерализм и к тому времени уже сильно позапылился. По цензурному ведомству порядки все-таки в общем оставались старые или с некоторыми поблаж-

---

[1] мнимолиберальный *(лат.)*.

ками, при полном отсутствии какой-либо ясной и честной программы.

Валуев ни в чем не проявлял желания познакомиться с редакторами журналов и газет. Не помню никакого совещания в таком роде; не было и особенных приемов для представителей печати.

Мы были так стеснены, что, например, не имели права без особого разрешения министра выписывать для редакции самые невинные иностранные газеты.

Когда для моего хроникера иностранной политики понадобилась газета «Temps», я должен был ехать на прием министра в дом позади Александровского театра дожидаться вместе с другими просителями его выхода — и на мою невинную просьбу получил от министра стереотипный ответ:

— Будет поступлено, *соображаясь с бывшими примерами.*

Это было первый раз, когда я вблизи видел благообразного Петра Александровича, с его внешностью английского лорда и видной фигурой. Другой еще раз встретил я его в Париже, на выставке 1867 года.

И «Библиотеке» было отказано в таком «праве», как получение газеты «Temps». А журнал не мог быть на особенно дурном счету у начальства.

Сенатора Цеэ я не встречал целые десятки лет и вдруг как-то, уже в начале XX века, столкнулся с ним у знакомых. Он сейчас же узнал меня, наговорил мне разных любезностей и поразил своей свежестью. А он был по меньшей мере старше меня на пятнадцать — восемнадцать лет.

— Как видите, жив, жив курилка! — возбужденно повторил он.

Если он еще здравствует, когда я пишу эти строки, то ему должно быть столько, сколько было перед смертью другому старцу, лично мне знакомому, покойному папе Льву XIII.

Так я (больше года) и отправлялся по нескольку раз в неделю к цензору, неизменно по утрам, с одного конца города на другой, из Малой Итальянской в какую-то линию Васильевского острова.

Но молодость вынесла бы и не такие мытарства. Потребность деятельности удовлетворялась и этой стороной редакторской обязанности, и чувством ответствен-

ности и сознанием, что ты как-никак стоишь во главе большого журнала.

Жизнь редактора совсем не тяготила меня до тех дней, когда начались денежные затруднения и явилось ожидание неизбежного краха.

Как бы я теперь, по прошествии сорока с лишком лет, строго ни обсуждал мое редакторство и все те недочеты, какие во мне значились (как в руководителе большого журнала — литературного и политического), я все-таки должен сказать, что я и в настоящий момент скорее желал бы, как простой сотрудник, видеть во главе журнала такого молодого, преданного литературе писателя, каким был я.

Сколько мне на протяжении сорока пяти лет привелось работать в журналах и газетах, по совести говоря, ни одного *такого* редактора я не видал, не в смысле подготовки, имени, опытности, положения в журнализме, а по доступности, свежей отзывчивости и желанию привлечь к своему журналу как можно больше *молодых* сил.

Разве не правда, что до сих пор водятся редакторы, которые считают ниже своего достоинства искать сотрудников, самим обращаться с предложением работы, а главное, поощрять начинающих, входить в то, что тот или иной молодой автор мог бы написать, если б его к тому пригласить?

И сколько каждый из нас (даже и тогда, когда имел уже имя) натерпелся от чиновничьего тона, сухости, генеральства или же кружковщины, когда сотрудника сразу как бы «закабаляют» в свою лавочку, с тем чтобы он нигде больше не писал.

Ничем этим я не страдал; а, напротив, выказывал скорее слишком большое рвение в деле приобретения сотрудников.

Такая репутация очень скоро распространилась между тогдашней пишущей братией, и на мои редакционные среды стало являться много народа. И никто не уходил безрезультатно, если в том, что он приносил, было что-нибудь стоящее, живое, талантливое.

Слухи обо мне окрашивались еще и в особый привлекательный колорит. Про меня стали толковать, как об очень богатом человеке и чрезвычайно тороватом

насчет «авансов»; а они и тогда составляли главный жизненный нерв для литературных пролетариев.

Эта репутация была преувеличенная. Лишних денег у нас в кассе никогда не было, даже и в первый год издания. Но пока была возможность, мы охотно давали и вперед. Гонорар платили не меньше, чем и в богатых журналах. Да тогда и не существовало еще таких полистных плат, как в конце XIX века или теперь для любимцев публики в разных сборниках и альманахах. Тогда только Тургенев получал 400 рублей за лист, Толстой — вроде этого; а все остальные знаменитости, не исключая и Ф. Достоевского, и Щедрина, и Островского, и Писемского, — гораздо меньше.

Сторублевая плата считалась прекрасным гонораром. Ее получал, например, один из самых выдающихся беллетристов, В. Крестовский — псевдоним, то есть Н. Д. Хвощинская. Такую же сторублевую плату имела она у нас в 1864 году.

Мне с первых же дней моего редакторства хотелось направлять моих молодых сотрудников, предлагать им темы статей, но никак не затем, чтобы им что-нибудь навязывать, стеснять их собственный почин.

И никогда я не мудрил над рукописями, ничего не вычеркивал, не придирался к языку, не предъявлял никаких кружковых и партийных требований, не вводил никаких счетов; да мы ни с кем никогда принципиально и не воевали.

Возьму случай из моего писательства за конец XIX века. Я уже больше двадцати лет был постоянным сотрудником, как романист, одного толстого журнала *. И вот под заглавием большого романа я поставил в скобках: «Посвящается другу моему Е. П. Л.». И как бы вы думали? Редакция отказалась поставить это посвящение из соображений, которых я до сих не понимаю.

Такое гувернантство показалось бы мне, тогда двадцатисемилетнему редактору, чем-то чудовищным! А оно было возможно еще несколько лет назад и с писателем, давно сделавшим себе имя.

Словом, моя редакторская совесть в этом смысле могла считать себя спокойной.

Несмотря на то что в моей тогдашней политико-социальной «платформе» были пробелы и недочеты, я

искренно старался о том, чтобы в журнале все отделы были наполнены. *Единственный* из тогдашних редакторов толстых журналов, я послал *специального* корреспондента в Варшаву и Краков во время восстания — Н. В. Берга, считавшегося самым подготовленным нашим писателем по польскому вопросу. Стоило это, по тогдашним ценам, не дешево и сопряжено было с разными неприятностями и для редакции и для самого корреспондента.

Точно так же — более, чем в других журналах, старался я о статьях и обозрениях по иностранной литературе и едва ли не первый тогда имел для этого *специального* сотрудника и в Петербурге и в Париже, П. Л. Лаврова и Евгению Тур (графиню Е. В. Салиас). Это показывало несомненную склонность к редакторской инициативе и отвечало той разносторонности образования, какое мне удалось получить в трех университетах за целых семь с лишком лет.

Сам я не вспомнил о себе сразу, что я критик и публицист, изредка только печатал статьи не беллетристического содержания и делал исключения для театра, где считал себя более компетентным. Да и тут я на первых порах давал писать и о театрах моим молодым сотрудникам. И только что я сделался редактором, как заинтересовался тем, кто был автор статьи, напечатанной еще при Писемском о Малом театре и г-же Позняковой (по поводу моей драмы «Ребенок»), и когда узнал, что этот был студент кн. Урусов, — сейчас же пригласил его в сотрудники по театру, а потом и по литературно-художественным вопросам.

И никогда мы не стесняли никого обязательностью направления, хотя я лично всегда отклонял от журнала все, что пахло реакцией какого бы то ни было рода, особенно в деле свободы мышления и религиозного миропонимания.

Журнал наш одинаково отрицал всякую не то что солидарность, но и поблажку тогдашним органам сословной или ханжеской реакции, вроде газеты «Весть» или писаний какого-нибудь Аскоченского. Единственно, что недоставало журналу, это — более горячей преданности тогдашнему социальному радикализму. И его ахиллесовой пятой в глазах молодой публики было слишком свободное отношение к излишествам тогдаш-

него нигилизма и ко всяким увлечениям по части коммунизма.

Но надо помнить, что и в «Современнике» (а потом в «Отечественных записках») сам тогдашний первый радикальный сатирик — М. Е. Салтыков — весьма жестоко «прохаживался» над теми же увлечениями.

Ни я и никто из моих постоянных сотрудников не могли, например, восхищаться теми идеалами, какие Чернышевский защищал в своем романе «Что делать?», но ни одной статьи, фельетона, заметки не появилось и у нас (особенно редакционных), за которую бы следовало устыдиться.

Даже и тогда, когда начались денежные тиски, я старался всячески оживить журнал, устроил еженедельные беседы и совещания и предложил, когда журнал стал с 1865 года выходить два раза в месяц, печатать в начале каждого номера передовую статью без особого заглавия. Она заказывалась сотруднику и потом читалась на редакционном собрании.

Имей я больше удачи, наложи я руку с самого начала на критика или публициста с темпераментом и смелыми идеями (каким, например, был Писарев), журнал сразу получил бы другой ход.

А с таким уравновешенным эстетом, как Эдельсон, это было немыслимо. И я стал искать среди молодых людей способных писать хоть и не очень талантливые, но более живые статьи по критике и публицистике. И первым критическим этюдом, написанным по моему заказу, была статья тогда еще безвестного учителя В. П. Острогорского о Помяловском *.

Один этот факт показывает, как мы далеки были от всякой кружковщины. Помяловский считался самым первым талантом из людей его генерации и украшением беллетристики «Современника». Стало быть, прямой расчет состоял в том, чтобы его замалчивать. А я стал усиленно искать кого-нибудь из молодых, кто бы оценил его на страницах моего журнала.

И позднее я познакомился с автором «Молотова», и он обещал мне свое сотрудничество. Смерть помешала его осуществлению.

Денежные мытарства слишком скоро утомили меня настолько, что я к концу 1864 года ушел от более энергического и ответственного заведования делом,

Но на это была и другая причина, кроме непривычки к практическим хлопотам и отвращения ко всему, что отзывается «делячеством», сделками, исканием денег, возней с процентщиками и маклаками всякого сорта.

Эта другая причина та, что я был как бы *обязательный* сотрудник собственного журнала по беллетристике.

Роман «В путь-дорогу» был начат в 1862 году, при Писемском. И в течение того года были напечатаны две книги, а их значилось целых шесть.

В начале 1863 года, когда я сделался издателем-редактором «Библиотеки», у меня еще ничего готового не было, и я должен был приготовить «оригиналу» еще на две части, а в следующем 1864 понадобились еще две.

Из-за редакторских забот и хлопот я оттягивал работу беллетриста до конца года. И, увидав невозможность работать, как романист, я даже взял себе комнату (на Невском, около Знамения) и два месяца жил в ней, а в редакции являлся только изредка.

Вся обуза издательства и денежных хлопот лежала уже отчасти на Воскобойникове, отчасти на секретаре, моем товарище по гимназии, враче Д. А. Венском, которому я предложил это место несколько месяцев спустя после перехода журнала в мои руки.

С ним я работал и над романом. Каждый вечер он приходил ко мне в мой студенческий номер и писал под мою диктовку, почти что стенографически.

И дальше работа романиста — так же интенсивно — захватывала меня. Подходил новый год! Надо было запастись каким-нибудь большим романом. А ничего стоящего не имелось под руками. Да и денежные дела наши были таковы, что надо было усиленно избегать всякого крупного расхода.

И мы в редакции решили так, что я уеду недель на шесть в Нижний и там, живя у сестры в полной тишине и свободный от всяких тревог, напишу целую часть того романа, который должен был появляться с января 1865 года. Роман этот я задумывал еще раньше. Его идея навеяна была тогдашним общественным движением, и я его назвал «Земские силы».

Если беллетрист верой и правдой служил журналу, погибавшему от недостатка денежных средств, то он же превратил редактора в сотрудника, который запирался

по целым месяцам и даже уезжал в провинцию, чтобы доставить как можно больше дарового материала.

Но даровым он вполне не был. Хоть я и сократил свои расходы донельзя, но все-таки должен был тратить и на себя.

И раз выпустив из своих рук ведение дела, я уже не нашел в себе ни уменья, ни энергии для спасения журнала. Он умер как бы скоропостижно, потому что с 1865 года, несомненно, оживился; но к маю того же года его не стало.

Прошло три с лишком года после прекращения «Библиотеки». В Лондоне, в июне 1868 года, я работал в круглой зале Британского музея над английской статьей «The Nihilism in Russia»[1], которую мне тогдашний редактор «Fortnightly Review» Дж. Морлей (впоследствии министр в кабинете Гладстона) предложил написать для его журнала.

Мне понадобилось сделать цитату из моей публицистической статьи «День» о молодом поколении» *, которую я, будучи редактором, напечатал в своем журнале.

Я затребовал себе номер журнала и тотчас же получил его.

Это дало мне мысль просмотреть все книжки «Библиотеки» за время моего издательства.

Я не имел времени все их прочесть (их было больше двух дюжин); но я просмотрел содержание всех этих номеров и припоминал при этом разные эпизоды моего редакторства.

Меня приятно удивило множество имен сотрудников, принадлежавших к *лучшей доле нашей интеллигенции. Умирающий, дряхлый* орган не мог собрать на свои страницы такого писательского персонала!

И тогда я ясно увидел, что неудача моего предприятия сидела не в том, что журнал был бесцветен, бессодержателен, сух, скучен или ретрограден, а от совпадения и многих других причин.

В списке сотрудников за эти с небольшим два года я увидел имена очень и очень многих беллетристов (некоторые у меня и начинали), ученых, публицистов, которые и позднее оставались на виду.

---

[1] «Нигилизм в России» *(англ.)*.

Сколько новых знакомств и сношений принесло мне редакторство в нашей тогдашней интеллигенции! Было бы слишком утомительно и для моих читателей говорить здесь обо всех подробно; но для картины работы, жизни и нравов тогдашней пишущей братии будет не безынтересно остановиться на целой серии моих бывших сотрудников.

На вопрос: кто из тогдашних первых корифеев печатался в «Библиотеке», я должен, однако ж, ответить отрицательно. Вышло это не потому, что у меня не хватило усердия в привлечении их к журналу. Случилось это, во-первых, оттого, что мое редакторство продолжалось так, в сущности, недолго; а главное — от причин, от моей доброй воли не зависящих.

Перечислю здесь всех тогдашних «генералов от литературы».

Толстой тогда в Петербурге не жил; кажется, совсем и не наезжал туда; по крайней мере с 1861 по 1865 год не привелось нигде там с ним встретиться.

Я тотчас же написал ему письмо с просьбою о сотрудничестве и получил от него вежливый ответ, но без всякого обещания.

Тургенев приехал в Петербург в зиму 1863—1864 года. Я явился к нему в Hôtel de France, где он останавливался, и повторил ему мою просьбу, с которой уже обращался к нему письменно за границу.

Он переживал тогда полосу своего первого отказа от работы беллетриста. Подробности этого разговора я расскажу ниже, когда буду делать «résumé» моей личной жизни (помимо журнала за тот же период времени). А здесь только упоминаю о чисто фактической стороне моих сношений с тогдашними светилами нашей изящной словесности.

К Гончарову считалось тогда совершенно бесполезным обращаться. Он ничего не печатал, и его «Обрыв» стал появляться в «Вестнике Европы» несколько лет спустя, в 1869 году.

С ним лично никаких встреч у меня не было. Я бы затруднился сказать, в каких литературных домах можно было его встретить. Скорее разве у Краевского, после печатания «Обломова»; но это относилось еще к концу 50-х годов.

Федор Достоевский работал на свой журнал и нигде больше не появлялся.

В кружок его журналов (сначала «Время», потом «Эпоха») я вхож не был, и наше личное знакомство состоялось уже позднее, по поводу прекращения его журнала, когда «Библиотека» удовлетворяла его подписчиков.

Салтыков точно так же печатал тогда свои вещи исключительно у Некрасова и жил больше в провинции, где служил вице-губернатором и председателем казенной палаты. Встречаться с ними в те года также не приводилось, тем более что я еще не был знаком с Некрасовым и никто меня не вводил в кружок редакции его журнала и до прекращения «Современника», и после того.

О своих встречах и беседах с Островским я рассказывал в предыдущей главе. Я ездил к нему в Москве и как редактор; но он в те годы печатал свои вещи только у Некрасова и редко давал больше одной вещи в год.

Григоровича я не просил о сотрудничестве, хотя и был с ним немножко знаком. В то время его имя сильно потускнело, и напечатанная им у Каткова повесть «Два генерала» (которую я сам разбирал в «Библиотеке») * не особенно заохочивала меня привлекать его в сотрудники.

В Москве же, в 1864 году, Писемский предлагал мне одну пьесу; но я нашел ее нестоящей того высокого гонорара, который он за нее назначил.

Из поэтов того же поколения — Полонский у меня печатался.

От старой редакции «Библиотеки» перешли ко мне два молодых беллетриста с талантом: Генслер и гр. Салиас.

Генслера я раньше видел, кажется, мельком в конторе журнала на Невском; но знакомство произошло уже у меня на редакционной квартире в Малой Итальянской.

Перед тем он при Писемском напечатал ряд очерков «Гаванские чиновники» и обратил на себя внимание

изображением курьезных нравов, юмором, веселостью, языком.

Мне достались его «Записки кота» и продолжение «Гаванских чиновников». Но ни в той, ни в другой вещи уже не было яркости и новизны первых очерков.

Личность этого юмориста чисто петербургского пошиба и бытового склада не имела в себе по внешности и тону ничего ни художественного, ни вообще литературного. Генслер был званием врач, из самых рядовых, обруселый немец, выросший тут же, на окраинах Петербурга, плотный мужчина, без всяких «манер», не особенно речистый, так что трудно было бы и распознать в нем такого наблюдательного юмориста.

Видел я его летом два-три раза. Он если и не принадлежал к тогдашней «богеме», то, во всяком случае, был бедняк, который вряд ли мог питаться от своей медицинской практики. Долго ли он жил — не помню; но еще до конца моего издательства прекратилось его сотрудничество.

У графа Салиаса принята была Писемским повесть. Его я встречал в конторе журнала еще до моего редакторства. Он был тогда красивый юноша, студент, *пострадавший* за какую-то студенческую историю*. Кажется, он так и не кончил курса из-за этого. Он жил в Петербурге; но часто гостил у своей родной сестры, бывшей замужем за Гурко, впоследствии фельдмаршалом, а тогда эскадронным или полковым командиром гусарского полка. Мать его проживала тогда за границей, в Париже, и сделалась моей постоянной сотрудницей по иностранной литературе.

Она печатала у меня изложение наделавшей тогда шуму политической сатиры Лабуле «Париж в Америке» и много других таких же извлечений.

Сын ее смотрел очень воспитанным, франтоватым молодым человеком, скорее либерального образа мыслей. В «Библиотеке» он не удержался и позднее стал более известен своими письмами из Испании в газете «Голос», прежде чем стал печатать в «Русском вестнике» своих «Пугачевцев».

Я его не встречал очень давно и раз обедал с ним, уже в 90-х годах, у издателя «Нивы» Маркса, когда тот пригласил на обед своих сотрудников — исключительно

романистов (в их числе Григоровича), и нас оказалось семь человек.

Новым для журнала и для меня из молодых же писателей (но уже старше Салиаса) был Н. Лесков, который тогда печатался еще под псевдонимом «Стебницкий». Чуть ли не у меня он и стал подписываться своей подлинной фамилией.

Этот сотрудник сыграл в истории моего редакторства довольно видную роль и для журнала довольно злополучную, хотя и не преднамеренно. Он вскоре стал у меня печатать свой роман «Некуда», который всего более повредил журналу * в глазах радикально настроенной журналистики и молодой публики.

Привел его ко мне Воскобойников или Щ[ег]лов, во всяком случае один из них. Он был автор повести, которая мне понравилась; и сам он показался мне человеком оригинальным, очень бывалым, наблюдательным, с хлестким, бытовым умом. Но сразу же я начал распознавать в его личности и разные несимпатичные черты характера. Человека с университетским образованием я в нем не чувствовал. Он совсем не был начитан по иностранным литературам, но отличался любознательностью по разным сферам русской письменности, знал хорошо провинцию, купечество, мир старообрядчества, о котором и стал писать у меня, и в этих статьях соперничал с успехом с тогдашним специалистом по расколу П. И. Мельниковым.

Он много перед тем вращался в петербургском журнализме, работал и в газетах, вхож был во всякие кружки. Тогдашний нигилизм и разные курьезы, вроде опытов коммунистических общежитий, он знал не по рассказам. И отношение его было шутливое, но не особенно злобное *. Никаких выходок недопустимого у меня обскурантизма и полицейской благонамеренности он не позволял себе.

Он только что тогда пожил в Париже (хотя по-французски, кажется, не говорил), где изучал тамошнюю русскую колонию, бывшую уже довольно значительной, после того как дешевые паспорты и выкупные свидетельства позволили очень многим «вояжировать»; да и курс наш стоял тогда прекрасный.

Я ему предложил записать свои парижские впечатления *, и он выполнил эту работу бойко и занимательно.

Русских парижан он разделил на два лагеря: «елисеевцы», то есть баре, селившиеся в Елисейских полях, и «латинцы», то есть молодежь и беднота Латинского квартала.

Не трудно было оценить в нем очень полезного сотрудника и по части вот таких очерков, и как беллетриста.

С замыслом большого романа, названного им «Некуда», он стал меня знакомить и любил подробно рассказывать содержание отдельных глав. Я видел, что это будет широкая картина тогдашней «смуты», куда должна была войти и провинциальная жизнь, и Петербург радикальной молодежи, и даже польское восстание. Программа была для молодого редактора, искавшего интересных вкладов в свой журнал, очень заманчива.

В первой части романа, весьма обширной, не было еще ничего, что сделалось бы щекотливым в смысле либерального направления.

Тогда все редакторы — самые опытные, как, например, Некрасов, — не требовали от авторов, чтобы вся вещь была приготовлена к печати. Так и я стал печатать «Некуда», когда Лесков доставил мне несколько глав на одну, много на две книжки.

«Некуда» сыграло почти такую же роль в судьбе «Библиотеки», как фельетон *Камня Виногорова* (П. И. Вейнберга) о г-же Толмачевой в судьбе его журнала «Век», но с той разницей, что впечатление от романа накапливалось целый год и, весьма вероятно, повлияло уже на подписку 1865 года. Всего же больше повредило оно мне лично, не только как редактору, но и как писателю вообще, что продолжалось очень долго, по крайней мере до наступления 70-х годов.

Я не перечитывал «Некуда» после тех годов.

Смешно вспомнить, что тогда этот роман сразу возбудил недоверчивое чувство в цензуре. Даже мягкий де Роберти с каждой новой главой приходил все в большее смущение. Автор и я усиленно должны были хлопотать и отстаивать текст.

И кончилось это чем же?

Беспримерным эпизодом в истории русской журналистики, по крайней мере я лично ничего подобного никогда не слыхал.

Когда я увидал, что одному цензору не справиться с этим заподозренным — пока еще не радикальной публикой, а цензурным ведомством — романом, я попросил, чтобы ко мне на редакционную квартиру, кроме де Роберти, был отряжен еще какой-нибудь заслуженный цензор и чтобы чтение произошло совместно, в присутствии автора.

Так это и состоялось. В воскресное утро в моей маленькой голубой гостиной, где я обыкновенно принимал даже с рукописями, сидели мы несколько часов над этой работой. В антракты я предложил цензорам легкий завтрак.

С цензором Веселаго (впоследствии член совета) я тут только ближе познакомился.

Это был, как народ называет, «тертый калач», умный, речистый, веселый человек, бывший моряк, к литературе имевший некоторое «касательство», как автор статей по морским вопросам.

Он считался среди редакторов и авторов все-таки более покладистым, хотя очень большой поблажки от него трудно было ждать.

Сидели мы, сидели, слушали, судили, спорили. Кое-что удалось спасти; *но многое погибло.*

Никто бы не поверил из тех, кто возмущался романом, что его роды были так тягостны.

Веселаго держался благодушного тона и старался все уверить нас, что он вовсе не обскурант и не гасильник.

Когда за завтраком разговор сделался менее официальным, я ему сказал:

— Федосей Федорович! Цензорам история приготовила свое место. Напрасно вы так оправдываетесь!

Он обратил это в шутку и весело воскликнул:

— Что поделаешь с Петром Дмитриевичем! Это у нас — enfant terrible![1]

И через такие мытарства роман «Некуда» проходил до самого конца, и его печатание задерживалось часто только из-за цензуры.

Наконец, не в виде запоздалого самооправдания, а как положительный факт, прибавлю здесь, что, с тех пор как я устранился от заведования журналом, я сам

---

[1] ужасный ребенок, сорванец *(франц.)*.

не просматривал рукописи последней части «Некуда» и даже не читал корректуры.

Конечно, публики и критики это не касалось; но личной ответственности перед самим собой я и задним числом взять не могу.

С Лесковым мы, в общем, ладили. Но, к сожалению, он вошел и в мои денежные затруднения. Когда ему стало известно более точно и от Воскобойникова и от меня о положении дел, он все повторял, что «с кредиторами надо ладиться» и «изыскивать новые источники».

Как автор «Некуда», которому приходилось много платить, он выказывал себя довольно покладистым, и долг ему за гонорар начал расти к концу 1864 года. Он достал нам и небольшую сумму (что-то вроде тысячи рублей или немного больше), и этот долг, на который я выдал документ, сделался источником весьма неприятных отношений. Он и позднее не прижимал, не затевал дела; но на него в редакции ложилась некоторая тень — не он ли сам наш заимодавец, уж не по гонорару только, а по документу, по которому надо было выплачивать и проценты? Сколько я помню, он постоянно говорил, что деньги — его жены или кого-то из родственников.

Как сотрудник, он продолжал после «Некуда» давать нам статьи, больше по расколу, интересные и оригинальные по языку и тону. Тогда он уже делался все больше и больше специалистом и по быту высшего духовенства, и вообще по религиозно-бытовым сторонам великорусской жизни.

Мы с ним вели знакомство до отъезда моего за границу. Я бывал у него в первое время довольно часто, он меня познакомил с своей первой женой, любил приглашать к себе и вести дома беседы со множеством анекдотов и случаев из личных воспоминаний. К его натуре у меня никогда не лежало сердце; но между нами все-таки установился такой тон, который воздерживал от всего слишком неприятного.

Кто-то потом, вспоминая про Лескова из того времени, называл его «âme damnée»[1] «Библиотеки для чтения».

Его роман повредил нам — это неоспоримо; но если бы журнал удержался, такой сотрудник, как Лесков,

---

[1] злым духом *(франц.)*.

даже и по беллетристике, не мог бы только своей личностью вредить делу.

С ним и по гонорару и как с заимодавцем я рассчитался после 1873 года. Доверенное лицо, которое ладило и с ним тогда (я жил в Италии, очень больной), писало мне, а потом говорило, что нашло Лескова очень расположенным покончить со мною совершенно миролюбиво. Ему ведь более чем кому-либо хорошо было известно, что я потерял на «Библиотеке» состояние и приобрел непосильное бремя долгов.

В Петербурге в начале 70-х годов мы возобновили знакомство, но поводом к тому — для меня по крайней мере — было то, что оставалось еще что-то ему заплатить.

Он в это время устроился более на семейную ногу; * дети его подросли. Не помню, жива ли была его жена; но он жил в одной квартире с какой-то барыней, из помещиц.

Помню и то, что Лесков звал меня на целых трех архиереев; но, кажется, вечер этот не состоялся.

Тогда он писал в «Русском вестнике» и получил новую известность за свои «Мелочи архиерейской жизни», которые писал в какой-то газете. Он таки нашел себе место и хороший заработок; но в нем осталась накипь личного раздражения против радикального лагеря журналистики.

И в самом деле, ему слишком долго и упорно мстили, как автору «Некуда». Да и позднее в левой нашей критике считалось как бы неприличным говорить о Лескове. Его умышленно замалчивали, не признавали его несомненного таланта, даже и в тех его вещах (из церковного быта), где он поднимался до художественности, не говоря уже о знании быта.

Меня лично, когда я его читал (особенно его последние вещи), коробила искусственность его языка, его манеры, излишнее щегольство только ему принадлежащим жаргоном. Но такой дефект еще не оправдание для тех рецензентов, которые игнорировали его с такой предвзятостью.

А тем временем и в его направлении произошла значительная эволюция. Он стал увлекаться учением Толстого и все дальше отходил от государственной церкви. Это начало сказываться в тех его вещах, которые стали появляться в «Русской мысли» у Гольцева.

Тогда произошла его реабилитация. Московский журнал принадлежал к той же радикально-народнической фракции, как и «Отечественные записки» *, где все-таки продолжали иметь против него «зуб», как против автора «Некуда».

Со второй половины 70-х годов и до его смерти жизнь нас не сталкивала. Может быть, он считал себя задетым тем, что я в Петербурге не поддавался на его приглашения. Это сказалось, как мне кажется, в том, как он заговорил со мною на обеде, который петербургская литература давала Шпильгагену. Он без всякого повода стал говорить ненужные резкости. Правда, он тогда выпил лишнее, и всем памятно то его русское обращение к Шпильгагену, которое так любил вспоминать покойный П. И. Вейнберг, бывший распорядителем на этом обеде.

Лесков, подойдя к тому месту, где сидел Шпильгаген, обратился к нему в чисто российском вкусе.

Но тот же П. И. Вейнберг сообщал мне по смерти Лескова, что, когда они с ним живали на море (кажется, в Меррекюле) и гуляли вдвоем по берегу, Лесков всегда с интересом справлялся обо мне и относился ко мне, как к романисту, с явным сочувствием, любил разбирать мои вещи детально и всегда с большими похвалами.

Он высказывался так обо мне в одной статье о беллетристике незадолго до своей смерти. Я помню, что он еще в редакции «Библиотеки для чтения», когда печатался мой «В путь-дорогу», не раз сочувственно отзывался о моем «письме». В той же статье, о какой я сейчас упомянул, он считает меня в особенности выдающимся как «новеллист», то есть как автор повестей и рассказов.

Из новых критиков Волынский занялся Лесковым как крупным дарованием и, по мнению некоторых, даже слишком поднял его.

Так или иначе, но мне, как редактору «Библиотеки», нечего, стало быть, сожалеть, что я дал главный ход автору «Некуда», хотя он так и повредил журналу этой вещью.

Теперь, когда и этот автор давно уже отошел ad patres [1], какие же могут быть у нас счеты?

---

[1] к праотцам (*лат.*).

И я был искренно доволен тем, что «Русская мысль» наконец «реабилитировала» Лескова и позволила ему показать себя в новой фазе его писательства. Этого не многим удается достичь на своей писательской стезе.

Рядом с фигурой Лескова, как *нового* сотрудника «Библиотеки», выступает в памяти моей другая, до сих пор полутаинственная личность.

Это был А. И. Бенни. Мне привел его Лесков, и они постоянно оставались в приятельских отношениях.

После смерти Бенни Лесков выпустил, как известно, брошюрку *, где он рассказал правду о своем покойном собрате и старался очистить его от подозрений... не больше не меньше, как в том, что он был агент-провокатор, выражаясь по-нынешнему.

Когда Бенни впервые попал в редакцию, я почти ровно ничего не знал об его прошлом. И Лесков и Воскобойников (уже знакомый с Бенни) рассказывали мне только то, что не касалось *подпольной* его истории.

А *подпольность* эта заключалась в том, что Бенни (Бениславский), сын англичанки и польского реформатского пастора еврейского происхождения, как молодой энтузиаст, стал объезжать выдающихся русских общественных деятелей (начиная с Каткова и Аксакова) для подписания адреса о даровании конституции.

Сам Бенни бывал со мною очень сдержан и говорил только о том, что не касалось интимной стороны его жизни. В нем я увидал сразу очень образованного европейца, бывалого, с большим интересом к общественным и политическим вопросам. Он уже работал в русских газетах (в том числе вместе с Лесковым), по-русски говорил хорошо, с легким, более польским, чем английским акцентом, писал суховато, но толково и в передовом духе. Беседа его была всегда занимательна. Но — это правда! — было всегда что-то в его тоне, усмешке, разных недосказах полутаинственное. Оно-то и повредило ему всего больше.

Он приносил свои статьи, захаживал и просто, к себе не приглашал, много говорил про заграничную жизнь, особенно про Англию. Никогда он не искал со мною разговоров с глазу на глаз, не привлекал ни меня, ни кого-либо в редакции к какой-нибудь тайной организации, никогда не приносил никаких прокламаций или заграничных брошюр.

Такой «провокатор» был бы крайне курьезен.

Но у него и тогда уже были счеты с Третьим отделением по сношениям с каким-то «государственным преступником». Вероятно, он жил «на поруках». И его сдержанность была такова, что он, видя во мне человека, явно к нему расположенного, никогда не рассказывал про свое «дело». А «дело» было, и оно кончилось тем, что его выслали за границу с запрещением въезда в Россию *.

Тургенев, когда я с ним познакомился, был также вызван в Петербург Третьим отделением для дачи каких-то показаний *.

И вот он раз, когда речь зашла о Бенни (он его знавал еще с тех дней, когда тот объезжал с адресом), рассказал мне, что дело, по которому он был вызван, ему дали читать целиком в самом Третьем отделении. Он прочитал там многое для него занимательное.

— И показания Бенни, — сказал он мне, — отличаются необыкновенной порядочностью. Ни единого оговора, ничего такого, что показывало бы желание выгородить только самого себя. А другие тут же повели себя совсем не так!

Мне было особенно приятно это слышать. И я никогда не хотел иметь против Бенни никакого предубеждения.

Он уехал за границу, стал печатать английские статьи. Но участвовал ли в каких русских газетах, я не знаю.

Наше свидание с ним произошло в 1867 году в Лондоне. Я списался с ним из Парижа. Он мне приготовил квартирку в том же доме, где и сам жил. Тогда он много писал в английских либеральных органах. И в Лондоне он был все такой же, и так же сдержанно касался своей более интимной жизни. Но и там его поведение всего дальше стояло от какого-либо провокаторства. А со мной он вел только такие разговоры, которые были мне и приятны и полезны как туристу, впервые жившему в Лондоне.

За дальнейшей его судьбой за границей я не следил и не помню, откуда он мне писал, вплоть до того момента, когда я получил верное известие, что он, в качестве корреспондента, нарвался на отряд папских войск (во время последней кампании Гарибальди *), был ра-

нен в руку, потом лежал в госпитале в Риме, где ему сделали неудачную операцию и где он умер от антонова огня.

Все это было рассказано в печати г-жой Пешковой (она писала под фамилией Якоби) *, которая проживала тогда в Риме, ухаживала за ним и по возвращении моем в Петербург в начале 1871 года много мне сама рассказывала о Бенни, его болезни и смерти. Его оплакивала и та русская девушка, женихом которой он долго считался.

Из его родных я раз видел мельком его сестру; а в Париже познакомился с его братом, Шарлем Бенни, который учился там медицине, а потом держал на доктора в Военно-медицинской академии и сделался известным практикантом в Варшаве.

Этот Шарль очень офранцузился, по-русски говорил с сильным акцентом, и в его типе сейчас же сказывалась еврейская кровь. Артур (то есть наш Бенни) только цветом рыжеватой бородки и остротой взгляда выдавал отчасти свою семитическую расу.

За еврея никто из нас не имел права его считать; да и он был настолько щекотлив по этой части, что ему нельзя было бы предложить вопроса — какой он расы. Он, видимо, желал, чтобы его считали скорее англичанином.

И вот тот факт, что он как бы скрывал происхождение свое от отца, ополяченного еврея-протестанта, навлекло на него и после смерти опять новые нарекания и по этой части.

В Лондоне в 1867 году, когда он был моим путеводителем по британской столице, он тотчас же познакомил меня с тем самым Рольстоном (библиотекарем Британского музея), который один из первых англичан стал писать по русской литературе.

Мы и жили с Бенни очень близко от его квартиры.

И вот, когда я в следующем, 1868 году приехал в Лондон на весь сезон (с мая по конец августа) и опять поселился около Рольстона, он мне с жалобной гримасой начал говорить о том, что Бенни чуть не *обманул* их тем, что не выдал себя прямо за еврея.

У таких респектабельных британцев еврейская раса — все еще клеймо. А требовать от Бенни, чтобы он

всем докладывал: «Отец мой еврейской расы», — было бы слишком.

Но так как в его манере и тоне было всегда что-то недосказанное и как бы полузагадочное, то такое умолчание и могло сойти за умышленный обман.

Самая ужасная — это доля тех, кого вдруг, неизвестно почему, начнут подозревать. Пример Бенни — не единственный в истории нашей интеллигенции 60-х годов.

Вспомните, как известный ученый и издатель научных сочинений К[овалев]ский, бывший одно время приятелем семейства Герцена, был заподозрен в шпионстве. И русские, в согласии самого Герцена, произвели в отсутствие К[овалев]ского у него домашний обыск * и ничего не нашли. Мне это рассказывал один из производивших этот обыск, Николай Курочкин, брат Василия, тогда уже постоянный сотрудник «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова.

Так и бедный Артур Иванович сошел в могилу с таким пятном, от которого Лесков в память их приятельства пожелал очистить его в своей брошюре. В какой степени это ему удалось, я не знаю; но мне, да и всем, кто знал ближе Бенни, было приятно читать такую защиту.

Какую бы тайну он ни унес с собою в могилу, но разве не характерен тот факт, что он погиб от пули папского зуава, в качестве корреспондента английской *либеральной* газеты, и тогда, когда въезд в Россию был ему запрещен Третьим отделением?

Он легко находил работу в английских журналах. Его печатали в таких солидных и передовых органах, как «Fortnightly Review» и «Observer». По-английски он писал легко, интересно, но без выдающегося таланта, как и по-русски.

Как публицист он и «Библиотеке» не мог придавать блеска и по всему своему складу держался всегда корректного тона, гораздо умереннее своих политических принципов. Был он и хороший переводчик. У нас он переводил начало романа Диккенса «Наш общий друг».

Статьи свои в «Библиотеке» он писал больше анонимно и вообще не выказывал никаких авторских претензий при всех своих скудных заработках, не отличался слабостью к «авансам» и ладил и со мною, и с теми, кто составлял штаб редакции.

Таких джентльменов после не было у нас среди пишущей братии. Из него романисту не трудно бы было сделать полутаинственное лицо в каком-нибудь международном политическом романе.

Лесков еще при жизни его как бы напророчил ему трагическую смерть, взяв его моделью для героического лица своего Райнера, являющегося во второй половине «Некуда», как один из пришельцев, увлеченных польским восстанием.

Это одно показывает, что он не считал и тогда Бенни способным на темную роль, а, напротив, человеком, который готов был бы пострадать за правое дело.

Как политический деятель и как публицист, Бенни явился на сорок лет раньше, чем следовало.

Целый ряд «начинающих» пришли в «Библиотеку». Некоторые и начинали именно у меня. Почти все составили себе имя, если не на чисто писательском поприще, то в других областях умственного труда и общественной деятельности.

Одним из самых молодых, явившихся ко мне с своей первой рукописью, был юморист Лейкин, впоследствии сделавшийся очень популярным беллетристом и умерший богатым человеком от экономий из своих писательских заработков.

Помню, ко мне в гостиную вошел брюнетик, франтовато одетый, в красном галстуке, тогда еще худощавый, приятной наружности и совсем еще не хромой.

Он смотрел контористом и действительно был купеческого звания и служил в какой-то иностранной экспортной конторе.

Эта служба дала ему богатый материал для изучения нравов нашего мелкого купечества.

Он и написал свои очерки «Господа апраксинцы» и принес их редактору «Библиотеки», про которого пошла молва, что он хорошо платит, а главное, дает авансы.

Про то рассказывал сам Лейкин* незадолго до смерти в своих воспоминаниях.

Я сейчас же, не отдавая рукописи Эдельсону, распознал живую наблюдательность и бойкий жаргонный язык начинающего гостинодворца... и стал печатать его «Апраксинцев» в первых же книжках, вышедших под моей редакцией.

С тех пор Лейкин, сколько помню, долго не приносил нам ничего. Но эта первая его вещь, напечатанная в большом журнале, дала ему сразу ход, и он превратился в присяжного юмориста из купеческого быта в органах мелкой прессы, которая тогда только начала складываться в то, чем она стала позднее.

И Лейкин умер первым сюжетом увеселительной газетной беллетристики, сумевшим свою купеческую сметалку пустить в оборот с чрезвычайной плодовитостью и доходностью. Про него можно было сказать не только: «nulla dies sine linea»[1]*, но и «ни одного дня без целого нового рассказа».

Встретился я с ним уже много лет спустя, когда он потолстел и стал хромать, был уже любимцем Гостиного двора, офицеров и чиновников, писал, кроме очерков и рассказов, и бытовые пьески, сделал себе и репутацию вивёра, любящего кутнуть, способного произвести скандалец где-нибудь у немцев, в Шустер-клубе.

Но он «рассудку» не терял, нажил себе доходный дом и дачу, где пристрастился к разведению редких пород кур, которые и посылал на выставки.

Всего раз привелось мне, уже в конце XIX века, быть у него в его собственном доме и видеть его обстановку.

Это было по поводу нашего совместного участия в ревизионной комиссии одного писательского общества.

Он и дома, в обширном кабинете, забавлял себя всякими юмористическими выдумками.

У него были целых четыре моськи. Он приучил их лежать у четырех ножек стола и, указывая мне на них, говорил:

— Прозвал я их, П[етр] Д[митриевич], «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще».

Так и прожил свой удачный писательский век благообразный конторист в красном галстуке, явившийся ко мне с «Апраксинцами», которых он потом столько лет всячески забавлял.

Новым для меня лично был и князь А. И. Урусов, хотя я его и нашел уже в числе сотрудников «Библиотеки».

Я уже говорил, как я в Москве разыскивал, кто скрывается под псевдонимом «Александр Иванов» —

---

[1] ни одного дня без черточки *(лат.)*, то есть без труда.

автор статей о Позняковой, ее дебюте в моем «Ребенке» и самой драме.

Это оказался студент второго курса на юридическом факультете Урусов. И я, как только сделался редактором, сейчас же написал ему в Москву и просил о продолжении его сотрудничества по театру и литературной критике.

О своей связи с молодым Урусовым и дальнейших наших приятельских отношениях (когда он сделался адвокатской знаменитостью) я уже говорил и в тех воспоминаниях, которые дал в сборнике, посвященном ему *, и в других местах.

Не желая повторяться, я остановлюсь здесь на том, как Урусов, именно в «Библиотеке» и у меня в редакционной квартире, вошел в жизнь писательского мира и стал смотреть на себя, как на литератора, развил в себе любовь к театру, изящной словесности и искусству вообще, которую без участия в журнале он мог бы и растратить гораздо раньше.

По своей «литературности» он и тогда выделялся из всех моих молодых сотрудников, даже и тех, у кого было больше таланта, кто выработал из себя беллетристов и публицистов.

Наше тогдашнее сближение произошло в два приема в течение моего редакторства: сначала в его первый приезд в Петербург вместе с матерью, а потом, когда он гостил у меня в квартире и пробыл вместо одной недели целых шесть и больше — с масленицы до начала мая.

Несмотря на разницу лет (ему было 21, а мне уже и целых 28), мы сошлись совершенно как студенты, оба преданные литературе, с очень сходными вкусами, идеями, любимыми авторами, любимыми артистами и с общностью всей нашей бытовой культуры.

И он был «барское дитя», типичный москвич; но его детство, отрочество и первая юность прошли в более привольной и пестрой светской и товарищеской жизни.

У меня с детства была некоторая связь и с фамилией Урусовых. Его родной дядя, князь М. А. Урусов, был долго у нас в Нижнем губернатором. С его сыновьями я танцовывал мальчиком на детских балах, а потом, студентом, и с их матерью.

Кажется, ни с кем из моих начинающих сотрудников я не был так близок и так долго не сохранил этой связи.

Она продолжалась и за границей в первую мою поездку (сентябрь 1865 — май 1866 года) и закрепилась летом, когда я гостил у Урусовых в Сокольниках, и потом прожил в отечестве до конца этого года. Переписка наша возобновилась и с новым моим отъездом в Париж и продолжалась, хотя и с большими перерывами, до моего возвращения в Россию к январю 1871 года.

В это время Урусов из студента и сотрудника «Библиотеки» превратился в знаменитость адвокатуры. Таким он со мною и встретился в Петербурге в первую же мою там зиму.

Того прежнего Урусова в нем я уже не нашел. Слава, большой заработок, успех у женщин, щекотание тщеславия отвели его совсем в другую область.

И только в ссылке и потом на службе в Петербурге он опять сделался тем любителем изящной литературы и театра, который так привлекал меня в дни его первой молодости.

В «Библиотеке» он писал письма на художественные темы; не только о театре, но и по вопросам искусства. В работе он был ленивенек, и его надо было подталкивать; но в нем дорог был его искренний интерес к миру изящного слова, какого я не видал в такой степени в его сверстниках.

Ему недоставало серьезности настоящего работника. Он слишком отдавался всем приманкам жизни, но жилка литературности никогда в нем не переставала биться.

И все, что он впоследствии и в Риге, и в Петербурге, и в Москве (когда переехал туда доживать) писал о театре, о книгах, об искусстве — во всем этом он уже пробовал себя в «Библиотеке».

Практика адвоката, забота о матерьяльном достатке, семейные дела, долгие любовные увлечения, великосветские знакомства, — ничто не охладило его любви к изящной литературе — и русской и, в особенности, французской.

К тем годам, когда мы с ним были членами петербургского Шекспировского кружка (конец 80-х и начало 90-х годов), Урусов уже был фанатическим поклонником



А. П. Щапов
1860-е гг.

Бодлера, а потом Флобера и до смерти своей оставался все таким же «флоберистом».

Но этот культ великого французского реалиста не помешал ему сыграть роль и в нашем декадентстве. Он первый начал поощрять таких поэтов, как Бальмонт, и дружил с первоначальными кружками тогдашних «модернистов».

Но его увлекало всегда поклонение *форме*, искренность и оригинальность настроения. Поэзию он действительно любил, хотя, как критик, ценил гораздо больше внешнюю отделку, чем глубину мысли.

Он же несколько ранее влюбился в талант Чехова, когда тот только что стал печатать свои рассказы в «Новом времени».

И к нашим классикам — к Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Островскому — он относился, как безусловный поклонник, изучал их детально, почти педантически. Одно время по его совету кружок его приятелей и приятельниц начал составлять *словарь всех пушкинских слов*.

Только к Толстому относился он с большими оговорками, недостаточно ценил его творческую *силу* и не прощал ему его нехудожественного языка.

В Москве, когда ужасная болезнь лишила его слуха и превратила почти что в руину, он не перестал читать своих любимых авторов, и, уже совсем глухим и павшим на ноги, он еще выступал на публичных чтениях с беседами на литературные темы.

Останься он *только* писателем с тех самых годов, когда он работал у меня в «Библиотеке», из него не вышло бы ни Тэна, ни даже Брандеса, но он выработал бы из себя одного из самых разносторонних и живых «эссеистов» по беллетристике, театру, искусству.

Но беллетристического таланта у него не было. Молодые его статьи написаны языком более простым и искренним, чем то, что он печатал двадцать лет позднее.

Из Москвы пришел к нам и Левитов, тогдашний соратник Слепцова и Николая Успенского в реалистическом изображении всякой «меньшей братии».

Это был типичный «богема» 60-х годов, родом семинарист, тоном и всем своим побытом московский неудачник, с неотделанным талантом и особенным пролетарски-народническим лиризмом.

У меня он печатал свои «Московские комнаты снебилью»*. В них он явился предтечей не только Глеба Успенского, но и Горького — сорок лет раньше появления его «босяков», но без его босяческого революционного субъективизма.

Еще ближе к нему стоял другой реалист-лирик, явившийся раньше Горького, — Альбов.

Тогда, то есть в начале 60-х годов, Левитов был несомненно *инициатор* этого настроения, этого усиленного сочувствия к мелкому, темному, порочному, бьющемуся люду.

И сам он представлял собою в полном смысле литературного пролетария и притом с особенной горечью и жалобами на свою горькую долю.

Всегда без копейки, в долгах, подверженный давно «горькому испитию», Левитов в трезвом виде мог быть довольно занимательным собеседником, но с годами делался в тягость и тем, кто в нем принимал участие, в том числе и князю А. И. Урусову.

Сотрудник он был желательный, и я очень ценил его талант и даже *манеру* писать, его язык, по-своему весьма своеобразный и действующий на душу читателя. Но, разумеется, он отличался беспорядочностью работы и без «аванса» писать не мог.

Я потерял его из виду к концу моего редакторства и уже по возвращении из-за границы в 1871 году слышал о его злосчастном доживании от москвичей.

Участие в «Библиотеке» лириков-реалистов, как Левитов, давших окраску тогдашней демократической беллетристике, показывает, до какой степени мы в журнале сочувствовали и *такому* течению, ценя, конечно, прежде всего талант и художественность исполнения.

Можно прямо сказать, что у нас были такие же точно сотрудники, как и в тогдашних более радикальных журналах, особенно по беллетристике.

Первой молодой силой «Современника» считался ведь Помяловский; а с ним я вступил в личное знакомство и привлекал его к сотрудничеству. Он положительно обещал мне повесть и взял аванс, который был мне после его скорой смерти возвращен его товарищем и приятелем Б[лаговещенс]ким.

Помяловский заинтересовал меня, когда я еще доучивался в Дерпте, своими повестями «Мещанское

счастье» и «Молотов». Его «Очерки бурсы», появлявшиеся в журнале Достоевских, не говорили еще об упадке таланта, но ничего более крупного из жизни тогдашнего общества он уже не давал.

И мы знаем, что помехой была, главным образом, его кутильная жизнь.

Его раньше меня знал Воскобойников, и, кажется, он и способствовал привлечению его к «Библиотеке».

У меня в редакции он был раза два-три, и мне, глядя на этого красивого молодого человека и слушая его приятный голос духовного тембра, при его уме и таланте было особенно горько видеть перед собою уже неисправимого алкоголика.

Раз мой верный служитель Михаил Мемнонов докладывает мне *конфиденциально:*

— Господин Помяловский пришли.

— В каком виде? — спрашиваю я.

— Совсем *не годятся,* П[етр] Д[митриевич].

И таким он бывал целыми неделями.

Вскоре он заболел, и его в клинике лечили от delirium tremens[1]. Лежал он вместе с приятелем своим Щаповым, о котором я еще буду говорить, в клинике Военно-медицинской академии, и я их обоих там навещал. Тогда он уже оправился, и я никак не думал, что он близок к смерти. Но у него сделалось что-то, потребовавшее операции, и кончилось это антоновым огнем и заражением крови.

В его лице безвременно погибла крупнейшая жертва русской действительности, ужасных привычек, грубости и дикости. И надо удивляться, как из своей жестокой «бурсы» он вынес столько свежего дарования, наблюдательности и знания совсем не одной семинарской и поповской жизни. Он это блистательно доказал такой вещью, как его «Молотов».

С Левитовым попал в редакцию и Глеб Успенский. Его двоюродного брата Николая я помню тоже в редакционном кабинете; но сотрудником журнала он, кажется, не сделался.

«Глебушку» привели москвичи. Он еще ничего не печатал в Петербурге, и у меня появился *первый* его

---

[1] белой горячки *(лат.).*

рассказ «Старьевщик» *, прежде чем он стал печатать у Некрасова.

Он не был уже тогда очень юн, но смотрел еще юношей. Я уже имел случай вспоминать о моем первом знакомстве с этим милым человеком и даровитейшим писателем, который кончил так печально.

Тогда я его после появления в редакции с рассказом «Старьевщик» что-то мало помню в Петербурге. Больше он у меня, если не ошибаюсь, не печатал ничего.

Наше дальнейшее знакомство относится уже к 70-м годам. Мы тогда вспоминали про «Старьевщика» и про его дебюты. Он уже получил известность, но все-таки не мог устроить своего материального положения сколько-нибудь прочно.

Все та же срочная и спешная работа, все те же долги редакторам, а когда обзавелся семьей — усилившаяся нужда, хотя ему хорошо платили и охотно покупали у него право отдельных изданий.

Тип перебивающегося с «хлеба на квас» писателя и сложился в 60-х годах. Прежде редкий писатель — даже и с крупным дарованием — жил только на гонорар. Такие таланты, как Гончаров, Салтыков, были десятки лет чиновниками.

А тут народилась «богема», и как раз к той полосе, когда мы выступали в литературе.

Под моим редакторством начинал и Антропов *, впоследствии известный автор пьесы «Блуждающие огни». Его ввел Воскобойников, который был с ним очень близок и заботился о нем с отеческим чувством.

Теперь он забыт, и только любители театра помнят его «Блуждающие огни». Эту пьесу до сих пор еще играют в провинции.

В журнале он еще не пробовал себя, как беллетрист, а писал статьи и фельетоны очень бойким и изящным языком. Да и весь он был тогда чрезвычайно красивый и приятный брюнет, живой, пылкий, влюбчивый, возбуждавший в женщинах волнение, куда бы он ни появлялся. Он учился в Петербургском университете, литературу любил искренно. Но работника из него не вышло. Позднее, уже к 70-м годам, он после успехов, как драматург, превратился также в «богему» и прожигал жизнь, предаваясь тем же излишествам, которые стольких писателей свели в преждевременную могилу.

В нашем редакционном кружке он давал молодую, изящную ноту; но тогдашними разрывными идеями не увлекался и был чрезвычайно предан культу «чистого искусства».

В. П. Острогорский, сделавшийся популярнейшей личностью в петербургской интеллигенции, начинал в «Библиотеке» и дебютировал статьей, написанной по моему предложению и настоянию.

Он не был словесником по университетскому учению, а студентом-юристом; не знаю, кончил ли курс, и сделался потом учителем русской словесности *.

В редакцию он попал, вероятно, с какой-нибудь небольшой статейкой. Он мне понравился, и я, разговорившись с ним о Помяловском, которого он любил и, кажется, был лично знаком с ним, предложил ему попробовать себя в критическом этюде.

Он справился с ним неплохо, но разбор вышел, конечно, в более *публицистическом* духе, как тогда требовалось. Я лично был бы гораздо довольнее этюдом, где талант и язык Помяловского стояли бы на первом плане.

Мы сохранили с Острогорским очень хорошие отношения, и каждый раз, когда он (особенно под веселый час) вспоминал о 60-х годах, он непременно указывал на меня бывшим тут общим знакомым и своим удушливо-зычным голосом восклицал:

— Петр Дмитриевич пустил меня в ход! Он мне предложил писать о Помяловском!

Такому и тогда искреннему и пылкому поборнику освободительных идей, как этому «Виктору» (так его мы все звали за глаза), в «Библиотеке для чтения» было бы очень привольно. Но он и тогда уже пустился для добывания себе средств к жизни в учительство, где очень скоро выдвинулся среди петербургских более рутинных и малодаровитых педагогов.

Одной из последних наших встреч была в день его юбилея. Я приехал к нему уже после депутаций и застал его за столом, где стояли обильные закуски, и, разумеется, в весьма возбужденном настроении от винных паров.

Он увел меня в кабинет, показал все подарки, адресы, венки и с юмором старого поклонника Бахуса сказал:

— Вот, П[етр] Д[митриевич], больше четверти века *пью*, а, как видите, *ничего*! Все еще жив курилка!

«Страшный заговорщик» Ткачев был тогда очень

милый, тихонький юноша, только что побывавший в университете, где, кажется, не кончил *, и я ему давал переводы; а самостоятельных статей он еще не писал у нас. Я уже рассказывал, как он быстро перевел «Утилитаризм» Дж.-Ст. Милля, который цензура загубила.

Вспоминается мне и одна подробность из времени работы Ткачева в «Библиотеке».

Я поручил моему секретарю свезти ему гонорар. Он застал не его, а мать его, и она, благодаря его, сказала ему:

— Передайте П[етру] Д[митриеви]чу, что мой Петя уж так для него старается, так старается!

И этот «Петя» еще до превращения своего в эмигранта, когда сделался критиком, разбирал в снисходительном тоне одну из моих повестей *, которая, кажется, появилась в том самом «Деле», где он состоял одно время рецензентом.

Тогда в «Библиотеке» ни он, ни мои ближайшие сотрудники, конечно, не могли бы себе представить этого тихого, улыбающегося юношу в роли эмигранта, который считался вожаком целой партии. За границей я его никогда не встречал ни в первые годы его житья там, ни перед его концом.

Из Петербургских начинающих литераторов попал к нам и Пятковский, впоследствии постоянный сотрудник некрасовских «Отечественных записок» и издатель «Наблюдателя».

Я с ним сдавал экзамен в Петербургском университете в знаменитые сентябрьские дни. Он был юрист, а может быть, и «администратор», как я по программе моего кандидатского экзамена.

В «Библиотеку» он явился после своей первой поездки за границу и много рассказывал про Париж, порядки Второй империи и тогдашний полицейский режим. Дальше заметок и небольших статей он у нас не пошел и, по тогдашнему настроению, в очень либеральном тоне. Мне он тогда казался более стоящим интереса, и по истории русской словесности у него были уже порядочные познания. Он был уже автором этюда о Веневитинове.

В 70-х годах я его нашел сотрудником «Отечественных записок» по библиографии, и он везде выставлял радикализм своих взглядов, что плохо вязалось с некоторыми его душевными свойствами. Он держался

кружка «Отечественных записок», и я у него на вечеринках находил Н. Курочкина и Деммерта.

Сделавшись присяжным педагогом и покровителем детских приютов, он дослужился до генеральского чина и затеял журнал, которому не придал никакой физиономии, кроме крайнего юдофобства. Слишком экономный, он отвадил от себя всех более талантливых сотрудников и кончил жизнь какого-то почти что Плюшкина писательского мира. Его либерализм так выродился, что, столкнувшись с ним на рижском штранде (когда он был уже издатель «Наблюдателя»), я ему прямо высказал мое нежелание продолжать беседу в его духе.

Но тогда, в 60-х годах, этот молодой литератор не посмел бы давать ход своему смешному и антипатичному юдофобству. Тогда этого совсем не было в воздухе; а мой журнал отличался, напротив, самым широким отношением к полякам и ко всем вообще инородцам и жителям окраин.

Евреев было тогда еще очень мало в журналах и газетах. Их всех можно бы было пересчитать по пальцам.

Кажется, П. И. Вейнберг направил ко мне весьма курьезного еврея, некоего О[ренш]тейна, которому я сам сочинил псевдоним «Семен Роговиков» — перевод его немецкой фамилии. Он был преисполнен желания писать «о матерьях важных», имел некоторую начитанность по-немецки и весьма либеральный образ мыслей и долго все возился с Гервинусом, начиная о нем статьи и не кончая их.

Он все почти время моего редакторства состоял при «Библиотеке», ходил в нее ежедневно с всевозможными проектами и статей, и разных денежных комбинаций, говорил много, горячо, как-то захлебываясь, с сильным еврейским прононсом. И всегда он был без копейки, брал авансы, правда по мелочам, и даже одно время обшивался на счет редакции у моего портного.

Эту подробность проведали другие сотрудники, и она перешла в анекдот следующих генераций.

«Семен Роговиков» видался часто с Вейнбергом и, приходя в мой кабинет или в редакционную, где стояли шкапы и большой стол, на котором правились корректуры, неизменно начинал свои ламентации фразой:

— Положение Петра Исаича (Вейнберга) — не блестящее; но мое положение — ужасное!

Или переставлял половины этой фразы и говорил с той же жалостной миной:

— Мое положение — не блестящее; но положение Петра Исаича — ужасное.

А тогдашнее положение П. И. Вейнберга было действительно «не блестящее». Издательство «Века» наделило его большим долгом; он как-то сразу растерял и работу в журналах; а женитьба наградила его детьми, и надо было чем-нибудь их поддерживать.

Тогда-то он и был вынужден поступить на службу столоначальником в военное министерство и бился до назначения его в Варшаву профессором в главную школу, потом в университет, и получения места редактора «Варшавского дневника» с хорошим окладом и огромной казенной квартирой. Но это случилось уже к 70-му году.

Пикантно и то, что два «нововременца» начинали также в «Библиотеке для чтения», один почти исключительно, а другой отчасти.

Это были М. П. Федоров и Буренин.

Бывший впоследствии ответственным редактором «Нового времени», Федоров (которого все звали «Эм-пё-фё») перешел в «Библиотеку» с самой своей первой статейки о французском театре и продолжал давать некоторое время отчеты и при мне.

С ним я был в личном знакомстве и через него сходился тогда (кажется, и до своего редакторства) с братьями Краевскими, сыновьями Андрея Александровича, и Евгением Утиным — его товарищем по Петербургскому университету.

Тогда, то есть в первую половину 60-х годов, он представлял из себя молодого барича благообразной наружности и внешнего изящества, с манерами и тоном благовоспитанного рантье. Он и был им, жил при матери в собственном доме (в Почтамтской), где я у него и бывал и где впервые нашел у него молодого морского мичмана, его родственника (это был Станюкович), вряд ли даже где числился на службе, усердно посещал театры и переделывал французские пьесы.

Эта беспечная жизнь внезапно прекратилась. Из-за долгов его брата дом надо было продать и превратиться в литератора, живущего на гонорар с прибавкой какой-то службы.

В годы моей «Библиотеки» он был дилетант, любитель театра и беллетристики, без всякой политической окраски, но — как все тогда — с либеральным образом мыслей, хотя и был сыном бессарабского генерал-губернатора, генерала Федорова, одного из администраторов николаевского типа.

Ему и под старость, когда он состоял номинальным редактором у Суворина, дали прозвище: «Котлетка и оперетка». Но в последние годы своего петербургского тускло-жуирного существования он, встречаясь со мною в театрах, постоянно повторял, что все ему приелось, — сонный, тучный и еще более хромой, чем в те годы, когда барски жил в доме своей матери на Почтамтской.

Буренин приехал из Москвы. Там он, как стихотворец, сошелся с Плещеевым и, вероятно, от него и был направлен ко мне. А с Плещеевым я уже был знаком по Москве.

Он уже помещал сатирические стихотворения в «Искре», но, живя подолгу в Петербурге, еще не распрощался с Москвой, где он учился в школе живописи и ваяния и вышел оттуда со званием архитекторского помощника.

По тогдашнему тону он совсем не обещал того, что из него вышло впоследствии в «Новом времени». Он остроумно рассказывал про Москву и тамошних писателей, любил литературу и был, как Загорецкий, «ужасный либерал». Тогда он еще не проник к Коршу в «Петербургские ведомости», где сделался присяжным рецензентом в очень радикальном духе. Мне же он приносил только стихотворные пьесы.

По критике он еще ничего не писал у меня, но я относился к нему всегда весьма благожелательно, и личные наши отношения были самые мирные и благодушные.

И по возвращении моем в Петербург в 1871 году, я возобновил с ним прежнее знакомство и попал в его коллеги по работе в «Петербургских ведомостях» Корша; но долго не знал, живя за границей, что именно он ведет у Корша литературное обозрение. Это я узнал от самого Валентина Федоровича, когда сделался в Париже его постоянным корреспондентом и начал писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара». Было это уже в зиму 1868—1869 года.

С удовольствием упомяну еще об одном сотруднике, который только у меня, в «Библиотеке», стал вырабатывать себя, как своеобразную умственную физиономию.

Это был некто Варнек, более случайный, чем профессиональный писатель, уже не первой молодости, когда я с ним познакомился, имевший какие-то занятия вне журнала, кажется, по педагогической части.

У него я никогда не бывал. Жил он на Васильевском острове; по своему физическому складу, тону, языку, манерам смахивал на совсем обруселого инородца.

Он писал на оригинальные темы, по вопросам общественной психологии, и своим очень характерным языком, немножко расплывчато, но умно, наблюдательно, радикально — в смысле этического критерия.

Одна из пущенных мною в 1865 году передовых статей «Библиотеки» (которые появлялись всегда без подписей авторов) была написана им.

Что он писал впоследствии — я не знаю; если он уже умер, то в последнее время. И помнится мне, что только всего один раз судьба столкнула нас в Петербурге, и он тогда смотрел уже стариком. Он, во всяком случае, был старше меня.

Мне остается остановиться здесь на некоторых из сотрудников журнала, уже имевших тогда имя.

П. И. Вейнберг (как я сейчас упомянул) в эти годы ушел из журнализма, и я не помню, чтобы он в течение этих двух с лишком лет обращался ко мне с предложением участвовать в журнале в качестве заведующего отделом или одного из главных сотрудников. В «Библиогеку», еще при Писемском, прошел его перевод одной из драм Шекспира;* но печатался он при мне.

Вероятно, он давал нам и стихотворения, но постоянного сотрудничества по какому-нибудь отделу что-то не помню.

Евгения Тур, то есть графиня Салиас (сестра Сухово-Кобылина), работала в «Библиотеке» довольно долго; но до смерти ее я никогда ее не видал. Она жила тогда постоянно в Париже и очень усердно делала для нас извлечения из французских и английских книг. От нее приходили очень веские пакеты с листами большого формата, исписанными ее крупным мужским почерком набело.

Как сотрудница она была идеальная. И выбор того, что она предлагала мне, показывал, что она держалась либеральных симпатий.

Лесков видал ее в Париже и рассказывал мне много и про нее, и про ее тамошний кружок. Она дружила с польской эмиграцией и возмущалась нашим режимом в Варшаве и Вильне.

Раз она, на первых порах ее сотрудничества, прислала мне с каким-то поручением Суворина, которого я тогда в первый раз и увидал.

Он работал уже в то время у Корша, исполнял секретарские обязанности и вырабатывал из себя того *радикального* «Незнакомца», который позднее приводил в восхищение тогдашнюю оппозиционную публику.

У графини Салиас он и начинал в Москве, в ее журнале, который должен был так скоро прекратиться *. К ней он явился еще совсем безвестным провинциалом из народных учителей, вышедших из воронежского кадетского корпуса.

Польские дела (как я упомянул и выше) сблизили меня с Н. В. Бергом — тоже москвичом с головы до пяток, из гоголевской эпохи.

Те, кто хорошо знал Николая Васильевича (как, например, Вейнберг или наш общий приятель проф. И. И. Иванюков), считали его одним из типичнейших представителей полосы 40—50-х годов.

Таких писателей теперь уже и совсем нет, да и тогда было не много.

Родом он из обруселой баронской семьи, но уже дворянин одной из подмосковных губерний, он сложился в писателя в Москве в тогдашних кружках, полюбил рано славянскую поэзию, как словесник водился много с славянофилами, но не сделался их выучеником, не чурался и западников, был близок особенно с графиней Ростопчиной.

В его характере сидела всегда наклонность к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и тревожному.

Он приобрел известность своими записками о Севастопольской осаде, потом ездил к Гарибальди, когда тот действовал в Ломбардии и на итальянских озерах. Не мог он не заинтересоваться и польским восстанием. По-польски он давно выучился и переводил уже Мицкевича.

В «Библиотеку», сколько я помню, он попал через Эдельсона, также москвича той эпохи.

Но я воспользовался его сотрудничеством и, как говорил выше, первый из редакторов журналов предложил ему роль специального корреспондента по польскому восстанию.

Он жил сначала в Варшаве, а потом в австрийской Польше, откуда должен был выехать, потому что тамошний жонд[1] заявил ему требование о выезде.

Когда он жил в Варшаве, в том самом коридоре, где был его номер, убили поляка, которого жонд заподозрил в шпионстве, и никогда никто не был арестован по этому делу.

Корреспонденции Берга были целые статьи, в нашем журнализме 60-х годов единственные в своем роде. Содержание такого сотрудника было не совсем по нашим средствам. Мы помещали его, пока было возможно. Да к тому же подавление восстания пошло быстро, и тогда политический интерес почти что утратился.

Наши личные отношения остались очень хорошими. Через много лет, в январе 1871 года, я его нашел в Варшаве (через которую я проезжал тогда в первый раз) лектором русского языка в университете, все еще холостяком и все в тех же двух комнатах «Европейской гостиницы». Он принадлежал к кружку, который группировался около П. И. Вейнберга.

С поляками он всегда ладил, хорошо владел их языком и тогда уже готовил к печати отдельные песни «Пана Тадеуша».

Он был необычайно словоохотливый рассказчик, и эта черта к старости перешла уже в психическую слабость. Кроме своих московских и военных воспоминаний, он был неистощим на темы о женщинах. Как старый уже холостяк, он пережил целый ряд любовных увлечений и не мог жить без какого-нибудь объекта, которому он давал всякие хвалебные определения и клички. И почти всякая оказывалась, на его оценку, «одна в империи».

Это женолюбие не носило, однако же, никакого цинического оттенка, а скорее отзывалось чувственной

---

[1] правительство (от *польск.* rząd).

сентиментальностью, какую мы знаем, например, из биографии Бейля-Стендаля или Сент-Бева.

В Варшаве он сделался, разумеется, восторженным любителем польского балета и кончил тем, что уже очень пожилым человеком женился на кордебалетной танцовщице — польке.

У меня есть повесть «Поддели», написанная мною в Петербурге в 1871 году. Там является эпизодическое лицо одного московского холостяка. Наши общие знакомые находили, что в нем схвачены были характерные черты душевного склада Берга, в том числе и его культ женского пола.

Разговорный язык его, особенно в рассказах личной жизни, отличался совсем особенным складом. Писал он для печати бойко, легко, но подчас несколько расплывчато. Его проза страдала тем же, чем и разговор: словоохотливостью, неспособностью сокращать себя, не приплетать к главному его сюжету всяких попутных эпизодов, соображений, воспоминаний.

Как частный человек, собрат, товарищ, он был высокой порядочности и деликатности, до педантизма аккуратный и исполнительный, добрый товарищ, безупречный во всяком деле, особенно в денежных делах.

Увы! такой тип среди пишущей братии никогда не преобладал.

Все Москва же доставила еще одного, уже прогремевшего когда-то сотрудника, знаменитого Павла Якушкина.

Он был приятель Эдельсона; но наше знакомство произошло не у него и не в редакции.

На Невском около подъезда ресторана «Ново-Палкин» (он помещался тогда напротив, на солнечной стороне улицы), куда я заезжал иногда позавтракать или пообедать, меня остановил человек чрезвычайно странного вида, соскочивший с дрожек.

Черноволосый, очень рябой, с мужицким лицом, в поношенной поддевке и высоких сапогах, бараньей шапке и в накинутом на плечи мужицком кафтане из грубого коричневого сукна.

Но на носу торчали очки.

— Вы Боборыкин? — окликнул он, воззрившись в меня. — А я — Якушкин. Павел Якушкин.

И стал он похаживать в редакцию, предлагал статьи, очень туго их писал, брал, разумеется, авансы, выпивал, где и когда только мог, но в совершенно безобразном виде я его (по крайней мере у нас) не видал.

Из него наши журналы сделали знаменитость в конце 50-х годов. У Каткова в «Русском вестнике» была напечатана его псковская эпопея, которая сводилась в сущности к тому, что полицмейстер Гемпель, заподозрив в нем не то бродягу, не то бунтаря, продержал его в «кутузке» *.

Его история подала повод к первому взрыву общественных протестов после николаевского бесправия.

Сам по себе он был совсем не «бунтарь»; даже и не ходок в народе с целью какой бы то ни было пропаганды. Он ходил собирать песни для П. Киреевского, а после своей истории больше уже этим не занимался, проживал где придется и кое-что пописывал.

Мне было занимательно поближе присмотреться к нему. Сквозь его болтовню, прибаутки, своего рода юродство сквозил здравый рассудок, наблюдательность, юмор и довольно тонкое понимание людей.

Славянофилов — тех, коренных, Киреевских и Аксаковых, — он понимал без всякого увлечения и любил повторять про них:

— Читали книжки, немецкие!

Этим он хотел сказать, что свою теорию русского народа они вычитали у философов-немцев, что и было на самом деле.

В Якушкине вы чувствовали «интеллигента» с университетским образованием и литературными традициями, но тон и жаргон он себе «натаскал» мужицкие, по произношению южнее от Москвы, как народ говорит в Орловской или Рязанской губерниях.

Он обладал юмором и мог довольно тонко оценивать людей. Но отчасти потому, что был всегда «в легком подпитии», а главное, от долгой привычки к краснобайству слишком много болтал, напуская на себя балагурное юродство.

Свою мужицкую «сбрую» он никогда и нигде не снимал. Поддевку и шаровары (часто плисовые) носил неряшливо, больше при красной рубахе. И вообще отличался большим неряшеством и нечистоплотностью.

Где он жил — мне было неизвестно. Только раз я попал к нему, да и то потому, что он гостил у Эдельсона.

Насчет работы с ним была всегда возня. Свои статьи он носил в кармане шаровар, в виде замусоленных кусочков бумаги.

Взявши аванс (правда, всегда умеренный), он долго растабарывал про свое писание, но вовремя доставить статьи никогда не мог.

То, что появилось в первое время в «Библиотеке», носило общее заглавие: «Велик бог земли русской». Подошел август 1864 года. Якушкин запросился со мною в Нижний на ярмарку.

Я ехал туда по делу заклада моего имения. Поехал он на мой счет, но демократически, в третьем классе. Дорогой, разумеется, выпивал и на ярмарке поселился в каких-то дешевых номерах и стал ходить по разным тамошним трущобам для добычи бытового материала.

У него была намечена «богатая» программа «Очерков Макарьевской», как ярмарку еще до сих пор называют нижегородцы.

Заполучив от меня некоторую «толику» денег, он вскоре нарвался на историю вроде той, какая его прославила в Пскове с полицмейстером Гемпелем.

В ресторане нашего знаменитого буфетчика Никиты Егорова он подтрунил над жандармским офицером П[ерфилье]вым у буфета *. Тот его заметил и донес о нем, как о подозрительном индивиде.

Его призвали к тогдашнему ярмарочному генерал-губернатору генералу Огареву. Тот стал на него кричать, и дело кончилось его высылкой.

С Огаревым я тогда же имел случай говорить о Якушкине. Генералу сделалось немножко совестно передо мною, и он стал отзываться о нем в шутливом тоне, как о беспорядочной личности, на которую серьезно смотреть нельзя.

Когда Якушкин к нему явился в «Главный дом», Огарев спросил его:

— Что вы тут делаете?

— Работаю для Боборыкина.

Такой ответ не особенно-таки удовлетворил администратора. Но зная, что Якушкин передаст мне этот

диалог, Огарев стал все-таки извиняться, что не помешало ему удалить Якушкина, а редакция лишилась статьи.

Так из этой экспедиции ничего и не вышло. Погиб, разумеется, и аванс.

Раньше, в Петербурге, Якушкина тоже потревожила полиция, и на вопрос, чем он занимается и какие у него знакомые, ответил:

— Хожу в гости к графу Строганову, в его дом у Полицейского моста.

И он действительно ходил к этому бывшему попечителю Московского университета, и тот любил с ним беседовать.

О последней полосе жизни Якушкина я что-то не помню. Знаю только, что мы с ним уже не встречались до моего отъезда за границу. Не помню, чтоб он писал мне откуда-нибудь.

Свою когда-то славу он пережил уже и тогда, когда работал в «Библиотеке».

Не в пример моим тогдашним коллегам, редакторам старше меня и опытом и положением в журналистике, с самого вступления моего в редакторство усиленно стал я хлопотать о двух отделах, которых при Писемском совсем почти не было: иностранная литература и научное обозрение.

Кроме того, что мне доставляла Евгения Тур, я обратился к П. Л. Лаврову с предложением вести постоянный отдел иностранной литературы по разным ее областям, кроме беллетристики.

Он на это охотно пошел и несколько месяцев занимался этим, хотя, сказать правду, слишком спешно. Книжные магазины доставляли в редакцию каждый месяц вороха новых книг. Лавров заезжал, пересматривал их, некоторые брал с собою и присылал свое обозрение.

Если оно составлялось не совсем так, как я мечтал, вина была не моя. А мой выбор остановился на нем потому, что он считался тогда в Петербурге самым замечательным энциклопедистом и по философии, и по истории точных знаний, и по общей истории, и по общественным наукам.

С этим тогда артиллерийским полковником я уже давно был знаком. Студентом Дерптского университета,

я при нем на вечере читал свою первую комедию «Фразеры» в зиму 1858—1859 года.

И в начале 60-х годов Петр Лавров был все такой же рослый, полный, с огненными бакенбардами, сильно картавый, речистый, веселый, полный сил.

О нем, как о профессоре Михайловской артиллерийской академии, мне много рассказывал и мой сожитель по квартире (до моего редакторства) гр. П. А. Гейден, тогда еще слушатель Петербургского университета, после того как он из Пажеского корпуса поступил в Артиллерийскую академию, где Лавров читал теоретическую механику.

Его любили слушатели-офицеры, и Гейден умел представлять его манеру преподавать и рассказывал разные о нем истории, всегда в сочувственном тоне.

Как писатель, я возобновил с Петром Лавровым знакомство и бывал у него, знавал его супругу и одного из племянников, правоведа, впоследствии крупного судейского чиновника. Эти Лавровы — все псковские, из тамошнего дворянства.

У себя дома он всегда очень радушно принимал, любил разговор на тогдашние злобы дня, но революционером он себя тогда не выказывал ни в чем. Все это явилось позднее. Даже и в мыслительном смысле он не считался очень радикальным. В нем еще чувствовалась гегельянская закваска. Воинствующей публицистикой он в те годы не занимался и к редакции «Современника» близок не был.

Его всего сильнее интересовали тогда философские вопросы, эволюция идей и культурное развитие общества.

Меня, как редактора, он ни во что не втягивал — противоправительственное, не давал читать никаких прокламаций или запрещенных листков, никогда не *исповедовал* меня насчет моих идей.

Но я помню, что в нем и тогда мне что-то казалось не то что двойственным, а прикрывающим гораздо более «разрывное» содержание.

Все это ждало момента, чтобы прорваться, а остальное доделали его ссылка и бегство за границу*. Но все это случилось уже по прекращении «Библиотеки».

Как сотрудник, он не внес в журнал яркой окраски. Ему просто было *некогда* давать нам что-нибудь более

крупное и самостоятельное. Он слишком тогда был занят и преподаванием и сотрудничеством в разных других журналах и изданиях.

Мои дальнейшие встречи с Лавровым относятся уже к заграничной полосе, когда я видал его в Париже.

Научное обозрение поручил я другому «артиллеристу» — А. Н. Энгельгардту, тогда профессору химии.

Он ездил в редакцию забирать книги, производил всегда очень приятное впечатление своей наружностью, тоном и добродушием. Домами я не был с ним знаком.

Тогда никак нельзя было бы подумать, что из него выйдет тот агроном-народник, который выказал в своих письмах в «Отечественных записках» столько таланта, особенно в своем языке.

Степень его тогдашнего политического радикализма трудно было разглядеть; но он, без сомнения, был далек от той народнической концепции агронома, какая явилась у него в деревне.

И на него ссылка — хотя только в свое имение — сильно повлияла *, но не сделала из него революционного вожака, как его коллегу по артиллерии Лаврова, а напротив, превратила его в агронома, далекого от всякого бунтарского радикализма.

История не была забыта в «Библиотеке». Я свел знакомство с Н. И. Костомаровым и был истинно доволен, что мог приобрести от него «Ливонскую войну» *. Тогда гонорар (за исключением таких беллетристов, как Тургенев, Толстой, Гончаров и отчасти Островский) не был еще очень высок. Ученому с именем и талантом Костомарова полистная плата была семьдесят пять — восемьдесят рублей. *Сто* рублей за *статью* тогда вряд ли кто получал.

Николая Ивановича я навещал в его квартире на Васильевском острове, помню его голос, произношение с южнорусским оттенком, искренность и даже пылкость его тона, когда он вспоминал что-нибудь из своей молодости или характеризовал те исторические лица, какими особенно интересовался в то время.

Иван Грозный был как раз личность, которую он изучал, как психолог и писатель. Его взгляд казался многим несколько парадоксальным; но несомненно, что в Иване сидела своего рода *художественная* натура на подкладке психопата и маньяка неограниченного само-

державия. Оценка москвичей, слишком преклонявшихся перед *государственным* значением Грозного, не могла удовлетворять Костомарова с его постоянным протестом и антипатией к московскому жестокому централизму.

По бытовой истории старого русского общества и раскола мы приобрели тогда в профессоре Щапове очень ценного сотрудника. Но это было уже слишком поздно: он был близок к административной ссылке и лежал в клинике в одном корпусе с Помяловским, где я его и посещал.

У него была запущенная болезнь, которая безобразила его лицо, да и общее его физическое состояние было крайне расшатано, опять-таки от российского недуга — алкоголизма.

Обошлись с ним жестоко: сослали на место его родины, то есть в Восточную Сибирь. Этот переезд убийственно подействовал на него.

У него я находил молодую девушку* (кажется, церковного происхождения), которая и разделила с ним ссылку, сделавшись его женой.

Щапов сохранял тон и внешность человека, прикосновенного к духовному сословию; дух тогдашних политических и общественных протестов захватил его всецело. В его лице по тому времени явился один из самых первых просвещенных врагов бесправия и гнета. Если он увлекался в своих оценках значения раскола и некоторых черт древнеземского уклада, то самые эти увлечения были симпатичны и в то время совсем не банальны.

Из писательниц уже с именем я постарался о привлечении таких беллетристов, как Марко Вовчок (г-жа Маркевич), В. Крестовский — псевдоним (то есть Н. Д. Хвощинская) и ее сестра, писавшая под псевдонимом *Весеньев.*

С Марко Вовчок у меня не было личного знакомства. Она проживала тогда больше за границей, и от нее являлся всегда с рукописью молодой человек, фамилии которого не вполне тоже припоминаю; кажется, г. Пассек*. Она дала нам несколько рассказов; но уже не из лучшего, что она писала.

С Хвощинской у меня вышла интересная переписка, прежде чем она стала сотрудницей «Библиотеки».

Тогда в «Отечественных записках» Краевского стали появляться в 60-х годах критические заметки (под мужским именем), где разбирались новости журнальной беллетристики, и когда в начале 1863 года появилась рецензия на две первых части моего романа «В путь-дорогу», я стал разыскивать, кто этот критик, и чрез М. П. Федорова, приятеля сыновей Краевского, узнал, что это давнишняя сотрудница «Отечественных записок» Н. Д. Хвощинская. Она еще не была тогда замужем и давно уже, с первых своих вещей, подписывалась «В. Крестовский»; и слово «псевдоним» стала прибавлять к этому имени с тех пор, как появился подлинный В. (то есть Всеволод) Крестовский, поэт, тогда еще студент Петербургского университета.

Автор рецензии очень сочувственно отнессял ко мне, как молодому беллетристу; но самую личность героя она подвергла довольно строгому моральному анализу, найдя, что он только «сентиментальный эгоист».

По тону этой оценки я уже предчувствовал, что это писала женщина, но не подозревал, что это Хвощинская. Она до того не печатала никогда критических статей под своим известным псевдонимом.

Я написал ей письмо в Рязань, где она всегда жила еще при своей покойной матери.

Ни в Москве, ни в Петербурге я ее никогда и нигде не встречал; знал только, что она уже старая девица и очень дурна собою, хотя и имела роман в писательском мире.

Надежда Дмитриевна ответила мне очень милым письмом, написанным с ее обычной теплотой приподнятого стиля и блестками проницательного ума.

Сделавшись редактором, я сейчас же написал сам небольшую рецензию по поводу ее прекрасного рассказа «За стеной» *, появившегося в «Отечественных записках». Я первый указал на то, как наша тогдашняя критика *замалчивала* такое дарование. Если позднее Хвощинская, сделавшись большой «радикалкой», стала постоянным сотрудником «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова, то тогда ее совсем не ценили в кружке «Современника», и все ее петербургские знакомства стояли совершенно вне тогдашнего «нигилистического» мира.

Мне было особенно приятно высказаться о ней, что я сделал вполне бескорыстно, не желая вовсе привлечь ее во что бы то ни стало к журналу.

Когда она приехала пожить в Петербург, и мы с ней лично познакомились и сошлись, она написала для «Библиотеки» прелестный рассказ «Старый портрет — новый оригинал» *, навеянный посещением Эрмитажа и портретом работы Рембрандта, моделью которого послужила ему *будто бы* родная мать, что, кажется, оказалось неверно.

Она меня познакомила с своей сестрой (тоже тогда пожилой девицей, но моложе ее), уже писавшей под псевдонимом Весеньева.

Это была очень талантливая девушка, и из нее вышла бы крупная писательница, если б смерть вскоре не унесла ее.

В «Библиотеку» она дала блестящий рассказ * из того переходного времени, когда дворяне-рабовладельцы стали задумываться над вопросом: как же им теперь быть, что делать и как удержать свое прежнее, уже не возвратное прошлое.

Мои знакомства в Петербурге за эти два сезона, 1863—1865, не исчерпывались одним лишь составом наших, и начинающих и старых, известных писателей.

О знакомстве в зиму 1861—1862 года с Островским и наших дальнейших встречах я уже говорил и ничего особенно выдающегося добавить не имею. А то, что я помню из встреч наших в 70-х годах, я расскажу в других местах.

Тургенева я не приобрел в сотрудники в 1864 году, но мой визит к нему и разговор по поводу моей просьбы о сотрудничестве остались в моей памяти, и я уже имел случай вспоминать о них в печати, в другие годы, и до кончины его, и после *.

Меня до сих пор удивляет тот *тон откровенности,* с какой Иван Сергеевич мне, незнакомому человеку, чуть не на двадцать лет моложе его, стал говорить, как он должен будет отказаться от писательства главным образом потому, что не «свил своего собственного гнезда», а должен был «примоститься к чужому», намекая на свою связь с семейством Виардо. А живя

постоянно за границей, он по свойству своего дарования не в состоянии будет ничего «сочинять из себя самого».

Мне и тогда такая, хотя бы и несколько «деланная», простота скорее понравилась. Но я знал, как и все тогда знали, что Тургенев был огорчен той коллизией с молодой публикой и критикой, какая произошла после «Отцов и детей».

В ту зиму он ведь и читал «Довольно» *, где его пессимизм впервые принял такую острую форму.

Вообще же я не скажу, чтобы тогдашний Иван Сергеевич мне особенно полюбился. Впоследствии он стал в своем обхождении и тоне гораздо проще. Отсутствие этой простоты всего больше мешало поговорить с ним «по душе». А я тогда очень и очень хотел бы побеседовать с ним, если не как равный с равным, то по крайней мере как молодой беллетрист и журналист с таким старым и заслуженным собратом, как он.

Первое впечатление от Тургенева многие и кроме меня получали точно такое же, даже и позднее, например, в конце 70-х годов, особенно если видели его впервые в обществе.

У сестер Хвощинских в ту самую петербургскую зиму я с ним провел вечер в номере гостиницы (Знаменской) за самоваром.

Туда он явился очень франтоватым, в светло-сиреневых (gris perle) перчатках, которые долго не снимал, сидел за столом, тонко беседовал, но оставался слишком «барином» с оттенком западноевропейского джентльмена.

То, что я видел в Тургеневе и слышал от него более простого и характерного, относится уже к следующим полосам моей жизни.

Когда была издана его переписка после его смерти, то в ней нашлись фразы, в которых он довольно злобно «прохаживался» на мой счет... * Это не мешало ему в разные моменты своей заграничной жизни обращаться ко мне с письмами в весьма любезном и даже прямо лестном для меня тоне.

Но он был человек изменчивых симпатий и антипатий вне своего «однолюбия» к Виардо. Когда он умер и готовился к печати том его переписки, то его приятель Григорович говорил мне в 1883 году:

— Жду очень неприятных карамболяжей. Ведь милейший Иван Сергеевич часто в письмах к третьим лицам жестоко отделывал своих приятелей и даже самых близких.

С Григоровичем до 1867 года, то есть до Парижской выставки, я очень редко встречался в Петербурге и в сотрудники его не просил.

Когда вышел в печати его плоховатый роман «Два генерала» (в «Русском вестнике»), то я сам написал рецензию без подписи, где высказался об этой вещи совсем не хвалебно.

Я уже сказал выше, что других знаменитостей того времени, как Некрасова, Гончарова, Салтыкова, я в те годы, 1863—1865, лично еще не знал, и наше знакомство пошло уже после возвращения моего в Петербург, к 1871 году.

Федора Достоевского я в гостиных или редакционных кружках не встречал, но слыхал о нем и его жизни в Петербурге довольно много от Воскобойникова, который был вхож к Достоевским.

Когда стряслась беда с их журналом «Время», мы с ним видались у него по поводу того соглашения, в которое «Библиотека» вошла с редакцией «Время» насчет удовлетворения подписчиков.

Достоевский не был еще тогда женатым во второй раз, жил в тесной квартирке, и в памяти моей удержался довольно отчетливо тот вечер, когда мы у него сидели в его кабинетике, и самая комната, и свет лампы, и его лицо, и домашний его костюм.

В тот вечер он не произвел на меня впечатления мистика и неврастеника, говорил очень толково, на деловую тему, своим тихим, нутряным и немножко как бы надорванным голосом.

Сближаться с ним мне не было повода. Его талантливость я вполне признавал, но от его мистического славянофильства был далек. Даже и половина того, что стоит в «Преступлении и наказании», было мне совсем не по вкусу; таким осталось и по сей час.

С ним мы после того столкнулись всего два раза: в Петербурге, в магазине Базунова на Невском, и в Москве в фойе Малого театра.

К Базунову он зашел купить какую-то *духовную* книжку, которая заинтересовала его своим заглавием; а

в фойе Малого театра он чем-то был очень недоволен — своим местом или чем другим — уже не припомню, но каким-то вздором. И его раздражение выказывало в нем слишком очевидно совершенно больного человека, который не мог себя сдерживать никогда.

Это было, кажется, уже после его мытарств за границей, азартной игры в Баден-Бадене и той сцены, которую он сделал там Тургеневу, и того письма, где он так публично напал на него не только за «Дым», но и за все, что тот якобы говорил ему про Россию и русских *.

К счастью, у нас с ним не выходило никогда ничего подобного, вероятно оттого, что я не имел с ним никаких прений и принципиальных разговоров.

В журналах Достоевских критическими силами были Аполлон Григорьев и Страхов (Косица).

И с тем и с другим я вступил в знакомство. Но ни тот, ни другой не успели попасть в мои сотрудники: один преждевременно умер, а другой — за прекращением «Библиотеки».

Григорьев всегда и давно интересовал меня. Его славянофильство не отнимало у него в моих глазах ни талантливости, ни ума, ни замечательных критических способностей. Я читал все, что он печатал и по общей критике, и как театральный рецензент.

И самая его личность, по рассказам его приятеля Эдельсона и других москвичей, интересовала меня.

Мне не случилось с ним столкнуться до того любительского спектакля, где я играл Чацкого в Кронштадте.

Спектакль был устроен группой писателей с какой-то благотворительной целью. Софью играла молодая актриса Гринева (тогда уже жена писателя Всеволода Крестовского), я — Чацкого, известный тогда любитель из чиновников военного министерства — Фамусова; а Григорьев должен был исполнять Репетилова.

Тогда-то вот в Кронштадте, в гостинице «Вена» (где мы ночевали) и произошло наше знакомство.

Он, как я и ожидал, оказался интересным собеседником, много мне рассказывал о Флоренции, где жил в одном барском семействе в качестве преподавателя уже в последние годы.

Наружность у него была прекрасная, с старорусским пошибом, и манера говорить — привлекательная, с его

характерным жаргоном московского литератора еще 40-х годов.

Наша беседа происходила в бильярдной гостиницы. Григорьев казался еще трезвым, но перед ним уже стояла бутылка чего-то.

Я, как Чацкий, должен был идти в театр репетировать. Но к четвертому акту, где появляется Репетилов, прибежал гонец из «Вены» сообщить, что Григорьев уже лежит *на бильярде* мертвецки пьяный.

Вышел переполох. К счастью, нашелся какой-то ретивый любитель, который с грехом пополам справился с ролью Репетилова.

Так я и на другой день не видал Григорьева. Но потом возобновил наше знакомство, и он предложил мне какую-то статью, которую только еще задумал; но взял аванс, который так и ушел с ним в могилу. Вскоре он попал за долги в *долговое отделение* и, когда его оттуда выкупили, вскоре скоропостижно умер.

С двумя молодыми писателями, Вс. Крестовским и Дм. Аверкиевым, его приятелями, я очень редко встречался. Вс. Крестовский тогда уже был женат и, кажется, уже задумывал поступить в уланские юнкера и сделать себе карьеру.

Я его помнил еще с студенческих кружков, несколькими годами раньше. Тогда его товарищи носили его на руках за его стихи, в особенности за те, где нищая кому-то «грешным телом подала».

Я слыхал тогда, как он декламировал свои вещи на вечеринках, очень фатоватый, в белом жилете с золотыми пуговицами и в расстегнутом сюртуке.

Когда я встретился с ним в Кронштадте и играл с его женой Чацкого, — он уже был автор «Петербургских трущоб», которыми заставил о себе говорить. Он усердно изучал жизнь столичных подонков и умел интересовать менее взыскательных читателей фабулой своего романа с сильным романтическим привкусом.

Ни студентом, ни женатым писателем с некоторым именем он мне одинаково не нравился. И его дальнейшая карьера показала, на что он был способен, когда стал печатать обличительные романы на «польскую справу» * и, дослужившись до полковничьего чина, стал известен высшим сферам своей патриотической преданностью.

Аверкиева я чаще видал. Он тогда уже попал в славянофильский кружок Ап. Григорьева и Достоевского и начал писать пьесы вроде своего «Мамаева побоища». По университетскому учению он был «естественник», но потом, сделавшись драматургом и критиком, отличался большой начитанностью, выучился по-английски, знал хорошо Шекспира, щеголял обширной памятью, особенно на стихи, вообще выдавался своей литературностью, но и тогда уже было в нем что-то неуравновешенное, угловатое, какая-то смесь идеализма с разными охранительными вожделениями.

С Григорьевым они водили приятельство по части выпивки. Шутники рассказывали тогда, что они с Григорьевым способны были, за неимением водки, пить чистый спирт, одеколон и даже керосин!!

Дальнейшие его успехи на сцене (актеры звали его Дмитрий *Перековеркиев*), начиная с «Каширской старины», относятся к той полосе, когда меня уже не было в Петербурге.

И вот мы узнаем, что Аполлон Григорьев скоропостижно умер, только что выйдя из долгового отделения, которое помещалось тогда в Измайловском полку, где теперь сад Тумпакова. Он и тогда уже существовал как увеселительное место, и девицы легкого поведения из немок называли его «Tarassoff Garten» [1].

Эта «Яма» (как в Москве еще тогда называли долговое отделение) была довольно сильным пугалом не только для несостоятельных купцов, но и для нашего брата писателя.

Было что-то унизительное в этом лишении свободы из-за какого-нибудь векселька, выданного хищному ростовщику.

Григорьев тоже оказался жертвой своего хронического безденежья. У него уже не было такого положения, как в журнале гр. Кушелева и у Достоевских. Он вел жизнь настоящего богемы. А выручить его в трудную минуту никто не умел или не хотел. «Фонд» и тогда действовал; но, должно быть, не дал ему ссуды, какая была ему нужна.

«Выкупила» его (не совсем с бескорыстной целью) известная всему Петербургу «генеральша» (вдова адми-

---

[1] Тарасов сад *(нем.)*.

рала) Бибикова, мать красавицы Споровой, ставшей женой В. В. Самойлова.

Она внесла за Григорьева его долг с расчетом на приобретение дешевой ценой его сочинений. Но когда мы шли с нею с похорон Григорьева, она мне рассказала историю своего «благодеяния», уверяя меня, что когда она выкупила Григорьева, то он, идя с ней по набережной Фонтанки, бросился перед ней на колени.

Эти писательские похороны и памятны мне как нечто глубоко печальное. Я их отчасти описал в моей позднейшей повести «Долго ли?» *, где я коснулся тяжелой доли пишущей братии.

На похороны Григорьева, самые бедные и бездомные, явились его приятели Достоевский, Аверкиев, Страхов, Вс. Крестовский, композитор Серов, вот эта матрона генеральша Бибикова и несколько его сожителей из долгового отделения. Между ними выделялся своей курьезной фигурой Лев Камбек, стяжавший себе в начале 60-х годов комическую репутацию. Он был одет в поддевку из бурого верблюжьего сукна и смотрел настоящим «мизераблем», но все еще разглагольствовал и хорохорился. Был тут и художник Бернардский, когда-то талантливый рисовальщик, которому принадлежат иллюстрации в «Тарантасе» гр. Соллогуба и «Путешествии madame де Курдюков» *.

Эти выходцы из царства теней придавали похоронам Григорьева что-то и курьезное и очень, очень печальное.

По дороге с Митрофаньевского кладбища мы зашли в какую-то кухмистерскую, и там состоялся обед со спичами. Говорили его приятели, говорили и «узники» дома Тарасова, предлагали более или менее хмельные здравицы.

А в городе, в литературном мире, в театре смерть Григорьева прошла очень холодно. И в театре его не любили за критику игры актеров. Любил его только П. Васильев, бывший на похоронах. Из актрис одна только Владимирова (о которой он говорил сочувственно за одну ее роль), не зная его лично, приехала в церковь проститься с ним.

Самый первый друг Григорьева из петербургских писателей — Н. Н. Страхов ценил его очень высоко и после смерти хлопотал об издании его сочинений. С Григорьевым трудно было водить закадычную дружбу, если

не делать возлияний Бахусу, но Страхов совсем не отличался большой слабостью к крепким напиткам.

Страхова я больше узнал уже позднее, к 70-м годам, но и тогда видал его и беседовал всегда с интересом.

Из специалиста по зоологии (он защищал даже диссертацию на магистра) он тоже, как и его приятель Аверкиев, превратился в словесника и, конечно, из тогдашних критиков был одним из самых начитанных, с солидным философским образованием.

По внешности он сразу выдавал свое духовное происхождение: благообразный и всегда благодушно улыбающийся «батюшка», а впоследствии «владыка».

Мне нравился его ум, тонкость вкуса, его язык и манера; но славянофильский налет его идей лишал его полной свободы в оценках и выводах.

Продолжай «Библиотека» существовать и сделайся он у нас главным сотрудником, он стал бы придавать журналу мало желательный оттенок, или мы должны были бы с ним разойтись, что весьма вероятно, потому что если некоторые мои сотрудники «правели», то я, напротив, все «левел».

«Как жил Петербург за эти два сезона 1863—1864 и 1864—1865? И вообще, каково было общественное настроение?» — спросят меня.

Мне в эти годы, как журналисту, хозяину ежемесячного органа, можно было бы еще более участвовать в общественной жизни, чем это было в предыдущую двухлетнюю полосу. Но заботы чисто редакционные и денежные хотя и расширяли круг деловых сношений, но брали много времени, которое могло бы пойти на более разнообразную столичную жизнь у молодого, совершенно свободного писателя, каким я был в два предыдущих петербургских сезона.

После акта 19 февраля либеральное направление правительства стало подаваться все правее и правее.

Процессы Л. М. Михайлова и потом Чернышевского уже наложили на общее настроение тогдашней либеральной доли общества траурный налет. Приговор Михайлова и его отправление на каторгу в кандалах (карточки продавались под спудом), а потом публичная

казнь Чернышевского после долгого сиденья в крепости усиливали еще минорное настроение.

Подробности этой казни передавал нам в редакции «Библиотеки» не кто иной, как Буренин, тогдашний мой сотрудник. Он видел, как Чернышевский был взведен на эшафот, как над ним переломили шпагу в знак лишения прав, и он несколько минут был привязан. Буренин подметил, что тот сенатский секретарь, который читал его долгий приговор, постоянно произносил его фамилию «Чернышовский» вместо «Чернышевский».

Манифестаций, разумеется, не было таких, которые вызвали бы беспорядки. Но радикальная молодежь ожесточилась, и к 1865 году усилилось подпольное движение, которое и вызвало в следующем, 1866 году покушение Каракозова *.

Огромный успех среди молодежи романа «Что делать?» — помимо сочувствия коммунистическим мечтаниям автора — усиливался и тем, что роман писан был в крепости и что его автор пошел на каторгу из-за одного какого-то письма с его подписью *, причем почти половина сенатских секретарей признала почерк письма принадлежащим Чернышевскому.

И тогда и позднее много говорили в городе о том, как это Чернышевский был осужден на каторгу за письмо к Плещееву в Москву, а сам Плещеев хоть и допрашивался, но остался цел.

Это до сих пор многим кажется странным и малопонятным. Адресатом Чернышевского считали, несомненно, Плещеева. У него была одно время в Москве и типография. Известно было, что Всеволод Костомаров выдал Чернышевского.

В настоящую минуту, когда я пишу эти строки (то есть в августе 1908 года), за такое письмо обвиненный попал бы много-много в крепость (или в административную ссылку), а тогда известный писатель, ничем перед тем не опороченный, пошел на каторгу.

Один такой приговор показывал, как власть хочет расправляться с теми, кого считали крамольниками.

И журналы в первую голову пострадали от перемены ветра сверху *. Журнал Достоевского был запрещен за весьма невинную статью Н. Н. Страхова о польском вопросе, а «Современник» и «Русское слово» — вообще за направление.

Польское восстание дало толчок патриотической реакции. Оно лишило и Герцена обаяния и моральной власти, какую его «Колокол» имел до того времени, когда Герцен и его друзья стали за поляков.

В Москве Катков перешел в лагерь охранителей и в «Московских ведомостях» круто повернул фронт в национально-государственном духе.

Литературный, то есть писательский, мир лишен был возможности как-нибудь протестовать. Та скандальная перебранка, которой осрамили себя журналы в 1863 году, не могла, конечно, способствовать единению работников пера.

По-прежнему не существовало никакого *общества* или *союза*, кроме «Фонда» чисто благотворительного и притом совсем не популярного среди пишущей братии.

Если б было иначе, я тогда, как редактор-издатель большого журнала, конечно, принял бы участие в каждом таком товарищеском начинании.

И вся литературная жизнь столицы сводилась за весь этот двухлетний период к нескольким публичным чтениям, где публика могла слышать Некрасова, Тургенева («Довольно»), Достоевского, Полонского, Майкова, некоторых менее известных литераторов.

Даже то театральное любительство, о котором я говорил в предыдущей главе, стало банальнее и тусклее.

В театрах ни одного нового сильного дарования; а приезды иностранных знаменитостей относятся опять-таки к предыдущей полосе.

Реформы, в виде предварительных работ, и земская и судебная, продолжались. Их обсуждали в журналах и газетах; но земство было сведено к очень тесным сословным рамкам. Судебные уставы явились в 1864 году; но новый суд начал действовать уже позднее, к 1866 году, когда меня уже не было в России.

Газетная пресса в те годы стала уже играть некоторую роль. Явился такой газетный публицист, как Катков; а в Петербурге «Санкт-Петербургские ведомости», теснимые цензурой, все-таки выдерживали свое либеральное обличье.

Тогда в газетном деле и у Корша и, позднее, у Краевского в «Голосе» амплуа воскресного фельетониста попало в особую честь.

Суворин (под псевдонимом «Незнакомца») *казался* тогда настоящим радикалом. Остальные фельетонисты были тусклее его.

Тогда же стала развиваться и газетная критика, с которой мы при наших дебютах совсем не считались. У Корша (до приглашения Буренина) писал очень дельные, хотя и скучноватые, статьи Анненков и писатели старших поколений. *Тон* был еще спокойный и порядочный. Забавники и остроумы вроде Суворина еще не успели приучить публику к новому жанру с личными выходками, пародиями и памфлетами всякого рода.

В толстых журналах уровень критики понизился. Добролюбова не мог заменить такой писатель, как Антонович. Да вскоре замолк и «Современник». Аполлон Григорьев при всех своих славянофильских увлечениях все-таки головой стоял выше тогдашнего уровня рецензентов — и общих и театральных.

О театре он писал горячо, стоял горой за Островского, за бытовую правдивую игру, поддерживал такое крупное дарование, как Павел Васильев, преклонялся перед Садовским.

Петербург впервые увидал тогда Садовского на Александринском театре в лучших его ролях. Там он явился и в новой для него роли Подхалюзина в «Свои люди — сочтемся!».

Литературно-художественная критика в журналах, несомненно, стояла не на высоте уровня самого творчества. Ведь только что минул год с тех пор, как появились «Отцы и дети». Тургенев хоть и решил было удалиться совсем с писательской арены, но все-таки дал «Призраки» и «Довольно». Некрасов был еще в полном расцвете своего таланта, так же как и Салтыков, который тогда только и начал давать *меру* своего сатирического дарования и беспощадного обличения тогдашней русской жизни. Да и поэты: Полонский, Фет, Майков, Тютчев — еще не замолкли. Достоевский только что явился с такой вещью, как «Преступление и наказание».

Словесность, *изящная* литература, невзирая на цензуру, все-таки продолжала дело 60-х годов, и — повторяю — критика не была с нею на одном уровне.

После долгого закрытия университета молодежь вернулась в него еще в 1862 году. Но я не помню, чтобы она заявляла себя в двухлетний период 1863—1865 годов

чем-нибудь выдающимся. Не было «историй», но академическая жизнь вошла в другую колею, гораздо более тусклую. Университет разом лишился своих лучших профессоров еще в 1861 году* из-за столкновения с начальством: Кавелина, Костомарова, Спасовича, Утина, Пыпина, Стасюлевича; а профессор П. Павлов попал в ссылку за одно восклицание с эстрады: «Имеющие уши слышать — да слышат!»

С какой стороны ни взглянуть, предыдущий период, 1860—1863 годов, и в Петербурге и в Москве был гораздо ярче, живее, полнее новыми движениями и крупными фактами общественного и литературного характера.

А через год, с лета 1866 года, началась уже та длинная полоса реакции, которая разрешилась 1 марта 1881 года* и перекинулась через все царствование Александра III — до половины 90-х годов.

Мне остается, чтобы закончить эту главу, поговорить о своей *личной* жизни молодого человека и писателя, вне моего чисто издательского дела.

Но и это я обозрю здесь только в общем интересе, чтобы припомнить, какая жизнь за эти два сезона доставляла материал и частному лицу, члену общества, и профессиональному писателю.

Материал этот не был разнообразнее, чем в предыдущую полосу. Конечно, я узнал больше народа и должен был войти с ним в более жизненные сношения; но все это касалось главным образом (если не исключительно) моего журнала.

Вне его моя столичная жизнь сводилась к некоторым выездам в светские круги, к зрелищам, к тем знакомствам в литературном мире, которые интересовали меня и помимо редакторско-издательских интересов и забот.

Но в моей интимной жизни произошло нечто довольно крупное. Та юношеская влюбленность, которая должна была завершиться браком, не привела к нему. Летом 1864 года мы с той, очень еще молодой девушкой, возвратили друг другу свободу. И моя эмоциональная жизнь стала беднее. Одиночество скрашивалось кое-какими встречами с женщинами, которые могли бы заинтересовать меня и сильнее, но ни к какой серьезной связи эти встречи не повели.



А. Н. Островский в роли Подхалюзина в пьесе «Свои люди — сочтемся!», поставленной группой любителей в 1863 году в Петербурге.

Тогда в Петербурге процветали маскарады. На них ездил весь город, не исключая и двора. Всего бойчее считались те, которые бывали в Большом театре и в Купеческом клубе, где теперь «Учетно-ссудный банк». Тогда можно было целую зиму вести «интригу» с какой-нибудь маской, без всяких чувственных замыслов, без ужинов в ресторанных кабинетах.

В театр я ездил и как простой слушатель и зритель, например в итальянскую оперу, и как рецензент; но мои сценические знакомства сократились, так как я ничего за этот период не ставил, и начальство стало на меня коситься с тех пор, как я сделался театральным рецензентом. Ф. А. Снеткова, исполнительница моей Верочки в «Ребенке», вскоре вышла замуж, покинула сцену и переселилась в Москву, где я всего один раз был у нее в гостях.

Дела по журналу и имению вызывали ежегодно поездки в Нижний. Но я не мог оставаться там подолгу, а в деревню незачем было ездить. До продажи земли там хозяйничал мой товарищ З — ч.

Когда мои денежные тиски по журналу стали лишать меня возможности работать — как беллетриста, я на шесть недель зимой в конце 1863 года уехал в Нижний и гостил там у сестры моей.

Там я запирался и диктовал первую часть моего нового романа «Земские силы» (не предвидя еще, что он останется неоконченным за прекращением журнала), по вечерам ездил в гости и в клуб, где присматривался к местному обществу.

Писал под мою диктовку местный семинарист из богословского класса, курьезный тип, от которого я много слышал рассказов о поповском быте. Проработав до вечерних часов, я отвозил его в семинарию, где отец ректор дал ему дозволение каждый день бывать у меня.

В Москву я попадал часто; но всякий раз не надолго. По своему личному *писательскому* делу (не редакторскому) я прожил в ней с неделю для постановки моей пьесы «Большие хоромы», переделанной мной из драмы «Старое зло» — одной из тех четырех вещей, какие я так стремительно написал в Дерпте, когда окончательно задумал сделаться профессиональным писателем.

Ее взяла в 1864 году Ек. Васильева для своего бенефиса. Пьеса имела средний успех. Труппа была та же,

что и в дни постановки «Однодворца», с присоединением первого сюжета на любовников — актера Вильде, из любителей, которого я знал еще по Нижнему, куда он явился из Петербурга франтоватым чиновником и женился на одной из дочерей местного барина — меломана Улыбышева.

Главную женскую роль, актрисы из дворовых, играла Колосова, ее отца-музыканта — Садовский. Васильева взяла себе эпизодическую роль, так же как и Федотова-Познякова.

Вильде играл соблазнителя и негодяя этой обличительной вещи из крепостной эпохи.

Драма и в переделке оказалась слишком эпизодичной. И после первого спектакля я нашел нужным переставить последние две картины, что тогдашний рецензент одной из петербургских газет нашел странным.

С московским писательским миром, в лице Островского и Писемского, я прикасался, но немного. Писемский задумал уже к этому времени перейти на службу в губернское правление советником, и даже по этому случаю стал ходить совсем бритый, как чиновник из николаевской эпохи. Я попадал к нему и в городе (он еще не был тогда домовладельцем), и на даче в Кунцеве.

В Москве с ним на первых порах очень носились, и он сделался опять большим театралом и даже имел роман в мире любительниц. Но вскоре стал находить, что в Москве скучно и совсем нет «умных людей».

Тогда еще не существовало «Артистического кружка», и интеллигенции негде было собираться, и Москва вообще в каждый мой приезд все больше и больше казалась мне огромным губернским городом.

Тогда же я видал и Плещеева, еще молодого, женатого на очень милой женщине, жившего в собственном небольшом доме, еще не пустившегося в мытарства литераторского необеспеченного существования, какое начал, овдовев, в Петербурге, куда перебрался позднее.

К моей личной жизни относится и мое собственное писательское развитие, и работа за эти два сезона 1863—1865 годов.

Редакторство и хозяйственные хлопоты и заботы должны были бы совсем отвлекать меня от писательского труда. Но этого не случилось. Напротив, журнал как бы побуждал меня очень много работать.

Вне беллетристики я писал с первых же месяцев своего издательства критические статьи, публицистические этюды, а потом театральные рецензии и очерки бытовой жизни («Нижний во время ярмарки») и многое другое.

Необходимо было и продолжать роман «В путь-дорогу». Он занял еще два целых года, 1863 и 1864, по *две* книги на год, то есть по двадцати печатных листов ежегодно. Пришлось для выигрыша времени диктовать его и со второй половины 63-го года, и к концу 64-го. Такая быстрая работа возможна была потому, что материал весь сидел в моей голове и памяти: Казань и Дерпт с прибавкой романических эпизодов из студенческих годов героя.

К 1865 году (когда «Библиотека» уже висела на волоске) хорошего романа в портфеле редакции не было. И я уехал в Нижний писать «Земские силы». Их содержание из тогдашней провинциальной жизни показывало, что я достаточно в эти четыре года (1861—1864) видел людей и новых порядков.

Точно так же и петербургские зимы за тот же период сказались в содержании первого моего романа, написанного в Париже уже в 1867 году, «Жертва вечерняя». Он полон подробностей тогдашней светской и литературной жизни.

Но, как драматург (то есть по моей первой, по дебютам, специальности), я написал всего одну вещь из бытовой деревенской жизни: «В мире жить — мирское творить» *. Я ее напечатал у себя в журнале. Комитет не пропустил ее на императорские сцены, и она шла только в провинции, но я ее никогда сам на сцене не видал.

Таковы итоги этой полосы моей жизни, бурной не по внешним фактам, а по внутренней борьбе с успехом по тем ударам, которые закалили меня как писателя.

Без поездки за границу я бы не выдержал такого урока.

В конце сентября 1865 года, очутившись в Эйдкунене, в зале немецкого вокзала, я свободно вздохнул, хотя и тогда прекрасно знал, что моя трудовая доля, полная мытарств, будет продолжаться очень долго, если не всю жизнь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Необходимая оговорка. — «Исход» русских за границу с 60-х годов. — Отъезд из России. — Знакомство с Г. Н. Вырубовым. — Первое обаяние Парижа. — Женева. — Пьеса «Иван да Марья». — А. И. Герцен. — Жизнь в Латинском квартале. — Лекции. — Позитивная философия. — Свобода театров. — Оперетка. — Серьезный репертуар. — Уровень игры. — «Французская комедия». — Консерватория. — Декламация. — Старик Обер. — Литтре. — Драма «Скорбная братия». — Временное возвращение в Россию. — Москва конца 1866 года. — Роман «В чужом поле». — Париж 1867—1868 годов. — Франциск Сарсе. — Мой учитель Рикур. — Всемирная выставка. — Русский отдел. — Григорович. — Императорская чета. — Съезд венценосцев. — Выстрел Березовского. — Русские на выставке. — Первая поездка в Лондон. — Бенни. — Рольстон. — Нормандия. — Опять Париж. — Роман «Жертва вечерняя». — Гамбетта и тогдашняя оппозиция. — Министр Руэр. — Журнал Литтре и Вырубова «Philosophie Positive». — Моя статья о театре. — Дюма-сын. — Collège de France. — У Лабуле. — Сорбонна. — Ренан. — Тэн и его курсы. — Студенчество тех годов. — Пресса. — Эмиль де Жирарден. — Вильмессан, создатель «Фигаро». — Рошфор. — Лондонский сезон 1868 года. — Французские эмигранты: Луи Блан и Ледрю-Роллен. — Дж. Морлей. — Дж.-Ст. Милль. — Гер. Спенсер. — Джордж Элиот. — Льюис. — Фр. Гаррисон. — Парламент. — Дизраэли, Гладстон, Брайт. — Клубная жизнь. — Театры. — Фехтер. — Итоги Лондона

Кто не был так издерган за целый год издательского существования, как я, тот не поймет, чем явилась для меня хотя бы краткая поездка за границу, где я мог прийти в себя, одуматься, осмотреться, восстановить свои силы. А я — за вычетом первого возвращения в мае 1866 года (которое длилось с полгода) — провел «в чужих краях» более *пяти* лет, с сентября 1865 по январь 1871 года.

Начиная эту главу, я должен сейчас же оговориться. Итоги моих западноевропейских наблюдений и пережит-

ков вошли уже, в значительной доле, в целую книгу, которую я озаглавил «Столицы мира», написал еще в 1897 году и продал петербургской издательской фирме (Маркса). Она появилась в печати лишь в начале 1912 года — *не по моей вине*. В ней главное содержание составляют итоги за тридцать лет о двух «столицах мира» — Париже и Лондоне, с 1865 по 1895 год. Туда вошли и мои *личные* воспоминания. Туда занесены и мои встречи со всеми выдающимися иностранцами. Их наберется там, пожалуй, не меньше сотни.

Мне никак не хотелось бы, в *этих* чисто личных итогах *русского* писателя повторять и многое такое — из той книги, что́ было бы, однако, уместно привести и в этой главе. Но будут и здесь неизбежные дополнения.

Здесь я имел главным своим объектом мои испытания и наблюдения как *русского писателя*, все то, чем и заграничная жизнь могла действовать на каждого из моих «собратов», на каждого русского моего умственного развития и житейского опыта — до переселения «за рубеж». На таких чисто *русских* итогах я, главным образом, и буду останавливаться в этой главе. А картина западной жизни будет только служить фоном. В книгу «Столицы мира» я, главным образом, занес мои встречи и знакомства с западными выдающимися деятелями политики, литературы, искусства, общественного движения. Здесь же первенствующий интерес получат общие итоги и оценки моих пережитков, а выдающиеся иностранцы будут появляться лишь попутно, в прямой связи с теми новыми сферами жизни, идей и всяких духовных приобретений, через которые я проходил за целых пять лет житья на западе.

«За границу» кинулись к 60-м годам все, кто только мог. Рухнули николаевские порядки, когда паспорт стоил пятьсот рублей, да и с таким неслыханным побором вас могли — и очень! — не пустить.

Теперь это сделалось банально. А надо было в 40-х годах состоять русским «интеллигентом», как Герцен, Огарев, Тургенев и их друзья, чтобы восчувствовать, что такое значило: иметь в кармане заграничный паспорт. Герцен после своих мытарств не помнил себя от радости. Но он все-таки поехал без твердого намере-

ния сделаться изгнанником, скоротать свой век на чужбине. Так *вышло*, и должно было выйти, особенно после февральской революции, которая так напугала и озлобила николаевский режим.

Люди герценского поколения попадали за границу — вообще с бо̀льшей подготовкой, чем та масса, которая кинулась туда с 60-х годов. Конечно, в этой «массе» было уже гораздо больше чем прежде молодых людей, ехавших учиться с университетским дипломом, с более определенной программой дальнейших «штудий». Но сколько же тронулось тогда всякого *шляющегося* народа!

Выкупные свидетельства после 1861 года зудели в руках дворян-помещиков. Где же легче, быстрее и приятнее можно было их спустить, как не за границей, «дан летранжé» — как выражалась несравненная «дама Курдюкова». Та ездила по немецким курортам еще в 40-х годах, но, право, между нею и большинством наших соотечественников, бросившихся «à л'етранже» в 60-х годах, разница была малая — более количественная, чем качественная.

Тургенев в своем «Дыме» (значит, уже во второй половине 60-х годов) дал целую галерею русских из Баден-Бадена: и сановников, и генералов, и нигилистов, и заговорщиков, и «снобов» тогдашнего заигрыванья с наукой. На него тогда все рассердились, а ведь он ничего не выдумывал. Его винá заключалась лишь в том, что он не изобразил и тех, *более серьезных, толковых и работящих* русских, какие и тогда водились в заграничных городах, особенно в немецких университетских центрах.

Ниже я дам и свои итоги по этой части за целых пять лет и вперед говорю, что для тех городов, где я живал, они совсем не блистательны ни в количественном, ни в качественном смысле. А я ведь живал (и подолгу, до нескольких сезонов и годов) в таких центрах Европы, как Париж, Лондон, Берлин, Рим, Вена, Мадрид, не считая других крупных городов и центров западной науки.

Я упомянул сейчас о «Дыме» Тургенева. Его автор может (рядом и с Герценом) служить крупнейшим примером русского *западника*, который с юных лет стремился в Европу, там долго учился, там много писал в

самый решающий период его творчества, там остался на весь конец своей жизни не как эмигрант, не по политическим причинам, а по чисто личным мотивам. Но если б он и не примостился «к чужому гнезду» (как он сам любил выражаться), то и тогда бы он, более чем вероятно, прожил половину своей жизни за границей. Слишком уже *претили* ему русские порядки, не одни только государственные, но и общественные: и нравы и повадки коренной Руси — и сословно-барской, и чиновничьей, и разночинской, и крестьянской, и нигилистической!

Мне было не до того, чтобы отправляться за границу с определенной программой и на долгий срок. Я жаждал только отдохнуть, «найти самого себя», «сделать передышку» и размыслить, как окончательно ликвидировать свои матерьяльные дела.

Часть лета я провел в усадьбе отца и потом лечился на Липецких водах. Средств — даже и небольших — хотя бы и на короткую заграничную поездку у меня не было никаких. В Москве одна родственница (жена дяди, со стороны матери моей), старушка, жившая на свою ренту, *сама* предложила мне шестьсот рублей, тогдашними шестипроцентными билетами. Это был мой *первый* и единственный долг на *личную* надобность. Я его покрыл через несколько лет, уплачивая старушке ежегодные проценты и возвратил ей занятую сумму теми же процентными бумагами.

На характер моего первого пребывания за границей значительно повлияло знакомство, совершенно случайное, сделанное мною в Липецке, с двумя молодыми русскими — москвичами. Это были Г. Н. Вырубов (впоследствии издатель в Париже журнала «Philosophie Positive») и его приятель магистрант ботаники, А. Н. П[етунни]ков, еще недавно здравствовавший, как член Московской городской управы. Вырубов тогда собирался защищать диссертацию по минералогии. Он был из петербургских лицеистов, где перед тем кончил курс; но по родству — москвич, из дворянского старого общества, а как помещик — тамбовец. Он разъезжал по губернии с научной целью и остановился в Липецке на несколько дней.

Оба эти москвича меня очень заинтересовали. И когда я им назвал себя, они оказались зрителями «Однодворца» и «Ребенка» и были на дебютах Позняковой. Это сейчас же придало нашей встрече более теплый и молодой оттенок. Тогда я уже мечтал, хотя и очень смутно, о заграничной поездке. Когда я сказал им, что, «может быть», в конце сентября попаду туда, они мне сообщили, что едут оба из Москвы прямо в Париж, где и останутся весь сезон. П[етунни]ков отправлялся за границу в первый раз, а Вырубов был уже жителем Парижа, много там учился, сошелся с Литтре — тогдашним самым выдающимся последователем Огюста Конта, и думал совсем там основаться.

Перспектива — для меня — была самая заманчивая. Во мне опять воскрес «научник», и сближение с таким молодым сторонником *научно*-философской доктрины (которую я до того специально не изучал) было совершенно в моих нотах. Мы тут же сговорились: если я улажу свою поездку — ехать в одно время и даже поселиться в Париже в одном месте. Так это и вышло в конце сентября 1865 года, по *русскому* стилю.

Пикантна маленькая подробность, пришедшая мне сейчас на память, о которой я не упоминал в главе, где были рассказаны мои столичные сезоны до «Библиотеки для чтения». Тогда я совсем было собрался ехать за границу, выправил себе паспорт (стоивший уже всего пять рублей) и приготовил целую тысячу рублей, на что (по тогдашним заграничным ценам и при тогдашнем русском курсе) можно было прожить несколько месяцев. Но какие-то случайности и соображения (во всяком случае, не очень серьезные) задержали меня на некоторое время. Тот приятель, с которым я жил в одной квартире, попросил у меня эту сумму — для своего отца. Я не мог отказать, и тысяча рублей исчезла из моего бумажника, и я ее получил обратно уже гораздо позднее. Так я и не попал тогда за границу.

А тут вот, в самых крутых обстоятельствах, нашлась добрая душа, которая сама предложила мне, правда очень скромную, сумму. Но я решил жить на самые малые деньги, и всего несколько месяцев, так чтобы к весне вернуться домой, для окончательной ликвидации моего издательского дела.

Опытный парижанин Вырубов уверял меня, что в Париже, устроившись в Латинском квартале, я могу жить очень сносно на каких-нибудь двести пятьдесят франков; а это составляло только около семидесяти рублей по тогдашнему курсу. Меня совсем не пугал такой бюджет. Я с полной решимостью и даже с внутренним удовольствием переходил с ежегодного расхода тысячи в четыре рублей на расходы в каких-нибудь восемьсот рублей, а может быть, и меньше.

Определенного, хотя бы и маленького, заработка я себе не обеспечил никакой постоянной работой в журналах и газетах. Редакторство «Библиотеки» поставило меня в двойственный свет в тогдашних более радикальных кружках, и мне трудно было рассчитывать на помещение статей или даже беллетристики в радикальных органах. Да вдобавок тогда на журналы пошло гонение; а с газетным миром у меня не было еще тогда никаких личных связей.

После Берлина, где я сейчас же встретил каких-то кутильных петербуржцев, мы с П[етунни]ковым поехали вместе в Париж, а Вырубов должен был завернуть в Ганновер, где его товарищ по лицею служил секретарем миссии. (Ганновер был тогда еще самостоятельным королевством * до австро-прусской войны.) И вот мы — в Париже, как в темном лесу. Но это нас не смутило. Запасшись планом и кратким гидом, мы в первый день с раннего утра до поздней ночи пешком и на империалах омнибусов «вкушали» столицу мира. И, возвращаясь домой в Латинский квартал, никак не могли найти нашего отельчика, долго блуждали вокруг да около и должны были обратиться к полицейскому сержанту. А этот дешевый отельчик (рекомендованный нам Вырубовым) стоит и теперь в совершенно том же виде на углу улицы Racine и бульвара St. Michel, главной артерии «Латинской страны».

В 1900 году во время последней парижской выставки я захотел произвести *анкету* насчет всех тех домов, где я жил в Латинском квартале в зиму 1865—1866 года, и нашел целыми и невредимыми *все*, за исключением того, где мы поселились на всю зиму с конца 1865 года. Он был тогда заново возведен и помещался в улице, которая теперь по-другому и называется. Это тотчас за

музеем «Cluny». Отель называется «Lincoln», а улица — Des Matturiens St. Jacques.

Трое суток беготни и езды по Парижу, проделанных нами с московским ботаником, были чем-то никогда и нигде не испытанным.

Париж в светлую осеннюю погоду, со всем своим историческим прошлым, с кипучей уличной жизнью, красивостью, грацией, тысячью оригинальных картинок, штрихов, деталей, оставлял позади все, что было пережито и в России, и по дороге до Франции. Потом, даже и с неослабевшим интересом и симпатией к Парижу, уже нельзя было воскресить *настроений* этих первых трех суток. Они были похожи на какое-то сладкое опьянение. И адская усталость ощущалась только тогда, когда мы еле живые поднимались в свои комнатки — очень высоко, раздевались и кидались в постель.

Париж сразу проникает вас чувством вашей *связи* со всей своей историей и с мировой культурой, которой вы у себя дома желали всегда служить. Он делает вас еще более «западником», чем вы были у себя дома. Надо быть не знаю каким закорузлым «русофилом» (на славянофильской подкладке или без оной), чтобы не испытать от Парижа таких именно настроений.

Но я знавал и славянофилов, и охранителей в нынешнем «истинно русском» духе, которые «пасовали» перед Парижем и, ругая все остальное в Европе (в особенности Лондон и Англию), делали всегда исключение для Парижа..

А с меня, точно по мановению какой-то благодетельной феи, в эти блаженные дни беганья по Парижу слетели все печальные и тревожные итоги моей петербургской «незадачи». Сейчас же явилось гораздо более молодое самочувствие. Любознательность, прелесть новизны, обилие впечатлений — и все высшего порядка — производили небывалый душевный подъем.

Не знаю, долго ли мы с П[етуннико]вым так наслаждались бы первым знакомством с Парижем, если б по приезде Вырубова не узнали (у него были знакомства в медицинском мире), что в Париж пожаловала незваная гостья — холера.

Я с детства был привычен к ожиданиям холеры и пережил несколько эпидемий; в Нижнем в 1853 году тотчас по поступлении в Казанский университет болел

даже слабой формой эпидемии, которую называли тогда «холериной».

Но в Париже холеры очень боялись. И мы через несколько дней решили переждать до ослабления эпидемии и куда-нибудь переехать. Самым подходящим найдена нами была Женева. Туда мы и отправились, жили там в одном недорогом отеле и пробыли добрых шесть недель, до обратного переезда в Париж.

В Женеву мы с П[етунни]ковым попадали впервые, но Вырубов уже хорошо знал Швейцарию, особенно Французскую.

Это женевское «сидение» не представляло собою ничего особенно интересного и нового. Погода скоро испортилась, дула холодная «бйза». Самый город довольно скоро приелся. Театр был плоховатый, с опереточным репертуаром. Теперешнего университета еще не существовало, а только «Академия», где по вечерам читались кое-какие публичные лекции. Мы вели очень тихую и, поневоле, однообразную жизнь. И я тотчас же почувствовал в себе опять драматурга и стал работать над бытовой пьесой, которую задумал еще в России. У меня была возможность поставить ее в бенефис Павла Васильева. Она называлась «Иван да Марья» *, из крестьянской жизни, с комическим лицом барина на постоялом дворе. Мне было то приятно, что я так скоро после петербургских мытарств мог отдаться писательскому труду, и связь с Россией, с родной литературой как бы делалась новым живительным элементом, не допускала хандры, которая, весьма вероятно, и подкралась бы.

Тогда (то есть в самом конце 1865 года) в Женеве уже поселился А. И. Герцен, но эмиграция (группировавшаяся около него) состояла больше из иностранцев. Молодая генерация русских изгнанников тогда еще не проживала в Женеве, и ее счеты с Герценом * относятся к позднейшей эпохе.

Вырубов не был до того знаком с Герценом. Он по приезде в Женеву послал ему свой перевод одной брошюры Литтре *. Завязалось знакомство. Герцен стал звать его к себе. Он там несколько раз обедал и передавал потом нам — мне и москвичу-ботанику — разговоры, какие происходили за этими трапезами, где А. И. поражал и его своим остроумием.

Из всех троих русских, попавших в Женеву из-за холеры, мне, как писателю и бывшему редактору журнала, всего *прямее* было бы познакомиться с издателем «Колокола», который тогда еще печатался, позднее — уже по-французски *. Но я не представлялся Герцену и так до нашего возвращения в Париж и не бывал у него. Наша встреча в отеле была случайная. Герцен зашел раз к Вырубову, в сумерки, и просидел с полчаса. Я даже не видал его, а только слышал из своего номера его голос. Он что-то говорил о Краевском и его газете.

Через пять почти лет, в Париже, я сошелся с Герценом и всю зиму 1869—1870 года, до его кончины, постоянно с ним видался, был вхож в его дом и проводил его в могилу. Обо всем этом я буду говорить дальше. А теперь отмечу здесь главный мотив: *почему* я тогда в Женеве как бы уклонялся от знакомства с ним?

Во мне не было и тогда никакого революционного настроения, как читатель этих воспоминаний уже знает. Но это одно не явилось бы достаточной причиной того, что я не искал знакомства с Герценом, «не представлялся» ему, даже не просил Вырубова свести нас у себя. Мне не хотелось являться только «на поклон» к *знаменитости*, так, как это делали до того десятки русских. Я не считал себя достаточно солидарным с направлением, которое публицистика Герцена, под влиянием Огарева и Бакунина, получила тогда. Искать же знакомства из-за тщеславных мотивов, из-за любопытства я считал банальным. Я ждал других времен и других мотивов знакомства и сближения, и судьба меня не обманула, хотя это и случилось слишком поздно.

Возвращение в Париж, в тот же Латинский квартал (где знакомый Вырубову француз приготовил нам несколько номеров в отеле «Линкольн»), опять сразу окунуло меня в такую жизнь, которая, положительно, сделалась для меня в своем роде «купелью паки бытия» *.

Я превратился как бы в студента, правда весьма «великовозрастного», так как мне тогда уже шел тридцатый год. Но нигде, ни в каком городе (не исключая и немецких университетских городов), я так скоро не стряхнул бы с себя того, что привез с собою после моих издательских мытарств.

Начать с того, что переход от обстановки и неизбежных расходов редактора-издателя с бюджетом не в одну тысячу рублей к «пайку́» французского студента, то есть к двумстам пятидесяти франкам в месяц, не вызывал ни малейшего чувства лишений и «умаления» жизни. Напротив! Мне стало житься необычайно легко. Небольшая, веселая комната в четвертом этаже (с платой сорок пять франков в месяц), пансион тут же, в отеле, в обществе приятных мне русских (за что хозяйка взимала сто франков), и сто франков на «лжерасходы» (faux feces), как называют французы, а они сводились к очень немногому.

Разумеется, я на этот ежемесячный бюджет не мог позволять себе каждый вечер удовольствий «по ту сторону Сены», то есть на больших бульварах, театров и разных других увеселений. Но я все-таки не был их лишен. Я в зиму 1865—1866 года видел много новых пьес, посещал концерты, даже публичные балы. А в Латинском квартале были свои зрелища: «Одеон», и маленький театр «Bobino» (теперь уже не существующий), и бал «Бюллье», тогда еще не утративший своего студенческого пошиба. Но главная привлекательность квартала была для меня доступность всяких *лекций*, и в Медицинской школе (куда я заглядывал по старой памяти), и в Сорбонне, и в École de droit [1], и в Collège de France — этом единственном в Европе *народном* университете, существу́ющем для слушателей с улицы, без всяких дозволений, билетов и без малейшей платы.

А тогда в Collège de France было несколько лекторов, придававших своим курсам большой интерес, в особенности публицист-писатель Лабуле, теперь забытый, а тогда очень популярный, имя которого гремело и за границей. Мы в «Библиотеке» давно уже перевели его политико-социальную сатиру «Париж в Америке» *. Он разбирал тогда «Дух законов» Монтескье, и его аудитория (самая большая во всем здании) всегда была полна.

В Collège de France и при Второй империи не только допускались всюду женщины, но дамам отводили даже лучшие места — на эстраде, вокруг кафедры.

Это постоянное посещение самых разнообразных лекций необыкновенно «замолаживало» меня и помогало

[1] юридическом факультете *(франц.)*.

наполнять все те пробелы в моем образовании, какие еще значились у меня. И тогда я, под влиянием бесед с Вырубовым, стал изучать курс «Положительной философии» Огюста Конта. Позитивное миропонимание давало как бы *заключительный аккорд* всей моей университетской выучке, всему тому, что я уже признавал самого ценного в выводах естествознания и вообще точных наук.

В Петербурге (особенно если б журнал пошел бойко и стал давать доход) я решительно не нашел бы досугов для такого дальнейшего «самообразования», другими словами для возведения целого здания своего мыслительного и социально-этического *credo*. Этим я, безусловно, обязан Парижу и жизни в «Латинской стране», и моя благодарность до сих пор жива во мне, хотя я с годами и сделался равнодушнее к Парижу, особенно в самые последние годы. Никогда, даже и в студенческое время, я не жил так молодо, содержательно, с такой хорошей смесью уединения, дум, чтений и впечатлений от «столицы мира», которыми я не злоупотреблял, почему все, что я видел «по ту сторону реки», делалось гораздо ярче и ценнее: начиная с хранилищ искусства и памятников архитектуры, кончая всякими зрелищами, серьезными или дурачливыми.

Париж второй половины 60-х годов был, без всякого сомнения, самым блестящим, даровитым и интересным городом за все царствование того «узурпатора», которого мы презирали и тогда от всего сердца.

Но бонапартовский режим тогда уже значительно поддался либеральным влияниям. В Палате действовала уже оппозиция. Правда, она состояла всего из маленькой кучки в семь-восемь человек, да и в ней не все были республиканцы (а самый знаменитый тогда оратор Беррье так прямо легитимист); но этого было достаточно, чтобы поддерживать в молодежи и в старых демократах дух свободы и позволять мечтать о лучших временах.

Прессу все еще держали в наморднике, с системой *предостережений* и фискальных мер; но все-таки либеральный «дух» давал себя чувствовать. Новые газеты нарождались. Уже Рошфор готовился к своей беспощадной кампании против бонапартизма *. В Латинском квартале появлялись брошюры «бунтарского» оттенка,

И сцена стала служить новым идеям, в серьезной драме и комедии ушла дальше скрибовских сюжетов, в сторону более смелого реализма, а шутка, смех, сатира и то, что французы называют «высвистыванием» (persiflage), получило небывалый успех в форме тогда только что народившейся *оперетки.*

Театры так оживились и потому, что Наполеон III декретом 1864 года (стало, всего за полтора года до моего приезда в Париж) уничтожил казенную привилегию и создал «свободу театров», то есть сделал то, что император Александр III у нас к 1882 году для обеих наших столиц. До тех пор, и при либеральной Июльской монархии, и при Февральской республике, и во все время Второй империи, с 1851 по 1864 год, на открытие какого бы то ни было зрелища необходима была *концессия,* особый правительственный патент, с определением условий и того рода зрелищ, какие театру разрешалось давать. Это вызывало ряд курьезов, любопытных для того, кто интересуется историей театров. Так, например, в пьесе Дюма-сына «Дама с камелиями», то есть в настоящей *драме,* в первом акте поют куплеты. Почему? Потому что пьеса дана была в театре «Водевиль», а по его концессии он мог давать только пьесы с *куплетами.*

До второй половины 60-х годов и такой род представлений, как оперетка, не получил бы такого развития, не имел бы в себе такого «духа». Дух этот проникнут был высмеиваньем разных общих мест по истории человечества, древней и новой культуры. Не имея еще возможности выводить на свежую воду господствовавший режим, остроумные и даровитые либреттисты — Мельяк и Галеви́, найдя себе такого высокоталантливого композитора, как Оффенбах, стали смеяться над чем можно. Прошли вереницей в течение нескольких лет и боги Греции, и гомеровский мир героев, и средневековый мир, и придворная солдатчина Европы в XVIII веке. И оперетка заставила всю Европу и Америку устремляться в Париж — смотреть «Орфея в аду» и все другие вещи, вышедшие из-под пера такого трио, как Мельяк, Галеви и Оффенбах.

Как раз к разгару успеха «Прекрасной Елены» мы и вернулись из Женевы. Эта прекрасная Елена — Шнейдер, кажется, еще жива? По крайней мере я не читал

нигде ее некролога. Ей должно теперь (в 1910 году) быть сильно за семьдесят. Она не гремела красотой. Голос был приятный — и только, но без всяких претензий и на вокальную красоту. Когда я впервые увидал ее в театре «Variétés» в декабре 1865 года, она при своем появлении показалась мне белокурой, уже полнеющей женщиной «на возрасте» — и только. Но она первая создала тот жанр, который тогдашние парижане определяли словами: «Le sublime du canaille». И в самом деле, это был «верх канальства», но умного, по-своему очень стильного, смесь жаргонного говора с полуциничными интонациями и своего рода искренностью во всех лирических местах.

Так уже никто и ни в какой стране Европы не играл и не пел, как эта бывшая палерояльская субретка. Все, даже знаменитые исполнительницы «Прекрасной Елены» (Гейстингер в Вене, у нас — Кронеберг) были или слишком торжественны, или пресно фривольны, без грации, без юмора, без тех гримасок, которыми Шнейдер так мастерски владела. Те, кто видал у нас Лядову (она умерла без меня, и я ее помню только как танцовщицу), говорили, что у нее было что-то по-своему «шнейдеровское».

Режим Наполеона III, одобрительно относясь к оперетке, не понимал, что она являлась «знамением времени». Этот сценический «persiflage» перешел и в прессу и через два года породил уже такой ряд жестоких памфлетов, как «Lanterne»[1] Рошфора и целый ряд других попыток в таком же роде.

И вся дальнейшая оперетка за целых сорок лет уже никогда не имела «афинской соли» оффенбаховской эпохи.

Но не одна оперетка царила тогда в Париже и не один канкан, хоть он и процветал везде на публичных балах — от студенческой «Closerie des Lilas» до интернационального «Мабиля». Театр, в более реальной и смелой комедии, давал импульс всей тогдашней западной драматургии. Только разве наш русский театр стоял особо в своем бытовом репертуаре Островского и его сверстников. Но и у нас влияние мотивов парижской драматургии и, главное, тона и постройки пьес точно так же чувствовались. А немцы, англичане, итальянцы — так те прямо обворовывали Париж.

---

[1] «Фонарь» *(франц.)*.

Такие писатели, как Александр Дюма-сын — в полном расцвете таланта — двигали комедию самостоятельно и, по тогдашнему времени, очень смело. Такая, например, вещь, как его «Полусвет», на огромное расстояние отстояла от слащаво-буржуазного склада скрибовского театра. И Сарду, тогда уже вошедший в славу, хоть и был более сценический мастер, чем глубокий наблюдатель нравов и психики его соотечественников, все-таки давал каждый сезон остроумные, меткие картины нравов. И вот на самый громкий успех его комедии «La Famille Benoiton»[1] я попал в сезон 1865—1866 года в тогдашнем (вскоре разрушенном) старом «Водевиле». Пьеса шла круглый год. Ее комические лица и смелое высмеивание культа моды, шика и *делячества* в прекрасном исполнении труппы представляли собою вполне литературное, интересное зрелище. И в жанровом театре «Gymnase» шла другая пьеса Сарду «Le Vieux garçons»[2] с таким же почти, как ныне выражаются, «фурорным» успехом.

На всех четырех-пяти лучших театрах Парижа (а всех их и тогда уже было более двух десятков) играли превосходные актеры и актрисы в разных родах. Теперь все они — уже покойники. Но кто из моих сверстников еще помнит таких артистов и артисток, как Лафон, старик Буффе, Арналь, Феликс, Жоффруа, Брассер, Леритье, Иасент, Фаргейль, Тьерре и целый десяток молодых актрис и актеров, тот подтвердит то, что тогда театральное дело стояло выше всего именно в Париже.

И особое место привилегированной, национальной (по-тогдашнему «императорской») сцены занимала Comédie Française, повитая славными традициями вековой славы. И самой твердой «традицией» была обязанность национального театра (получающего субсидию) играть *классический* репертуар — трагиков и комиков XVII и XVIII столетий: Корнеля, Расина, Вольтера, Мольера, Ренара, Бомарше. И это выполнялось весьма строго. То же обязательство лежало и на втором французском театре — на «Одеоне». Но он тогда никакими талантами не выделялся.

---

[1] «Семья Бенуатон» *(франц.)*.
[2] «Старые холостяки» *(франц.)*.

В тогдашней «Французской комедии» для *трагического* репертуара не было сильных дарований ни в мужском, ни в женском персонале. Мунэ-Сюлли дебютировал позднее. Из женщин никто не поднимался выше приличных «полезностей». Но ансамбль *комедии,* в особенности мольеровской, был в полном смысле блестящий, такой, какого уже не было впоследствии ни в одно десятилетие, вплоть до настоящей минуты.

Имена таких актеров и актрис, как Ренье, Брессан, Делоне, сестры Броган, Виктория Лафонтен, принадлежат истории театра. С ними ушли и та манера игры, тон, дикция, жестикуляция, какие уже нельзя (а может, и не нужно?) восстановлять. В тот же сезон (или одной зимой раньше) дебютировал и Коклен, любимый ученик Ренье, и сразу занял выдающееся место. Я тогда уже видал его в такой роли, как Фигаро в «Mariage de Figaro» [1], и в мольеровских типах.

И что было для каждого из нас, иностранцев с маленькими средствами, особенно приятно — это тогдашняя умеренность цен. За кресло, которое теперь в любом бульварном театре стоит уже десять — двенадцать франков, мы платили пять, так же как и в креслах партера «Французской комедии», а пять франков по тогдашнему курсу не составляло даже и полутора рублей. Вот почему и мне с моим ежемесячным расходом в двести пятьдесят франков можно было посещать все лучшие театры, не производя бреши в моем бюджете.

И бульварные сцены по преимуществу, то есть театр мелодрам, могли, и очень, интересовать. Я всегда любил хорошую мелодраму и до сих пор того мнения, что для народной массы такие зрелища весьма пригодны. Они вызывают в наивных зрителях целую гамму великодушных чувств. Разумеется, их форма была устарелой даже и тогда, во второй половине 60-х годов; но в них надо было (да и теперь следует) различать две стороны: условный, подвинченный язык в героических местах действия, и *бытовую* сторону — часто с настоящими реальными чертами парижской жизни и с удачными типами.

Не нужно забывать и того, что на таких театрах, как «Porte St. Martin» и «Ambigu», развился и исторический театр с эпохи В. Гюго и А. Дюма-отца. Все эти истори-

---

[1] «Женитьбе Фигаро» (*франц.*).

ческие представления — конечно, не высокого образца в художественном смысле; но они давали бойкие и яркие картины крупнейших моментов новой французской истории. В скольких пьесах Дюма-отца и его сверстников (вплоть до конца 60-х годов) великая революция являлась главной всепоглощающей темой.

В Бонапартово время, даже и к концу Второй империи, такие пьесы привлекали не одних мелких лавочников из того квартала Парижа, который давно прозван «Бульваром преступлений» (Boulevard du crime). Все главные фигуры той эпохи перебывали на подмостках: Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Дантон, Робеспьер, Марат, Камилл Демулен, Сен-Жюст, Бонапарт и все тогдашние полководцы-герои, вроде Марсо и Гоша. Тут звучала не одна узкопатриотическая жилка, а вспоминались дни великих событий и всемирной славы того города, откуда пошло в Европу великое освободительное движение.

Да и мелодрамы из современной жизни далеко не все были проникнуты буржуазной моралью. Еще наш Герцен перед самой февральской революцией с великим сочувствием разбирал в своих письмах из Парижа (появлявшихся в «Современнике») такие мелодрамы, как «Парижский ветошник» * тогдашнего республиканца и социалиста Феликса Пиа, впоследствии заговорщика и изгнанника. В таких пьесах заложены были и «разрывные» идеи. Во Вторую империю им уже не было такого свободного доступа на подмостки, но мелодрама продолжала, удерживая свой подвинченно-сентиментальный строй, давать бытовые картинки из разных углов и подполий парижской бедноты с прибавкою интересной уголовщины.

На сценах «Porte St. Martin» и «Ambigu» нам удалось захватить еще игру ветеранов романтической эпохи, таких актеров, как знаменитый когда-то Мелэнг и «великий» (так его называют и до сих пор) Фредерик Леметр, или просто «Фредерик» — как французы говорят всегда «Сара»; а не «Сара *Бернар*».

Мелэнг (Melingue) оставался долгие годы героем пьес «de cape et d'épée» [1] — драм из истории Франции, особенно эпохи Возрождения и XVII века. Главным

---

[1] плаща и шпаги *(франц.)*.

поставщиком таких спектаклей был Дюма-отец. И вот, в одной из его прославленных драм «La Tour de Nesle» («Нельская башня») мне еще привелось видеть Мелэнга, тогда уже старого, в роли героя. Для меня, тогда так любившего театр и его историю, такие спектакли являлись чистым кладом. В них вы воочию видели и чувствовали целую эпоху: дух репертуара, манеру исполнения, дикцию, костюмировку, декоративную «mise en scène» — все.

Фредерика Леметра мне привелось видеть несколько позднее. Он уже сошел со сцены за старостью, но решился для последнего прощания с публикой исполнить ряд своих «коронных» ролей. И я его видел в «Тридцать лет, или Жизнь игрока» * — мелодраме, где у нас Каратыгин и Мочалов восхищали и трогали наших отцов.

Было немного жутко смотреть на него в первом акте; в конце он еще потрясал, хотя и говорил со старческим шамканьем. Но вы опять-таки воспринимали уже исчезнувший пошиб игры и понимали, *чем* «Фредерик» трогал и поражал залу 40-х годов. В нем тогда, быть может впервые, явился настоящий реалист мелодрамы. Вам становились понятны восторженные оценки всех лучших знатоков театра той эпохи. Но он остался и старцем с этой основой реалистического трагизма. Для его прощаний с публикой написана была и новая драма, где он, и по пьесе старик, пораженный ударом судьбы, сходит мгновенно с ума и начинает, в припадке безумия, танцевать по комнате со стулом в руках.

Другой обломок той же романтической полосы театра, но в более литературном репертуаре, Лаферрьер, еще поражал своей изумительной моложавостью, явившись для прощальных своих спектаклей в роли дюмасовского «Антони» *, молодого героя, которую он создал за тридцать лет перед тем. Напомню, что этот Лаферрьер играл у нас на Михайловском театре, в николаевское время.

С годами, конечно, парижские театры драмы приелись, но я и теперь иногда люблю попасть на утренний спектакль в «Ambigu», когда удешевленные цены делают театральную залу еще более демократичной. А тогда, в зиму 1865—1866 года, эта публика была гораздо характернее. Теперь и она стала более чинной и мещански-чопорной.

Тогдашний партер, и ложи, и галереи в антрактах — гудели от разговоров, смеха и возгласов. Продавцы сластей и газет выкрикивали свой товар. В воздухе носились струи запаха апельсин. Гарсоны театральных кафе, пронизывая общий гул, выкрикивали: «Orgeat, limonade, bière!..»[1] Тогда соседи непременно заговаривали с вами *первые*; а теперь — никогда. Да и отделка зал, дорогие, сравнительно с прежними цены, — все это сделало и «Бульвар преступлений» совсем другим. Тогда сверху то и дело слетали негодующие возгласы зрителей, возмущенных преступностью и коварством главного злодея: «Canaille! Assassin! Gredin!»[2] А когда, в заключительной сцене, невинность пьесы спасалась от ков этого злодея и герой произносил: «Sauvée! Merci, mon Dieu!»[3] — весь театр плакал чуть не навзрыд.

Многим сторонам жизни Парижа и я не мог еще тогда отдаться с одинаковым интересом. Меня тогда еще слишком сильно привлекал театр. А в следующем году я производил экскурсии в разные сценические сферы, начиная с преподавания театрального искусства в консерватории и у частных профессоров.

И в журнализм, в писательские сферы я еще не проникал. Не привлекала меня особенно и политическая жизнь, которая тогда сводилась только к Палате. Париж еще не волновался, не происходило еще ни публичных митингов, ни таких публичных чтений, где бы бился пульс оппозиции. Все это явилось позднее.

Мне хотелось прожить весь этот сезон, до мая, в воздухе философского мышления, научных и литературных идей, в посещении музеев, театров, в слушании лекций в Сорбонне и Collège de France. Для восстановления моего душевного *равновесия*, для того, чтобы почувствовать в себе опять *писателя*, а не журналиста, попавшего в тиски, и нужна была именно такая программа этого полугодия.

Через Вырубова я сошелся с кружком молодых французов, образовавших общество любителей естественных

---

[1] Оршад, лимонад, пиво! *(франц.)*
[2] Каналья! Убийца! Негодяй! *(франц.)*
[3] Спасена! Благодарю тебя, господь! *(франц.)*

наук. У нас были заседания, читались рефераты; с наступлением весны мы производили экскурсии в окрестностях Парижа — оживленные и веселые.

Русских тогда в Латинском квартале было еще очень мало, больше все медики и специалисты — магистранты. О настоящих политических «изгнанниках» что-то не было и слышно. Крупных имен — ни одного. Да и в легальных сферах из писателей никто тогда не жил в Париже. Тургенев, может быть, наезжал; но это была полоса его баденской жизни. Домом жил только Н. И. Тургенев — экс-декабрист; но ни у меня, ни у моих сожителей не было случая с ним видеться.

В России все казалось тихо и невозмутимо.

И вдруг — каракозовский выстрел!

О нем я узнал в нашем отеле, на лестнице, возвращаясь откуда-то. Мой сосед, француз-адвокат, очень умный и начитанный малый, который с нами и обедал за табльдотом, — остановил меня и сообщил:

— Стреляли в императора, в каком-то публичном саду!

Но я не могу сказать, чтобы это произвело тогда особую сенсацию. Скорее удивление. Никто на Западе еще не предвидел, что Россия вступит в период глухого политического брожения. Конечно, возмущались и тем, что «царь-освободитель» мог сделаться жертвой покушения.

Так как я уехал в Париж без всякой работы в газете или журнале как корреспондент, то я и не должен был бегать по редакциям, отыскивать интересные сюжеты для писем. И, повторяю, это было чрезвычайно выгодно для моего самообразования и накопления сил для дальнейшей писательской дороги.

Пришла весна, и Люксембургский сад (тогда он не был урезан, как впоследствии) сделался на целые дни местом моих уединенных чтений. Там одолевал я и все шесть томов «Системы позитивной философии», и прочел еще много книг по истории литературы, философии и литературной критике. Никогда в моей жизни весна — под деревьями, под веселым солнцем — не протекала так по-студенчески, в такой гармонии всех моих духовных запросов.

Париж я полюбил. Он тогда не был так шумен и громаден, как теперь, но милее, наряднее, гораздо *чище*,

с некоторым аристократическим пошибом. И то, что тогда мыслило и чувствовало с более серьезными запросами, надеялось на лучшие времена. Было в воздухе нечто, что потом, при Третьей республике, утратилось, когда настало царство довольной массы, более грубой погони за деньгами, тщеславием и чувственными утехами.

Хоть тогда и царствовал «Наполеонтий», как мы презрительно называли его, но все-таки и тогда из Парижа шло дуновение освободительных идей. Если у себя дома Бонапартов режим все еще давал себя знать, то во внешней политике Наполеон III был защитник угнетенных национальностей — итальянцев и поляков *. Италия только что свергнула с себя иго Австрии благодаря французскому вмешательству. Итальянская кампания довершила то, что начал легендарный герой Италии — Гарибальди.

Поляки начали эмигрировать в Париж, после восстания 1863 года. Да и прежде, после революции 1831 года, они удалялись сюда же. Здесь, в отеле «Ламбер» жил при нас и их «круль», то есть князь Чарторыйский. У них был в Париже особый патриотический фонд, и правительство Наполеона III давало им субсидию. Существовал уже и их «Коллегий св. Станислава».

В последнее восстание они мечтали о вмешательстве Наполеона III. И вообще у них был культ «наполеоновской идеи». Они все еще верили, что «крулевство» *будет* восстановлено племянником того героя, под знаменем которого они когда-то дрались в Испании, в Германии, в России в 1812 году *.

После Парижского мира во всей Западной Европе (а тем паче в Париже) держалась легенда о том, что от России было *потребовано* освобождение крепостных. Если это и вздор, то она прямо показывает, что Наполеона III считали способным на такую роль. Хоть он в глазах демократов и даже умеренных либералов и считался «злодеем», изменнически нарушившим свою присягу конституции *, как президент республики, но у него самого были (как выразился при мне старик Литтре) «des préjugés libéraux» — «либеральные предрассудки». И даже больше: он всегда имел склонность к социализму и еще до своего заключения в крепость Гам выпустил в свет брошюру: * «De l'extinction du paupe-

risme»[1] и даже просил правительство Луи-Филиппа дозволить ему в крепости свидание с тогдашним вожаком французских социалистов Луи Бланом. Когда я дойду до знакомства моего с Луи Бланом (в Лондоне в 1868 году), я приведу и его мнение о тогдашнем гамском узнике, сделавшемся императором после переворота 2-го декабря.

В Париже и после тогдашнего *якобы* либерального Петербурга жилось, в общем, очень легко. Мы, иностранцы, и в Латинском квартале не замечали никакого надзора. По отелям и меблировкам ходили каждую неделю «инспекторы» полиции записывать имена постояльцев; но паспорта ни у кого не спрашивали, никогда ни одного из нас не позвали к полицейскому комиссару, никогда мы не замечали, что нас выслеживают. Ничего подобного!

И французам жилось куда вольнее, чем жителям Петербурга и Москвы. На улице, в кафе, в театре, на публичном балу вы себя чувствовали совсем легко, и вот эта-то легкость жизни в публике и составляла главную прелесть Парижа.

Да и над литературой и прессой не было такого гнета, как у нас. Предварительной цензуры уже не осталось, кроме театральной. Система *предостережений* — это правда! — держала газеты на узде; но при мне в течение целого полугодия не был остановлен ни один орган ежедневной прессы. О штрафах (особенно таких, какие налагаются у нас теперь) не имели и понятия.

Привлекательность Парижа заключалась и в том, что вы видели всюду картины довольства, во всех слоях общества, в бедном люде, в рабочих, в ремесленниках. Все это пользовалось жизнью гораздо легче, веселее, чем у нас, имело более крупный заработок, тратило гораздо меньше, чем у нас в обеих столицах. Тогда действительно было *дешево* жить в Париже, даже и не по сравнению с нашей дороговизной. Хорошенькая годовая квартира стоила каких-нибудь пятьсот франков в год, даже и дешевле. В Латинском квартале бедные студенты находили обеды (с вином!) за франк и даже за девяносто сантимов. Существовали уже и «бульонные заведения» с маленькими ценами на все — на тридцать и более про-

---

[1] «Об искоренении нищеты» *(франц.)*.

центов дешевле теперешних цен в таких же «Établissements du bouillon». Стакан красного вина в кабачке стоил десять — пятнадцать сантимов. В маленьких crèmeries[1] бедная молодежь находила все, что ей нужно: молоко, кофе, бульон, бифштекс, жареный картофель — по самым микроскопическим ценам.

Вы видели вокруг себя, что, несмотря на водворение империи, вы живете в *демократическом* государстве, где и трудовой люд не чувствует себя отверженными париями и где, кроме того, значилось и тогда до семи миллионов крестьян-собственников.

Моя «студенческая» жизнь в Латинском квартале за все эти полгода не нарушалась никакими неприятными инцидентами, текла мирно, разнообразно и с чрезвычайным подъемом всех душевных сил. Из Петербурга я получал деловые письма и знал вперед, что моему парижскому блаженному житию скоро настанет конец и надо будет вернуться домой — окончательно ликвидировать злосчастную *антрепризу* «Библиотеки для чтения».

А пока я сидел под тенистыми каштанами Люксембургского сада и впитывал в себя выводы положительной философии. Этот склад мышления вселял особенную бодрость духа. Все в природе и человеческом обществе делалось разумным и необходимым, проникнутым бесконечным развитием, той *эволюцией*, без которой потом в науке и мышлении нельзя уже было ступить ни единого шага.

А мудреца позитивизма я видел в старике Литтре, с которым меня еще тогда познакомил Вырубов, через год задумавший издавать вместе с ним журнал «Philosophie Positive».

Литтре уже и тогда смотрел стариком; но без седины, с бритым морщинистым лицом старой женщины, малого роста, крепкий, широкий в плечах, когда-то считавшийся силачом. Он смахивал скорее на провинциального учителя или врача, всегда в черном длинноватом сюртуке, скромный, неловкий в манерах, совсем не красноречивый, часто молчаливый, с незвучным произношением отрывистой речи. Никто бы из иностранцев не

[1] закусочных *(франц.)*.

подумал, что перед ним парижанин. *Таких* я уже потом не встречал в Париже, ни в каких сферах — ни в прессе, ни среди поэтов и писателей, ни среди профессоров, адвокатов, медиков.

Жил он тогда около Люксембургского сада, в тесноватой квартире, с женой и дочерью, стареющей девицей. Мне уже было известно через Вырубова, что у этого *позитивиста*, переводчика книги Штрауса об Иисусе Христе, жена и дочь — ярые клерикалки. Но у мудрецов всегда так бывает. И у Сократа была жена Ксантиппа *. А эти по крайней мере не ссорились с ним и оберегали его спокойствие и материальное довольство. Но и требовательность его была самая философская. Он работал целыми днями в крошечном кабинете, и тут же, на маленьком столике, ему ставили завтрак, состоявший из самой скудной пищи. Работоспособность в этом уже 60-летнем старике была изумительная. Он мог без устали, изо дня в день работать до шестнадцати часов и никуда не ходил, кроме заседаний «Института» *, где был уже членом по разряду «Inscriptions et belles-lettres» [1] (и где его приятелем был Ренан), и визитов к вдове Огюста Конта — престарелой и больной; к ней и наш Вырубов являлся на поклон и, как я позднее узнал, поддерживал ее матерьяльно.

Литтре, при научно-философском свободомыслии, не был равнодушен к общественным и политическим вопросам. В нем сидел даже немножко инсургент революции 1848 года, когда он с ружьем участвовал в схватке с войсками и муниципальной стражей.

Предметом его ненависти оставался Наполеон III. И эту нелюбовь к Бонапартову режиму распространял он и на великого главу династии. Это был род его «пунктика». Он не только оценивал «корсиканца» как хищного себялюбца с манией величия, но отрицал и его военный гений. По этой части они могли бы подать друг другу руку с Л. Толстым, который как раз в эти годы писал «Войну и мир». Необычайных административных способностей он не отрицал у Наполеона I; а только его военный гений. Литтре молодым человеком состоял секретарем у одного из бывших министров Бонапарта. И тот рассказывал ему постоянно, какой изумительный

---

[1] Надписей и литературы *(франц.)*.

работник был император и как был одарен для всего, что входит в машину управления.

Судьбе угодно было побаловать Литтре свержением наполеоновской династии 4-го сентября 1870 года. Он попал даже и в депутаты.

Но писатель снова заговорил во мне. И опять в драматическую форму вылились оба моих замысла, комедия «Иван да Марья» и драма «Скорбная братия».

Я писал их в часы отдыха от чтений и экскурсий по Парижу. Ни та, ни другая вещь не появились даже в печати. «Иван да Марья» была дана в следующий сезон (как я уже упоминал) в мое отсутствие на Александринском театре — и без всякого успеха. А драма «Скорбная братия» была скорее повесть в диалогах на тему злосчастной судьбы «братьев писателей». В герое я представлял себе бедного Помяловского, безвременно погибшего от роковой страсти к «зелену вину». Рукопись этой вещи у меня зачитал один бывший московский студент, и я не знаю, сохранилась ли черновая в моих бумагах, хранящихся в складе в Петербурге.

Писал я ее под конец моего житья в Париже. И когда кончил, то пригласил Вырубова и П[етуннико]ва, моих сожителей, в ресторан Пале-Рояля, в отдельный кабинет, и там до поздних часов ночи читал им драму. Она им очень понравилась. Но я и тогда не мечтал ставить ее.

В мае по письмам из Петербурга выходило так, что следует ускорить ликвидацию. Мне сделалось самому жутко заживаться за границей, когда надо идти на все те, хотя бы и очень тяжкие, последствия, которые ликвидация могла повести за собою.

Меня начало усиленно тянуть в Россию. Последние деньги, какие у меня еще оставались, я расчел так, чтобы успеть доехать до Петербурга, заехав на два дня в Гейдельберг, где тогда жило семейство той девушки, с которой я мечтал еще так недавно обвенчаться.

Жаль мне было Парижа, почти до слез жаль. Помню, как последний вечер я до поздней ночи бродил по улицам и бульварам, усталый, очутился около церкви Мадлены, сел на скамью и глубоко загрустил. Но ехать было *надо*. И я поехал.

Мои кредиторы тем временем не дремали. Тотчас по приезде я испытал даже некоторое предвкушение долговой тюрьмы, потому что на полсуток должен был высидеть в канцелярии какой-то части.

Все полгода, с мая по конец декабря, проведенные мною в Москве, я причисляю к моему первому парижскому периоду. О том, что я сделал для удовлетворения моих кредиторов, я уже рассказал в предыдущей главе, но писательская моя жизнь, сначала в Сокольниках, где я гостил в семействе кн. А. И. Урусова, потом в Москве, полна была Парижем, тамошними моими «пережитками». Летом и к началу зимы я приготовил к печати две вещи: одну по сценической критике, другую — роман «В чужом поле» *. И то и другое дано было исключительно моей парижской жизнью. В романе я создал лицо молодого русского, увлеченного Парижем, и жадного до всяких наслаждений, влюбчивого, самолюбивого и настолько богатого, чтобы вести более широкую роль «знатного иностранца». Фабула была мною сочинена, но подробности быта в «Латинской стране» и некоторые лица французов и француженок были выхвачены из реальной жизни. Большая статья точно так же заполнена была одним Парижем театров и озаглавлена «Мир успеха» *. Посвятил я ее памяти М. С. Щепкина. В этом роде у нас еще не появлялось тогда журнальных этюдов.

Сезон в Москве шел бойко. Но к новому году меня сильно потянуло опять в Париж. Я снесся с редакторами двух газет в Москве и Петербурге и заручился работой корреспондента. А газетам это было нужно. К апрелю 1867 года открывалась всемирная выставка, по счету *вторая.* И в конце русского декабря, в сильный мороз, я уже двигался к Эйдкунену и в начале иностранного января уже поселился на самом бульваре St. Michel, рассчитывая пожить в Париже возможно дольше.

Париж еще сильно притягивал меня. Из всех сторон его литературно-художественной жизни все еще больше остального — театр. И не просто *зрелища*, куда я мог теперь ходить чаще, чем в первый мой парижский сезон, а вся организация театра, его художественное хозяйство и преподавание. «Театральное искусство» в самом обширном смысле стало занимать меня, как никогда

еще. Мне хотелось выяснить и теоретически все его основы, прочесть все, что было писано о мимике, дикции, истории сценического дела.

Из Москвы я поехал даже с мечтой... быть может, самому подготовить себя к сцене. До того (хотя я еще в Дерпте считался очень выдающимся любителем) мне сколько-нибудь серьезно не приходила эта мысль.

Для поправления своего материального положения я мог бы выбрать тогда адвокатскую деятельность (к сему меня сильно склонял Урусов, только что поступивший в окружной суд), но я смотрел тогда (да и впоследствии) совсем не сочувственно на профессию адвоката. А она, конечно, дала бы мне в скором времени хороший заработок — я имел все данные и все права, чтобы сделаться «присяжным поверенным». Мечта о сцене была совершенно бескорыстна. Расчеты на выгодную карьеру в нее абсолютно не входили.

Половина зимы в Москве держала меня все-таки в воздухе сцены. Только что был открыт Художественный кружок *, который в зиму 1866—1867 года скромно помещался еще на Тверском бульваре. Там каждый почти вечер я находил писательское и актерское общество: Островский, Плещеев (с ним мы тут ближе и сошлись); все корифеи Малого театра: Садовский, Живокини, Самарин, Ек. Васильева, Косицкая, Вильде, который начал уже играть роль в дирекции. Там я на одном из вечеров прочел и свою пьесу «Иван да Марья». Но ставить я ее в Москве не собирался, да, кажется, она и не особенно понравилась артистам, которые слушали ее на том вечере.

Вероятно, воздух Малого театра, пахнув опять на меня, вызвал во мне более глубокую и искреннюю думу о нашем сценическом искусстве и нашем избранном репертуаре. Факт тот, что я взял с собою в Париж маленькую библиотеку, и лицо Чацкого захватывало меня так, как никогда раньше.

Я стал даже мечтать о комедии, которая бы через сорок с лишком лет была создана на такую же почти идею. Помню, что в Париже (вскоре после моего приезда) я набросал даже несколько монологов... *в стихах*, чего никогда не позволял себе. И я стал изучать заново две роли — Чацкого (хотя еще в 1863 году играл ее) и Хлестакова. Этого мало — я составлял коллекцию

костюмов для Чацкого по картинкам мод 20-х годов и очень сожалею, что она у меня затерялась.

Моя мечта о сцене, как новой художественной дороге, не осуществилась. Но интерес к театру, в самом обширном значении и содержании, не пропадал. А Париж, особенно тогда, представлял собою самое обширное поле для изучений всякого рода, начиная с вопроса о преподавании театрального искусства. И по этой части единственно во Франции было *национальное* учреждение, Консерватория не только «музыки», но и «декламации», *даровая* высшая школа, предоставленная всем, у кого окажутся способности к делу драматического артиста.

Я уже сказал, что приехал в Париж, заручившись и работой корреспондента. Первая газета, с которой я условился по этой части, была «Москва» (потом «Москвич») — орган Ивана Аксакова. Я в Москве поехал к нему и сговорился. Тогда я его и видел поближе и помню отчетливо его квартиру и тесноватый кабинетик, куда надо было (как это бывает в московских домах) спускаться вниз одну ступеньку. Раньше я его видал и слышал издали. Он меня принял ласково и согласился печатать письма и о парижской общей жизни, и о политике, литературе и выставке, когда она весной откроется.

А уже из Парижа я списался с редакцией газеты «Русский инвалид». Редактора я совсем не знал. Это был полковник генерального штаба Зыков, впоследствии заслуженный генерал. Тогда газета считалась весьма *либеральной*. Ее постоянными сотрудниками состояли уже оба «сиамских близнеца» тогдашнего радикализма(!) Суворин и Буренин как фельетонисты.

У Аксакова я подписывался буквами, а для «Инвалида» сочинил псевдоним «Авенир Миролюбов».

Так я обставил свой заработок в ожидании того, что буду писать, как беллетрист и автор более крупных журнальных статей. Но прямых связей с тогдашними петербургскими толстыми журналами у меня еще не было.

Поселился я опять в Латинском квартале, на самом Boulevard St. Michel — главной артерии «квартала школ», как парижане до сих пор зовут эту часть города.

Тогда из студенческих кафе одним из самых бойких был Café de la jeune France[1], и теперь еще существую-

---

[1] Кафе молодой Франции (*франц.*).

щий, хотя и в измененном виде. Верхний над ним этаж занимали меблированные комнаты, довольно чистенькие, содержимые «мадамой» с манерами и тоном светской женщины. Было это уже подороже того, что мы с москвичами платили в Hôtel Lincoln. Из них ботаник П[етунинико]в вернулся в Россию, а Вырубов совсем устроился в Париже, взял квартиру, отделал ее и стал поживать, как русский парижанин. Он продолжал свои работы по химии и минералогии, интересовался и медициной и расширял свое знакомство в научных сферах. Тогда уже он задумывал издавать с Литтре философский журнал. У него стали собираться позитивисты. А к следующему сезону он назначил дни — сколько помню, по четвергам — и через три года в один из них состоялось и мое *настоящее* знакомство с А. И. Герценом.

Программа моего парижского дня делалась гораздо разнообразнее, а стало быть, и пестрее. Я уже был корреспондент и обязан был следить за всякими выдающимися сторонами парижской жизни.

До открытия Всемирной выставки на Марсовом поле — в апреле — я имел достаточно досуга, чтобы отдаться моему специальному интересу к театру.

Познакомился я еще в предыдущий сезон с одним из старейших корифеев «Французской комедии» — Сансоном, представителем всех традиций «Дома Мольера». Он тогда уже сошел со сцены, но оставался еще преподавателем декламации в Консерватории. Я уже бывал у него в гостях, в одной из дальних местностей Парижа, в «Auteuil». Тогда он собирал к себе по вечерам своих учеников и бывших сослуживцев. У него я познакомился и с знаменитым актером Буффе, тогда уже отставным.

Для меня Сансон, вся его личность, тон, манера говорить и преподавать, воспоминания, мнения о сценическом искусстве были ходячей летописью *первой* европейской сцены. Он еще не был и тогда дряхлым старцем. Благообразный старик, еще с отчетливой, ясной дикцией и барскими манерами, живой собеседник, начитанный и, разумеется, очень славолюбивый и даже тщеславный, как все сценические «знаменитости», каких я знавал на своем веку, в разных странах Европы.

Сансон выпустил тогда в свет целую теорию сценического искусства в стихах, вроде «Эстетики» Буало.

Книга называется «L'art théâtral»[1]. В ней александрийским размером преподаются разные афоризмы и правила и приведены случаи и анекдоты из истории, главным образом «Французского театра». Но эта книга (в своем роде единственная в литературе педагогической драматургии) давала мне толчок к более серьезному знакомству с литературой предмета на разных языках. Тогда я стал собирать и выписывать книги теоретического характера, и мемуары знаменитых артистов, и специальные сочинения по разным отделам театрального искусства.

Как преподаватель в классе Консерватории, Сансон держался тона учителя «доброго старого времени», всем говорил «ты», даже и женщинам, покрикивал на них весьма бесцеремонно и частенько доводил до слез своих слушательниц.

Преподавание драматического искусства находилось при мне в руках четырех «сосьетеров»:[2] Сансон, Ренье, Брессан и посредственный актер Тальбо. Отдел этот составлял маленькое «государство в государстве». Главное начальство в лице директора, композитора Обера, ни во что не входило. Но я все-таки должен был явиться и к Оберу — попросить позволения посещать классы декламации, которое он мне сейчас же и дал.

Обер и в то время был уже старенький старичок, «в прошедшем веке запоздалый», употребляя стих Пушкина. Всякий принял бы его у нас за чиновника, состарившегося на департаментской службе: небольшого роста, худощавый, бритый, с седым старомодным хохлом и такими же «височками» и бакенбардами.

Принял он меня в салоне своей казенной квартиры в здании Консерватории, в зимнее пасмурное утро, очень рано. В салоне стоял старенький «фишель», покрытый суконным чехлом. На нем он сочинял, вероятно, свою «Немую из Портичи» и «Фра-Дьяволо». Но и тогда еще, во второй половине 60-х годов, он только что поставил новую оперу на театре Opéra Comique свою последнюю вещь. Она и названа им была «Le Premier jour de bonheur».[3] И главную роль он писал для хорошенькой пе-

---

[1] «Театральное искусство» *(франц.)*.
[2] постоянных членов труппы (от *франц.* sociétaire).
[3] «Первый день счастья» *(франц.)*.



Л.-М. Гамбетта

1880-е гг.

вицы, бывшей воспитанницы Консерватории и его любимицы — Marie-Rose. Парижская стоустая молва повторяла, что эта молоденькая и чрезвычайно красивая девица была его *возлюбленной!* Это — в возрасте-то сильно за семьдесят лет! Хоть бы впору олимпийцу Гете, который страстно влюбился на 75-м году и совсем было собрался жениться на девице Леветцов! *

Консерваторская выучка имела очень сильные пробелы в своей программе. Начать с того, что разучиванья целых пьес, то есть *создания ролей* на настоящих ученических спектаклях, вовсе не полагалось. В зале классов имелась, правда, сцена, и вся она была устроена в виде театра. Но на этой сцене никогда не давали спектаклей. Ученики и ученицы выходили на подмостки и исполняли отдельные места из трагедий и комедий «классического» репертуара — и только. Стало быть, ни гримировки, ни костюмов, ни создания ролей, ни ансамбля — ничего. То же продолжается, кажется, и теперь. Французы — чрезвычайные рутинеры во всем, что отзывается «традицией», и до сих пор пресса не поднимала протеста против такой рутинной системы обучения.

Тогда, то есть во второй половине 60-х годов, не было никаких *теоретических* предметов: ни по истории драматической литературы, ни по истории театра, ни по эстетике. Ходил только учитель «maintien» [1], из танцовщиков, да и то никто не учился танцам. Такое же отсутствие и по части вокальных упражнений, насколько они необходимы для *выработки* голоса и дикции.

Занимались исключительно *дикцией.* И до сих пор это — главная забота французских профессоров и всего французского сценического дела. В дикции, в уменье произносить стихи и прозу, в том, что немцы называют «Vortrag» [2], а русские неправильно «читкой» — альфа и омега французского искусства.

При традиционном, обязательном исполнении на двух национальных театрах («Французской комедии» и «Одеоне») классического репертуара выработка дикции делалась первенствующей заботой. Но слушатели и слушательницы Консерватории усваивали себе слишком условную манеру произносить стихи и прозу. Более реальная

---

[1] осанки *(франц.).*

[2] Точнее: Vortragsart — манера говорить *(нем.).*

манера говорить, разные оттенки светского и бытового разговора, совсем не преподавались, не говоря уже о том, что создание характеров и проведение роли через всю пьесу и ансамбль оставались в полном забросе, что, как слышно, продолжается и до сих пор.

Но в тех условиях, в какие преподавание было поставлено в Консерватории, все-таки в Париже оно велось, как нигде. Довольно было и того, что лучшие силы Comédie Française назначались из сосьетеров. И каждый из них представлял собою особый род игры, особое амплуа; следовательно, достигалось *разнообразие* приемов, дикции и мимики.

Сансон был valet[1] мольеровской комедии, перешедший потом на амплуа «благородных отцов». Но он и по трагедии считался хорошим преподавателем. Он был учитель Рашели, о которой он мне не мало рассказывал. В смысле «направления» он стоял за простоту, правду, точность и ясность дикции и был врагом всякого «романтического» преувеличения, почему и не очень высоко ставил манеру игры «Фредерика» (Леметра) и раз даже передразнил мне его жестикуляцию и его драматические возгласы.

Рядом с Сансоном действовали Ренье, Брессан и позднее — Огюстина Броган, одна из сестер, считавшихся и тогда «украшением» Французской комедии. Она была превосходная актриса для комедии — по-старинному «субретка».

Ренье, даровитейший актер для комического репертуара, считался таким же даровитым профессором. Он выпустил Коклена. Класс свой вел он живо, горячо, держался с учениками мягкого тона, давал много превосходных толкований и сам в лицах изображал то, что нуждалось в практическом примере.

Брессан, уже стареющий, но еще моложавый «первый любовник», давал своему классу благородный, светский тон с оттенком изящной дикции и опять-таки, в общем, тон простоты, без аффектации и ходульности.

Тогдашний обычай позволял ученикам и ученицам выбирать себе профессора и, ходя на уроки других преподавателей, держаться преподавания одного профессора. Меня свободно допускали в классы, и даже слу-

---

[1] слуга *(франц.)*.

жители каждый раз ставили мне кресло около столика, за которым сидели профессора.

Никаких лекций или даже просто бесед на общие темы театрального искусства никто из них не держал. Преподавание было исключительно практическое. Но при огромных пробелах программы — из Консерватории даже и те, кто получал при выходе первые награды (prix), могли выходить весьма невежественными по всему, чего не касалась драматическая литература и история театра или эстетика.

По этой части ученики École des beaux-arts (по-нашему Академии художеств) были поставлены в гораздо более выгодные условия. Им читал лекции по истории искусства Ипполит Тэн. На них я подробнее остановлюсь, когда дойду до зимы 1868—1869 года. Тогда я и лично познакомился с Тэном, отрекомендованный ему его товарищем — Франциском Сарсе. Тогда Сарсе считался и действительно был самым популярным и авторитетным театральным критиком.

В Париже и тогда драматическая критика играла первенствующую роль в газетной прессе. Иметь даровитого и авторитетного фельетониста по театральному отделу — считалось самой важной статьей. На сценических рецензиях составляли себе исключительно писательскую репутацию. Так случилось и с знаменитым когда-то Жюлем Жаненом, который тогда уже доживал свой век.

В те же годы, о которых я здесь вспоминаю, рядом с Сарсе действовали и другие бойкие и любимые рецензенты, вроде Лапомерэ, Поль де Сен-Виктор и других. Но все они привыкли писать больше *по поводу* пьес и спектаклей, чтобы нанизывать красивые фразы или развивать свои любимые темы. А Сарсе начал писать «по существу». Он был влюблен в театр, в сцену, в жизнь театральной публики и всегда *за* или *против* чего-нибудь ломал копья. Из тогдашних драматургов он стоял горой за Дюма-сына. Его пьесы, вроде «Demi-monde»[1] (а впоследствии «Les Idées de m-me Aubray»[2]) надо было еще защищать перед чопорной светской и буржуазной залой, а также и от нападок слишком

---

[1] «Полусвета» *(франц.)*.
[2] «Идей госпожи Обре» *(франц.)*.

узких моралистов из его тогдашних сверстников-рецензентов.

Тогда в газетах сохранялся прекрасный обычай — давать театральные фельетоны только *один раз в неделю.* Поэтому критика пьес и игры актеров не превращалась (как это делается теперь) в репортерские отметки, которые пишут накануне, после генеральной репетиции или в ту же ночь, в редакции, второпях и с одним желанием — поскорее что-нибудь сказать о последней новинке.

Сарсе так и умер (уже в конце века) верный своим еженедельникам в газете «Temps», где оставался бессменным фельетонистом.

К нему я обратился письмом, как к человеку всего более компетентному в театральном деле. Он принял меня очень радушно и сейчас же пригласил меня бывать на его понедельниках — ранние завтраки в половине двенадцатого, — куда являлись его приятели из литераторов, профессоров, актеров и актрис.

Сарсе был то, что парижане называют «un normalien», то есть бывший воспитанник «Высшей нормальной школы». Бульварные литераторы недолюбливали этих «нормальцев», считая их педантами. Но они были просто более знающие люди, с прекрасной подготовкой, какую дает воспитанникам «Высшая нормальная школа», откуда выходят преподаватели средних заведений и университетских факультетов. Но в том выпуске, к которому принадлежал Ф. Сарсе, оказалось несколько чрезвычайно одаренных молодых людей, и они променяли учительскую карьеру на писательскую. Однокурсниками его были Ип. Тэн, Прево-Парадоль, Эдмон Абу, Вейссе.

Сарсе прямо с учительской кафедры, да еще в провинции, попал в парижские рецензенты, и первое время ему стоило огромных усилий написать самую банальную фразу об игре такого-то актера или актрисы. Но он *полюбил* театр и сроднился с ним, как никто из его парижских сверстников.

Когда я к нему явился с просьбою ввести меня в театральный мир, он остановил меня игривым вопросом:

— А вы можете много проживать?

И сделал еще более игривый намек на закулисные нравы женского персонала. *Я искал совсем не этого.* Мое личное знакомство с актрисами не помешало мне в тече-

ние четырех сезонов изучить театральное дело в разных направлениях.

Сарсе тогда был здоровенный толстяк, брюнет, ужасно близорукий, веселый, шумный, без всякого внешнего distinction[1], любящий «la petite parole», то есть скоромные разговоры.

На завтраках у него я не видал тогдашних «тузов» репертуара и даже театральной критики. Кое-кто из романистов, несколько педагогов и журналистов, изредка актриса или крупный актер, вроде, например, Го, тогда уже в полном блеске своего таланта. Он был с ним на «ты».

Тон за этими понедельниками отличался крайней бесцеремонностью по части анекдотов и bons mots[2]. Мать его не присутствовала на них, а сидела в своей комнатке. Раз в присутствии известной актрисы «Одеона» Жанны Эслер, очень порядочной женщины, один романист, рассказывая скабрезный анекдот, стал употреблять такие цинические слова, что я, сидевший рядом с этой артисткой, решительно не знал, куда мне деваться.

Такой «моветонной» бесцеремонности я никогда не слыхал *у нас* даже и в пьяных писательских компаниях в присутствии женщин. Ничего подобного не видал и не слыхал впоследствии ни у немцев, ни у англичан, ни у испанцев, ни у итальянцев. Это происходило оттого, что «интеллигенция» была по рождению и домашнему быту весьма мало воспитана — в известном смысле. Да тогда и вообще скоромные разговоры были в ходу. Этим зашибались и наши литературные генералы 60-х годов; но — повторяю — не в присутствии женщин, занимающих на сцене известное положение.

Но все-таки эти сборища у Сарсе были мне полезны для дальнейшего моего знакомства с Парижем. У него же я познакомился и с человеком, которому судьба не дальше как через три года готовила роль ни больше ни меньше, как *диктатора* французской республики под конец франко-прусской войны. А тогда его знали только в кружках молодых литераторов и среди молодежи Латинского квартала. Он был еще безвестный адвокат и

---

[1] лоска *(франц.)*.
[2] острот *(франц.)*.

ходил в Палату простым *репортером* от газеты «Temps». Сарсе говорит мне раз:

— Тут есть очень умный и талантливый малый (garçon)... южанин, некто Леон Гамбетта. Он очень интересуется внутренними делами вашего отечества, и ему хотелось бы поговорить с вами, как с русским писателем. Я его приглашу в следующий понедельник... Хотите?

Я, конечно, согласился. И это был действительно Гамбетта — легендарный герой освободительного движения, что-то вроде французского Гарибальди, тем более что он попал даже в военные министры во время своего турского «сидения». О знакомстве с Гамбеттой (оно продолжалось до 80-х годов) я поговорю дальше; а теперь доскажу о моих драматических экскурсиях.

По части тогдашних «императорских» театров (то есть получавших государственную субсидию) я обратился было к Камиллу Дусе, чиновнику театрального «интендантства»; но от него я мало добился толку. Этот посредственный театральный писатель превратился совсем в «чинушку», давал мне уклончивые ответы и проговорился даже, что если б я имел письмо от какого-нибудь официального лица, тогда разговор со мною был бы другой. А я не хотел обращаться к нашему посольству. И за все свое долгое пребывание за границей я избегал наших «посольских», зная, как все посольства и консульства отличались *тогда* своей отчужденностью от всего русского и крайней неприветливостью. Обошелся я и без всего этого, особенно в изучении сценической педагогии.

После консерваторских классов напал я на самого выдающегося в ту пору частного преподавателя декламации, Ашилля Рикура, имевшего свой курс при ученической сцене в Rue de la Tour d'Auvergne, где как раз квартировал и Фр. Сарсе.

Рикур был крупный тип француза, сложившегося к эпохе февральской революции. Он начал свою карьеру специальностью живописца, был знаком с разными реформаторами 40-х годов (в том числе и с Фурье), выработал себе весьма радикальное *credo,* особенно в направлении антиклерикальных идей. Актером он никогда не бывал, а сделался прекрасным чтецом и декламатором реального направления, врагом всей той *рутины,* которая, по его мнению, царила и в «Comédie Française», и в Консерватории.

Меня привели к нему два студента-юриста, изучавшие дикцию в целях приобрести приемы судебного красноречия. Из них один и теперь еще мэр одного из округов Парижа, а другой умер вице-директором одного из департаментов министерства внутренних дел.

Рикур в то время представлял собою крупную фигуру старика с орлиным носом и значительным тембром низкого голоса, в неизменном длинном сюртуке и белом галстуке.

Курсы его бывали по нескольку раз в неделю, в фойе ученического театра, а кто хотел заниматься посерьезнее, тот брал у него и уроки на его квартире, в той же части города. Ходил к нему разный «сбродный» народ: молодые люди из Комедии или без всякого еще положения, девицы неизвестно какой профессии, в том числе и с замашками недорогих куртизанок. Почти всем им Рикур (как и Сансон) говорил «ты», но обращался все-таки менее бесцеремонно. С мужчинами (и в особенности со мною) тон его был благодушный и совсем не учительский. В общем, его аудитория была не такого уровня, на который могли бы претендовать преподаватели, как он.

Играть он почти и не учил, а только давал образцы прекрасного исполнения отдельных сцен и монологов из трагедий и комедий, а также и отдельных стихотворений.

Самое ценное для меня в его классах и на частных уроках и было исполнение им самим лучших отрывков французской драматической и лирической поэзии. Так произносить тирады из «Мизантропа», как он умел это делать, не слыхал я ни у кого, с тех пор, как знаком с французской сценой. Дикция у него была без всякой аффектации и без подчинения «традициям» французской комедии. Истинное наслаждение испытывал я и тогда, когда, бывало, у него на дому в конце моего урока я просил его продекламировать какую-нибудь вещь В. Гюго или Ламартина, или тогда мне мало известного поэта Эжезиппа Моро.

Рассказы и воспоминания Рикура сами по себе представляли для меня крупный интерес. В революции 1848 года он очутился в рядах самых ярых поборников не только политических, но и социальных реформ. Недаром он посещал даже лекции Фурье,

— Вот что надо было тогда сделать, — любил он повторять, — и что я говорил тогдашним вожакам движения: закрыть все церкви, положить предел всем этим mômeries[1]. Меня не слушались. И вот теперь опять мы en pleine calotte[2].

На курсах Рикура (где мне приводилось исполнять сцены с его слушательницами) испытал я впервые то, как совместная работа с женским полом притупляет в вас (а я был ведь еще молодой человек!) наклонность к ухаживанью, к эротическим замашкам. Все эти *девицы*, настоящие и поддельные, делались для вас просто «товарками», и не было никакой охоты выказывать им внимание, как особам другого пола. Только бы она хорошо «давала вам реплики» и не сбивала вас с тона неумелой игрой или фальшивой декламацией.

С Рикуром я долго водил знакомство и, сколько помню, посетил его и после войны и Коммуны. В моем романе «Солидные добродетели» (где впервые в нашей беллетристике является картина Парижа в конце 60-х годов) у меня есть фигура профессора декламации, в таком типе, каким был Рикур. *Точно такого* преподавателя я потом не встречал нигде: ни во Франции, ни в других странах, ни у нас.

Он сам хорошо сознавал, что не такую ему нужно аудиторию. Но надо было кормиться, и его курсы и уроки поддерживали его достаток. Он, бывало, говорит:

— Пускай правительство даст мне кафедру в Collège de France и содержание в десять тысяч франков! Тогда я сейчас же закрою мою «лавочку» (boîte).

И в Collège de France такая кафедра была открыта для престарелого Легуве! Но куда же ему было до Рикура!

Близилось открытие Всемирной выставки, по счету *второй*, в Париже. Она открылась, как обещано было, 1-го апреля, но на две трети еще стояла неготовой и незаполненной во всех отделах.

Я должен был приступить к своей роли обозревателя того, что этот всемирный базар вызовет в парижской

---

[1] притворствам *(франц.)*.
[2] в окружении попов *(франц.)*.

жизни. Но я остался жить в «Латинской стране». Выставка оказалась на том же левом берегу Сены, на Марсовом поле. В моем «Квартале школ» я продолжал посещать лекции в Сорбонне и Collège de France и жить интересами учащейся молодежи.

В первый раз пришлось мне обратиться к заведующему русским отделом — моему старшему собрату Д. В. Григоровичу *, которого я уже встречал в Петербурге, но особого знакомства с ним не водил.

Как корреспондент, я надеялся иметь даровой вход на выставку, но мне в нем отказали, и я принужден был заплатить за сезонный билет сто франков, что для меня, как для трудового человека, было довольно-таки чувствительно. Этот стофранковый билет не предоставлял никаких особенных льгот, кроме права присутствовать при открытии с расчетом на появление императора с императрицей и на торжественное заседание, где Наполеон III должен был произносить речь.

До тех пор мне случалось видеть императора только издали, когда он проезжал по бульварам и в Елисейских полях, всегда окруженный экипажами, в которых сидели полицейские агенты, а сзади скакали в своих светло-голубых мундирах лейб-кирасиры, известные тогда под кличкой «les cent gardes» [1].

В день открытия публику, имевшую сезонные билеты, не пускали всюду, а только туда, где пройдет процессия, то есть ей предоставлялось ждать на проходах, за веревками, которыми эти проходы были оцеплены. Зато тем, кто явился пораньше и стал тотчас за веревки, можно было хорошо рассмотреть императорскую чету.

Наполеон выступал уже замедленной походкой человека, утомленного какой-то хронической болезнью. Его длинный нос, усы в ниточку, малый рост, прическа с «височками» — все это было всем нам слишком хорошо известно. Величественного в его фигуре и лице ничего не значилось. Евгения рядом с ним весьма выигрывала: выше его ростом, стройная женщина моложавого вида, с золотистой шевелюрой испанки, очень элегантная, с легкой походкой, но без достаточной простоты манер и выражения лица.

---

[1] гвардейская сотня (*франц.*).

Помню, что императорская чета двигалась слишком быстро, точно они боялись, что кто-нибудь, на перекрестках, выстрелит в них. Энтузиазма в публике не замечалось. Не помню, чтобы раздавались повсюду клики: «Vive l'empereur!» или «Vive l'impératrice!»[1] И тогда еще чувствовалось, что Париж все-таки не помирился с переворотом 2-го декабря.

На торжестве открытия в особой зале, где собралась многотысячная толпа, император в парадной генеральской форме произнес аллокуцию[2]. Тогда — я мог хорошо слышать его голос и даже отметить произношение. Он говорил довольно быстро немного в нос, и его акценг совсем не похож был на произношение коренного француза, и еще менее парижанина, а скорее смахивал на выговор швейцарца, бельгийца и даже немца, с детства говорившего по-французски.

Выставка была для меня, как и для многих за границей и в России, внове. Она возбуждала любопытство... показывала, кроме Франции, и другие страны в разнообразном виде. Но я не скажу и теперь, по прошествии с лишком сорока лет, чтобы ей можно было увлекаться.

Вопроса о значении и пользе выставок вообще я здесь решать не стану. Конечно, они имеют (или *имели* тогда) свой *raison d'être*[3]. Но для людей не специальных сведений и интересов каждая выставка превращается, более или менее, в базар, в ярмарку, в грандиозную «толкучку». Так вышло и с выставкой 1867 года, и с последующими: в 1878, в 1889 и в 1900 годах.

Но те делались все живописнее и богаче по своей архитектурной обстановке, красивее и ярче по отделке своих частей. А главное здание выставки 1867 года сами французы называли «газовым заводом» — «usine à gaz».

Надо, однако, отметить, что система распределения по нациям и по отделам была в этом «газовом заводе» весьма удачная, гораздо больше помогавшая посетителю найти все, что ему было нужно.

И тогда, как и в последующие три выставки, художественный отдел был для публики самый привлекательный.

---

[1] Да здравствует император! Да здравствует императрица! *(франц.)*

[2] краткую речь (от *франц.* allocution).

[3] смысл *(франц.)*.

Снаружи эллипса, изображавшего собою главное здание, устроены были и потребительные заведения разных народов, попросту рестораны и кафе.

И России впервые пришлось щегольнуть своими московскими трактирами и чайными. Купец Корещенко прославил себя на оба полушария. Его ресторан торговал бойко. И русских наезжало очень много в Париж; да и посетителей других национальностей влекло кулинарное и этнографическое любопытство. Во-первых — еда; во-вторых — цветные шелковые рубашки московских половых; в-третьих — две «самоварницы», в сарафанах и кокошниках. Из них Авдотья стала быстро очень популярной, особенно между французскими любителями женского пола.

Ресторан Корещенко сделался местом сбора русских. Тут можно было встретить всякий народ, начиная с наших сановников (Валуева я видал на выставке в сопровождении своих сыновей-подростков) и вплоть до самых первобытных купцов из глухих приволжских городов.

Русская интеллигенция не имела никакого другого пункта сбора. Тогда в Париже русские жили вразброд, эмигрантов еще почти что не водилось, молодые люди из Латинского квартала не знакомились с семейными домами на правом берегу Сены.

Мне по обязанности корреспондента следовало бывать всюду. И выставка в первые два месяца отнимала много времени. На одну езду взад и вперед тратилось его не мало.

Увеселительная часть выставки не имела в себе ничего особенно привлекательного. Ни зала для концертов, ни театр не могли соперничать с тем, что город давал приезжим на бульварах.

Тогда это был кульминационный пункт внешнего успеха Второй империи, момент высшего обаяния Франции, даже и после того, как Пруссия стала первым номером в Германии *. Никогда еще не бывало такой «выставки» венценосцев, и крупных, и поменьше, вплоть до султана Абдул Азиса. И каждый венценосец сейчас же устремлялся на Бульвары смотреть оффенбаховскую оперетку «La Grande duchesse de Gerolstein»[1] и в ней *«самое»* Шнейдершу, как называли русские виверы.

---

[1] «Герцогиня Герольштейнская» *(франц.)*.

По той же программе проделал свой первый вечер в Париже и Александр II. Ему заказана была ложа в театре Variétés, а после спектакля он ужинал с Шнейдер. Париж много острил тогда на эту тему. А самую артистку цинически прозвали le passage des princes[1], как назывался пассаж, до сих пор носящий это имя, на Итальянском бульваре. Позднее я от старого писателя Альфонса Руайе (когда-то директора Большой Оперы) слышал пересказ его разговора с Шнейдер о знакомстве с Александром II и ужине. По ее уверению, ей, должно быть, *забыли* доставить тот ценный подарок, который ей назначался за этот ужин.

Национальная самовлюбленность французов достигла тогда «белого каления». Даже эмиграция, в лице «поэта-солнца» — Виктора Гюго, воспела величие Парижа. В его статье (за которую ему заплатил десять тысяч франков издатель выставочного «Путеводителя») Париж назван был не больше, не меньше, как «город-свет» — «ville-lumière».

Для нас, более спокойных и объективных наблюдателей, Париж совсем не поднял своего мирового значения тем, что можно было видеть *на выставке*. Но он сделался тогда еще популярнее, еще большую массу иностранцев и провинциалов стал привлекать. И это шло все crescendo с каждой новой выставкой. И ничто — ни война, ни Коммуна, ни политическое обессиление Франции — не помешало этой «тяге» к Парижу и провинций, и остальной Европы с Америкой.

Но на первых же порах съезд венценосцев был смущен выстрелом поляка Березовского в русского императора *.

Не скажу, чтобы у нас в «Латинской стране» это произвело особенно сильное впечатление. Тогдашние радикалы и даже либералы-бонапартисты Парижа недолюбливали русских и русское правительство. Это осталось еще после Крымской кампании, а польское восстание и муравьевские репрессии усиливали эти неприязненные настроения. Гораздо больше оживленных толков вызвала у нас сцена в Palais de justice[2], где молодой адвокат Флоке (впоследствии министр) перед группой своих то-

---

[1] бульваром государей *(франц.)*.
[2] Дворце юстиции *(франц.)*.

варищей выдвинулся вперед и громко воскликнул, обращаясь к русскому царю:

— Vive la Pologne, *Monsieur!*[1]

Эта маленькая фраза содержала в себе два главных мотива настроений тогдашней радикальной молодежи: демократизм в республиканском духе (Monsieur!) и сочувствие раздавленной Польше.

Каких-нибудь проявлений патриотизма (по поводу покушения Березовского) среди тех русских, с какими я тогда сталкивался, что-то тоже я не помню.

Всякого сорта соотечественников встречал я на Марсовом поле, у Корещенко и в других местах: компанию молодых чиновников министерства финансов и их старосту Григоровича, некоторых профессоров, художников и всего меньше литераторов.

Приехал от Аксакова москвич-техник для специального отчета* о выставке (фамилии его не помню); но этот москвич, направленный ко мне, оказался совсем не подготовленным, если не по части техники, то по всему — что Франция и Париж, не умевший почти что «ни бельмеса» по-французски.

Кто был постоянным корреспондентом от «Санкт-Петербургских ведомостей», я не знал. Но если б встречал его, то наверно бы заметил. В «Голос» и «Московские ведомости» писал Щербань, давно живший в Париже и даже женатый на француженке. С ним мы познакомились несколько позднее.

Из наших литературных «тузов», перворазрядных беллетристов или редакторов журналов и газет, я никого что-то не встречал в первые месяцы выставки — ни Тургенева, ни Достоевского, ни Гончарова, ни Салтыкова. С редакторами — Краевским, Коршем, Благосветловым — встречи произошли позднее. У Корша я стал писать, как постоянный сотрудник, с следующего сезона 68-го года, когда я перебрался на другой берег Сены и поселился поблизости от Бульваров, в Rue Lepeletier, наискосок старой (сгоревшей) Оперы. Поэтому моим двухнедельным фельетонам (сверх политических писем) я и дал общую рубрику: «С Итальянского бульвара».

На мое *писательство,* в тесном смысле, пестрая жизнь корреспондента, разумеется, не могла действовать бла-

[1] Да здравствует Польша, сударь! *(франц.)*

гоприятно. Зато она расширила круг всякого рода наблюдений. И знакомство с русскими дополняло многое, что в Петербурге (особенно во время моих издательских мытарств) я не имел случая видеть и наблюдать. Не скажу, чтобы соотечественники, даже из «интеллигенции», особенно чем-нибудь выдавались, но для беллетриста-бытописателя — по пословице «всякое лыко в строку».

Курьезные типы попадались и среди художников, и среди чиновников и посольских, и среди молодых полуобразованных купчиков. У Вырубова между чиновниками министерства финансов оказался товарищ по лицею Н — ин, добрейший малый, получивший потом в Петербурге известность своей благотворительной и просветительной деятельностью. Тогда же, в Париже, впервые встретил я у Вырубова (он у него и гостил) Е. В. де Роберти, еще очень молодого и франтоватого, любившего и тогда «французить», убежденного позитивиста, очень решительного в своих оценках и философских идей, и политических учений, и книг, и людей. Из русских интеллигентов он все-таки выделялся.

На выставке познакомился я и с г. О[неги]ным, только что кончившим курс. Он тогда еще носил немецкую фамилию О[тт], которую впоследствии переделал на имя героя пушкинского романа и превратился в библиофила-собирателя с собственным «музеем» в Париже. Его я встречал и впоследствии, в Петербурге, где он долго жил домашним наставником в одном богатом доме до окончательного переселения в Париж. Сносился с ним я и в дни болезни Тургенева (в лето его кончины), когда г. О[не]гин находился почти бессменно при умирающем в Буживале и надо было обращаться к нему.

Весь этот русский образованный люд ничто тогда не объединяло, кроме разве благодушества в трактире и чайной Корещенко. Исключения не составляли и ученые по разным специальностям.

Простой народ был характернее: сначала плотники, строившие русскую избу, потом половые, артельщики, мастеровые нашего отдела и весь хор кавалергардского полка, приехавший на всемирное состязание полковых оркестров, где рекорд побили немцы и, главное, австрийцы,

Плотников я посещал не раз во время самой стройки, еще до открытия выставки (1-го апреля). И около избы у меня вышел забавный разговор с четой французов, пришедших также поглазеть на этих «moujiks». Эта чета оказалась: комик Лемениль и его жена, оба бывшие артисты труппы Михайловского театра. Я сейчас же узнал их и воспользовался случаем высказать мое уважение таланту и мужа и жены — превосходной комической «старухи».

— Разве вы не можете сказать мне несколько слов по-русски? — спросил я.

— Au, mon dieu![1] — откликнулась первая жена. — Мой муж шестнадцать лет прожил в Петербурге и, вот видите, ничему не научился.

— Это правда, — подтвердил комик с веселой усмешкой. — Но я еще мог сказать извозчику: «Pajalst (пожалуйста) Gastinai Dvor, dvatsat kopeks!» A madame Лемениль и того не может.

— А кто виноват? — подхватила она. — Вы... вы... господа русские! Вы нас так балуете! Все говорите с нами по-французски.

— Этого мало, — добавил Лемениль. — И с прислугой нам не надо учиться говорить по-русски. Горничных и кухарок мы, актеры Михайловского театра, передаем одни другим. И все они нас понимают и говорят... tant bien que mal[2].

Плотники слушали, ухмыляясь, как мы «балакали», в то время как они обрубали брусья и обтесывали доски, сидя на них верхом... как, бывало, «галки» (плотники Галичского уезда Костромской губернии), которые приходили летом работать к нам на двор в Нижнем-Новгороде.

Мы расстались с четой Лемениль добрыми друзьями. Она начала дотягивать свое пенсионное существование. Ни на какую сцену Парижа они больше уже не поступили.

Выставочная служба вызвала во мне желание отдыха. Мне захотелось, к августу, проехаться. И я прежде всего подумал о Лондоне. Там уже жил изгнанником из России мой бывший сотрудник, А. И. Бенни, о ко-

---

[1] О, боже мой! *(франц.)*
[2] кое-как *(франц.)*.

тором я говорил в предыдущей главе. Он меня звал и обещал устроить в одном доме с собою.

Из Англии я думал проехать в Нормандию, куда к началу сентября меня звал студент Ш[евалье], один из членов нашего кружка любителей естествознания, сын нормандской помещицы. Он пригласил меня в свою усадьбу, в местности невдалеке от Руана. А после гощения у него предполагалась поездка в первых числах сентября по морским курортам: Этрета, Фекань, Трувиль (тогда только что вошедший в моду), Гавр.

К настоящей осени, то есть к октябрю (по новому стилю), я уже рассчитывал вернуться в Париж и опять в любезный мне Латинский квартал.

Прожить в Лондоне меньше месяца — значит ограничиться только его осмотром с Бедекером в руках.

Но можно уже получить довольно верное представление об этой *второй* столице мира, если считать законной претензию Парижа быть *первой*. И тогда же я сразу увидал, что по грандиозным размерам и такому же грандиозному движению Лондон занимал, конечно, *первое* место, особенно рядом с тогдашним Парижем — элегантным, привлекательным, центральным для материка Европы, но гораздо менее внушительным и обширным. А с тех пор Лондон еще разросся до населения (с пригородами) в семь миллионов жителей.

Кроме Бедекера печатного, у меня оказался и живой путеводитель — А. И. Бенни, который нашел мне комнату в том доме, где и он квартировал, в квартале Британского музея, около самой бойкой и шумной Oxford Street.

Обыкновенно утром за кофеем мы обсуждали с Бенни, какой мне программы держаться в этот день, чтобы «работать в монументах», как острят парижане («travailler dans les monuments»). Его указания были для меня драгоценны и сделали то, что я в одну какую-нибудь неделю успел с толком «обработать» целую треть того, что действительно было стоящего изучения. Сам Артур Иванович редко ходил со мною по утрам. Он был занят своей газетной работой. Жил он в двух комнатках: уютно, с большой чистотой, экономно, завтракал и пил вечер-

ний чай по-английски, с едой, всегда дома, часто и меня приглашал на эти скромные трапезы.

Он познакомил меня тотчас же с тогдашним главным любителем русского языка и литературы — Рольстоном, библиотекарем Британского музея. Рольстон жил тут же, где-то поблизости. В следующий мой приезд в Лондон (когда я прожил в нем весь *season* с мая по конец августа) он был мне очень полезен и для моих занятий в читальне музея, и по тем экскурсиям, какие мы предпринимали по Лондону вплоть до трущоб приречных кварталов, куда жутко ходить без полисмена. Тогда Рольстон еще плоховато знал по-русски, говорить и совсем не решался. Вероятно, он многим был по этой части обязан Бенни.

Лондон в августе 1867 года, особенно после 15-го, уже затихал во всем, что составляет жизнь «сизона», но для туриста, попадавшего туда впервые, трудно было подметить, что сезонная жизнь притихает.

Кто в первый раз попадал в City на одну из улиц около Британского банка, тот и сорок один год назад бывал совершенно огорошен таким движением. И мне с моей близорукостью и тогда уже приходилось плохо на перекрестках и при перехождении улиц. Без благодетельных bobby (как лондонцы зовут своих городовых) я бы не ушел от какой-нибудь контузии, наткнувшись на дышло или на оглобли.

Ни один город в Европе не дает этого впечатления громадной матерьяльной и культурной мощи, как британская столица.

После лондонских уличных «пережитков» и парижское движение в самых деловых кварталах кажется «средней руки». И этот «контраст» с десятками лет вовсе не уменьшился. Напротив! Двадцать восемь лет спустя, в третье мое пребывание в Лондоне, он сделался еще грандиознее и красивее — с новыми набережными. И опять, попадая прямо оттуда в Париж, и во второй половине 90-х годов вы не могли не находить, что он после Лондона кажется меньше и мельче, несмотря на то что он с тех пор (то есть с падения империи) увеличился в числе жителей на целых полмиллиона!

Как я сказал в самом начале этой главы, я не буду пересказывать здесь подробно все то, что вошло в мою книгу «Столицы мира».

В моих заграничных экскурсиях и долгих стоянках я не переставал быть *русским* писателем. Лондон сыграл немаловажную роль в моем общем развитии в разных смыслах. Но это вышло уже в следующем году. А пока он только заохотил меня к дальнейшему знакомству с ним.

По-английски я стал учиться еще в Дерпте, студентом, но с детства меня этому языку не учили. Потом я брал уроки в Петербурге у известного учителя, которому выправлял русский текст его грамматики. И в Париже в первые зимы я продолжал упражняться, главным образом, в разговорном языке. Но когда я впервые попал на улицы Лондона, я распознал ту давно известную истину, что читать, писать и даже говорить по-английски — совсем не то, что вполне *понимать всякого англичанина.*

В первые дни говор извозчиков, кондукторов в омнибусах (трамваев тогда еще не было), полисменов повергал меня в немалое недоумение. И всем им надо произносить так, как они сами произносят, а то они вас не поймут. И вообще по этой части английский простой (да и пообразованнее) люд весьма туповат, гораздо менее понятлив, чем итальянцы, немцы, французы и русские. А лондонский простолюдин (в особенности извозчик) произносит на свой лад. Для них придыхательный звук «h» не существует. Когда кебмен предлагал нам прокатиться и, указывая на свою лошадь, говорит «A good horse, sir!» [1], то слово *horse* выходит у него *орс,* а не *хорс.*

С образованными англичанами другая беда — их скороговорка (она еще сильнее у барынь и барышень) и глотание согласных и целых слов. Вас они понимают больше, чем вы их. Но у тех, кто хоть немножко маракует по-французски, страсть говорить с иностранцами непременно на этом языке. Для меня это до сих пор великое мучение.

И я помню, что в Лондоне в одном светском салоне одна титулованная старушка — без всякой надобности — заговорила со мною по-французски и начала мне рассказывать историю о кораблекрушении, где она могла погибнуть. Я только и понял, что, кажется, это происходило на море; но больше ровно ничего!

[1] Хорошая лошадь, сэр! *(англ.)*

Манера англичан и англичанок мямлить и искать слов может на нервного человека действовать прямо убийственно. Но все-таки в три недели, проведенные мною в постоянной беготне и разъездах по Лондону, я значительно наладил свое ухо. С *уха* и должен каждый приступающий к изучению английского — начинать и проходить сейчас же через чисто практическую школу.

Я знавал русских ученых, журналистов, педагогов, которые хорошо знали по-английски, переводили Шекспира, Байрона, Шелли, кого угодно и не могли хоть сколько-нибудь сносно произнесть ни одной фразы. Есть даже среди русских интеллигентов в последние годы такие, кто очень бойко говорит, так же бойко понимает всякого англичанина и все-таки (если они не болтали по-английски в детстве) не могут совладать с неизбежным и вездесущим английским звуком «the», которое у них выходит иногда как «зэ», а иногда как «тце».

В Лондоне испытал я впервые чувство великой опасности быть брошену как в море тому, кто не может произнесть ни одного слова по-английски. Теперь еще больше народу, маракующего крошечку по-французски или по-немецки, но тогда, то есть сорок один год назад, только особенная удача могла вывести из критического, безвыходного положения всякого, кто являлся в Лондон, не позаботившись даже заучить несколько фраз из диалогов.

Из Англии я попал в Нормандию.

В первый раз попадал я в настоящую нормандскую деревню и к местным помещикам.

Мой сотоварищ по кружку «любителей природы» (по имени и фамилии Эводь Шевалье) был еще то, что называется «un gamin», несмотря на свой порядочный возраст — школьник, хохотун, затейник, остряк и, разумеется, немножко циник. Он пригласил к 1-му сентября, кроме своих коллег по нашему кружку, еще двух-трех парижских приятелей. И все мы сначала объехали морские купанья нормандского прибрежья: Гавр, Фекань, Этрета, модный и тогда уже Трувиль, Довиль... В воздухе молодости, с шутками и смехом, произвели мы наш объезд. Такие поездки более знакомят иностранцев с характером, нравами, всякими особенностями и своих

знакомых и туземцев, чем житье многих тысяч туристов по заграничным столицам и курортам.

Тогда стояли годы самого высшего подъема Бонапартова режима и его престижа на всю Европу. И в Трувиле — на обширной plage[1] — мы нашли все элементы тогдашнего парижского придворно-вивёрского «монда». Трувиль был тогда самое модное морское купанье.

Гораздо занимательнее было для меня посещение чудесных памятников города Руана, его готических церквей и целых уличек, полных домов, уцелевших от XVII и даже XVI столетий.

Такие церкви, как St. Ouen и St. Maclou, относят вас к живописному средневековью и считаются прекрасными образцами французской готики. И *как* противоречит таким готическим базиликам и старинным домам Руана монумент в виде конной статуи, воздвигнутый Наполеону I, который к жизни Руана и всей Нормандии не имел никакого «касательства», кроме разве тех административных распоряжений, в которых сказывалась его забота о поднятии матерьяльного благосостояния этого края.

В усадьбе французской помещицы средней руки было весьма способно присмотреться к деревне и быту самих помещиков.

Мать моего жизнерадостного парижанина была полная, рыхлая, нервная и добродушная особа, вдова, живущая постоянно в своей усадьбе, в просторном, несколько запущенном доме и таком же запущенном саде. Всем гостям ее сына нашлось помещение в доме и флигеле. Сейчас же мы вошли в весь домашний обиход, в жизнь их прислуги, в нравы соседней деревни.

Нашим сборным пунктом была ранним утром, особенно перед нашими экскурсиями по окрестностям, кухня — низкая, просторная комната, с большим окном архаического типа. Кухарку все полюбили; а молодого «барина» она трактовала как бы своего питомца и говорила ему «ты». Постоянным предметом разговоров был ее сын, молодой, красивый малый, исполнявший должности и кучера, и садовника, и привратника. Он очень заботил и ее, и самих его господ своим импульсивным нравом. С ним уже случались истории весьма неприятного свойства. В кого-то он даже стрелял из ружья.

[1] пляж, побережье (*франц.*).

А когда на него не находил «стих», он казался веселым, вежливым малым, умел обходиться с белой, старой и доброй лошадью по прозвищу Cocotte[1], которая и возила нас в небольшом шарабане.

Я любил бродить и пешком по деревням. В эту пору года после уборки хлебов происходит уборка плодов. Нормандия славится своими грушами и яблоками; а виноград в ней не может дозревать как следует, и местного вина нет.

Не знаю, как теперь, но тогда, то есть сорок один год назад, встречать по дороге крестьян (и старых, и молодых, и мужчин, и женщин) было очень приятно. Всегда они первые вам кланялись и не просто кивали головой, а с приветствием, глядя по времени дня. Случалось нам возвращаться домой, когда совсем ночь. Вам попадается группа крестьян, и только что они вас завидят в темноте, они — не зная, кто вы именно — крикнут вам:

— Bonne nuit monsieur![2]

И в те годы я уже не находил там народных головных уборов доброго старого времени, больших белых чепчиков и остальных частей костюма. Крестьянки — и старые и молодые — носили темные, плоские чепчики и одевались по-городскому, в капотцы, с платками и кофточками.

Говор истых нормандцев — не диалект, а настоящая французская речь, но деревенская, с необычайно певучими переливами голоса и своеобразными звуками в двугласном «oi», которое они произносят не «уа», а «уэ-э», так что, например, слово «avoine»[3] выходит у них «avouéne».

У моих помещиков справлялся день открытия охоты, 1-го сентября, что приходится на день Св. Жилля. Раньше закон строго запрещает идти на охоту. Приехали еще несколько человек гостей из Руана и из Парижа, в том числе и зять госпожи Шевалье. И все мужчины с раннего утра отправились в большом возбуждении на охоту. Кругом какие есть леса — все это уже на откупе, для больших охот. Надо довольствоваться только дорогами, полянами, да и то не чужими. Поэтому во Франции

---

[1] Кокотка *(франц.)*.
[2] Доброй ночи, сударь! *(франц.)*
[3] овес *(франц.)*.

привезти с охоты одного зайца или двух куропаток — это уже большой триумф. И обычай для гостей таков, что их добыча идет на обед, что было и у нас. Сели позднее, но еще засветло, на воздухе, в саду, под большим навесом. По тогдашнему русскому стилю, это было всего только 20-го августа.

Вот тогда я воочию убедился в том, *как* в Нормандии, в таких вот помещичьих и зажиточных крестьянских домах, едят. Мы, русские, славимся нашим многоедением, но нормандцы нас заткнут за пояс.

В саду за обедом сидели добрых три часа, и блюдам не было конца. Я насчитал их до тринадцати, не считая десерта, то есть сыров, фруктов, печенья, конфект, варенья, бисквитов. Это было что-то поистине во вкусе Рабле, из его «Gargantua». И тот заяц, которого застрелил зять хозяйки, был уже превращен в вкусный пирог — terrine de lièvre[1]. И все куропатки, дрозды, кулики и другие пичужки были также поданы к концу этой гомерической трапезы.

Посредине стола возвышалась широкая, плотная и плечистая фигура местного «батюшки», веселого и речистого «curé», который напоминал собою самого Рабле. Он ел и пил за троих и каждого ему незнакомого неизменно спрашивал — «какого он прихода?» По-французски, на его жаргоне, вопрос этот звучал так:

— Sous quelle paroisse est Monsieur или Madame?

Дошла очередь и до меня. Я должен был огорчить его, ответив, что я ни к какому приходу не принадлежу, что я иностранец да еще «схизматик», как считают православных все добрые католики.

Вот так и «благодушествовали» мы в благословенной Нормандии, вдали от столичной, политической и всякой другой злобы дня.

Но надо было подумать и о возвращении в Париж.

Я хотел остаться верным Латинскому кварталу, но взял себе меблированную квартирку из двух комнат в более тихом месте, чем центр бульвара St. Michel, где я прожил с января до отъезда в Лондон. Этот отельчик нашел я во всей его «непосредственности» и в 1900 году, когда производил анкету насчет всех отелей, где я живал. Он называется Hôtel Montesquieu и нахо-

---

[1] паштет из зайца *(франц.)*.

дится в той улице, где помещались и курсы Русской школы после выставки 1900 года. У них был № 16, а мой отельчик носил, кажется, № 8 или 10-й. На этой улице всю левую сторону занимает здание университета (Сорбонны), и только правая состоит из обывательских домов.

Там я, кроме очередной работы как корреспондент, приступил и к моему роману «Жертва вечерняя». Но его первоначальный замысел пришел мне не в Париже, а в Лондоне, и совершенно так, как должно по теории «непроизвольного творчества» всегда происходить, то есть *неожиданно.*

Я шел по Regent-Street в обществе А. И. Бенни и Рольстона и не знаю, какая внезапная ассоциация идей привела меня к такому же внезапному выводу о *полной моральной несостоятельности* наших светских женщин. Но это явилось мне не в виде *сентенции,* а в образе молодой женщины из того «круга», к которому я достаточно присмотрелся в Петербурге в сезоны 1861—1865 годов.

Про меня рано сложилась легенда, что я все мои романы не написал, а *продиктовал.* Я уже имел повод оговариваться и поправлять это — в общем *неверное* — сведение. До 1873 года я многое из беллетристики диктовал, но с того года до настоящей минуты *ни одна* моя, ни крупная, ни мелкая вещь, не продиктована, кроме статей. «Жертва вечерняя» вся целиком была продиктована, и в очень скорый срок — в шесть недель, причем я работал только с 9-ти до 12-ти часов утра. А в романе до двадцати печатных листов.

Эмигрант из московских студентов, поляк Г. (явившийся под другой фамилией Л.) ходил ко мне каждое утро, садился к столу, писал очень скоро на четвертушках с большими краями и за работу свою получал пять франков, клал их в карман и уходил. Он был в большой нужде, и такой заработок (при тогдашней дешевизне) свалился ему прямо с неба. А я был доволен его работой, доволен и тем, что даю ему заработок на порядочный срок. Работа не шла бы так споро, если б вещь эта не имела формы дневника героини — того, что немцы на их критическом жаргоне называют: «Tee — Romane».

Да и весь фон этой вещи — светский и интеллигентный Петербург — был еще так свеж в моей памяти. Нетрудно было и составить план, и найти подробности,

лица, настроение, колорит и тон. Форма интимных «записей» удачно подходила к такому именно роману. И раз вы овладели тоном вашей героини — процесс диктовки вслух не только не затруднял вас, но, напротив, помогал легкости и естественности формы, всем разговорам и интимным мыслям и чувствам героини.

При тогдашней трудности — и для меня — найти помещение для вещи больших размеров было бы рискованно пускаться в такую работу. Но случилось так, что в Петербурге стал выходить новый толстый журнал «Всемирный труд». Издатель его оказался тот самый доктор Хан, который водил меня от академика Зинина к книгопродавцу М. Вольфу, когда я, дерптским студентом, приехал в мае 1856 года искать издателя для моего перевода «Руководства к химии» Лемана. Мы с ним познакомились на письмах, и я его так и не видал впоследствии. К моему возвращению в Россию в январе 1871 года «Всемирный труд» прекратил свое существование, а вскоре, кажется, и его издатель отправился «ad patres».

«Жертва вечерняя» стала печататься с января 1868 года, и она в первый раз доставила мне «успех скандала», если выразиться порезче. Петербургская публика сильно ею заинтересовывалась. Но в «Отечественных записках» взглянули на нее, как на роман чуть не порнографического характера, и в анонимной рецензии (она принадлежала, кажется, Салтыкову?) прямо было сказано *, что такие вещи пишутся только для возбуждения половых инстинктов. Такой приговор останется на совести того, кто его произносил, или его тени. Но в публике на роман взглянули как на то, что французы называют un roman à clé[1], то есть стали в нем искать разных петербургских личностей, в том числе и очень высокопоставленных.

Цензура пропустила все части романа, но когда он явился отдельной книгой (это были оттиски из журнала же), то цензурное ведомство задним числом возмутилось, и началось дело об уничтожении этой зловредной книжки, доходило до комитета министров, и роман спасен был в заседании Совета под председательством Александра II, который согласился с меньшинством, бывшим за роман.

---

[1] романом с намеками *(франц.)*

Открою здесь попутно небольшую скобку. Как я уже отчасти заметил выше — давно в журнализме и газетной прессе сочинили, как сейчас сказал, преувеличенную легенду о том, что я *всю свою жизнь* диктовал мои беллетристические вещи. Это верно только для некоторой доли «В путь-дорогу», для «Жертвы вечерней» и для одной трети «Дельцов». Но все это относится к периоду до 1872 года. С тех пор я *все* беллетристическое писал сам, а *не* диктовал. Если взять в расчет, что я начал писать как *повествователь*, с 1862 года, стало быть, это относится лишь (да и то далеко не вполне) к одной четвертой всего 50-летия, то есть с той эпохи, как я сделался писателем. Но так обыкновенно пишется «история» не об одних покойных, но и о живых людях.

«Успех скандала», выпавший на долю «Жертвы вечерней», и строгая, но крайне тенденциозная рецензия «Отечественных записок» мало смущали меня. Издали все это не могло меня прямо задевать. Книга была спасена, продавалась, и роман читался усердно и в столицах и в провинции. И далее, в начале 70-х годов, по возвращении моем в Россию, один петербургский книгопродавец купил у меня право нового издания, а потом роман вошел в первое собрание моих сочинений, издания М. О. Вольфа, уже в 80-х годах.

Меня поддерживало убеждение в том, что замысел «Жертвы вечерней» не имел ничего общего с *порнографической* литературой, а содержал в себе *горький урок* и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства. Гораздо позднее, в 80-х и 90-х годах, я имел случай видеть, как «Жертва вечерняя» находила достодолжную оценку у самых избранных читателей, в том числе у моих собратов-беллетристов в поколениях моложе нашего. Я не называю имен, но читатель поверит мне на слово. Эти читатели были за тысячу верст далеки от всякого обвинения в намерении действовать на половые инстинкты, а брали только *художественную* сторону и бытописательское *содержание* романа и выражали мне безусловное одобрение.

Время берет свое, и то, что было гораздо легче правильно оценить в 80-х и 90-х годах, то коробило наших аристархов пятнадцать и больше лет перед тем и подталкивало их перо на *узкоморальные* «разносы». Теперь,

в начале XX века, когда у нас вдруг прокатилась волна разнузданного сексуализма и прямо порнографии (в беллетристике модных авторов), мне подчас забавно бывает, когда я подумаю, что иной досужий критик мог бы и меня причислить к родоначальникам такой литературы. На здоровье!

Хотя время и место действия «Жертвы вечерней» — Петербург, но и там есть много подробностей, навеянных прямо жизнью Парижа и специально Латинского квартала. Это относится больше всего до одного разговора героини с своим кузеном, молодым писателем, долго жившим именно в Латинском квартале. Я не говорю, что этот «Степа» — сам автор. Но тогда я мог бы точно так же и *то же* говорить на тему о *проституции*. Это все — наблюдения, доставленные мне в первую же мою зиму в Париже. Но, прибавлю я, оценку этого социального недуга, которую дает кузен героини, считаю я и теперь правильной. Проституция — явление более экономическое, чем моральное.

Пикантно и то, что «Жертва вечерняя» был один из первых моих романов переведен немцами, под заглавием «Abendliches Opfer», и в тамошней критике к нему отнеслись вовсе не как к порнографической вещи.

Парижская жизнь развертывалась передо мною с этого второго, по счету, сезона 1867—1868 года — еще разнообразнее.

Заработок беллетриста и работа корреспондента позволяли теперь привольнее и бойчее жить.

Мой интерес к изучению сцены и театрального искусства и в теории и на практике все еще играл видную роль в моих тогдашних парижских экскурсиях, знакомствах и наблюдениях.

В школе старика Рикура я слышал самую высшую «читку» (как у нас говорят актеры) и знакомился по его интересным, живым рассказам со всей историей парижских театров, по меньшей мере с эпохи июльской революции, то есть за целых тридцать пять лет.

Никто никогда, на моей памяти, так не произносил монологов из мольеровского «Мизантропа». До сих пор я слышу его интонации, когда он начинал заключительный монолог Альцеста, где тот изливает свое негодова-

ние на весь род людской: «Non, elle est générale, et je hais tous les hommes!»[1] и т. д.

Консерватория интересовала меня, да и то только на первых порах, тем, *как* было там поставлено дело. Я об этом уже говорил.

Кроме личного знакомства с тогдашними профессорами из сосьетеров «Французской комедии»: стариком Сансоном, Ренье, позднее Брессаном (когда-то блестящим «jeune premier» на сцене Михайловского театра в Петербурге), — я обогатил коллекцию старых знаменитостей и знакомством с Обером, тогдашним директором Консерватории, о чем речь уже шла выше.

Такие фигуры уже не встречаются теперь в Париже. Никто в этом старике, с наружностью русского столоначальника николаевского времени, не признал бы создателя «Фенеллы» и «Фра-Дьяволо». Как директор Консерватории, он совсем не занимался ее *сценическим* отделением, да и вряд ли что-нибудь понимал по этой части.

Изумительна была только его живучесть. Да и вся обстановка его обширной, скучноватой и холодноватой квартиры с старинным роялем, и его халатик, и его тон, и старомодная вежливость — все это было в высокой степени типичным для человека его эпохи.

Связь моя с театральным миром поддерживалась и у Фр. Сарсе на его завтраках. Я уже говорил о том, как я Сарсе обязан был знакомством с Гамбеттой и по какому поводу Сарсе пригласил его для разговора со мною.

Гамбетта действительно интересовался нашей внутренней политикой.

Как я уже сказал выше, его личность представилась мне совсем в другом свете, чем позднее, особенно в годину испытаний Франции, когда он был ее диктатором в Туре, куда перелетел в шаре.

Тогда он мне показался умным и речистым (с сильным акцентом) южанином, итальянского типа в лице, держался довольно скромно и по манерам и в тоне и с горячей убежденностью во всем, что он говорил. О Каткове и о Николае Милютине он меня не особенно много

[1] Нет, она принадлежит всем, и я ненавижу всех людей! *(франц.)*

расспрашивал; но когда мы пошли от Сарсе пешком по направлению к Палате, Гамбетта стал сейчас же говорить, как радикал с республиканскими идеалами и как сторонник тогдашней парламентской оппозиции, где значилось всего-то человек семь-восемь, и притом всяких платформ — от легитимиста Беррье до республиканцев Жюля Фавра, Жюля Симона и Гарнье-Пажеса, автора книги о февральской революции. Но и тогда уже в Гамбетте чувствовался *оппортюнист,* который желает считаться с фактами и пользоваться тем, что есть. В таком духе он и заговорил со мною о тогдашней оппозиции.

— Нужды нет, что в ней мало единства политического credo у разных ее членов. Но она бьет в одну точку. Она — враг бонапартизма, и *надо* всячески ее поддерживать.

Узнав по дороге, что я пишу в газете, он предложил мне ввести меня в Salle des pas perdus[1], куда я еще не проникал, а попадал только в трибуны прессы. Сам он, при малой адвокатской практике, состоял парламентским репортером от газеты «Temps», тогда хотя и либеральной и оппозиционной, однако весьма умеренной.

И тогда и позднее я, глядя на лицо Гамбетты, не замечал, что у него один глаз был вставной, фарфоровый. Потом стал я узнавать — который. Он, разумеется, был неподвижный и, видимо, слегка слезился.

Гамбетта, приведя меня в Salle de pas perdus «Законодательного корпуса», как тогда называлась Палата депутатов, познакомил меня тут же с тремя членами оппозиции: Жюлем Симоном, Гарнье-Пажесом и Пикаром.

Ж. Симон тогда смотрел еще совсем не стариком, а он был уже в февральскую революцию депутатом и известным профессором философии. Вблизи я увидал его впервые и услыхал его высокий, «нутряной» голос с певучими интонациями. Когда Гамбетта познакомил нас с ним, он, узнав, что я молодой русский писатель, сказал с тонкой усмешкой:

— Из вашей литературы я знаю Пушкина и моего друга Ивана Тургенева («et mon ami Jvan Tourguénew).

Был ли он «другом» великого романиста, в нашем *русском* (а не французском) смысле, — я не знаю и не

---

[1] Зал потерянных шагов *(франц.)* — большой зал, служивший кулуарами для депутатов.

проверял, но помню только, что Тургенев в своих рассказах и разговорах со мною никогда не упоминал имени Ж. Симона.

У Гарнье-Пажеса была преоригинальная внешность. Тогдашние карикатуры изображали всегда его седую голову с двумя длинными прядями у лица, которые расходились в виде ятаганов. Он смахивал на старого школьного учителя и был тогда еще очень бодрый старик.

Пикар произвел на меня впечатление веселого толстяка.

Все эти члены тогдашней оппозиции обходились с Гамбеттой, как с равным, хотя он был еще тогда только газетный репортер и адвокат с очень малой практикой. Но он уже приобрел известность оратора на сходках молодежи Латинского квартала. Его красноречие уже лилось рекой, всего чаще в тогдашнем Café Procope — древнем кафе (еще из XVIII века), теперь уже там не существующем.

Его приятелем был получивший громкую известность студент *, выпустивший наделавшую тогда шуму радикальную брошюрку под псевдонимом «Pipe en bois». Эта «деревянная трубка» очутился в 1870 году личным секретарем Гамбетты в Туре, и тогда только я и увидал его в натуральном виде, а живя в Латинском квартале, не знал, кто он.

Оппозицию все мы, писавшие тогда о внутренней политике Франции, искренно поддерживали в своих статьях и корреспонденциях, но в менее практическом духе, чем Гамбетта, который, как будущий политический деятель, как бы *провидел,* что без этого ядра противников бонапартизма дело не обойдется в решительный момент.

Чувствуя в себе силы политического борца, он и тогда уже мог питать честолюбивые планы, то есть мечтать о депутатском звании, что и случилось через какой-нибудь год. А пока он жил и работал без устали и как газетный репортер, и как адвокат еще с очень тугой практикой.

Помню, я его навестил. Жил он очень высоко, в Латинском же квартале, недалеко от Palais de justice, в крошечной квартирке. Но это была «квартира», а не меблировка. По правилам французской адвокатуры,

каждый «stagiaire» (то есть по-нашему помощник) должен жить *со своей мебелью,* а не в отеле или chambres garnies[1].

Его не было дома, когда я поднялся к нему на его вышку. Меня приняла старушка, которую я сначала принял за прислугу. Сколько помню, это была его тетка. Не знаю, жива ли была в то время его мать. Отец жил в Ницце, где занимался торговлей вином и оливковым маслом, и пережил сына. Он был жив еще к тем годам, когда я стал проводить зимы на Французской Ривьере.

Когда Гамбетта и Рошфор попали в парламентскую оппозицию, настроение внутренней политики сильно изменилось. Тогда уже и правительство стало либеральничать. И тон прессы, брошюр, речей на митингах и публичных лекциях сильно поднялся. А в зиму 1867—1868 года оппозиция по необходимости должна была пробавляться больше фактическими поправками и очень редко позволяла себе резкие «выпады». В тот сезон красноречие Гамбетты с его тоном и порывами трибуна смущало бы Палату, которая вся почти состояла из приверженцев режима Второй империи гораздо сильнее, чем это было год спустя.

Гамбетта — во всем своем облике, повадке, жестах и, главное, голосе и тоне — был истый южанин, несомненно итальянского типа. Слово «gambètta» значит ведь по-итальянски «ножка». Он и воспитывался на юге, где в его говор въелся на всю жизнь провансальский акцент. От него он не мог отделаться до самой смерти, хотя с годами стал менее сильно отбивать как русское *н* все носовые звуки. Он слова «vin», «pain» и «cinq»[2] произносил, как *вэнь, пэнь, сэнк.* Но этот южный букет придавал его дикции особую силу. Голос вибрировал, жест был широкий, живописный, движения головы, немного откинутой назад, обличали прирожденного трибуна. И во всем, что он говорил, звучала самая твердая убежденность и сквозил ум, верный расчет, высшие ресурсы настоящего государственного человека, который только пользуется редким красноречием для служения своей идее, своему плану, твердо намеченной цели.

---

[1] меблированных комнатах *(франц.).*

[2] вино, хлеб, пять *(франц.).*

В той группе, которая действовала в Палате, когда Гамбетта ходил туда только как журналист, было несколько признанных дарований.

Во-первых — Жюль Фавр, великолепный оратор, с блистательно отделанной фразой, с язвительной дикцией, с внушительным жестом. Но все это отзывалось часто судебной палатой, чувствовался старый боец адвокатуры.

По темпераменту и силе натиска стоял, пожалуй, и выше его боец *легитимизма,* тоже адвокат, — Беррье. Он принадлежал к оппозиции, защищал свои монархические идеалы самой чистой воды, то есть возвращение Бурбонов. Но ему это прощали, потому что он умел «громить» Вторую империю, не отказываясь от своего credo.

В Жюле Симоне чувствовался профессор Сорбонны, привыкший излагать философские системы. «Громить» он не мог и по недостатку физической силы, и по тембру голоса, но его речи были не менее неприятны правительству по своему — на тогдашний аршин — радикализму и фактическому содержанию.

Экс-республиканец Эмиль Оливье уже и тогда стал склоняться к примирению с империей и перед войной сделался первым министром Наполеона III.

Самым опасным для режима парламентским бойцом был, в сущности, старикашка Тьер, с его огромным политическим и литературным прошедшим.

Его речи отличались своим громадным деловым содержанием и колоссальными размерами. Раз при мне он говорил около трех часов без перерыва, а был уже в те годы «старцем» в полном смысле. Но его, также южные, стойкость и юркость делали из него неутомимейшего борца за буржуазную свободу во вкусе Июльской монархии. *Убежденным* республиканцем он, я думаю, никогда не был, даже тогда, когда сделался президентом Третьей республики.

Как отчетливо сохранилась в моей памяти маленькая, плотная фигура этого задорного старика, в сюртуке, застегнутом доверху, с седой шевелюрой, довольно коротко подстриженной, в золотых очках. И его голос, высокий, пронзительный, попросту говоря «бабий», точно слышится еще мне и в ту минуту, когда я пишу эти строки. Помню, как он, произнося громадную речь

по вопросу о бюджете, кричал, обращаясь к тогдашнему министру Руэру:

— Je défie monsieur le ministre d'État![1]

Этот «государственный» министр (при Наполеоне III существовало и такое министерство) был самый главный «столп» тогдашнего режима.

Наши газеты (в том числе и те, где я писал) упорно продолжали печатать его имя по-русски «Руэ», воображая, что окончание «ег» должно быть произносимо без звука «г». И как я ни старался в моих письмах вразумить их, что он Руэр, а не Руэ, он так и остался «Руэ» для русской публики. Не смущало редакцию и то, что «Руэ» значило бы «плут» — «un roué». «Плутом» Руэр не был, но «ловкачом» крупной масти. Из адвокатов, когда-то радикальных взглядов, он сделался «âme damnée»[2] Наполеона III и защищал бонапартизм сильнее, даровитее, умнее всех остальных его пособников. Правда, в такой палате, как тогдашняя, это было не особенно трудно. Не только почти полный ее состав поддерживал правительство, но и президент Законодательного корпуса, хотя и вел себя довольно корректно, представлял собою особое олицетворение наполеоновского режима. Это был граф Валевский, как известно, побочный сын Наполеона I, а стало быть, кузен Наполеона III.

Руэр рядом с фигурой Тьера мог казаться колоссом: плотный, даже тучный, рослый, с огромной головой, которую он, когда входил на трибуну, покрывал черной шапочкой; говорил громко, сердито или с напускным пафосом. И когда разойдется и начнет разносить неприятных ему ораторов, то выпячивал вперед оба кулака и тыкал ими по воздуху. Этот жест знал весь Париж, интересовавшийся политикой.

В моих тогдашних корреспонденциях (и в газете «Москвич», и в «Русском инвалиде») я часто возвращался к парламентским выступлениям государственного министра, который кончил свое земное поприще как «верный пес» Бонапартова режима и после его падения 4-го сентября 1870 года.

---

[1] Я не боюсь господина государственного министра! *(франц.)*
[2] беззаветно преданным *(франц.)*.

К 1868 году Вырубов и Литтре стали издавать журнал «La Philosophie Positive». Я усердно посещал вечера Вырубова, куда Литтре являлся всегда аккуратнейшим образом к девяти часам и к одиннадцати, выпив чашку чаю, брался за свой высокий цилиндр и уходил всегда одинаково одетый в длинноватый сюртук, при белом галстуке.

Я уже говорил, какую изумительно трудовую жизнь вел этот мудрец. Каждый день одна только работа над словарем французского языка брала у него по восьми часов, а остальные восемь он методически распределял между другими занятиями.

Никогда я не слыхал на этих вечерах, чтобы Литтре затевал спор, или повысил тон, или позволил себе какую-нибудь колкость, даже остроту, шутку. Такого серьезного, сдержанного, всегда себе верного француза я и среди стариков не встречал. Даже странно казалось признавать его за настоящего француза и еще менее за парижанина. И выговор у него был самый простой, жестковатый, глухой, без парижской мягкой и певучей картавости. Всего больше он смахивал на какого-нибудь гувернера-швейцарца, из годов моего детства. Тон его делался живым только тогда, когда речь заходила о бонапартизме и, в особенности, о Наполеоне I.

К концу зимнего сезона я написал по-французски этюд, который отдал Вырубову перед отъездом в Лондон. Он давал его читать и Литтре, как главному руководителю журнала, но шутливо заявлял, что Литтре *«в этом»* мало понимает. А «это» было обозрение тогдашней сценической литературы. Этюд и назывался: «Phénomènes du drame moderne»[1].

В этом этюде я говорил не только о театрах Парижа и выдающихся драматургах, но и о критике. Я не мог не поставить впереди других Фр. Сарсе, а из писателей — Дюма-сына. К Ожье я отнесся тогда не так, как стал оценивать его позднее, когда разностороннее изучил его театр. Ожье и Т. Баррьер стояли и тогда как *бытописатели* выше Дюма по созданию характеров и сценическому складу своих комедий. А Сарду и тогда уже являлся для меня ловким сценических дел мастером,

---

[1] «Особенности современной драмы» *(франц.)*.

очень даровитым, но добивающимся прежде всего успеха, чего он и добивался каждой своей новой вещью.

В Дюма-сыне меня привлекали *идейность* его пьес, ум, блестящий диалог и постановка интересных общественных и этических задач. Тогда такая его комедия, как «Les Idées de madame Aubray» считалась очень сильной, и пугливые моралисты находили эти «идеи» рискованными и даже опасными. И Сарсе был как раз тот критик, который стоял на стороне автора и старался защищать его идеи и сюжеты так, чтобы публика с ними полегоньку мирилась. Но в пьесах Дюма привлекали не одни их темы, а также и то, как известные типы и характеры поставлены, как развивались нравственные коллизии и как симпатии автора клонятся к тому, что и мы считали тогда достойным сочувствия.

Мой этюдец я мог бы озаглавить и попроще, но я тогда еще был слишком привязан к позитивному жаргону, почему и выбрал громкий научный термин «Phénomènes». Для меня лично, после статьи, написанной в Москве, летом 1866 года, — «Мир успеха», этот этюд представлял собою подведение некоторых итогов моих экскурсий в разные области театра и театрального искусства. За плечами были уже полных два и даже три сезона, с ноября 1865 года по май 1868 года.

В зиму 1867—1868 года расширилось и мое знакомство с парижской интеллигенцией в разных ее мирах. Парламентская жизнь, литературные новости, музыка (тогда только начавшиеся «популярные» концерты Падлу), опера, оперетка, драматические театры, театральные курсы и опять, как в первую мою зиму, усердное посещение Сорбонны и Collège de France.

Ноту оппозиционного либерализма среди лекторов продолжал держать любимец публики Лабуле на своих курсах в Collège de France. Он не имел ученой степени (как и многие его коллеги) и носил только звание адвоката. Но в таком открытом заведении, как Collège de France, не держались университетской иерархии. Всякий выдающийся писатель, публицист, ученый (в том числе, конечно, и владеющие высшими дипломами) — могли, да и теперь могут, получать там кафедры.

Этот дом курсов — до сих пор единственный во всей Европе, основанный еще при короле Франциске I, доступный всем и каждому, прямо с улицы. Без точных

делений на факультеты, он, однако, давал вам, если б вы захотели слушать все науки, которые там преподают, не только огромное энциклопедическое образование, но и специальную выучку. В идею Collège de France входило также и создание *новых кафедр*, какие еще не введены в университетские программы, по всем отраслям знания. Там же *тогда* (теперь есть уже для этого специальные заведения) только и можно было изучать восточные языки, вплоть до китайского.

Сорбонна была настолько еще в тисках старых традиций, что в ней не было даже особой кафедры старого французского языка. И эту кафедру, заведенную опять-таки в Collège de France, занимал ученый, в те годы уже знаменитый специалист Paulin Paris, отец Гастона, к которому перешла потом кафедра отца. У него впоследствии учились многие наши филологи и лингвисты.

Именами вообще Collège de France щеголял сравнительно с древней Сорбонной. Довольно упомянуть о такой величине в области естествознания, как химик Бертело, а по гуманитарным наукам Ренан и критик Сент-Бёв, тогда уже сенатор империи. Но он не показывался на кафедре после одной неприятной для него студенческой демонстрации (за измену своему прежнему либерализму), и его кафедру латинской словесности занимал всегда какой-то заместитель.

Рядом с Бертело, к кому я, по старой памяти экс-студента химии, также захаживал, стояла такая сила, как Клод-Бернар, создатель новой физиологии, тот самый, кому позднее, при Третьей республике, поставили бронзовую статую перед главным входом во двор Collège de France, на площадке, окруженной деревьями, по rue des Écoles.

Мне уже нельзя было так «запоем» ходить на лекции, как в первую мою зиму, но все-таки я удосуживался посещать всех лекторов, которые меня более интересовали. Из них к Лабуле я ходил постоянно, вряд ли пропуская хоть одну из прекрасно изложенного курса о «Духе законов» Монтескье.

Лабуле занимал кафедру государственного права европейских держав, но выбором своих тем не стеснялся и систематических курсов не читал.

Своей тогдашней популярностью он обязан был своему лекторскому таланту. Он не был оратор в условном

16*

смысле; в нем не чувствовался и бывший судебный защитник, привыкший к чисто адвокатским приемам красноречия. Он говорил довольно тихим голосом, без парижской красивости и франтоватости дикции, но содержательно, с тонкой диалектикой и всякими намеками — в оппозиционном духе.

Из-за них, конечно, больше и ходили к нему и своими аплодисментами поддерживали эти проявления нисколько, в сущности, не крайнего свободомыслия. Но в аудитории Лабуле (она и теперь еще самая просторная во всем здании) чувствовался всегда этот антибонапартовский либерализм в его разных ступенях — от буржуазного конституционализма до республиканско-демократических идеалов.

Сам Лабуле не был вовсе сторонник крайнего демократизма. Он считал даже *всеобщую подачу голосов,* которой Наполеон III воспользовался для своего coup d'État[1], нисколько не желательной *. Когда позднее я у него был с визитом, он, показывая мне серебряную чернильницу, подаренную ему незадолго перед тем его избирателями (он был побит на выборах своим соперником, кандидатом правительства), сказал мне:

— Всеобщая подача — ловушка! Она долго будет поддерживать существующий режим.

Мало было тогда на кафедрах и в публицистике таких чистой воды конституционалистов, как Лабуле, и вообще защитников свободомыслия — не в одной политике.

Тогда и вопрос независимости французской церкви стал на очереди. Бонапартов режим поддерживал папство (французский корпус занимал еще Рим), и французское высшее духовенство все погрязало более и более в ультрамонтанство, то есть в безусловное подчинение римской курии.

А французский епископат еще с XVII века (в лице своих знаменитейших иерархов) отстаивал то, что называется галликанством, то есть традиции некоторой иерархической независимости французской церкви от Ватикана.

Лабуле в ту же беседу со мною, говоря на эту тему, сообщил мне следующий пикантный факт:

---

[1] государственного переворота *(франц.)*.

— Еще недавно, — сказал он, — один из выдающихся наших епископов сказал мне следующую фразу: «Если б *римский господин* («Monsieur de Rome» — старинное обозначение всякого епископа «Monsieur de Lyon», «Monsieur de Paris»)[1] приехал в мою епархию, он служил бы в ней обедню *только с моего разрешения»*.

Теперь такие слова в устах французского архиерея показались бы чуть не богохульством.

Но тогда даже профессор духовного красноречия на богословском факультете Сорбонны, аббат Грэтри (я и к нему заглядывал на лекции), тоже по-своему выказывал некоторое свободомыслие. И часто молодежь (даже и в École Normale Supérieure[2], где он также преподавал) увлекалась им. Он говорил очень искренно и горячо и подкупал этим свою аудиторию более многих лекторов Сорбонны, Collège de France и École de droit.

Профессора Сорбонны были «академичны», но в аудитории «Французского коллежа» охотнее идешь, бывало, чтобы слышать что-нибудь более живое и индивидуальное.

Параллель между двумя лекторами по истории литературы даст этому самую лучшую иллюстрацию. В Сорбонне красиво, с ораторским подъемом читал профессор-писатель St. René Taillandier[3] интересные курсы, больше о классических писателях Франции, например о Мольере, и хорошо готовился к своим чтениям. Но он был слишком уже торжествен и несколько театрально красноречив. В Collège de France читал по истории литературы (своей и отчасти иностранной) просто критик, без ученой высшей степени, — Филарет Шаль, уже состарившийся, болтливый, с сомнительной ученостью, но более живой и забавный.

Та же почти разница чувствовалась и на кафедрах по философии. Их было целых четыре: две в Сорбонне, две в Collège de France. На всех царила метафизика, сложившаяся под влиянием немецкого идеалистического дуализма. Духом позитивизма, то есть научного мышления, не пахло тут. Типичным представителем этого французского «эклектизма» был сорбоннский профессор

[1] Так же зовут ведь французы и палача: Monsieur de Paris. *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

[2] Высшей педагогической школе *(франц.)*.

[3] Сан-Рене Таландье *(франц.)*.

П. Жанѐ. Он и писал и говорил как лектор с известным талантом и большой эрудицией, но все это было половинчатое, на метафизической подкладке. Это все еще было наследие Кузена, насадителя французского эклектизма. В Collège de France Франк, читавший нечто вроде «нравственной философии», был все-таки более живой по темам, какие он задевал, и по нервному изложению, с большим темпераментом и своеобразной, довольно задорной диалектикой.

И тогда во французских гимназиях (то есть лицеях и коллежах) существовал философский класс, как обязательный предмет последнего гимназического года. Стало быть, лекции философии в двух высших заведениях должны бы посещаться очень усердно студентами. Но этого вовсе не было. В Collège de France у Франка бывало еще более публики, но лекции в Сорбонне вообще поражали пустотой своих аудиторий. Еще некоторое исключение представляли собою лекции по литературе. Настоящих, *подлинных* студентов ходило в Сорбонну почти скандально мало.

Обыкновенная физиономия аудитории Сорбонны бывала в те семестры, когда я хаживал в нее с 1865 по конец 1869 года, такая — несколько пожилых господ, два-три молодых человека (*быть может*, из студентов), непременно священник, а то и пара-другая духовных и часто один-два солдата.

Женщин (имевших с Третьей республики свободный вход всюду) *тогда* в Сорбонну не пускали. Зато в Collège de France они были «personae gratae». Им отводили в больших аудиториях все места на эстраде, вокруг кафедры, куда мужчин ни под каким видом не пускали. Они могли сидеть и внизу, в аудитории, где им угодно.

В последние годы в некоторых аудиториях Сорбонны у лекторов по истории литературы дамский элемент занимал собою весь амфитеатр, так что студенты одно время стали протестовать и устраивать дамам довольно скандальные манифестации. Но в те годы ничего подобного не случалось. Студенты крайне скудно посещали лекции и в Collège de France и на факультетах Сорбонны, куда должны были бы обязательно ходить.

В École de médecine[1] и в École de droit ходили гораз-

[1] Медицинской школе (*франц.*).

до больше, особенно на все практические занятия и в клиники.

Из знаменитостей впоследствии был украшением Collège de France и Ренан, но я попал к нему уже гораздо позднее, когда и лично познакомился с ним. Это было уже в 80-х годах. Он тогда читал в той самой аудитории, где когда-то читал *русский* язык старый поляк Ходзько.

Этот Ходзько — бывший русский чиновник, служивший в нашем посольстве в Тегеране. Он когда-то учился, еще в Виленском университете, восточным языкам. Очутившись в Париже, он добыл себе кафедру русского языка, оставшуюся вакантной после смерти Мицкевича *. При мне к нему ходило несколько человек, больше иностранцев, мужчин и женщин, а учеником его был впоследствии сам лектор русского языка и славянских наречий — Луи Леже, которого в этой аудитории сначала я издали принимал за «брата-славянина», потому что он уже бойко болтал и по-польски и даже по-чешски.

Ренан, когда я много лет спустя попал в эту самую аудиторию на его лекции, разбирал какие-то спорные пункты библейской экзегетики и полемизировал с немецкими учеными. Он ходил вдоль стола, около которого сидели слушатели и слушательницы, и, с книжкой в руках, горячился, высокими нотами, похожий на жирненького аббата, с своим полным лицом и кругленьким брюшком.

В тот мой приезд я был и у него в квартире, помещавшейся в здании самого Collège de France. Он уже состоял его администратором — место, которое он сохранил, кажется, до самой смерти.

Он и в разговоре похож был на доброго, очень тонкого и глубоко образованного патера.

Во вторую половину 60-х годов не было более даровитого и завлекательного лектора, как критик Ипполит Тэн.

Его личность занимала меня чрезвычайно. И о его идеях и методах по истории пластики и художественной литературы я еще тогда, живя в Париже, написал этюд (он напечатан был во «Всемирном труде») под заглавием: «Анализ и систематика Тэна» *. Русская молодая публика стала им интересоваться после появления в

русском переводе его «Истории английской литературы». Перевод выпущен был под измененным заглавием *, придававшим всему сочинению оттенок любезной у нас — не художественной, а *общественной* критики. Но это искажало суть всего этого труда.

К Тэну я взял рекомендательную записку от Фр. Сарсе, его товарища по выпуску из Высшей нормальной школы. Но в это время я уже ходил на его курс истории искусств. Читал он в большом «эмицикле»[1] École des beaux-arts. И туда надо было выправлять билет, что, однако, делалось без всякого затруднения. Аудитория состояла из учеников школы (то, что у нас академия) с прибавкою вот таких сторонних слушателей, как я. Дамы допускались только на хоры, и внизу их не было заметно.

Тэн был в эти годы человеком лет сорока, скромной, я бы сказал, учительской наружности, так же скромно одет в черное, носил pince-nez[2], говорил в начале лекции слабоватым голосом, но дальше все одушевлялся, и его дикция и самый язык делались живее, горячее и колоритнее.

Он приносил с собою пачку листков с конспектом предыдущей и предстоящей лекций, которые продолжались около двух часов и происходили всего один раз в неделю.

Начинал он кратким «résumé» предыдущей лекции, причем откладывал листки, быстро обозревая прочитанную в последний раз лекцию. Потом он приступал к новой, держась конспекта, но только вначале. Чем дальше он шел, тем это делалось все больше импровизацией. Он не был *оратор* в условном значении. Манера его стояла посредине между устной беседой и лекторским изложением. Но эта манера делала его, на мою оценку, первым преподавателем во всем Париже. И когда он разойдется, его диалектика и *описательное* красноречие делались блистательными. Вы так и видели те самые картины, о которых он говорил, — до такой степени рельефно и одухотворенно было его лекторское красноречие.

Я имел редкое счастие прослушать целых три его курса: по истории итальянского Ренессанса, голландской

---

[1] полукруглом зале (от *франц.* hémicycle).
[2] пенсне (*франц.*).

живописи и греческого ваяния. Эти курсы вошли потом в его «Философию искусства».

Когда я после одной лекции подошел к нему с рекомендательным «mot»[1] от его товарища Сарсе и Тэн узнал, что я русский, он очень мило сказал мне:

— Увы! Ни одного славянского языка я не знаю, но я *читаю по-немецки,* — прибавил он с некоторой гордостью.

Тогда знание немецкого языка среди французских писателей, ученых и журналистов было большой редкостью. А Франция владела ведь тогда целыми двумя *немецкими* провинциями — Эльзасом и Лотарингией.

Но Тэн зато прекрасно знал по-английски, и его начитанность по английской литературе была также, конечно, первая между французами, что он и доказал своей «Историей английской литературы». Знал он и по-итальянски, и его «Письма из Италии» — до сих пор одна из лучших книг по оценке и искусства и быта Италии. Я в этом убедился, когда для моей книги «Вечный город» обозревал все то, что было за несколько веков писано о Риме.

Аудитория Тэна, где огромное большинство составляли ученики школы, была, конечно, не на высоте полного понимания своего лектора. Эта молодежь была все-таки гораздо лучше подготовлена, чем студенты. Она не могла, конечно, не чувствовать таланта, ума Тэна и его специальных познаний, но вполне ценить все это, делать сравнение с другими лекторами Парижа вряд ли была в силах. Для меня же три курса Тэна сделались великолепными «пропилеями» ко входу в мир искусства и не только повысили уровень моего понимания, но и дали гораздо более прочные основы в вопросах творчества и художественного мастерства.

Везде, во всех аудиториях, кроме курсов по специальным наукам и практических занятий, персонал слушателей был *случайный.* Это меня очень удивляло на первых порах.

— Где же студенты? — спрашивал я себя.

А их были и тогда тысячи в Латинском квартале. Они ходили на медицинские лекции, в анатомический театр, в кабинеты, в клиники. Ходили — но далеко не

[1] Здесь: устная рекомендация *(франц.).*

все — на курсы юридического факультета. Но Сорбонна, то есть главное ядро парижского *Университета* с целыми тремя факультетами, была предоставлена тем, кто из любопытства заглянет к тому или иному профессору. И в первый же мой сезон в «Латинской стране» я, ознакомившись с тамошним бытом студенчества, больше уже не удивлялся.

Тогдашнее студенчество, состоявшее почти сплошь из французов, более веселилось и «прожигало» жизнь, чем училось. Политикой оно занималось мало, и за несколько лет моего житья в Париже я не видал ни одной сколько-нибудь серьезной студенческой манифестации. Оно и не было совсем сплочено между собою. Тот студенческий «Союз», который образовался при Третьей республике, еще не существовал. Не было намека и на какие-нибудь «корпорации», вроде немецких.

Студента вы всегда могли отличить по его молодости, манере одеваться, прическе, тону, жестам. Но никаких *внешних* отличий на нем не было. Тогда не видно было и тех *беретов,* которые теперь студенты носят, как свой специальный «головной убор». Все кафе, пивные, ресторанчики бывали полны молодежи, и вся она где-нибудь да значилась, как учащаяся. Но средний, а особенно типичный студент, проводил весь свой день где угодно, но только не в аудиториях.

Меня на первых порах даже огорчало это повальное жуирство и запойное отлынивание от занятий. Я привык даже и в России представлять себе студенческую жизнь, как трудовую, разумеется с прибавкою товарищеских сходок, даже выпивок и пирушек. И балтийские бурши в Дерпте, и студенты германских университетов, принадлежащие к разным корпорациям, ведут праздную «буршикозную» жизнь до известного предела. Они много пьют, столько же тратят времени на свои пирушки, дуэли, «коммерсы», празднества и поездки, но все-таки в массе больше посещают лекции. Так было при мне в Дерпте. То же видал я впоследствии в Берлине, в Гейдельберге, в Вене. А тут физиономию Латинскому кварталу давали именно те студенты, которые сотнями «шалдашничали», выражаясь нашим дерптским студенческим словечком.

Поживя в нескольких отельчиках Латинского квартала, уже в течение одной зимы и позднее я прекрасно

ознакомился с тем, как средний студент проводит свой день и что составляет главное «содержание» его жизни. Печать беспечного «прожигания» лежала на этой жизни — с утра до поздних часов ночи. И эта беспечность поддерживалась тем, что тогда (да и теперь это еще — правило) студенты в огромном большинстве были обеспеченный народ.

Это не так, как повсеместно у нас. Родители дотянут малого до аттестата зрелости, и то сами терпя нужду, а на студенческие годы обеспечить сына им не из чего. Французский буржуа, рантье, купец, учитель, чиновник, даже крестьянин не отправят сына учиться в Париж, не имея возможности давать ему ежемесячно ну хоть франков полтораста, а тогда на это можно было жить в Латинском квартале *безбедно* и целые дни ничего не делать. Поэтому у нас давным-давно завелся настоящий студенческий пролетариат. Русский студент — это «паупер» в самом настоящем смысле. Может быть, теперь, в XX веке, в Париже и завелись среди *французов* такие «пауперы», но тогда (во второй половине 60-х годов), мы их не знавали и нигде не встречали.

Вы могли изо дня в день видеть, как студент отправлялся сначала в crêmerie, потом в пивную, сидел там до завтрака, а между завтраком и обедом опять пил разные «consommations» [1], играл на бильярде, в домино или в карты, целыми часами сидел у кафе на тротуаре с газетой или в болтовне с товарищами и женщинами. После обеда он шел на бал к Бюллье, как кратко называли прежнюю «Closerie des Lilas», там танцевал и дурачился, а на ночь отправлялся с своей «подругой» к себе в отельчик или к этой подруге.

Резкое отличие французских студенческих нравов от русских и немецких — это *женский пол,* его преобладающее значение в парижской студенческой жизни того времени. Это нас, русских, тоже если не удивляло, то немножко коробило, иногда даже и *беспокоило.* В отельчиках, где вы скромно проживали, вашими соседями почти всегда бывали студенты. Буйства, пьяных сцен не бывало никогда, но через тонкую стену вы делались невольным слушателем ночных сцен — не одних только эротических, но и сцен ревности, ссор, перебранок, даже

---

[1] напитки *(франц.).*

женского плача, визга и крика. И все это — в ночные часы.

Как только студент имел побольше от родителей, он непременно обзаводился подругой, которую тут же, в Латинском квартале, выбирал из тех якобы «гризеток», которыми полна была жизнь кафе и бульвара St. Michel, а в особенности — публичных балов.

Даже не очень строгий моралист мог быть огорчен тем, что *учащаяся* молодежь так «загрязняет» свои лучшие годы в постоянной возне с продажными женщинами, привыкает к их обществу, целыми днями ведет пустую и часто циничную болтовню.

Да, все это так, но студенческие легкие связи и «сожительства» были все-таки сортом выше грубого разврата, чисто животного удовлетворения мужских потребностей! Это воздерживало также и от пьянства, от грязных кутежей очень многих из тех, кто обзаводился подругами и жил с ними как бы «maritalement» [1]. Это же придавало Латинскому кварталу его игривость, веселость, постоянный налет легкого французского прожигания жизни.

Я уже сказал сейчас, что студенческая масса была почти сплошь французская. Германских немцев замечалось тогда мало; еще меньше англичан; но водились группы всяких инородцев романской расы: итальянцев, румын (их парижане звали всегда «valaques») [2], испанцев, мексиканцев и из южных американских стран — в том числе и бразильцев.

Русских почти что вы не видали — по крайней мере *настоящих* студентов. Все русские, которые ютились в Латинском квартале, были *тогда* наперечет. Политические явились позднее, эмиграция держалась только в Женеве и вообще в Швейцарии. Водилось несколько поляков из студентов, имевших в России разные истории (с одним из них я занимался по-польски), несколько русских, тоже с какими-то «историями», но какими именно — мы в это не входили; в том числе даже и какие-то купчики и обыватели, совершенно уже неподходящие к студенческому царству. Водились и два-три мелких литератора, которые где-то пописывали. Вся эта

[1] по-супружески (*франц.*).
[2] валахи (*франц.*).

братия собиралась всего чаще в том Café de la Rotonde[1] в улице Медицинской школы, которое давно уже не существует. Самый дом был сломан и перестроен. Там завелся и картеж и кое про кого говорили, что они живут картами. Но ничего подобного русской колонии, какая теперь есть в Париже, еще не имелось. И вообще русская «интеллигенция» представлена была крайне скудно, за исключением тех молодых ученых, которые приезжали со специальными целями.

Тогда русский эмигрант или вообще ищущий участия в революционном движении не нашел бы себе надлежащей почвы. Парижское студенчество, как я уже заметил, тогда (то есть в период 1865—1868 годов) не занималось ни подпольным, ни явным движением. Но *общий дух* делался все-таки более оппозиционным.

Я уже имел повод заметить, что тогда и для всех нас — чужестранцев режим Второй империи вызывал *освободительное* настроение. Была эмиграция с такими именами, как В. Гюго, Кине, Луи Блан, Ледрю-Роллен. И парламентская оппозиция, хотя и маленькая числом, все-таки поддерживала надежды демократов и республиканцев. Пресса заметно оживлялась. Прежних тисков уже не было, хотя и продолжала держаться система «предостережений».

В газетной прессе действовали не одни клевреты 2-го декабря, не одни Кассаньяки. Полегоньку поднимали голову и сторонники конституционного либерализма, и люди с идеалами революции 1848 года. Но даже и более ловкие, чем убежденные журналисты, вроде Эмиля Жирардена, вели также либерально-оппозиционную *игру*.

С этой характерной личностью, игравшей крупнейшую роль в газетной прессе за целых тридцать лет, я несколько позднее лично познакомился. Он был «хамелеон», но не мелко продажный и по-своему даже смелый, хотя всегда славолюбивый и влюбленный в себя.

С 40-х годов он сделался самым энергичным и блестящим газетчиком и успел уже к годам империи составить себе состояние, жил в собственных палатах в Елисейских полях, где он меня и принимал очень рано утром. К тому времени он женился во второй раз, уже старым человеком, на молоденькой девушке, которая

---

[1] Кафе Ротонды *(франц.)*.

ему, конечно, изменила, из чего вышел процесс. Над ним мелкая сатирическая пресса и тогда уже острила, называя его не иначе, как «le grand Emile»[1].

После того как он сделал из газеты «Presse» самый бойкий орган (еще в то время, как его сотрудницей была его первая жена Дельфина), он в последние годы империи создал газету «Liberté» и в ней *каждый день* выступал с короткой передовой статьей, где была непременно какая-нибудь новая или якобы новая *идея*. Про него и говорили, что у него 365 идей в год. Но несомненно было то, что всегда в его передовице ставился ребром какой-нибудь вопрос. И написана была статья всегда ярко, короткими фразами, в особом, скором темпе, с удачными доводами и часто блестящими тирадами.

«Работоспособностью» он обладал изумительной, начинал работать с шести часов утра, своими сотрудниками помыкал, как комми[2], беспрестанно меняя их, участвовал, кроме того, в разных акционерных предприятиях, играл на бирже, имел в Париже несколько доходных домов, в том числе и тот, где я с 1868 года стал жить, в rue Lepelletier около Старой Оперы. И от хозяйки моего отельчика я слыхал не раз, что «le grand Emile» — большой кулак в денежных расчетах.

Он постоянно заигрывал и с парламентской оппозицией (не принадлежа к ней прямо) и с правительством. Ему, как тогда все говорили, ужасно хотелось попасть в сенаторы, но сенаторство ему не давалось. Должно быть, и Наполеон III не считал его надежным сторонником. На него никто не мог рассчитывать. Но это не помешало ему потом, с водворением Третьей республики, сделаться защитником республиканского режима.

Оппозиция шла в печати и литературе, и не от одних республиканцев и сторонников конституционных порядков в духе либеральной монархии. Она шла и из клерикального лагеря.

Одной из самых ярких фигур публицистической литературы тех годов являлся бесспорно Луи Вейльо — сторонник церковно-монархического легитимизма. К тому времени он приготовил целую книгу своих очерков сто-

---

[1] Эмиль великий *(франц.)*.
[2] приказчиками (от *франц.* commis).

личной жизни «Запахи Парижа», где излил весь свой темперамент обличителя и памфлетиста. Для него все было в этом Париже изгажено и отравлено всяческой испорченностью. С высот своего credo он одинаково клеймил и осмеивал ненавистный ему дух времени, не делая исключения ни для какой партии, ни для какого направления, ни для какой стороны тогдашней французской, в особенности парижской, жизни. Книжка эта была, по-своему, так талантливо и ярко написана, что я посвятил ей этюд, который и появился там же, где моя «Жертва вечерняя», то есть в журнале «Всемирный труд», под тем же заглавием «Запахи Парижа» *.

Но настоящим, характерным газетных дел мастером конца Второй империи был Вильмессан, создатель «Фигаро», сначала еще еженедельника, сделавшегося очень популярным среди молодежи Латинского квартала.

Он обладал такой же ловкостью, как Э. Жирарден, но был новее, гибче, умел выискивать начинающие таланты, сам преисполнен был всяких житейских и жуирных инстинктов. Он действительно изображал собою *Фигаро* той эпохи, перенесенного из комедии Бомарше в дни самого большого блеска Французской империи — к выставке 1864 года.

Вильмессану удалось привлечь к своему журналу (и дать им полный ход) двух молодых хроникеров Парижа — Альбера Вольфа и скоро потом прославившегося Рошфора. Уже тогда на одной сочувственной карикатуре какого-то иллюстрированного листка они оба были нарисованы как два кузнеца, бьющие молотом по одной наковальне.

Вольф попал в Париж, как безвестный еврей родом из Кельна, и долго пробивался всякой мелкой работой, но рано овладел хорошо французским стилем и стал писать в особом тоне, с юмором и той начитанностью, какой у парижан, его сверстников, было гораздо менее. Вильмессан создал из него хорошего партнера для Рошфора, который, побывав и в водевилистах, сразу стал заявлять себя, как из ряду вон выдающийся остроумец, но в гораздо более радикальном, как мы говорим теперь — «разрывном» духе. «Фигаро» и дало ему быструю и громкую популярность, сделавшую то, что вскоре потом его «Lanterne» стала не на шутку колебать шаткие устои Второй империи.

Тогда, то есть в 1868 году и позднее, в Париже мне приводилось видать его издали, в театрах, но во время войны, когда он жил еще эмигрантом в Брюсселе (тотчас после Седана), я посетил его. Но об этом расскажу дальше.

Меня опять потянуло в Лондон. И на этот раз я собрался туда на целый «season» — в тамошнем значении слова, то есть с мая по вторую половину августа.

Париж уже не давал мне, особенно как газетному сотруднику, столько же нового и захватывающего. Да и мне самому для моего личного развития, как человеку моей эпохи и писателю, хотелось войти гораздо серьезнее и полнее в жизнь английской «столицы мира», в литературное, мыслительное и общественно-политическое движение этой своеобразной жизни.

Такие наблюдатели, как Тэн и Луи Блан, писали об английской жизни как раз в эти годы. Второй и тогда еще проживал в Лондоне в качестве эмигранта. К нему я раздобылся рекомендательным письмом, а также к Миллю и к Льюису. О приобретении целой коллекции таких писем я усердно хлопотал. В Англии они полезнее, чем где-либо. Англичанин вообще не очень приветлив и на иностранца смотрит скорее недоверчиво, но раз вы ему рекомендованы, он окажется куда обязательнее и, главное, *гостеприимнее* француза и немца.

За всю зиму в Париже я продолжал заниматься усиленно и английским языком, уже зная по опыту, что в Лондоне не достаточно порядочно знать язык, но надо приобресть и такой выговор, чтобы вас сразу понимали не только образованные люди, но и простой народ.

Моего прошлогоднего чичероне по Лондону, А. И. Бенни, уже не было тогда в Лондоне, но добрейший Рольстон здравствовал, жил все там же, поблизости Британского музея, где неизменно и состоял библиотекарем. Он любезно подыскал мне и квартирку в той же улице, где и сам жил, так что мне не было надобности выезжать в отель. Я прямо с вокзала и отправился туда.

Переплывая Канал, уже во второй раз, я и тут не испытал припадков морской болезни. Качка дает мне

только приступы особенного рода головной боли, и если море разгуляется, то мне надо лежать. Но и в этот довольно тихий переезд я опять был свидетелем того, до какой степени англичанки подвержены морской болезни. Она, как только вступила на палубу, то сейчас же ляжет и крикнет:

— Steward! a basin! (Служитель! Лоханку!)

Год без малого пролетел у меня так быстро в Париже, что мне показалось, точно будто я не выезжал из этого самого Лондона. И жить попал в него в тот же квартал, с тем же Рольстоном, как моим ближайшим соседом.

Тогда, да еще при тогдашнем хорошем курсе, жизнь в Лондоне не только казалась, но и была действительно дешева — дешевле парижской, если прикинуть к ней то, что вам давали в Лондоне за те же деньги. За такую квартиру, какую мне нанял Рольстон от хозяйки — в нижнем этаже, из двух прекрасных комнат, — вы и в Латинском квартале платили бы сто, сто двадцать франков, а тут за неделю (с большим утренним *завтраком*) *фунт* с чем-то, а фунт стоил тогда не больше семи русских рублей. Стало быть, в месяц рублей 30, много 35. И утренний завтрак состоял всегда, кроме чая или кофе, из бараньих котлет, масла, сыру, гренков. Прислуживала мне дочь хозяйки-вдовы — очень воспитанная девушка, которая просила у меня всегда позволения поиграть в мое отсутствие на фортепьяно, за которое я ничего особенно не платил. Уход, тишина, чистота были образцовые.

Сразу наладилась моя жизнь лондонского холостяка, живущего в таком furnished apartment[1]. Весь свой день я уже привык и в Париже строго распределять. И мои хозяйки невидимо заботились о том, чтобы все шло, как в хорошо смазанной машине. Выйдешь в салончик, где я и работал, а на круглом столе все уже приготовлено к завтраку. Сейчас прибежит мальчик, крикнет на особый лад, бросая три газеты вниз, за решетку, где помещается подпольная кухня, как во всех лондонских обывательских домах. Платье давно уже вычищено. И покатишься так, точно по рельсам.

Свои экскурсии по Лондону я распределил на несколько отделов. Меня одинаково интересовали главные

---

[1] в таких меблированных комнатах *(англ.)*.

течения тогдашней английской жизни, сосредоточенные в столице британской империи: политика, то есть парламент, литература, театр, философско-научное движение, клубная и уличная жизнь, вопрос рабочий, которым в Париже я еще вплотную не занимался.

Так были мной распределены и те мои знакомства, какие я намечал, когда добывал себе письма в Лондон в разные сферы. Но, кроме всякого рода экскурсий, я хотел иметь досуги и для чтения, и для работы в Британском музее, библиотека которого оказала мне даже совершенно неожиданную для меня услугу, как *русскому* писателю.

Рольстон — хоть и очень занятой по своей службе в Музее — не отказывался даже водить меня по разным трущобам Лондона, куда не совсем безопасно проникать ночью без полисмена. Он же подыскал мне одного впавшего в бедность магистра словесности (magistre artium, по английской номенклатуре), который занимался со мною по литературному изучению английского стиля и поправлял мне мой слог, когда я писал мою первую статью на английском языке: *«Нигилизм в России»* (The Nihilism in Russia), о которой поговорю ниже.

Попал я через одного француза с первых же дней моего житья в этот сезон в пансиончик с общим столом, где сошелся с русским отставным моряком Д. — агентом нашего «Общества пароходства и торговли», образованным и радушным холостяком, очень либеральных идей и взглядов, хорошо изучившим лондонскую жизнь. Он тоже немало водил и возил меня по Лондону, особенно по части экскурсий в мир всякого рода курьезов и публичных увеселений, где «нравы» с их отрицательной стороны всего легче и удобнее изучать.

Только в это второе пребывание в британской «столице мира» я *почувствовал,* какая это громадина и чем она в своих самых характерных чертах отличается от такой же громадины — Парижа. Но Париж, после Лондона, должен казаться гораздо мельче, при всем том, какое он пространство занимает и даже при его теперешних *двух с половиною* миллионах жителей.

Размеры и напряженность уличной лондонской жизни — вот что дает это впечатление громадности. И жизнь во всех ее проявлениях так огромна и типична, что вы очень быстро забываете всю красивую, милую, наряд-

ную и тоже по-своему обширную жизнь французской столицы. Вы так же быстро миритесь с однообразием улиц, где ряды закоптелых кирпичных домов стоят без малейшего намека на архитектурную красивость, где торговый и промышленный склад накладывает на все свою лапу и не дает вам ничего красивого и привлекательного. Но все это бледнеет перед мощью энергической жизни, перед накоплением ценностей, перед картинами не одной только телесной, но и духовной энергии. И рядом со всем этим вы и здесь, и там, и на больших пространствах находите то, что вам не даст Париж — ни такой реки, ни такой пристани, ни таких домов, ни таких парков, ни таких зданий, как парламент, ни таких катаний, как в Гайд-Парке, ни таких народных митингов, как на Трафальгар-Сквере.

Я уже сказал в начале этой главы, что здесь, в этих личных воспоминаниях, я не хочу повторяться и лишь кратко коснусь многого, что вошло в мою книгу «Столицы мира». То же, к сожалению, должен сказать и о тех ценных знакомствах с самыми выдающимися англичанами, какие выпали на мою долю в этот летний лондонский сезон 1868 года. По латинской поговорке: «non bis in idem»[1]. Но дать здесь некоторый «варьянт» того, что вошло уже в «Столицы мира», я все-таки должен, и читатели мои на меня, надеюсь, не посетуют.

Русские моего времени, когда попадали в Лондон, все — если они только были либерально настроенные — являлись на поклон к издателю «Колокола». Но ни в 1868 году, ни годом раньше, в 1867 (когда я впервые попал в Лондон) Герцена уже не было в Англии, и я уже рассказал о нашей полувстрече в Женеве в конце 1865 года.

С прекращением лондонского «Колокола» исчезло там и ядро русской эмиграции с такой притягательной силой, как Герцен. Я не знаю, оставался ли там в сезон 1868 года кто-нибудь из русских беглецов, но если и оставался, то из самых темных. Тот отставной моряк Д., о котором я сейчас говорил, конечно рассказал бы мне, есть ли *интересные* русские эмигранты и как они существуют. Но я таких разговоров не помню. Все русские, с какими я познакомился там (с одним из них даже

[1] не взыскивать дважды за одно и то же *(лат.)*.

очень сошелся), принадлежали к «легальным» сферам. И никакого места, где бы можно было найти «политических», мне никто не указывал.

Зато французов было тогда не один десяток — и во главе их эмиграции стояли такие имена, как бывший министр при Февральской республике и знаменитый трибун Ледрю-Роллен и не менее его известный Луи Блан. *Ледрю* (как его кратко называли французы) жил в самом Лондоне, а Луи Блан в приморском городе Брайтоне.

К нему я имел письмо, а к Ледрю меня повез хозяин того табльдота, где я обедал, — тоже эмигрант, бежавший после переворота 2-го декабря, из южан, самого обыкновенного обывательского типа француз, очень счастливый тем, что мог устроиться как хозяин пансиончика с общим столом, вероятно из мастеровых или нарядчиков, но сохранивший налет тогдашнего полубуржуазного демократизма с искренней ненавистью к «узурпатору», который владел тогда Францией.

Бывший трибун и героический министр внутренних дел (которому прокламации писала сама Жорж Занд, тогда его возлюбленная) принял нас довольно суховато. Мой эмигрант держался с ним весьма приниженно, а тот свысока.

Наружность Ледрю казалась в молодости эффектной, а тут передо мной был плотный, пожилой француз, с лицом и повадкой, я сказал бы, богатого рантье. Узнав, что я долго жил среди парижской учащейся молодежи, он стал говорить, что студенты, вместо того чтобы ходить по балам и шантанам, готовились бы лучше к революционному движению.

То, что он говорил, было симпатично, но тон его мне не понравился. В нем слишком чувствовалась экс-знаменитость, глухо-раздраженная тем, что года идут, ненавистный Бонапарт заставляет плясать по своей дудке всю Европу, а он, Ледрю, должен глохнуть в безвестной, тусклой жизни эмигранта, никому не опасного и даже во Франции уже наполовину забытого.

Если он и поддерживал тогда какие-нибудь тайные сношения с республиканцами, то роли уже не играл и в подпольных конспирациях. С Англией у него тоже не было никаких связей. Как истый француз, он отличался равнодушием ко всему, что не французское. И я не знаю,

выучился ли он порядочно по-английски за свое достаточно долгое житье в Лондоне — более пятнадцати лет.

Совсем не то надеялся я найти у его соперника по Февральской республике Луи Блана. Тот изучил английскую жизнь и постоянно писал корреспонденции и целые этюды в газету «Temps», из которых и составил очень интересную книгу об Англии* за 50-е и 60-е года, дополняющую во многом «Письма» Тэна об Англии.

К Луи Блану мы отправились вдвоем с Г. И. Вырубовым, приехавшим ко мне на несколько дней. Я нашел ему комнату в нашем же меблированном доме. Он уже стал, с 1868 года, издавать вместе с Литтре свое обозревание «Philosophie Positive», где в одной из ближайших книжек и должна была появиться моя статья «Phénomènes du drame moderne».

Луи Блан пригласил нас завтракать в Брайтон.

Он жил на набережной, в небольшой квартирке — светлой, довольно уютной. Его хозяйством заведовала какая-то скромная особа, похожая на англичанку. Кажется, он и позднее не был женат.

И тогда уже ему шел давно шестой десяток. Я, по рассказам лиц, знавших его еще в дни Февральской республики, представлял себе маленького человека с наружностью, совсем не подходящей к роли революционера-социалиста, главы тогдашнего рабочего движения. И нашел я действительно маленькую фигурку, очень моложавого господина, совершенно неопределенных лет, с живым тоном, немного задорным и с жидким голоском. Позднее, когда после падения империи Луи Блан вернулся и я с ним виделся в Версале, мне бросилось в глаза то, о чем я слыхал и раньше, *будто бы он подрумянивал себе щеки*. Но тогда, в Брайтоне, я этого не замечал или не заметил.

Он много говорил тогда о своем друге Годефруа Каваньяке, брате временного диктатора, которого он считал одним из величайших граждан своей родины. И в его тоне слышны были еще ноты раздражения. Старые счеты с своими сверстниками, врагами или лжедрузьями, еще не улеглись в его душе.

В этих воспоминаниях я держусь объективных оценок, ничего не «обсахариваю» и не желаю никакой тенденциозности ни в ту, ни в другую сторону. Такая личность, как Луи Блан, принадлежит истории, и я не

претендую давать здесь о нем ли, о других ли знаменитостях *исчерпывающие* оценки. Видел я его и говорил с ним два-три раза в Англии, а потом во Франции, и могу ограничиться здесь только возможно верной записью (по прошествии сорока лет) того, каким я *тогда* сам находил его.

Его живая беседа, полная фактов и суждений в категорической форме, не давала впечатления цельной, сильной натуры. В нем что-то было, *для меня,* ниже его всемирной репутации. Но, во всяком случае, он казался мне гораздо симпатичнее Ледрю-Роллена, неизмеримо его образованнее и *новее.* Он не замариновал себя в узости и нетерпимости эмигранта. Долгое пребывание в Англии расширило его собственный кругозор. Он остался верен своим идеалам и своей социальной доктрине; но жизнь британского общества и народа многому его научила, и он входил в нее с искренним интересом, без высокомерного самодовольства, которым так часто страдали французы его эпохи, когда им приводилось жить вне своего отечества.

Завтракать с нами Луи Блан пригласил Джона Морлея, и тогда уже известного писателя, автора замечательных этюдов о Дидро и Руссо, редактора «Fortnightly Review» после Льюиса, который и основал этот журнал.

«Fortnightly» значит *две недели,* и при Льюисе журнал выходил два раза в месяц, но при Морлее сделался ежемесячным.

Для меня это знакомство было особенно ценным. Морлей принадлежал к самой передовой и свободомыслящей группе тогдашних лондонских «интеллигентов», к последователям и почитателям Дж.-Ст. Милля.

Тогда он смотрел еще очень моложаво, постарше меня, но все-таки он человек скорее нашего поколения. Наружности он был скромной, вроде англиканского пастора, говорил тихо, сдержанно, без всякого краснобайства, но с тонкими замечаниями и оценками. Он в то время принадлежал исключительно литературе и журнализму и уже позднее выступил на политическую арену, депутатом, и дошел до звания министра по ирландским делам в министерстве Гладстона.

Общий наш разговор у Луи Блана шел по-французски. Морлей объяснялся на этом языке свободно. После завтрака мы пошли гулять по набережной, и вот тут Мор-

лей стал меня расспрашивать о том русском движении, которое получило уже и в Европе кличку «нигилизма».

— Мы говорим об этом русском движении в печати, но, в сущности, никто у нас о нем хорошенько не знает, — так он, с британской честностью, высказался мне.

Я постарался набросать ему в общих чертах элементы этого движения и в философско-научном, и в общественном смысле. Это его настолько живо заинтересовало, что он тут же сказал мне:

— А что, если бы вы написали статью для «Fortnightly» на эту именно тему? Я был бы вам очень благодарен.

Я стал оговариваться насчет того, что не достаточно владею английским стилем, но Морлей считал это несущественным. И, как истый британец, сейчас же стал условливаться со мною о времени появления статьи.

— Могу оставить вам место в июльской книжке и уделю вам двадцать с лишком страниц.

Предложение было довольно-таки заманчиво. Я взял у него несколько дней сроку для ответа. Дело было в конце мая, стало, мне оставался всего какой-нибудь месяц.

Сговорившись с моим «магистром» насчет поправки моего языка, я известил Морлея, что приступаю к работе, и к сроку она была готова. Мы ее и назвали без всяких претензий: «Нигилизм в России».

И вот, когда мне пришлось, говоря о русской молодежи 60-х годов, привести собственные слова из статьи моей в «Библиотеке» «День» о молодом поколении» (где я выступал против Ивана Аксакова), я, работая в читальне Британского музея, затребовал тот журнал, где напечатана статья, и на мою фамилию Боборыкин, с инициалами П. Д., нашел в рукописном тогда каталоге перечень всего, что я напечатал в «Библиотеке». В Британском музее и писалась черновая статьи. Через день приходил ко мне мой ментор, брал листки и делал свои поправки, а потом все и перебеливал.

Когда я получил из конторы «Fortnightly» первый мой английский гонорар, я был счастлив тем, что мог предложить моему магистру дополнительное вознаграждение за его занятия со мною. Пикантно было то, что мне, неизвестному в Англии русскому писателю, заплатили полистную плату гораздо выше той, какую я получал

тогда в России не только за журнальные или газетные статьи, но и за пьесы и романы.

Свой *чек* на банкиров бр. Беринг — увы! я весьма скоро должен был разменять на фунты и истратить их!

Льюис — автор «Физиологии обыденной жизни», как я сейчас сказал, не был уже в то время редактором основанного им «Fortnightly Review». Знакомство с ним, кроме того что он сам тогда представлял собою для людей моего поколения, тем более привлекало меня, что он жил maritalement с романисткой, известной уже тогда всей Европе под мужским псевдонимом *Джордж Элиот*. Ее настоящей девической фамилии никто тогда из нас хорошенько не знал. Но известно было многим, что она была девицей, когда сошлась с ним. Их *настоящему* браку мешало, кажется, то, что сам Льюис не был свободен.

Льюис жил в пригороде Лондона, в комфортабельном коттедже, где они с Джордж Элиот принимали каждую неделю в дообеденные часы. Вся тогдашняя свободомыслящая интеллигенция ездила к автору «Адама Бида» и «Мидльмарса», не смущаясь тем, что она не была подлинной мистрисс Льюис. При отце жил и его уже очень взрослый сын от первого брака — и всегда был тут, во время этих приемов.

Никогда я не встречал *англичанина* с такой наружностью, тоном и манерами, как Льюис. Он ни малейшим образом не смахивал на британца: еще не старый брюнет, с лохматой головой и бородой, смуглый, очень живой, громогласный, с нервными движениями, — он скорее напоминал немца из профессоров или даже русского, южанина. Тогда я еще не знал доподлинно, что он был еврейского происхождения.

Зато знаменитая его подруга была англичанка чистой крови, на вид не моложе его, *очень* некрасивая, с типичной респектабельностью всего облика, с тихими манерами, молчаливая, кроткая и донельзя скромная. Как хозяйка настоящего литературного салона — она вела себя с трогательной скромностью. Не знаю, происходило ли это от одной только слишком развитой застенчивости. Отчасти — вероятно. Но если что-нибудь ее заинтересовывало в общей беседе, она вставляла свой вопрос или замечание, в которых сейчас же проявлялись ее высокая развитость и начитанность.

Для меня, как пылкого тогда позитивиста, было особенно дорого то, что эта писательница, прежде чем составить себе имя романистки, так сама себя развила в философском смысле и сделалась последовательницей учения Огюста Конта. Но я знал уже, когда ехал в Лондон с письмом к Льюису, что Джордж Элиот — позитивистка из так называемых «верующих», то есть последовательница «Религии человечества», установленной Контом под конец его жизни.

В Англии это учение нашло себе горячего последователя в некоем Конгриве, и Джордж Элиот вместе с несколькими своими друзьями сделалась членом этой церкви. Конгрива я не видал и не искал его знакомства, но он, если не ошибаюсь, был еще жив и проживал в Лондоне.

Из членов этой «позитивной» общины самым талантливым и общительным был писатель (и по профессии адвокат) Фредерик Гаррисон, к которому я также имел письмо из Парижа. Он и двое из его приятелей, писатель Крэкрофт и историк Бисли, окружали г-жу Элиот самым неизменным преклонением и перед ее дарованием, и перед личностью. Сам Льюис вряд ли тогда причислял себя к верующим позитивистам, но он был, несомненно, почитатель «Системы» Огюста Конта и едва ли не единственный тогда англичанин, до такой степени защищавший научное мировоззрение. Он был вообще поборником свободных идей, идущих в особенности из Германии, которую он прекрасно знал и давно уже сделался там популярен своей книгой о Гете.

Встреться я с ним в Берлине или Вене, я бы никогда и не подумал, что он англичанин. Разве акцент выдал бы его, да и то не очень. По-немецки и по-французски он говорил совершенно свободно.

Салон Льюиса и Дж. Элиот нашел я в тот сезон, конечно, самым замечательным по своей любви к умственной свободе, по отсутствию британского «cant'a» (то есть лицемерия) и национальной или сословной нетерпимости. Тут действительно все дышало идейной жизнью, демократическими симпатиями и смелостью своих убеждений.

Из их кружка с тремя позитивистами — Гаррисоном, Крэкрофтом и Бисли — я продолжал знакомство вплоть до моего отъезда из Лондона, был у Гаррисона и в

деревне, где он жил в имении с своими родителями. Его как писателя я уже оценил и до личного знакомства. Его публицистические и критические этюды и появлялись больше в «Fortnightly».

Историк Бисли — из них всех — ставил Дж. Элиота особенно высоко. И он и Крэкрофт говорили мне на ту тему — как их кружок был обязан Дж.-Ст. Миллю своим умственным возрождением и как они, еще незадолго перед тем, должны были отстаивать свое свободомыслие от закорузлой британской ортодоксальности. И Дж. Элиот много помогла им своим пониманием и сочувствием.

Научно-философский дух этого кружка тогда совсем не господствовал и в английских университетах. И в Оксфорде, и в Кембридже царила еще дуалистическая метафизика, да и в конце 90-х годов (как я сам мог убедиться в этом) Оксфорд шел — в философском смысле — на буксире немецких метафизиков, неокантианцев и других. Эта небольшая группа тогдашних последователей Конта, Милля и отчасти Спенсера (о нем речь пойдет ниже) и была настоящим свободомыслящим *оазисом* в тогдашней лондонской интеллигенции — среди сотен писателей, журналистов, «клерджименов»[1] и педагогов обыкновенного, *«респектабельного»* типа.

К Дж.-Ст. Миллю дал мне письмо Литтре. Так же как и Льюис, Милль жил в окрестностях (или очень отдаленной местности) Лондона. К нему на дом я не попадал, хотя все время с промежутками видался с ним, но только в городе или, точнее говоря, в парламенте.

Тогда Милль смотрел еще не старым человеком, почти без седины вокруг обнаженного черепа, выше среднего роста, неизменно в черном сюртуке, с добродушной усмешкой в глазах и на тонких губах. Таким я его видал и в парламенте, и на митингах, где он защищал свою новую кандидатуру в депутаты и должен был, по английскому обычаю, не только произнесть спич, но и отвечать на все вопросы, какие из залы и с хор будут ему ставить.

Вряд ли встречал я когда-либо и в какой-либо стране человека более мягкого и деликатного, при всей определенности и, где нужно, стойкости своих принци-

---

[1] священников (от *англ.* clergyman).

пов. Подхваченный тогдашними русскими газетными фельетонистами инцидент со спаржей, которой меня угощал Милль, и приведен был мною, как раз чтобы показать, до каких пределов он был деликатен... даже до излишества. Хотя я и говорил об этом в печати*, но еще раз приведу этот инцидент.

Милль пригласил меня сразу обедать в ресторан парламента, в то его отделение, куда допускались лица, не принадлежащие к представительству. И вот, когда подали спаржу с двумя соусами: английским и польским, то Милль выбрав английский, как бы извинился передо мною, что он предпочитает этот соус, хотя он ест его только по привычке, а не потому, что стоит его есть.

В памяти моей сохранился и другой факт, который я приведу здесь еще раз, не смущаясь тем, что я уже рассказывал о нем раньше. Милль обещал мне подождать меня в Нижней палате и ввести на одно, очень ценное для меня, заседание. Я отдал при входе в зал привратнику свою карточку и попросил передать ее Миллю. Привратник вернулся, говоря, что нигде, ни в зале заседаний, ни в библиотеке, ни в ресторане не нашел «мистера Милля». Я так и ушел домой, опечаленный своей неудачей.

На другой день возвращаюсь домой из читальни Британского музея перед обедом. Дочь моей хозяйки докладывает мне, что был пожилой джентльмен, очень жалел, что не застал меня, попросил лист бумаги и написал мне письмо. Письмо на трех страницах по-французски (Милль прекрасно владел этим языком и всегда говорил со мною по-французски, а не по-английски), где он *усиленно* извинялся передо мною, хотя ни в чем не был виноват, а виноват был привратник, поленившийся поискать его вне залы заседаний. А ведь это был *сам* Дж.-Ст. Милль, которого люди моего поколения так высоко ценили, что он и знал уже от разных русских.

Его скромность и деликатность некоторые ставили ему в упрек, как такие свойства, которые мешали ему в борьбе, и философской и политической. На их оценку, он часто бывал слишком уступчив. Но он никогда не изменял знамени поборника научного мышления и самого широкого либерализма. Он не был «контист» в более

узком смысле, но и не принадлежал к толку религиозных позитивистов. А в политике отвечал всем pia desideria[1] тогдашних *радикалов,* только без резко выраженных, так сказать устрашающих, формул.

Беседа его текла с особенной — не слащавой, а обаятельной мягкостью; но когда речь касалась какого-нибудь сюжета, близкого его гуманному *credo,* и у него слышались очень горячие ноты. Я замечал и тогда уже нервность в его лице и в движениях рук, которые он на подмостках закладывал всегда за спину и жестов не делал. На этих избирательных подмостках я его и слышал, а в Палате он выступал очень редко, и при мне — ни разу.

Сколько я помню, кажется, Милль тогда не прошел в депутаты, да трибуна и не годилась для него. А обаяние его имени было тогда для лондонских обывателей совсем не такое, как, например, у нас среди молодой тогдашней интеллигенции. Выборы в Англии, как известно, стоят больших денег, и Милль не мог бы позволить себе таких расходов. Он выступал кандидатом рядом с другим радикальным кандидатом, светским человеком, сыном герцога Бедфордского, одного из самых богатых лордов, которому тогда принадлежали в Лондоне целые кварталы.

Францию Милль любил гораздо больше, чем полагается истому британцу. Он похоронил жену на юге Франции, в Авиньоне, где и по смерти ее жил каждый год в зимний сезон. Его супружеская жизнь озарена была совершенно исключительной взаимной привязанностью. В авторе книжки «О подчиненности женщины» сошел в могилу самый убежденный и стойкий защитник прав женщины на полную самостоятельность. Нынешние феминистки и сюфражистки * должны считать его своим «отцом церкви». Вряд ли кто-нибудь из них шел так далеко в своих взглядах, как Милль, который желал, чтобы женщина могла *сызнова* радикально освободить себя от всякого влияния мужчины и доказать своим самодовлеющим развитием, насколько она по своей духовной природе выше представителей сильного, то есть тиранического, пола.

---

[1] благим пожеланиям *(лат.).*

Вряд ли и был в XIX веке другой такой рыцарь (в смысле преклонения перед женщиной), как Милль. И так трогательно было в нем видеть сочетание такого убежденного радикализма, направленного против предрассудков сильного пола, с необычайной скромностью всей его повадки.

Лучшего «introducer'a»[1] в палату я не мог и желать. И я ему обязан был таким входом в Нижнюю палату, какого, конечно, не имели другие иностранцы, за исключением, быть может, представителей самых крупных английских газет.

Теперь после какой-то попытки взрыва доступ в палату давно уже сделался гораздо менее свободным, чем в конце 60-х годов. Тогда коридоры и площадки палаты, вплоть до входа, где сидит в своей традиционной будке привратник, предоставлены были публике. Это похоже было на какой-то громадный отель. Несмолкаемое снование взад и вперед, беготня мальчиков с депешами, целые шпалеры любопытных, стоящих по обе стороны прохода, чтобы поглазеть на депутатов или министров и чтобы перехватывать последние известия из залы, когда идут дебаты или голосование по какому-нибудь жгучему вопросу. И тогда для прессы и публики трибуны помещались на хорах, куда и депутаты приходили... отдыхать, а частенько и просто спать, прикрывшись листом «Times'a».

Зала заседаний сохраняет и по сей день свою средневековую обшивку деревом. Она узка и тесна для числа членов. Если б в ней был амфитеатр, как во всех остальных парламентах, то депутатам хватило бы сидений. Но «священная» традиция для истого британца выше всего. И часть депутатов обречена была на обязательное манкирование заседаний.

На галерее я ни разу не сидел, а попадал прямо в залу, где, как известно, депутаты сидят на скамейках без пюпитров или врассыпную, где придется. Мне могут, пожалуй, и не поверить, если я скажу, что раз в один из самых интересных вечеров и уже в очень поздний час я сидел в двух шагах от тогдашнего первого министра Дизраэли, который тогда еще не носил титула лорда Биконсфильда. Против скамейки министров

[1] вводящего *(англ.)*.

сидел лидер оппозиции Гладстон, тогда еще свежий старик, неизменно серьезный и внушительный.

Дизраэли был один во всей палате во фраке. Худощавый, с черными еще (или подкрашенными) курчавыми волосами, с моноклем в глазу, не похожий ни на вельможу, ни на англичанина — нервный, язвительный, с беспрестанной игрой физиономии. Голос — резкий, неприятный, почти раздражающий. В нем заметно было свежему человеку какое-то особенное, ненормальное возбуждение. И тогда все, знакомые с палатой, говорили, что Дизраэли в антрактах дебатов выпивал много рюмок крепкого вина, будто бы прибавляя к ним порошок с препаратом опиума. Выносить бодро тягость заседаний давалось не многим. Заседания начинаются около 3-х часов и длятся иногда до 3-х часов ночи. И все время надо быть «начеку», постоянно возражать, произносить спичи, пускать в ход всякие приемы парламентской стратегии и тактики.

Фрак Дизраэли резко выделялся среди пиджаков и всяких шляп. И я сидел в пиджаке и котелке. И позы можно было принимать самые непринужденные. Такая свобода и доступность для иностранца— казались после Парижа чем-то недопустимым.

Из ораторов первого ранга, кроме Дизраэли, я слышал и Гладстона и Брайта. Этот толстый старик был настоящий оратор, более трибун, чем Гладстон. В тоне и манере Гладстона сидело что-то немного пасторское— недаром он всю жизнь любил писать богословские статьи. Он мог произносить огромные речи, с обилием фактов и цифр и с искусной аргументацией, но его сила заключалась не в проявлении пылкого темперамента, не во внешнем блеске, а в убежденности, логике, прямоте и несокрушимом натиске доводов и внутреннего чувства.

Мне случилось попасть в залу Нижней палаты и на одну официальную церемонию в тот момент, когда посланный от королевы придворный чиновник кончал чтение ее ответа на приветствие палаты по случаю избавления от смертной опасности ее меньшого сына — герцога Эдинбургского, на которого было сделано в Австралии покушение. Я попал в толпу, как раз когда она двинулась уже к выходу. Мы столкнулись в тесноте с красивым, плотным молодым человеком в сюртуке и с

цветком в петлице. Это был принц Валлийский, впоследствии король Эдуард VII, которого мать послала присутствовать вместо себя при чтении ее ответа на адрес Нижней палаты.

В Верхнюю палату я тоже захаживал, но она не вызывала во мне никакого интереса. Там я сидел в трибуне журналистов и смотрел на группы епископов в белых кисейных рукавах. И тогда уже либеральный Лондон начал находить, что это сословное представительство с прибавкою высокопоставленных духовных отжило свой век, и ждать от него чего-либо, кроме тормоза идеям свободы и равноправия, — наивно!

Имел я письмо и к Герберту Спенсеру. Я знал уже, что он, как старый холостяк, живет в каком-то семействе и не очень охотно принимает посетителей, и что его часто видят в клубе *Атеней,* где он любит играть на бильярде.

Жил он тогда в W[est] E[nd], то есть в барском квартале Лондона, позади Гайд-Парка, в очень комфортабельном особняке, и принял меня в большой гостиной, которая не похожа была на его рабочий кабинет.

Кто видал его фотографические портреты тех годов, мог бы сейчас же признать его, особенно те карточки, где (по тогдашней моде фотографов) изображалась только голова, в крупном масштабе. Эту типичную голову британца вы никогда не забудете: ни лицевого облика, ни черепа, ни выражения глаз, ни особой, серьезной сосредоточенности всей физиономии. Он был большого роста, широкий в плечах, корректно одетый в сюртучную пару, говорил без жестов, отчетливо, «ужасно» по-английски, то есть со всеми особенностями британского прононса, значительно упирая на слова, и с одной преобладающей интонацией. Тон его не отличался любезностью, и, кажется, в наше первое свидание, длившееся довольно долго, он ни разу не усмехнулся.

Ко всему этому я был приготовлен и, как говорится, «куражу не терял». Сразу я направил наш разговор на его тогдашние работы. Он уже выпустил в свет и свою «Биологию» и «Психологию» и продолжал доделывать специальные части «Социологии».

Говорил он тоном и ритмом профессора, излагающего план своих работ, хотя профессором никогда не был, а всю свою жизнь читал и писал книги, до поздней

старости. Тогда он еще совсем не смотрел стариком и в волосах его седина еще не появлялась.

Впоследствии, лет двадцать и больше спустя, я в одном интервью с ним какого-то журналиста узнал, что Г. Спенсер из-за слабости глаз исключительно *слушал* чтение — и это продолжалось десятки лет. Какую же массу печатного матерьяла должен он был поглотить, чтобы построить свою философскую систему! Но этим исключительным чтением объяснил он тому интервьюеру, что он читал только то, что ему нужно для его работ. И оказалось в этой беседе, случившейся после смерти Ренана, что он ни одной *строки* Ренана не читал.

Спенсер о парижских позитивистах меня совсем не расспрашивал, не говорил и о лондонских верующих. Свой позитивизм он считал вполне самобытным и свою систему наук ставил, кажется, выше контовской. Мои парижские единомышленники относились к нему, конечно, с оговорками, но признавали в нем огромный *обобщающий* ум — первый в ту эпоху во всей философской литературе. Не обмолвился Спенсер ничем и о немцах, о тогдашних профессорах философии, и в лагере метафизиков, и в лагере сторонников механической теории мира.

Как истый холостяк, с твердыми привычками, Спенсер предложил мне проводить его до клуба «Атеней», где он часа два до обеда проводил неизменно. Нам надо было пересечь весь Гайд-Парк. Шли мы около получаса и все время оживленно беседовали. Он вышел из своей суховатой флегмы, потому что я дерзнул вступить с ним в продолжительное *прение*.

Говорю «дерзнул», ибо, в самом деле, нужна была немалая смелость, чтобы оспаривать мнение самого Герберта Спенсера, да еще по-английски. Ни на каком другом мне известном языке он не изъяснялся.

В кружке парижских позитивистов заходила речь о том, что Г. Спенсер ошибочно смотрит на *скептицизм*, как философский момент, и держится того вывода, что будто бы скептицизм не пошел дальше XVIII века. Вот эту тему я — не без умысла — и задел, шагая с ним по Гайд-Парку до самого «Атенея», куда он меня тогда же и ввел.

Разумеется, он не сдавался на мои доводы, но и я не уступал при всем сознании моего философского нич-

тожества перед британским мыслителем. И мы проспорили все эти полчаса (если еще не больше), и мне потом приятно было вспоминать, как я вывел Спенсера из его суровой флегмы.

Клубную жизнь я хоть и немного, но все-таки имел случай узнать за тот сезон, который оставался в Лондоне, — с половины мая до половины августа.

Ни в одной столице Европы нет таких клубов, как в Лондоне. Они занимают целые кварталы, как, например, улицу Pall-Mall, которая полна ими.

Приглашение обедать в клуб есть первая форма вежливости англичанина, как только вы ему сделали визит или даже оставили карточку с рекомендательным письмом. Если он холостой или не держит открытого дома, он непременно пригласит вас в свой клуб. Часто он член нескольких, и раз двое моих знакомых завозили меня в целых три клуба, ища свободного стола. Это был какой-то особенно бойкий день. И все столовые оказывались битком набитыми.

Кроме *Атенея* — клуба лондонской интеллигенции, одним из роскошных и популярных считался Reform club с громким политическим прошедшим. Туда меня приглашали не раз. Все в нем, начиная с огромного atrium'а [1], было в стиле. Сервировка, ливреи прислуги, отделка салонов и читальни и столовых — все это first rate [2], с такой барственностью, что нашему брату, русскому писателю, делалось даже немного жутко среди этой обстановки. Так живут только высочайшие особы во дворцах.

Водили меня и в *Гаррик Клуб*, где собираются больше писатели и артисты и где гораздо попроще. И когда вы войдете в обиход таких мужских «обителей», вы поймете, что в них мужчине, деловому или праздному, так удобно, уютно и комфортабельно, как нигде. А для иностранца, нуждающегося в разнообразных знакомствах, это са́мый ценный ресурс. И тех, кого с вами знакомят, как интересных для вас людей, приглашают всегда в клуб и сводят с вами.

---

[1] атриума, главного помещения *(лат.)*.
[2] первого сорта *(англ.)*.

Так, меня на первых же порах свели с двумя братьями Бриггс, теми фабрикантами, которые стали выдавать своим рабочим, кроме задельной платы, еще процент с чистой хозяйской прибыли. Они первые сами пошли на это. И тут сказалось прямое влияние Дж.-Ст. Милля. Оба эти промышленника высоко его чтили. Оба брата во время нашей застольной беседы держали себя очень скромно, без малейшей рисовки своим великодушием.

Нечто вроде клуба собиралось каждую ночь и в старинной кофейной, помещавшейся в здании театра Drury Lane, где тогда шли оперные спектакли, в разгар сезона. Туда меня свел журналист и рассказывал мне историю этой кофейни, где когда-то засиживались до поздних часов и Кин, и Гаррик, и все знаменитости обоих столетий.

Драматический мир Лондона интересовал меня еще в Париже, и я привез оттуда письма к двум выдающимся личностям из этого мира: одному просто актеру с громким прошлым, а другому драматургу-актеру с совершенно оригинальным положением и родом деятельности.

Просто актер был тоже незадолго перед этим антрепренер одного из видных театров Лондона Liceum Это был тот Фехтер, который после блестящей карьеры в Париже вдруг превратился в английского артиста, вспомнив, что он в детстве жил в Англии, и считал себя настолько же англичанином, насколько и французом. В сезон 1868 года он уже из директора театра очутился гастролером в театре, где шла пьеса Диккенса, переделанная из его романа* «No thoroughfare»[1]. В этой переделке и он участвовал, так же как и в переводе пьесы по-французски, когда ее давали в Париже в старом Vaudeville, где я ее также позднее видел.

С Диккенсом Фехтер водил близкое приятельство. Они вместе покучивали, и когда я, зайдя раз в коттедж, где жил Фехтер, не застал его дома, то его кухарка-француженка, обрадовавшись тому, что я из Парижа и ей есть с кем отвести душу, по-французски стала мне с сокрушением рассказывать, что «Monsieur» совсем бросил «Madame» и «Madame» с дочерью (уже взрослой девицей) уехали во Францию, а «Monsieur» свя

[1] «Проезд закрыт» *(англ.)*.

зался с актрисой, «толстой, рыжей англичанкой», с которой он играл в пьесе «de ce Dikkenc», как она произносила имя Диккенса, и что от этого «Dikkenc» пошло все зло, что он совратил «Monsieur», а сам он кутила и даже «un pochard»[1], как она бесцеремонно честила его.

Через Фехтера мне очень легко было бы познакомиться и часто видаться с автором «Давида Копперфильда», но в это время его не было в Лондоне. У Фехтера я видал только родственника Диккенса — романиста Уилки Коллинса, тогда еще на верху своей известности, но он показался мне преждевременно одряхлевшим. Кажется, у него был легкий удар, и он, быть может, придерживался «возлияний Бахусу».

Но про Фехтера этого сказать было нельзя. Я нашел в нем типичного француза и парижанина, со всеми замашками французского «cabotin» высшего разряда. Тогда его прежнее благообразие уже прошло; он пополнел и в корпусе, и в лице, дома ходил в мягкой фуражке и курил из деревянной трубочки-носогрейки. Но на сцене еще сохранял представительность и манеры прежнего «первого любовника». Сам он считал свой «прононс» совершенно английским, но лондонцы (в том числе и театральные критики) говорили мне, что в его произношении чувствовался французский акцент. Быстрый успех в Лондоне лет пятнадцать перед тем он имел сразу, явившись Гамлетом в такой гримировке и в таком костюме, каких никто еще не пускал в ход на лондонских сценах.

На мою оценку (насколько можно было судить по одной роли из современного быта), он остался чисто парижским актером, вроде Бертона-отца, который и играл его роль во французском переводе пьесы Диккенса. Это была смесь романтического тона с тонкой дикцией и красивыми жестами.

Фехтер, хоть и просто гастролер, а не директор театра, продолжал жить барином, в хорошо обставленном коттедже, и ездил в собственной карете. Но дома у него было все точно «начеку», чувствовалось, что семейная его жизнь кончена и он скоро должен будет изменить весь свой train de maison[2].

---

[1] пьяница *(франц.)*.
[2] быт *(франц.)*.

Водил он приятельство со своим товарищем по Парижской консерватории певцом Гассье, который незадолго перед тем пропел целый оперный сезон в Москве, когда там была еще императорская Итальянская опера. Этот южанин, живший в гражданском браке с красивой англичанкой, отличался большим добродушием и с юмором рассказывал мне о своих успехах в Москве, передразнивая, как московские студенты из райка выкрикивали его имя с русским произношением.

Другая знаменитость театрального мира — *Дайон-Бусико́* принял меня у себя, где познакомил с женой, бывшей актрисой. Родом ирландец и по профессии писатель, он создал — *первый* — особый род театральной индустрии. Он писал (переделывая их всего чаще с французского) сенсационные мелодрамы и обстановочные пьесы, играл с своей женой в них главные роли, составлял себе труппу на одну только вещь, и вместе с декорациями и всей обстановкой отправлялся (после постановки ее в Лондоне) по крупным городам Великобритании, а потом и в Америку.

Этим способом он составил себе хорошее состояние, и в Париже Сарду, сам великий практик, одно время бредил этим ловким и предприимчивым ирландцем французского происхождения. По-английски его фамилию произносили «Дайон-Буссико», но он был просто «Дайон», родился же он в Ирландии, и французское у него было только имя. Через него и еще через несколько лиц, в том числе директора театра Gaiety и двух-трех журналистов, я достаточно ознакомился с английской драматургией и театральным делом.

Тогда в Лондоне не было ничего похожего на государственно-национальный театр, как Comédie Française. Не существовало ничего похожего и на государственную консерваторию. Обучение производилось кое у кого из бывших актеров. Опера велась блестяще в двух театрах — «Ковент-Гарден» и «Друри-Лэн», но это и до сих пор частные антрепризы с некоторой субсидией. Драматические театры (даже самые лучшие) по репертуару стояли *очень низко.* Все — переделки с французского, посредственные вещи домашнего изделия или обстановочные зрелища из лондонской уличной и трущобной жизни. Эти оказывались еще самыми интересными, и обстановка в них, сравнительно с парижской,

была последним словом сценического ультрареализма: кебы, целые поезда, мосты, улицы, трущобные притоны — все это чрезвычайно детально и разительно в своем правдоподобии.

Я нашел в тот сезон несколько типичных актеров и актрис: Сосерна, еще на молодых ролях, чету Метьюсов (мужа и жену), двух-трех комиков, молодую актрису Кэт Терри—тогда же покинувшую сцену—сестру Элен Терри, подруги и сподвижницы Эрвинга, который тогда только что начинал.

В комедии и даже в драме у англичан чувствовалось больше простоты, чем в Париже; женщины с более естественной грацией, но по части дикции весьма малая выработка, и жестикуляция бедная, так что французу или итальянцу, не знающему языка, невозможно было бы понять, что вот такой-то «jeune premier» объясняется в любви героине.

Поражало всякого иностранца то, что Шекспир находился тогда в полном забросе. В течение всего сезона при мне едва ли не на одном лишь театре (да и то третьестепенном) шел «Король Джон». Уже позднее Эрвинг стал много играть Шекспира.

Зато «зрелища» в тесном смысле и тогда уже процветали: огромные театры для феерий, блестящих балетов и кафешантанных представлений. Music-hall овладели уже и тогда Лондоном едва ли еще не больше, чем Парижем. И все, что там исполнялось — и куплеты, и танцы, — было еще ниже сортом, чем на парижских бульварах, и публика наивнее и, попросту говоря, глупее и грубее.

Та же публика наполняла по ночам тот квартал, где царила и тогда самая бесконтрольная проституция, сортом еще пониже, чем те кокотки, которые в открытых буфетах Music-hall'ей и в антракты, и во время спектакля занимались своим промыслом.

Я уже по первому своему приезду в Лондон достаточно знал, какой характер носили уличные ночные нравы.

Ночной бульварный Париж тоже не отличался чистотой нравов, но при Второй империи женщины сидели по кафе, а те, которые ходили вверх и вниз по бульвару, находились все-таки под полицейским наблюдением, и до очень поздних часов ночи вы если и делались

предметом приставаний и зазываний, то все-таки не так открыто и назойливо, как на Regent Street или Piccadilly-Circus Лондона, где вас сразу поражали с 9 часов вечера до часу ночи (когда разом все кабаки, пивные и кафе запираются) эти волны женщин, густо запружающих тротуары и стоящих на перекрестках целыми кучками, точно на какой-то бирже.

А та, настоящая биржа, куда лились все артерии Лондона и City с его еще не виданным мною движением, давала чувство матерьяльной мощи, которая, однако, не могла залечить две зияющие раны британской культуры: *проституцию* и, главное, *пролетариат*, которого также нельзя было видеть в Париже в таких подавляющих размерах.

Еще в первый мой приезд Рольстон водил меня в уличку одного из самых бедных кварталов Лондона. И по иронии случая она называлась Golden Lane, то есть *золотой переулок*. И таких Голден-Лэнов я в сезон 1868 года видел десятки в Ost End'е, где и до сих пор роится та же непокрытая и неизлечимая нищета и заброшенность, несмотря на всевозможные виды благотворительности и обязательное призрение бедных.

А. И. Бенни говаривал мне с тихой усмешкой:

— Прекрасна конституция в Англии для тех, у кого есть золотые часы... А каково тем, у кого нет и медных?

Лондон, как синтез британской городской культуры, научил меня *чувствовать* все роковые контрасты мировой культуры. Нельзя было и после Парижа не видеть мощи и высоты этой культуры, но в то же время и не сознавать, до какой степени капиталистический и сословный строй Англии тормозил еще тогда истинное *равноправие* в этой прославленной стране свободы.

Тогда в гостиных респектабельного общества нельзя было завести речи на некоторые жгучие темы общественной правды и справедливости. Сейчас же это называли:

— French socialism![1]

С тех пор в каких-нибудь тридцать лет и в светских салонах тон переменился, в чем я убедился еще в 1895 году, когда я ездил «прощаться» с Англией и пробыл часть летнего лондонского сезона.

---

[1] Французский социализм! *(англ.)*

Да и в 1868 году рабочее движение уже началось, приняв более спокойную и менее опасную форму «Союзов» — «Trades-Unions»[1]. И тогда можно было вынести на улицу любой жгучий вопрос, устроить какой угодно митинг, произносить какие угодно спичи, громить парламент, дворянство, капиталистов, поносить даже королеву.

Но все это не пахло настоящим *революционным* брожением. Революция прорывалась только на почве расовой борьбы, в тогдашней Ирландии, в заговорах «фениев», по-нынешнему инородческих анархистов*, врагов всего английского.

Процесс их вожаков происходил при мне в одно из моих двух первых пребываний в Лондоне. Я до сих пор довольно живо помню и фигуры подсудимых, и залу, и судей в их на наш вкус смешных париках из конского волоса.

Вот такой *суд* — с застывшими формами и вековой неподвижностью — всего лучше выказывал, до какой степени в Англии добро и зло переплетены в деле общей правды и справедливости. Суд — свободный и независимый; но с варварским нагромождением старых законов, с жестокими наказаниями, с виселицей; а в гражданских процессах — с возмутительной дороговизной; да и в уголовных — с такими же адскими ценами стряпчим и адвокатам.

Несколько фениев были повешены. И никто-то этим не возмущался в респектабельной печати. Вся жесткая нетерпимость англичан — даже и к расам, которые объединены под общей кличкой «Британия», — выставлялась во всей своей неприглядности.

Да и в мировой юстиции, особенно в City (где судьи из *альдерманов*, то есть из членов городской управы), бесплодность уголовных репрессий в мире воров и мошенников принимала на ваших глазах гомерические размеры. Когда масса так испорчена нищетой и заброшенностью, наказания, налагаемые мировыми судьями, производят трагикомическое впечатление. Я довольно насмотрелся на сцены у альдерманов и у судей других частей Лондона, чтобы быть такого именно мнения.

---

[1] Тред-юнионов (*англ.*).

Свобода, то есть ограждение личных прав британского подданного, делает то, что нельзя и органам власти действовать более энергично и против злоумышленников, и против уличной проституции, и против пьянства.

Лондонские «Public-houses», то есть *кабаки,* и тогда уже поражали иностранца не только своим числом, но и обстановкой. Это и тогда были какие-то храмы пьянства, многие роскошно отделанные, но без *всякой мебели.* В этом и сказывалась двойственность всей публичной морали респектабельной Британии. Пьянство громадных размеров, развращенного вида матроны среди белого дня, драки между пьяными женщинами, нахальный уличный разврат и гнет англиканского ханжества, которое и до сей минуты не позволяет столице в 5—6 миллионов жителей иметь по воскресеньям чисто эстетические удовольствия.

И никто и в 1868 году в общелиберальной печати не поднимал похода против этого запрета. Может быть, и сюфражистки XX века, и революционные социалисты, и анархисты не могут или не хотят добиваться этого законнейшего права *свободных* граждан наполнять свои воскресные досуги тем, что им нравится.

А кутить за городом, в Ричмонде и других местах, объедаться и напиваться на бесконечных обедах в воскресенье — это можно! И я помню, как на таком загородном пикнике (куда я был приглашен) за столом сидели *три часа,* подавали, между прочим, до *шести* рыб и по крайней мере до двенадцати сортов разных вин!

Но нигде, как в Лондоне, нельзя было получить такой *заряд* всякого рода запросов и итогов по всем «проклятым» задачам культурного человечества. Все здесь было ярче, грандиознее и *фатальнее,* чем в Париже и где-либо в Европе, — все вопросы государства, общества, социальной борьбы, умственного и творческого роста избранного меньшинства.

За каких-нибудь три месяца в моей душе перебывало множество всяких впечатлений, идей, итогов, обобщений, проблем и дилемм, вызывающих тот или иной ответ. Только с того времени поднялся мой интерес к *рабочему вопросу,* к борьбе труда с капиталом. И это сделали не книжка, не чтение «Капитала» Маркса, а картины громадной нужды лондонского пролетариата,

возмутительный контраст с теми жертвами безработицы, которых я видал в лондонских доках и в трущобных переулках «Ост-Энда», вроде пресловутой Golden Lane. Такая наглядная школа — выше всего.

Подводя итоги моему сезону в Лондоне, я должен был признать, что кругозор моих идей, наблюдений, запросов — расширился, даже и после Парижа, на большой масштаб. Правда, как писатель-беллетрист, я почти что ничего не сделал более крупного; но, как газетный сотрудник, я был еще деятельнее, чем в Париже, и мои фельетоны в «Голосе» (более под псевдонимом *666*) получили такой оттенок мыслительных и социальных симпатий, что им я был обязан тем желанием, которое А. И. Герцен сам выражал Вырубову, — познакомить нас в сезон 1869—1870 года в Париже, и той близостью, какая установилась тогда между нами.

Что бы я ни описывал в своих корреспонденциях и фельетонах в две русские газеты, все это было — по размерам матерьяла, по картинам лондонской жизни — гораздо обширнее, своеобразнее и внушительнее, чем любая страница из жизни другой «столицы мира» — Парижа.

Митинг ли в Гайд-Парке или на Трафальгар-Сквере, эпсомские ли скачки, массовые ли гулянья в «Кристал-Паласе», концерты ли, монстры, спектакли в опере или вечера в народных театрах с драмами из мира лондонских вертепов, — все это давало чувство той громадной человеческой лаборатории, которая называется Лондоном.

Чисто духовные интересы: наука, философия, искусство — волновали меньше, потому что они не стояли на виду, так, как в Париже, хотя бы и Второй империи. Я уже говорил, что тогдашнее английское свободомыслие держалось в маленьком кружке сторонников Милля, Спенсера и Дарвина, к знакомству с которым я не стремился, не считая за собою особых прав на то, чтобы отнимать у него время, — у него, поглощенного своими трудами и почти постоянно больного. Но благодаря моей статье в «Fortnightly Review». Дарвин получил фактическое понятие о нашем движении 60-х годов.

Покойный В. О. Ковалевский (мой давнишний знакомый еще из того времени, когда он был юным правоведиком) рассказывал мне позднее, уже в начале

70-х годов, как он раз по приезде в Лондон сейчас же отправился к Дарвину, в семействе которого был принят всегда, как приятель. И первое, что ему сказал Дарвин, поздоровавшись с ним, было:

— Я знаю теперь — кто вы! (who are you!)

— Кто же? — спросил Ковалевский.

— Нигилист! (a nihilist!) — ответил со смехом Дарвин.

В моей статье я упоминал об издателях научных и философских книг того направления, которое считали «нигилистическим», называл и Ковалевского. И Дарвину захотелось подшутить над ним на эту тему.

«Дарвинизм» сделался дорог гораздо больше его немецким и русским адептам, чем тогдашним англичанам.

В самом Лондоне научная интеллигенция, кроме ученых обществ, группировалась около двух высших школ: Лондонского колледжа и Университетского колледжа. Если среди их преподавателей и было несколько крупных имен, то все-таки эти подобия университетов играли совсем не видную роль в тогдашнем Лондоне. Университетский быт и высшее преподавание надо было изучать в Оксфорде и Кембридже; а туда я попал только в 1895 году и нашел, что и тогда в них господствовал (особенно в Оксфорде) метафизический дух, заимствованный у немцев.

Мир изящного творчества в Лондоне 1868 года сводился к немногому. Диккенс уже пропел свою песню. Джордж Элиот также напечатала все лучшее, что она создала, придворный лавреат Теннисссон* допевал свои перепевы. Новые силы беллетристики и поэзии, как Мередит, Оскар Уайльд, еще несколько романистов и стихотворцев только еще выступали. А то движение в искусстве и его толковании, которому толчок дал Рёскин (и тогда уже довольно известный), все прерафаэлистское* движение с Росетти и его единомышленниками — расцвело несколько позднее, а тогда еще ни в интеллигенции, ни в светских салонах не слышно было призывов к новым воззрениям на область красоты.

Британский гений в мире пластического искусства был уже блистательно представлен «Национальной галереей», «Кенсинтонским музеем» и другими хранилищами. В Британском музее с его антиками каждый из нас мог доразвить себя до их понимания. И вообще

это колоссальное хранилище всем своим пошибом держало вас в воздухе приподнятой умственности. Там я провел много дней не только в ходьбе по залам с их собраниями, но и в работе в библиотечной ротонде, кажется до сих пор единственной во всей Европе.

Театр и музыка по своей тогдашней оригинальной производительности, можно прямо сказать, не давали ничего сколько-нибудь ценного сравнительно с тогдашней Германией, Италией и Францией. Мне, как специальному изучателю театра, Лондон дал несколько новых деталей по части техники, но, как я уже и заметил выше, ничего выдающегося ни по репертуару, ни по игре артистов. Тогда казалось, что весь *литературный* талант Англии ушел в роман и стихотворство, а театр был обречен на переделки с французского или на третьестепенную работу писателей, да и те больше все перекраивали драмы и комедии из своих же романов и повестей.

По музыкальной части Лондон был (да остался в значительной степени и теперь) огромной сезонной *ярмаркой*. Отовсюду наезжают сюда всевозможные виртуозы, и начинается настоящий шабаш всяких музыкальных «exhibitions» [1].

И ничего своего, английского. Опера — чужая, концерты — монстры или вечера камерной музыки, певцы и певицы, скрипачи, пианисты, виолончелисты,—все это появляется на подмостках, точно на ярмарке перед толпой, которая снует между балаганами. Рьяный потребитель всякой музыки найдет в лондонском «season» нечто вроде «обжорного ряда», но английского во всем этом — только публика, все эти десятки тысяч джентльменов обоего пола, у которых припасено на эту ярмарку столько-то гиней и фунтов стерлингов. Может быть, слабая производительность англичан по части музыки оперной и инструментальной объясняется тем, что они так привыкли получать *за деньги* все готовое, играть роль бар, которых разные заезжие штукари увеселяют целыми днями в течение четырех месяцев...

Уровень музыкального тогдашнего образования лондонцев обоего пола стоял, конечно, ниже немецкого и русского, вряд ли выше и парижского, но дилетантство,

---

[1] показов, смотров *(англ.)*.

в виде *потребления* музыки, громадное. В салонах светских домов было уже и тогда в большом ходу пение разных романсов и исполнение мендельсоновских Lieder ohne Worte[1], и все это такое, что часто «святых вон выноси»!

Но ездить в оперу, сновать по всевозможным концертам — это входило в обязательный обиход удовольствий всякого джентльмена и всякой порядочной женщины.

И никакой попытки создать *свою* оперу, даже с иностранным репертуаром, но с английскими исполнителями, хотя бы даже свой опереточный театр, что явилось уже гораздо позднее. А главное — ничего для народа, для трудовой массы — популярных концертов или общедоступной школы, да и консерватории тогда тоже не было. Весь барско-капиталистический захват привилегированных классов общества сказывался с полной бесцеремонностью и в мире искусства, да сказывается и до сих пор. Большой разницы не находил я и двадцать семь лет позднее, в сезон 1895 года.

Толпа во всяких увеселениях по внешности культурнее, чем где-либо, но по вкусам — низменная, что особенно бросается вам в глаза и в нос во всяких «Misichalls». Атлеты, акробаты, грубое фиглярство, канкан (более циничный, чем даже в Париже), бессмысленные песенки, плоские остроты — вот духовная пища лондонской зрительной толпы. При такой политической свободе печатного слова — никакой сатирической жилки, ни в пьесах, ни в номерах кафешантанов. Так было еще и в 1895 году.

Но свобода слова на подмостках, даже для серьезных пьес, до сих пор в Лондоне напоминает наши дореформенные порядки. Довольно того, что когда при мне приехала на сезон французская труппа, то она только после усиленных хлопот добилась постановки «Дамы с камелиями», которая у нас шла гораздо раньше и по-французски и по-русски. А на английском языке ее не пускали на сцену. Такой же цензурный ригоризм для всего, что связано с библией. И цензурный «index» находится до сей поры в руках безответственного придворного чина.

Между дешевыми зрелищами и характером ночной

[1] песен без слов (*нем.*).

уличной проституции — прямая связь. То, что тогда в Париже 60-х годов смягчалось веселостью, дурачеством, грацией, то в Лондоне носило на себе или совсем мрачный, или тупо-цинический оттенок. Стоило только сравнить: тогдашний парижский студенческий бал «Бюллье» или даже «Мабиль» с самым элегантным увеселительным танцевальным местом «Cremorn-Garden», рекламы которого занимали целые столбцы в самых больших газетах. Это было что-то напоминающее петербургские сады, только с более кричащей обстановкой и волнами ослепительного света.

Если и можно было отдыхать от денных трудов, то, конечно, не в таких «садах», а в парках, когда там нет митингов, и в таком убежище растительного царства, как сад «Кью» за городом, какого тоже нет второго в Европе. Ежедневное катанье в Гайд-Парке с вереницей амазонок и всадников дает, опять-таки единственную, ноту Лондона, как вместилища барско-капиталистического слоя общества, который держал, да и до сих пор еще держит в своих руках *все* и *вся* и слишком редко и неохотно думает о том, что трудовая масса в какой-то момент все это опрокинет.

Но когда?

Пока вся китайщина старой Англии будет держаться: парики судей, парламентские порядки, виселица, церковная казенщина, — нечего бояться и социального переворота. Так по крайней мере чувствовали и рассуждали все защитники британского status quo, все поклонники идолища, на котором написаны были три слова: «Queen, representatives and people»[1]. Но «people» — народ значился только в виде той черни («mob»), которая должна была почитать себя счастливой, что она живет в стране, имеющей конституцию, столь любезную сердцу тех, «у кого есть золотые часы», как говаривал мой петербургско-лондонский собрат, Артур Иванович Бенни.

Мой лондонский сезон я прервал на несколько дней поездкой в Париж. Не могу теперь совершенно точно сказать, какой главный мотив вызвал эту поездку. Но

---

[1] Королева, представители и народ *(англ.)*.

одним из поводов было желание самому прочесть корректуры статьи, которая должна была появиться у Вырубова в «Philosophie Positive». А тут еще вышло так, что петербуржец (поляк родом) д-р П — цкий, приезжавший в Лондон учиться у знаменитого тогда хирурга-специалиста по операциям каменной болезни — возвращался на Париж, и мы с ним условились переезжать Ла-Манш вместе. Взяли мы дешевый пароход, шедший не два часа, а целых пять, и ночью. Качка была сильная, и бедного моего спутника донимала морская болезнь, хотя и без рвоты, но с такой нервностью, что он беспрестанно подпрыгивал на своей койке и болезненно ныл. Вода сверху, через трап, брызгала и в нашу общую каюту. Я выносил качку спокойнее, но с сильной головной болью, лежа все время пластом, на спине, с закрытыми глазами.

Этот общительный и образованный врач очень сошелся со мною; и наше приятельство продолжалось и в России, где я нашел его в Петербурге в 1871 году и где болезнь печени унесла его в половине 70-х годов, в ужасных страданиях, после того, как он женился во Франции на красивой девушке, дочери поляков-эмигрантов.

Этот д-р П — цкий и тот агент русского общества «Пароходства и торговли», Д — в, были почти единственные русские, с какими я видался все время. Д—в познакомил меня с адмиралом Ч—вым, тогда председателем общества «Пароходства и торговли»; угощая нас обедом в дорогом ресторане на Реджент-Стрите, адмирал старался казаться «добрым малым» и говорил про себя с юмором, что он всего только «генерал», а этим кичиться не полагается. Он был впоследствии министром.

С нашими посольскими я не желал водиться после того, как секретарь посольства (впоследствии петербургский сановник) заявил мне, что он с интеллигенцией Лондона совсем не водится и нигде, кроме официальных мест и клуба С. Джемс, не бывает.

В русскую церковь меня раз свели. Старый священник (о. Попов, если не ошибаюсь?) удивил меня тем, что брился, как католические патеры. Когда я спросил у кого-то, зачем он бреется, мне объяснили, что он сам испрашивал когда-то дозволения, не желая быть на

улицах предметом насмешек из-за своей бороды и длинных волос. Но в 1868 году так же бриться — было бы совершенно излишне. Тогда как раз установилась мода на бороды и довольно долго держалась, вплоть до последнего времени, когда мода опять приказывает всем джентльменам бриться, как лакеи и кучера.

На континент меня потянуло к 15-му августа, когда развал «season'а» уже прекратился. И парламентская жизнь замерла, и в Ковент-Гардене кончились оперные спектакли, а давали promenade concert'ы[1] в венском вкусе, с оркестром Иоганна Штрауса, тогда еще молодого и красивого. Под его дирижерским смычком вальс «An der schönen blauen Donau»[2] звучал так подмывательно, что и чопорная британская публика приходила в игривое настроение, ходя кольцом вокруг эстрады, где Штраус не только играл, но и подпрыгивал под ритм своих вальсов.

Собственно, в Париже еще нечего было делать, но я уже задумал поездку в Швейцарию, на Конгресс мира и свободы *, а потом на часть сезона в Вену, где я никогда еще до того не живал.

Мы с Д—вым фланировали по Парижу в самый день 15 августа, то есть в именины императора, смешивались с толпою на Place de la Concorde, в Tuileries и в Елисейских полях вплоть до ночных часов, когда загорелись огни иллюминации.

Тогда империя казалась чем-то очень прочным и сам Наполеон III в массе столичного люда и во всей стране достаточно популярным после торжества Франции на выставке предыдущего года.

О революции там, как и о какой-нибудь роковой войне, никто и не помышлял! Военный престиж империи никогда не стоял так высоко, несмотря на внезапное возвышение Пруссии после кампании 1866 года и битвы под Садовой.

У меня в моем отельчике хозяйка передала мне карточку и с особой интонацией прибавила, что у меня был «сам Александр Дюма», очень пожалел, что я не в Париже, и написал мне на карточке несколько слов. И действительно, Дюма благодарил меня за что-то, про-

---

[1] концерты для гуляющих *(англ.)*.
[2] «На прекрасном голубом Дунае» *(нем.)*.

сил бывать у него и напомнил, что его жена — моя соотечественница.

Благодарил он меня за то, что и как я говорил о нем в моей статье «Phénomènes du drame moderne». Книжка журнала, где появилась статья моя, уже вышла тем временем. От Вырубова я уже знал, что с Дюма приятельски знаком проф. Robin, один из столпов тогдашнего кружка позитивистов. Он, вероятно, и дал ему книжку журнала с моей статьей.

Личное мое знакомство с Дюма состоялось позднее, по возвращении моем в Париж. И я о нем расскажу дальше. А теперь кончаю эту главу на поворотном пункте моего заграничного пятилетнего житья — с конца 1865 по конец 1870 года.



ПРИМЕЧАНИЯ

ЗА ПОЛВЕКА

Мои воспоминания

Главы I—VII печатаются по журналам: «Русская мысль», 1906, № 2, 5, 11; «Минувшие годы», 1908, № 4, 5—6, 11; «Русская старина», 1913, № 1, 2, 3; «Голос минувшего», 1913, № 2, 3, где были опубликованы впервые. Главы VIII и IX печатаются целиком впервые по рукописи (писарская копия), хранящейся в Государственном центральном архиве литературы и искусства СССР в Москве (Фонд № 67, опись № 1, ед. хр. 17 и 18); пропуски, имеющиеся в рукописи, отмечены отточием в угловых скобках.

Стр. 40. *«Итоги писателя».* — Рукопись воспоминаний Боборыкина «Итоги писателя» была использована С. А. Венгеровым при составлении биографии писателя (см. «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», т. IV, СПб. 1895). Дальнейшая судьба рукописи неизвестна — по-видимому, она осталась в заграничном архиве Боборыкина, кроме отдельных отрывков, автографы которых хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома) в Ленинграде.

...такой «человеческий документ», как «Confessions» Ж.-Ж. Руссо. — Боборыкин говорит об одном из самых выдающихся по своей искренности автобиографических произведений мировой литературы — об «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.

...Шатобриан в своих «Memoires d'outre tombe» грешил ⟨...⟩ постоянной возней с своим «я»... — «Memoires d'outre tombe» («Замогильные записки», 1848) Ф.-Р. Шатобриана, несмотря на содержащиеся в них интересные сведения по истории эпохи, представляют собой яркий образец аристократического индивидуализма. К. Маркс писал о Шатобриане, что он «...во всех отношениях являет собою самое классическое воплощение французской vanité ⟨тщеславие⟩, притом vanité не в легком фривольном одеянии восемнадца-

того века, а романтически замаскированной и важничающей новоиспеченными выражениями: фальшивая глубина, византийские преувеличения, кокетничание чувствами, пестрое хамелеонство, word painting ⟨словесная живопись⟩, театральность, sublime ⟨напыщенность⟩, одним словом — лживая мешанина, какой никогда еще не бывало ни по форме, ни по содержанию» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1, т. XXIV, М. — Л. 1931, стр. 425).

Стр. 41. *...«оборотов на себя», как пишется на векселях.* — Вексель мог переходить от одного лица к другому по именным передаточным надписям. Однако всякое лицо, передающее полученный им от другого лица вексель, несло с лицом, выдавшим вексель, солидарную ответственность, если к своей надписи (поручительству) не прибавляло слов: «без оборота на меня».

Стр. 42. *«Столицы мира».* — Главы из этой книги напечатаны во II томе наст. изд.

Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы»... — Издатель «Нивы» А. Ф. Маркс умер в 1904 году. Книга Боборыкина была издана московским книгоиздательством «Сфинкс» в 1911 году.

Стр. 43. *Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове.* — П. А. Ширинский-Шихматов был министром просвещения с 1850 по 1853 год.

Стр. 44. *...чин четырнадцатого класса...* — По принятой в царской России «табели о рангах» (то есть закону о порядке прохождения государственной службы) общественное положение служащих (чин), определялось классом (рангом), к которому они принадлежали — от четырнадцатого (самого низшего) до первого (самого высшего). По «табели о рангах» четырнадцатый класс давал звание коллежского регистратора.

Стр. 45. *...в первых двух книгах «В путь-дорогу».* — Этот роман, печатавшийся в «Библиотеке для чтения» в 1862—1864 годах, был в значительной степени автобиографическим. В дальнейшем автор часто ссылается в своих воспоминаниях на те или иные места этого романа (упоминания о Лизавете Андреевне, о литературных беседах в гимназии и особенно в III главе, где говорится о годах учения в Дерпте).

Стр. 47. *...профессор Булич написал рецензию...* — Нижегородские учебные заведения входили в Казанский учебный округ. Профессор Н. Н. Булич, историк русской литературы, с 1850 года преподавал в Казанском университете.

...покойного профессора московского университета... — Имеется в виду С. В. Ешевский, с 1857 года — профессор истории в Московском университете.

...во вкусе тогдашних повестей Григоровича. — Имеются в виду повести Д. В. Григоровича «Деревня» (1846), «Антон Горемыка» (1847), в которых сочувственно изображались страдания крепостного крестьянства.

Стр. 48. *...и выразительное чтение — предмет интереса всей моей писательской жизни...* — Вопросам театрального искусства Боборыкин посвятил ряд работ: «Театральное искусство» (1872), «Искусство чтения» (1882), «Народный театр» (1886). Неоднократно выступал Боборыкин в печати как театральный критик и рецензент.

...Ф. И. Буслаев ⟨...⟩ в своих воспоминаниях о пензенской гимназии... — Имеется в виду книга филолога Ф. И. Буслаева (уроженца Пензенской губернии) «Мои воспоминания», в которой он, говоря о периоде обучения в пензенской гимназии, посвящает несколько страниц личности преподавателя словесности Янсона Петровича Евтропова — впоследствии ставшего директором нижегородской гимназии (см. Ф. И. Буслаев, «Мои воспоминания», М. 1897, стр. 58—82).

Стр. 50. *...зачитывались Жорж Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах.* — С 1842 года «Отечественные записки» стали печатать переводы произведений Жорж Занд (псевдоним Авроры Дюдеван): «Орас», «Мельхиор», «Андре», «Домашний секретарь» и др. Переводы произведений Бальзака появились в России на десять лет раньше. Книга «Сцены из частной жизни» вышла в Петербурге в 1832—1833 годах. За ней последовали «Ростовщик Корнелиус» (СПб. 1833), «Госпожа Фирмиани» (М. 1833), «Женщина в тридцать лет» (СПб. 1833), «Созерцательная жизнь Людвига Ламберта» (СПб. 1835), «Старик Горио» (М. 1840) и другие.

Зинаида Р — ва — псевдоним писательницы Ган Елены Андреевны.

Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше. — К этому времени были опубликованы следующие произведения упомянутых Боборыкиным писателей: «Тюфяк» (1850), «Брак по страсти» (1851), «Комик» (1851), «Ипохондрик» (1852) — А. Ф. Писемского; «Обыкновенная история» (1847), «Поджабрин» (1848), «Сон Обломова» (1849) — И. А. Гончарова; с 1847 года начали появляться в журналах очерки из «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Стр. 51. *«Le petit caporal»* («маленький капрал») — прозвище Наполеона I.

Стр. 53. *...кругосветное плавание Дюмон-Дюрвиля.* — Имеется в виду многотомный труд французского путешественника и мореплавателя Жюль-Себастьяна Сезара Дюмон-Дюрвиля «Voyage au Pôle

Sud et dans l'océanie», t. 1—23, P. 1841—1854 (совм. с группой сотрудников); в русском переводе — «Путешествие вокруг света, составленное из путешествий Магеллана, Тасмана и др.», ч. 1—4, СПб. 1843.

Стр. 56. *...дед-генерал из «гатчинцев»...* — Гатчинским назывался отряд войск, расположенный в Гатчине и Павловске (под Петербургом) и состоявший в непосредственном распоряжении великого князя Павла Петровича. После вступления Павла на престол гатчинские войска влились в императорскую лейб-гвардию.

...младший мой дядя, Н. П. Григорьев ⟨...⟩ очутившийся в 1849 году замешанным в деле Петрашевского ⟨...⟩ нажил медленную душевную болезнь. — Поручик лейб-гвардейского конно-гренадерского полка Николай Петрович Григорьев был арестован 23 апреля 1849 года за участие в кружке Петрашевского и составление агитационного документа «Солдатская беседа». 22 декабря того же года был приговорен к расстрелу, замененному пятнадцатью годами каторжных работ на Шилкинском заводе. На каторге заболел психическим расстройством и был в 1857 году отдан под надзор семьи.

...вероятно, через знакомство с А. Н. Плещеевым... — Поэт А. Н. Плещеев (по происхождению волжанин, костромич, в известном смысле земляк нижегородца Н. П. Григорьева) участвовал в кружке Петрашевского. В 1849 году был арестован и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой рядовым в Оренбургский линейный батальон; из ссылки вернулся через восемь лет.

Стр. 57. *Даже и такая беспощадная комедия, как «Горе от ума», могла быть написана тогда и даже напечатана (хотя и с пропусками) в николаевское время.* — Боборыкин со свойственной ему зачастую идеализацией николаевского времени неправильно характеризует условия, в которых печаталась комедия «Горе от ума». Грибоедов закончил работу над пьесой в Петербурге, в июне 1824 года. Царская цензура запретила ее печатание, были опубликованы лишь отрывки в альманахе «Русская Талия» за 1825 год. Первое издание «Горя от ума», да и то в крайне искаженном театральной цензурой виде, появилось в 1833 году. Полный же текст комедии напечатан был в России лишь в 1862 году.

...носители новых идей и стремлений, какие изображались Герценом, Тургеневым... — Имеются в виду герои произведений А. И. Герцена «Записки одного молодого человека» (1840), «Кто виноват?» (1846), «Доктор Крупов» (1847), «Сорока-воровка» (1848), а также «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Стр. 58. *Наша «Sturm und Drang Periode»* («Эпоха бури и натиска» — н е м.). — Боборыкин имеет в виду 60-е годы, называя их так по аналогии с 70—80-ми годами XVIII века в Германии, — эпохой

бурного развития литературного и общественного движения. Свое название эта эпоха получила от заглавия пьесы Ф. Клингера «Буря и натиск» (1776).

...интерес к искусству, хотя бы и в форме talents d'agrément (дилетантских склонностей — франц.) ... — С. А. Венгеров в своей статье о Боборыкине (См. «Критико-биографический словарь русских писателей...», т. IV, СПб. 1895, стр. 201) пишет, что, как явствует из автобиографической рукописи «Итоги писателя», Боборыкин дома обучался «фортепьянной игре, игре на скрипке, рисованию и танцам».

Стр. 59. *...«Отелло» в Дюсисовой переделке...* — Французский драматург и поэт Ж.-Ф. Дюси первый ввел пьесы Шекспира на французскую сцену, переделав (и при этом во многом исказив) такие произведения, как «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Ромео и Джульетта». В России на провинциальной сцене пьесы Шекспира ставились до середины XIX века в переводе французских переделок Дюси.

...с преобладанием ⟨...⟩ *пьес Полевого и Кукольника.* — Имеются в виду пьесы Н. Полевого «Дедушка русского флота», «Параша-сибирячка», «Елена Глинская», «Русский моряк» и другие, а также пьесы Н. Кукольника «Торквато Тассо», «Джакобо Санназар», «Рука всевышнего отечество спасла», «Князь Мих. Вас. Скопин-Шуйский», вызвавшие со стороны передовой русской критики осуждение за квасной патриотизм и отсутствие художественных достоинств.

...Улыбышев, автор известной французской книги о Моцарте... — Трехтомный труд русского музыкального критика А. Д. Улыбышева — «Новая биография Моцарта» — впервые вышел в 1843 году на французском языке, на русском языке вышел в 1890 году в переводе М. Чайковского с примечаниями Г. Лароша и его статьей «О жизни и трудах Улыбышева».

Стр. 60. *...в такой мрачный свет, как сделал, например, М. Е. Салтыков в своем «Пошехонье».* — Абсолютно неверное толкование Боборыкиным этого произведения Салтыкова-Щедрина — очевидно, «Пошехонская старина» — глубокое по своей правдивости реалистическое изображение помещичьего крепостного быта, свободное от той идеализации, какая свойственна многим русским писателям — выходцам из дворянской среды, в том числе и самому Боборыкину, у которого и в данных воспоминаниях мы неоднократно встречаемся, в частности, с идеализацией николаевской эпохи.

...рабство ⟨...⟩ *Платон, возводил, однако, в краеугольный камень общественного здания.* — Имеется в виду учение философа-идеалиста Платона, согласно которому рабовладельческий

строй рассматривается как единственно возможный базис совершенного общества.

Стр. 61. *«Торговая казнь»* — телесные наказания, которым осужденные подвергались на торговых площадях, у присутственных мест и вообще в местах скопления народа. «Торговая казнь» существовала в России до 1845 года.

Стр. 62. *...его первые талантливые рассказы в «Москвитянине», под псевдонимом Печерского.* — В 1852 году в «Москвитянине» был напечатан рассказ П. И. Мельникова (псевдоним — Андрей Печерский) «Красильниковы».

Стр. 63. *...в первом произведении другого нижегородца, по службе, М. В. Авдеева.* — Речь идет о трилогии М. В. Авдеева «Тамарин».

...в лучшем журнале. — То есть в «Современнике».

...как вещи в «жорж-зандовском» направлении. — Имеются в виду упоминаемые Боборыкиным ниже романы Жорж Занд, в которых нашел выражение протест против подчиненного положения женщины в семье, проповедовалась свобода чувств, утверждалось облагораживающее влияние любви на человеческую личность.

Стр. 65. *То, что Ломброзо установил в душевной жизни масс под видом мизонеизма, то есть страха новизны...* — Итальянский правовед Ч. Ломброзо, один из идейных предтечей фашизма, в книге «Il delitto politico e le revoluzioni» («О политических преступлениях и революции», 1890) проводил реакционную мысль об отвращении масс к новаторству и стремлении к нему гениев, определив первое термином «мизонеизм», а второе — «филонеизм».

Пушкин, отправляясь в Болдино ⟨...⟩ живал в Нижнем... — Речь идет о посещении А. С. Пушкиным Нижнего-Новгорода проездом в свое имение Болдино в сентябре 1830 года.

Стр. 66. *...после московского торжества открытия памятника и к столетию.* — Боборыкин говорит о двух событиях: об открытии памятника А. С. Пушкину (работы скульптора А. М. Опекушина) в Москве на Страстной площади (ныне — Пушкинская) в 1880 году, и о праздновании в 1899 году столетия со дня рождения поэта.

Стр. 67. *...в моем романе «Земские силы»...* — Первая часть и несколько глав второй части этого романа были напечатаны в «Библиотеке для чтения» в 1865 году.

Стр. 68. *...что-то вроде «беленькой»...* — С июля 1816 года в России были введены в обращение новые бумажные денежные знаки (ассигнации) достоинством в 200, 100, 50, 25, 10 и 5 рублей. Десятирублевые печатались на розовой бумаге, пятирублевые на светло-синей, остальные — на белой. Под «беленькой» обычно подразумевалась 25-рублевая ассигнация.

Тут много заложено имений у нашего брата! ⟨...⟩ здание Воспитательного дома, тогдашний общегосударственно-земельный банк. — В 1763 году в Москве, одновременно с учреждением Воспитательного дома, был основан Опекунский совет, управлявший Воспитательным домом и кредитными учреждениями при нем. Опекунский совет играл роль банка, выдававшего денежные ссуды под залог помещичьих имений.

Стр. 69. *...Печкинскую кофейню ⟨...⟩ в своем первоначальном виде...* — Кофейная купца Печкина помещалась в Охотном ряду, напротив современной гостиницы «Националь». В 30—40-х годах прошлого столетия печкинская кофейная служила местом встреч московских литераторов.

Стр. 70. *...Большове («Не в свои сани не садись»)...* — Ошибка. Большов — персонаж пьесы «Свои люди — сочтемся!».

«Однодворец». — Впервые пьеса была опубликована в № 10 «Библиотеки для чтения» за 1860 год.

Стр. 71. *...в Большом театре...* — Ошибка. Эта пьеса Островского ставилась в Малом театре.

...ее не позволили давать на сцене. — Пьеса А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» (первоначальное название «Банкрут») была напечатана в «Москвитянине» в 1850 году. Однако на сцену она была допущена цензурой лишь спустя девять лет. За написание этой пьесы Островского уволили с казенной службы и отдали под особое наблюдение полиции.

...три купца в первом акте комедии Островского (первой по счету, попавшей на сцену)... — Ошибка памяти. Из упоминаемых Боборыкиным персонажей в пьесе «Не в свои сани не садись» действуют Бородкин и Маломальский. Большов же — персонаж пьесы «Свои люди — сочтемся!», поставленной впервые лишь в 1861 году.

«Гризельда и Персиваль». — Речь идет о трагедии немецкого драматурга Ф. Гальма «Гризельда», переделанной для русской сцены П. Г. Ободовским. Пьеса шла в России в 50-х годах.

...русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня-Бородкин спасает от срама. — Боборыкин имеет в виду героев пьесы А. Н. Островского «Не в свои сани не садись».

Стр. 72. *Конец ее был довольно печальный.* — Л. П. Косицкая-Никулина последние два года жизни тяжело болела и умерла в бедности. В некрологе, напечатанном в газете «Голос», № 257 от 17 сентября 1868 года, сообщалось, что она умерла, «не оставив достаточно денег для своих похорон».

...в «Кружке»... — В ноябре 1866 года в Москве был организован «Артистический кружок», целью которого (помимо устройства концертов, музыкальных вечеров, литературных чтений и собраний)

было также «распространение в публике правильных понятий о всех отраслях изящных искусств и развитие ее эстетического вкуса», а также «доставление начинающим артистам и художникам возможности сделаться известными публике». Одним из организаторов и деятельных участников «Артистического кружка» был А. Н. Островский, а также известные артисты Малого театра М. П. Садовский, О. О. Лазарева (Садовская), В. И. Живокини и другие.

Стр. 73. *«Москаль-чаривнык»* — водевиль И. П. Котляревского, в котором М. С. Щепкин с большим успехом выступал в роли Чупруна.

Стр. 74. *...одной из любимых ‹...› была роль в пьесе «Матрос»...* — М. С. Щепкин исполнял роль матроса Симона в водевиле французских драматургов Саважа и Делюрье «Матрос».

Стр. 77. *Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин».* — В 1842 году, при постановке на сцене пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба», фамилия отставного пехотного офицера Анучкина была найдена цензурой неприличной для офицера и заменена на афише фамилией «Ходилкин» (в Москве) и «Хожалкин» (в Петербурге).

Стр. 78. *О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике...* — Речь идет о сборнике «Складчина», изданном в Петербурге в 1874 году в пользу пострадавших от неурожая крестьян Поволжья. Боборыкин напечатал в этом сборнике очерк под заглавием: «Василий Игнатьевич Живокини (Очерк из далека. Рим, февраль, 1874 г.)».

Стр. 79. *...лицо старого Фридриха (в какой-то переводной пьесе)...* — В опере-водевиле «Старый гусар, или Пажи Фридриха II», поставленной в 1831 году в московском Малом театре.

«Ямщики» — «русский народный водевиль» актера Александринского театра в Петербурге и драматурга П. Г. Григорьева 2-го — «Ямщики, или Как гуляет староста Семен Иванов», шедший на русской сцене в 50-х годах.

Стр. 81. *«Извозчик».* — Пьеса шла на русской сцене в переводе Тарновского и Бегичева.

...сгорел Большой театр... — Здание Большого театра в Москве сгорело в марте 1853 года «от неосторожности ламповщиков. Пламя было ужасное. В середине погибло довольно людей. Это случилось во время репетиции» («Дневник Ивана Михайловича Снегирева (1853—1865) и его воспоминания», т. II, М. 1905, стр. 5).

Стр. 82. *Знаменитое катанье под Новинским...* — У бывшего Новинского монастыря (упразднен в XVIII веке, находился между современной площадью Восстания и Проточным переулком), как и у других монастырей, по большим церковным праздникам устраивались гулянья: ставились «коньки» (карусели), перекидные качели,

палатки с закусками и лакомствами, балаганы для театральных представлений, устраивались катанья на тройках.

...борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией. — В России с царствования Петра I до конца царствования Николая I ношение бороды разрешалось только лицам купеческого звания и «пашенным» крестьянам.

Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал комплект... — После революционных событий 1848 года в Западной Европе правительство Николая I, стремясь «прекратить» распространение революционных идей в среде русской молодежи, ограничило число студентов каждого университета (кроме медицинских факультетов) «комплектом» в триста человек. В 1855 году это ограничение было снято.

Стр. 87. *«Бурлаки» Репина еще не сложились тогда.* — И. Е. Репин работал над картиной «Бурлаки на Волге» значительно позже, в 1871—1873 годах. В начале 1871 года Репин выставил в Обществе поощрения художеств первый вариант картины; в 1873 году, в Академии художеств — законченный вариант.

Стр. 89. *«Василий Теркин».* — Роман впервые был напечатан в № 1—6 «Вестника Европы» за 1892 год.

...известная всем, кто побывал «у Макария» — то есть на нижегородской Макарьевской ярмарке, получившей свое название от Макарьева-Желтоводского — Троицкого монастыря, около которого она происходила с начала XVI века.

...при губернаторе Муравьеве (бывшем декабристе)... — Имеется в виду А. Н. Муравьев, декабрист, один из основателей «Союза спасения»; в 1826 году был сослан в Верхнеудинск, в 50-х годах был нижегородским губернатором.

Стр. 90. *«Камералисты»* — слушатели так называемых «камеральных разрядов», которые существовали в русских университетах в 1841—1863 годах и готовили специалистов для хозяйственной и административной службы.

Стр. 91. *...рассказ мой «Псарня»...* — Впервые был опубликован в № 1, 2 журнала «Новое обозрение» за 1881 год.

Стр. 93. *Сумбекина башня* — многоярусная башня Сюмбеки, памятник архитектуры XVII века.

Стр. 95. *Субы* — субинспекторы, помощники инспекторов.

Стр. 100. *...Абамелек, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: «Когда-то помню...».* — Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина, вписанное в альбом А. Д Абамелек с датой: 9 апреля 1832 года. Первые его строки читаются так:

Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем...

Стр. 102. *...критический этюд о Бетховене...* — Книга А. Д. Улыбышева вышла в 1856 году в Лейпциге под заглавием «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs» («Бетховен, его толкователи и его критики»).

Стр. 104. *...Милославский играл все ⟨...⟩ до ⟨...⟩ Ляпунова.* — В пьесе С. Гедеонова «Прокопий Ляпунов».

Стр. 105. *«Эсмеральда»* — мелодрама, переделка романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери». Шла на петербургской сцене в 40-х и 50-х годах.

«Графиня Клара Д'Обервиль». — Под этим названием ставилась в России пьеса французских драматургов Анисе — Буржуа и Деннери «La Dame de Saint Tropez» в переводе В. А. Каратыгина. Впервые в Александринском театре шла в 1846 году, в бенефис В. А. Каратыгина.

«Она помешана» — комедия «Она помешана» («Мученик страсти»), шедшая на русской сцене в 50-х годах в переводе Д. А. Мансфельда.

Стр. 106. *Увлекались только входившим тогда в моду столоверчением.* — П. Д. Боборыкин говорит о спиритизме — мистической вере в загробную жизнь духов умерших и в возможность общения с ними. Одним из доказательств возможности «общения с духами» считалось подпрыгивание и вращение стола, когда медиум (посредник между людьми и «потусторонним миром») прикасался к нему руками. В России спиритизм получил распространение в середине XIX века.

Стр. 107. *К второй зиме разразилась уже Крымская война.* — Военные действия в Крымской войне начались осенью (11 октября) 1853 года, столкновением у Исакчи; 16 октября турки взяли приступом русский форт св. Николая (Шефкатиль) на Кавказском побережье. 21 октября правительство Николая I объявило войну Турции.

Стр. 108. *...не было того духа, какой стал давать о себе знать позднее, к 60-м годам...* — то есть вольнолюбивого, революционного духа, охватившего студенчество к концу 50-х — началу 60-х годов.

Стр. 109. *...студентов-поляков, которые были как бы на положении ссыльных.* — Речь идет, видимо, о польской молодежи из числа семейств, высланных в Россию после польского восстания 1830 — 1831 годов.

Стр. 111. *...автор «Обломова» ⟨...⟩ возвращался из своего кругосветного путешествия ⟨...⟩ и останавливался ⟨...⟩ в Казани.* — И. А. Гончаров отправился в кругосветное плавание в октябре 1852 года, вернулся в Петербург в феврале 1855 года. Его пребывание в Казани относится к январю — февралю 1855 года.

Стр. 113. *...после введения новых судебных уставов.* — Новые судебные уставы, заменявшие сословные суды общими внесословными судебными учреждениями, были утверждены 20 ноября 1864 года. Это была одна из буржуазных реформ 60-х годов.

Стр. 114. *В их городе он нашел и отпрепарировал металл рутений...* — Рутений (Ru), элемент VIII группы Периодической системы элементов, входит в группу платиновых металлов. Открыт в Казани химиком К. Клаусом в 1844 году. Свое название получил в честь России (от лат. Rutenia — Россия).

...нескольких глав из политической экономии Ж. Батиста Сэя... — Речь идет об одном из двух основных трудов известного французского буржуазного экономиста Ж.-Б. Сея — «Трактате по политической экономии» («Traité d'économie politique», 1803, ed. 1846) или шеститомном «Полном курсе практической политической экономии» («Cours complet d'économie politique pratique», v. I—VI, 1828—1830).

Стр. 116. *Смерть Николая никого из нас не огорчила, но и никакого ликования я что-то не припомню.* — Это утверждение можно объяснить узостью сферы наблюдений семнадцатилетнего юноши Боборыкина. Совсем другие свидетельства о впечатлении, которое произвела на русское передовое общество смерть Николая, оставили нам революционные демократы. «...Из России потянуло весенним воздухом», — писал Герцен, узнав о смерти Николая I (А. И. Герцен, Сочинения в 9-ти томах, т. 7, Гослитиздат, М. 1958, стр. 45). «Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать», — вспоминал Н. В. Шелгунов (Н. В. Шелгунов, «Воспоминания», М. — Пг. 1923, стр. 26).

Стр. 117. *«В усадьбе и на порядке».* — Впервые повесть была опубликована в № 1 «Вестника Европы» за 1875 год.

Стр. 120. *...уездный город Лебедянь, уже описанный Тургеневым.* — Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Лебедянь».

...в первом, по счету, рассказе «Фараончики» (...) появившемся в журнале «Развлечение», у старика Ф. Б. Миллера... — Ошибка памяти: рассказ был опубликован в № 4 «Отечественных записок» за 1871 год.

...моей первой (оставшейся в рукописи) комедии «Фразеры»... — Комедия была запрещена цензурой, а рукопись — затеряна в редакции «Русского слова», куда Боборыкин посылал ее для напечатания.

Стр. 126. *...даже еще не «временнообязанный».* — По «Положениям» 19 февраля 1861 года крестьяне, вышедшие из крепостной

зависимости, до выкупа полевого надела именовались временнообязанными, так как за пользование землей несли установленные «Положениями» повинности в пользу помещика (то есть ту же барщину или оброк), оставаясь, таким образом, прикрепленными к земле.

Стр. 129. *...мы наняли тарантас на «сдаточных»...* — то есть на переменных лошадях (но не на почтовых), с передачей от ямщика к ямщику.

Стр. 132. *...и вспомню, что ведь злосчастная война не кончена...* — Крымская война закончилась Парижским миром, подписанным 18 марта 1856 года. «Злосчастная война» стоила России свыше полумиллиона человеческих жизней и около восьмисот миллионов рублей.

Стр. 134. *«Армида»* — балет итальянского композитора Ц. Пуни, шедший во второй половине 50-х годов в Большом театре в Петербурге.

«Ломбарды». — Речь идет об опере итальянского композитора Д. Верди «Ломбардцы».

«Дон Паскуале» — опера итальянского композитора Г. Доницетти.

«Сальватор Роза». — Речь идет о пьесе, шедшей в переводе актера и драматического писателя Н. И. Куликова (псевдоним — Н. Круглополев) на сцене московского Малого театра в 50-х годах.

Стр. 137. *...ко времени моего половинного экзамена...* — то есть половины кандидатских экзаменов, которые в Дерптском университете сдавались в два приема.

...пятиактную комедию, которая явилась в печати в октябре 1860 года... — Речь идет о комедии «Однодворец».

Стр. 138. *...принялся за греческую грамоту под руководством одной девицы-«фишерки»...* — то есть окончившей женскую гимназию Фишера в Москве. В учебную программу этой гимназии включалось изучение латинского и греческого языков.

Стр. 139. *Немецкие бурши посадили нас на «Verruf»...* — то есть держали в изоляции, не принимали в свою среду.

Стр. 140. *Корпорация «Рутения».* — Корпорация студентов Дерптского университета — уроженцев России.

Стр. 141. *Когда они сделались «vogelfrei»...* — то есть когда была распущена «Рутения» и бывшие ее члены лишились покровительства «закона» (так называемого «Коммана»), принятого в студенческой среде.

Стр. 142. *...на берега чухонского Эмбаха?* — Дерпт (теперь г. Тарту, Эстонская ССР) расположен на реке Эмбах.

Стр. 145. *Средневековые ордалии* — выяснение виновности подозреваемого в преступлении путем пытки или поединка с обвиняющим; выдержавший пытку (или победивший в поединке) считался невиновным.

Стр. 146. *Пелазги* — племя, населявшее южную часть Балканского полуострова и западное побережье Малой Азии до того, как на эти земли переселились эллины — древние греки.

Стр. 148. *...уланский полк ⟨...⟩ где тогда еще служил Фет-Шеншин...* — А. А. Фет (Шеншин) учился в немецком пансионе в лифляндском городке Верро; позднее, находясь на военной службе, в 1853 году перешел в лейб-уланский полк, расквартированный в Дерпте.

Стр. 149. *...где «анмельдованы» были попойки...* — «Анмельдованы» — заявлены начальству. Студенческая корпорация должна была заранее сообщать университетскому начальству о месте и времени попойки.

Стр. 151. *Нынче и для народа строят у нас великолепные театры и хлопочут об этом Общества народной трезвости...* — Во всей России было устроено лишь несколько народных театров. «Обществом народной трезвости» в 1898 году был открыт народный театр в Петербурге в Таврическом саду. Кроме того, в 80-х годах в Петербурге за Невской заставой был устроен рабочий Василеостровский театр, перешедший в 1894 году в ведение филантропического «Общества дешевых столовых и чайных и домов трудолюбия». В 1893 году был основан Одесский народный театр, вмещавший тысячу человек.

Стр. 152. *...герренгутер-пиетист...* — Гернгутерами назывались члены религиозной секты, основанной «Богемскими братьями» и отличавшейся строгостью нравов и религиозным изуверством. В России гернгутеры пользовались некоторым влиянием среди крепостных крестьян Лифляндии.

Стр. 155. *Плессиметр* — пластинка, применяемая при исследовании внутренних органов человека методом выстукивания.

Стр. 156. *Экзегетика* — приемы объяснения и толкования библейских текстов.

Стр. 162. *...когда болгары еще сидели на Волге...* — Имеются в виду волжские болгары, народ тюркского происхождения, создавший на Каме и Волге сильное государство, существовавшее с VIII по XIV век. Прямыми потомками волжских болгар исследователи считают современных чувашей.

Стр. 163. *...этюдов Тэна о староанглийском театре.* — Вероятно, имеется в виду одна из лекций И. Тэна, вошедших позднее в сборник «Philosophie de l'Art» («Философия искусства», 1880).

Эту статью я повез в Петербург ⟨...⟩ мне удалось поместить ее в «Русском слове». — Речь идет о статье С. Уварова «Марло, один из предшественников Шекспира. Очерк из истории английской драмы», которая была напечатана в № 2 «Русского слова» за 1859 год.

Стр. 165. *...состоял на какой-то службе, кажется по тюремному ведомству.* — В. А. Соллогуб был председателем комиссии по преобразованию тюрем.

Стр. 167. *Она задолго до его смерти была близка с ним, состояла с ним в переписке...* — С. М. Соллогуб (урожд. Въельгорская), первая жена писателя В. А. Соллогуба, находилась в дружеских отношениях с Гоголем и состояла с ним в переписке в 40-х годах.

...посвятил ей пьесу «Мать», которая явилась в печати под псевдонимом. — Пьеса «Мать и дитя» была опубликована в № 10 «Библиотеки для чтения» за 1864 год, под псевдонимом: «С. Белицын».

Стр. 168. *«Жертва вечерняя».* — Этот роман впервые печатался в № 1, 2, 4, 5, 7 журнала «Всемирный труд» за 1868 год. В 1872 году, при выходе отдельным изданием, цензура запретила роман как скабрезный, и лишь когда дело дошло до кабинета министров, он был разрешен.

Стр. 170. *...заведения, вроде Излера...* — увеселительное заведение.

Стр. 172. *В посмертных очерках ⟨...⟩ А. И. Герцена, есть превосходная характеристика Кетчера-друга...* — Кетчеру посвящена специальная глава в IV части «Былого и дум» А. И. Герцена.

...с которым Герцен впоследствии разошелся... — См. прим. к стр. 249.

Стр. 173. *Он курил «жуков»...* — то есть табак фабрики Жукова.

...Галахова ⟨...⟩ составителя хрестоматии. — Профессор А. Д. Галахов был автором «Русской хрестоматии», выдержавшей с 1842 по 1910 год 33 издания. Хрестоматия впервые вводила в школьный обиход таких писателей, как Лермонтов, Гоголь, Тургенев.

...он более «перепер», чем «перевел» великого «Вилли». — Намек на широко известную в те годы эпиграмму И. С. Тургенева:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Стр. 174. *...в тех архимосковских номерах челышевского дома...* — Имеется в виду дом московского купца Челышева, где сдавались

знаем дешевые меблированные комнаты, известные всей Москве под названием «Челыши».

Стр. 176. *...тот проезд Петербургом, когда выставлялась картина Иванова...* — в мае — июне 1858 года.

Н. Неклюдов ⟨...⟩ кончил должностью товарища министра внутренних дел... — См. прим. к стр. 231.

Стр. 177. *...рассказывал С. В. Максимову в год его смерти...* — С. В. Максимов умер в 1901 году.

...«под порогом сознания», по знаменитой фразе психофизика Фехнера. — Речь идет об учении немецкого философа и психофизика XIX века Г.-Т. Фехнера, занимавшегося главным образом вопросами зависимости между материальным и духовным, физическим и психическим миром. Фехнер научно определил понятие так называемого «порога раздражения» и оставил многочисленные исследования по определению абсолютных и разностных «порогов».

Стр. 178. *«Капризница»* — комедия П. А. Фролова.

Стр. 179. *...после прочтения повести Н. Д. Хвощинской «Фразы».* — Речь идет о повести Н. Д. Хвощинской-Зайончковской (В. Крестовский — псевдоним) «Фразы. Деревенская история», напечатанной в № 1 «Отечественных записок» за 1855 год.

«Старое зло». — Впервые пьеса была опубликована в № 8 «Библиотеки для чтения» за 1861 год. Позднее шла на сцене под названием «Большие хоромы».

Стр. 180. *...а из комедии появилось только первое действие ⟨...⟩ в журнале «Век»...* — в № 4 «Века» за 1861 год под заголовком: «Наши знакомые. Сцены».

Тогда именно я знакомился с новыми вещами Толстого... — Во второй половине 50-х годов вышли следующие произведения Л. Н. Толстого: «Отрочество» (1852—1856), «Юность» (1855—1856), «Военные рассказы» (1856), «Утро помещика» (1856), «Люцерн» (1857), «Три смерти» (1858) и др.

Стр. 181. *...я первый схватил книжку «Русского вестника»...* — Роман И. С. Тургенева «Накануне» был впервые опубликован в № 1 «Русского вестника» за 1860 год.

...я сделался ⟨...⟩ летописцем конфликта «Рутении» с немецким «Комманом». — Упомянутые Боборыкиным статьи и воззвания периода его дерптской университетской жизни не обнаружены. Весьма возможно, что Боборыкину (или его университетскому товарищу В. Баксту, впоследствии участнику студенческого революционного движения и эмигранту) принадлежит статья в «Колоколе» о тяжелом положении русских студентов в германизированном Дерптском университете («Колокол», 1860, Лист 61, 15 января, отд. «Смесь»).

Когда в Казани в конце 50-х годов ⟨...⟩ началось что-то вроде волнения... — Студенческое движение в Казанском университете началось со столкновений студентов с профессорами и университетским начальством. По требованиям студентов администрации университета пришлось согласиться на увольнение невежественных педагогов — профессора физиологии В. Ф. Берви (в 1858 году) и профессора всеобщей истории В. М. Ведрова (в 1859 году). В связи с письмом студентов к В. Ф. Берви с просьбой оставить кафедру в университете производилось следствие. Волнения усилились в 1859—1860 годах, когда университетские власти начали новое следствие по поводу аплодисментов, которыми сопровождались лекции либерального профессора всеобщей и русской литературы Н. Н. Булича, — проявлять во время занятий свое отношение к педагогам было «высочайше» запрещено. В результате из университета было исключено восемнадцать студентов. Протест студентов выразился в массовой подаче прошений об отчислении из университета, в рукописных воззваниях и стихах.

Стр. 182. *...в «разрывной» по тому времени книжке Бюхнера «Kraft und Stoff».* — Имеется в виду весьма популярный в России в 60-х годах труд немецкого физиолога, популяризатора естественнонаучных знаний, одного из представителей вульгарного материализма, Л.-К.-Х. Бюхнера. Так как, по цензурным условиям, широкая пропаганда естественнонаучного материализма в России была невозможна, то среди студенческой молодежи распространялось литографированное издание этой книги в русском переводе.

Стр. 183. *Глава четвертая.* — В № 4 журнала «Минувшие годы» за 1908 год, где впервые было опубликовано начало этой главы, имелось примечание П. Д. Боборыкина, в котором сообщалось о публикациях предыдущих глав и кратко излагалось их содержание.

Стр. 187. *...когда университет был закрыт на целый год.* — Петербургский университет был закрыт с 12 октября 1861 года, затем была сделана попытка возобновить занятия, но студенты, не желавшие подчиняться новым, реакционным правилам, бойкотировали лекции. 20 декабря последовало «высочайшее повеление» о закрытии университета «впредь до пересмотра университетского устава», так как дальнейшее его существование на прежних основаниях «не может быть признаваемо полезным для обучающегося в нем юношества». А. В. Никитенко записал в своем дневнике 21 декабря 1861 года: «Высочайшее повеление о закрытии С. П[етербургского] университета. Фактически он был уже закрыт самими студентами, которые не посещали лекций» (А. В. Никитенко, «Дневник», т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 250).

Стр. 188. *...к Ольхину ⟨...⟩ перешли дела Смирдина...* — Журнал «Библиотека для чтения» был основан О. И. Сенковским (лит. псевдоним — «барон Брамбеус») и А. Ф. Смирдиным в 1834 году. В 1847 году Смирдин продал «Библиотеку для чтения» книгопродавцу М. Д. Ольхину, а последний в 1848 году бумажному фабриканту П. А. Печаткину, которому она принадлежала до 1864 года.

Стр. 189. *...с наружностью щедринского поручика Живновского...* — Речь идет о персонаже «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина, отставном поручике Живновском, наружность которого следующим образом описана автором: «...фигура высокого роста... с огромными седыми усами, опущенными вниз» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. II, ГИХЛ, М. 1933, стр. 79).

Стр. 191. *...«Безобразный поступок «Века».* — Имеется в виду нашумевшая история, вызванная бестактным фельетоном «Камня Виногорова» (П. И. Вейнберга) в журнале «Век» (№ 8 от 22 февраля 1861 года). Использовав в своем фельетоне «Русские диковинки» информацию «Санкт-Петербургских ведомостей» о музыкально-литературном вечере в Перми 27 ноября 1860 года, автор допустил оскорбительные личные выпады против участницы этого вечера г-жи Толмачевой, выступившей с чтением «Египетских ночей» А. С. Пушкина. Вейнберг писал: «Русская дама, статская советница, явилась перед публикою в виде Клеопатры, произнесла предложение «купить ценою жизни ночь ея», и как произнесла!» Приведя слова пермского корреспондента о том, с каким чувством читала Толмачева, что «все лицо ее изменялось беспрестанно, принимая то нежно-страстное, то жгучее, то неумолимо суровое, то горделиво-вызывающее» выражение, Вейнберг добавлял: «Не прочтет ли г-жа Толмачева еще другого стихотворения Пушкина, тоже удивительного в художественном отношении, начинающегося стихом: «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»? Прочтите, прочтите, г-жа Толмачева! При чтении его можно еще лучше принимать *вызывающее* выражение и делать еще более выразительные жесты! Уж коли эмансипироваться, так до конца! Зачем же останавливаться на полдороге?»

С резкой статьей против Вейнберга («Безобразный поступок «Века») выступил писатель М. Л. Михайлов («Санкт-Петербургские ведомости», № 51, 3 марта 1861 года). Михайлова поддержала вся демократическая пресса, справедливо усмотревшая в фельетоне Вейнберга выступление против женской эмансипации, прикрытое фальшивыми сожалениями о потере светских приличий и стыдливости («К вам, мои прекрасные читательницы, обращаюсь я, —

восклицал Вейнберг, — к вам взываю! Долой всякую стыдливость, долой женственность, долой светские приличия; вас приглашает к этому г-жа Толмачева...»).

Редакция журнала «Век» под давлением общественного мнения вынуждена была в следующем, 9 номере принести Толмачевой свои извинения.

«Союз писателей». — Имеется в виду «Общество драматических писателей и оперных композиторов», образовавшееся в 1874 году.

Стр. 193—194. *...при Дружинине и Писемском...* — А. В. Дружинин был редактором «Библиотеки для чтения» с 1856 по 1860 год. А. Ф. Писемский — с 1860 по январь 1863 года.

Стр. 195. *К 1861 году Дружинин, как и Тургенев, перестал быть сотрудником «Современника».* — Разрыв Дружинина и Тургенева с «Современником» относится к разным периодам: Дружинин перестал сотрудничать в «Современнике» со второй половины 1856 года, когда стал редактором «Библиотеки для чтения». Тургенев — в 1860 году, после опубликования статьи Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» («Современник», 1860, № 3), в которой анализировался роман «Накануне». Тургенев возражал против революционного истолкования Добролюбовым этого произведения, боялся «неприятностей», которые может принести ему статья. Статья Добролюбова послужила не столько причиной разрыва, сколько поводом для него. В. И. Ленин писал, что «Тургенева... тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции... ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 27, М. 1950, стр. 244).

Если Тургеневу принадлежит фраза о Чернышевском и Добролюбове... — Встретившись с Чернышевским на публичном чтении, устроенном Обществом для вспомоществования нуждающимся литераторам 10 января 1860 года, Тургенев имел с ним продолжительное объяснение в весьма резких выражениях — речь шла о статье Н. А. Добролюбова по поводу романа «Накануне» (см. об отношении Тургенева к этой статье в предыдущем прим.). В заключение раздосадованный Тургенев сказал Чернышевскому: «Вы — просто змея, а Добролюбов — очковая» (В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове», Гослитиздат, Л. 1936, стр. 402).

Стр. 196. *...Некрасов, автор целой поэмы ⟨...⟩ кажется, в сотрудничестве с М. Лонгиновым...* — Речь идет о поэме М. Лонгинова «Поп». Авторство ее приписывалось не только Некрасову, но и Тургеневу (см. «Русские пропилеи», т. III, М. 1916, стр. VI).

Стр. 198. *...того литератора 20-х годов, который впервые стал издавать «Отечественные записки».* — Журнал был основан в 1818 году литератором П. П. Свиньиным.

Стр. 199. *...по литографированному портрету из коллекции Мюнстера...* — Имеется в виду литограф-издатель А. Э. Мюнстер, издавший коллекцию портретов русских писателей.

Стр. 202. *...напечатал когда-то критический этюд о Гоголе...* — Речь идет о статье «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Часть II» («Отечественные записки», 1855, № 10).

О Токвиле, книга которого переводилась тогда в «Библиотеке для чтения». — В № 1 «Библиотеки для чтения» за 1861 год печатался, в виде приложения, анонимный перевод труда французского историка и социолога А. Токвиля «Старый порядок и революция» (1856).

...Писемский ⟨...⟩ стал близок к Тургеневу, который одно время сделал из него своего любимца... — Тургенев с 50-х годов находился в дружеских отношениях с Писемским и поддерживал с ним переписку. Но отношение его к творчеству Писемского было противоречивым. Наряду с высокими оценками произведений Писемского («Вот Писемский — мастер. Как рисует этот человек», — писал, например, Тургенев 9 марта 1857 года П. В. Анненкову. — «Наша старина», 1914, № 12, стр. 1071) имеется и ряд отрицательных отзывов Тургенева о них.

Стр. 206. *И оба кончили так трагически.* — В 1874 году сын Писемского Николай, только что блестяще закончивший университет, застрелился по неизвестной причине. В 1880 году другой его сын — Павел, талантливый юрист, заболел тяжелой психической болезнью.

Стр. 207. *...Писарев даже и позднее высоко ценил его.* — В своей статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» Д. И. Писарев высоко оценивал силу сатирического обличения крепостнического дворянства в произведениях Писемского, подчеркивал народность лучших его повестей (см. Д. И. Писарев, Избр. соч. в 2-х томах, т. 1, М. 1934, стр. 97, 112).

Сейчас засылал ко мне Некрасов Салтыкова приторговывать мою новую вещь. — См. прим. к стр. 380 II тома наст. изд.

А какая это была «новая вещь»? Роман «Взбаламученное море»... — Роман «Взбаламученное море» представляет собой злобный пасквиль на революционно-демократическое движение 60-х годов. Печатался в 1863 году в реакционном журнале Каткова «Русский вестник», в редакцию которого вошел тогда Писемский.

Стр. 208. *...Михаила Евграфовича ⟨...⟩ состоявшего в редакции «Современника».* — М. Е. Салтыков-Щедрин принимал ближайшее участие в редактировании «Современника» в 1862—1864 годах.

Его знаменитый промах в энциклопедическом лексиконе... — Речь идет об ошибке, допущенной не в энциклопедическом словаре, а в журнале Краевского «Отечественные записки», № 1 за 1839 год. В помещенном в этом номере переводе «Рассказов старинного полицейского агента» была допущена ошибка, свидетельствующая о плохом знании переводчиком французского языка. Слова «doyen d'âge» (то есть — старший годами, старший по возрасту), были неправильно поняты, как обозначение должности героя. Текст перевода гласил: «Он обратился к Дюмену, их дуайену доуге, человеку честному» и т. д.

...сделать из «Отечественных записок» передовой орган 40-х годов... — Боборыкин имеет в виду только организаторские способности Краевского, его деловое чутье и понимание того, что может заинтересовать передовое русское общество и обеспечить издателю большую прибыль. Однако он нисколько не обольщался относительно той роли, которую играл в журналистике Краевский. В редакционной статье «Наше газетное дело», помещенной в книге 2-й тома 1 «Библиотеки для чтения» за 1865 год (во время редакторства Боборыкина), говорилось: «В самом деле, можно ли назвать литератором г. Краевского? Где его сочинения или журнальные статьи? Вероятно, сам г. Краевский примет подобный вопрос за насмешку. До какой степени деятельность г. Краевского не имеет ничего общего с задачею литератора или общественного деятеля, ратующего за известные убеждения, за известные меры, можно видеть из того, что г. Краевский в своем «Голосе» защищает то, против чего восстает в «Отечественных записках». В январе «Отечественные записки» отнеслись очень благосклонно к классическому образованию, а сколько противу него ратовал «Голос»?» (стр. 40.)

Из этой характеристики видно, что Боборыкин правильно расценивал Краевского как беспринципного предпринимателя, рассматривавшего журнальное дело лишь как дело *коммерческое*.

...заветы Белинского; но не того только, что действовал в «Современнике», а прежнего эстета, гегельянца, восторженного ценителя Пушкина. — Неточность. В. Г. Белинский всегда высоко ценил творчество Пушкина. Но его важнейшие статьи о Пушкине относятся как раз к тому периоду, когда он уже порвал с идеализмом и стал на позиции материализма.

Стр. 212. *Добролюбов уже умирал. Его нигде нельзя было встретить.* — Н. А. Добролюбов вернулся из-за границы, куда ездил для лечения, в июле 1861 года; умер 17 ноября 1861 года.

Стр. 217. *«Анютины глазки и барская спесь».* — Речь идет о французском водевиле «Барская спесь и Анютины глазки», переделанном для русской сцены Д. Ленским. Впервые был поставлен в Москве 16 января 1842 года.

Стр. 222. *...в переводной пьесе «Любовь и предрассудок»...* — Пьеса Мельвиля, шла на русской сцене во второй половине XIX века.

Стр. 224. *Он еще не мечтал о поступлении на сцену.* — Н. А. Потехин начал свою деятельность как журналист и драматург. Напечатав в «Отечественных записках» ряд очерков, а затем и пьес, Потехин в 70-х годах сделался актером и режиссером, выступал в Харькове и Вильно.

Стр. 225. *...переводными новинками, вроде «Марты»...* — опера немецкого композитора Ф. Флотова, русский текст Н. И. Куликова.

Образовался уже кружок «кучкистов». — Боборыкин говорит о «Могучей кучке» — группе русских композиторов, испытавших в своем творчестве влияние передовых идей общественного движения 60-х годов. К этой группе принадлежали М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи. Название «Могучая кучка» возникло случайно; его впервые упомянул тесно связанный с этой группой критик В. В. Стасов, который в статье «Славянский концерт г. Балакирева» (1867) писал о «маленькой, но уже *могучей кучке* русских музыкантов».

Стр. 228. *...открылся уже Шахматный клуб...* — Он был основан в январе 1862 года группой прогрессивных литераторов в Петербурге, с целью сплочения оппозиционно настроенных писателей. В работе клуба принимали участие Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, П. Л. Лавров, Г. З. Елисеев, Н. И. Утин, Г. Е. Благосветлов и другие. В начале июня 1862 года клуб был закрыт правительством ввиду того, что в нем якобы «распространяются неосновательные суждения» о современных событиях (см. «Санкт-Петербургские ведомости», 1862, № 120, 6 июля). О Шахматном клубе см. в статье Р. А. Таубина «К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в.» («Исторические записки», 1952, № 39).

Вместо объединения кружков и партий он, кажется, способствовал только тому, что все это гораздо сильнее обострилось. — Здесь Боборыкин повторяет правительственную версию о вредной деятельности Шахматного клуба.

Стр. 229. *...одним из его симптомов сделались воскресные школы.* — Воскресные школы в России появились в начале 60-х годов, как одна из форм внешкольного образования народных масс. В их орга-

низации деятельное участие принимали Н. И. Пирогов, П. В. Павлов. Преподавателями в этих школах были студенты, передовая интеллигенция. Уже в мае 1860 года царское правительство, опасаясь усиления революционных настроений масс, обрушилось рядом репрессий на воскресные школы, а в июне 1862 года, в связи с общим усилением реакции в стране, все воскресные школы были закрыты до начала 70-х годов, когда они вновь стали открываться в разных городах России.

...перед взрывом беспорядков к сентябрю 1861 года. — Имеются в виду студенческие волнения в России осенью 1861 года.

Стр. 231. *...Неклюдов был уже не то обер-прокурор, не то товарищ государственного секретаря...* — с 1881 года Н. А. Неклюдов занимал пост обер-прокурора уголовно-кассационного департамента сената; с 1894 по 1896 год — пост товарища государственного секретаря.

Стр. 232. *...в день падения Порт-Артура или адских боев Ляояна и под Мукденом...* — Речь идет о событиях русско-японской войны 1904—1905 годов.

Стр. 234. *...день, когда появился манифест 19 февраля, прошел в петербургском писательском мире без всякого торжества...* — Причиной того, что передовая писательская общественность встретила обнародование манифеста (в Петербурге это произошло 8 марта) «без всякого торжества», был крепостнический характер реформы, а не отсутствие «товарищеского духа», как утверждает в своих воспоминаниях Боборыкин. «Современник», например, в отличие от других журналов, вообще не откликнулся специальной статьей на провозглашение реформы, выразив свой протест молчанием.

...«штиль» митрополита Филарета. — «Манифест 19 февраля» был написан московским митрополитом Филаретом.

Стр. 235. *...прокламации, автором которых и оказался Михайлов.* — Автором прокламации «К молодому поколению» был Н. В. Шелгунов. М. Л. Михайлов ездил в Лондон для напечатания этой прокламации в Вольной русской типографии у Герцена. Будучи арестован 14 сентября 1861 года, Михайлов, желая отвести подозрение от Н. В. Шелгунова и других, принимавших участие в печатании и распространении прокламации, взял всю вину на себя.

Стр. 240. *...по три десятины на душу, что в том крае считалось высшим наделом.* — «Положениями» 19 февраля 1861 года были установлены высшие и низшие нормы душевых наделов, в зависимости от качества земли, местности и других условий. В пределах установленных норм помещики обязывались наделять крестьян зем-

лей. Однако, как правило, эти наделы были ниже дореформенных и не обеспечивали необходимого прожиточного минимума.

Стр. 243. *...один только Огарев* 〈...〉 *отпустил своих крепостных на волю...* — После смерти отца (в 1838 году) Н. П. Огарев, получив в наследство десять тысяч десятин земли в имении Белоомут Рязанской губернии, освободил своих крестьян от крепостной зависимости и попытался организовать свободную крестьянскую общину. Когда эта попытка не удалась, Огарев отдал крестьянам землю на весьма выгодных для них условиях.

Стр. 244. *...то обязательное отчуждение земли, о которое первая Дума так трагически споткнулась...* — В основе аграрных законопроектов первой Государственной думы (созвана 27 апреля, разогнана 6 июля 1906 года) лежало принудительное отчуждение казенных и части помещичьих земель (условия отчуждения были разными: у кадетского большинства — проект 44-х и партии трудовиков, поддерживавшийся социал-демократами, — проект 33-х). В ответ на предупреждение правительства, что оно не допустит отчуждения земель, Дума выпустила обращение к населению, в котором заявлялось, что отчуждение земель должно совершиться на основании закона. Это послужило поводом для разгона Думы правительством.

Мои временнообязанные получили даровую землю, только в недостаточном количестве, — разница количественная, а не по существу. — Имеется в виду «дарственный» (или «гагаринский», «сиротский») надел, представлявший собой четвертую часть высшего для данной местности надела. Такой надел по взаимному соглашению передавался крестьянам в собственность безвозмездно. Часть крестьян, чтобы прекратить временнообязанные отношения, требовала дарственного надела, что вело к дальнейшему разорению крестьян. Слова Боборыкина о несущественности количественной разницы свидетельствуют о непонимании действительного положения, в которое реформа ставила крестьян. Острый недостаток земли ставил крестьян в полукрепостническую зависимость от помещика (отработки за аренду, то есть форма, близкая к барщине; батрачество за натуральную оплату и т. д.). Как отмечал В. И. Ленин, «чем больше земли получили бы крестьяне в 1861 году и чем дешевле бы они ее получили, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-помещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капитализма в России» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 11).

Стр. 245. *...вышел его учебник* 〈...〉 *набитый изложением разных теорий вменения...* — Имеется в виду «Учебник уголовного права» В. Д. Спасовича, во втором разделе которого рассматриваются условия, при которых преступнику может быть «вменено в вину»

совершенное им преступление. Учебник Спасовича был издан сначала для студентов в виде записей курса его лекций. Первое полное издание вышло в Петербурге в 1863 году.

Стр. 248. *...по поводу диссертации Соловьева, где тот защищал «кризис» против позитивизма.* — Имеется в виду «Кризис западной философии против позитивистов», магистерская диссертация В. С. Соловьева, которую он защищал в 1874 году.

Стр. 249. *...комические сцены...* — Речь идет о пьесе «Наши знакомые» (см. прим. к стр. 180).

...до их разрыва, случившегося на почве политических взглядов и уже в 60-х годах... — В период реакции, вызванной страхом русского самодержавия перед возможной народной революцией, многие представители либеральной интеллигенции отшатнулись от передового освободительного движения. В начале 1862 года произошел формальный разрыв А. И. Герцена с его «московскими друзьями» — либералами Коршем, Кетчером и другими, а в июне — с Кавелиным. Фактически же идейное расхождение между ними началось еще во второй половине 50-х годов.

Стр. 251. *Всю эту смуту заварил новый министр Путятин со своими «матрикулами»...* — Студенческие волнения 1861 года были вызваны рядом репрессий царского правительства, напуганного растущей революционностью крестьянских масс и демократической интеллигенции. В университетах были введены «новые правила» (утвержденные 31 мая 1861 года, но сообщенные студентам лишь осенью), согласно которым вводились обязательные «матрикулы» — зачетные книжки, без предъявления которых студентов не допускали в здание университета; запрещались все формы студенческой корпоративной жизни, вводилось обязательное посещение лекций и, главное, обязательная плата за учение. Эта последняя мера фактически преграждала доступ в университеты разночинной молодежи. Студенты отказывались признавать новые правила. В Петербурге, Москве и Казани произошли волнения студентов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, арестами и репрессиями.

Стр. 253. *...тогдашний начальник Третьего отделения ⟨...⟩ вышел из кареты в одном мундире и вскоре поспешно уехал.* — Боборыкин ошибся: П. А. Шувалов был в 1860—1861 годах директором департамента общих дел министерства внутренних дел. 25 сентября во время шествия студентов к дому попечителя университета генерала Г. И. Филипсона по распоряжению П. А. Шувалова были вызваны войска и полиция.

Стр. 254. *Демонстрация из-за матрикул перед главным входом окончилась побоищем.* — Ошибка памяти автора: столкновения студентов с полицией и войсками происходили не в день демонстрации

25 сентября, а 12 октября, когда после закрытия университета студенты собрались у его здания и пытались проникнуть внутрь.

...следствие ⟨...⟩ *затянулось до половины зимы.* — Следствие по делу нескольких сот арестованных в октябре студентов закончилось в декабре того же года. Пять человек были отправлены в ссылку, свыше тридцати — исключены из университета.

Стр. 256. *...университет успел перебраться отчасти в залы Думы...* — Лекции в городской думе читались в то время, когда Петербургский университет был закрыт по распоряжению правительства.

Стр. 258. *...но не «Однодворца», а просто бывшего управителя, по трафарету.* — В фельетоне Боборыкина, подписанном псевдонимом «Петр Нескажусь» («Библиотека для чтения», 1861, № 10), по этому поводу говорится: «...По моему мнению, в игре г. Самойлова нет тени народности; а потому он для меня не художник, а просто актер, и ничего больше, как актер». Боборыкин заметил, что Самойлов не способен воссоздавать образы пьес Островского, и подчеркнул, что в «Однодворце» вместо «старика с характером» актер сыграл «станционного смотрителя».

Стр. 267. *...некоторые мои вещи («Старые счеты», «Доктор Мошков», «С бою», «Клеймо») прошли с большим успехом.* — Комедия Боборыкина «Старые счеты» нигде не печаталась; в 1883 году шла на петербургской и московской сценах и была запрещена. Пьеса «Доктор Мошков» впервые публиковалась в № 2 журнала «Изящная литература» за 1884 год. Комедия «С бою» впервые печаталась в № 13 журнала «Артист» за 1891 год. До появления в печати шла в 1887 году в Москве и в 1889 году — в Петербурге. Пьеса «Клеймо» в печати не появлялась, в 1886 году шла в Малом театре в Москве, в 1888 году — в Александринском театре в Петербурге.

Стр. 269. *Тогда я еще не настолько изучил «Гамбургскую драматургию» Лессинга, чтобы ответить* ⟨...⟩ — *Героиня умирает от пятого акта.* — В своей книге «Гамбургская драматургия» Лессинг, говоря о пьесе немецкого драматурга И. Кронегка «Олинт и Софрония», замечает, что «трудно угадать, как бы автор уладил отношения между соперницами, если бы не призвал на помощь смерть. Во время представления другой трагедии, которая еще слабее и в которой один из главных героев умирает совершенно здоровый, один из зрителей спросил у соседа: «От чего же он умер?» — «От чего? От пятого акта», — отвечал тот (см. Г.-Э. Лессинг, «Гамбургская драматургия», «Academia», М. — Л. 1936, стр. 12).

Стр. 271. *...старику Сушкову* ⟨...⟩ *написавшему когда-то какую-то пьесу с заглавием вроде «Волшебный какаду».* — Очевидно, ошибка памяти. Несомненно, речь идет о писателе и драматурге Н. В. Суш-

кове — авторе нескольких пьес: «Дуэлисты», «Сюрпризы», «Тениер», «Комедия без свадьбы» и других. Однако среди произведений Н. В. Сушкова пьесы с названием, приведенным Боборыкиным, нет.

«Прежде маменька» — шла на русской сцене 50-х годов в переводе актера и драматурга Н. И. Куликова.

Стр. 272. *В зале Пассажа ⟨...⟩ знаменитый диспут Погодина с Костомаровым...* — Боборыкин ошибся — публичный диспут Н. И. Костомарова с М. П. Погодиным о происхождении Руси состоялся 19 марта 1860 года в зале Петербургского университета.

Стр. 274. *...в одном из первых я выразил свое недоумение насчет двух девиц...* — В фельетоне Боборыкина, подписанном: «Петр Нескажусь» («Библиотека для чтения», 1862, № 2), выражено отнюдь не «недоумение», он полон обывательского хихикания по поводу внешнего вида «нигилисток». Об одной из них там, например, говорится: «Стриженная почти под гребенку голова, мужской (подозрительной белизны) стоячий воротничок, грязная шея, затем какое-то коричневое одеяние, состоящее из кофты и узенькой юбки, и в руках мужская шапка.

— Это католический ксендз, — сказал один из молодых людей.

— Нет, это аптекарский ученик, — заметил другой.

Они подошли поближе к фигуре, постояли, и наконец у одного из юношей вырвалось:

— Если она женщина, так это цинизм — являться в таком виде...» В. С. Курочкин высмеял это пошлое зубоскальство Боборыкина в фельетоне-пьеске «Цепочка и грязная шея» («Искра», 1862, № 11).

Ведь и тогда М. Е. Салтыков ⟨...⟩ и позднее гораздо язвительнее стал прохаживаться насчет крайностей тогдашних нигилистических нравов и повадок. — Речь идет о фельетоне М. Е. Салтыкова-Щедрина из цикла «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, № 1), где нашла отражение полемика, которая велась в это время между «Современником» и «Русским словом» и в которой обе стороны зачастую прибегали к весьма резким оценкам. Разумеется, полемика между «Современником» и «Русским словом» велась с позиций революционной демократии и не имела ничего общего с нападками реакционной печати на передовую молодежь.

Стр. 275. *Представился как раз случай говорить и о Чернышевском...* — Боборыкин говорит о своем фельетоне «Пестрые заметки» («Библиотека для чтения», 1862, № 12), в котором он обывательски высмеивал манеру выступления Чернышевского 2 марта 1862 года на вечере, устроенном Литературным фондом в пользу нуждающихся литераторов.

...где бедный профессор Павлов сказал несколько либеральных фраз... — Речь идет о вечере, устроенном Литературным фондом 2 марта 1862 года в пользу нуждающихся литераторов. Профессор истории П. В. Павлов произнес на этом вечере речь, посвященную тысячелетию России. «В продолжение целого тысячелетия, — сказал он, — Россия была рабовладельческою». Охарактеризовав состояние России в XVIII и XIX столетиях как чрезвычайно тягостное, Павлов заявил, что настала пора «современных правительственных реформ», что «чаша народных бедствий переполнилась». «Правительство, — сказал далее Павлов, — решилось рядом благоразумных коренных реформ предотвратить всеобщее бедствие» (то есть революцию. — *Э. В.* и *Л. Р.*). Призывая «образованные, достаточные классы» к сближению с народом, Павлов сказал, что это единственный выход, могущий «спасти Россию от великих бедствий» (см. текст речи в «Сборнике статей, не дозволенных цензурою в 1862 г.», СПб. 1862, т. II, стр. 351—354). Свою речь Павлов закончил фразой, отсутствовавшей в печатном тексте: «Имеющий уши — да слышит!»

Выступление Павлова было сочтено Третьим отделением неблагонамеренным. На третий день после выступления на вечере Павлов был арестован и выслан в Ветлугу, где находился до 1864 года, после чего еще два года пробыл в ссылке в Костроме.

Было нечто, напоминающее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что делать?». — В частности, в III разделе предисловия к «Что делать?» автор, обращаясь к «публике», называет ее злой от умственной немощности и признается, что он с ней «нагл». Но к основной части своих читателей (к прогрессивной) — автор относился с уважением. С этими людьми, писал Чернышевский, «я говорил бы скромно, даже робко... Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня».

Стр. 276. *Когда впоследствии я читал о знакомстве Герцена с Чернышевским ⟨...⟩ я сразу понял, почему Александру Ивановичу так не понравился Николай Гаврилович.* — О знакомстве Герцена с Чернышевским и об их якобы антипатии друг к другу Боборыкин, вероятно, мог прочесть в книгах В. Богучарского «Из прошлого русского общества» (СПб. 1904) и В. Батуринского «А. И. Герцен, его друзья и знакомые» (СПб. 1904).

Личные взаимоотношения Герцена и Чернышевского были очень сложными, в значительной степени на них влияли тактические расхождения в период первой революционной ситуации в России. Факты, однако, не подтверждают оценки этих отношений Боборыкиным. Герцен относился к Чернышевскому с большим уважением,

ставил его чрезвычайно высоко. Стоит прочитать, например, заметку в «Колоколе» (1864, лист 186, 15 июня) о гражданской казни, которой подвергло Чернышевского правительство «царя-освободителя». «Неужели никто из русских художников, — гневно спрашивал Герцен, — не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмованье тупых злодеев, привязывающих *мысль человеческую к столбу преступников...»* В заголовке другой заметки Герцена («Колокол», 1864, лист 188, 15 августа) читаем: «Чернышевскому, Михайлову и всем друзьям нашим, стоявшим у позорного столба, носящим цепи, работающим на каторге». Когда правительственным распоряжением от 15 июня 1862 года было приостановлено на восемь месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово», Герцен и Огарев в 139 листе «Колокола» от 15 июля 1862 года выступили с предложением издавать в Лондоне все запрещенные в России «вследствие политического террора» журналы, обещая при этом материальную поддержку издателям. В письме к Н. А. Серно-Соловьевичу от 20—24 июня 1862 года Герцен писал: «...Мы готовы издавать «Совр[еменник]» здесь с Черныш[евским] или в Женеве» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, М. 1959, стр. 692).

Стр. 278. *...рукою Писемского была вставлена та обидная для «Искры» фраза.* — Речь идет, очевидно, о следующей фразе из фельетона Боборыкина «Пестрые заметки» («Библиотека для чтения», 1862, № 2) по поводу выступления Чернышевского на литературном вечере 2 марта 1862 года: «Все это принадлежит к области «Искры»... и она — если только, по своей не совсем благородной натуришке, не струсит — должна воспользоваться экспромтом г. Чернышевского» (стр. 146—147).

Стр. 279. *...в сатирических стихах Минаева.* — «Нападки», о которых говорит Боборыкин, относятся главным образом к началу 1862 года (см. «Искра», 1862, № 1, стр. 18, раздел «Предсказания», № 11, стр. 150—154 — «Цепочка и грязная шея»).

...я сделался ее сотрудником под псевдонимом «Экс-король Вейдевут». — Боборыкин сотрудничал в «Искре» с 1870 по 1873 год (последний год издания журнала).

Стр. 280. *До возвращения его брата Федора...* — Ф. М. Достоевский вернулся в Петербург из ссылки в конце 1859 года, через десять лет после приговора по делу об участии в кружке Петрашевского.

...и Страхове, с тем псевдонимом «Косица», который сделался мишенью нападок радикальных журналов. — Мишенью «нападок» был, конечно, не псевдоним, а образ мыслей Н. Н. Страхова —

реакционного философа-славянофила, выступавшего в 60-х годах в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» с резкополемическими статьями против демократических журналов «Современник» и «Русское слово».

Стр. 282. *...его похороны показали, как он был популярен во всех сферах и классах русского общества.* — Иная, более глубокая оценка творчества Ф. Достоевского и отношения к нему русского общества содержится в одной из статей Боборыкина (1875). «У нас очень мало обращают внимание на отсутствие мировоззрения, — писал Боборыкин, — а какое воззрение имеет автор «Подростка»? Сказать это очень затруднительно... Этот даровитый романист прошел через множество жизненных испытаний, но его развитие имело характер скорее регрессивный, чем прогрессивный. Увлечения его молодости, доставшиеся ему горькой ценой, привели его к такой смеси туманного идеализма и почвенного мистицизма, которая вырыла между ним и стремлениями молодых генераций огромную и глубокую яму. Этого не следует забывать и отрицать этого нельзя» (цит. по изд. «Пушкин. Достоевский», Пг. 1921, стр. 105—106).

В более позднем своем отзыве о творчестве Достоевского — в статье «Мотивы и приемы русской беллетристики» Боборыкин писал, что «Достоевский, оставаясь как бы фатально прикованным к известного рода разработке болезненно-душевных процессов, задумывал свои романы на множество тем, прямо связанных с крупнейшими сторонами русской жизни... Такие три замысла, какие положены в «Записки из мертвого дома», в романы «Преступление и наказание» и «Бесы», при всей субъективности творческой и литературной работы Достоевского, захватывают целые области душевной жизни русских людей» («Слово», 1878, № 6, стр. 52).

...препирательств и взаимных обличений. — Как и в предыдущем советском издании воспоминаний П. Д. Боборыкина, вышедшем под редакцией Б. П. Козьмина («За полвека», М. — Л. 1929), здесь выпущены строки, в которых автор приписывает «Современнику» напечатание в качестве эпиграфа к одной статье непристойного акростиха. В действительности же автор статьи М. Антонович опустил последнюю строку и изменил первую, совершенно изменив тем самым непристойный характер стихотворения. Редакция журнала «Минувшие годы», опубликовавшая в № 11 за 1908 год V главу «За полвека», получив протест от М. Антоновича, прекратила печатание воспоминаний Боборыкина. Две следующие главы воспоминаний появились лишь в 1913 году в журналах «Русская старина» и «Голос минувшего».

...Еф. Зарин ⟨...⟩ вступал в полемику с самим Чернышевским. — Имеются в виду следующие статьи Еф. Зарина: «Небывалые

люди» («Библиотека для чтения», 1862, № 1); «Лесть живому и поругание над мертвым» («Библиотека для чтения», 1862, № 3). Вторая статья, в частности, написана против статьи Чернышевского «В изъявление признательности» («Современник», 1862, № 2).

...тот критик, который в начале 1862 года отличился своей знаменитой рецензией на «Отцов и детей». — Речь идет об М. Антоновиче и его статье «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3).

Стр. 283. *«Голос» Краевского ⟨...⟩ стал чем-то средним между либеральным и охранительным органом.* — Газета «Голос», издававшаяся А. А. Краевским в Петербурге с 1 января 1863 года, первые три года поддерживалась субсидиями царского правительства (см. М. К. Лемке, «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов», СПб. 1904, стр. 239—243).

Стр. 284. *...воскресного забавника, который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был — «ужасный либерал».* — Боборыкин сравнивает с персонажем комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», фальшивым либералом Загорецким — А. С. Суворина, автора воскресных фельетонов, выступавшего в 60-х годах в роли либерального журналиста, а впоследствии перешедшего в лагерь черносотенной реакции. В. И. Ленин писал о нем в 1912 году: «Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема... (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 251).

...очень либерального юмориста. — Речь идет о В. П. Буренине, печатавшемся в 60—70-х годах в передовой русской прессе. С конца 70-х годов Буренин перешел в суворинскую газету «Новое время», являвшуюся, по словам В. И. Ленина, «образцом продажных газет» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 251).

...одной из самых энергичных тогда девиц. — Имеется в виду В. И. Глушановская, привлекавшаяся в 1862 году по делу о распространении революционных прокламаций.

Стр. 285. *...некоторый ореол его прошлого, тех мытарств, чрез какие он прошел со студенческих своих годов.* — Имеется в виду заключение в Петропавловской крепости в 1847 году, а затем девятилетняя ссылка в Саратов, которым подвергался Н. И. Костомаров, как участник тайного «Кирилло-Мефодиевского братства», ставившего своей целью легальным путем добиться конституционного строя и некоторой автономии для Украины.

Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии... — В 1862 году Костомаров принимал участие в так называемом «Вольном университете», возникшем в Петербурге по почину передовой

общественности после закрытия правительством Петербургского университета. Однако Костомаров отказался поддержать протест передовой профессуры и студенчества против полицейских репрессий самодержавия в отношении «Вольного университета» и вынужден был прекратить свои лекции вследствие неодобрительного отношения слушателей к его позиции в этом вопросе.

...появилась в «Современнике» во второй половине 50-х годов. — Пьеса А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» впервые была опубликована в № 5 «Современника» за 1856 год.

Стр. 286. *...не больше не меньше, как в совершении убийства.* — В 1850 году А. В. Сухово-Кобылину было предъявлено обвинение в убийстве француженки Луизы Симон-Деманш. Дело тянулось семь лет, в течение которых Сухово-Кобылин дважды заключался в тюрьму. В 1857 году его прекратили, и Сухово-Кобылин был освобожден сенатом. Вопрос о виновности Сухово-Кобылина до сих пор остается недостаточно выясненным (см. Л. Гроссман, «Преступление Сухово-Кобылина», Л. 1928; В. Гроссман, «Дело Сухово-Кобылина», М. 1936).

...тот вечер у г-жи Н[арышкиной], когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка... — Речь идет о Н. И. Нарышкиной. Будучи скомпрометирована в связи с уголовным делом Сухово-Кобылина, Н. И. Нарышкина уехала во Францию и впоследствии вышла замуж за писателя А. Дюма (сына).

Стр. 287. *...в моем романе «На суд»...* — Роман был напечатан в № 1—5 журнала «Всемирный труд» за 1869 год.

Стр. 288. *...пьесы «Дело», которая так долго лежала под спудом в цензуре.* — Пьеса А. В. Сухово-Кобылина «Дело» была запрещена цензурой и в русской печати появилась лишь в 1869 году — через восемь лет после ее создания. Первая постановка на сцене была осуществлена в России лишь в 1882 году, да и то с большими цензурными купюрами и искажениями.

Стр. 289. *...когда его баллотировали в почетные академики.* — Избрание А. В. Сухово-Кобылина почетным членом Академии наук состоялось в 1902 году.

Вот нас упрекают все, что мы мало играем Островского ⟨...⟩ но он не дает сборов. — Пьесы Островского шли во всех театрах России, но часто, несмотря на успех и большие сборы, снимались со сцены в результате действий цензуры или происков реакционеров. В 1866 году, когда Островский, под влиянием цензурных преследований, хотел было совсем оставить театральное поприще, он писал 24—25 сентября своему другу, актеру Ф. А. Бурдину: «Выгод от театра я почти не имею (хотя все театры в России живут моим

репертуаром); начальство театральное ко мне не благоволит...» (А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XIV, Гослитиздат, М. 1953, стр. 138).

...«Свои люди — сочтемся!» не удержалась с полными сборами. — Неверно. После опубликования пьесы в 1850 году она была, по доносу представителей московского дворянства и купечества, запрещена к представлению на сцене лично Николаем I («...напрасно печатано, играть же запретить...»). Поставлена пьеса была впервые лишь в 1861 году в Александринском театре (Петербург) и Малом театре (Москва), где шла с огромным успехом. Неизменным успехом пользовалась пьеса и в последующие годы на сценах столичных и провинциальных театров.

Стр. 290. *...курьезного типа тогдашней madame Sans Gêne.* — Боборыкин сравнивает Бибикову с мадам Сан-Жен — тип предприимчивой вдовы из одноименной комедии французского драматурга В. Сарду.

Стр. 291. *...А. А. Стаховича (отца теперешних общественных деятелей)...* — Имеются в виду сыновья А. А. Стаховича: М. А. Стахович — земский и политический деятель, один из основателей Союза 17 октября, член первой и второй Государственной думы (в 1917 году, при Временном правительстве, был генерал-губернатором Финляндии) и А. А. Стахович — елецкий уездный предводитель дворянства, член второй Государственной думы.

Стр. 292. *...у брата своего (тогда еще контрольного чиновника, а впоследствии министра)...* — Речь идет о М. Н. Островском, государственном чиновнике; в 1872 году — сенатор, в 1881—1893 годах — министр государственных имуществ.

Это была та «Федосья Ивановна», про которую я столько слыхал... — Боборыкин ошибается: первую жену А. Н. Островского звали не Федосьей Ивановной, а Агафьей Ивановной (умерла в начале 1867 года).

Стр. 293. *...автор заставляет его произносить монологи в духе народнического либерализма.* — К. З. Минин изображается в этой исторической хронике как горячий патриот, ненавидящий хищных и продажных бояр и сочувствующий страданиям трудового народа. Минин обрисован драматургом как выразитель народных чаяний и стремлений, а сам народ — как основная движущая сила истории.

Стр. 294. *...Островский взял на себя художественное заведование московским Малым театром.* — Неточность: 2 января 1886 года Островский был назначен заведующим репертуарной частью всех московских театров.

Стр. 295. *«Островский и его сверстники».* — Впервые статья была опубликована в № 8—10 журнала «Слово» за 1878 год. В этой ра-

боте Боборыкин пытался подвергнуть критическому разбору творчество А. Н. Островского. Но он не понимал особенностей таланта Островского и не видел глубокой связи его произведений с важнейшими вопросами русской жизни. Отдавая должное пьесам 40—60-х годов, критик утверждал, что в дальнейшем драматург уже не замечал того нового, что приносило с собой развитие русского общества, и демагогически обвинял Островского в ограниченности тематики пьес в 70-х годах жизнью и бытом московского купечества и мелкого чиновничества.

...он совсем не захватил новейшего развития нашего буржуазного мира... — Боборыкин ошибается. В целом ряде своих пьес Островский показывает представителей промышленности и торговой буржуазии, выросшей из купечества (Прибытков в «Последней жертве», Васильков в «Бешеных деньгах», Кнуров и Вожеватов в «Бесприданнице» и т. д.).

«Китай-город». — Впервые был опубликован в № 1—5 журнала «Вестник Европы» за 1882 год.

Стр. 296. *...я видел его на банкете...* — См. стр. 399 II тома наст. изд.

...один всего раз явился на празднике Пушкина. — На обеде, устроенном 7 июня 1880 года Московским обществом любителей российской словесности, во время торжеств по случаю открытия в Москве памятника Пушкину, А. Н. Островский выступил с застольной речью «Заслуги великого поэта».

Стр. 297. *...после его комедии «Отрезанный ломоть».* — Пьеса А. Потехина «Отрезанный ломоть», посвященная теме разлада между консерваторами — «отцами» и либералами — «детьми», была написана и поставлена в Москве и Петербурге в 1865 году, но снята цензурой после нескольких представлений. В своей статье, посвященной 50-летию писательской деятельности А. А. Потехина, Боборыкин писал: «Его комедии или не попадали на сцену сразу, или же были снимаемы с театральных подмосток после ряда представлений. Это как раз случилось с пьесой, которая по содержанию находится в прямой связи с ... «Отцами и детьми» Тургенева ... Это был «Отрезанный ломоть» — комедия, снятая со сцены и находившаяся долгие годы под запретом, вплоть до самых последних годов. В ней коллизия между старым и молодым поколением поставлена гораздо резче, чем в романе Тургенева» («Известия отделения русского языка и словесности» Императорской академии наук, том VII, кн. I, 1902, стр. 26.).

Стр. 298. *...Айра Олдридж приехал в Петербург с громкой рекламой...* — Знаменитый трагик, уроженец США, негр Айра Олдридж впервые посетил Россию в 1858 году и с огромным успехом высту-

пал в шекспировских пьесах в ролях Отелло, короля Лира и Шейлока. «Современник» приветствовал Олдриджа как замечательного истолкователя Шекспира и выдающегося представителя искусства негритянского народа (см. «Современник», 1858, № 6, Петербургская жизнь, «Заметки Нового поэта»).

Стр. 301. *...в пьесе, изображающей жизнь английской королевы Елизаветы.* — Имеется в виду пьеса итальянского драматурга П. Джакометти «Елизавета, королева английская». Шла на русской сцене в 50-х годах.

Стр. 303. *...часто бывал его брат...* — Имеется в виду Н. Г. Рубинштейн — выдающийся пианист и дирижер, крупный музыкальный деятель России, основатель и директор московских музыкальных классов (1863), а затем — Московской консерватории (1866).

Стр. 305. *...прозвище «Могучая кучка» ⟨...⟩ было взято из фельетона Кюи...* — Боборыкин ошибается. См. прим. к стр. 225.

Стр. 306. *...в его новейшей биографии — говорится только по поводу интриги...* — Об «интригах» А. Г. Рубинштейна против Р. Вагнера никаких достоверных сведений не имеется. Наоборот, известно, что во время пребывания Вагнера в Петербурге, в 1863 году, Рубинштейн оказал своему немецкому коллеге радушное гостеприимство. Русское музыкальное общество, председателем которого был А. Г. Рубинштейн, предоставило Вагнеру прекрасное помещение в немецком пансионе на Невском проспекте. При посредстве Рубинштейна Вагнер был представлен великой княгине Елене Павловне, в салоне которой читал тексты «Кольца Нибелунга» и «Мейстерзингеров» (Е. М. Браудо, «Рихард Вагнер и Россия. Новые материалы к его биографии», Л. 1925, стр. 42—44).

Стр. 307. *И только в 1908 году Париж услыхал его «Бориса» в русском исполнении, с Шаляпиным...* — Имеется в виду так называемая «Парижская антреприза» русского деятеля искусств С. П. Дягилева, организовавшего в 1908 году на сцене Парижской оперы постановку «Бориса Годунова» с участием Ф. И. Шаляпина.

Стр. 307—308. *...резкая перемена, совпадающая с его поездкой к славянам.* — Неверно. Поездка М. А. Балакирева в Прагу состоялась в сезон 1866—1867 года (там он с большим успехом выступал как дирижер и руководитель постановок опер Глинки «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин»). После возвращения из Праги Балакирев в продолжение двух сезонов руководил симфоническими концертами Русского музыкального общества, но затем был уволен с этого поста по настоянию противников «Могучей кучки». Перелом, происшедший после этого в Балакиреве и на девять лет оторвавший его от музыкальной деятельности, следует, по словам А. Римского-Корсакова, «рассматривать как последствие длительной ущемленно-

сти самолюбивой воли и подорванности душевных сил» («Музыкальная летопись», сб. третий, Л.—М. 1925, стр. 85). В результате этого перелома Балакирев из передового музыкального деятеля, вождя «Могучей кучки», атеиста и демократа, превратился в религиозного фанатика, шовиниста, консерватора. «Переломная эпоха, — говорит далее А. Римский-Корсаков, — явилась не вторым рождением, а своего рода первой его смертью. Ему суждено было не дважды родиться, а как бы дважды умереть. Как яркий художественный светоч, он затмился и стал угасать не на 73-м году жизни — его физическая смерть вызвала лишь слабый отзвук в русской музыкальной жизни, — а в пору расцвета сил, не успев еще достигнуть сорока лет» (там же).

Стр. 308. *...принял заведование певческой капеллой...* — С 1883 по 1895 год М. А. Балакирев заведовал придворной певческой капеллой в Петербурге.

Стр. 309. *Приезд Ал. Иванова с его картиной ⟨...⟩ спор двух поколений.* — В мае 1858 года, после двадцатилетнего труда над картиной «Явление мессии народу», А. А. Иванов привез ее из Рима в Петербург. Картина была враждебно встречена группой художников-академиков во главе с Бруни, названных А. И. Герценом «толпой цеховых интригантов, равнодушных невежд, казарменных эстетиков» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIII, М. 1958, стр. 324). А. Иванов, совершивший за двадцать лет работы над картиной сложный путь духовного развития, преодоления религиозных и мистических влияний (в частности — самого Бруни, влияние которого сказалось на ранних произведениях Иванова), пришел к новому пониманию искусства и его роли в жизни общества. Отказавшись от старых, идеалистических взглядов на искусство, Иванов, затрудняясь четко формулировать свои новые взгляды, скромно называл себя «переходным художником», ищущим новых путей развития искусства. С наибольшей полнотой высказался Иванов в беседе с Н. Г. Чернышевским. «...Живопись нашего времени, — говорил он, — должна проникнуться идеями новой цивилизации, быть истолковательницею их. Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время. Прибавлю вам, что искусство тогда возвратит себе значение в общественной жизни, которого не имеет теперь, потому что не удовлетворяет потребностям людей» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. V, Гослитиздат, М. 1950, стр. 339). В письме к брату С. А. Иванову, в марте 1858 года, Иванов, подчеркивая, что главную задачу искусства он видит сейчас не в совершенствовании формы, а в наполнении ее новым современным социальным содержанием, утверждал: «Нужно теперь учинить другую станцию на-

шего искусства — его могущество приспособить к требованиям и времени, и настоящего положения России. Вот за эту-то станцию нужно будет постоять...» (М. Боткин, «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858 гг.», СПб. 1880, стр. 295). Конечно, такого рода взгляды не могли быть сочувственно встречены Бруни, представителем академической рутины, царившей тогда в официальных сферах мира искусства.

Стр. 310. *...Стасов был поклонник не уваровской формулы...* — Автором знаменитой формулы, положенной в основу всей реакционной «просветительной» политики николаевского правительства: «православие, самодержавие, народность», — был министр народного просвещения в 1833—1849 годах С. С. Уваров.

Стр. 311. *...верность одного из положений диссертации Чернышевского, что настоящее яблоко выше нарисованного.* — Речь идет о том месте диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», в котором он, обосновывая мысль, что «действительность не только живее, но и совершеннее фантазии», писал: «...Наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку...» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. II, Гослитиздат, М. 1949, стр. 38).

Общество «передвижников»... — Так называли организованное группой русских художников-реалистов второй половины XIX века «Товарищество передвижных художественных выставок», которое с 1871 года устраивало выставки картин в крупных городах России. Передвижники были основоположниками боевого направления в русском искусстве — так называемого «идейного реализма» и вели борьбу с реакционным искусством дворянской Академии.

Стр. 312. *...да, кажется, он и не был в Петербурге при появлении романа в январе 1862 года.* — Роман «Отцы и дети» был напечатан в № 2 «Русского вестника» за 1862 год. Тургенев в это время находился в Париже. В Россию он приехал лишь 26 мая 1862 года. В письме к В. В. Стасову Тургенев писал: «Когда печатались «Отцы и дети», меня совсем не было в Москве...» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1954, стр. 397).

Стр. 313. *...легенда о том, что подожгли Апраксин двор студенты вместе с поляками...* — В ночь с 15 на 16 мая 1862 года в Петербурге начались массовые пожары, продолжавшиеся больше двух недель. Реакционная русская пресса пыталась связать эти пожары с появившейся в эти дни прокламацией «Молодая Россия» и обвиняла в возникновении пожаров студентов и поляков, а зачинщиками и вдохновителями объявила «лондонских зажигателей» — издателей «Ко-

локола» Герцена и Огарева. Герцен сразу заподозрил в этой кампании полицейскую провокацию и неоднократно спрашивал в «Колоколе» — найдены ли «зажигатели». В своем «Четвертом запросе от издателей «Колокола» он писал: «Зажигателей вне полиции не нашли, а в полиции *не искали*» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, М. 1959, стр. 262). В. И. Ленин впоследствии писал: «...Есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция*» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 5, М. 1946, стр. 27).

Стр. 314. *Затевались, правда, разные коммунистические общежития...* — Имеется в виду в первую очередь так называемая «Слепцовская коммуна», организованная в Петербурге революционным демократом, писателем В. А. Слепцовым и кружком молодежи. Такие общежития возникали в 60-х годах и в других местах.

Стр. 317. *«Европейский роман в XIX столетии».* — Книга вышла отдельным изданием в Петербурге в 1900 году.

Стр. 318. *...когда я просматривал роман для «Собрания» Вольфа...* — Собрание сочинений П. Д. Боборыкина было издано М. Вольфом в 1885—1887 годах в 12-ти томах.

Стр. 320. *...я печатал в 1871—1873 годах и «Дельцы» у Некрасова.* — В журнале «Отечественные записки» (№ 4—12 за 1872 год и № 2—4 за 1873 год).

Стр. 322. *В «Отечественных записках» 〈...〉 появилась 〈...〉 рецензия...* — Отзыв о романе Боборыкина «В путь-дорогу» содержится в статье Н. Д. Хвощинской (В. Крестовский-псевдоним) «Провинциальные письма о нашей литературе» («Отечественные записки», 1863, № 4).

Стр. 326. *...к концу своего писательского пятидесятилетия...* — то есть в 1910 году.

Стр. 332. *...с Ф. Достоевским, когда его журнал должен был прекратить свое существование.* — Журнал братьев Достоевских «Время» был запрещен за помещенную в апрельской книжке 1863 года статью Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», которую цензура расценила как сочувственную по отношению к восставшей Польше.

Стр. 334. *...юным рыцарем, который поднимает упавшего коня...* — Речь идет о карикатуре «Бой из-за подписчиков», приложенной к № 47 юмористического журнала «Заноза» за 1863 год.

...один рассказ навлек на меня вскоре 〈...〉 обличение: оказалось, что автор переделал какой-то французский рассказ на русские нравы и выдал вещицу за оригинальную. — Речь идет, по-видимому, о рассказе «Наши похождения (Из заграничных писем)», помещенном за подписью Ник. Родионова в № 4 «Библиотеки для чтения» за 1863 год. Н. Родионов был заграничным корреспондентом га-

зеты «Голос» и, как выяснилось впоследствии, агентом Третьего отделения.

Стр. 335. ...*«Казаки» не вызвали в петербургской радикальной критике энтузиазма...* — Отрицательно расценили идейную сторону этого произведения Евгения Тур в «Отечественных записках» (1863, № 6, стр. 242—279), журналы «Современник» (1863, № 7, «Современное обозрение. Новые книги», стр. 47—54 — без подписи) и «Книжный вестник» (1865, № 13, стр. 256), где в анонимной рецензии говорилось, что «явная преднамеренность сюжета в романе «Казаки» повредила этому произведению.

Стр. 337. ...*молодой писатель с этой фамилией — его сын.* — Речь идет о писателе А. Е. Зарине — сыне Е. Ф. Зарина.

...*кончил благонамеренным и злобным консерватизмом ученого «чинуша»...* — Д. Ф. Щеглов — автор труда «История социальных систем» (СПб. 1889). Был директором гимназий в Новочеркасске и Одессе, членом императорского археологического общества.

Стр. 338. ...*редакция московского журнала «Атеней», когда прекращала свое существование.* — Журнал «Атеней» существовал всего год — с 1858 по 1859 и перестал выходить из-за недостатка подписчиков.

...*в полемике с Чернышевским оказался не в авантаже.* — Полемические статьи против Чернышевского за подписью Воскобойникова в «Библиотеке для чтения» не печатались. По предположению Б. П. Козьмина, Воскобойникову принадлежали анонимные статьи в «Библиотеке для чтения»: «Повальное недоразумение» (в № 8 за 1861 год) и «Современные поминки по друзьям» (в № 3 за 1862 год), направленные против «Современника» и Н. Г. Чернышевского. За подписью Н. Воскобойникова был напечатан фельетон в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1861, № 144, 1 июля), где он выступил против статьи Н. Чернышевского «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)», помещенной в № 5 «Современника» за 1861 год.

Стр. 342. *Цензура только что преобразовалась...* — В 1863 году цензурное ведомство было передано из министерства народного просвещения в министерство внутренних дел.

...*в Даниилов львиный ров.* — По библейскому преданию, Даниил, один из четырех «великих пророков» израильского народа, плененный Навуходоносором в 605 году до н. э. при взятии Иерусалима, был брошен в пещеру на растерзание львам.

Стр. 344. ...*поставил я «Инсепарабли».* — Речь идет о повести В. Н. Назарова, напечатанной под этим названием в № 10 «Библиотеки для чтения» за 1863 год.

Стр. 347. *...был постоянным сотрудником, как романист, одного толстого журнала.* — Очевидно, Боборыкин говорит о «Вестнике Европы», в котором он печатался с 1873 года.

Стр. 349. *...статья ⟨...⟩ В. П. Острогорского о Помяловском.* — В № 4 «Библиотеки для чтения» за 1863 год была напечатана (без подписи) статья Острогорского «Н. Г. Помяловский. Его типы и очерки».

Стр. 351. *...«День» о молодом поколении»...* — Речь идет о полемической статье Боборыкина («Библиотека для чтения», 1863, № 11) против И. С. Аксакова, выступившего с целым рядом несправедливых обвинений по адресу молодого поколения в передовой статье № 46 журнала «День» за 1863 год.

Стр. 353. *...повесть «Два генерала» (которую я сам разбирал в «Библиотеке»)...* — Рецензия Боборыкина на повесть Григоровича «Два генерала» была напечатана в № 7 «Библиотеки для чтения» за 1864 год.

Стр. 354. *...студент, пострадавший за какую-то студенческую историю.* — Е. А. Салиас, участник студенческого движения 1861 года; будучи студентом Петербургского университета, вышел из него в знак протеста в связи с исключением его товарищей, принимавших участие в волнениях 1861 года.

Стр. 355. *...роман «Некуда», который всего более повредил журналу...* — Роман Н. С. Лескова был неприкрытой клеветой на революционно-демократическое движение, злобным пасквилем на «нигилистов». Во многих карикатурных образах романа современники с негодованием узнавали живых людей, с которыми автор сводил свои политические и литературные счеты.

Однако было бы несправедливо упрекнуть Боборыкина в единомыслии с Лесковым на том основании, что роман печатался в «Библиотеке для чтения». Весьма вероятно, что всего произведения он до начала печатания не читал, а в первой части, как он пишет, «не было еще ничего, что сделалось бы щекотливым в смысле либерального направления». Свою ошибку Боборыкин, несомненно, понял уже во время печатания романа, но, по литературной молодости, политической неопытности и отсутствию твердых идейных позиций, не сумел исправить. И все же, когда после возмущенных откликов прессы по поводу пасквильного характера «Некуда» Лесков выступил в № 12 «Библиотеки для чтения» за 1864 год с «Объяснением», обвиняя критиков в том, что они «придрались к подысканному кем-то *внешнему* сходству некоторых лиц романа с лицами живыми из литературного мира — и пошли писать», — Боборыкин сопроводил это «Объяснение» следующим примечанием от редакции: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко

не разделяем высказанных в нем мнений. Многочисленные намеки объяснения оставляем на полной ответственности автора».

И отношение его было шутливое, но не особенно злобное. — Боборыкин неверно характеризует отношение Лескова в начале 60-х годов к революционной молодежи. Уже в 1862 году Лесков выступил в газете «Северная пчела» (№ 143, 30 мая) с требованием к полиции либо опровергнуть слухи о том, что происходившие в это время в Петербурге пожары дело рук революционного студенчества, либо сыскать виновников и примерно наказать их. В передовых кругах русского общества это выступление было расценено как провокация. Боборыкин не мог не знать об этом.

Я ему предложил записать свои парижские впечатления... — Очерки Н. С. Лескова «Русское общество в Париже» печатались под псевдонимом «М. Стебницкий» в № 5 и 6 «Библиотеки для чтения» за 1864 год.

Стр. 359. *Он в это время устроился более на семейную ногу...* — Имеется в виду семейная жизнь Н. С. Лескова с Е. С. Бубновой (урожденной Савицкой) — его гражданской женой с 1865 года.

Стр. 360. *Московский журнал принадлежал к той же радикально-народнической фракции, как и «Отечественные записки»...* — Это неверно. Несмотря на сотрудничество в «Русской мысли» многих народников (Г. Успенского, Н. К. Михайловского и других), этот журнал являлся органом либеральной буржуазии.

Стр. 361. *...Лесков выпустил* 〈...〉 *брошюрку...* — Речь идет о книжке Н. С. Лескова «Загадочный человек», вышедшей в 1871 году в Петербурге.

Стр. 362. *...его выслали за границу с запрещением въезда в Россию.* — В 1862 году Бенни был привлечен к ответственности по обвинению в сношениях с А. И. Герценом и сборе подписей под адресом Александру II о конституции. В 1864 году Бенни был приговорен к трехмесячному заключению, а затем к высылке за границу.

Тургенев 〈...〉 *был также вызван в Петербург Третьим отделением для дачи каких-то показаний.* — Поводом к вызову Тургенева в Петербург (он жил тогда за границей) послужило найденное при аресте М. Л. Налбандяна письмо М. А. Бакунина, в котором упоминалась фамилия Тургенева, а также две записки самого Тургенева к Налбандяну. По словам Боборыкина, познакомившегося с Тургеневым после его возвращения из Петербурга, Тургенев хвалил А. И. Бенни (также привлеченного к этому делу) за «необыкновенную порядочность» его показаний. «Ни единого оговора, ничего такого, что показывало бы желание выгородить только самого себя. А другие тут же повели себя совсем не так», — записывает Боборыкин слова Тургенева.

К сожалению, сам Тургенев тоже повел себя «совсем не так». Узнав от П. В. Анненкова о предстоящем вызове в Петербург, Тургенев писал ему 19 января 1863 года: «Вызывать меня теперь (в сенат) после «Отцов и детей», после бранчивых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно — чуть не публично — разошелся с лондонскими изгнанниками, то есть с их образом мыслей — это совершенно непонятный факт... Разумеется, если меня вызовут, я немедленно поеду, — смешно даже прибавлять: с спокойной совестью». И далее добавлял: «А все-таки имею самонадеянность думать... что мой образ мыслей должен быть известен и государю и правительственным лицам у нас».

Этот «образ мыслей» Тургенев изложил в письме к Александру II («Смею думать, — писал он, — что всякий... отдаст справедливость умеренности моих убеждений») и в вопросных пунктах, врученных им русскому посланнику в Париже Будбергу 22 марта 1863 года («...Я надеюсь, что мои судьи вспомнят, что сношения, в которых меня обвиняют, носили в последние годы характер полемики, борьбы, и что заслуга борьбы с направлением, вредным для государства, не уменьшается от того, что эта борьба и независима и бескорыстна») (М. К. Лемке, «Очерки освободительного движения 60-х гг.», СПб. 1908, стр. 160—165).

7 января 1864 года Тургенев приехал в Петербург и явился в сенат. Уже 15 января в 177 листе «Колокола» появилась заметка, в которой говорилось «об одной седовласой Магдалине (мужского пола), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности». Тургенев, по словам В. И. Ленина (Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 13) «сразу узнал себя». Стремясь оправдаться в глазах Герцена и зная, что последнему не могут быть известны его ответы на вопросные пункты, Тургенев писал ему 21 марта 1864 года: «...Я не только не оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отрекаться: я бы почел это недостойным самого себя» (М. К. Лемке, «Очерки освободительного движения 60-х гг.», СПб. 1908, стр. 165). Но, несмотря на это письмо, Герцен правильно расценил поведение Тургенева. Их отношения надолго были прерваны и впоследствии никогда уже не были такими близкими, как прежде.

...во время последней кампании Гарибальди... — Имеется в виду организованная Гарибальди в 1867 году экспедиция против папского Рима.

Стр. 363. *...рассказано в печати г-жой Пешковой (она писала под фамилией Якоби) ...* — в статье «Между гарибальдийцами. (Из вос-

поминаний русской)», опубликованной в № 21—23 «Недели» за 1870 год.

Стр. 364. *И русские, в согласии самого Герцена, произвели в отсутствие К[овалев]ского у него домашний обыск...* — Это утверждение верно лишь отчасти. В. О. Ковалевский был без достаточных оснований заподозрен русской политической эмиграцией в провокаторской деятельности. Герцен также разделял одно время эти подозрения, но к обыску у Ковалевского (бывшего в то время учителем его детей) отношения не имел.

Стр. 365. *Про то рассказывал сам Лейкин...* — Боборыкин говорит о книге «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907.

Стр. 366. ...*«nulla dies sina linea»* (ни одного дня без черточки — лат. — то есть без труда) — слова римского писателя I века Плиния Старшего о греческом художнике Апеллесе.

Стр. 367. *...в тех воспоминаниях, которые дал в сборнике, посвященном ему...* — Воспоминания Боборыкина об Урусове («Разговор за обедом» и «Молодой Урусов») напечатаны во II томе сборника «Князь А. И. Урусов. Его статьи, письма и воспоминания о нем», М. 1907.

Стр. 370. *У меня он печатал свои «Московские комнаты снебилью».* — В № 7, 8 и 9 «Библиотеки для чтения» за 1863 год.

Стр. 372. *...у меня появился первый его рассказ «Старьевщик»...* — Этот рассказ был напечатан в № 12 «Библиотеки для чтения» за 1863 год.

Под моим редакторством начинал и Антропов... — Писатель и драматург Л. Н. Антропов печатал без подписи в «Библиотеке для чтения» в годы редакторства П. Д. Боборыкина (1863—1865) критические обзоры литературных произведений, в частности — драматических.

Стр. 373. *Он не был словесником* ⟨...⟩ *и сделался потом учителем русской словесности.* — Боборыкин ошибается. В. П. Острогорский окончил сначала Третью петербургскую гимназию, а затем историко-филологический факультет Петербургского университета. В дальнейшем В. П. Острогорский стал известным педагогом, крупным методистом по русской литературе.

Стр. 374. *«Страшный заговорщик» Ткачев* ⟨...⟩ *побывавший в университете, где, кажется, не кончил...* — За участие в студенческих волнениях П. Н. Ткачев был исключен из Петербургского университета в 1861 году. Позднее он сдал экзамены экстерном по юридическому факультету.

...разбирал в снисходительном тоне одну из моих повестей... — Речь идет о статье П. Н. Ткачева «Спасенные и спасающиеся», помещенной под псевдонимом «П. Никитин» в № 10 «Дела» за

1872 год. В ней Ткачев разбирал повести Боборыкина «По-американски» и «Поддели».

Стр. 378. *...его перевод одной из драм Шекспира...* — Речь идет о драме Шекспира «Отелло», помещенной в переводе П. Вейнберга в № 4—5 «Библиотеки для чтения» за 1864 год.

Стр. 379. *У графини Салиас ⟨...⟩ в ее журнале, который должен был так скоро прекратиться.* — В 1861 году Е. В. Салиас де Турнемир (литературный псевдоним — Евгения Тур) издавала журнал «Русская речь».

Стр. 382. *...полицмейстер Гемпель ⟨...⟩ продержал его в «кутузке».* — В 1859 году П. Якушкин был задержан в Пскове как человек, не имеющий «установленного вида на жительство». Его протест, напечатанный в журнале «Русская беседа», вызвал в печати сочувственные отклики, и вся полемика приняла характер коллективного возмущения общественности против полицейского произвола.

Стр. 383. *...подтрунил над жандармским офицером П*[*ерфилье*]*вым у буфета.* — Речь идет о столкновении Якушкина с жандармским офицером Перфильевым (адъютантом жандармского полковника Коптева), которое послужило поводом к вызову Якушкина в Третье отделение и высылке его на родину, к матери, в село Сабурово Орловской губернии.

Стр. 385. *...его ссылка и бегство за границу.* — После покушения Каракозова П. Л. Лавров был арестован и отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. В 1870 году он с помощью Г. Лопатина бежал за границу. Был членом одной из парижских секций Интернационала.

Стр. 386. *И на него ссылка — хотя только в свое имение — сильно повлияла...* — Известный публицист-народник А. Н. Энгельгардт, будучи выслан в 1871 году из Петербурга в свое имение в Смоленской губернии, пытался организовать собственное рациональное хозяйство, призывая помещиков «жить как мужики». Свои взгляды Энгельгардт излагал в письмах «Из деревни», печатавшихся в «Отечественных записках».

...приобрести от него «Ливонскую войну». — Работа Н. Костомарова «Ливонская война. Историческое исследование» печаталась в № 1, 2 и 3 «Библиотеки для чтения» за 1864 год.

Стр. 387. *У него я находил молодую девушку...* — Боборыкин говорит об О. И. Жемчужниковой, племяннице протоиерея Мелиоранского, впоследствии вышедшей замуж за А. П. Щапова.

...кажется, г. Пассек. — Имеется в виду сын известной писательницы Т. П. Пассек — Александр Вадимович Пассек.

Стр. 388. *Рецензию по поводу ее прекрасного рассказа «За*

стеной»... — Рецензия П. Д. Боборыкина на рассказ Н. Д. Хвощинской (В. Крестовский-псевдоним) «За стеной» («Отечественные записки», 1862, № 10) была напечатана за подписью «С. Д.» в № 2 «Библиотеки для чтения» за 1863 год.

Стр. 389. *...она написала для «Библиотеки» прелестный рассказ «Старый портрет — новый оригинал»...* — Рассказ был напечатан в № 2 «Библиотеки для чтения» за 1864 год.

В «Библиотеку» она дала блестящий рассказ... — По-видимому, речь идет о рассказе «Маленькие беды» (1865, № 3).

...я уже имел случай вспоминать ⟨...⟩ *в другие годы и до кончины его, и после.* — Воспоминания об И. С. Тургеневе см. во II томе наст. изд.

Стр. 390. *В ту зиму он ведь и читал «Довольно»...* — Это произведение было окончено в 1865 году и тогда же опубликовано в собрании сочинений И. С. Тургенева (издание бр. Салаевых, т. 5, Карлсруэ, 1865). В существующей мемуарной литературе не встречается указаний на то, что Тургенев когда-либо читал «Довольно» своим друзьям.

...фразы, в которых он довольно злобно «прохаживался» на мой счет... — По-видимому, Боборыкин имеет в виду следующие места из писем И. С. Тургенева к П. В. Анненкову и М. Е. Салтыкову-Щедрину. 30/18 октября 1870 года Тургенев писал Анненкову: «Нет никакого сомнения, что я потерял камертон русской публики; кто из нас прав — бог весть; вероятно, она. Потребитель всегда прав перед поставщиком. Есть пословица: «старый слуга — как старый пес: либо со двора, либо под лавку». Я отправляюсь под лавку, и пусть П. Д. Боборыкин услаждает публику!» В письме к Салтыкову-Щедрину от 31 октября 1882 года Тургенев замечает: «То, что Вы пишете мне о Боборыкине — меня не удивляет. Я легко могу себе представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние «веяния» погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения!» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, М. 1958, стр. 432 и 564).

Стр. 392. *...что тот якобы говорил ему про Россию и русских.* — См. прим. к стр. 12 II тома наст. изд.

Стр. 393. *...обличительные романы на «польскую справу»...* — Боборыкин говорит о романах Вс. Крестовского «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874), содержащих грубую клевету на русское революционное движение и национально-освободительную борьбу в Польше 60-х годов.

Стр. 395. *«Долго ли?».* — Повесть Боборыкина была опубликована в № 10 «Отечественных записок» за 1875 год.

«Путешествие madame де Курдюков». — Имеется в виду юмористическая поэма И. П. Мятлева: «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею дан л'этранже», в которой остроумно высмеяно подражание русских аристократов всему иностранному.

Стр. 397. *...в следующем, 1866 году покушение Каракозова.* — 4 апреля 1866 года русский революционер-террорист Д. В. Каракозов неудачно покушался на Александра II.

...из-за одного какого-то письма с его подписью... — Речь идет о подложном письме Чернышевского к А. Н. Плещееву; автором этой фальшивки был провокатор В. Костомаров.

И журналы в первую голову пострадали от перемены ветра сверху. — Журнал «Время» был запрещен в 1863 году. «Современник» и «Русское слово» — позже, в период реакции, наступившей после покушения Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 года.

Стр. 400. *Университет разом лишился своих лучших профессоров еще в 1861 году...* — В знак протеста против полицейских репрессий при подавлении студенческих волнений в Петербурге осенью 1861 года группа прогрессивных профессоров (В. Д. Спасович, К. Д. Кавелин, А. Н. Пыпин, Б. И. Утин и др.) подала в отставку и покинула университет.

...полоса реакции, которая разрешилась 1 марта 1881 года... — Имеется в виду казнь Александра II по приговору Центрального комитета партии «Народная воля», приведенному в исполнение народовольцем И. И. Гриневицким 1 марта 1881 года.

Стр. 403. *«В мире жить — мирское творить».* — Пьеса впервые была опубликована в № 4 «Библиотеки для чтения» за 1863 год.

Стр. 409. *Ганновер был тогда еще самостоятельным королевством.* — Ганновер официально считался самостоятельным государством, но находился под покровительством Англии. В 1866 году был оккупирован Пруссией и объявлен прусской провинцией.

Стр. 411. *«Иван да Марья»* — комедия в печати не появлялась, шла на сцене Александринского театра в Петербурге в 1867 году.

Молодая генерация 〈...〉 *ее счеты с Герценом...* — Речь идет о взаимоотношениях между Герценом и представителями так называемой «молодой эмиграции», то есть молодыми революционерами, эмигрировавшими из России во время реакции, охватившей страну после подавления революционных выступлений в 1859—1861 годах. «Молодая эмиграция» выдвинула требование изменить программу «Колокола», сделать его органом заграничного центра, который руководил бы революционным движением в России. Фактическими руководителями журнала должны были стать «молодые

силы», Герцену и Огареву отводилась роль «главной редакции», однако под этим подразумевались главным образом финансовые и издательские функции.

Герцен считал в корне порочной идею руководства русским движением из-за границы. В статье «1865», написанной накануне женевского съезда «молодой эмиграции» и являвшейся ответом на ее требование превратить «Колокол» в общеэмигрантский орган, Герцен подчеркивал, что, по его мнению, «пропаганда явным образом распадается надвое. С одной стороны, слово, совет, анализ, обличение, теория...» Эту функцию может выполнить «Колокол», этому, писал он, «мы посвящаем всю нашу деятельность, всю нашу преданность». Вторую же часть — «образование кругов, устройство путей, внутренних и внешних сношений», то есть практическую революционную деятельность, надо осуществлять в России. Это, писал Герцен, «не может делаться за границей» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, М. 1959, стр. 313).

Он по приезде в Женеву послал ему свой перевод одной брошюры Литтре. — Имеется в виду брошюра Литтре «Paroles de philosophie positive» (1859), которую Г. Н. Вырубов перевел совместно с Е. В. де Роберти под заглавием «Несколько слов о положительной философии» и анонимно отпечатал в Берлине (см. Г. Н. Вырубов, «Революционные воспоминания», «Вестник Европы», 1913, № 1). Касаясь предисловия Вырубова к этой брошюре, Герцен писал ему 12 ноября 1865 года: «Книжку вашу я прочел, и хотя мне не приходится говорить о предисловии, так как вы меня похвалили, но я скажу вам два-три замечания или вопроса; например, одно право на будущее России — ненужность христианства, вы наметили, а социальный быт пропустили; за что же, говоря о Добролюбове очень хорошо и справедливо, вы забыли Чернышевского?» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XVIII, Пг. 1920, стр. 247).

Стр. 412. *...«Колокола», который тогда еще печатался, позднее — уже по-французски.* — Последний, 245-й лист «Колокола» вышел 1 июля 1867 года. В 1868 году вышло 15 листов «La Kolokol» (последний — 1 декабря).

...в своем роде «купелью паки бытия» — то есть возрождением к новой жизни, вторым рождением.

Стр. 413. *«Париж в Америке»* — сатирическое произведение французского ученого и политического деятеля Э. Л. Лабуле (1863).

Стр. 414. *Уже Рошфор готовился к своей беспощадной кампании против бонапартизма.* — Французский буржуазный публицист и политический деятель А. Рошфор приобрел в конце 60-х годов огром-

ную популярность своими выступлениями против бонапартистской реакции. В издававшихся Рошфором «Фонаре» и «Марсельезе» сотрудничали и некоторые французские социалисты.

Стр. 419. *...Герцен* ‹...› *разбирал в своих письмах из Парижа* ‹...› *такие мелодрамы, как «Парижский ветошник»...* — Имеются в виду «Письма из Avenue Marigny» («Современник», 1847, № 10, 11). В письме третьем, от 20 июня 1847 года, содержится разбор пьесы Ф. Пиа «Парижский ветошник».

Стр. 420. *«Тридцать лет, или Жизнь игрока»* — мелодрама французских драматургов Дюканжа и Дино, почти полвека не сходившая с русской сцены.

...в роли дюмасовского «Антони»... — Речь идет об одной из наиболее известных «драм страстей» французского писателя и драматурга Александра Дюма-отца — «Antony».

Стр. 423. *...Наполеон III был защитник угнетенных национальностей — итальянцев и поляков.* — Совершенно неверно. Итальянцы считали его своим непримиримым врагом, видя в нем ярого противника объединения Италии. Характерно, что три покушения на его жизнь были совершены итальянцами: Пианори (28 апреля 1855), Белламаре (8 сентября 1855) и Орсини (14 января 1858). Что же касается отношения Наполеона III к полякам, то хотя он и обещал аристократическим кругам польской эмиграции поддержку с целью вынудить царизм предоставить Королевству Польскому автономию и присоединить к Королевству украинские и другие земли в пределах границ 1772 года, однако дальше демагогических обещаний и заявлений дело не шло. Во время восстания 1863 года Наполеон торжественно заявил, что «польский народ является мятежным только в глазах России, но в наших глазах он — наследник прав, занесенных на скрижали истории» («100 лет борьбы польского народа за свободу», вольный перевод Б. Лимановского под ред. Ю. Подвинского, М. 1907, стр. 175). Тем не менее никаких реальных шагов к возвращению Польше ее независимости Наполеон III не сделал. Попытка организовать вмешательство европейских держав в разрешение польского вопроса получила резкий отпор царского правительства и окончилась провалом.

...под знаменем которого они когда-то дрались в Испании, в Германии, в России в 1812 году. — После поражения восстания под предводительством Т. Костюшки в 1794 году большое число поляков эмигрировало во Францию, с которой их сближала общность политических врагов — Австрии, Пруссии и России. Французская директория, а позднее Наполеон I видели в польских эмигрантах большой резерв военной силы, которую они использовали в своих интересах. Польские легионы участвовали во французских

завоевательных войнах в Италии, Австрии и Испании. Во время войны 1812 года в составе французской армии сражался против России польский корпус под командованием князя Иосифа Понятовского.

...он ⟨...⟩ считался «злодеем», изменнически нарушившим свою присягу конституции... — В ночь на 2 декабря 1851 года во Франции был совершен государственный переворот, Законодательное собрание было распущено, и вся власть сосредоточилась в руках президента — Луи Бонапарта. 2 декабря 1852 года Луи Бонапарт был провозглашен «императором французов» под именем Наполеона III. «...Во Франции была опять восстановлена цезаристская монархия в особенно гнусной форме» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 25, М. 1949, стр. 76).

...до своего заключения в крепость Гам выпустил в свет брошюру... — Ошибка. Свою демагогическую брошюру «Об искоренении нищеты» («De l'extinction du paupérisme») Наполеон написал в 1844 году во время своего заключения в крепости Гам.

Стр. 426. *И у Сократа была жена Ксантиппа.* — Имя жены греческого мудреца Сократа вошло в поговорку благодаря ее сварливости.

«Институт». — В 1793 году все существовавшие во Франции академии («Академия наук», «Академия надписей» и т. п.) были закрыты. 25 октября 1795 года академии были восстановлены в виде единого «Института», разделенного на три класса: физико-математических наук, общественных наук, литературы и искусства. Литтре был избран членом Института в 1871 году.

Стр. 428. *...роман «В чужом поле»...* — Впервые был опубликован в № 10 и 11 «Русского вестника» за 1866 год.

«Мир успеха». — Статья была опубликована в № 8, 9 «Русского вестника» за 1866 год.

Стр. 429. *Художествечный кружок.* — Речь идет об Артистическом кружке (см. прим. к стр. 72).

Стр. 433. *...Гете, который страстно влюбился на 75-м году и совсем было собрался жениться на девице Леветцов!* — В 1823 году, семидесятичетырехлетним стариком, Гете встретился на водах в Мариенбаде с семнадцатилетней Ульрикой фон Леветцов и полюбил ее. Страдания неразделенной любви он выразил в своей «Мариенбадской элегии».

Стр. 441. *...к заведующему русским отделом ⟨...⟩ Д. В. Григоровичу...* — Писатель Д. В. Григорович, секретарь Общества поощрения художеств, был назначен заведующим русским отделом всемирной выставки в Париже в 1867 году.

Стр. 443. *...даже и после того, как Пруссия стала первым номером в Германии.* — Франко-прусская война 1870—1871 годов привела к падению Второй империи во Франции и к объединению всех германских государств (кроме Австрии) под гегемонией Пруссии.

Стр. 444. *...выстрелом поляка Березовского в русского императора.* — 6 июня 1867 года участник польского восстания 1863 года поляк-эмигрант А. Березовский неудачно стрелял в Александра II, проезжавшего в открытой коляске по Булонскому лесу. На суде Березовский сказал о причинах своего покушения: «Я имел на то право, он убил наш край. Он погубил его жителей. Одним росчерком пера он ссылал их в Сибирь ... Я основывал свою миссию на чувствах своего сердца, удрученного страданиями родины» («100 лет борьбы польского народа за свободу». Вольный перевод Б. Лимановского под ред. Ю. Подвинского, М. 1907, стр. 181). Сосланный на вечную каторгу в Новую Каледонию, Березовский был помилован лишь через сорок лет, в 1906 году, но отказался вернуться во Францию.

Стр. 445. *Приехал от Аксакова москвич-техник для специального отчета...* — Речь идет о корреспонденте газеты «Москва», издававшейся И. С. Аксаковым в 1867—1868 годах. 29 марта 1867 года газета была приостановлена на три месяца «за постоянное стремление порицать действия правительства» (см. А. В. Никитенко, «Дневник», т. III, Гослитиздат, М. 1956, стр. 79). Таким образом, отчет о выставке, открывшейся первого апреля, в газете не мог появиться, и фамилию корреспондента установить не удалось.

Стр. 456. *...в анонимной рецензии ⟨...⟩ прямо было сказано...* — В принадлежавшей перу М. Е Салтыкова-Щедрина рецензии «Новаторы особого рода» роман «Жертва вечерняя» причислялся к произведениям порнографической литературы. Автор рецензии обвинял Боборыкина в стремлении «возбудить в нашей публике вкус к подобным произведениям» («Отечественные записки», 1868, № 11, «Современное обозрение», стр. 43).

Стр. 461. *Его приятелем был получивший громкую известность студент...* — Имеется в виду участник Парижской коммуны М. Кавалье.

Стр. 468. *Он считал даже всеобщую подачу голосов ⟨...⟩ нисколько не желательной.* — После подавления июньского восстания 1848 года Законодательное собрание отменило во Франции всеобщее избирательное право. Наполеон III, после провозглашения его наследственным «императором французов» (2 декабря 1852 г.), формально восстановил всеобщее избирательное право, однако фактически парламентский режим во Франции был ликвидирован.

Стр. 471. *...кафедру русского языка, оставшуюся вакантной после смерти Мицкевича.* — Имеется в виду кафедра славянских литератур, созданная в Collège de France в 1840 году специально для Мицкевича. В 1844 году Мицкевич фактически был отстранен министерством Гизо от чтения лекций за его выступления против официальной римско-католической церкви.

...написал этюд (он был напечатан во «Всемирном труде») под заглавием: «Анализ и систематика Тэна». — В № 11 и 12 журнала за 1867 год.

Стр. 472. *Перевод был выпущен под измененным заглавием...* — Под заглавием «Новейшая английская литература в современных ее представителях» (СПб. 1876).

Стр. 479. *...я посвятил ей этюд ⟨...⟩ «Запахи Парижа».* — Был опубликован в № 4, 5, 7 журнала «Всемирный труд» за 1867 год.

Стр. 485. *...из которых и составил очень интересную книгу об Англии...* — Речь идет о книге Луи Блана «Письма об Англии», изданной в Париже в 1866—1867 годах.

Стр. 491. *Хотя я и говорил об этом в печати...* — В статье «Дж.-Ст. Милль», опубликованной в № 38 (от 21 июня) журнала «Искра» за 1873 год.

Стр. 492. *Нынешние феминистки и сюфражистки...* — Имеются в виду участницы буржуазного женского движения за уравнение женщин в правах с мужчинами в рамках буржуазного государства. Свое название движение получило от латинского слова femina — женщина. В конце XIX столетия национальные феминистские организации объединились в международном масштабе. В Англии и США феминистское движение было развито особенно сильно. В Англии участницы движения назывались суфражистками (англ. suffrage — избирательное право), так как одним из основных пунктов их программы являлась борьба за предоставление женщинам избирательных прав.

Стр. 498. *...пьеса Диккенса, переделанная из его романа...* — Неточность. Роман «Проезд закрыт» был написан Диккенсом совместно с У. Коллинзом.

Стр. 503. *...в заговорах «фениев», по-нынешнему инородческих анархистов...* — Фении — ирландские мелкобуржуазные революционеры 50—60-х годов прошлого столетия. В движении фениев участвовали демократические слои ирландской интеллигенции, часть крестьян и рабочих. Фении добивались национальной независимости Ирландии, провозглашения демократической республики. Маркс и Энгельс поддерживали это движение, однако заговорщическая тактика фениев и мелкобуржуазная ограниченность их руководителей

помешали успеху борьбы ирландских патриотов против английского колониального гнета. Восстание фениев в феврале — марте 1867 года потерпело поражение.

Стр. 506. ...*придворный лавреат Теннисон...* — Английский поэт Теннисон получил в 1850 году звание поэта-лауреата.

Прерафаэлиты («Братство прерафаэлитов») — группировка английских художников и писателей, возникшая в 1848 году и положившая начало реакционно-романтическому течению в английской культуре. Основателями «Братства» были живописец и поэт Д.-Г. Росетти, живописцы У.-Х. Гент и Дж.-Э. Миллес. Прерафаэлиты объявили своим идеалом искусство раннего Возрождения, выступали против рутинного академического стиля, требовали от произведений искусства «верности природе», но на практике защищали искусство, проникнутое идеализмом и мистикой.

Стр. 511. ...*на Конгрессе мира и свободы...* — Речь идет о II конгрессе Лиги мира и свободы, состоявшемся в Берне в сентябре 1868 года.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

П. Д. Боборыкин. 1870-е гг.
М. Л. Михайлов. 1861 г.
А. Ф. Писемский. 1860-е гг.
А. В. Сухово-Кобылин. 1890-е гг.
М. А. Балакирев. 1880-е гг.
Г. И. Успенский. 1870-е гг.
А. П. Щапов. 1860-е гг.
А. Н. Островский в роли Подхалюзина в пьесе «Свои люди — сочтемся!», поставленной группой любителей в 1863 году в Петербурге.
Л.-М. Гамбетта. 1880-е гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Виленская и Л. Ройтберг. П. Д. Боборыкин и его воспоминания 5

ЗА ПОЛВЕКА. Мои воспоминания

Вступление 39
Глава первая 43
Глава вторая 92
Глава третья 124
Глава четвертая 183
Глава пятая 238
Глава шестая 283
Глава седьмая 326
Глава восьмая 404

Примечания 515
Список иллюстраций 566

Петр Дмитриевич Боборыкин
ВОСПОМИНАНИЯ
ТОМ 1

Редактор В. Панов
Художественный редактор С. Данилов
Технический редактор М. Позднякова
Корректор М. Доценко

*

Сдано в набор 2/XII 1960 г. Подписано в печать 28/I 1965 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 17,75 печ. л.=29,11 усл. печ. л. 30,81 уч.-изд. л.+9 вклеек=31,26 л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1487. Цена 1 р. 01 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.